

12

Звѣнѣнъ АСТАФЪЕВЪ

12

Звѣнѣнъ АСТАФЪЕВЪ

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

**КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1998**

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

•

Том
двенадцатый

•

Публицистика

КРАСНОЯРСК

«ОФСЕТ»

1998

Художественное оформление
А. Озеревской, А. Яковлева

Астафьев В. П.

А91 Собрание сочинений: В 15 томах. Том 12-й: Публицистика. — Красноярск: ПИК «Офсет», 1998 — 608 с.

В двенадцатый том Собрания сочинений В. П. Астафьева вошли публицистические статьи, беседы, очерки, интервью, ответы на вопросы газет и журналов, написанные автором почти за пятьдесят лет литературного труда. Многие из них посвящены собратям по перу и известным деятелям русской культуры, выдающимся мастерам российской прозы: Л. Н. Толстому, Н. В. Гоголю, В. Я. Зазубрину, С. В. Максимову, С. П. Залыгину и другим. Публицистические статьи Астафьева не оставляли читателя равнодушным, его рассуждения об уроках минувшей войны, его страстный голос в защиту родной природы, в защиту достоинства «маленького» человека и русского слова вызывали поток откликов. С таким же неподдельным интересом читаются и его статьи, написанные в последнее время, — они полны тревоги за настоящее и будущее России.

© В. Астафьев, 1998

© А. Озеревская, А. Яковлев

Оформление, 1998

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1998

I



РОДНОЙ ГОЛОС

•

ВЕЧНО ЖИВИ, РЕЧКА ВИВИ

Вертолет — самая убаюкивающая машина изо всех, на каких я ездил и летал. Мы и получаса не летели от Туры — центра Эвенкийского национального округа, а спутники наши сплошь уже позакрывали глаза, свесили головы на грудь. Два молодых эвенка в джинсах и современных куртках, открывшие было книги, так ни одной страницы и не перевернули, сморились, навалившись на борт вертолета, братски приникнув друг к другу. Даже Купец — старый белый кобель, долго искавший место в просторной утробе машины, нашел его наконец, бухнулся брюхом на пол и, отвернувшись от запасной бочки с бензином, дышал запаленно, высунув язык, тревожно вскидывал голову, чуткие и нежные ноздри его обильно сочились мокротой, защищая «тонкий» собачий нюх от бензинового и выхлопного газа.

Наши спутники — Саша и Владимир, подросток Сережа, Сашин сын, — также недолго сопротивлялись сладкой дреме и вяло, без азарта поиграв в карты, отвалились на борта вертолета, отдались сладкой дреме.

Лишь мы, люди городские, зиму и большую часть лета просидевшие в городских квартирах, возбужденные наконец-то осуществившейся мечтой о рыбалке в первозданных местах просторной Эвенкии, никак не можем успокоиться, вертим головами, прыгаем от окна к окну и смотрим, смотрим во все глаза на тихую светло-зеленую тайгу, расположенную между двумя великими реками — Енисеем и Леной. Здесь, на таком пространстве, навер-

ное, может разместиться вся Америка, да еще и часть Канады.

Побывавши первый раз в Эвенкии, затем в монгольской пустыне Гоби, я подумал, что у тесно живущего в Европе человечества есть хороший запас земли, да и для американцев как из Штатов, так и из Латинской Америки здесь места хватит. Дело за небольшим — мирно жить на земле и хоть часть средств из военных бюджетов, хоть маленький бы ручеек золота отделить и направить в русло созидания, на разумное освоение этих безлюдных пространств.

...Я сказал «мы», а мы — это красноярский скульптор и живописец Владимир Алексеевич Зеленев, мой внук, Витя-младший, и я.

Я в Эвенкии вторично, Владимир и Витя впервые. Мы летим на речку с чудным названием Виви, происхождение которого объяснить мне никто не смог.

Вертолет ровно и миролюбиво гудит, чуть покачивается, оставляя под сытым железным брюхом леса, горы, речки, спутавшиеся меж собою, словно вены на человеческой руке, тихие пустынные озерца на плоских седловинах горных хребтов. Нет-нет в изгибе безвестного ручья или речки белой лапшинкой засветится лед, которому нынче уже не растаять — на дворе август. Были уже иньи, остыла земля и вода, пал «главный» комар; на кустарниках ивы, на голубичнике, на красной смородине и редкой здесь уже рябине очерствел, повял и начал искривиться мелкий лист.

Неподалеку отсюда упал в начале века Тунгусский метеорит, и все еще не разгадана его тайна, все еще идут споры о том, что это? Метеорит, межпланетный корабль, потерпевший аварию, звездолет, сделавший вынужденную посадку и снова умчавшийся в миры иные?..

Дремлющий человеческий разум, просыпающийся лишь для судорожных, чаще всего злых и пакостных дел, все еще склоняется к мысли, что, кроме нас, в мироздании никого нету, а уж умнее и быть не может, стало быть, никакого и корабля прилетать не должно, трахнул с неба камень и сгорел в земной оболочке или так глубоко ушел в недра, что и раскопать его невозможно.

Человек всегда искал упрощенные и легкие решения, кратчайшие пути к благоденствию, счастью и разрешению всевозможных тайн и загадок. Самый из них короткий и простой способ жить хорошо, благоденствовать, не

утруждая себя, — это ни о чем не заботиться, отобрать хлеб у ближнего, не отдаст — смять его, растоптать, уничтожить, конечно же неизбежно самоуничтожаясь при этом, ибо рать кормится, а мир жнет. Аж в древней еще пещере, выхватив кость у более слабого брата своего, более наглый и сильный брат подписал себе смертный приговор, и пятнадцать тысяч войн, происшедших на земле, восемь миллиардов людей, сгоревших в военном смерче, — это исполнение самоприговора, это страшное проклятие земное и небесное существу, которое употребило разум свой не по велению Божию, не по назначению природы, исказив лик свой и запакосив планету, которой он недостоин и как обитатель ее, и как хозяин, и как истребитель, беспощадный ко всему живому и растущему на земле.

Природа сделала трагическую ошибку, вложив разум именно в это двуногое существо, и теперь сама, стеная, плача, корчась в судорогах, не в силах ни сдержать, ни исправить деяния своего выроodka, так и не обуздавшего в себе первобытного дикаря.

В этой части Эвенкии нет скальных вершин, каменных останцев. Почти все вершины хребтов плоски, в крошече черных, полуголых, где и совсем голых камней на склонах, промытых до серой плоти и покрытых серым лишайником. На щеках гор и по хребтам — воронки огромного размера, вдавши, в которые запали, сжались в страхе вечные снега, а может быть, это северная сова плыла в слепом сонном полете и ударилась в склон горы, изорвала свои крылья, насорила белого пера. Здесь царство камня и кустарника, здесь дуют вечные ветры, сгоняя всякую жизнь в долины рек и ручьев, и лишь в разгар лета, во время разгула лютого комара, сюда, на холодный обдув, убегают олени и все ищущие спасения звери и зверушки.

Все легим, летим над землей, огромной, бесконечной, малохоженной, почти неразведанной.

А ведь это всего лишь кусочек, малая часть страны под названием Сибирь, этакое российского Эльдорадо, которое составляет 29 процентов территории Советского Союза, и условная ее площадь равна 6,5 миллионам квадратных километров. Плотность населения здесь в десятки раз ниже, чем в европейской части Советского Союза. В Восточной Сибири, где я и пишу этот очерк, в избе родного села Овсянка, на берегу Енисея, плотность населения реже,

чем за Уралом, на западе страны, более чем в 30 раз. В момент присоединения Сибири к России на этих гигантских просторах почти не было русского населения. Здесь жило в основном коренное население 31 национальности, «инородцы», как звали их до революции, насчитывавшее чуть более миллиона человек.

Но с окончанием строительства Великой Сибирской магистрали — железной дороги, протянувшейся на десять тысяч километров, от Москвы до Владивостока, построенной, кстати, без большого шума и без брака, в рекордно короткий срок, с помощью примитивных орудий труда, население Сибири неуклонно возрастало. Если в 1897 году оно составляло чуть больше 5 миллионов, то уже в 1926 году в Сибири проживало за 13 миллионов человек, в основном переселенцев с Украины, из Белоруссии и худоземельного центра России.

С развитием дорог и транспортных связей Сибирь начинает участвовать в торговом обороте России, поставляя на международный рынок черные и цветные металлы, лес, уголь, нефть, газ. Более 350 предприятий Сибири ныне участвуют во внешнеторговых отношениях, но для такой страны, для таких богатств все равно это очень мало: всего 14 процентов от общесоюзного экспорта. Темпы роста производства продукции здесь ненамного опережают общесоюзные.

В Сибири до революции добывалось более десяти миллионов пудов рыбы, что составляло 80 процентов от общего уровня добычи рыбы в России. Сибирь в ту пору занимала первое место по добыче пушнины и одно из первых — по добыче золота. Торговля сибирским маслом в общем экспорте России занимала 75 процентов. В 1913 году, например, Сибирь продала почти 72 тысячи тонн масла отменного качества, конкурировавшего с основными и давними его производителями в Копенгагене, Гамбурге, Лондоне, сбившего, кстати, цены на общеевропейском рынке. Торговля сибирским маслом давала России золота вдвое больше, чем вся сибирская золотодобыча, давняя, славящаяся когда-то отрасль русской промышленности. Дело доходило до того, что русские купцы пытались подкупать государственных чиновников и железнодорожные власти, дабы не пропускать в Европу сибирский дешевый хлеб и масло.

Сибирь и поныне еще является мировым кладом, здесь столько угля, леса, газа, нефти, торфа, что если все это

по-хозяйски добывать и продавать, то хватит снабдить сырьем и напоить пресной водой весь мир Божий. Здесь находится уникальный мировой колодец — Байкал с чудодейственной водой и неповторимой фауной. Не хватает Сибири одного — настоящего, рачительного хозяина.

...Качнуло машину, она резко развернулась и бочком-бочком начала прислоняться к каменистой косе, о вынос которой билась и, загибаясь птичьим крылом, неслась покато бурная речка саженей эдак в полтора-триста шириной.

Вертолет завис над косой, прицелился и осторожно угнездилился на россыпи камней. Летчик выключил двигатель, лопасти над вертолетом какое-то время крутились бесшумно и наконец крестообразно замерли.

— При-ие-ехали! — сказал, просыпаясь, Саша. Купец, как только открылась дверца, выпрыгнул из машины и начал вычихивать из себя едкий газ, потом задрал ногу на ближний куст тальника, сделал свое дело и потрусил по тропе, обнюхивая и обследуя местность.

Мы быстро выкидали багаж, вертолет снова затрещал, приподнялся над нами, и его понесло вверх по реке, взни-мая над лесами и горами, и несло до тех пор, пока зеленые пространства земли и голубые небесные дали не проглотили лихую хвостатую козьявку.

* * *

Охотничья избушка.

Это отдельная страница в жизни охотника. Когда-то топором рубил ее охотник. Наполовину вкапывал в землю, чтоб теплее, чтоб на сруб много лесу и трудов не тратилось. Низкая, темная, сырая, с лазом-отверстием сверху, служившим одновременно и дымоходом, печь-каменка, то есть из камня выложенный очаг, и нары из едва отесанных жердей, под боком хвойный лапник, ни дверей, ни окон, ни лампы, ни посуды — котелок, топор, нож, ружье и побольше припасу — пороху, дроби, пуль, гильз. Все надо было в тайгу носить на себе и беречь, беречь соль, собаку, сухари, себя и прежде всего припас.

Пробегав короткий, с воробьиный носок, день по тайге, охотник проваливался сквозь дыру в яму-избушку, растапывал камелек, громко матерясь, кашляя, чихая, вытирая слезящиеся от дыма глаза черной рукой с потрескавшимися пальцами, начинал делать необходимые

дела. Маленько отдышавшись, наскоро ел, затем обнимывал зверьков, распяливал и развешивал шкурки на просушку, затем заряжал патроны, выбивал отстрелянные пистоны, забивал в горелые гнездышки новые, блескучие, сыпал мелкий порох, дробь, прессовал палочкой-толкушкой моховые пыжи, затем рубил дрова, драл бересту на растопку и уже под звездами, при свете яркой зимней луны, неторопливо волокся к незамерзающему ключу, черпал котелком воду, из-под корня старого дерева откапывал туесок, накладывал в берестяную коробку горсть-другую соленой налимьей или харюзной икры — харюзная икра запасена с весны, налим шел на икромет сейчас, в морозы, и его добывал охотник нехитрой ловушкой-мордой, плетеной из ивы. Выпотрошив налимов, охотник варил уху, скармливал собаке головы, сам нажимал на печенку — максу, полезительную для здоровья, особо для зрения.

Глухой, стылой ночью пил охотник чай, запаренный смородинником, иногда с мороженой ягодой — брусничкой либо с клюквой. Деревянный ушатик ведра на два, стоявший в углу избушки, заметно пустел — все и наслаждение охотника, вся радость — побаловаться чайком. Коротко перекрестившись трудно складывающимися пальцами-перстами, падал на нары охотник и тут же проваливался в глубокий, медвежий сон, желая, чтоб нагретая каменка подольше держала тепло и в избушке, кисло пахнувшей от коры и утарной от копоты, не так скоро выстыло бы...

Были избушки с хитро сделанными ходами — подкопами под бревна, и надо было в них не влезать, а подлезать, легши на бок. В нашей местности бывалые охотники жилали в пещерах, дрогли длинную ночь под наскоро сделанным хвойным козырьком, если не успевали засветло вернуться к избушке.

Слава Богу, что большинство из тех граждан, кто носил и носит дорогие меха, никогда не жилали в тайге, не видел красивую и ловкую зверушку, не добывал ее таяком раненую или в капкане, не изведал таежных тягостей и напастей, иначе он, городской сентиментальный житель, откажется носить меха, и рухнет золотое промысловое дело, от веку кормившее и продолжающее кормить сибирских таежников.

Наша просторная избушка на Виви рублена из ошкуренного леса, со струганым полом, артельным столом,

крыта толем. В избушке печь из толстого железа, в прирубленной к избушке баньке даже и каменка по-современному излажена, полки, тазы, ведра и провода, электрические лампочки. Зимой можно запустить электродвижок. На полках, прибитых к стене, — аптечка, старые журналы, рыбацкие принадлежности. Живи, охотник, мойся, отдыхай.

...Вертолет всему голова. Он и помощник великий, он и покоритель таежных пространств. Все, что нужно и даже не очень нужно, доставит машина в любой уголок тайги.

Ныне охотнику и патроны заряжать не надо — готовые продают, да и основное орудие ловли соболя нынче — капкан. Побольше их завози, охотник, и расставляй потолковей — озолотеешь. На своем «путике», значит, на охотничьем участке, охотник рубит иногда по две-три избушки — чтоб не возвращаться после изнурительной охоты «домой», к основному стану.

Прежде что спасало и кормило охотника? Обилие зверя. Ему хватало и короткого дня и малого круга, чтоб настреляться досыта — в родной моей местности охотник в двадцатые—тридцатые годы добывал за день с хорошей собакой по 40—50 белок. Случалось, и соболишку попутно прихватывал. Потом пошли капканы. Но сколько в охотничьей суме мог унести капканов охотник? Да и дороги, недоступны деревенскому жителю были те жестокие железы, поэтому ладили они древние, дедовские, хитрые ловушки на зверя и птицу: слопцы, наваги, пасти, ямы, петли, и опять труд, труд лопатой, топором: надо было все это мастерить, копать и откапывать, погода-непогода, надо идти, ловушки настораживать и каждодневно проверять — не съели ли добычу мыши, кукши, вороны, вольные блудливые звери вроде росوماхи, волка, лисы.

Жизнь охотника и поныне хотя и благоустроена, да все так же трудна и опасна. Саша успел рассказать, как «обгорел» в устье этой речки с красивым названием. Ночью отчего-то загорелась избушка, выскочил в чем спал и пять суток сидел возле головешек, медленно умирая от холода и голода. Когда доставили его в больницу, в нем, крупном, жилистом мужике, как в выходце из немецкого концлагеря, было тридцать пять килограммов. И в реку он проваливался, и деревом его придавливало; случалось, и болезнь валила, зверь нападал. Все случалось, все бывало, но без тайги жить он не может. Тайга — его отрава, его неволя и свобода, его жизнь и мука, его труд и отдых. Он расска-

зывает о тайге и бывших с ним событиях и приключениях в ней непринужденно, без красованья и озорства. Работа и промысел в тайге — дело нешуточное, но дело любимое, душе и телу необходимое.

* * *

Ну вот мы и на рыбалке!

Рыба в Виви велась. Против наших индустрией задушенных рек была она здесь даже изобильной, но брала не на «хопок», осторожно брала, на выбор, охотней утром и под вечер.

В избушке, в добычливом месте постоял отряд геологической экспедиции. Оставив кое-какую аппаратуру, сиюшные пятна нефти на воде и на берегу, забрав лодку, экспедиция ушла вверх по течению, порядочно «настегав» речку Виви, выловив рыбу покрупней. Снабжаются ныне геологи, как и все жители Севера, очень плохо, и без дополнительного продукта им хоть пропадай. Вот и ловят они рыбу повсюду, добывают зверя всеми дозволенными, но чаще — недозволенными средствами. Надо когда-то и работать: полевой сезон здесь короток.

Мой внучек, забредши с удочкой в струю поверх переката, быстренько выдернул на мушку десятка полтора вертких, сытых харюзков и потерял к рыбалке всякий интерес. Слонялся по берегу, искал развлечений или валялся на нарах в избушке. Вот вам и наглядное расхождение в поколениях. Его дедушка, поймавши в Енисее пищуженца на пятом году жизни, готов был и кончить жизнь на берегу. В дырявых обутчонках, когда и вовсе босиком, сразу после ледохода, обжигаясь подошвами об ледяную стынь, бывало, и между нагроможденных льдин сидел возле закинутой удочки или животника и ждал удачи. Бывало, бабушка найдет меня, поджавшего ноги под зад, чтоб теплее было, посиневшего, дрожащего, с примерзшей к нижней губе белой соплей, и запричитает: «Да тошно мне, тошнехонько! Погибат, околеват на берегу и погинет, околеет, видно. Озевали ребенка, изурочили...» — и силой меня домой тянет, продолжая высказываться в том духе, что пропащий я человек, что ничего путного, то есть настоящего хозяина из меня не получится, буду я вечным пролетарьей и бродягой скитаться по свету с удочкой и ружьем, добывая ненадежное пропитание.

Что ж, бабушка была неплохим пророком. Так и не

получилось из меня хозяина, зато рыбак вырос яростный, с детства добытым ревматизмом и, несмотря на это, готовым и ночи стыть и, если судьбе угодно, на каком-нибудь красивом берегу русской речки «забыться и уснуть».

Пришел Володя Сабиров с нижнего переката. На деревянную рогулину-снижку вздето у него два ленка и три крупных хариуса. Сережа на «кораблик» поймал черного хариуса и ленка. Скульптор Зеленов-Сибирский, как он, веселый человек, себя называет, на «балду» — крупный пенопластовый поплавок, к которому прицеплена кисточка искусственных мушек-обманок, хорошо мотает хариуса, и я, наконец, поднял и привел на удочке в камни доброго хариуса, отчаянно сопротивлявшегося в струе, но быстро выдохшегося и только потряхивающего головой на мелководье — старается боец выплюнуть ярким цветочком к губе прилипшую гибельную мушку.

Вот на блесну и ленок взялся, что-то между тайменем, хариусом и форелью этот самый ленок. Красивей рыбы в наших пресных водах нет. И бойчей. Почувствовав, что он попался, ленок яростно борется за свою жизнь, выпрыгивает из воды, мечется, ходит колесом, рвется вперед, встает поперек течения и часто сходит, особенно в порогах и на перекатах.

Мой ленок взялся в глубоком, сильном перекаде, там он стоял за камнем и, совершенно незаметный в воде, подкарауливал мелкую рыбу, добычливо кормился. Сытый, сильный, он не хотел идти в тихую воду, к берегу, выделял такие фортели, что я решил: сойдет, непременно сойдет.

Когда я наконец его вывел и выбросил на камни, весь дрожал от азарта и долго сидел, глядя на эту постепенно умиряющуюся, упругую силу, на отгорающую красоту. Яркоперый, с оранжевым или раскаленным хвостом, с плавниками, похожими на лепестки сибирского жарка, весь по бокам в пятнах, колечках, искорках, с резко обозначенной ватерлинией, он еще как бы чуть тронут красноватым, закальным цветом, и только тугая, непокорная спина его темна и упруга.

Все-все в этой рыбине было выстроено природой для вольного житья, для светлой воды, для прожорливой охоты, хотя рот у ленка невелик, зубы не очень острые и голова небольшая, короткая, с узким покатым лбом. Ленок — единственная из наших северных рыб, способная свиться

в кольцо на удочке. Могучими мускулами ленок может разжать самую сильную руку и выскользнуть из нее, потому что на нем нет чешуи, тело прикрывает крепкая, плотная кожа, к которой как бы приварены пупырышки, похожие на чешую. Кое-где эту рыбу зовут валек, за крепость тела, за округлую спину и бока, за умение поймать корм-добычу одним движением головы, не выходя из-за камня, за способность валяться, то есть кататься по камням-перекатам в воде, поднимаясь к порогам и нерестовым речкам на икромет, если потребуется, «пройти» малое расстояние по траве и мокрому прибрежному камешнику.

Завершенное создание природы! Как и всякое чудо, ленок не терпит плена, насилия, чуждой ему среды. Он не просто засыпает, он отдалается от этого подлунного мира, превращаясь в темно-серую головешку, на которой лишь отдаленно что-то светится, догорает. Домой привозишь рыбу совсем темного тела, на всех рыб похожую, и кто не вынимал ленка из воды, тот и представить не может, как польхал он ярко, празднично и как буйно боролся за свое существование, устремляясь к вольной воде, к светлomu своему дому.

Мне хотелось бы описать каждую рыбину, пойманную мною и моими товарищами, норов ее и прыть, потому что каждая рыбина свою кончину встречает по-разному, и нет покорных. Все рыбы хотят жить, не понимают и не принимают смиренно смерть, как мы — человеки, в жизни блудливые, алчные, многословные, трепливые и трусливо-покорные перед смертью, до конца надеющиеся, что кого-кого, но меня, такого смиренного, примерного, Богу и судьбе верного, она, косая, обойдет стороной, пощадит, повременит...

Наловили мы рыбы изрядно, поймали и таймешат, правда, крупного тайменя никому добыть не удалось. Крупных выловила и съела геология, прилетающие на вертолетах гости, и сами вертолетчики большие мастера по очистке рек, тайги и всяческих богатых угодий, в том числе и тундры.

Сбылась наконец-то и моя мечта. Я поймал на блесну таймененка. Последний раз ловил я его... э-э, дай Бог памяти? Году в пятьдесят восьмом, спускаясь по реке Чусовой мимо хариусной речки Бисер. Тогда на Урале во многих горных реках водился еще таймень, хариус и много другой рыбы. По берегам самой красивой в Европе реки

Чусовой жили люди и плыли плот за плотом, лодка за лодкой отпускники, рыбаки и туристы. И лес плыл, сплавной, недогляженный, гиблый лес. Постепенно обрубались притоки Чусовой, наступление дошло до берегов, достигло водоохранной зоны.

В середине пятидесятых годов кто-то из местных высоких мудрецов додумался и дал указание сдергивать соны со скалистых берегов и утесов. Я видел те «лесозаготовки». Работая в ту пору в газете «Чусовской рабочий», «вел» лес и транспорт, был свидетелем того, как, прикрываясь тем, что народное хозяйство, порушенное войной, надо срочно восстанавливать — враг не дремлет, не постепенно, а лихорадочно, с громом, шумом обламывали, обдирали, убивали, грабили, обрубали древнюю, богатейшую землю под названием Урал, пока не докончили ее окончательно. Ныне на Урале, по существу, жить нечем и доживать нечего.

Кто хочет увидеть полнейшее банкротство «великих», ретивых хозяев — пусть приедет и подивуется на лысые хребты, на мертвые реки, на гигантские опасные пустоты в недрах, под которыми на большой глубине клокочет и кипит океан горячей воды — единственное богатство, до которого еще не добрались современные покорители природы. Но доберутся, утопят в горячей преисподней, сварят себя и свой край, древний, могучий когда-то, ныне примолкший, обобранный и угасающий. Урал — наглядный пример, горький укор нашему грозному обществу, вступающему в третье тысячелетие уставшим, больным, разоренным, уже стыдящимся говорить о светлом будущем, ради которого, собственно, и городился огород, шло повальное истребление сырьевых запасов — за десятки лет сгорело в доменных печах несколько месторождений руды, рассчитанных на века, в том числе железная «жемчужина» — гора Магнитная; повально сожжены или дожигаются уголь, нефть, газ. Но такого разбоя, такой напасти, какой подверглись уральские леса, и вообразить невозможно, потому как не поддается это воображению.

Повторяю, всего я навиделся на своем веку, но тех лесозаготовок на реке Чусовой мне не забыть вовеки. Ставились лебедки на лед, заносился на горы и в камни трос, удавкой нахлестывался он на ствол, и дерево сдергивали вниз. Кроша сучья, вершину, рвя кору, переламываясь на части, мерзлое дерево чаще всего застревало в камнях, но если на лед и вытаскивалось чего-нито, так это

обломки, огрызки, корни без стволов: мало они походили на красавицу-сосну, тысячу лет выроставшую, укреплявшуюся на утесах и, наконец, гордо вознесшую к небесам свою зеленую головушку. По всему белому полю реки — костры, сажа, черные промоины, в которых шевелилась испуганная вода.

Не из сентиментальных или патриотических чувств прекратились варварские лесозаготовки на реке Чусовой, а потому, что очень уж они накладны, дороги были...

Преступные дела лесозаготовителей завершал преступный, чаще всего гулевым, бесшабашным людом разведенный огонь. Пожары — вечное бедствие России — докончили уральские леса. Нынче берега реки Чусовой пустыни, доживают здесь сирый, хилый век свой редкие рабочие поселки, в которых еще можно узнать признаки древних уральских заводов.

И воды в реке Чусовой летами нет. В прошлом, 1988 году, реку в районе города Чусового можно было перейти вброд. И это та самая река, половодье и буйства которой так красочно описывал еще в начале нынешнего века в книге «Бойцы» (по названию утесов и скал) полузабытый русский классик — Мамин-Сибиряк. На всем протяжении во много слоев река Чусовая устелена топляком, и я уверен, что придут еще лесозаготовители другого «профиля» — поднимать этот лес, выгрести его из-под камней, со дна реки — нужда заставит.

* * *

Я к тому так подробно остановился на воспоминаниях об Урале, что и над космически-далеким, неохватно-пустынным и пространственно-непостижимым Эвенкийским краем нависла беда: на главной реке Эвенкии, Нижней Тунгуске, Угрюм-реке, как назвал ее в одноименном романе замечательный писатель и землепроходец Вячеслав Шишков, проектируется строительство самой могучей в мире Туруханской гидроэлектростанции.

В устье Нижней Тунгуски, на правом высоком, осыпистом берегу Енисея, стоит один из старейших городов Сибири — Туруханск. Возник он после угасания древнего заполярного городка — становища Мангазеи, стоявшей на берегу Карского моря между устьев великих рек Оби и Енисея; новое поселение какое-то время звалось селом Монастырским, потому как началось с монастыря,

воздвигнутого на острове против того места, где стоит нынешний Туруханск, звавшийся когда-то и Новой Мангазей.

Километрах в ста двадцати выше устья Нижней Тунгуски, на больших порогах, реку сжимает каменный створ. Вода здесь полна, кружлива, волниста, темна от беспокойной глубины. С обеих сторон реки голые утесы — идеальное место для плотины — решили гидростроители и пообещали большую экономию при строительстве «за счет естественных, выгодных условий»...

Этакий же вот скалистый створ в районе речки Шумихи решил когда-то участь Енисея. Там тоже было узко, дно реки каменистое, и «естественные выгоды» ускорили утверждение мошеннического проекта. Во что, в какую выгоду обернулось строительство Красноярской ГЭС — уже никто не помнит, но вред от этого сооружения городу, краю, Сибири велик и вечен, и никакими «выгодами» и временными победными успехами его не перекроешь. Вместо обещанной в проекте тридцатикилометровой поймы получилась трехсоткилометровая, парит она всю зиму на оробелую землю, мучает реку и людей, особенно близкий Красноярск с почти миллионным населением. Раз в пять-шесть лет гидростанция сбрасывает «лишнюю» воду, и тогда начинается бедствие: вода все рушит, сносит и уносит — только летом 1988 года за четыре дня один Красноярск понес более трех миллионов убытков.

А сколько всего убытков в этом и других городах произошло от великих гидростанций — никто не объявит. Стыдно, неловко объявлять. Надо же еще прибавлять сюда убытки от затопленных на протяжении многих сотен километров лучших пойменных земель края, снесенных богатых сел и городков, погубленных лесов. По грубым подсчетам, их плавало и плавает по захламленному водохранилищу 15 миллионов кубометров.

Начальник Красноярской гидростанции, видом и ухватками напоминающий Никиту Хрущева, во времена Хрущева за компанию с такими же, как он, хватками и ловкими дельцами получивший звание Героя Соцтруда, отмахивается от пишущей братии, как от мух: «А-а, эти писаки — они вечно со своими преувеличениями. Всего и плавает-то в моем море полтора миллиона кубометров». Для этого руководящего товарища, как и для некоторых иных руководящих товарищей из Сибири, полтора миллиона погибшего леса — сущий пустяк: море-то — «мое»,

но все остальное — «наше». Свое, вплоть до десятикопечечного пирожка и командировочного рублика, рачительный хозяин считать и беречь умеет, урвать от земных благодатей не дурак, как и все местные мелкие и крупные деятели до недавнего времени еще рвали.

Я как-то был на Красноярском водохранилище в наиболее уловистом районе Дербино, и куда мы с лодочкой и катером метеорологов ни сунемся — везде стоят сети, полуглиссеры, глиссеры, водометные и обыкновенные катера мечутся, отовсюду нас со спиннингами гонят — это флот начальника гидростанции ведет промысел для гэсовского холодильника, объемистого холодильника, из которого рыбка по указанию героя уплывает во все концы страны, особенно же по направлению к Москве, к высоким покровителям и «кормильцам» сибирских покорителей природы.

А ведь в Сибири уже 219 искусственных водохранилищ! И не 219, но тысячи героев-руководителей хозяйуют здесь, топят, жгут, превращают в хлам, в отвалы лесные и всякие иные богатства и, по инерции бахвалясь, беспечно называют их неисчерпаемыми.

Но бахвалиться уже нечем. Только вокруг моего села Овсянка, по моим любительским подсчетам, весьма приблизительным, после затопления Енисея исчезли 52 ценнейших растения. Те же, что остались, мучаются на бесснежной, оголенной, окутанной холодными туманами земле, корчатся и вымирают от кислотных дождей, рассеиваемых близким городом, в котором дышать нечем, особенно в безветренные дни.

Прошлым летом кислотный дождь в одну ночь убил картошку в цвету, покрасил черными пятнами капусту и всякую другую овощь. Тут же было придумано название овощной болезни, и через печать последовало предупреждение: сжечь ботву, картофель желательно в пищу не употреблять. В одни почти сутки картофель был выкопан, спрятан в погреба, подполья. Его ели и едят мои, да и не только мои, односельчане. Но картофель быстро гниет, и одна надежда — не успеют люди много себе вреда нанести отравленной овощью. Но что они будут есть? В магазинах-то по-прежнему пусто, на рынках с трудящихся три шкуры дерут, в коммерческих лавках и на рядах неувядаемые джигиты из соседних и дальних братских республик.

Красноярская и Саяно-Шушенская гидростанции при-

несли и еще принесут неисчислимые бедствия Сибири, в особенности Красноярскому краю. Но на долю Сибири в будущем возлагается основная задача по поставке сырья и топлива — к двухтысячному году Сибирь должна производить топлива 90 процентов от общесоюзного масштаба. Западная Сибирь, по подсчетам экономистов, будет добывать нефти и газа в два-три раза больше, чем вся остальная страна, и она же, Сибирь, должна производить 40 процентов всей электроэнергии страны. Только на долю Енисея и его притоков приходится 10—12 гидростанций, которые превратят Енисей, как и Волгу, в великую лужу.

Так должно обеспечиваться благоденствие и процветание будущих поколений. Вот только выживут ли они, эти будущие поколения? Я не уверен, и люди, не совсем еще потерявшие совесть, не утратившие ответственности за будущее, тоже не верят и резонно спрашивают: для чего и для кого мы строим, воздвигаем промышленные гиганты? Ведь уже и сейчас во многих районах страны, в том числе и на разграбленном Урале и в растаскиваемой, как на пожаре, Сибири, жить невозможно.

* * *

...Темным страхом наливаются глаза эвенков при одном только упоминании Туруханской ГЭС, да и эвенков ли только? Бедствия от заполярной, снова «великой» и «выгодной» новостройки могут быть во сто крат большими, чем от аварии на Чернобыльской атомной станции. Гигантомания, дух захватывающие перспективы роста, экономии, процветания с новой силой охватили наших «покорителей», и в первую голову — гидроэнергетиков.

Нижняя Тунгуска, пророчат гидроэнергетики, будет работать за десять Енисеев, и в десять раз мощнее Красноярской и Братской будет Туруханская ГЭС. От нее прольется свет на всю великую страну. «Выгодно» через тысячекилометровые электропередачи подарим и продадим за кордон самую дешевую в мире электроэнергию. Зальем ярким светом напуганную чернобыльской аварией западную половину своей Родины и попутно старушку-Европу осветим невиданным электросиянием.

Уже и стоимость одного киловатта подсчитана. Уже сказано, что «среда» на Нижней Тунгуске малостоящая, лес однороден и беден, недра, правда, плохо разведаны, но предполагаемые несметные залежи угля и нефти мож-

но добывать из-под воды, как на Каспии и в Баку. Народ местный, его и всего-то по Тунгуске обретается 10—12 тысяч, переселить выше, в горы. Что? Он, эвенк, привык жить в поймах рек, где леса, где пастбища оленей, где зверь, рыба, ягода — вековечное, привычное обиталище? На голых, ветреных вершинах эвенки попросту вымрут? Исчезнет целая древняя народность?

Ну и подумай! И не такие нации, еще более древние и достославные, исчезли ради «светлого будущего». «Лес рубят — щепки летят», — говорил родной отец и учитель всех народов, и лозунг его, и методы возделывания земли, движения прогресса не умерли вместе с ним. Приугас пламень тех лет, да живы те, кто готов встать на карачки и дуть, дуть в тлеющие угли, пока не загорится снова, пока не осветит яркий пламень охваченные энтузиазмом лица подвижников прогресса.

Около полутора тысяч километров протяженностью должно быть будущее самое-самое водохранилище на Нижней Тунгуске. Вечная мерзлота полна рассолов, солей, под нею нефть, газ и другие сокровища, богатые, небогатые — никто не знает, но и возможность таяния мерзлоты, выхода соли и нефти не исключается. Речная вода в Туре, в центре Эвенкийского национального округа, и сейчас «чайного» цвета, солоновата на вкус, по существу, в питье не годится, а как сделают ее горючей, стоячей, глубокой, захлавленной?..

Предоставим же слово людям, здесь, на Севере, живущим и сыновне болеющим за свою родную землю. Вот письмо человека, думающего и много пережившего. Фамилию не называю, чтоб не подставить его под удар, потому что, несмотря на перестройку и гласность, удельные князьки-руководители ни в чем на деле не перестроились. Словам их верить нельзя — словам своим они и сами не верят, тратят их без счета и смысла, ради сиюминутного успеха. Это о них, местных деятелях, еще в пятидесятые годы писалось: «Здесь возносились, быстро меркли районной важности царьки, поспешно разбирались церкви и долго строились ларьки...»

Итак, слово туруханцу:

«Я родился в 1941 году, на Урале, в городе Златоусте Челябинской области. Жил и работал на Урале до 1974 года. Потом после окончания вечернего техникума уехал

работать на Север. До настоящего времени живу и работаю в Туруханской партии геофизических исследований скважин. На работу летаем на буровые вертолетами за 300—400 километров, домой прилетаем только в гости. Ищем нефть и газ. Очень больно видеть загубленные реки и речки на Урале, но как губят их в Сибири! Если мы не защитим их, то кто же? Что мы оставим потомкам? Да они проклянут нас за все наши «гиганты» — самые мощные в мире, если вокруг будет пустыня. Человек должен быть хозяином своей Родины, неважно, где он родился и где живет. Если бы те прожектёры, которые запланировали строительство Туруханской ГЭС, хоть однажды проехали на моторе по красавице Тунгуске и увидели бы ее берега, посмотрели бы на Смерть-скалу, где белогвардейцы расстреляли большевиков-красногвардейцев и сбросили с этой скалы в Тунгуску — с тех пор эта скала получила такое мрачное название, — я уверен, что у кого-нибудь из прожектёров защемило бы сердце: что мы делаем?

Но там, наверху, никого и ничем не проймешь, ведь они — указующий перст, и стоит только пошевелить «им», как ретивые исполнители пониже рангом враз заорут: «Даешь!»

Убежден, что именно сверху идет преднамеренное и целенаправленное уничтожение под корень Урала и Сибири. Даже если допустить, что Туруханскую ГЭС построят, то каждый киловатт будет стоить не одну тонну золота. Ведь мы ищем нефть и газ в Тунгусском нефтегазоносном бассейне, так называемой Тунгусской синеклизе. Вся эта территория уйдет под воду, да кто знает, что еще затопит, какие полезные ископаемые. В июле месяце сего года мы на одной скважине «Моктаконская-1» нашли нефть, возможно, промышленного значения. Скважина до конца еще не испытана. Если здесь будет искусственное море, то исчезнет все живое: не будет ни птицы, ни рыбы, ни зверя пушного и вообще — никакого, да еще очень существенно изменится климат. Попадет в зону затопления и Нагинский графитовый рудник. А моральный ущерб вообще нельзя измерить. Ведь сколько родных мест лишится коренное население. И сколько станков вдоль Тунгуски, сколько леса строевого и кедра-кормильца затопит! Мы обязаны спасти реку. Местным удельным князькам жаловаться бесполезно. Для них это лишнее беспокойство и лишние хлопоты, как бы из кресел не

выгнали да жалованья бы не лишили, — вот главная их забота.

Строить ГЭС нужно, но не в ущерб природе и людям. Надо очень скрупулезно учесть в проекте все плюсы и минусы, да и не брать всю ответственность за строительство одному ведомству на себя, проекты следует согласовывать с природоохранными органами и Законом об окружающей среде...»

Теперь — мнение ученого Сыроечковского, более тридцати лет проработавшего в Туруханском районе: «Жизнь изменилась, и сегодня мы вынуждены в гораздо большей степени думать о том, как сохранить уникальную енисейскую природу... Считаю, что в равнинных условиях гидростроительство с экологической и даже природохозяйственной точки зрения нецелесообразно... мы прилагаем усилия к тому, чтобы остановить строительство Осиновской и Средне-Енисейской ГЭС. В то же время можно согласиться со строительством Туруханской ГЭС... но экологическая сторона проектов проработана недостаточно; разлившиеся воды Нижней Тунгуски перекроют пути традиционных миграций стад северного оленя, вызовут изменения в климате региона, скажутся на образе жизни людей, населяющих большую территорию. Так ли необходима Туруханская ГЭС, если к началу будущего века ученые предсказывают открытие управляемого процесса термоядерной энергии».

Ученому вторит журналист Каморин:

«...Спешим, опять спешим. Не наломать бы снова дров. В зоне затопления окажется не менее 50 миллионов кубометров деловой древесины, использование ее вообще никак не планируется. Утопить лес на корню, как это уже было в Братском, Усть-Илимском и Саянском морях, вроде бы дешевле. Гигантскими потерями леса уже никого не удивить — настолько все к этому безобразию привыкли».

Но давайте же послушаем и народ, самих эвенков — самую заинтересованную часть населения края. Ученые Сибирского отделения Академии наук СССР, кандидаты исторических наук, этнографы Сагалаев и Гимуев пишут в статье, которую нигде не могут опубликовать: «Путешественники восемнадцатого века за опрятность, живой ум, элегантность называли эвенков «французами тайги».

Вот какие высказывания записали эти умные люди на одном из сходов в северном селении. Один из двух брать-

ев-эвенков, заслуженных оленеводов Мукто говорил: «Мне очень грустно слышать, что на мою родину надвигается беда. Прах моих отцов будет затоплен, и я сам буду от них далек. Исчезнет труд наших эвенков-олeneводо-в и охотников. Исчезнет их самобытная культура. Нас сперва отучили от нашего языка, от наших ремесел. Теперь прогоняют с наших исконных мест. Если не восторжествует справедливость, эвенки как нация растворятся в других народах, короче говоря — исчезнут. Я не хочу, чтобы на моей земле, на земле моих предков, было море... Я люблю свой поселок, свою речку и, конечно, Родину. Я никак не представляю, что когда-нибудь придется все это покинуть. Родину не заменишь никакими благами, да и ненависти будет у людей больше после этого...»

Далее ученые-сибиряки пишут, и к ним присоединяется начальник геологической партии Озерский: «Наобум в стройку кидаемся!.. Длина реки Нижней Тунгуски более трех тысяч километров — она естественный аккумулятор для людей, животных и трав. Здесь на протяжении многих тысяч лет складывался сложный баланс интересов человека и природы, который оказался единственно возможным. Эвенки, как этническая общность, не смогут существовать без оленеводства и охоты. Иной образ жизни будет означать их вырождение. В старину сущим проклятием были для эвенков «тунгусятники» — люди, за бесценнок скупающие у аборигенов меха».

Ну и что же? Исчезли «тунгусятники», никто уже не обманывает, не угнетает доверчивый таежный народ, никто его не обирает, никто не распоряжается его землей и долей, не спросясь, не считаясь с волей древнего народа?

Нам бы присмотреться к уникальному явлению, изучить бы, как это в суровейших условиях Заполярья приспособились к тундре и лесотундре народы, вытесненные когда-то с южных мест, и выжили здесь, да поучиться бы у них кой-чему, перенять их опыт бескровного освоения северных пространств. Но цивилизованные, самоуверенные народы стали навязывать северянам свой, как им кажется, образцовый опыт жизни, северяне же не слушаются, не принимают разгула, шума и разврата цивилизованных дикарей. Начнут на них нажимать, они откочевывают еще дальше, в снега и льды, — если уж отступать некуда — вымирают.

Так богатенькие цивилизованные охотники повыбили тюленей, моржей, медведей и прочую еду североамери-

канских эскимосов, потом спохватились и давай им «помогать», посылать консервы, всяческие в городах изготовленные фабричные изделия, а эскимосы все равно вымирают — с полными желудками — от голода. Не принимает их организм, не переваривает желудок чужую пищу. Они тысячелетия питались совсем другими продуктами.

Да что нам за море ходить и в чужом дворе «кумушек считать трудиться», у нас под боком «матерьялу» хоть лопатой гребни.

И вот они, факты: при переписи населения в 1897 году эвенков на Крайнем нашем Севере было 70 тысяч, в 1939 году — 40 тысяч, в 1959 году — 29 тысяч, а в 1970 году — эвенков при переписи вообще не обозначили никакой цифрой — так она, видать, стыдна и удручающа была, для бравых отчетов совсем непригодна.

Что-то покажет нынешняя перепись населения? Замалчивать всякие безрадостные цифры уже нельзя — гласность, придется как-то объяснять, куда девались северные народы: кеты, нганасаны, эвены, ненцы и почему так катастрофически редеет население Крайнего Севера, в особенности в местах вечного их обитания — в бассейнах рек Оби, Енисея, Лены?

Я думаю и заранее знаю, что итоги переписи населения в отношении малых народов Севера будут обескураживающими.

Не на одном уже собрании глава нашего государства М. С. Горбачев говорил о недопустимости исчезновения хоть одного малого народа и его языка. На январской встрече с деятелями культуры он еще раз повторил эту мысль и уточнил ее: «Если мы боремся за сохранение леса, трав, цветов, птиц, животных, то тем более надо все силы приложить в борьбе за сохранение народов...»

Хорошо бы, чтоб на этот раз расстояние между словами и делами поскорее сократилось. На слова-то мы и раньше были горазды, в особенности на обещательно-прекраснодушные, это было и осталось нашей главной «козырной картой», а ведь между прекраснодушием и равнодушием почти нет зазора.

Я видел на Оби становище. Решением сверху остановили, посадили на прикол кочевников — хантов. Я не самих хантов зрел, а следы пребывания их в большой, неуклюжей избе, рубленной из сырого, неокоренного леса. По углам и вдоль стен полутемной избы с заплесневелы-

ми стенами, в узелок завязанные, хранились пожитки хантов. Сами они ушли на летние заработки — проводниками и рабочими в экспедиции, на лесозаготовки, на буровые, совсем небольшое число — ловить рыбу. Возвратятся они в эту избу к зиме, им вернут оружие, охотничьи припасы, выдадут капканы, аванс и водку по талонам. Они маленько погуляют, быстро опустошат леса в округе, занявшись пушным промыслом, и далее тут делать им будет нечего. В сырой, полутемной избе тесно, грязно. По утрам из нее выползут обитатели и начнут выбивать шкуры и всякие разные тряпки — меховушки — серое месиво вшей на белый снег.

Прежде, когда ханты и другие северные народы кочевали и жили в чумах, во время перекочевки весь гнус в шкурах вымерзал, теперь он терзает не знающих бани и смены белья людей, как нас в окопах когда-то терзала вошь, доводя до отчаяния и бессильной вялости. Бывшие кочевники, изнуренные физически, болеют, стесняются себя и своей неприспособленности к цивилизации, к современной жизни и, коли возможно, забываются лишь в пьянке, пропивая, по сути, все, что добудут.

Возле того, обского, современного становища слишком уж большое, свежее захоронение. Вокруг той утрюмой, всеми забытой избы на березах навязаны ленточки разных расцветок. Я видел в Японии, в Токио, на площади неподалеку от телецентра, подвешенных на специальных палочках куколок и таблички с какими-то знаками. Увы-увы, знаки эти экзотические ничего занятного и веселого в себе не таят. Каждая куколка, каждая табличка — это скорбный знак уничтоженной в зародыше человеческой жизни. Интересно было бы узнать, хоть приблизительно — сколько же куколок понадобилось бы в нашей стране, если б такой, не очень гуманный, но все же честный и сдерживающий бездумные страсти способ скорби был внедрен у нас?!

Так вот, у хантов все наоборот: ленточки — это благодарные знаки интимных отношений с одновременной застенчивой просьбой женщин к Высшему Судье — простить грешные дела и не карать за них шибко строго. Однако карать и судить хантов почти уже не за что, сама жизнь, склонность к вину уже покарала их — лишь на одной крепенькой березке был навязан пучок ленточек, выцветших на ветрах и дождях. На других же деревцах совсем свеженькие ленточки, хотя и шелковые или из син-

тетического нарядного материала, весьма и весьма реденькие, слабо обвисшие, как будто случайно сюда ветром занесенные.

Есть у нас такая благородная черта, часто показушная — заступаться за бедные и угнетенные народы стран капитала. И еще за жизнь животных борцы мы неутомимые. Как рыдали на улицах, и по радио, и по телевидению, когда какой-то негодяй или негодяйка забыли собаку на Внуковском аэродроме!.. Ка-акой шум подняли, когда Раймонда Дьен легла на рельсы, преградив путь военному поезду, следовавшему из Франции в Африку, и за нарушение железнодорожных правил препровождена была в тюрьму; в каком-то тридевятом государстве упрятали за решетку Джамилю Бухиред — так все возмущались, что сделалось совсем некогда припомнить о миллионах своих сограждан, погибших в отечественных концлагерях. А как мы жалели Поля Робсона?! Один мой знакомый сержант, прямо из госпиталя угодивший на север Пермской области за не совсем своевременный и удачный комментарий к сводке побед на фронте, даже стих сочинил в защиту Поля Робсона; бия себя в грудь кулаком, кричал он со сцены лагерного клуба: «Так приезжай же к нам, товарищ Робсон, и будешь ты свободен, как и я!»

Начальник «Усольлага» и «Ухталага» и прочие генералы и полковники плакали вместе с женами и детьми своими, слушая поэта с номером на спине — так им жалко было заокеанского бедного певца.

Помню, как в кинотеатрах Игарки, в самый разгул ссылок и репрессий под звуки колыбельной, под умильные слезы детей и баб бывших кулаков и всяческого вредящего «элемента», на полотнище киноэкрана добрые советские люди передавали очаровательного негритенка, спасая его от кровожадного вампира-империалиста. В это время за город, в лесотундру, в неглубокие ямки, выбитые в вечной мерзлоте, везли и везли гробы, в том числе и детские, всех почти народов, мыкающихся и гибнущих на самом краю земли, в самом интернациональном городе той поры.

И еще помню, как летом на длинной, отлогой косе, на подмытых низких берегах нежно зеленеющих тальниками островов — Самоедского, Тальничного, Медвежьего — возникали островерхие чумы с синим, мирно качающимся над конусом чума дымком. Сюда, на острова, летом прикочевывали семьи совсем малых, ныне почти ис-

чезнувших народов кето, нганасан и долган — ловить в Енисее красную ценную рыбу — осетров, стерлядей.

Дети природы — они были доверчивы до глупости, так нам, испорченным цивилизацией и бурными революционными преобразованиями людям, казалось в ту пору. С беззаботной, детской верой относились рыбаки ко всему, что окружало их. Набросают в песчаные светловодные лагуны пойманную стерлядь, осетров, пароход пристанет, гости попросят рыбы — махнут рукой, идите, мол, берите...

Бывало, заберут у них всю рыбу, до хвостика, — недоумевают: зачем так много взяли? Ведь на варю надо брать, потом можно еще добыть — у природы на всех всего припасено.

Рыбу на засольный пункт сдадут добряки-рыбаки, а тут шторм, к ловушкам выплыть невозможно, живут впроголодь, ждут, когда стихии успокоятся. Ягоды никогда не брали — захотелось ягод поесть, идут пощипать голубики, морошки, черники, смородины. Ничего они впрок не заготовливали — кочевники же. Олень, а значит, мясо, шкуры, жир, тепло — бежит за нартой и в упряжке нарты; зверь по тундре и по лесу ходит, рыба в воде бродит, птица по небу летает, куропатка по снегу бегаёт — вода и еда — вот они! Бери, пей, ешь. Дети необъятной мирной земли, они не знали, что такое браконьерство, воровство, драки, насилие, и долго не принимали «просветителей», явившихся к ним со «своим уставом» и привычкой заставлять всех жить по ихнему, как им казалось, шибко прогрессивному и передовому уму.

Судьбе было угодно свести меня с несколькими вепсами. С Анатолием Петуховым, писателем из вепсов, живущим в Вологде, я бывал в тайге, на рыбалке, в семье его, у матери и брата Евгения, и поныне работающего учителем в средней школе поселка Новленский, под Вологодой, на берегу Кубенского озера.

Народность вепсы обитала в совсем уж суровом, непроходимом болотистом краю меж южной оконечностью Карелии, северной частью Ленинградской и северо-западной окраиной Вологодской области. Здешняя природа не баловала щедротами жителей, тут все у нее бралось с великим трудом, упрямством и умением. И тем не менее мирные вепсы, которых я встречал, росли, крепки телом и, что совершенно естественно, суровы характером, хотя тот же Евгений Петухов застенчив, деликатен, образован.

На рыбалке же оба брата отходят, делаются говорливы. Рыбалку, природу оба любят без ума, и если б была возможность, так и не сходили бы с красивого Кубенского озера, когда-то изобильного рыбой, да какой! — нельма, карликовый сиг (нельмушка по-здешнему), судак, лещ, истекающий жиром, щука что акула, окунь, будто жених — наряден и нахален, и совсем исчезнувший деликатес — снеток.

Анатолий Петухов — охотник, зверобой и следопыт, хороший писатель, рассказчик — заслушаешься. Несколько замкнутый в городе, на людях, на природе он надежен, предан товариществу до самопожертвования (что не раз я испытал на себе).

Но печален и даже скорбен он становился, когда рассказывал о своей любимой, мало кому известной, лесной родине — Вепсии, где была своя письменность, фольклор, ремесла, орнаменты, особый уклад жизни, тайные лесные чуда, загадки, мистика, суеверие — все-все было свое!

И ничего не стало.

Народ рассеялся, почти ассимилировался от невнимания, наплевательского к нему отношения, административного равнодушия и преступной руководящей безалаберности.

Многие годы по заросшим, разрушенным дорогам каждое лето настойчиво ездил и ходил в родной край Анатолий Петухов. Потом перестал ездить — не к чему. Загадали Вепсию, выжгли жилища ее, поселки и кордоны дикие туристы, браконьеры, шатучие людишки. Ныне они же отчисляют от пенсий своих и зарплат трудовые рубли на сирот, на разрушенное ими прошлое — храмы, памятники культуры, на могилы, мемориалы и прочая, прочая, общество «Милосердие» создают, энтузиастами и патриотами славут.

А что, если бы те же ленинградцы, вологжане, жители Карелии вместо того, чтобы в телевизоре маячить и себя хвалить, взяли бы да и отстроили то, что порушили, пожгли в той же хотя бы Вепсии, помогли восстановиться и вернуться в свои исконные леса, к древним очагам милой им родины. Где трудно, однако по-своему счастливо жилось этому маленькому, благородному, самоотверженно-трудолюбивому народу.

А что он таков, я мог убедиться, долгие годы наблюдая за Райсой Васильевной Петуховой — матерью Анатолия и Жени. Тихая, опрятная, она творила чудеса из всего, что

попадает в руки, когда дело касалось пропитания. Никакой грибок, никакая рыбка, никакое перышко, шкурка, лапка, деревяшка, веточка не пропадали у нее даром, все шло в обиход и оборот.

Не уродились хорошие грибы, она наломает каких-то опятчиков, белоножек, синюшек, все, на что мы, верхогляды, наступаем, соберет, изрубит сечкой, поместит в кадушку или туюсок, засыплет укропиком, лесными травками, приправит чесночком либо перышками чеснока, которые чаще всего выбрасываются, зальет постным маслом, зимою подаст на стол — только ложки мелькают.

Принесут сыновья рыбу нельму — на балык ее, в пряное соленье; щуку — в печь — коптить; жир с рыбьих кишок оберет, перетопит, потроха перемоеет, изжарит, мелочишку набросает на под русской печи — зимой уха из сушенки — объеденье. Бойким на язык, современным интеллектуалкам поучиться бы семьи кормить и дом обихаживать у таких женщин, как Раиса Васильевна, а рыбозаводам и всяким пищеобрабатывающим предприятиям, превращающим добро в дерьмо, перенять бы в этом доме умение и крестьянские «хитрости», название которым — радение в труде.

И вообще поучиться бы у разогнанных крестьян всех народностей совестливости, опрятности, упорству в ведении хозяйства, бережливости ко всему, что живет, растет вокруг нас. К сожалению, уже совершенно больная, доживает век свой Раиса Васильевна не в родных лесах, не среди светлых озер и неторопливых речек, не среди песенного птичьего грая, а в казенной избе, под окнами которой дымит, грохочет несущаяся куда-то колесная и прочая техника. Но под теми окнами все равно каждое лето пестрели желтые цветочки, на задах дома зеленели овощи на махоньком, немудреном огороде.

Анатолий Петухов по зову крови и совести начал назначенную ему судьбой работу, скорее даже борьбу (без борьбы у нас никак невозможно) за воскрешение своего края и народа — пишет и печатает статьи, сколачивает из вепсов, разбродно живущих по стране, общество активистов и патриотов для важного этого дела. И зная, как у нас приживается и пробивается всякое доброе начинание, какие препоны, пренебрежение, непонимание и даже сопротивление, встретят они на своем благородном пути, все же желаю им крепости духа, терпения и мьзгих сил для работы, которую без них и за них никто не сделает.

И еще об одной беде или нелепости, связанной с ма-
лыми народами, мне хочется рассказать.

В Эвенкии и вокруг нее как-то давно и последователь-
но уничтожается оленье дело — основы основ жизни се-
верных народов. Не хватает пастухов, животных косят
болезни; борясь за продовольственную программу, диких
олений варварски истребляют под видом заготовки мяса
и шкур узаконенные заготовители — те же браконьеры,
только еще более разнузданные и безответственные, по-
скольку не сами по себе они истребляют животных, а по
заказу, государственному договору и за хорошие деньги.

И вот еще одно «мудрое» решение — разгородить леса
и пастбища в Эвенкии, заставить неорганизованные ста-
да оленей, как коров, пастись выгонно-привязным спосо-
бом, ходить вдоль забора, не выедать и не выбивать как
попало пастбища, быть всегда на глазах, не удручать до-
брых людей анархическим поведением и хождением по
местности, обходиться вообще без пастухов, оставив их
лишь в качестве наблюдателей и помощников во время
отела — экая соблазнительная перспектива, на нее и де-
нег не жалко — экономная экономика все равно себя
оправдает. Однако боюсь, что оленя, как корову, на ве-
ревку не привязать — все же животное полувольное, да и
веревки не хватит.

Все заборы, намеченные по плану, еще не загороже-
ны, но с вертолета видно их ниточку на протяжении со-
тен километров — свежие, неожиданные, пугающие глаз.
Эвенки, с некоторых пор настороженно воспринимаю-
щие всякие загороди, особенно в нехоженной, глухой тай-
ге, примолкли, ждут худого дела от этого новшества, не
проявляют надлежащего энтузиазма.

Вертолет садится на деревянную площадку в новом
поселке оленеводов. Собаки сбежались, детишки идут-
косолапят, народ из избушек, так-сяк стоящих, выгляды-
вает.

Большой начальник прилетел, бригадира покликнули.

Пришел молодой, грустный эвенк, присел на крыльцо
конторы, хмурится, прутиком себя по сапогу постегивает.
Большой начальник спрашивает: «Почему ничего не де-
лаете? Сидите? Спите? Где олени?». «Там», — махнул
на редкий лиственничный лес бригадир. «Где там? Где
там?» — загорячился большой начальник. «Не знаю», —
тихо уронил бригадир. «Да как же это ты не знаешь?! Ты
зачем здесь?» — «Не знаю зачем...»

На крик перешел большой начальник. Бригадир и во все умолк, опустил голову, прутиком чертит по земле. На лице его полное ко всему равнодушие и тоска, безмерная тоска. Мне показалось, он через какое-то время вовсе слышать большого начальника и внимать ему перестал. Привык. Ко всему привык. Обтерпелся. Собаки вот напугались, отпрянули от крыльца, улеглись, подальше от греха, и тут же задремали, изредка, не открывая глаз, терли себя лапой по носу, прядали ушами, стряхивали редких, совсем их мало беспокоящих комаров. Большой комар и тот улетел следом за оленями, которые, игнорируя новаторский забор, ушли куда-то, бродят себе, едят мох и грибы, спят и размножаются, пока еще без искусственного осеменения, коим измучили, унизили, довели до вырождения обобществленный рогатый скот.

Так мы и улетели ни с чем из неряшливо, как попало построенного поселка, с лужами меж домов, обнажившимися кочками, помойками подле крыльца, пнями-выворотнями, щепой, корой, разбросанным повсюду лесом, досками, недостроенным общежитием для специалистов по оленеводству, которые должны будут жить и наблюдать, как осуществляется программа по науке, по модели, созданной не то в Якутии, не то в Ленинграде, может, и еще дальше от здешних лесов, пастбищ оленей, и коренных жителей — эвенков, потерявших всякую веру в новое хозяйство, отстраненных от векового кочевого уклада жизни, той жизни, которой они прожили века, доказали свою жизнеспособность.

Отупели они от нахлынувшей на них информации насчет новейших достижений и передового опыта, от указаний и криков начальства, от плохого снабжения — дают по банке тушенки на неделю, на семью, крупы, лапши, сахару, оленей есть не разрешают, рыбу ловить не дают, после охотничьего сезона ружья изымают — в лесу ничего не добудешь. Ребятишки все так же, как и до войны, чумазы, но худы, взрослые курят, скрипуче кашляют, плюются...

Снова вспыхнул туберкулез по Северу, сократились средние сроки жизни северян до такой отметки, что и называть вслух цифру стесняются. Зато очень рьяно во всех газетах заступаемся мы за американских и австралийских аборигенов — вот ведь какая у них вопиющая несправедливость — средний уровень жизни американцев повысился до семидесяти лет, а бедные аборигены и индейцы живут всего шестьдесят.

Очень уж любим мы считать кумушек за океаном, но лучше б на себя оборотиться и с толком расходовать те же деньги, ухряпанные на заборы, поселки, моторки, на всякие чаще всего вовсе ненужные руководящие бумаги, институты, которые изучают проблемы Севера, в том числе и медицинские, но не лечат больных. Никто не помогает делом северным народам, но все поучают, наставляют. По северным землям бродят экспедиции каких-то наук, уродуют тундру, гробят леса и растительность, истребляют птицу, зверя, рыбу, портят водоемы, оттесняя все дальше и дальше в горы, в голые пространства коренные народности, губя их пьянством, развратом и безразличием к их судьбе.

Сами же представители этих народностей, выбившиеся на должности, на руководящие посты, ведут себя отчужденно от соплеменников, устраняются от них, знать ничего не хотят об их бедах и нуждах, по сути, ведут себя предательски по отношению к братьям своим и болезненно реагируют на всякие замечания, на всякое правдивое слово о жизни и делах родного края. Стоило писателю Алитету Немтушкину приподнять немного дымовую завесу над жизнью родной земли и родного эвенкийского народа, коснуться больных вопросов хозяйствования, как поднялись кабинетные бури, послышались телефонные вопли, полетели письменные протесты: «Клевета! Очернительство! Непонимание национальной политики! Недооценка новой экономической платформы! Антиперестроечные настроения! Не пускать Немтушкина в Эвенкию!»

Демагогия, она и в тайге, и в тундре той же масти, того же тона и окраски, что и в промышленных гигантах, в столицах и по-за ними — бюрократ везде одинаков и принципы борьбы у него всюду одинаковы, давно испытанные — не пущать и давить!

О-о-ох, вспоминали мы и вспомним, еще не раз вспомним, очень скоро вспомним горькую русскую пословицу: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем...»

В то время, пока кипели и кипят страсти в газетах, журналах, залах заседаний, в застольях, в служебных кабинетах, в домах и чумах местных жителей, уже идут по всей эвенкийской тайге изыскательские работы проектировщиков. Ошеломляюще безграмотная туруханская га-

зета «Маяк Севера» в трех номерах печатает очерк одного из «покорителей» природы, забыв поставить его фамилию. «Покорителя» этого не трогали и не трогают ничьи вопли, стенания, всевозможные высказывания, статьи, собрания, он с умилением, с поползновениями на лирическую литературу пишет как о деле, давно и окончательно решенном, о труде проектантов: «Многоводная Нижняя Тунгуска, пробив своей колоссальной энергией русло, ущелья в крепких скалах... В одном из таких ущелий, в 120 километрах (есть и еще один вариант — 36 километрах от устья) намечается построить небывалой мощности Туруханскую ГЭС — 20 миллионов киловатт. В половодье Нижняя Тунгуска в нижнем течении несет около 50 тысяч кубометров воды в секунду. На «ура» эту реку не возьмешь!»

Вот так вот! Брали, брали на «ура» Каму, Волгу, Дон, Днепр, обуздали все более или менее приметные реки страны, погубили Арал, Иссык-Куль, обезобразили Азовское море, Каспийское море, нанеся ему сокрушительный, штурмовой удар под Кара-Богазом. А теперь вот новые времена, новые песни и «производственные» отношения.

Да только плохо верится в порядок и деловитость отечественных гидростроителей. При громадной удаленности и недоступности Нижней Тунгуски, отсутствии людских и прочих ресурсов «стройка века» влетит в такую копеечку, такой штурмовщиной и приписками может кончиться, что и представить это трудно людям, не видавшим, допустим, окончания строительства Камской ГЭС. А ведь она — птичка-невеличка в сравнении с Туруханским коршуном, который «искогтит» не только весь север нашей страны, но может пустить с молотка всю отечественную экономику — надо себе только вообразить расходы на одно лишь строительство двух- или трехтысячекилометровой железной дороги Красноярск — Лесосибирск — Туруханск. Стройка эта планируется ради стройки, стало быть, временной «транспортной схемой», как ее уклончиво и «грамотно» именует безымянный автор очерка «Первая палатка», суля «высокую экономическую эффективность нового гидроузла».

«Свежо предание...» Такую же вот, не просто высокую, а «сверхвысокую экономическую эффективность» нам сулили от БАМа, песни про это и поэмы слагали. Ныне все умолкло. Ржавеют на БАМе рельсы, и глашатаи-сла-

вословы ждут не дождутся: что бы еще и где бы еще прославить. Но пока они соберутся из столиц, пока снаряжаются на Угрюм-реку — жди, если дождешься, хочется уже сейчас славы, шума, похвал за дерзость, героизм и разворотливость.

Вот и витийствует на серых полосах «Маяка Севера» свой, доморощенный патриот-гидростроитель. Не ведая стыда, о «выгодах» поет и ни слова о том, сколько бед стране и народу нашему нанесли героические преобразователи хозяйства нашего и покорители пространств. Ни нашествие монголов, ни многочисленные войны, бушевавшие на полях России и Украины, даже такие разорительные, как гражданская и Отечественная, не принесли нам столько бед, такого урона, как наши «первопроходцы» и следом за ними ордой кочующие гидро- и всякие прочие ретивые строители.

Разумеется, они родились, возникли и распоясались не сами по себе — их произвела система нашего отечественного хозяйствования, система шапкозакидательства, безответственного планирования, система оголтелого словоблудия, в котором часто тонут и здравый смысл речей, и польза дела — вперед, вперед, не считаясь ни с потерями, ни с запретами, ни с мнением народа, — все для победы! А — «за ценой не постоим»...

Есть слух, что безумный проект — хотя гидростроители и сделали уступки, посулились на сколько-то метров снизить тело плотины и чуть поубавить водохранилище — будто бы не утвержден «в верхах». Пока! Но освободившиеся от строительства Курейской ГЭС землепроходцы ведут в Туру дорогу, шевелятся в лесах какие-то экспедиции, едут разные комиссии в Эвенкию, шныряет по начальству юркий, пробивной народ, и тихим, умиротворяющим валом катится: «Да, будем строить, но Средне-Енисейскую ГЭС. Чисто будем строить. Уступами. Никакого вреда, полная выгода стране, народу, Сибири...»

И опять — в самом красивом, самом недоступном месте, зато — створ!

Ах этот створ, так бы его и перезтак! Ведь упрятал же Создатель дикие ущелья в недоступные, в неприступные дали. Добрались, забрались! «Человек проходит как хозяин...»

Ну и хозяин! Да-а! Еще раз и который раз ошиблась небесная канцелярия, опечатку сделала природа, назначив двуногого зверя хозяином прекрасной планеты, до-

стойной более разумного и вежливого сына, распорядителя и жителя.

Ведь казним, обираем, отламываем куски, запоганиваем моря, реки и пашни не одни мы — со всех сторон, со всех углов ползут по земле безумные и бездумные твари, и за ними тянется черный, немой след — сожженная земля, темное небо, мутные воды, трупы птиц, животных и свои, человечьи, трупы, все чаще и чаще — трупики, изуродованные житьем в поганстве, в пьяном и кровавом утаре, — дети, наше будущее. Земля, планета дошла уже до инвалидного состояния.

Остановись, отринь гордыню, спроси себя, человек, пока еще не совсем поздно: зачем ты явился на этот свет? Жить или в безобразиях, во зле и хамстве подышать пришел на землю? Или помутившийся разум и свету хочет мутного, непроглядного, поганая жизнь и кончины поганой хочет?..

* * *

Некто Терентьев, «инженер-гидростроитель», шлет всем газетам, писателям и журналистам толстые письма, обвиняет их всех вместе в невежестве, отсталости и тупости...

Он, Терентьев, и его товарищи-гидростроители хотят нам всяческих благ, процветания, а мы, неразумные, безграмотные обормоты, никак того не поймем и понять не можем, а может, не хотим.

Передо мной другой Терентьев, Андрей, монтажник, строивший Камскую, Воткинскую, Зейскую и еще какую-то ГЭС. Мы вместе с ним начинали «вход» в литературу, встретились в 1953 году в знаменательный день — день смерти Сталина. Именно в этот день по вызову Пермского (тогда — Молотовского) издательства угораздило меня рано утром отправиться поездом в областной центр, редактировать свою первую книжку. Вагоны старого, еще «камарного» образца, то есть полукупейные, в поездах с тридцатых годов зовущиеся «литерными», были почти пусты. Одна тощая старушка богомольного вида лепилась за столиком и не моргая смотрела прямо перед собой. На станции Лямино, первой от города Чусового остановке, в вагон вошел молоденький лейтенант, и поскольку угренией информации по радио я не слышал, то поинтересовался:

— Что там сообщают?

— Скончался товарищ Сталин, — тихо произнес младший лейтенант.

Бабушка, видать, углядела скорбь на наших лицах, моргнула раз-другой и спросила:

— Что случилось-то?

— Товарищ Сталин умер, бабушка.

— Господи, Господи! — закрестилась старушка. — Опять голод будет...

Пермь — город рабочий, суровый, смертей и горя много на своем веку перевидавший, еще более посуровел от траурных флагов. На улицах малоллюдно, по конторам плач. Плакали в книжном издательстве, плакали в отделении Союза писателей, возглавляемом Клавдией Васильевной Рождественской. Молодые и старые литераторы плакали, литературных дамочек отпаивали водой. И скуластенький, кучерявый паренек силился из себя выжать солидарную слезу, но у него это неубедительно получалось.

Траурный митинг был краток, все желающие выступить после первой же фразы махали слабой рукой и, шатаясь, шли на свое место — не могу, дескать, говорить, повержен горем.

Кучерявый парень и оказался Андреем Терентьевым, уже тогда почти глухим от контузии. Он был холост, и у него велась квартира в деревянном доме, где и написал он свои первые очерки и повесть под названием «Младший лейтенант». С нами был еще один парень, москвич, только что окончивший Литературный институт, отбывающий практику в многотиражке гидростроителей и попутно, на общественных началах, работающий в альманахе «Прикамье». Парень этот был из тех, которые считают, что ежели собрались двое мужиков, да еще к тому же холостых и при них нет бутылки, то и не мужчины они вовсе, а так, недоразумение природы какое-то.

Во всех магазинах и ларьках спиртное было категорически изъято и убрано до более радостных времен. И лишь возле вокзала «Пермь-1» громогласная здоровенная девка в замаранной и рваной от ящиков куртке бойко торговала «огнетушителями» — темными бутылками с красным «портвейном». Была эта девка изрядно поддатая, никакие скорбные вести до ее ларька еще не докатились.

— Во у меня портвей так портвей! — кричала она. — Нарасхват идет!

— Тихо ты, дурал! — сказали мы девке, загружая порт-

фель редактора бутылками. — Будешь хайлать, прикроют тебя...

— Кто прикроет? Кто? Я так прикрою! — И замахнулась на нас страшенной бутылкой девка.

На Камской ГЭС мы подались в рабочую столовку, поскольку у холостяков пожрать дома нечего. Взяли супу, котлет, винегреты, сидим себе, мирно беседуем, и перед нами вино.

— Вон они! Вон они! — вдруг раздался визг в столовой. — Вино пьют! Народ горюет, а они... они с радости пьют.

И тут мы обнаружили, что столовая наполнилась народом, в большинстве своем заплаканным, и протест одного из трудящихся обращен в нашу сторону. Однако мы не стали обращать на все более густеющие, истеричные крики внимания, и дело закончилось тем, что возле нашего стола оказалась «делегация» и заявила, что, ежели мы не прекратим «безобразия», нас будут бить и за последствия никто не ручается. Поразительно было то, что часть «делегации» была пьяна, и куражились на стороне выпившие люди от kloкочущей государственной скорби да еще оттого, что самим негде добавить. Мы возмутились, стали молодецкой стеной и спросили, кто тут собирается нас бить? Давай, пробуй!

На крик пришла знакомая Андрея и попросила нас от дураков подальше идти домой.

Мы проговорили всю ночь в уютной, теплой квартире Андрея и с тех пор подружились. Литература не стала жизнью Андрея, главное у него звание — рабочий — так и закрепилось за ним, но он пописывал и продолжает писать, хотя и мешает ему абсолютная глухота. При Твардовском Терентьева печатали в «Новом мире», вышло несколько его книг в разных издательствах.

Прошлым летом он объявился в Красноярске, в госпитале для инвалидов Отечественной войны. Подлечился, выписался из госпиталя и улететь в свою Зею не может. Поскольку глух, то кричит в разные оконца, документы свои сует, а на него ответно гаркают: «Вы на нас не орите!»

Увез я его в аэропорт Емельяново, по «инстанциям пошел», но ответственные лица из авиаинстанций попрятались кто куда, потому что народу — непробиваемо. Коекак все же уговорил я знакомых женщин из облуги аэро-

порта отправить инвалида войны на самолете хотя бы до Иркутска.

И все время, у меня дома, в дороге, в аэропорту, давний побратим мой по войне и литературе внушал мне, чтоб я не писал о войне «всю правду», потому что она такая позорная, что не надо ее знать нашим детям.

Андрей на два года старше меня и хватил войны на всю катушку. К его голосу стоило бы и прислушаться, но он и про гидростанции не велел писать. «Они нам необходимы, и цель оправдывает средства, да и строить «чисто», если захотим, мы можем. Зейскую ГЭС построили безвредно и «чисто». Правда, тут же и добавил, что Зейское водохранилище всего 70 километров протяженностью и в стороне оно от пашен, полей и городов.

Я долго его донимал давно мучающим меня вопросом: в чем же все-таки дело? Почему мы по разные стороны «баррикады», ведь в одной стране живем, один хлеб едим, за общее дело страдали и страдаем?

— Ларчик, как всегда, открывается просто, — вздохнул Андрей.

И рассказал, что после безобразного завершения строительства Камской ГЭС выдавали им премии и начальнику участка вырешили семь тысяч рублей, а ему, бригадир монтажных, всего 75 рублей. Он унес их начальнику участка и велел подсоединить — «до кучи». А тот ему заявил, что он — честный коммунист и в подачках его не нуждается.

Сколько, какую премию получил Наймушин — начальник строительства, главный инженер, чины и шишки из высоких контор, нам знать не дано. Вот тебе и «рычаг» гидростроительства. Один из главных. Возможно, эту премию уже и отменили, но, значит, придумали, изобрели и действуют другие «рычаги». Материальная заинтересованность это у нас зовется.

Недавно я вычитал и выписал цитату из Карла Маркса: «Природа в такой же мере источник потребительских стоимостей, как и труд, который сам есть лишь проявление одной из сил природы, человеческой рабочей силы» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений, т. 21, с. 33). И еще: «При капитализме природа всего лишь становится предметом для человека, всего лишь полезной вещью; ее перестают признавать самодовлеющей силой, а теоретическое познание ее собственных законов самовыступает лишь как хитрость, имеющая целью подчинить природу

человеческим потребностям, будь то в качестве предмета потребления или в качестве средства производства» (там же, т. 46, ч. 1, с. 387).

Мы все время, в особенности во времена Хрущева, были охвачены зудом догнать и перегнать проклятых капиталистов, которые расходовали и расходуют четыре килограмма сырья на производство килограмма продукции, а мы расходовали и расходует сорок! Теперь можно потирать руки — по части варварской эксплуатации природы и своего народа мы, несомненно, обогнали капитализм и ушли так далеко вперед, что теперь они нас догнать никак не могут, хотя и стараются изо всех своих могучих сил.

* * *

Что за закаты на Виви! Долгие, нежные, разливистые. Вечерами сидел я, усталый, с разбитыми ногами, возле избушки на скамейке, глядя в заречные дали. Там, в отдалении, темнела седловина, покатою катушкой спускаясь к какой-то речке, притоку Виви. Каждое деревце, каждая лиственка на седловине были четко пропечатаны на полотнище алой, прозрачной зари. И нежная прозелень, разливающаяся в небесную голубизну, делала ту ясную даль еще более глубокой и тихой.

Ничто не нарушало вечных пространств и вечерней тишины. Лишь за избушкой, в кустах смородинника и тальника, одинокая, застенчивая птичка роняла нежные звуки: «Ви-ви, ви-ви», — так мне и открылось название «нашей» речки. Купец, вырывший себе яму в яру, чтобы меньше донимали комары, ворочался в земле, смахивал лапой комаров с морды и ушей, отряхивался и, заспанно зевая, пялился на меня — все, мол, спят, а тебе чего не спится? Да неутомонные чайки кричали и вертелись над водой — ворох белых птиц все сгущался, крик делался пронзительней. Чайкам удалось отбить от табунка и отогнать от матери молодого глупого крохалея, и пока они его, нырлящика прекрасного, но еще бескрылого, не добьют, не растеребят, не расклюют — не отступятся.

Редкие когда-то, большие жадные птицы — вороны и чайки — становятся теперь все более агрессивными; исчезает корм в лесах и реках, медведи и те делаются побиршниками и подбиралами, питаются дохлой рыбой на водохранилищах, поедают выброшенные тушки ободран-

ных зверушек вокруг становищ, часто вламываются в охотничьи избушки и разоряют их. В прошлый приезд, будучи на притоке Виви — Янгоде, я насчитал шестерых медведей, шляющихся в окрестностях нашего стана, много огрызанных скелетов соболей валялось вокруг избушки. Охотники тоже стали себя неряшливо вести в тайге, не говоря уже о туристах, «гостях» и разных экспедициях, временно тут проживающих и работающих.

Вечер успокаивал душу, утасающая заря навевала грустные думы, и, глядя на Виви, все думал я о судьбе сибирских рек — Лене и Енисее. Есть еще и такая река — Мана, по красоте и величине она может сравниться с Чусовой-рекой и со многими красивейшими горными реками нашей страны. Она течет встреч Енисею и верстах в пяти впадает в него выше моего родного села, сделав перед этим шестнадцатикилометровый крюк. Возле порога и места, названного Соломенным, стоит гавань, как ловушка, как удавка реки. Стоит с тридцатого года. Тогда и начался на этой реке молевой сплав, и продолжается он по сей день. Уже обрублено все, уже хлам плывет по сравнению с тем лесом, который рубили в первые пятилетки, уже не бывает летами воды в реке, и из-за нехватки рабочей силы загоняют в реку бульдозеры, то с разрешения, то тайком пихают древесину к гавани, где она, обсохшая, прет до осенней воды.

Река убита, испорчена, доведена до полного инвалидного состояния. Почти исчезли по богатым ее берегам звери и птицы, рыбы местной нет. Потолкавшись возле плотины Красноярской ГЭС, пришедшая с низовьев Енисея рыба веснами заходит в Ману, чтоб освободиться от икры. Вымечет ее где-нито, потом плывущим лесом, водометным катером все эти жалкие нерестилища размичкает, размочет, уничтожит. Нынче на Мане пескарю поймешь — радость, а в тридцать четвертом году я, десятилетний парнишка, возле кордона Сосновка за вечер примитивной удочкой-обманкой налавливал ведро хариуса, кормил нашу доблестную семейку досыта рыбой.

Что за бедствие, что за напасть на нашу землю? И все «борются» за чистоту и сохранность рек, лесов и атмосферы. «За землю, за волю, за лучшую долю», как пели мы в детстве.

Но зачем же бороться? Надо вести себя по-хозяйски и соответствовать великому званию — хозяин. И только. Не пили сук, на котором сидишь, не вреди себе, положи

конец самоистреблению, ибо, мордуя природу, пуская ее с молотка, сам ты себе ведь подписываешь смертный приговор...

Вот и вечер наступил. Прохладный, звездный. Потемнела тайга, близь и даль сомкнулись. Стоит тайга недвижно и монолитно. Унялись чайки, только два деревца на седловине еще видны и догорают бездымно в едва тлеющем пятнышке зари, да речка внизу пошумливает, журчит, наговаривает сама с собой. Ей скоро отдыхать, скоро под лед уходить, до весны стихнуть, вот и хочет она наговориться, наплескаться, пожить вольной, беззаботной жизнью. Она не может знать, что где-то далеко-далеко, в тесных городах, в умных конторах, ей, притоку Нижней Тунгуски, тоже подписан приговор, и все, что плавает в ней, шуршит над нею, цветет и зеленеет, должно вместе с нею погаснуть и умереть.

«Я враг небес, я зло природы, и видишь — я у ног твоих», — каялся страшный Демон, представая в облике человеческом перед земной челядью и перед любимой женщиной. Что же делать нам? Перед кем каяться? Кому и как молиться о твоём и нашем спасении, светлая речка?

«Вечно живи, речка Виви. Птичка виви, песню ей пой», — как обычно, на природе от рассолоделости сердца, от умильности и отдаленности бешеной городской жизни складывалось в моей голове что-то душещипательное, благодарное, похожее на песню, но дальше первых строк и жалостных сердечных звуков дело не шло. К нежности и грусти примешивалась тревога, сбивала настрой души.

И потом, когда над головой вертелся, гудел пропеллер вертолета, машина плыла над горами, лесами, и ничего там, внизу, не менялось, все было как было: дали, перевалы, реки, речки, озера, долины с ленточками вечных снегов, недотаявших льдов, все повторялось, как заклятье, как стон изболевшегося сердца, как просветленная молитва грустно притихшего разума: «Вечно живи, речка Виви!.. Речка Виви, вечно живи...»

ЛЕС НЕ ШУМИТ, ЛЕС СТОНЕТ

Из незаконченной статьи

Каждый человек живет по-своему и, наверное, каждый по-своему представляет себе конец света — так загадочно и красиво для русского уха звучащее слово «Апокалипсис», слово греческое, молвленное и писанное отшельником-монахом Иоанном Богословом на острове Патмос в глубокой и беззвучной каменной пещере, буквально называется оно «Откровение Иоанна Богослова о конце света». Сейчас эта обитель является приделом древнего патмосского монастыря, и монахи пробили в пещере отверстие, точнее сказать, отдушину наружу — мокнет от человеческого дыхания и рушится камень, от дыхания и от слез. В закутке пещеры, на выступе, лежит книжечка в вишневом переплете, даже и не в переплете, а между двух пластушинок крашеной кожи, наверное, телячьей, стянутой сухою тилой, тоже, наверное, телячьей. На книгу можно только глазеть, дотрагиваться до этой всечеловеческой реликвии нельзя — слишком грязны и липки от грязи и крови руки человеческие. На уступе горит негасимая свеча, и колеблется, мерцает ее свет от сырости и смрада, выделяемого ртами туристов, толпами клубящихся в монастыре и вокруг него.

В монастыре, в хранилище древних рукописей и книг, в скромной витринке лежит лоскуток кожи, и на нем едва различимы, чем-то розовеньким писанные, знаки — это послание нам от людей или земных существ, только-только овладевающих письменностью и еще не имеющих бумаги.

Послание не прочитано и едва ли будет прочтено — слишком далеко ушло, уехало, ускакало беспечное человечество из тех «безграмотных веков», и вот уже на древнеславянском славяне не читают и не говорят. Японцы ведут две программы по телевидению, ибо торопливая молодежь не желает знать и пользоваться громоздким языком своей страны. Мне посчастливилось слушать Омара Хайяма и Данте на том языке, на котором и которым они творили — это совсем другие стихи, другие поэты, чем те, которых мы читаем и изучаем в переводе — у древлян глубже и чище дыхание и ничем еще не загроможденный звук слова, мелодия стиха. Данте, изгоняемый из своей родной Флоренции, мог слышать вослед лишь проклятия, свист и звук барабана. Современные вольнодумцы, изгоняемые идеологическими праведниками, оглушены звуками моторов и ревом возмущенных людских стад.

Итак, древняя рукопись, послание к нам, составленное из незнакомых знаков, составленных в слова, не прочитано, но есть предположение ученых, что эти почти бесцветные ниточки знаков содержат послание нам вечного мира, добра и веры в Бога. А что же еще могли желать друг другу существа, еще не озверевшие от войн, не оглохшие от прогресса, неискаженным и незамутненным сознанием. Пожелание любить, беречь землю, которую мы травим, жжем, тогда еще возникнуть не могло. Древляне еще не понимали, как можно кусать грудь кормилицы-матери, перерезать ей горло за то, что она верит в своего Бога или же она другого рода-племени. Древляне не понимали, не могли понять, а отшельник-монах уже понимал и, размышляя о конце света, предостерегал нас от безумия, а предостерегая, подавал надежду на будущую, разумную жизнь, ибо только в святом разуме и вечном созидательном труде и молитве есть спасение человека и бессмертие его.

Я сижу на берегу речки Сочур, притока Бахты, впадающей в Енисей, и открывшийся предо мною пейзаж заставляет усомниться в надеждах, оставляемых нам не только Иоанном Богословом, но и многими гениальными умами тех, кого изредка Бог посылает нам и спасает от повального истребления дикарями и безумцами, проповедующими счастливое будущее без Бога и внушающими незрелому человеческому разуму вечную борьбу с тем и с теми, что и кто его окружают.

Мы вступаем в третье тысячелетие. Доживем ли, достигнем ли, перевалим ли?

На исходе первого тысячелетия человеческая поросль, горстка людей безграмотных, только-только различившая тьму, чтоб оглядеться, посмотреть, что за нею, только-только научившаяся строить корабли и отважно на них плавать, хотя и возле ближних берегов, однако хорошо уже умеющая делать вино и пить его, сноровисто кующая оружие и употребляющая его на ограбление ближних земель, начала проникать в уже и отдаленные, человечество это, ютящееся по берегам Средиземного и примыкающих к нему морей, но испугавшись своих тяжких грехов, ждущее второе пришествие Христа и Страшного Суда над собою, впало в страх. Заметьте, не в раскаяние, не в смущение, а в страх!.. И началось такое грехопадение, пьянство, праздность, блуд, и люди позабыли не только, как строить жилища и корабли, они разучились работать на земле, плавать, а ведь плавали уже вокруг Африки, умели воздвигать храмы, дворцы, овладевали первыми навыками письменности, достигли больших высот в искусстве и не только культурном и прикладном, но даже и в духовном развитии.

И вот все остановилось, все обмерло от страха и душевной смуты. Процветало лишь виноделие, и страшная смертность от кровосмешения опустошала когда-то густонаселенные берега морей и материки. Многие подались обратно в пещеры, долбя в мягком туфовом камне дырки для укрытия. Еще не так давно мирные кочевники, скотоводы и землепашцы убегали в глубь Африки, Месопотамии, Оттомании от соседних воинственных племен и народов, селились в каменных пещерах и звались троглодитами. И троглодитами сделались и завоеватели, и завоеванные народы.

Но конец света не наступил. Страшного Суда не случилось. И человечество, медленно и неохотно просыпаясь, приходило в себя после длительного обморока. Из замечательной книги замечательного писателя Стефана Цвейга, который не стеснялся называть себя «жалким подражателем Достоевского», — «Звездные часы человечества», — кто интересуется, сможет узнать, что пробуждение, названное Ренессансом, началось с возрождения искусства, прежде всего живописи, и путешествий. Кругосветное путешествие Магеллана, потрясшее челове-

ство, возбудило в нем дремлющие силы, жажду открытий и познаний.

Да, вновь открытые земли и материки раздвинули не только горизонты человеческих познаний, жажду обновления, но и жадность к обогащению за счет открытых земель, к грабежу, насилию, истреблению богатств, целых народов, и все это закончилось позорнейшей страницей истории человечества — рабством.

Да и закончилось ли? Оглянитесь вокруг, вдумайтесь — рабство приняло более изощренные, более громоздкие и хитромудрые формы. Человек на исходе второго тысячелетия сделался более зависим по сравнению с древлянами — от законов, творимых в защиту незаконных, от прогресса, без которого он не может сделать и шагу, от тех, кто властвует и заставляет погибать в войне за властелина, от тех, кто девяносто процентов Божеских братьев своих заставляет выполнять работу не по охоте и по душе, а против воли и желания своего. И чем дальше, тем больше плоды труда употребляются против него же, человека, назначены на истребление всего живого на земле и в первую голову самого производителя — это ли не крайняя форма рабства? Это ли не главное противоречие нашей современной жизни, опасно и настороженно влекущейся к третьему тысячелетию. Нет, нет, я имею в виду не самую оболваненную, в смрадный, смертный угол загнанную русскую нацию или народы, населяющие затурканную, самоё себя не осознающую Россию. На всех пяти материках нашей планеты идут те же губительные процессы самоистребления, что и во взлохмаченной, изнасилованной вдоль и поперек, бессчетно обсчитанной, обманутой, себя уже почти позабывшей несчастной родине нашей.

Мой близкий знакомый, долго живший в Африке и Индии, редко ввязывающийся в споры о свободе, равенстве и братстве, однажды все же сказал по телевидению расшумевшейся молодежи, что он видел в жизни своей одного лишь свободного человека — это был индус, на нем была набедренная повязка и в руках половина сушеной тыквы — посуда для еды и воды. Все!

Я склонен согласиться, что именно так оно и есть, ибо сам бывал в охотничьих избушках по два-три дня, от силы неделю могу наслаждаться первозданной тишиной, близкой к природе жизнью, но потом тянет уже и радио послушать, телек посмотреть, газеты почитать, окунуться в

атмосферу шумного, проклятого города, в котором когда и истинный-то белый свет — дети уже и не знают, и какое небо над головой должно быть — не ведают, но они рано знают, отчего чешется и краснеет тело, почему душит астма и беспрестанно болит голова, им все еще сдержанно говорят, что в городе нашем, да и во всей стране смертность превышает рождаемость и что это вот и есть конец нации, вырождение народа и исчезновение, уход в небытие, как каких-нибудь полудиких печенегов.

И не надо впадать в недомыслие тех, что ждали Страшного Суда и пришествия Христа. Суд идет уже давно, и вершим мы его сами над собой, никакого нам Христа не надо, да Он уже давно и отвернулся от исчадий Своих, лишь порой грозно напоминает о Себе, карает за тяжкие грехи, то безбожный город целиком с земли сметет, то в геенну огненную целую страну свалит, то содрогнется от военного громовержения, вроде самоизбиения грамоте обученных, но разумом так и не окрепших чад Своих.

Когда-то мне довелось быть в международной компании миротворцев вместе с академиком Сагадеевым — большим знатоком положения дел на земле. Гуляли миротворцы в роскошном банкетном зале и, несмотря на густо шныряющих и что-то для понта вкушающих парней в черных костюмах — главных миротворцев от КГБ, вели по мере налития все более громкие и откровенные разговоры. Вот в порыве откровенности я и спросил у академика Сагадеева вроде как игриво: «А скажи-ка, дорогой академик, сколько нам еще осталось?» И совсем не игриво, грустно академик ответил: «Если мы, все земляне, сейчас, с завтрашнего дня начнем не понарошку, но всерьез разоружаться и одновременно лечить небо и землю, то протянем еще...» — «А если не начнем?» — «Ну, тогда лет сорок, от силы пятьдесят пребудем еще в относительном равновесии, затем начнется необратимое — мы переступим ту черту, за которой уж только неведомые силы...» — «Это что, Бог?!» — «Пусть будет Бог, только неведомые силы будут сохранять землю и жизнь на ней, может, 400 тысяч лет, может, лет сорока, может, четыре года...»

Со времени того разговора прошло восемнадцать лет. Сагадеев, женившись на американке, уехал за океан — там воздух чище и колбаса дешевая, а мы пока живем, но... может, уже доживаем? Кто ответит?..

РОДНОЙ ГОЛОС

Летом 1928 года в устье Губинской протоки вошел пароход «Тобол» и бросил якорь. Штормило. За каменным мысом, замыкавшим вход в протоку, гуляли громадные волны-беляки, яростно хлестали они о камни, с железным звоном перекачивали гальку. Но это там, на Енисее. Здесь же шторм едва ощущался. Медлительные, неуверенные волны только чуть покачивали «Тобол».

Северный ветер-низовка угнал тучи и облака. Незатененное солнце светило упрямо, но не знойно. Табуны испуганных уток проносились над «Тоболом» и падали на протоку и озера. А озер этих поблескивало множество и на крутобоком берегу, и на острове Самоедском. Впоследствии он получил имя Полярный, а заодно с ним так необычно стал называться и первый в истории Севера овощеводческий совхоз.

Близко к протоке подступили леса, приземистые, покореженные суровой стужей, влажной почвой. С северной стороны ели, лиственницы и березки были почти наги. А под этими кривобокими узловатыми деревцами с поврежденной сердцевинной буйно клубились мелколиственные карликовые березки, синели ветки голубичника, чадил одуряюще багульник, отливало на солнце жестяной листвой брусничник и накалялась северная ягода морошка. Прижатые ветром к кустам, гудели тучи комаров и многоголосо кричали долгоногие кулики.

Заполярье. Почти неизведанная, доступная только путешественникам, рыбакам да охотникам земля. Земля не-

тронутая, скованная мерзлотой. В самый разгар лета отвороти лишь пень или слой мха на берегу озера, не поленись — и увидишь эту мерзлоту, чуть рыжеватую, окропленную семенами трав и ягодников, которые никогда не прорастут, если не «осадить» ниже мерзлоту.

Вот сюда-то и приплыла экспедиция на пароходе «Тобол». Приплыла и твердо обосновалась на берегу Губинской протоки, глубокой и спокойной в любой шторм. Экспедицию возглавляли профессор Урванцев и инженер Рюбин. Они промерили входы в протоку, место стоянки кораблей, проделали множество других работ и заложили основание будущего города — порта Игарки, самого северного, самого «деревянного» города, о котором суждено было узнать всему миру и которым гордились все советские люди. Город получил имя от охотника Егорки, избушка которого якобы стояла тогда на месте будущей Игарки.

Быстро рос город, но еще быстрее разлеталась о нем слава по всему свету. Отто Юльевич Шмидт, именем которого названа центральная улица города, сказал однажды: «Игарка видна всему миру, как маяк». Сюда писали письма со всех концов Советского Союза, из многих стран: Максим Горький, Ромен Роллан, Мартин Андерсен-Нексе, ученые, школьники, путешественники, артисты. Все они дивились мужеству заполярников, гордились ими, желали успехов и старались помочь словом и делом. Цинга, морозы, нехватка жилья и многое, многое другое, с чем встретились первые строители в Заполярье, не сломили их воли и упорства. За несколько лет город и порт были построены, лесопильные заводы начали выпускать экспортный пиломатериал. Английские, немецкие, польские, норвежские корабли повезли из Игарки грузы, а вместе с ними и добрые вести об этом городе.

Мне как-то довелось слышать, что Игарка была «ба-ловнем тридцатых годов». Говорилось это в том смысле, что, мол, страна и советские люди давали Игарке все, чем были богаты: и продовольствие, и лучших людей, и, главное, свое душевное тепло, в котором так нуждались игарчане.

Да, советские люди тогда были щедры, они никогда и ничего не жалели для тех, кому трудно, кто находится на так называемом «переднем крае». Не было в первое лето овощей и фруктов в Игарке, и цинга свалила не одного строителя. В следующие сезоны овощей было завезено в

изобилии. Не было доброй одежды — она появилась; не хватало школ, библиотек, клубов — они были построены; нуждался молодой город в специалистах, врачах, учителях, артистах — они приехали.

До сих пор помнят игарчане народную артистку СССР Веру Николаевну Пашенную. Она вместе с группой московских артистов приплыла в Игарку, обосновала здесь драмтеатр, который впоследствии был назван ее именем.

А на острове Полярном, что против порта, кудесничала и творила свой негромкий подвиг ленинградский агроном Мария Митрофановна Хренникова. Долгие-долгие годы выводила она сорта, которые могли бы произрастать в суровых условиях Заполярья. Теперь в Игарке повсюду огороды: и на задворках, и под окнами растет картошка, крупная, урожайная. Этот сорт картофеля называется «Енисей», и вывела его та самая скромная «агрономша» с острова Полярного — Мария Хренникова. К слову сказать, сейчас в совхозе снимаются обильные урожаи капусты, лука, редиса, огурцов. Перед тружениками-энтузиастами этого совхоза стоит задача полностью обеспечить игарчан своими овощами.

А разве забудут игарчане, как по всем деревням и городам Советского Союза школьники собирали книги для ребят-заполярников. Из этих книг была составлена одна из первых и богатейших библиотек города. А доброго дедушку Максимыча, прекрасного друга — Горького, принявшего активнейшее участие в работе над книгой «Мы из Игарки», разве забудут? Нет, конечно, нет, никогда не забудут наших прекрасных друзей из всех краев страны. Они, эти друзья, искренне удивлялись тому, что вот живут ребята в Заполярье, учатся, помогают взрослым, они даже восхищались нами...

Я говорю «нами» потому, что и я жил и учился в те годы в Игарке. И сейчас, когда оглядываешься назад, многое кажется действительно достойным удивления.

Но я буду говорить о другом. Об Игарке знали в нашей стране все. А вот о том, что была в Игарке школа № 12, мало кто знает. Ее помним мы, воспитанники этой школы, как, впрочем, помнит всякий свою родную школу. Но о том, что в этой школе был отчаянный класс 5-й «Б», помнят уже совсем немногие.

Двенадцатая школа стояла тогда на окраине города, над Медвежьим логом, за которым располагалась лесобиржа. 5-й «Б» был крайним по коридору. Из него на

перемену не выходили, а вылетали с шумом, гамом, рыком и воплями ребятишки. Многие учителя на этот класс, что называется, рукой махнули и считали несчастьем великим вести в нем работу. Анна Матвеевна Фишер, добрейшая и терпеливейшая учительница немецкого языка, так прямо и заявила однажды: «Класс никс гут, я откажусь в нем трудица». Но «трудица» Анне Матвеевне все-таки пришлось, ибо, если мне не изменяет память, в ту пору на всю Игарку было два или три преподавателя немецкого языка.

Вот в этом-то классе появился однажды высокий черноволосый человек, еще довольно молодой, порывистый, в очках с выпуклыми стеклами. Он кинул на стол журнал, потер очки, близоруко сощурясь, оглядел нас и представился:

— Рождественский моя фамилия, Рождественский Игнатий Дмитриевич, буду учить вас русскому и литературе.

Я сидел на последней парте возле печки-«голландки» с закадычным другом Мишкой Шломовым. Сидели мы за этой партой уже второй год и развлекались как умели. Мишка шепнул мне:

— Смотри-ка, Витька, учитель-то ни шиша не видит, будем курить за печкой и вошпэ веселиться.

Для начала Мишка дал щелчок впереди сидящему большеголовому мальчишке, которого мы прозвали Глобусом, Потом Мишка спустил тому же Глобусу льдинку за воротник, и тот тоненько заскулил.

Учитель посмотрел на нас как-то до обидного снисходительно и тихо сказал:

— Эй вы, там, на Камчатке, уймитесь, а то из класса выгоню.

Мы встретили это сообщение с удовольствием. Выгоняли нас из класса много раз, и мы всегда весело проводили время в коридоре, мешая работать другим учителям. Однако на этот раз все обошлось, мы благополучно досидели до конца урока и, мало того, «пересидели» звонок, чего у нас раньше почти не случалось.

Уж очень увлекательно говорил новый учитель о русском языке, на котором мы говорим, много в нем замечательных слов, которых мы вовсе не знали.

На перемене Мишка сказал, шмыгнув носом:

— Учитель-то ничего, занятно балакает.

А потом был урок литературы. Вместо того чтобы в

десятым раз спрашивать нас об образе деспотичной барыни, немого мужика Герасима и его любимой собачки, Игнатий Дмитриевич заставил нас читать вслух и смотрел на часы.

— Мало читаете, — заключил он, — вслух, должно быть, совсем не читаете. А без этого ни русский, ни литература у вас не пойдут. Для русского языка одних вызубренных правил недостаточно...

Помню, в тот день я получил от учителя первую похвалу. Я прочитал отрывок из «Дубровского» быстрее и внятней других. Последние года четыре меня только ругали в школе, а тут на вот, похвалили.

В следующий урок мы писали сочинение, и опять не так, как раньше, не на заданную тему. Нет. Учитель разрешил нам писать о том, что мы узнали и увидели летом. Некоторые наши сочинения были напечатаны затем в школьном рукописном журнале, организованном Игнатием Дмитриевичем.

Так вот с этих уроков и началась наша дружба с Игнатием Дмитриевичем Рождественским. Он успевал пройти с нами и программный материал, и выгадывал десяток минут для того, чтобы почитать что-нибудь из новинок, путешествий и приключений, интересовался, что мы читаем дома, и всегда, рассказывая о том или ином писателе, сопровождая свой рассказ множеством стихов, отрывков, вовсе не означенных в хрестоматии, приносил фотографии, открытки, хорошо иллюстрированные книги.

Исчезли из классного журнала эти «пл.» и «очень пл.». Может быть, и «снямали стружку» с молодого преподавателя, может, и внушения ему делали за то, что он не всегда по методике и по соответствующему параграфу ведет урок. Мы этого не знали. Мы были ребята, всего лишь ребята, и, как всякие ребята, не терпели скуки, сухости. Игнатий Дмитриевич учил интересно, и это для нас было главное.

Помню, однажды в конце урока Игнатий Дмитриевич сказал:

— Ну а сейчас, ребята, я вам прочту новые стихи... свои.

Он закрыл глаза и голосом, в котором едва заметно было волнение, начал:

На вездеходах и на самолетах
Вернулись дети в школу-интернат,
Минуло лето в играх и заботах,

Был каждый день событиями богат.
Раскрыты аккуратные тетрадки,
И пишут, пишут в них ученики,
Как первый раз копали в тундре грядки,
Палатки разбивали у реки.
Пасли на взгорьях молодых оленей,
Ходили за белухой в океан.
И не для классных только сочинений —
Для книги хватит летних впечатлений
У маленьких саха и нганасан.
И за окном — шеренги елок важных.
И словно приподняли небосклон
Копры, ряды домов многоэтажных,
И вклинился в болото стадион.
А дальше там... И школьники немножко
Волнуются — мы чувства их поймем,
Там созревает сочная морошка,
Облив траву оранжевым огнем.
Пока сидят ребята на уроке
И пишут от звонка и до звонка,
Для них суда закладывают в доке,
Для них в турбины ринулась река.
Чтоб больше счастья дети повстречали,
Для них, пытливых, братья и отцы
Ведут в тайгу стальные магистрали,
Возводят пионерские дворцы...

Я цитирую и привожу уже отделанные, а может быть, и много раз переписанные стихи Игнатия Дмитриевича. Вполне вероятно, что в ту пору, как и у всякого молодого поэта, они были еще сыроваты и кое-где неуклюжи, но стихи-то были про нас! Мы читали и слушали стихи Пушкина, Некрасова, Лермонтова. Мы любили творения этих великих поэтов, но они писали и про дворян, и про «немытую» Россию, а вот про нас, про Заполярье, про Игарку написал Игнатий Дмитриевич, и нам, конечно же, стихи его казались самыми прекрасными и близкими. Нам даже чуть страшно стало. Как это так, вот учит нас, сопляков, человек, расстраивается иной раз от проделок наших. И на тебе, стихи сочиняет. Здорово сочиняет!

И надоели же, наверное, мы ему потом! Ведь не проходило урока, чтобы кто-нибудь робко не попросил:

— Прочитайте еще свои стихи, Игнатий Дмитриевич, почитайте, а?

И он никогда не отказывал нам. Он дарил нам радость просто, от души. Он читал о строителях, о рабочих, о речниках и, конечно же, о Заполярье, о его цветах:

Они мохнаты, как зверьки,
Цветы высокой параллели,
Их сроки жизни коротки,
Их солнце греет еле-еле.
Они растут у снежных груд,
Их вьюги сочни раз отпели,
И все-таки они цветут
И дальше к полюсу бредут,
Цветы высокой параллели.

Или о том, что «под Красноярском косят травы, за Минусинском жнут ячмень...», а здесь у нас, в тундре, «на яр взобравшись тяжело, не может отдышаться лето, оно в пути изнемогло». Мы узнавали свое житье, свои радости и заботы в них, в этих простых стихах учителя.

В 1941 году Игнатий Дмитриевич выехал из Игарки в Красноярск. Уехал и навсегда оставил в наших сердцах любовь к литературе, к великому русскому языку. Мы тоже подросли и стали рабочими, моряками, строителями, а затем и воинами, сражавшимися на многих фронтах Отечественной войны.

Кончилось детство, беспокойное, бурное детство. Осталось оно в далеком замечательном городе Игарке, где мы неводили рыбу, добывали куропаток, «копали грядки в тундре», трудились над книгой «Мы из Игарки», переписывались с Горьким и Роменом Ролланом, помогали взрослым на лесобирже и в порту, порой огорчали тех, кто давал нам все: и знания, и силу, и любовь к Родине своей, к своему народу.

Наши добрые, дорогие старшие друзья! Пусть эти строчки будут маленьким свидетельством того, что мы никогда не забываем наших добрых и хороших учителей!

Война. Фронт. Громадные расстояния, великие и тяжелые дни разделяли нас с нашим учителем и поэтом. Из-за близорукости он не попал на фронт, но тем не менее всегда оставался в строю. И родной его голос из далекой Сибири доносился до нас, фронтовиков.

Помню, на днепровском плацдарме сидели мы, голодные, отрезанные от наших рек, и вовсе нам не до стихов было. Ночью на плацдарм переправились свежие части. Мы подались к «новичкам» «подстрелить» на завертку табачку. В норке, по-стрижиному вырытой в яру, мелькнул огонек. Я туда. Подхожу и слышу из-за плац-палатки, заграживающей вход:

Всю ночь в тайге буянили метели,
К востоку тяжко пробивая путь,
В снегу завязли стрельчатые ели,
До сорока к утру упала ртуть.
Надели кедры пышные кухлянки,
Сугробами тайга заметена...
Старик рыбак проснулся спозаранку:
«Какой тут сон... Тут, парень, не до сна».
Старик рыбак идет проверить сети.
На Енисее гулко рвется лед:
Тайга оцепенела на рассвете,
Лиловый пар от проруби плывет.
Могучи осетры на Енисее,
И с ними трудно сладить старику,
Но знает он: чем сети тяжелее,
Тем легче земляку-фронтовику.
Туман окутал каменные гряды,
Заря зажгла багряные костры,
Лежат на льду, как грозные снаряды,
Пудовые литые осетры.

Родной, нераскатистый, не цветистый, а простой, чуть суровый голос долетел до далекого Днепра. Долетел — и тепло от него стало. Еще больше захотелось драться с этой непрошеной фашистской ордой, которая на погибель себе явилась на нашу землю. От мала до велика поднялись на нее российские люди. И тот старик, что поднял из-под льда «пудовых литых осетров», тоже участвовал в этой битве, участвовал и поэт, учитель наш. Он тоже боролся в меру своих сил и своего таланта.

Я выпросил тогда у пехотинца газетную вырезку с этим стихотворением и долго таскал ее в нагрудном кармане и читал своим друзьям.

Они часто говорили мне:

— Повезло тебе. Вишь, у какого человека учился!

Я и сам так думаю: повезло. Не всякому дано учиться у такого преподавателя, не всякому дано иметь такого старшего друга. Однако это совсем не значит, что преподаватель истории, географии, русского языка и особенно литературы, не пишущий стихов и рассказов и не собирающийся стать поэтом, не может сделать так, чтобы каждый его ученик говорил потом: мне повезло. Ведь очень легко и просто сказать детям, будто Буревестник Горького — это революционер, а Пингвин — буржуй. Гораздо труднее разбудить в сердцах ребятишек любовь к этому Буревестнику, дать крылья и мечту к полету, бесстрашие к бурям.

И где-то здесь, совсем близко, та тропа, по которой

рядом идут обыкновенный школьный учитель и писатель. У них почти одна и та же задача: звать людей вперед. Вот почему для меня лично поэт Рождественский неотделим от учителя Игнатия Дмитриевича Рождественского, оба они в полете, оба зовут с собой в заманчивые, порой неизведанные дали.

В одном из стихотворений Игнатий Дмитриевич Рождественский сказал:

Я себя не мыслю без Сибири
И без дорогих сибиряков!

И действительно, Рождественского можно смело называть певцом Сибири и, если хотите, сибирским рудознатцем. Давно и прочно он прирос сердцем к своему огромному, необычайно богатому Красноярскому краю.

Это сейчас стало модно и не зазорно даже для столичных писателей и поэтов обращать «свой взор» на Сибирь. В летнее время (зимой в Сибири студено и трудно проехать по ней с комфортом, особенно на север) на самолетах и красавцах теплоходах, преимущественно в каютах первого класса, по Енисею катаются столичные писатели с командировками Литфонда, и частенько открывают давно открытое, и восхищаются тем, что для людей, работающих и живущих здесь, является само собой разумеющимся: «Ах, Заполярье! Ах, мерзлота! И скажите, живут люди, и, знаете, ничего живут, не плачут, и дома строят, и не в медвежьих шубах, а в шелковых платьях ходят, и, понимаете, поют, «Подмосковные вечера» поют! Ах, герои! Ах, покорители суровой Сибири!»

Может показаться, что несколько преувеличиваю эти «ахи», но стоит только поглядеть на путевые заметки писателей, появляющиеся в центральных газетах каждое лето (я еще раз подчеркиваю — лето, ибо зимой в Сибирь писатели не ездят). Так вот, все эти путевые заметки пестрят этими «ахами», этим праздным наивным удивлением заезжих гастролеров.

Но живут в Сибири писатели и поэты, для которых родной край никогда не был отхожим промыслом. К сожалению, до последнего времени их творчеству уделялось, да и сейчас еще уделяется, очень мало внимания. Некоторым из них за признанием нужно было уехать в столицу. Только за последние годы в Москву переехали писатель Г. Марков, С. Сартаков, поэты В. Федоров, Ю. Левитанский и другие.

А сколько поэтов и писателей переехало за это время из столицы в Сибирь? Да и те, что переехали, по справедливому замечанию Казимира Лисовского, считают сей шаг чуть ли не подвигом. Как только сейчас не именуют Сибирь в стихах, поэмах и прозаических произведениях: «Это земля будущего», «Это край завтрашнего дня», «Это передний край»! И слова-то, в общем, верные, но уж больно много в них барабанного треска. Много звона бубенчиков под дугой. А уж чего-чего, но пустозвонства, словолейства, самолюбования сибиряки терпеть не могут, в этом я могу ручаться. Вот потому-то, наверное, и любят в Сибири сдержанные, без броской красоты (именно красоты, настоящую красоту сибиряки всегда умели ценить и понимать, потому что живут они в удивительно красивом краю) стихи Игнатия Рождественского. И потому-то особенно обидно становится, когда мимоходные произведения, заглянцованные, похожие друг на друга, как родные братья, заполняют газеты и журналы и авторы их возводятся чуть ли не в землепроходцев, чуть ли не в героев: шутка ли — в Сибирь съездили!

У поэта Игнатия Рождественского никогда не возникало потребности ездить за жизнью, потому что он сам активный участник той жизни, которую творит советский народ. Несмотря на то, что и зрение у поэта очень слабое, и семья была немалая, и, как в одной из статей газеты «Литература и жизнь» было сказано, «двадцать с лишним книжек у него за плечами», — он неутомим, как в молодости. Ему хочется всюду побывать, все увидеть своими глазами, все пощупать и понюхать. Его все время тянет

...там, на далеком перевале,
Костер, как в юности, зажечь.

Нынче летом мы повстречались с Игнатием Дмитриевичем на Волге, а через месяц — в Красноярске. Поэт уезжал на Лену.

— Не бывал еще там. А хочется всюду побывать, годато уходят.

Да, действительно, годы идут, жизнь идет стремительно, быстротечно. Трудно угнаться за ней, но нужно. Это главная задача литератора, если он не хочет плестись в хвосте и обрастать жиром.

Уже и виски посеребрили годы у моего учителя, у моего доброго друга, уже и ребята его выросли, уже и де-

душкой стал Игнатий Дмитриевич, и внук потеснил деда из рабочего кабинета, а он все такой же порывистый, непоседливый. Все так же вместительна и глубока его память, и он может целый день, а то и ночь читать стихи известных и неизвестных поэтов, живших и давно умерших. Очень редко и неохотно он читает свои стихи. Читает, как всегда, с закрытыми глазами, задумчиво и потом так же задумчиво говорит:

— Еще поработать надо, отграничить. Вот поеду — и в пути, в дороге доделаю. В дороге всегда свежее все получается...

И вот в газете «Правда», где Рождественский работает корреспондентом, появляется очерк с Лены, в столе новые стихи, которые поэт никогда не торопится тащить в редакцию, чтобы «протолкнуть» поскорее, покуда они не «состарились». Голос его по-прежнему молод и свеж, и стихи его не стареют, потому что рождены они молодой жизнью и той землей, которая в самом деле вся в будущем, которая в самом деле рождает утро.

Лена, Диксон, дорога Ачинск — Абалаково, Тува, Хакасия, Усинский тракт, Шушенское, Дивногорск — вот далеко не полный перечень тех мест, где только за последние годы побывал поэт Игнатий Рождественский. Почти ежемесячно в газете «Правда» печатаются его очерки, а затем выходят отдельными книжечками. В 1958 году Красноярское издательство выпустило книжку его стихов о Ленине «Вечно живое сердце», а в 1959 году — поэтический сборник «Енисейская новь».

Поэт верен себе, своей теме. Его последний сборник все о том же — о Сибири, о Енисее, но только еще более широкое, свежее дыхание слышно в нем. Да и как же иначе? Такого строительного размаха, какой развернулся сейчас в родных краях поэта, Сибирь еще не знавала. Если раньше в стихах Рождественского говорилось о том, что «будет море», то сейчас уже речь идет о строителях этого моря:

В хребты, в урочища зимы,
Питомцы незабвенных лет,
Ведем тропу стальную мы
От Абакана на Тайшет.

Как это трудно и как необходимо поэту идти в ногу со временем!

Для Игнатия Рождественского нет иных мук и тревог, постоянно жива в нем страсть:

Край родной окидываю взглядом,
Степи и таежный океан,
И со мной моя Игарка рядом,
И от сердца близко Абакан,
Вижу Бирюсинские утесы,
Горы благодатной Абазы,
Слышу, как гудят многоголосо
Реки, что неистовой грозы.

Да, все вот это видеть, охватить взглядом и сердечно сказать об этом хочется в силу неистощимой внутренней потребности, неискоренимой вовеки привязанности. На его глазах молодеет Сибирь, жизнь исполняет мечты многих поколений тружеников, и мечты эти реализуются нередко в более совершенных формах, чем об этом мечтали! И поэт уверенно говорит:

Корпуса встают могучим строем,
Ни числа, ни счета нынче им.
Все, что мы задумали, построим,
Все, что мы решили, совершим!

НЕТ, АЛМАЗЫ НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ

В детстве я думал, что все алмазы находят случайно, как и монеты на дороге. Идут по горам и долам люди, и вдруг кому-то из них пофартит — он увидит сверкающий среди травы или камней алмаз, цап его — и в сумку.

Много лет спустя был я на драге, которая буквально перегребала дно уральской реки и просеивала через большие и малые решета множество тонн камней, камешков и гальки, прежде чем оставался алмазосодержащий концентрат. Концентрат этот, конечно, не похож ни на гороховый, ни на пшеничный. Он тоже галька, только уже очень мелкая, и где-то в ней есть алмазы. Концентрат упаковывали в ящики, пломбировали и увозили на фабрику, где он, рассыпанный тонким слоем, двигался по ленте через рентгеновский аппарат, и только тут среди миллиардов камешков вдруг загорался алмаз и его наконец-то брали пинцетиком, или, как говорил один лаборант, «принцесом», и доставляли куда надо, и он записывался в план добычи.

Какой огромный труд! Правда, сейчас уже на драгах улавливают алмазы, но все равно, пока дело дойдет до последней операции, надо большую работу проделать.

Когда я вспоминаю, как они добываются, эти алмазы, у меня возникает этакая щемящая мечта: вот если бы и в нашем литературном деле так же?!

Увы, у нас пока, и нередко, бывает наоборот: просеют сквозь критическое решето «концентрат» с алмазами, а булыжник — пустую породу — грохнут на голову автору,

и чаще всего молодому, который еще ни в каких литературных чинах не состоит.

Как-то в «Литературной газете» один критик с этакой степенной неторопливостью положил на решето повесть молодой писательницы и просеял. И как просеял! На решете даже камней не осталось — одна пульпа, этакая жиденькая грязца. Дырявое решето! Алмазники такие решета списывают в брак или ремонтируют.

Ему, этому критику, уже возразили в газете «Литература и жизнь», и потому, что возразили именно в этой газете, я не стану называть имен, дабы не вступать в «междоусобицу», которая так упорно и бесплодно ведется между двумя газетами на протяжении вот уже нескольких лет, и «если одна говорит — нет! Да — говорит другая» — так точно сказано в одной эпиграмме.

Но это к слову. Вернусь к повести. Она мне понравилась как раз тем, чем не понравилась критику из «Литературной газеты». Все его обвинения сводятся к тому, что повесть сентиментальная, что она уж слишком женская и даже имена героев в ней красивые, а в поступках какой-то непорядок: целуются, обнимаются, главная героиня назначает два свидания в вечер! Безнравственность и сентиментальность соседствуют!

Хорошо, что не все от критика зависит и что у повести читателей больше, чем у критической статьи, и читатели, хотя и не все, разберутся, что там к чему. Но вот что грустно. Критик этот, и кабы только он один, совсем не обратил внимания на то, что автором повести является женщина. Ему, как видно, желательно, чтоб она походила на кого-то, не была бы самой собой.

Дело вкуса, конечно. Но мне лично не нравятся женщины, которые рядятся в своих повестях и романах в мужицкую одежду. Больше того, они в жизни-то начинают подражать мужчинам: курят, пьют, говорят басом, надевают на себя шапки и брюки. Встретишь — и не поймешь сразу: женщина это или мужчина. Какое-то двуполое существо!

Небось сам критик в такую не влюбился бы, а вот поди ж ты, надо ему, чтоб со страниц произведений дышала табачищем именно такая «дама».

Может быть, и не стоило бы возражать подобным критикам, если бы корни такой беды не сидели глубоко. Хотел или не хотел того критик, но он навел меня на размышления, обратные тому, что он написал. А может, про-

будил подспудно зревшие думы о том, чего нам не хватает! А не хватает многим из нас нежности. Нет, не слащавости, а самой обыкновенной нежности, которая так нужна людям, особенно людям влюбленным, особенно родителям, да и всем, всем. Стыдиться мы ее стали. А отчего?

Пожалуй, в таких случаях уместней всего сослаться на свой пример. Мне очень часто ставят на полях рукописи замечания: «грубо», «натуралистично», «ой-ей-ей», «ах!», «ну и ну!» и т. д. и т. п.

Сначала я недоумевал, потом сердился и стирал эти замечания резинкой, потом «натуралистично» крыл тех, кто ставит замечания. Но вот вышла книжка, другая, третья, редакторы у них были разные, а замечания все те же. Я стал задумываться: в чем дело? Где собака зарыта? И мысленно перекинулся назад, в тридцатые годы.

Заполярный порт, бараки, общежития, очереди у магазинов, шумные толкучки, вербованные, переселенцы, ссыльные и освобожденные. Все в куче, и всем работы по горло, и еще много-много недостает. Недостает тетрадей и карандашей в школах; недостает преподавателей и воспитателей; радиорепродуктор — редкость; кино — раз в неделю, да и то лента рвется на самом интересном месте; на лесобиржах, на морских причалах работа идет вручную; семьи живут кучно: комната на семью — уже комфорт; транспорта для горожан никакого нет, зато снегу зимой, а летом гнуса до полна. Но живут люди, работают, веселятся по праздникам, обзаводятся потихоньку, строят школы, больницы, детсады, клубы, появляются машины, овощи — отступает цинга. Все это, разумеется, не в один мах, не по-щучьему веленью, как в иных наших книгах, а в трудностях и лишениях, в тяжелой, порою непосильной работе.

И в результате появляются не только машины и дома, но и люди со своим жизненным укладом, со своей моралью, языком и одеждой.

В ту пору танцы, особенно «барские» — бальные или другие, презирались, фискальство, слюнтяйство, трусость преследовались среди ребятишек смертным боем. Появился и буквально хлынул в народ грубый жаргон и соответствующие ему манеры. Тогда были и «стиляги», но другого сорта. У них все было наоборот: брюки чем шире, тем шикарней, рубахи расстегивались настежь, валенки и сапоги загибались до предела, песни были не «импѳтные», а свои — «Мурка», «Гоп со смыком», «Далеко из Колым-

ского края», «Колокольчики-бубенчики» и т. д. И пили тогда не коньяк и коктейли, а водку или брагу.

Но не только внешняя разница есть между прежними и нынешними «стильями». Как правило, «дурели» тогда ребяташки и фасонили лет до шестнадцати, а потом в работу уходили, на производство, и весь «стиль» с них ссыпался, как штукатурка. Работа — она всегда воспитательно действует на людей, она штучек-дрючек не любит, от нее мозоли бывают, а с мозолями какой уж фасон! Впрочем, сейчас появились люди, что и мозолями научились фасонить, и словом «работяга» спекульнуть при случае умеют. Мы этого не умели. И я это ценю больше всего в моих сверстниках.

Но мы не умели и еще кое-чего, и, может быть, не наша вина была в том. Многие из нас не умели и не умеют танцевать, поздороваться как надо, пользоваться столовыми приборами, держать себя непринужденно в обществе, тонко понимать музыку и живопись, завязывать галстук, носить вечерний костюм. Но все это еще не беда, всему этому, будь время и желание, можно выучиться, но вот не умеем мы быть нежными, и чувства, похожие на нежность, маскируем грубостью, всевозможными вывихами, как словесными, так и телесными. Почему?

Говорят, будто это наша национальная черта. Какая чепуха!

Кто ж тогда написал это?

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

А это?

И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;

Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

Как это прекрасно! Дух захватывает! Слезы к горлу подступают от восторга! И это написали ведь русские поэты!

Мне могут возразить, мол, времена-то, дорогой, меняются. Все это я знаю. Но я знаю также, что в основе неизменными остались слова: **любовь, жизнь, красота**, чувство материнства, сыновние и дочерние чувства. Сколько бы ни пыхтели над этим пасмурные тугодумы, сколько бы ни передергивали демагоги и ни подводили под них свои знаки, стараясь заменить чувства арифметическими формулами или цитатами из нравоучительных плакатов и лозунгов, — им не убить в человеке человеческое!

Да, конечно, выражение чувств — словесное и всякое другое — стало и в жизни и в литературе сдержанней. Но всегда ли в книгах наших за этой сдержанностью скрывается искренность и глубина? Нет, не всегда. Неумение заглянуть вглубь, добраться до истинного содержания души человеческой приводит иных литераторов к иносказательности, многозначительным фразам и жестам, и это возводится кое-кому в заслугу, считается чуть ли не новаторством, и хоть недружно, но поддерживается критикой. Критики, конечно, тоже разные бывают. Есть те, что ждут юбилейных дат, маститых авторов или торжественных событий и выступают с умильненькими статьями, в которых восклицательные знаки заменяют все, начиная от здравого смысла и кончая элементарной скромностью. Есть и такие, что похлопывают по плечу молодых, желают им всех благ, но дома у себя в узком кругу друзей запрещают произносить даже имена их, в душе желая им денно и нощно геенны огненной.

Есть молодые, да ранние, те, что анализ произведения подменяют фельетонной бойкостью и трескучими зазвонистыми фразами, «обрисовывают себя», показывают свою «эрудицию» и «влюбленность» в литературу, вовсе не заботясь о том произведении, коего разбор начали. Но в большинстве своем люди, работающие в области критики, искренне радуются каждому новому хорошему произведению, готовы поддержать любой светлый росток и тоже преодолевают свои преграды и свои трудности, которых,

как мне думается, у них не меньше, а, пожалуй, и больше, чем у нас.

Но, к сожалению, есть пункт, на котором «старые» и «молодые» критики сходятся вплотную и, не сговариваясь, выносят единодушный приговор. За натурализм. И что это за такое сакраментальное слово — натурализм! — с которым так тебя, злосчастливого автора, и караулят, так и караулят, и до того докараулили, до того этим словом запугали, что его стали бояться, и герои иных книг перестали не только до ветру ходить, чихать, сморкаться, кашлять, мыться в бане без трусов, но даже есть перестали.

Один писатель в рассказе сделал такую сцену. Дедушка с внуком во время войны дежурили на крыше. Туда упала немецкая «зажигалка». Дедушка и внук закопали ее в песок, и дед, старый солдат, презрительно помочился на бомбу, чем привел в восторг внука и в негодование редактора.

Автора обвинили в натурализме и рассказ сняли. Когда начинаешь защищаться и ссылаться на классиков или чаще всего на Шолохова, поскольку он живой и ближе как-то, тебе с этакой ехидцею делают замечание: «А вы, милый, пока еще не Шолохов и даже не Лев Толстой».

И деваться некуда. И в самом деле не Шолохов и «даже не Лев Толстой», и посему что позволено им, ни в коем разе не позволено нам. Скажете — загнул? Скажете: начал с нежности, а кончил натурализмом? Но это лишнее доказательство тому, как чувства, подобные нежности, не даются мне, и сие меня не утешает, а огорчает и вызывает добрую зависть к тем, кому такие чувства сродни.

Я знаю теперь, может быть, и не до конца, но твердо знаю, какое это сложное и трудное дело литература. В этой трудности и радости и горести наши. Не было бы их, не было бы многих и многих писателей. Литератор, как альпинист, делает одно восхождение за другим, с той только разницей, что альпинисты покорили почти все вершины на земном шаре, а перед нами несть им числа. И нам предстоит долгий и трудный путь, и все в гору, в гору, в гору. А чтобы идти все время в гору, нужно иметь крепкое сердце и здоровые мускулы, да и «запас» в рюкзаке немалый. Если рюкзак этот пуст — далеко не уйдешь, «оголодаешь», как говорят на Урале, и кинешься на подножный корм пощипывать травку.

И как часто в наших произведениях, как в тощем рюкзаке, одна лишь только мелкая травка, да и мускулы у

автора дряблые чувствуются, в сердце одышка. Это у молодых-то!

Тех, кто прошел войну и кому уже под сорок, как-то неловко называть молодыми, тем паче что и в литературе они работают по десятку, а то и более лет. Просто в силу бывшего, да и поныне кое в чем бытующего деления на «столичных» и «периферийных» писателей этих так называемых молодых «открыли» лишь недавно, либо они сами «открылись» ввиду созданной более благоприятной обстановки в нашей литературе. И я думаю, что наибольшие трудности переживаем мы, те, кому за тридцать. Как-никак все мы помним, что Пушкин погиб в тридцать восемь, Лермонтов в двадцать семь, Писарев лишь на год позже, — и они успели столько сделать!

А мы что?

Этот вопрос, наверное, мучает не одного меня. И я не знаю, завидовать или нет тому, кого он не мучает? А есть такие, есть, нечего греха таить. Сделал одну-две книжки «на уровне», да так на этом уровне, как на старинном безмене, и покачивается. Наверное, таким легко! И пусть не обижаются на меня те, кому не под сорок, а еще только под тридцать, им тоже легче. Они перед миром — как перед распахнутыми дверьми: иди, удивляйся, дыши, впитывай! Мир широк, и перед тобой будущее, за спиной память о военном детстве и о потерянных отцах. Верный компас эта память!

Что у нас за спиною? Много груза, нелегкого и громоздкого: первые пятилетки, первые стройки, тридцатые годы. А там война, а там послевоенные годы, не менее трудные и не менее сложные. Как оглянешься назад, дух захватывает от обилия материала, событий, испытаний и жизненных впечатлений. Но отчего это бывшие фронтовики-писатели могут целыми ночами потрясающе рассказывать о войне в кругу друзей и бледнеет, стандартизируется их рассказ, как только дело доходит до бумаги? Да, есть у нас «Звезда», «Пядь земли», «Последние залпы», «Живые и мертвые», и, по моему мнению, несправедливо руганный рассказ Ю. Нагибина «Деляги», и другие хорошие произведения.

Но попробуйте мысленно вынуть даже из лучших книг о войне батальные сцены, и что от них останется? Как будто война — это только бои, бои, бои и ничего больше. Но в таком случае после последнего выстрела все встало бы на свои привычные места и след войны не был бы тем

неизгладимым следом, который остался в нашей душе и как-то, да это и неизбежно, не отражался на психике и жизни наших детей и всего нашего общества. А работа? Ведь вся война состоит из непостижимо тяжелой работы, порой непосильной, такой непосильной, что в другое время ее и не одолеть бы. Под выстрелами же и разрывами поднимаешь и непосильный груз.

И солдат был в этой работе всечасно.

Мне кажется, что мы еще только подходим к настоящему и глубокому осмыслению такого грандиозного события, потрясшего мир, каким была Великая Отечественная война, и для многих из нас тема ее была и останется навсегда современной. И очень радуют такие великолепные произведения, как поэма Егора Исаева «Суд памяти», как блестящий фильм «Баллада о солдате». Кстати, в той и в другой вещи почти нет батальных сцен, и тем не менее они потрясают больше, чем иные пропахшие порохом и кровью произведения литературы и кино. Крепки они прежде всего мыслями и чувствами, заложенными в них, а вовсе не грохотом боев и количеством подожженных танков.

Вернусь, однако, к началу разговора. Трудно и долго искало путь даже не нежное, а простое гражданское чувство в наши сердца, огрубевшие на войне. Лично я никогда всерьез не принимал поэтические возгласы о том, что в битве мы стали нежнее. Это, видимо, пишется о тех, кто был во втором или третьем эшелонах. А на передовой не было никакой базы для такого чувства и полный простор для противоположных ему. И то добро, что не опустились, не озверели. Крепка, видно, закваска была!

Но дурно представлять нас, фронтовиков, чуть ли не святыми. Мы ж были людьми прежде всего. А человек уж так устроен, что ему сначала спать хочется, потом есть, потом выпить, а потом еще кое-чего. И отсюда множество всяких отклонений от того стереотипного «героя», который много лет бродил, да еще и сейчас порою бродит, в книгах о войне.

Если бы все обстояло так, как изображается в литературе, то надо предположить, что военные трибуналы существовали зря, а штрафные роты образовывались по какому-то существу недоразумению, и в них «искупали вину кровью» сплошь невинные люди.

Мы увезли с фронта не только груз потерь и утрат, тяжесть гнетущих окопных воспоминаний, а также и па-

мать о тех несправедливостях, которые не раз обрушивались прежде всего на солдатские головы.

Но мы умели переносить лишения и научились понимать, что «там в тылу» еще труднее, и хоть крыли «боевыми словами» старших себя по чину, но дело свое делали, как известно, делали его не всегда с блеском, однако выполнили свой долг до конца.

Я считаю, что самая правдивая книга о войне еще только пишется, и она будет без дозировки: «сто граммов положительного и пятьдесят отрицательного». Для правды еще никто гирь не придумал, да и не придумает, полагаю.

Так вот с этим «грузом» и вернулся я с войны. Да и один ли я?!

А тут такая жизнь началась, что и вспоминать о ней не хочется. Право, бывали в первые послевоенные годы такие дни, когда я жалел о том, что меня не убили на фронте.

В сорок седьмом году мы с женой, тоже недавно демобилизовавшейся, жили в старом, полуразвалившемся флигеле. Как-то я прибежал на обед раньше ее, быстро нарубил дров — и во флигель, варить картошку. Распахнул двери, да так и застыл с охашкой дров на пороге.

По флигелю разносился голос певца, и такой раздольный, и так он здорово заливался, что мне казалось: сейчас наш старый клееный репродукторишко рассыплется в прах. Но «сооружение» сдюжило, и голос певца сотрясал нашу халупу.

И виделось мне синее-синее море, и он, певец, в лодке среди ослепительных волн, и где-то на далеком берегу, тоже облитом солнцем, вся пронизанная лучами девушка, а вокруг такой изумительный, такой светлый мир!

Я сидел и слушал, забыв про картошку и про все на свете. Мне кажется, тогда души моей коснулась впервые нежность, и война для меня кончилась хотя бы наяву.

Я знаю нескольких бывших фронтовиков, которые так или иначе сократили свою жизнь. Верю, что, если бы они хоть раз слышали того певца, Джильи, они бы больше ценили и любили жизнь.

Он бы уберег их от беды, как уберег в свое время меня, наново открывши мне тот мир, которым я грезил в юности и о котором постепенно забыл на войне.

Прекрасное, оно способно воскресить человека, оно проникает в самое сердце, где и хранятся настоящие чувства, а сверху ведь только оболочка, самое же ценное глу-

боко упрятано, и его мы почему-то стыдимся и выказываем лишь своим детям, да и то пока они ничего понимать не умеют.

Все остальное: чуткость, доброта, умение быть ласковым — это лишь продукт затаенной в нас нежности — неоценимого человеческого качества, без которого мы не имели бы трепетной музыки, прекрасной живописи, книг, стихов, поэм, при чтении которых закипают в горле слезы. Мы довольствовались бы маршами да схемами военных уставов.

Но память о войне не умерла в нас, и о войне многие из нас начали писать. На первых порах было как-то проще: выхватил боевой эпизод или кусочек биографии — написал. И читателю приятно, и тебе любо. Все есть: и бой, и подвиг, и любовь, и ненависть. Но эпизод так и остался эпизодом или кусочком биографии.

Однако проходят годы, и возникает внутренняя потребность не просто рассказать о виденном и пережитом, но и осмыслить его. Осмыслить глубоко, масштабно, не с узкой собственной точки, а с общечеловеческих позиций — и тут-то начинается буксовка.

Да, за последние годы в нашей прозе и поэзии немало достижений, и особенно в области короткой повести. Отличные есть повести, им воздано должное, и нет надобности их перечислять — перечислениями у нас и так пестрят газеты, и особенно передовые статьи в них.

А где же наши широкие полотна? Они есть. Но широки они чаще всего по листажу. Почему же происходит такое?

Запас жизненных наблюдений, материал, наконец, степень какого-то писательского мастерства накоплены, а не получается вот так, как в голове иной раз получается — и глубоко, и здорово, и смело, и масштабно. Какие-то тормоза стоят внутри и со скрипом, со скрипом отодвигаются.

Может быть, мы сейчас лишь подходим к этому самому мастерству и начинаем по-настоящему мучиться? Ведь преодоление себя, воспитание писательского характера, умение видеть мир собственным взглядом и осмыслить его собственной головой — это тоже мастерство, а не только выбор языковых и изобразительных средств, кои дают порою основание называть иных литераторов мастерами. Но это далеко не все, это, если на то пошло, лишь подход к мастерству, первые буквы в алфавите, первые азы.

Как часто в наших книгах человек изображается в одной-двух плоскостях. Найдем какую-нибудь характерную черту в облике героя, в его характере — и до конца повести, чаще рассказа, эксплуатируем эти две-три черты, а то и всего лишь штриха. И говорят герои «похоже» друг на друга, разве что словечками какими-нибудь отличаются.

Но ведь мы тоже числимся в «инженерах человеческих душ»! Скромничать нечего, назвался груздем! И нашей задачей является изображение человека всесторонне: с птичьего полета, и с земли, и изнутри, и снаружи. Никто нас от этого не освобождал, мы сами дали себе такую поблажку, и вот получаются книги по пословице: «Сбил, сколотил — есть колесо! Сел да поехал — ах хорошо! Оглянулся назад — одни спицы лежат!»

Спиц сзади нас много, да колеса-то можно по пальцам пересчитать.

Нам надо «расковаться», нам нужно обрести крылья для высокого полета, нам пора говорить в полный голос обо всем, что мы знали и видели, видим и знаем. Пора, давно пора поговорить о том, что у нас «наболело», о том, что мы пишем и чем мы дышим.

Дышать в литературе стало легче, но это не значит, что все уже сделано и все препоны на пути к созданию высокохудожественных произведений сняты. Перестраховка, оглядка назад, желание «приставить» к кому-то, сделать на кого-то похожим еще живы в некоторых наших издательствах и редакциях журналов. Они сбивают с панталыку, задерживают рост писателя, не дают ему возможности расправить крылья в полный размах.

А бескрылость, похожесть — особенно противопоказаны молодым. На то они и молодые, чтобы нести молодое, свежее, пусть спорное, но свое. А у нас еще очень и очень любят баюкать пусть слабое, но бесспорное, приемлемо благополучное «творение» и часто косятся на того писателя, который ищет, мучается и в поисках делает ошибки.

Создается впечатление, что слова: «На ошибках учимся» — считаются устарелыми и неприемлемыми. Но не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает. И еще вот что. Мне думается, постоянный, почти набатный призыв писать о современности и только о современности не всем оказал добрую услугу.

Наша критика единодушно закрывает глаза на то, что

не всякий художник может быть современным, а точнее, ультрасовременным, ибо под критерией современности у нас нередко подводятся лишь те произведения, которые пишутся по горячим следам событий. Есть немало случаев, когда в погоне за мнимой современностью автор отпикивает от себя тему и материал, который ближе ему, дороже, и вместо высокохудожественного произведения, которое он мог бы сделать, выдает скорородку.

Забывать о том, что наряду с остросовременным Тургеневым работало и немало других художников, и работали они над тем, что выстрадала их душа, не следует. Эта забывчивость приводит к спринтерству, уместному в спорте, но не в литературе, к узкотемью и скудомыслию. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что за последние десять лет каждая пятая или шестая книга наших писателей имеет прямое отношение к геологам. Любители терминов наряду с терминами «сельскохозяйственная» и «рабочая» литература могут смело включать еще один — «геологическая».

И не надо хмурить лбы и искать глубокомысленные причины и обтекаемые объяснения тому. У геологов работа эффективная. У геологов опасности и романтика, правда, зачастую придумываемые авторами, и, кроме того, путь к геологам в литературе проторен. Геологи, как по команде, опрокидываются из лодки на бурной реке либо попадают в лесной пожар, даже поздней осенью, когда таковых в тайге не бывает, и утрачивают, простофили, все: ружья, спички, продукты, правда, иногда им оставляют один патрон и одну или семь спичек, и геологи начинают «героически» погибать. Погибают медленно, как в опере, с красивыми словами.

Какая это неправда и фальшь! Ведь плюются геологи, читая «про себя» такие боевички. И это современность? Да это не что иное, как уход от современности, подделка под нее, стремление упрятаться на узких геологических тропах и в глухой тайге от жгучих вопросов повседневной жизни.

Верхоглядство при спешке неизбежно. А спешка — основная беда большинства наших нынешних книг. Некогда подумать, некогда всмотреться, взвесить. И вот результат: почти половина героев в книгах последних лет живет и работает на Братской ГЭС. Сколько же народу живет и работает на Братской ГЭС? Миллион, два, двадцать миллионов? Ну а как быть с остальными двумястами миллионами?

У них что, пустая, неинтересная жизнь? Они ничего не делают, что ли? Не влюбляются, не умирают, не переживают трудностей, не творят? Возгласы о том, что только лишь там, на Братской ГЭС, и есть передний край, звучат неубедительно, ибо для истинного художника, как известно, передовым краем могла быть и Полтавская битва, и частная убогая мастерская, где сделали редкостную шинель.

А вот у нас навалились дружно на ГЭС и пошли штурмовать «остросовременную» тему о том, как один парень или одна девица заработали там свой хлеб и как, оказывается, трудно его зарабатывать.

Но этот хлеб уже тыщи лет добывается потом и трудом, и нам ли, нашему ли обществу, созданному прежде всего для созидательного труда, умиляться теми «героями», кои вдруг на двадцатом или на двадцать пятом году жизни сделали открытие, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда?!

Иной художник в книгах о гражданской войне либо о первой пятилетке выглядит куда современнее, чем тот, который сверяет свое творчество по календарю, а со страниц его произведений сыплются пудра и нафталин прошлого века.

Надо наконец со всей серьезностью сказать, что понимание современности у нас сузилось до календарных рамок. Наиболее современными стали те книги, которые выходят в третьем квартале года, а действие их развертывается в первом.

Увы, были такие. Еще не успели газеты раскритиковать травопольщиков, как уже появилась о них повесть, а затем, кажется, и роман, не говорю о рассказах и стихах.

Не могу удержаться, чтобы не привести хоть и длинную, но очень, как мне кажется, полезную цитату по этому поводу из Писарева, хотя цитат и не люблю: «В каждой литературе, достигшей известной степени зрелости, появляются такие произведения, которые соглашают общечеловеческий интерес с народным и современным и возводят на степень художественных созданий типы, взятые из среды того общества, к которому принадлежит писатель. Автор такого произведения не увлекается современными ему, часто мелкими, вопросами жизни, не имеющими ничего общего с искусством; он не задает себе задачи составить поучительную книгу и осмеять тот или другой недостаток общества или превознести ту или дру-

гую добродетель, в которой нуждается это общество. Нет! Творчество с заранее задуманною практическою целью составляет явление незаконное: оно должно быть представлено на долю тех писателей, которым отказано в могучем таланте, которым дано взамен нравственное чувство, способное сделать их хорошими гражданами, но не художниками. Истинный поэт стоит выше житейских вопросов, но не уклоняется от их разрешения, встречаясь с ними на пути своего творчества. Такой поэт смотрит глубоко на жизнь и в каждом ее явлении видит общечеловеческую сторону, которая затронет за живое всякое сердце и будет понятна всякому времени».

И далее: «Так смотрит поэт на явления своей современности, так относится он к различным сторонам своей национальности, на все смотрит он с общечеловеческой точки зрения; не тратя сил на воспроизведение мелких внешних особенностей народного характера, не дробя свои мысли на мелочные явления повседневной жизни, поэт разом постигает дух, смысл этих явлений, устраивает себе полное понимание народного характера и потом, вполне располагая своим материалом, творит, *не списывая с окружающей его действительности, а выводя эту действительность из глубины собственного духа и влагая в живые, созданные им образы одушевляющую его мысль*» (выделено мною. — В. А.).

Я знаю, что есть более памятливые цитатчики, чем я, и они способны покрыть Писарева «kozyрями». Но, право, это очень умные и очень современные слова, а мудрое глупо оспаривать, его лучше осмыслить — от этого будет больше проку.

В конце статьи мне снова хочется вернуться к алмазам. Первый русский алмаз был найден четырнадцатилетним каталом золотого прииска Павлом Поповым в пригороде Чусового Пермской области на Кресто-Воздвиженских промыслах, принадлежавших баронессе Полье-Варваре-Бутэро.

Как-то поехал я в поселок промысла добратся «до корней» этой находки. Каково же было мое изумление, когда ко мне явились восемь древних дедов и каждый из них заявил, что это он нашел первый алмаз, и требовал, чтобы я «составил бумагу» в Москву на предмет получения «особой пензии».

Поскольку дедов было восемь, а алмаз первый всего был один, промеж дедов началась перепалка, которая закончилась совсем неожиданно.

Один из дедов, коренастенький такой, зеленобородый, девяносто восьми лет от роду, топнул ногой и сделал «реюме»: если, дескать, на то пошло, он выскажет суть, а суть, мол, такова, что никакой ни Попов, ни я, ни вы, «глухие пенья», а покойница Ермачиха нашла «ентый алмаз в зобе у курицы, когда зарубила ее на похлебку».

Шире — дале, деды пластаются и высказывают каждый свою «суть», и выясняется, что алмазов этих они по дурости перевели множество. Не умея отличать алмаз от топаза и прочих «блискучих» камней, они каждый найденный минерал клали на наковальню и лупили по нему кувалдой. Рассыпался — значит, не алмаз, не рассыпался — алмаз.

За подарок царице в день ее именин первого русского алмаза Полье-Варваре-Бутэро был жалован высокий титул графини, а Павел Попов был крепостным до того, как нашел алмаз, крепостным бедолагой и остался, да так и умер в нищете. Но всё же находка его оказалась бесценной и более сотни лет спустя сослужила большую службу нашему народу.

Вот так бы нам всем — литераторам и критикам, живописцам и режиссерам, музыкантам и актерам, — не думая об «особой пензии», научиться отыскивать алмазы в недрах нашей сложной и кипучей жизни, отдавать их в руки труженика-народа.

А для этого надо работать, много работать, копать в самом главном русле жизни, а не рыскать около берегов. Туда алмазы заносит редко. Они тяжелы. Их несет сильным стержневым потоком, и добраться до них нелегко!

...Вот поставил я точку и задумался: не самонадеянно ли звучит статья? Не перегнул ли я? Не много ли на себя взял? Нет ли в ней неуважительного тона к собратьям по перу, и особенно к старшим? И не мне, наверное, следовало говорить обо всем этом. Есть писатели и старше, и умнее, и опытнее меня, они бы лучше, наверное, сказали.

И вообще, может, положить статью в стол и никаких тебе тревог и волнений.

Но когда-то ж надо одолевать свою внутреннюю робость, которую часто путают со скромностью, и говорить все, что думаешь и хочешь говорить. От этого, возможно, будет польза, и, надеюсь, не мне одному.

БЕСЕДЫ О ЖИЗНИ

Мне было передано для ответов пермской газетой «Молодая гвардия» восемь вопросов.

Часть из них требует обстоятельного разговора, а на некоторые вопросы можно ответить коротко. Поэтому я дам сначала ответы на них, а потом уж примусь за (признаюсь сразу) трудные для меня вопросы.

Но прежде чем взяться за дело, я напому и себе, и читателям слова Горького о том, что нужно человеку много знать, многое изучить, изведать, выстрадать, прежде чем он получит право — не учить, нет, а лишь осторожно подсказывать.

Поэтому, все, что будет здесь сказано, — не поучения, не руководство к действию, а субъективные и потому, быть может, и не всегда правильные советы и раздумья старшего вашего товарища.

Вопрос, заданный библиотекарем Зиной Шипигузовой: «Какое самое любимое Ваше произведение советской литературы?»

Поэма Василия Федорова «Проданная Венера».

Вопрос, подписанный «Заочница»: «Что нужно, чтобы стать хорошим педагогом?»

Любить свое дело больше, чем самое себя. Не подражать ни в чем учителям, которые Вас плохо учили. Уметь думать.

Вопрос учащейся Л. И. Давиденко: «Роль библиотекаря в пропаганде литературы велика. Как Вы относитесь к библиотекарям?»

К хорошим библиотекарям отношусь хорошо, к плохим — плохо. Роль библиотекаря в пропаганде книг, конечно, велика, но уж слишком казенно, по «методикам-сценариям», спущенным сверху, ведется эта пропаганда, поэтому беседы, обсуждения книг, так называемые читательские конференции во многих библиотеках проходят скучно, читатели на них «выступают», а не просто говорят свое мнение. Считаю, что наличие огромного количества книг в библиотеке, пусть и мудрых, не освобождает библиотекаря от самостоятельных мыслей и поступков.

Вопрос библиотекаря Безматерных: «Будете ли Вы что-нибудь писать для детей?»

Для детей я всегда пишу со светлой радостью и стараюсь себя всю жизнь не лишать этой радости.

Вопрос рабочего зоосада В. Красильникова: «Может ли плохой человек быть хорошим писателем?»

Как правило — нет. Однако бывают и исключения из правил. Но доставшееся от природы человеку, низкому, подлому, дарование мельчает, талант поражает какая-то внутренняя ржа. Чаще всего такие писатели дарование свое разменивают на пятаки, а жизнь кончали и кончают мерзко.

Вопрос А. Баяндиной: «Как возникают сюжеты Ваших произведений — случайно или Вы их ищете в жизни?»

Вопрос этот часто задают на встречах читатели, и, я полагаю, ответ на него интересует многих людей, поэтому отвечу подробней.

Единственная моя попытка писать по сюжету литературному, что ли (имеется в виду мой рассказ «Могила ее неизвестна»), по-моему, была неудачей. Но что значит — искать сюжет в жизни? Сюжет не грибы, и искать его, для меня например, дело бесполезное. Чаще всего сюжет, если так можно выразиться, сам меня находит. Каждому сюжету надлежит быть неповторимым, всегда неожиданным, поражающим своей необычностью, новизной. Другое дело, что «новизна» эта иной раз одного писателя только и поражает, ему только новой и кажется. Это лишний раз доказывает, что человек, которому не мнится, что он первый открывает мир и все в этом мире, за перо браться не должен. Всякий писатель обязан открывать «свою Америку», иначе он — ремесленник, повторяющий кого-то, ракушка, приставшая к чужому кораблю.

Мои сюжеты чаще всего приходят из воспоминаний,

то есть из тех времен, когда я писателем не был и не знал, что им буду, следовательно, и сюжетов искать не мог. Бывает, что сюжет рождается всего лишь из одной «детали» какой-нибудь. Например, рассказ «Ария Каварадосси» возник оттого, что в 1944 году на фронте я слышал, как ночью в окопах пел кто-то. Пел не арию, а тянул на всю передовую протяжное что-то, и все вокруг смолкло постепенно. Рассказ «Сашка Лебедев» почти точно воспроизводит одни сутки, проведенные вместе с одним раненым. А Генка Гуцин из «Дикого лука» почти весь придуман.

Прошлой весной я встретился на охоте с человеком, который показал мне ружье, купленное у солдатской вдовы. Она двадцать лет хранила это ружье. Я представил себе эту женщину, эти ее двадцать лет надежд и ожиданий и, наконец, продажу ружья — и получился один из самых моих печальных рассказов «Тревожный сон».

Но с сюжетом бывают и неожиданности. Например, я хотел написать небольшой этюд для ребят о деревенской завозне, но этюд этот вдруг начал писаться дальше, все, что было написано о завозне, оказалось ненужным. И я эти исписанные листы выбросил. А дальше пошло-поехало, и получился рассказ о стороже завозни. Рассказ этот называется «Далекая и близкая сказка». О завозне в нем осталось лишь упоминание. Повесть «Стародуб» сначала задумывалась вовсе не повестью и не с этим названием. Это должен был быть рассказ о браконьере. И я было его уже написал. Но потом все написанное также выбросил и стал писать дальше, другое и о другом. Мысли о браконьере оказались той пристанью, от которой я лишь отчалил в повесть. Сюжет же, кроме всего прочего, еще должен быть по душе писателю, соответствовать его характеру, творческому направлению и стилю. И не надо думать, что писатель, берущий сюжеты из самой живой жизни, есть доподлинный писатель, а тот, который выдумывает, — так себе, вроде факира.

Александр Грин прожил тяжелую жизнь, богатую столькими сюжетами, что их хватило бы на целую роту писателей. Но все сюжеты своих произведений он выдумывал, и мы, читатели, благодарны ему за эти чудесные романтические выдумки; и, я уверен — еще не одно поколение людей будет со сладким, волнующим замиранием сердца плыть под его «Альми парусами».

Остаются два вопроса: «Почему в современной совет-

ской литературе нет героев, подобных Павке Корчагину?» — его задал читатель газеты Валерий Чердак. И — «Каким Вы представляете нашего современника?», заданный учащейся культпросветучилища Л. Кисляковой.

Оба вопроса я объединяю, потому что второй вопрос, как мне кажется, логически вытекает из первого.

Сотни раз повторенный читателями нашими и критикой нашей вопрос о Павке Корчагине я считаю несколько устаревшим и демагогичным, ибо предполагаю, что все русские люди знают русскую поговорку: «Каждому овощу — свое время». Задается этот вопрос чаще всего как укор нам, писателям, «не сумевшим», «не увидевшим» и т. д. А критиками, преимущественно демагогами, подхватывается для «обострения» дискуссий.

Я веду прямой разговор, иначе не взялся бы за эту статью! Я считаю, что тоже имею право на вопросы, потому и задаю один вопрос Вам, товарищ Чердак, и всем, кто любит спрашивать про Павку Корчагина: «Возможен ли нынче герой, подобный Павке Корчагину?»

На мой взгляд, невозможен и, более того, не нужен.

Героя формируют не писатели, а жизнь, история, и каждый исторический отрезок времени характерен своими героями, то есть, как говорилось выше: «Каждому овощу — свое время». Еще не хватало вопросов о том, почему нет в современной литературе образа, подобного протопопу Аввакуму. Тоже ведь борец, герой, да еще какой герой! Идеальный!

Если бы мне был задан вопрос о том, почему в нашей литературе мало таких героев, как Герман Титов и Алексей Леонов, а в мировой литературе таких, как Сент-Экзюпери и Джим Корбетт, я бы ответил на него без налета раздражения, а с грустным вздохом, сознавая и свою в том виновность, потому как, любя таких героев, считая их той каплей, в которой, как в солнце, отразилось наше сложное и могучее время, я и попытки не делаю подступить к ним. Но это не значит, что я да и все наши писатели не думают о них, не восхищаются ими, не мечтают написать о них.

Однако настоящий, большой герой требует настоящего и большого отображения. Он как скала — голыми руками его не возьмешь! Нужны современные «инструменты» — я имею в виду современный уровень мышления, современную художественную форму, короче говоря, со-

временную голову, способную мыслить на уровне, а желательно и выше этих новых героев.

Есть писатели, которые поступают проще, — они не пишут о больших, настоящих людях, а берут себе что попроще и полегче и оттого заселили книжки наших молодых современных писателей вихляющиеся мальчишки, говорящие и действующие по образу героев иностранных фильмов, преимущественно дрянных, потому что и за границей есть масса прогрессивных, настоящих людей и не все так называемые положительные герои живут и работают только у нас. Я уже называл как примеры Сент-Экзюпери, Джима Корбетта.

Налицо как будто одно из противоречий литературы, и не только нашей. Писатель, которому ближе идеальный современник по складу своего мышления, жизни, внутренний мир которого, сформированный одним и тем же временем и событиями, должен быть сродственным ему, уклоняется от его изображения. Иные делают это из боязни оскорбить упрощением любимого героя, а иные отворачиваются от него цинично. При этом я не беру в расчет халтурщиков и людей в литературе случайных, которым все равно, о чем писать, лишь бы печатали. Нет, очень даровитые, остроумящие молодые литераторы вместе со старшими товарищами по труду смотрят на настоящих героев с открытыми ртами, но пишут о людях маленьких, простых, а зачастую и простеньких. Попытки взять масштабный характер, показать современного человека во весь рост делаются, и порой не без успеха. Я считаю большой удачей нашей литературы образ профессора Вихрова из «Русского леса» Л. Леонова, героев книг Даниила Гранина, нагибинского Егора Трубникова. Но как еще много в них от героев-рубак, скорее характерных для гражданской войны, первых пятилеток, Отечественной войны, но не для сегодняшнего времени.

Наверное, не так все просто, как кажется иным нашим читателям и критикам, — взял, сходил на завод или лучше на ракетодром, увидел там героя, подобного Павке Корчагину, и «изобразил».

Но те способы и художественные средства, та форма, тот образ мыслей и уровень интеллекта, с которым в свое время жил, боролся и побеждал герой, подобный Павке Корчагину, нынче, по-моему, непригодны. Все должно быть сложнее, многообразней и шире. Внутренний мир современного большого героя требует особой «отмычки». Я,

например, таковой пока не имею. Писать же, скользя по поверхности, сшибая вершки на ходу, не хочу и не могу — сшибание вершков только оскорбляет наших лучших современников и оставляет искаженную, бедную память о них нашим потомкам.

Чтобы изобразить героя, нужно изобразить его время. А наше время невероятно сложно, противоречиво. Разобраться в нем очень трудно. Сердце художника и изнашивается прежде всего потому, что в него, как в огромную мишень, попадают все беды и радости земные, и неумение «разгадать жизнь», изобразить ее мучает его, как птицу, которая не может подняться с земли. Но муки художника совсем не берутся в расчет.

Писателю отводится роль и характер этакой благополучно перезимовавшей птички — знай чирикай себе, желательнее в мажорном тоне. Нет, пока есть мир, есть и художник. А пока есть художник, есть и его муки, и не только творческие. В литературе нашей, да и в мировой, есть художники, жизнь которых являет собой примеры высокого подвига, высокой нравственности и силы. Они делают самоотверженно и честно свою вечную работу, приближая победу добра над злом. При этом сами они страдают во сто крат больше от земного зла, ибо, перефразируя известную поговорку, можно сказать: кому больше дано, тот больше и мучается.

Один восточный мудрец просил в своих молитвах, чтобы аллах не дал ему жить в интересное время! Не знаю, как мудреца, а нас аллах не избавил от этого, он нам «подсунул» время не только интересное, но и трагическое. В мир, а значит, и в любого из нас нацелено самое ужасное смертоносное оружие; рак и другие болезни все еще угрожают человеческой жизни. И в то же время наука делает открытия за открытиями, одежда людей, зрелища, способы его труда и передвижения сделались легкодоступными и красивыми. И наконец, произошло самое великое событие тысячелетия — человек вырвался в космос! Дух захватывает, голова кружится от центростремительности нашего времени, калейдоскопичности событий. Соображать нужно быстро, творить на ходу, чтобы угнаться за современностью. Но делать любое дело, особенно писательское, на ходу очень трудно.

Я верю, что рождается и скоро появится художник, который будет так умен и велик, что ему будет по силам творить не только на ходу, но и на лету, и, возможно,

гением своим он наконец образумит людей, научит их жить в мире и согласии, поможет излечиться от недугов и недоверия друг к другу. Мы делали и делаем все: раздавили фашизм; преодолеваем недостатки в нашем хозяйстве; ликвидируем бескультурье; боремся за подъем литературы и искусства; открываем новые университеты и прорываемся к новым мирам — все для того, чтобы человек был крылатей, раскованней и свободней в помыслах своих и деяниях.

Помните, что гениальный Пушкин к нам не с неба свалился. Много литераторов, теперь забытых или полужабытых, много культурных людей «предпушкинского» времени рыхлили ту почву, на которой рос и зрел его изумительный талант.

Я еще раз повторяю, верю: придет новый человек — титан, творец, мыслитель и художник — на нашу землю и разберется в том, в чем мы разобраться не сумели, чего понять не смогли. Гением своим он восславит нас за добрые дела, осудит за плохие, в том числе и за то, что мы не родили его раньше. Но, занимаясь черными, повседневными делами — работой, войной, ликвидацией дикости, мы думали о нем, мечтали. И хорошего мы сделали и делаем все-таки больше, чем плохого, и оттого-то глядим в будущее хотя и не без тревоги, но с доброй надеждой. Мы работаем, живем и страдаем во имя этого будущего. Иначе нам и жить, и страдать не стоило бы.

В заключение повторяю молодым читателям еще и еще раз: больше думайте сами, не ждите готовых ответов. Современная жизнь сложна, она каждый день задает человеку новые задачи, и, следовательно, каждый день как мне, так и всем людям приходится и нужно искать на них новые ответы.

ОЧАРОВАННЫЕ СЛОВОМ

В тридцатых годах в далекой заполярной игарской школе появился высокий чернявый парень в очках с выпуклыми стеклами и с первых же уроков усмирив буйный класс 5-й «Б», в который и заходить-то некоторые учителя не решались. Это был новый учитель русского языка и литературы Игнатий Дмитриевич Рождественский. Почти слепой, грубовато-прямолинейный, он не занимался нашим перевоспитанием, не говорил, что шуметь на уроках, давать друг другу оплеухи, вертеться, теревить за косы девчонок — нехорошо.

Он начал нам рассказывать о русском языке, о его красоте, богатстве и величии. Нам и прежде рассказывали обо всем этом, но так тягуче и скучно, по методике и по правилам, откуда-то сверху спущенным, что в наши удалые головы ничего не проникало и сердца не трогало.

А этот учитель говорил, все больше распаляясь, читал стихи, приводил пословицы и поговорки, да одну другой складнее, и, дойдя до слова «яр», усидеть на месте не мог, метался по классу, горячо жестикулировал, то совал кулаками, как боксер, то молитвенно прижимал руку к сердцу, усмиряя его и себя, и выходило, что слово «яр» есть самоглавнейшее и красивейшее слово на свете и в русском языке, ведь и название городов — Ярославль, Красноярск — не могло обойтись без «яра», и берег обрывистый зовется яр, да и само солнце в древности звалось ярило, яровое поле — ржаное поле, яровица, ярица, которую весной сеют; ярый, яростный человек — вспылчи-

вый, смелый, несдержанный, а ярка, с которой шерсть стригут?..

Словом, доконал нас учитель, довел до такого сознания, что поняли мы: без слова «яр» не то что ни дыхнуть, ни охнуть, но и вообще дальше жить невозможно...

Не выговорившись, не отбушевав, наш новый учитель не раз потом возвращался к слову ЯР, и думаю я, что в не одну мою вертоголовую башку навечно вошло это слово, но и другие ученики запомнили его навсегда, как и самого учителя, и его уроки, проходившие на вдохновенной, тоже яростной волне.

Учиться нам стало интересно, и вконец разболтавшиеся, кровь из учителей почти до капли выпившие второгодники и третьегодники, в число которых входил и автор этих строк, подтянулись и принялись учиться подходяще и по другим предметам.

Я сидел в пятом классе третий год по причине арифметики, поскольку уже год или больше сочинял стишки, четыре строчки из моих творений уже были упомянуты в газетном обзоре творчества школьников, считал, что поэту эта надсадная математика совсем ненадобна, что поэт волен, как птица, и всегда должен быть в полете, а в полете и вовсе скучные науки, как та же математика, химия или физика с геометрией — лишний груз...

Зато уж по русскому и по литературе я из кожи лез, чтобы только быть замеченным, а однажды и отмеченным был нашим любимым учителем, которого мы не без оснований называли малохольным, вкладывая в это слово чувство нежности, на каковую, оказалось, мы были еще способны.

«Очарование словом» — не сразу, не вдруг определил я чувство, овладевшее нами, учениками школы, где большая часть из нас были из семей ссыльных, привезенных сюда умирать, а не все вымерли, половина из них строила социализм, пилила и за границу отправляла отменную древесину, добывала валюту в разворованную российскую казну, а нарожавшиеся вопреки всем принимавшимся мерам живучие крестьянские дети наперебой учились грамоте и родному языку. Вот даже до слова ЯР добрались. И оно ласкает уставший от бухающих слов «патриот», «вперед», «народ», «даешь», «орешь», «поешь» их отсталый слух.

Мне довелось дожить до тех времен, когда один дошный пенсионер сосчитал, что газета его родного рай-

она использует в неделю восемьсот слов! Это при великом-то, богатом-то, из которого наш великий поэт Пушкин знал и мог объяснить 25 тысяч слов!

Но оказалось, что восемьсот слов на неделю — это не предел. В наших школах и вузах доучили людей до того, что они начали выражать всевозможные, в том числе и нежные чувства, и успехи на производстве, как и чувства насчет еды, езды, учебы, политики и так далее одним словом «нормально», в минуты возбуждения или стресса, как принято нынче говорить, прибавляя к ним «блин». Мы с бабушкой как-то спросили у внучки, что это за слово и каково значение его, и третьеклассница толково нам объяснила: «Взрослые говорят «б...», а нам нельзя, вот мы и говорим «блин».

И это тоже не предел! Есть и такие молодцы и молодички, которые и «да» и «нет», и восторг, и ненависть, и любовь, и богатое мироощущение означают междометием «ну», придавая лишь различные звуковые оттенки этому глубокому и емкому откровению русского языка. Но есть уже и такие, которые и этим утомлены, они, эти новожители русской земли, или кивают головой, или презрительно щурятся, или рычат по-пещерно-звериному, или хрюкают на учителей и на родителей...

И правильно делают — заключаю я от себя — за что боролись, на то и напоролись. А уж как боролись-то! Как боролись! Повсеместно, со всех сторон наступали на родной язык и создали язык отдельный, как бы в издевку сосуществующий с человеческим, оригинальным, ярким языком. И когда на экране телевизора полураздетая, а то и вовсе раздетая девица кривляется и вроде бы поет: «Я пришла, тебя не нашла...», а в ответ ей лохматый зверь не зверь, но и не человек хриплым голосом выдает: «А я пришел, тебя не нашел», — это уж звучит пленительно, как бы по-итальянски, как бы бельканто своего рода, если поранешнему, то будет: «Вернись в Сорренто, вернись ко мне!...»

Произошла подмена языка, люди начали объясняться с ближним более обыденным, тюремно-лагерно-ссылным сленгом, который точно называется нашими современниками «блатнятиной»... Находясь в огромном гулаговском лагере, мы и не заметили, как привыкли не только к колючей проволоке, но и к сраму, за нею накапливающемуся, в том числе и к «словесной энергетике», как виртуозно называют этот срам поднаторевшие в коммунистиче-

ской идеологии-демагогии лжеученые, с позволения сказать — словесники.

Знакомясь с гулаговской литературой, в том числе и со словарями лагерного жаргона, я насчитал девять страниц словесной погани только по поводу деторожательного органа. Вообще среди злобного, черного, помойного мусора отдельному и особо изощренному словесному унижению и втаптыванию в грязь подвергалась и подвергается женщина, да и сами женщины, попавшие за охранную колючку, с лютой мстительностью гадают на себя и на все, что еще может называться светлым и святым в этой все более сатанеющей жизни. Но слово «твою мать» бытовало и бытует не только за колючей проволокой. Выдь на Волгу, на Вятку, на Енисей, на реку с ласковым названием Лена — чего ты, любезный читатель, там и по всей Руси Великой услышишь?!

Жак Россел, отбывший семнадцать лет в наших лагерях и ссылки за то, что был мусью, говорит не по-русски, да еще и одет не в нашу телогрейку — в шляпе он и при галстуке — наипервейший это, наиматерейший шпион, составил и издал два тома гулаговского словаря. Просмотревши его, я еще раз ощутил полный отпад, как модно ныне говорить. Какая же бездна низости, зла, озверения, презрения, изгальства над всем человеческим, не говоря уж о святом, накоплена нами для погребения добра и всего прекрасного, накопленного разумом, стараниями человечества, страданиями и титаническим трудом гениев земли. Так Россел все же чужестранец и перевалил он за какой-то хребет, на котором означены границы добра и зла, и порой впадает в восторг, в дурашество от нашей российской способности так виртуозно преображаться и все вокруг преображать, не утрачивая при этом определенных, пусть и не всегда лучших национальных особенностей, терпения, бодрости, склонности к слезе, к жалости и словесному озорству, к товариществу, к артельности, но он же порой, в комментариях к гулаговскому словесному «богатству», качает головой: «Но, месье, это уж слишком даже для русских!»

У нас развелись тучи разных праздных, так называемых ученых предсказателей, уникальных прорицателей и просто людей, работающих в информационной сфере. Один мой односельчанин уверяет, что все это от нежелания работать на земле, вот, мол, и болтают всякую всячину, орут, космами трясут здоровенные, оголтелые, наглые

мужики, которых, правда, и мужиками-то назвать можно с большой натяжкой — пьяные, порочные, распущенные до скотства... Все они сплошь да рядом композиторы, поэты и певцы, вызывают зависть и стремление к подражанию у незрелых, умственно недоразвитых юнцов обоего пола. Вот бы нашим предсказателям, этим группам или бандам социологов, институтам, все на умных машинах подсчитывающим, вещающим, предсказывающим, взять бы и подсчитать, какое же количество словесной блатнятины употребляется сейчас в школе, в вузах, на радио и телевидении, в театре и в кино, в обыденной и служебной жизни.

Я думаю, общество, мир и мы вместе со всеми охнули бы и за сердце схватились, обнаружив, что уже давно и так глубоко погрузились в словесную, червивую помойку, из которой выбраться потребуются немалые усилия всего народа и в отдельности каждого русского человека, разговаривающего, как ему кажется, на родном языке.

В Сибири есть еще села и даже районы, населенные старообрядцами, и, как-то рыбака на притоке Енисея, ночевал я в старообрядческом поселении и вдруг почувствовал, что разговаривают хозяева избы вроде бы как на иностранном, мало мне уже понятном языке. А говорили-то они как раз на чистейшем, образном русском языке, экономя при этом употребляя слова. Мы ведь говорим много, неинтересно, длинно и путанно оттого, что не знаем своего родного языка, не умеем, не научены им с толком пользоваться. Зато общество наше, в первую голову провинциально-партийное, подверженное обезьяньей привычке подражать всему «красивому», особенно если оно из столиц, с ходу, с лёта заглатывает словесную требуху и аж закатывается от восторга и самоумиления.

Недавно у нас в Красноярске состоялось многокрасочное, многогромкое, многоболтливое торжество по случаю вступления в должность головы города, или градоначальника. И как назывался он, голова-то наш? Правильно — мэром! А торжество как? Правильно — инаугурация! И ораторы, и сам инаугуратор, и полторы тысячи человек, заполнивших зал, не знали, что обозначает сие слово, да и знать им было это неинтересно, ибо давно все привыкли слушать и говорить слова, не вникая в их смысл.

Я поднял своих знакомых ученых дам, которые, конечно же, тоже учились по советским учебникам, тоже слушали и не слышали трехчасовые доклады на партий-

ных и прочих съездах, но еще и интерес к слову имели особый, индивидуальный и оттого умными слывут, и они объяснили, что слово, правильно произносимое «инкавгурация», происходит от древнеримского «авгур», и то ли птица была под этим названием, то ли коллегия жрецов, в греческую языковую систему перейдя из Рима, слово и смысл его, и значение несколько изменилось: инаугурация, аустития — опять же от авгуров, наблюдающих за птицами, на которых молились богам по случаю какого-нибудь торжества.

У-уф! И что же, все это учить людям, по полгода не получающим зарплату, запоминать муру, когда голова и сердце изболелись из-за неотремонтированного коммунального моста, из-за прорех и прорух в городском бюджете, из-за преступности, убывающей лишь в отчетах, из-за сирот, похорон, снижения рождаемости, подъема смертности среди населения города, из-за дорог, гнилых труб, все время лопающихся в земле, вот-вот готовых рассыпаться, из-за энергетики, из-за леса, из-за гор... едет дядушка Егор...

Отколупал какой-то шибко грамотный обормот реликтовое слово с камней древности и в Кремль его затащил, пышную церемонию провел — красиво уж шибко было! И что провинции отставать? Жадная до всего модного, передового, показала она, что мы тоже можем щегольнуть, если захотим, да попутно и этому вечно недовольному Астафьеву урок преподадим, принудим его обогатиться словом, и пусть он тоже, приложив руки к сердцу, поклонится голове города, а не ворчит без толку.

После того как мы выбирали в голодной деревне и в подыхающих от дыма и газа городах в почетный президиум вождей, черт-те где и часто не в своем уме пребывающих, иль выдвигали в депутаты в старческий маразм впавших членов политбюро в каком-нибудь Пустозерске, зная, что могут они сюда прибыть разве что в почетную ссылку, меня уже ничем нельзя удивить. А все же удивляют: выходит местный деятель культуры, экономики иль науки и пошел чесать: импичмент, консенсус, менталитет, электорат, презентация, инвестиция, номинация, презервация... Хочется заорать, как в детстве: «Мама, роди меня обратно!» Или ближе к современному: «Во, мля, научили на свою голову!.. Во имидж!»

Забыли, забыли на Руси родной, что не раз были срамлены и биты за низкопоклонство; запамятавали, как в

Отечественную войну 1812 года русские партизаны на вилах поднимали офицеров-соотечественников, не умеющих говорить по-русски, принимали их за «мусью».

Ох, как больно, порой трагично народу нашему обходились всяческая забывчивость и предательство, и прежде всего предательство впитанного с молоком матери родного языка.

Чему доброму научились за годы советской власти — не сразу и вспомнишь. А вот дурь, чванство — от высокого положения и должности — оно еще комчванством звалось, желание выглядеть патриотичней всех на свете, привычка к демонстрации силы и могущества, никогда, нигде не виданной умственности, склонность к пустословию, к похабству, в том числе и словесному, — оно повсеместно, оно всеядно, оно вокруг нас, и самое главное — оно в нас, в утробе, в крови, в сердце нашем.

Иногда уж сдается, что пошлее и дичее нас нет никого на свете. И не следует самоутешаться, кивать за океан, мол, все от них — нехристей. К заразе, принесенной на волнах океанов и морей, мы, русские, всегда были гостеприимны. Но все-таки и сами очень даже горазды нарожать сраму и гадости. И нарожали их столько, что не знаем, куда от всего этого деться, как защитить себя, в первую голову своих детей. Так что ж теперь? «Погибай, моя телега, все четыре колеса?!»

Нет, даже и в самые страшные, самые черные годы существования при советах мы хоть как-то и чему-нибудь да учились, и не только сопромату и прочим матам, но и разумному, вечному. Как-то тихо, отдельно, никому не мешая, учились и самоотверженно трудились наши словесники, заслонив своей, чаще всего женской, грудью наш родной язык. Давно и хорошо работают словесники Красноярского пединститута, теперь педуниверситета, тоже обезьянничанье. Как будто, переименовав институт в университет, не прибавив при этом содержание, то есть зарплату, не построив здание иль (хотя бы) не расширив аудитории, не благоустроив общежития, находясь все в той же позиции и амуниции, как себя ученым почувствуешь?

Так вот, хорошо, последовательно, упорно собирали и собирают наши земляки родное слово по нашему краю и, уж как им Господь пособляет, издают словари, реденько, с трудом совершают они это воистину патриотическое дело, можно сказать, творят подвиг во славу и на сохранение нашей национальной культуры.

Не на пустом месте совершают наши ученые, аспиранты и студенты благородное, творческое дело. Совсем неподалеку, в Томском госуниверситете (вроде бы пока еще не переименованном в академию?!), давно и плодотворно трудятся местные словесники и тоже издают, и тоже с трудом, словари, среди которых слова среднеобских говоров. Семь томов «Старожильческих говоров». Уникальный труд! Бесценный труд!

Помню, давно уже, Виль Липатов, почти безвылазно живший в переделкинском Доме творчества, зазвал меня в свою комнату и, любовно оглаживая скромно изданную книгу, заявил: «А вот этого-то у тебя нет, хоть ты и в сибиряках числишься». «А вот и есть! А вот и есть!», — отвечивал я. Тогда Липатов начал выбрасывать из тумбочки и из стола словари томичей: «А это? А это?» — и, узнав, что томичи присылают мне в Вологду словари, и красноярцы присылают, и комплименты, которыми меня осыпают критики и читатели за знание родного языка, надо бы адресовать на кафедры русского языка Томского университета и в Красноярский пединститут, Виль Липатов мрачно сказал, мол, ты хоть по Москве не треплись, что эти сокровища у тебя есть, я ж всем показываю, хвастаюсь ими, — и что было для него нехарактерно, грустно добавил (а было это незадолго до его преждевременной смерти): «Больше-то мне нечем, вот и хвастаюсь словарями да тем, что я — сибиряк».

Попутно замечу, что землячество объединяло всех сибиряков и на фронте. В толчее армейской, в окопном скопище поговору узнавали чадлоны друг друга и так светло радовались этому — язык объединял нас, роднил.

И в литературе, еще на ранней стадии, пышно говоря, моего творчества, ученый и проникательный человек, главный редактор Пермского издательства Борис Никандрович Назаровский, долго живший в Сибири, сказал мне:

— Виктор Петрович, пой свою родную Сибирь, не подделывайся под Урал, не надо, не получится, язык-то один, русский, но произношение, но характер их разные...

То же и в литературе. Сергей Павлович Залыгин, Николай Николаевич Яновский, Сергей Сартаков, Владимир Чивилихин, тот же Виль Липатов, Василий Федоров, Аскольд Якубовский, Ефим Пермитин и многие-многие другие, оказавшиеся жителями столицы, за счастье почитали встретиться, пообщаться, потолковать о Сибири «по-сибирски». И более молодые, но тоже уже постаревшие,

живущие по-за столицей — Валентин Распутин, Геннадий Машкин, Владимир Сапожников, Николай Волокитин, Дмитрий Сергеев, Вадим Макшеев, Юван Шесталов, если даже и развела их жизнь, землячеством и родным, «нашим» словом все равно объединены и, надеюсь, «по ту сторону», как и наши великие русские классики, не единожды разъединявшиеся жизнью с помощью времени, не знающего смерти и разлада, будут соединены и Богом прощены за обиды, друг другу нанесенные, ибо неразумные чада не ведают, что творят.

Томские радетели слова уже выдвигались на соискание Государственной премии, но в то время, когда сталь, чугун, цемент, глинозем и навоз ценились больше и ставились выше, чем родное слово, добываемое по крупицам из наших обширных народных недр.

Ныне томичей снова выдвинули на Государственную премию — за издание словарей последних лет, в том числе за «Среднеобские» словари, за «Мотивационный диалектический словарь». А я бы отдельную им премию вырешил — за несколько томов «Старожильческих говоров».

О томских тружениках кафедры русского языка писали Евгений Пермяк, Георгий Марков, Валентин Распутин и Владимир Чивилихин. Я присоединяю свой голос к этому достославному списку и посылаю соответствующую бумагу в комитет по госпремиям с надеждой, что настало время ценить и поощрять тех, кто помогает сохранить и вернуть нам самое дорогое, что у нас еще есть, — наше родное слово — основу основ нашей жизни.

Месяцами пропадавшие малыми, совсем не богатырскими артельками в таежных селах, в старообрядческих заимках, часто питаюсь «от мира» иль подножными травками, чего уж Бог пошлет, съедаемые комарами и мошкой, они, собиратели словесных кладов, таки «освоили Сибирь» раньше наших строителей-разбойников, энергетиков — яростных покорителей рек и передовых отрядов разведчиков недр, иссекших просеками необъятную бескрайнюю тайгу, измордовавших взрывами, яминами шурфов, котлованами, карьерами сибирский материк.

Может, и любили словесников и фольклористов везде и всюду за тихий нрав, за пусть и не совсем понятную, но тихую работу, помогали чем могли, берегли, иногда и из беды выручали.

В реферате под названием «Комплексное исследование русских говоров среднего Приобья (1964—1995 годов)»,

представленном на соискание Государственной премии России, томичи пишут: «Регион среднего Приобья (территория Томской и Кемеровской областей), представлявший в 50-е годы XX века белое пятно на диалектической карте России, ныне является самым изученным регионом страны благодаря многоаспектным исследованиям томской диалектологической школы, отличительную черту которой составляет комплексный анализ всех уровней диалекта, опирающийся на системный подход и сопровождающийся разработкой научных концепций, направлений, аспектов»... ну и т. д. и т. п. И все правильно, и насчет анализов, и насчет концепций, и аспектов тоже. Но кто же вам, ученые головы, за это премию-то даст? Жизнь-то какая идет? Бесы с микрофонами топочут, бесихи ляжками виляют так, что все вокруг дымится, ученые и ученихи каких-то неизвестных наук с бревном на Москву, на комитеты эти прут и таранят ворота, как при половцах, Жириновский страну и Думу сотрясает, правители деньги на зарплату ищут и нигде не могут найти — так их порастеряли в преобразовательном-то пути иль спрятали в такие места, где только танку и доступно, а вы тут с диалектами, да еще и со среднеобскими. Где она, та Обь? Что за баба? Почему до сих пор не в ногу с обществом идет, не перестроилась, говорит на диалектах...

Простите уж меня, родные мои томичи и дорогие мои читатели. Пошутковал маленько. Но уж такой ли беззащитностью веет от бумаг, присланных из Томского университета, такое ли в них старомодное смирение...

Опять же: не всем звереть, не всем орать и из глотки вырывать. Все мы устали и от ора, и от хамства, и от невнимания к истинным национальным ценностям.

В письме ко мне от имени «словарников», как сообщает зав. кафедрой русского языка Томского университета профессор Ольга Иосифовна Блинова — составитель и редактор многих словарей, «накопилось много материала, лежит без движения «Словарь образных слов и выражений народного говора» — пять выпусков, «вершининский словарь», — и вот если бы вы нас поддержали и нам бы премию дали, мы бы на эти деньги издали эти и другие словари».

Не о туплях, не о мебели, не о тряпках мечтают истинные подвижники науки, а о том, как сохранить нашу отечественную культуру, наше родное, в темный угол загнанное, в грязь втоптанное, в срам и стыд превращенное родное слово.

Неужели и на этот раз никто нас, в Сибири живущих и работающих, не услышит и не поддержит? Неужели есть ценности и дела более важные и народу нужные, чем те, что, не побоюсь громких слов, беззаветно творят русские сибирские ученые-словесники, сплошь почти женщины, некоторые из них уже и покинули земные пределы, не изведав почестей и славы, которой они достойны.

Всемилоостивейший наш Господы! Дай силы и терпения нашим труженицам-ученым, всечасно помогай им творить святой труд!

Российский комитет, который в Москве заседает, вырешит премию русским ученым-словарникам Томска, не то мы отделимся от вас в Сибири и станем вовремя, как вы в столице, получать зарплату и пенсии, а также выдавать достойным людям премии из собственных средств!

СТОРИТ БОЖЕСТВЕННАЯ СКРИПКА

Два письма-ответа на вопросы корреспондента журнала «Российская провинция»

1. Как сложилась Ваша жизнь сегодня — не писательская, а человеческая, с горем и радостью, с потерями и приобретениями? Как строится Ваш трудовой день, когда Вы не за письменным столом — жена, внуки, сад, огород, охота... Сомерсет Моэм написал как-то: «Жизнь сладка и печальна». В чем сегодня для Вас, зрелого мужчины и человека, ее сладость и печаль?

2. Родясь в Ленинграде и многие уже годы живя в Москве, самом нынче тяжелом городе России, я ярко помню четыре года эвакуации в деревне под Ветлугой, на родине деда. Остальные мои деды и бабки, отец и мать — тверичи. Я, по сути, не жила в так называемой провинции, но духом ее чую. И хотя на провинцию сейчас дурная мода и модно говорить, что Россия спасется провинцией, хотелось знать Ваше мнение — что драгоценного и что отвратительного скрывает в себе провинциальное житье-бытье. И как Вы умудряетесь не потерять и впитать в себя драгоценное и противостоять отвратительному?

3. Деление на «столицу» и «провинцию», на мой взгляд, всегда условно. Столица во многом провинциальней и косней географической провинции, особенно сейчас. Не наступит ли в обозримом будущем некое равновесие — нравственное, культурное, экономическое, мировоззренческое, причем с перевесом провинции? И если не наступит, то почему?

4. В одном из своих интервью Вы сказали: «Не хватало

мне духовного начала» (речь шла о диссидентстве). В отличие от многих Вы способны оценить себя критически, как всякий истинно интеллигентный человек; но ведь хватило же у Вас духовного начала, чтобы отказаться от всяческой мишуры и мнимых соблазнов литературных постов, от столичной суеты, от беспрестанных словопрений, в которых растворились бесследно многие одаренные люди. Каким же внутренним правилом Вы руководствуетесь в своей жизни?

5. «Болят старые раны» — так Вы хотите назвать новую Вашу книгу. Так можно определить и жизнь не только Вашего, сугубо военного, поколения, но и моего, чуть помладше, кого война захватила в детском возрасте, но одела и голодом, и бомбежками, и страхом. Может быть, Вы уже слышали о том, что в моем родном С.-Петербурге накануне дня Победы разбросали листовку — призыв к ветеранам войны и к пенсионерам добровольно покончить счеты с жизнью, чтобы освободить «плацдарм» для молодых. Что это, очередное желание «умыть друг друга кровью» (цитирую Вас) или созревание пещерного человека?

Когда-то Вы сказали, что «совместимость — это важнейший признак большой внутренней культуры человека». Я лично делаю ударение не столько на слове «культура», сколько на слове «человек». Как Вы объясняете эту страшную деформацию нынешних молодых (да и не только молодых) «человеков»?

6. Где-то у Вас проскользнула мысль: я не знаю, как помочь своему народу (приблизительно). Может быть, потому, что, как Вы написали, «народ — во мне», а себе всегда помочь трудней? И надо ли помогать, спасать Россию, захочет — сама выживет, триста лет под татарами сидела, не иссякла... А народ-то «наджабленный» восстановит ли целостность своей души?

7. В «Плацдарме» (а там есть просто удивительные попадания в яблочко) я прочитала: «Кучи болтливых лодырей, не понимающих, что такое труд, что за ценность каждая человеческая жизнь, что за бесценное создание хлебное поле...» Там это относится к войне, но ведь и к сегодняшней нашей жизни! Особенно о хлебном поле, о котором Вы прямо-таки по-библейски выразились: «Твори хлебное поле, человек сотворил самого себя».

В. Какой силой надо обладать, чтобы добровольно еще раз пропустить через себя ужас войны, вывернуться наизнанку, рвя душу и через пятьдесят лет. Что это — каторга писательства или крик в будущее, к потомкам?

СТОРИТ БОЖЕСТВЕННАЯ СКРИПКА...

УВАЖАЕМАЯ ИННА СЕРГЕЕВНА!

Почти каждый вопрос в Вашем письме требует странного размышления, а делать это мне сейчас некогда, да и не хочется уже. Много все мы наговорили с трибун и печатно, и наставительно-поучительского, порой даже и умного, а толку...

Причина главнейшая — переворот в октябре семнадцатого года и царство разрушительной системы. Удивляться только приходится, что в России еще что-то устояло, осталось после хозяйничания коммунистов, которые оказались страшнее всяких иноземных врагов. Значит, крепок был русский народ! Ни один народ в мире не выдержал бы тех испытаний, страданий, глумления и физического истребления, какие выдержал наш народ. Но он надсажен, поруган, поставлен на колени и остались ли в нем достаточные силы, физические и нравственные, чтобы подняться с колен — я с определенностью ответить не могу.

Насчет «выжженного поля» — конечно же, преувеличение. Кто-то очень хочет внушить нам этот образ, каким-то давним «дружелюбным» силам шибко хочется на месте, и давно уже, видеть «выжженное поле» или крепость, огромный полигон, однако государство огромно, в нем соответственно и дичь огромная, и безумство, коли оно торжествует всесметающе, но в нем культура и ее традиции так же громадны, так же многообъемны и всепроникающи, что взять их и выжечь, как русский лес, или стравить его вредителю-шелкопряду, как это произошло на наших таежных пространствах, невозможно. Русские люди доказали, что живя далеко от Родины, давямые, гонимые, презираемые ею, если в их кровь проникли свет и соки отечественной культуры, уже никогда не станут «иностранцами». По духу, по укладу верования и мыслей они останутся навсегда иванами, помнящими родство.

Ярчайший пример тому старообрядчество. Гонимое

веками и особенно яростно истребляемое при советской власти, оно сохранило облик свой и суть свою, не поддаваясь ни великой коммунистической пропаганде, ни отравленным подачкам в виде «хлеба и воли», на которые так охотно клюнули и российский рабочий класс, и даже крестьянство, прежде всего среднерусское, малоземельное, клюнули даже казаки на большевистскую наживку и разрушились как крепкое сословие. Теперь вот, ряженые под казаков, появились, надевши дедушкины или купленные на барахолке награды, погоны и нагайки, наивные люди решили, что казачество возродилось. А вот старообрядчеству, уцелевшему на Руси просторной, ни во что рядиться не надо, оно стоит непоколебимо на своей прежней вере, ведет свою борозду на земле, правит свою мораль, и недавно сибирские старообрядцы, чистые люди, отказались от государственных пенсий, посчитав сии деньги подачкой «от дьявола». И они не пропадут без пенсий, потому как за века борьбы с чужебесием научились не только хранить свою молитву, но и добывать хлеб насущный своим трудом, жить своими силами и возможностями природы, их окружающей.

Если и суждено России возродиться, то пойдет то возрождение от старообрядческого сословия и близко с ним соприкасающегося народа, ибо физически старообрядцы сохранились лучше «пролетарьята», и по российским селам еще можно встретить белокурого, голубоглазого славянина.

Я думаю, что и власти, и деятели культуры, и все общество в целом виновато в том, что с нами произошло и что мы до конца еще так и не осознали, хотя нет-нет да и раздаются голоса: «Мне не в чем каяться». И как это может человек, проживший семьдесят лет в бардаке, сохранить свою невинность?! Остается только удивляться. Не знаю, помнит ли сам Горбачев, но я хорошо помню, как, читая пространный доклад (пресса тут же назвала его вдумчивым!) на девятнадцатой партийной конференции, он вдруг остановился, снял очки и, печально глядя в зал, молвил: «Ну, товарищи! Даже мы не ожидали такого развала!» Вот и многие из бывших коммунистов не знали не только о глубине и масштабах «развала» в стране, о преступлениях, творимых родной его партией, но и о том «развале», который в собственной душе давно произошел и разрушил ее, душу-то, подверг искажению и деформации саму человеческую сущность, из человека сделал раба

и зверя, которым вместе долго сосуществовать невозможно, кто-то кого-то доведет до крайности, должен сожрать, вот и жрал зверь человека и остались от него «рожки да ножки», да мешок, набитый костями, без цели, без мыслей, без веры и пристанища, куда толкнут, туда и идет, чего дадут, то и жрет, что скажут, тому и внимает. Я думаю, тяжелее всего нынче истинным, прозревающим коммунистам, у которых не изоржавела душа, не утрачено чувство совести и ответственности не только за себя, но и за жизнь, которую они, как им казалось, строили. Их немного, но они есть. Я человек, наверное, десять встречал за свою жизнь истинных коммунистов, остальных же они сами и поистребляли, низводя постепенно партию свою до сборища полуграмотных, болтливых, вороватых и жестоких ничтожеств.

Прежде всего надо прямо и честно спросить себя: «А есть ли она у нас, «народная интеллигенция»? Потом уж с нее и спрашивать «духовного ободрения». Тоже, как и настоящих коммунистов, истинных интеллигентов я встречал за жизнь свою не более десятка. Но пятеро из мною встреченных на боевом и творческом пути интеллигентов — уже на кладбище отдыхают, а пятеро еле ноги таскают — стары, усталы, больны, но еще «держат тон», еще нет-нет и высунутся, окрик сделают иль чего разумное произнесут. Но кто же их слышит? Кто им внимает? Вон какой гвалт кругом, бесовство, круженье, рык и вой — попробуй тут расслышать пятиголосый писк интеллигентский. Это ж какой слух-то надо тонкущий иметь, какое чуткое сердце, какой просветленный разум? А где их взять-то? Из чего? От кого? Из церкви? От духовенства? Но оно, надсаженное и государственными налогами давимое, будучи отделенным от государства, только еще выходит из-под руин, с кряхтеньем, с недомоганием, с деформированным, полусломленным позвоночником и искаженными иль временем опровергнутыми постулатами. Дай Бог поскорее восстать из пепла нашей православной церкви и вере, но нужно время, а времени-то у нас на воскресение почти и не остается.

О каком превосходстве речь? Окститесь, люди православные! К «превосходству» истинная интеллигенция никогда не стремилась, она, истинная, всегда пыталась быть «слугой» или уж «наставником» народа своего, всегда готова была стать жертвой его и в конце концов стала таковой, увы, жертвой напрасной. И не заметила этого.

Круг тех писателей, к которым я имею счастье принадлежать, стесняется называть себя «писателями». Они все и я тоже страдаем врожденным и внушенным комплексом неполноценности. Нам бы хоть немного самоуверенности или, на худой конец, «развязности Балтазара Балтазаровича», а то всю жизнь в угол, в тень старались спрятаться и надо было нас оттудова арканом вытаскивать или уж вынудить выскочить с кулаками на драку...

Нет, литератор, если он от Бога, не может быть «пораженным» и «побежденным», тем более «духовно», не в его силах оставить перо и бумагу, он обречен работать до последнего вздоха, «без выходных и отпусков», и когда начнет умирать, последней его мыслью, наверное, будет: «Так вот она какая, смерть-то! Всю жизнь неправильно писал, надо бы подняться, правильно написать...» Пока человеческая мысль работает, происходит и духовное напряжение или, как считалось, так у нас и считается, что писатель лишь тогда и работает, когда сидит за столом и ручкой по бумаге водит?

О-о-о, Боже! До каких только упрощений не дошли мы и вот с этих упрощенных позиций задаем вопросы, «качаем права»! Меня на встрече с читателями всегда умиляет вопрос «Как Вы пишете, из головы или так?» На подобный вопрос не может быть серьезного ответа, и я обычно отделяюсь шуткой: «Иногда из головы, иногда так». Но вот простенький с виду вопрос «Как жить?», задаваемый всюду и везде с обидой и плаксивой претензией, меня всегда приводит в неистовство, и я говорил и говорю: «Как учил Христос. Всего хотя бы три-четыре его заповеди: не укради, не убий, не пожелай жены ближнего своего, трудись в поте лица своего...»; «Чего ж вы не жили и не живете по этим вечным заповедям, граждане мои родные? Трудно жить праведно, да? Большевики чуть поправили сии заповеди, переписали их на свой лад, поманили вас — блудом и дармовым хлебом! Вы и ринулись стадом за ними, а теперь вот виноватых ищете...»

Они, большевики-то, и сейчас главные смутьяны в стране и в мире, не сеявши, не пахавши, сулят накормить и напоить якобы не ими обездоленный народ и наладить жизнь в стране, якобы не ими изнахраченную. И ведь снова есть желающие бежать за кормилицей-партией с протянутой рукой: «Дай, любимая! Накорми, родная!..»

Слово «патриотизм» у нас искажено и скомпрометировано навсегда, и воспринимается оно только в иска-

женном смысле. Если воспрянет сам истинный патриотизм в России, тогда и слово может совсем другое родиться или возродиться, а пока его произносят лишь с издевкой, с глумлением.

Рерих еще мог рассуждать о высоких материях и остается ему и его времени лишь позавидовать. Но, побывавши в некоторых странах, в особенности в древних, «ознакомившись», пусть и бегло, с культурным наследием человечества, я понял одно: это оно, человечество, обязано культуре, иначе оно упало бы снова на четвереньки. А культура — человечеству, пусть и в муках ее родившему, спасла мир от одичания. Будем надеяться, что и родившие ее поймут, что это поставить на колени нельзя, оно уже выше нас, мечущихся людей, оно в небе, его, это, прежде всего музыку, даже водородной бомбой не убить — стогрит деревянная скрипка, останется божественный звук! На этом стоим и стоять будем!

СКВОЗЬ ФЕВРАЛЬ

(журнал «Российская провинция»)

Сквозь февраль
 Следы как многоточие.
Встречи миг неповторим.
Путь для нас
 становится короче.
Снег скрипит.
 Я больше не один.

Вот и месяц пролетел, как я в больнице, в старости она нисколько не милей, чем в молодости, привычной разве. Марья моя ездила следом за мной в деревню, чтобы привезти впопыхах оставленное мной имущество, в том числе и оставленную адресную книжку, но в пути попала в автоаварию и ей поломало «рабочую» — левую руку. Но и она уже перемаяла беду эту, завтра поедет снимать гипс, а я днями покину больницу и потому спешу Вам ответить — дома-то могу не собраться — дела, суета, отвычка от стола и всякое другое разноделье отвлекут, отдернут от бумаги и ручки...

Однажды Кио — фокусника и веселого человека — спросили по телевидению (и мне очень понравился его ответ): отчего он не уехал или не остался «тама», ведь там ему было бы легче и лучше. «А я, — говорит, — встретил в Израиле русскую старушку и спросил: «Как тебе, бабушка, здесь живется?» — «А хорошо, милай, хорошо, — ответила старушка. — Мне и в Расее жилось хорошо, и тут хорошо живется. Это евреям везде худо, все они жалятся...»

Вот и мне, как той бабушке, живется хорошо, если работается, а радости, как и горести, они и в столице, и на периферии остаются радостями и горестями. Сам человек творит себя и, в какой-то мере, свою судьбу; иное дело, что судьба русского человека завертывает иной раз такие кренделя... но все же чаще всего кренделя сам русский человек горазд выделывать и стряпать. Сейчас вот,

когда я пишу эти строки, празднуется или отмечается столетие Сергея Есенина. На этот раз, достойно судьбы и таланта поэта, делается это без треску, без охов и ахов, без надевания на голову поэта венца из желтых одуванчиков, она у него и без того золотая. И что же жалеть его? Желать ему иной доли? «Лучшего» конца? По-моему, только молиться и радоваться надо, что мир наш посетил рожденный российской землею истинно природный и богоданный гений да и осветил его и нас, россиян, со всех сторон высветил, как месяц ясный. Не знаю, да нет, знаю, что многим читающим людям он помог стать в жизни лучше и стихами, и мученической душой своей. Большой талант — это не только награда, но и мучение за несовершенную жизнь нашу, ниспосланную Богом, которого мы не слышим оттого, что не слушаем. Неведомые нам мучения терзали и уносили в ранние могилы не одного Есенина, но и божественного Рафаэля, муками таланта раздавленных Вольфганга Моцарта, Франца Шуберта, Лермонтова, Пушкина — у гигантов духа и муки гигантские, не нам, грешным, судить и поучать их за их жизнь и метания. Нам остается лишь благодарно кланяться их ранним могилам и славить Господа за счастье приобщения к творениям гениальных творцов.

В приснопамятные тридцатые годы везли по Сибири священнослужителей на расстрел, и в Красноярске родственники каким-то образом исхитрились повидаться со своим родным священником-смертником и, зная, что им больше не свидеться, плача, спросили сродники: «Что же нам-то тут делать?» «Радуйтесь!» — ответил смертник.

«Жизнь сладка и печальна», — совершенно точные, совершенно ясные слова Сомерсета Мозма. И во власти каждого человека увеличить свои радости и поубавить печали.

Вот приближается немаловажное в нашей совместной с Марией Семеновной жизни событие — пятидесятилетие. 26 октября. Жизнь-то за плечами и за горами ой-ей какая осталась. Было много горя, теряли детей, и малых, и больших, родителей перехоронили, друзей. Случалось, обижал, огорчал ее, но и делал подарки, покупал что-нибудь из вещей, не забывал за добро говорить спасибо. Но я был лесной бродяга, рано по весне бродил с ружьишком и, наткнувшись на первые цветы, чаще всего на беленькие ветреницы, сиреневые хохлатки, медуницы или волчье лыко, непременно, на груди согревая, приносил ей

букетик. Вот их-то, цветы-то весенние, а не туфли, не платье-ишки, купленные в магазине, иной раз и в заграничном, она и помнит радостней всего.

Всегда и все делал я рывком, с маху, поэтому рабочего дня, как такового, у меня нет. Если же писал и пишу большую вещь, втянувшись в нее, начинаю как бы выстраивать жизнь, подчинять ее и свое время этой работе. Очень болезненно переживаю перерывы, долго не могу «наладиться» после затяжного периода отрыва от стола. Были и есть странности, свойственные, наверное, только мне. Если Марья Семеновна надолго отлучалась из дома, чаще всего в больницу, я непременно начинал лихорадочно работать. Видимо, это мой инстинктивный способ самозащиты от одиночества и горя, а проверенный русский способ — «залить горе вином» — мне не подошел, не годится эта самозащита, приносит еще больше боли и тоски, но не утешение.

Все говорим и говорим об устройстве России — нам всем об этом не переговорить, но лучше бы все же работать каждому на своем месте и как можно усердней и профессиональней. Нас губила и губит полуробота, полуслужба, полуинтеллигентность, полуобразованность... И провинцией Россия не спасется — это самообман и крючкотворство, ибо давно смешались границы столичной и провинциальной русской дури, а столичная пошлость, достигнув наших дальних берегов, становится лишь громогласней, вычурней и отвратительней. Если бы Вы знали, сколько по нашим сибирским шинкам и бардакам кривляется ребятишек, вопя под Пугачеву, под Леонтьева, под Понаровскую и прочая, прочая... Вот под наших земляков — певца Хворостовского или скрипача Третьякова не поют и не играют — тут талант и труд нужны. Потуги выглядеть «иностранцами», обрядившись во все модное или присвоив исчужа завезенные замашки мотов и денди, выдают в провинции все того же незабвенного Яшку-телеграфиста, а нахватанность «культуры» и умение подать себя другим — «Якова верного, холуя примерного», у которого и болюсь-то «подагрой называется». Остаться же самим собой возможно везде, мне удавалось всегда без большого усилия. Наверное, как-то сама природа заботится об этом и не надо ее из себя изгонять и сопротивляться ей, подделываясь под сиюминутные ветродувы.

Другое дело — мировоззрение. Конечно же, оно не может не изменяться, порождая душевные и прочие про-

тивозрения как с обществом, так и с самим собой. И чем больше дано человеку, тем подвижней, тем изменчивей и сложнее его мировоззрение. В русской литературе самый противоречивый гигант ее — Лев Толстой. Его уход из дома в глубокой старости мой покойный друг, критик Александр Макаров в одном из писем ко мне назвал «юношеским поступком», и я с ним совершенно согласен. Даже бревно меняется со временем: гниет, тлеет, рассыпается. Лишь закоренелые большевики не меняются и настаивают на неизменности общества, но и они попали в «застой», и поэтому от них несет запахом разлагающегося трупа, который от немеркнувшей злобы все еще пытается взыгнуть ногой или укусить что-нибудь живое.

Нет, не надо преувеличивать значение провинции в нашей жизни; тут почище и почестней маленько, чем в столицах, но по-прежнему царит непробудное пьянство, уремная тьма и трусость, желание хапнуть и не попасться, фамусовская угодливость, ноздревская бойкая хамоватость и наглость да неукротимая тупость Собакевича.

Конечно же, провинция вынуждена самозащищаться от всех пакостей, на нее наседающих и сверху, и снизу, и справа, и слева. Есть и появляются в ней светлые головы, умные люди, старательные работники. Но темные силы, наступавшие на русскую провинцию, так огромны, так запущена земля и душа русская, что пробудиться ей — все равно что сотворить духовный подвиг. А готова ли она к такому подвигу, я утвердительно сказать не рискну — очень уж инертна, очень равнодушна, очень усталая от всех бед и напастей матушка-Русь, и неоткуда взять ей могучей силы. Крестьянство — опора державы — разрушено, разогнано, растрелено, «из-за сброда — не видать народа», как сказал один современный поэт. Наладить жизнь, унять разброд и болтологию, разор и воровство под силу только очень сильному и дружному народу; наверное, много времени, много жертв потребуется, пока он сделается таковым. Зачатки есть, но как им развиваться, когда отцы и деды, пережившие небывалые испытания, невзгоды, понеся огромные потери, прежде всего нравственные, не выдержав свободы, испугавшись испытания самостоятельной жизнью, снова хотят полуроботы, полужизни, полудостатка и согласны жить под ружьем и надзором, но зато «спокойно», то есть от аванса до полочки, не сводя концы с концами. Зато не надо ни о чем думать, не надо ни о чем тревожиться, куда-то устрем-

ляться — народ настолько ослабел духовно, что и не взыскует лучшей жизни, а уж «ломить хребет за светлое будущее» тем более не станет. Он знает, что это такое, он на себе испытал все прелести «борьбы» и устремлений ко всеобщему счастью. Иногда еще вздрогнет, зашевелится, если предложат на халяву пожить, сделаться богатым и на рубль получить тыщу. И когда обнаружит, что ему, как малому дитю, вместо конфеты дадут пустую обертку, начинает ныть, проклинать все и вся, прежде всего тех, кому «на халяву» удалось урвать кое-что, ну и, конечно, блядевить правительство, коль позволено его бранить.

Мало что меняется на Руси: «Обидели юридивого, отняли копейчку, не надо молиться за преступного царя-Бориса» — это когда написано-то? А вон какая вечная и злободневная ария!

Воистину слабый, воистину беззащитный народ тот, который сам за себя ни постоять, ни помолиться не может и, главное, не хочет! Куда несет, туда и плывет. Вот снова на посулы большевистские поддается, снова «отобрать все у богатых» намерен и хоть краткое время пожить беззаботно, но, главное, отомстить тем, кто «высываается», кто может работать, умеет и хочет жить своим трудом и достаток иметь по труду. Нет, будь как все, нищим, сирым, бойся всего и самого себя, а буржуйские мечтания изжить бедность, добыть трудом богатство, пусть у буржуев и остаются. Мы, как всегда, готовы быть бедными, но гордыми.

Я смотрю и дивлюсь, как это недруги до сих пор не задавили, не прикончили Никиту Михалкова — человека, который может все в своей профессии, человека, который сам, на свои деньги, содержит семью; человека, который умеет нажить эти деньги, да еще и общественной работой заниматься успевает, да еще успевает не только Родину любить и народ, но и помогать им своим искусством, своим нравственным примером, теми же деньжонками и на уровне высшего, мирового искусства прославлять эту самую Родину, утереть нос, если потребуется — и кулаком, тем, кто с захлебом и восторгом кричит, что с Россией все кончено, народ российский закатился и «России нет, Россия вышла и не звонит в колокола...» Звонит! Снова звонит, воскрешая дух и талант в той части россиян, которые не во сне достаток и достоинство свое видят, а наяву, делом добывают пропитание свое и талантом своим крепят мускул державы и народа.

Целая плеяда ушла от нас артистов, художников и писателей, не пряниками вскормленная, а чаще мерзлой картохой, солдатской и тюремной пайки хватившая, бревна и камень в невольничьем труде поворочавшая, но не утратившая ни интеллигентности, ни национального достоинства, ни Бога в душе. Чаще, чаще надо поминать этих людей добрыми делами. Они, страстотерпцы, в цепях закованные, работали, творили, укрепляя нашу веру и надежду в неиссякаемую силу и величие земли и народа, их породивших.

Николай Симонов, Олег Борисов, Георгий Товстоногов, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, Анатолий Эфрос, поэты Владимир Высоцкий, Борис Чичибабин, целая плеяда актеров Малого театра и того, еще не располовиненного МХАТа — это все недавние потери и утраты, их память горит неугасимыми лампадами, не давая нам уж все-то опуститься во тьму кромешную, в полный сон, безверие и безделие.

И ныне среди нас не чадят головешками, а горят, сгорают до срока огнем, согревающим всех нас, истинные интеллигенты, не позволяя сделать ругательно-нецензурным само слово — интеллигент: ушедшие от нас тихо и незаметно Алексей Федорович Лосев, Владимир Бахтин, Юрий Лотман, Александр Макаров, Юрий Селезнев, Александр Твардовский, Олег Волков и живущие ныне Дмитрий Сергеевич Лихачев, Сергей Аверинцев, Александр Михайлович Панченко, Ирина Александровна Антонова, Александр Исаевич Солженицын, Сергей Павлович Залыгин, подвиг которого и пример служения не только литературе, но и Родине своей, защищаемой от надругательства, разорения и разгрома — бесценен. Чего стоило только одно достижение, превратившееся в сражение — остановка проекта о повороте на юг и переброске вод русских рек в «дружеские» республики, которые, как оказалось, не научились даже такой малости, как благодарность. Наши реки оказались бы теперь «за границей», и нас же кляли бы и смеялись над тем, что такие мы простодыры.

Неблагодарность и вечную неприязнь азиатов к исконно русскому населению в Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии не спрятать за азиатско-кавказским лукавством, и лозунги, писанные пока еще на заборах узбекских кишлаков и городов: «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы» — это ведь

явь, тщательно скрываема как нашими новоиспеченными правителями, так и современными баями, недавними секретарями ЦК, председателями Верховных Советов и прочей парткамарильей вчерашних «дружественных» республик.

Вернусь к Александру Исаевичу Солженицыну. Его приезд «домой» — это событие не только для всей культурной жизни России, но и сдвиг в сознании всей мировой интеллигенции, событие, нами пока не осознанное, но многих раздражившее — сам шевелит мозгами и заставляет всех нас тревожиться за свою судьбу, озаботиться заботами России и добиваться блага, строить жизнь собственными руками, собственным трудом. «Эка, явился указчик!» — да, и указчик, и направитель, а не пусто-звон-коммунист, для которого наобещать с три короба и ничего не сделать — естественный поступок.

Солженицын прежде всего состраданием, сочувствием своему народу и Родине своей помогает взнять лицо к небу, укрепиться на земле он нам помогает. Он истинный праведник, взывавший к Богу и добру, а не тот, что тоже явившись на родину, поддакивал партийной банде и разъяренной толпе: «Если враг не сдается, его уничтожают», видя, что во враги тут могут зачислить кого угодно, зачислят и самого новоприбывшего провозвестника-буревестника, не пощадят ни сына, ни отца...

Ну вот, из больницы выписался, зима наступила, Марии Семеновне гипс сняли, орудует своей левшой на кухне и в ванной возле стиральной машины. «Отвели» мы и пятидесятилетие совместной жизни. Хотелось сделать это потише и поуже — не получилось. Значит, кто-то еще помнит и уважает нас. И добро, и ладно. Будем жить дальше и проживем Богом отпущенный срок, как положено старым людям — тихо и мирно, если позволят обстоятельства и жизнь наша снова с «оси» не сойдет.

Началась предвыборная вакханалия, и опять, в который уж раз, обнажилась убогая наша мысль и неловкая, топорная хитрость. Снова какие-то добры молодцы клянут демократию, сулят спасение и блага, а народ, у которого не только «отняли копейчку» из сбережений, а уже и заработанное не платят, мокрый от осеннего снега, обескураженный и потерянный, толпится возле каких-то контор и зданий, куда снесли последние деньжонки; и несколько наши провинциалы не отличаются от столичных горюнов, — ни одеждой, ни мольбой. Все дружно ругают

президента (разрешено же!), а виноват-то он лишь в том, что впрягся в эту гроыхающую телегу, не сознавая, видимо, что гора высока, и колдобины на российском пути глубокие, и никуда, ничего и никому не вывезти. Уже в 90-м году было ясно, что народ наш не готов к крупным переменам, к решению колоссальных задач. Давно он сломан, раздроблен, не обладает тем сильным характером, который ему приписали. «Что такое перестройка?» — задавал себе и нам вопрос добра нам желавший главный зачинатель перестройки и сам себе и нам ответил: «Чтобы каждый человек на своем месте добросовестно исполнял свое дело».

Так просто! Но для исполнения добросовестно своего дела требуются квалификация, устремление к совершенствованию своего труда и непременно самостоятельность, да и само дело — стоящее, нужное как самому трудящемуся, так и его детям. Но какой с него спрос, если он десятки лет гнал свою продукцию, часто не зная ее назначения, ни даже названия конечного продукта — химию, уран, заразу бактериологическую, ракеты устарелого образца, самолеты времен прошлой войны, расходуя при этом сорок килограммов сырья на килограмм продукции, тогда как буржуи на ту же продукцию расходуют четыре килограмма? Лес рубил — больше половины в отходы, скопал рудные горы, которых должно было хватить на 200—300 лет (Магнит-гора, к примеру), бездумно и безрезультатно сжег и разбазарил уголь, разлил, пропил моря нефти... И никто ни за что не отвечал, никто ни о чем не думал. Работали плохо, получали мало, жили одним днем, о «светлом будущем» анекдоты травили и над вождями, над их бреднями смеялись втихаря. При всеобщем образовании, в том числе и высшем, остались полуграмотной страной. Зато много спали, пили беспробудно, воровали безоглядно. И этому, в полусне пребывающему, ко всему, кроме выпивки, безразличному народу предложили строить демократическое государство, обрекая его думать и жить самостоятельно.

А зачем ему это? Нужно ли? — опять позабыли спросить!

Вот в 90-м или во время путча 91-го года и надо было давать отбой — не можем! Не созрели. Подождем еще! Потерпим! — сказать без ора, без боя, без шумных арестов, без стрельбы друг в дружку, без злобы, пусть и в раздражении поворачивать назад — ни к чему попу гар-

монь, была бы балалайка — и все бы шло-ехало поменьку, дымили бы военные гиганты, шарились бы по чужим морям атомные подлодки, работала бы безотказно лагерная, так крепко отстроенная система, кривлялись бы на мавзолее старые, седовласые и лысые вожди, и пьяный народ, идя под знаменами, орал бы им «ура!», и, развываясь на скамейке, хвастался бы свободный от морали работяга: «Ни х<...> не делаю, а сто двадцать рэ получаю!»

«К чему стадам дары свободы, их только резать или стричь». (Александр Пушкин) Сто с лишним лет назад писано, а как сегодня. И мне вот не пишется, не работается, а пенсия идет и гонораришко какой-никакой тоже, на хлеб да еще и с маслом — и ладно. Может, больница, может, лекарства сказываются, но, скорее всего, мешают мысли о бесполезности своего и всякого дела, окаянный вопрос, задаваемый сотни лет не только мной самому себе: «Книжек-то вон сколько, а сделали они людей лучше?..»

Надежда только на Бога и на время — они помощники, избавители и лекари вечные...

НА ВОЛОГОДЧИНЕ

В Вологде я живу уже больше года — срок достаточный, чтобы оглядеться, кое-что увидеть и даже немножко узнать. Мне довелось побывать в Кириллове, в Шексне, проехать по Сухоне и Двине до Великого Устюга и дважды побывать в Никольске и на Никольщине, посетить могилу прекрасного поэта и мужественного человека Александра Яшина, встретиться с интересными людьми и «открыть» для себя хотя бы краешек вологодской земли.

Обычно я ничего и ни о чем не пишу с ходу, мне нужно вжиться в образ, в природу, присмотреться к людям, дать отстояться первому впечатлению, ибо оно часто бывает поверхностно и, значит, приблизительно, а то и вообще неверно.

Исконно же русская вологодская земля, люди ее мне сразу же показались близкими, пришлись по душе, и, странное дело, я даже написал два коротких рассказа на вологодском материале, изменив своему правилу. Один из этих рассказов недавно звучал в сокращенном виде по Всесоюзному радио.

Земля, Родина накладывают отпечаток и на людей, а следовательно, и на писателей, на их дело. Вологодские писатели и поэты — люди в большинстве своем по-хорошему простые, но не простоватые, открытые, и также их работа.

Книги, стихи очень душевны, многозвучны и по-настоящему народны. Сказав слово «народны», я не имею в

виду, чтобы непременно упоминались в произведениях лапти, щи и курные бани.

Народность эта прежде всего в интонации произведений — в интонации, слитой с самим звучанием голоса родной земли, интонации неторопливой, распевной, как бы приглушенной тихой грустью. Это очень отлично, скажем, от броского, несколько даже яростного, громкого слова сибиряков, и от красок их, размашистых и тоже очень ярких.

«Тихая моя родина», — говорят о своей земле вологодские писатели, и в этой прекрасной строке много обозначено и сказано, хотя нынче не такая уж она тихая, Вологодчина-то.

О рабочем классе вологжане пишут мало, точнее, почти не пишут, и это тоже объяснимо. Большинство писателей-вологжан — выходцы из деревень, и пишут они о том, что знают хорошо, что вошло в плоть и кровь, писать же наскаками, пользуясь творческими командировками и мимоходными впечатлениями, — дело ненужное и неблагоприятное.

Ни одна книга, написанная литературными гастролерами, не сделалась, громко говоря, достоянием читателя. Думаю, что пишущий о рабочем классе должен выйти из самого этого класса, быть им воспитанным, и вот среди начинающих и молодых писателей уже есть попытки приблизиться к этой теме, робкие, правда, попытки, неуклюжие, но все же есть.

Правда, есть в работе молодых и начинающих одна огорчительная особенность. Я бывал на многих семинарах молодых, в том числе и на недавнем Вологодском, где разбирались интересные, перспективные авторы — это Шириков из Вологды, Шарыпов из Череповца, Степанов из Вологды и другие. И вот странное совпадение, почти никто из них не работает над произведениями крупных форм — романами, повестями.

Правда, все мы, да и до нас тоже, имеющие опыт писатели, обычно подталкиваем молодых к тому, чтобы они начинали с малых форм, набили бы руку, подучились и тогда уж брались за более капитальное дело. Это не беда. Но беда состоит в том, что и в малых формах молодые писатели зачастую неоригинальны, вторичны, а то и десятиречны, и пишут о том, о чем уже написано много, и хорошо написано.

Создается впечатление, что им не о чем писать, и не-

вольно вспоминается чеховский персонаж, провинциальный газетчик, который сетовал на отсутствие материала. «Вот если б турки штурмом Калугу взяли, тогда б было о чем писать...» — говорил он.

Между тем у наших молодых писателей жизнь, как правило, интересная была, насыщенная, только самим им она почему-то кажется не заслуживающей внимания. И опять же для пишущего нет, как говорится, предела, писать можно и нужно обо всем, только интересно и по-своему.

Когда-то молодой Бунин пожаловался Льву Толстому на то, что ему не о чем писать, и Толстой на это сказал, что вот, мол, и пишете о том, что не о чем писать, да и объясните, почему не о чем писать.

Больше внимания к окружающим людям, к повседневной жизни, любопытства больше, и молодые увидят, как нескончаемо волнуется вокруг них море жизни, и на этом море не всегда штиль, бывают и волнения, разбиваются корабли.

Одни только вопросы нравственного воспитания молодежи и самопознания, или, как Достоевский говорил, «себязнания», могут составить большую работу, которой хватит на целую жизнь не одного писателя, а целого поколения писателей, как это было в шестидесятых годах прошлого столетия.

Сам я последние годы работал над повестью «Пастух и пастушка» — это повесть о войне, о любви, о тоске и мечте человека по естественной жизни, без смертей и кровопролитий. Наряду с этим работал над короткими рассказами и составил из них книжку под коротким названием «Затеси», которую в семьдесят первом году собирается печатать издательство «Советский писатель», а издательство «Молодая гвардия» намеревается издать одномомник повестей, куда должна войти и «Пастушка».

Начал работать, а точнее, приступил к книге о войне, к которой шел давно и готовился долго, потому что сам я участник войны, солдат, и не мог выполнять эту работу скоропалительно, неумело.

Тема войны для меня — святая тема, и хочется, чтобы писалась трепетно, с болью и святым уважением к тем людям, с которыми я воевал и которых приходилось мне хоронить вдоль долгих дорог войны.

Издан ряд моих книг за рубежом. Только что я подписал договор с венгерским издательством «Эуропа» на из-

дание повестей и рассказов на венгерском языке. Выходит в Болгарии повесть «Кража». До этого она вышла в Чехословакии и в ГДР. В Чехословакии, Польше, Венгрии и других странах печатались некоторые мои рассказы. В издательстве «Прогресс» выходит сборник рассказов на английском языке.

Вот и все, что я могу сказать о себе. Надвигается лето, время поездок, время встреч с людьми. Думаю побывать на Никольщине, в Салехарде, подумать, посмотреть — это нужно для будущей книги, работа над которой займет немало лет.

1970

ЭТЮД НА ЧУСОВОЙ

Сколько помню художника Анатолия Николаевича Тумбасова, столь и неизменен его облик в памяти моей. Прежде всего запоминается тихая, добрая улыбка, вроде бы постоянно присутствующая на бледноватом лице от скрытого, тайного волнения и радости, изредка озаряющих лицо негустым и неярким румянцем, беловатые волосы, высветленные солнцем и ветром брови и небольшие светло-голубые, внимательные-превнимательные глаза, таящие в себе какую-то глубокую печаль и даже виноватость.

Как видите, портрет и облик художника, мне запомнившегося, так и просятся определить его в детстве и в юности в какое-нибудь городское предместье, в интеллигентную скромную семью, в примерную школу полугородского, окраинного толка, где много кружков по искусству, военной подготовке, где все чего-то лепят, мастерят и рисуют, бросают деревянные гранаты и колют самодельные чучела врагов, где обязательно присутствуют два-три лохматых учителя, одержимых идеями невиданных изобретений, открытий, путешествий, будоражащих юные души.

Но увы, родом-то Анатолий Тумбасов из шахтерского поселка с самым ему подходящим названием, над которым долго не надсаживались административные умы, — Пласт Челябинской области, в пятидесяти верстах от станции Нижне-Увельской.

«Поселок этот можно окинуть взглядом с любого шах-

терского отвала. В поселке всего было несколько двухэтажных зданий на городской манер: больница, девятая и десятая школы, две-три конторы, а все остальное — домишки с палисадниками и огородами», — напишет впоследствии о своей «малой родине» Тумбасов и с горьким выдохом добавит: «И вот тебе, почти четыре тысячи погибло». В числе погибших на войне был и отец художника, и друг, роднее кровного ему брата, мечтавший стать художником Иван Чистов, убитый десятого сентября 1943 года в Смоленской области, возле деревни Шуи.

Так вот она откуда, глубоко таимая и неистребимая печаль в глазах художника, — он-то вернулся с войны, а Ваня, отец и еще миллионы остались на веки вечные «там». Неизбывна война в сердцах тех, кто уцелел на войне, и груз ее тяжкий нести нам — фронтовикам — до конца дней наших.

Оба они: и Толя Тумбасов, и Ваня Чистов — страстно мечтали стать художниками, и мечта одного из них исполнилась, он рисует, пишет и работает «за двоих», как наказывал ему покойный друг.

Художники, как и многие творческие люди, много и серьезно работающие, не любят, чтоб им мешали, избрегают всевозможные запоры и замки, ограждая себя от любопытных, праздных «гостей», но сколь я знаю Тумбасова — а знаю я его уже более тридцати лет, двери его мастерской всегда открыты для людей, и всегда согрет для гостей крепкий чай, и редкого по сердцу ему пришедшего гостя он отпустит без подарка — этюд с реки Камы, подаренный мне еще в пятидесятых годах, объехал со мною не один уже город, сменил не одну квартиру. И при всем при этом Тумбасов не только много и плодотворно работает, он много ездит, у многих людей бывает. Урал облазил и изрисовал, кажется, от крайнего севера до родного юга. Но в общении с людьми он любит больше слушать, чем говорить, однако его «молчаливое общение» так активно, такое в лице его внимание и любовь, что и не замечаешь его неучастия в разговорах и спорах.

Но мне доводилось, и не раз, слушать и его рассказы, не о себе, нет, не о своих работах, а о том, где он был, чего видел, с кем встречался — открывалась душа глубокая, глаз не просто приметливый, но и остропамятливый, и еще юмор, тихий юмор, всегда присутствующий в его рассказах, и самоирония, а это уже верный признак души, богато одаренной природой и озаренной светом добра.

Тумбасов не только много всегда работал как художник, но и выставлялся немало, и похваливали его, и даже куда-то выбирали, в какое-то руководство, но это никак не отразилось на его характере и поведении. Всегда скромно живший и живущий материально, он никогда никому из «богато» и «широко» живущих художников не завидовал, на нужду не жаловался, не горланил на собраниях, и о нем в Перми одно время уж начали поговаривать: «Себе на уме мужичок», в особенности после того, как Тумбасов начал «пописывать» и изредка издавать очень милые и добрые книжки для детей со своими рисунками, содержание которых чаще всего составляли записи путешествий по Уралу или словесные этюды с рисунками о природе, о цветах и деревьях, исторических местах. И тут нашлись злые языки: «Деньгу зашибает Тумбасов! В писателе рвется!» Но книжки его были так непритязательны и обезоруживающе-доверительны, объем их столь невелик, что в конце концов унялись всякие наветы и к Тумбасову привыкли к такому, какой он есть: никого он локтями не отталкивал и не отталкивает, ни у кого кусок хлеба не рвал и не рвет. А вот когда я, переехав в Вологду, написал, что не худо бы ему посмотреть эту землю, не похожую ни на Урал, ни на Сибирь, но такую пространственно-российскую, историческую, привлекательную, то он тут же занял у кого-то полста рублей и прикатил ко мне, побывал на выставках, в музеях, в лесу, в деревнях, и так был счастлив тем, что вот ему показали прекрасный древний «клочок» России, что даже и постоянная печаль в его глазах приутихла.

Повторяю — не припомню, когда бы мой сверстник по годам и склонностям говорил о себе, хвалился собою, своей работой и успехами; вот о друзьях-товарищах — пожалуйста! О них он всегда готов поведать хоть изустно, хоть письменно.

В Челябинске, на родине Тумбасова, вышел литературно-краеведческий сборник под броским и красивым названием «Рифей» — такое, оказывается, наименование Урала дошло до наших дней из Эллады, от греков, и под этим именем вошел Урал в древнюю мифологию.

В числе шестнадцати авторов «Рифея» присутствует и Анатолий Тумбасов и снова пишет не о себе, снова не претендует на высоты литературного стиля, и, быть может, именно поэтому строки его порой столь проникновенны и зримы, что за сердце хватают.

Друг его, Ваня Чистов, был сиротою, и его на воспитание к себе взяла одинокая бабушка Яковлевна, которая в японскую еще войну была сестрой милосердия и которую два отрока, возмечтавшие быть художниками, все донимали расспросами о великом русском художнике Верещагине, который, казалось им, должен был быть на самом заметном виду, поскольку знаменит. Но бабушка Яковлевна отмахивалась от них: «Война шла, где там заметишь».

Так вот, отличник учебы, неизменный староста класса, горевший на общественной работе и самоуком постигавший секреты творчества, беспрестанно рисовавший, лепивший, изучавший в библиотеке, в доступных книгах и по открыткам искусство, мечтавший хоть бы раз побывать в настоящей картинной галерее и увидеть картины Репина, Шишкина, Левитана, но так ничего этого и не увидевший, Иван Чистов раньше своего преданного друга уходил на фронт, а тот много-много лет спустя до осязаемости, предметно вспомнит, как провожал Ваню, который преобразился на глазах, возмужал, но как попал в компанию новобранцев, как зажали его в кузове автомашины, так бравый призывник все искал глазами защитницу — бабушку Яковлевну, а она, «бабушка, стояла в стороне, у изгороди, и плакала, ничего не видя. Я пробрался к другу, потянул его за рукав... Мы молча и крепко пожали друг другу руки. Машина было тронулась, но мотор заглох. Все женщины опять нахлынули и притиснули меня к борту. Я опять оказался около Вани, а он, высвобождая руку, высыпал мне горсть сахара, выданного в военкомате. «Бери!» — сказал второпях, как мотор снова завели, машина тронулась, и ревущая, пестрая толпа, только что прильнувшая к кузову, стала отставать. Но многие еще бежали следом, кричали, махали платками, и потом долго стояли на дороге, растерянные, одинокие, оставленные...»

Никого не повторил в этой сцене прощания не претендующий на звание литератора Анатолий Тумбасов, хотя сцен прощания написано, снято в кино и нарисовано не сотни, а тысячи, однако нигде и ни у кого я не встречал наповал разящего слова «оставленные». Это уж что-то от «тютчевской неправильности», это уж из того, что близко лежит, да брать далеко.

«Так мы расстались с Ваней. Писали друг другу письма, жили надеждами, ожиданиями, жили все с той же мечтой: рисовать, рисовать...»

Скоро на фронт отправился и Тумбасов, но переписка

друзей не прекратилась, и с родины приходили письма. «Я уже наизусть знаю начало и конец маминых писем», — простодушно признается другу Анатолий. А тот в ответ: «Друг мой, я очень соскучился и не могу забыть ни на минуту родные места и те счастливые дни, когда мы рисовали. Пока есть возможность — рисуй, рисуй день и ночь. А какие замечательные здесь места, так и вырвался бы порисовать, но нельзя. Надо овладеть противотанковым ружьем». И еще, и еще: «Больше рисуй. Жду бандероль с бумагой»; «Спасибо тебе, что выслал бумагу. Спасибо, что догадался положить портрет Крамского. Хоть один портрет художника будет у меня»; «Еще вспомнил: у меня есть кнопки, возьми их себе и мне немного вышли. Если бабушка будет посылать мне посылку, вышли Илью Репина — открытку, я хоть буду смотреть на нее и думать, как он работал»; «Я, Толя, когда иду в строю, то все смотрю по сторонам и в результате — запнешься и станешь другому на ногу — за это попадет»; «Помнишь: тихая ночь, снежинки, а мы говорили об искусстве, о будущем... Мне кажется, что после войны будет другая жизнь...»

Я не случайно и не зря так много цитирую из горького и бесхитростного рассказа Анатолия Тумбасова о своем незабвенном друге, мечта которого оборвалась на взлете и могилу которого так и не смогли найти ни юные следопыты, ни друг его верный — на месте тяжелых боев под Шуей шумят хлебными колосьями колхозные поля.

Чуть позже, в голодные послевоенные годы, с Золото-го таежного рудника, что затерян в дебрях Сибири, пробирался на попутных «в центр» другой подросток, мечтавший стать художником. С тяготами, муками, лишениями и со счастьем в сердце он поступил и окончил краевое художественное училище, затем был принят в Ленинградскую академию художеств и зодчества, откуда вернулся в родные края скульптором, живописцем, виртуозно владеющим рисунком, как владели им в старые времена русские художники, неистовые и требовательные к себе и к своей работе великие мастера. Рисунок и рисование для них были то же самое, что каждодневные изнурительные упражнения для балерин.

О Ленинграде, об академии, о том, как добывался хлеб насущный на пропитание, этот человек, мой земляк, ныне известный скульптор, может рассказывать часами, да все с юмором, и лишь когда дело доходит до имен преподава-

телей, становится он предельно серьезным, на глаза его наплывает пленка благодарных, сыновних слез.

Год или полтора назад его преподаватель по классу живописи, старый и ныне всемирно признанный мастер, пользуясь тем, что в Ленинграде было какое-то широкое мероприятие и съехались многие художники, в том числе и «послевоенные», его самые любимые и трудолюбивые ученики, решил провести вместе с ними урок, поделиться своим накопленным мастерством, а главное — пообщаться, помочь живописцам, графикам и скульпторам окупиться в современную творческую атмосферу.

Прекрасные классы, мастерские, новомодные мольберты и станки, краски и кисти, материал для лепки любой, натурщиц два десятка, да одна другой пластичнее и краше, а в те послевоенные годы все не хватало натуры и средств на натуру. Сам мастер пришел подтянутый, помолодевший, в торжественном одеянии и настроении, но в класс-то, на урок его, человека престарелого, до крайности занятого, явилось всего одиннадцать душ, и все, как на подбор, те, «послевоенные», его ученики, среди которых много уже общепризнанных, сединами украшенных мастеров. Нынешние же его ученики, жаждущие немедленной славы, удовольствий, роскошно одетые, перекормленные не только сладкой едой, но и искусством, сплошные «новаторы», предпочли общению с «бесконечно отсталым хламьем» торжественный банкет во славу искусства.

А мы еще сетуем: отчего так порой невыразительны, тусклы, однообразны многоместные выставки в Манеже и других выставочных залах, почему так долго не появляются новые Корины, Пластовы, Дейнеки, Мыльниковы, Мойсеенки, Савицкие? Они на пустом месте не появляются и при таком «отборе» и отношении к делу скоро и не появятся, ибо работать нынешним «мастерам» неохота, а прославиться, и как можно скорее, они стремятся изо всех сил, и тут не столь работа, сколь папино или дядино имя пускается в ход и не жалеется сил на приобщение к искусству с заднего хода...

Горько, очень горько это знать, и еще горше стало на сердце, когда я прочел очерк Анатолия Тумбасова о погибшем друге, так жадно, непобедимо, с открытым сердцем и чистыми помыслами стремившемся в искусство.

И снова, и снова глаза мои отыскивают и пробегают по строкам последнего с фронта письма к другу Ивана Чистова: «Рисуя больше, не жалея сил, ни времени, ри-

суй за двоих. До свидания. Спешу заклеить письма тебе и бабушке картошкой из супа».

Много лет назад на берегу самой в Европе красивой, прославленной уральскими писателями и живописцами реки Чусовой художник Тумбасов нашел одинокую могилу партизана или красноармейца, погибшего в гражданскую войну. Он возмечтал нарисовать картину с этой могилы и много раз бывал на том скорбном месте, сделал множество этюдов, начинал картину и так и этак, и все она у него не получается и, наверное, никогда не получится, потому что могилу своего самого любимого друга он не нашел, и мучает его та могила, как мучают все наше поколение не найденные нами и неоткрытые могилы, не закопанные нами впопыхах наступления окопные друзья, а вот очерк-воспоминание получился. Пронзительно горький и простой документ героического времени, может, и картина о потерянном друге, о погибшей его мечте, о неизвестной солдатской могиле, затерянной в просторах любимой Родины, когда-нибудь получится.

ВЕЧНО ЖИВЫЕ ОБЛАКА

К постановке оперы Верди «Бал-маскарад» в Красноярском оперном театре

1942 год. Надвигается осень. Полыхает битва под Сталинградом, немцы рвутся на Кавказ и уже добрались до вершин Эльбруса. Россия, развеяв фашистский миф о блицкриге, пережив катастрофу на границе, под Смоленском и Вязьмой, заткнув живым мясом ополченцев «дыру» на Москву и отбросив силами сибирских дивизий противника аж за Оку, втянулась в войну, начала уже привыкать к ее сверхтяжким, кровавым и немилосердным будням.

Я, молодой еще парнишка, после окончания железнодорожной школы ФЗО работаю на станции Базаиха составителем поездов. Работа опасная и тяжелая, полагаются по трудовому и человеческому закону сутки отдыха после двенадцатичасовой смены, но почти ни разу не дали мне отдохнуть сутки, на станции все время находится дополнительная работа, а людей не хватает. Еще прошлой осенью, когда враг был под Москвой, начали с фронта возвращать железнодорожников — услужливые военкомы впопыхах оголили транспорт. Но все равно транспорту тяжело, одышливо, не хватает не только людей, но и паровозов, вагонов, запасных путей. Со всяких железнодорожных свалок, с фронта притащены хромые, полуразбитые вагоны и платформы, винтовые сцепки ржавые, воздушные рукава рваные, сцепляешь — гляди в оба, чтобы руки не оторвало. Работаю всего три месяца, и мне уже не раз отсекало рукавицы фаркопами, и под двигающимися вагонами полежал. Но жаловаться некому. Роптать

не на кого. Близко, рядом восстанавливается и скоро начнет работать Брянский паровозостроительный завод, от станции Базаиха проложена ветка на предприятие, которое в скором времени начнет выпускать порох, фронту позарез необходимый, и мне еще доведется на фронте увидеть артиллерийские гильзы, заполненные красноярским порохом, похожим на столовские рожки из сдобного теста.

В городе людно, непролазно, в частные дома распределяют жить эвакуированных, на базаре цены растут еще быстрее, чем в нынешних магазинах, надвигающаяся зима страшит морозом и голодом — ведь уже в прошлую зиму собирали по улицам трупы полураздетых, голодных людей, в дороге все с себя на еду променявших и получивших такую спецовку, которая совсем не для сибирских мест и зим.

Вроде бы беспробудно, глухо и беспродышно не только на фронте, но и в глубоком тылу, однако жизнь идет, работают школы, кинотеатры, некоторые вузы, ремесленные училища, музкомедия. И вот на-ко, в Красноярске, на сцене драматического театра имени Пушкина открывается оперный сезон, о чем извещают скромные, пусть и немногочисленные, но настоящие афиши.

Сезон открывают эвакуированные или сбежавшие с Украины театры, из Киева, Днепропетровска и Одессы. И открывают они его оперой Верди «Бал-маскарад».

Невиданное, неслыханное в Сибири искусство — опера — любопытно очень, посмотреть охота — никогда не видел, только по радио слышал да от директора детдома, бывшего белогвардейского офицера, кончившего когда-то царский лицей и даже в театре каком-то игравшего или певшего. Он был высоко, слишком высоко образован для того времени, знал язык и о музыке, и об опере знал, и вообще был «не наш», и потому мыкался в заполярной ссылке и нам, обездоленным детям, открывал другой, какой-то чудесный мир, рассказывал о русской поэзии и о театре. Совсем немножечко, совсем маленько я был подготовлен к тому, что мне предстояло услышать. Помню некоторое отличие публики, пришедшей на оперу, от той, что я видел в театре музкомедии, на сцене которого выступали заезжие фокусники, певцы и певички, лилипуты и прочие гастролеры, которых вдруг обнаружилось множество.

На опере публика была сдержанна, солидна, по тому

времени нарядно одета, чуть торжественна. Одна дама, помнится, даже обмахивалась красивым веером. Но много было людей в военной и всякой другой форме, так что я в своей новой железнодорожной черной гимнастерке со свежим, белым подворотничком выглядел почти кавалером. В театре продавались какие-то диковинно длинные, на свисток похожие, конфеты, завернутые в бумажки, напоминающие луковую шелуху, какой-то почти бесцветный напиток и мороженое. Я был, очевидно, с полочки и встал в длинную очередь. Но мороженого мне не досталось. Морс — напиток раскупали бидонами, а мороженое целыми сетками — на кисель.

Чуть-чуть помню, как в зале сделалось тихо и темно, зазвучала музыка, открылся занавес — и я увидел плывущие по небу облака. Живые облака в театре, на сцене! Ну не чудо ли?!

От музыки Верди и от оперного действия веяло мрачностью — это я тоже помню, пусть и очень отдаленно, и все, особенно сцена на кладбище, над которым опять по небу плыли живые облака, совпадало с настроением и действительностью, царившей за стенами театра, о которой не забывалось даже тут, в тесно заполненном уютном зале.

Не помню уж, как пели артисты, а было их на каждую роль по четыре, по пять человек — нужно за что-то получать хлебные карточки и деньги на хлеб.

Наверное, пели прекрасно. Украинцы ж, да еще из таких прославленных театров! В Красноярске, я думаю, десяток-другой человек сохранились еще с тех пор, кто слушал эвакуированную оперу на сцене Красноярского театра имени Пушкина, может, и более толковых, чем я в ту пору, может, и программки сохранились...

Вот бы они повспоминали да посмотрели сегодняшней театр, сегодняшний спектакль «Бал-маскарад» и поделились бы своими впечатлениями.

Опера «Бал-маскарад» ставится редко и мало где, но я потом еще, едва ли не в Пермском или Свердловском театре, в другом ли каком слушал ее и всегда с умилением вспоминал: «А вот во время войны, в Красноярске...»

И дожил я до того светлого дня, когда здесь же, в Красноярске, но уже на сцене собственного оперного театра, в мирные годы; в зимний снежный вечер собрался слушать «Бал-маскарад» в постановке приезжего, столичного режиссера, известного, правда, только по драматическим постановкам, в том числе по спектаклю «Павел Пер-

вый» на сцене театра Советской Армии, где главную роль бесподобно играл великий русский актер Олег Борисов. После него уже никто так убедительно Павла сыграть не смог. И спектакль остановился, умер вместе с артистом.

Каков же Хейфец Леонид Ефимович в опере? Как-то он «оживит» Верди, у которого, кроме «Риголетто», все оперы малоподвижны, тяжеловаты и мрачны? И как-то высветлится, отзовется моя давняя память об оперном диве и воскреснет ли в сердце ощущение чуда соприкосновения с прекрасным искусством?

Не без тревоги, не без любопытства, не без трепета ждал я открытия занавеса.

И вот зазвучала музыка, без привычной оперной увертюры началось вступление — гуляние на набережной иль в парке. Пестрота костюмов, нарядные декорации, много всего красочного, веселого, а веселее и милее всех паж, но и паж, и вся толпа, и веселость — «оперная», натужная. Да, тут уж ничего не поделаешь — таковы законы сцены вообще, а оперной в частности. К условностям сцены нас уже приучили, надо и с условностью оперной «действительности» свыкнуться, терпеть ее, где и «не заметить», тогда и получишь от этого великого искусства истинное наслаждение.

Нет, почти ничего не совпало с теми давними, юношескими ощущениями от спектакля, да и не за тем я шел, чтобы сравнивать несравнимое.

Сложная, долгая жизнь прошла между двумя «Бал-маскарадами». Я видел и слушал почти все, что ставилось из опер Верди на сцене, в том числе и в Вене «Дона Карлоса». В роскошной Вена-опере наш замечательный, тогда еще молодой Евгений Нестеренко пел заглавную партию вместе с целым выводком мировых знаменитостей, и не только «запел» их, но и «расходил», оживил тоже малоподвижную оперу и придал ей динамичности. Что же красноярцы? Как они справились с этой старой оперой? Сдвинули ли ее с места? Обновили ль? Музыкальное произведение и особенно музыка Верди — они, как любовь человеческая, — вечны, но каждое сердце обновляет их по-своему. Есть один совершенно всем известный, но непостижимый секрет музыки — она ближе всех искусств к небу и к Богу. Слушая сонату резвого, от радости захлебывающегося Моцарта или «Времена года» Чайковского, пространственно-печального ли, будто поздняя российская осень, Рахманинова, квинтеты Вивальди, «этого ры-

жего бестии», как звали его современники, шляющегося по древним улицам в нетрезвом виде, иль наполненную болью и мольбой неоконченную симфонию Шуберта, мать, родившая недавно ребенка, и мать, недавно потерявшая ребенка, будут слышать и воспринимать их каждая совершенно по-разному.

Так и я, имеющий местную «биографию» оперы «Бал-маскарад», конечно же, воспринимал ее по-своему, хотя и слушал ее вместе с публикой, до отказа заполнившей зал на премьере, я и не могу быть объективным в рассуждениях о постановке. Специалисты пусть порассуждают об этом, в том числе и музыковеды, я заранее знаю, что они будут настроены скептически к спектаклю оттого, что поставил его «не наш» человек, да еще из столицы, да еще из драмы. Для меня же Верди, его оперы, в особенности «Реквием», — выше и дальше меня, это уже часть меня, состояние моей души, а может, и состав крови, и мое состояние не должно и не может совпадать с мнением остальной публики о состоявшейся премьере, в том числе и с оценками специалистов-музыковедов. Вот я слышу почти в каждой картине двигающейся к развязке трагедии раскаты «Реквиема», на мой взгляд, одного из величайших творений человеческих в музыке. Но еще не истерзали композитора мнимые и грядущие земные драмы, в «Бал-маскараде» он еще нерешителен и робок в прикосновении к вечному вопросу, терзающему человека, — что такое жизнь и смерть, однако уже весь он в предчувствиях мук, страданий, от страстей человеческих, предугадывания бед содрогается и рвется на части его нежное и могучее сердце.

Верди неиссякаем. В его операх почти нет речитативов или затянувшихся музыкальных пауз, преодолевая которые устаешь порой ждать «ударных» арий и двух-трех дуэтов в операх других, особенно современных, композиторов. У него от начала до конца, хотя бы в том же «Бал-маскараде», поют, не повторяя мелодии, не затягивают паузы. Его оперы — это беспрерывно, звонко, чаще бурно текущий ручей. Думаю, что слушать Верди можно и с закрытыми глазами, но каково-то его петь? Я не говорю о трудностях пения в опере вообще, легче плясать в какой-нибудь бандгруппе — там и голос, и слух не обязательны, были бы волосы подлинней да нечесаней. Я говорю о радостях и муках соприкосновения с великим искусством.

Мне думается, поставив Верди, да еще так редко исполнявшуюся оперу, красноярцы преодолели какой-то довольно трудный и важный этап в своей жизни и работе. Поклонимся им за это и пожелаем новых преодолений в служении красоте и добру, в воспитании истинного вкуса у людей, в первую очередь у молодежи, которая, кажется, не вся еще отравлена и затравлена современной массовой культурой.

А облаков живых я так и не увидел в нынешнем «Бал-маскараде», лишь в сцене на кладбище, на мой взгляд, наиболее убедительно и хорошо поставленной, слегка поклубился туман, да и тот скоро иссякнул. Но для меня до конца дней моих останутся вечно живые облака великого искусства, которые я давным-давно, кажется, в другой уже жизни, увидел однажды на сцене театра и до сих пор не перестаю удивляться им и восхищаться ими.

СТРОИТЕЛЯМ БАМа

*Обращение к строителям, помещенное в
трехтомном издании современной литературы
(Хабаровск, библиотека «Мужество»,
1977)*

Так случилось, что в жизни своей мне довелось больше разрушать, чем строить, — я и воевал в гаубичной бригаде разрушения! Бывал на лесозаготовках, на сплаве, на разных работах, но все как-то вдалеке, иль, точнее, в стороне от строителей...

Но с детства любил смотреть, как пилят тес, как возводят стены, как «из ничего» возникает чудо, сотворенное человеческими руками, — дом!

Мне немало лет, я уже много видел на этом свете, синхрофазотрон и синхроциклотрон видел, даже аппараты по расчленению клетки, даже нанесенные на одну пластинку в ладонь величиной кибернетическим способом телевизор и радиоприемник, а в детстве, как говорится, тележного скрипу боялся. Но запах свежих стружек, мякоть опилок под голыми ногами, гладь оконных подушек, переплеты рам и пустота набровников, в которых, когда их забьют мохом, непременно поселятся воробьи, то есть обыкновенный дом для меня будет вечным и неизменным чудом!

После войны мне и самому довелось «возводить дом» из старых бревен, досок, ржавого железа и битых кирпичей, собирать халупу, ибо с жильем было туго и нам с женою, вернувшимся с войны, попросту негде было жить.

Я рано ушел на войну, жена и того раньше, мы мало чего умели, но, уцелев на войне, жили жадно, радуясь прежде всего самой возможности, счастьем жить, которого так многие лишились. «Свой дом» я строил после рабо-

ты и колотил молотком чаще по «плотнику», то есть по руке, чем по гвоздю, после чего следовали громкие высказывания, от которых даже вороны отлетали вверх, и теща моя, человек тихий, добрый, вырастившая девятерых детей и всего, как говорится, изведавшая, когда ее спросили, что-де за мужичонка на пустыре строится, больно, мол, уж «боевые» у него выражения... постеснялась признаться, что это ее милый зять, и тихо удалилась.

Ну а потом халупа моя сделалась жильем, похожая обликом на меня — это уж непременно! — лишь современные «коробки» похожи друг на дружку, но дома, строенные своими руками, всегда были похожи на «созидателя». Помню по сей час ясно, отрадно, как в жилье затопили первый раз русскую печку и оно стало наполняться живительным теплом, уютно сразу сделалось, хорошо, покойно...

Давно я не живу в этом городке. Давно хозяйствует в моей избушке другой человек, но ни о чем так сладко не печалится мое сердце, как о домике, построенном своими руками, и, когда я бываю на Урале, непременно уж пройду мимо «своего домика», подивлюсь, как выросли посаженные мною деревья, порадуюсь тому, что в домике, совершенно уже перестроенном, на «мой» почти непохожем, живет обиходный, заботливый хозяин, говорят, знатный сталевар.

Все это я к чему говорю-то? А к тому, что строить, созидать есть большое счастье. Я знаю, что всякое строительство начинается с копания земли, часто обыкновенной лопатой. Мне и моим друзьям по войне много довелось копать земли на фронте, если сложить все нами выкопанные окопы, блиндажи, противотанковые рвы и щели, наверное, получится дырка сквозь земной шар. Но никакой радости не доставляла та работа, мы ее прямо-таки ненавидели, да делали, потому что она была необходимой.

Совсем другое дело — мирная работа, мирное строительство, мирная жизнь! Я далек от мысли, что в тайге трудиться лучше некуда и что труд — сплошной праздник (у нас так долго твердили об этом, что иные молодые люди идут на работу как на праздник, а потом у них настроение портится: шли гулять, веселиться, а тут вкалывай до ломоты в костях!). Но все же, строя дорогу, прорубая трассы, возводя поселки, города и станции, вы, сегодняшние строители, оставляете на земле «свой дом», и в нем нач-

нется жизнь, будут рождаться и расти дети, и по железной дороге пойдут поезда, и кто-то куда-то поедет в даль, всегда заманчивую, и, глядя вслед тем поездам, вздохнет бывший строитель и скажет про себя: «Счастливого пути, люди!»

Не знаю, как у кого, а у меня прощальный гудок парохода и уходящий поезд всегда вызывали и вызывают сощущую тоску и зависть к тем, кто куда-то едет. В сорок втором году я работал близ Красноярска на станции Базаиха составителем поездов, так мне за каждым составом, мелькнувшим на хвостовом вагоне красными огнями, бежать хотелось. С годами это чувство поослабло, притушилось, года и напряженная работа поугасили мечтательность, но все еще, как увижу уходящий состав, сжимается сердце, рванется вослед ему вечно беспокойная человеческая душа...

Да что же делать? Года, года... Молодость — прекрасная пора, но проходящая. Быстро, к сожалению. Наша молодость осталась на войне в окопах, в бредовых палатках санбатов и эвакогоспиталей. Нам остается лишь похорошему завидовать тем, кто так свободно и, надеюсь, разумно может распоряжаться собою, своей молодостью и устройством своей, а стало быть, и нашей жизни, ибо все мы живем в одном обществе и цели у нас едины.

Я долго думал, что же послать в сборник, назначенный для строителей БАМа, и порешил самую мне «родную» вещь, полагая, что у каждого бамовца где-то осталась своя маленькая родина, отчий угол, клочок земли, который его вырастил, с которого и начинается человек*.

Кланяюсь вам, дорогие люди, из далекого старинного русского города Вологды, желаю мирного труда, вечной возможности не разрушать, а строить и еще любить то, что всех нас объединяет, то, без чего мы не можем жить, — нашу природу, прекрасную, многотерпеливую мать-землю.

1977

* Я послал в бамовский сборник «Оду русскому огороду».

ВЫБРАЛ БЫ ТУ ЖЕ САМУЮ...

Интервью на 13-й странице «Недели»

— Занятно у нас получается, Виктор Петрович: начал я интервью в Вологде, закончил его в Москве, а чтобы получить Вашу визу — согласие на публикацию этих строк, звонил в Красноярск, предварительно выслав рукопись беседы в Овсянку — Ваше родное село. Можно ли объяснить такую тягу к перемене мест?

— В 1945 году, после госпиталя, будучи в нестроевой части, женился на женщине родом из города Чусового Пермской области. Так «очусовел» на 18 лет. В этом настоящему рабочем городе прошла молодость, выросли дети, начал писать. Сюда вернулся после учебы на Высших литературных курсах. Вскоре переехал в Пермь, от города этого, огромного, очень цивилизованного, как-то быстро устал.

Выбрал тихую Вологду еще и потому, что учился вместе с вологжанами: Сергеем Викуловым, ныне редактором журнала «Наш современник», Александром Романовым, бывшим секретарем Вологодского отделения Союза писателей России, Василием Беловым, Ольгой Фокиной, Николаем Рубцовым, увы, уже покойным...

Мне повезло. В Вологде, где я прожил более десяти лет, серьезно и уважительно относятся к настоящей литературе. Доверие, деликатность, внимание и заботу проявляют здесь о писателях не на словах, а на деле, заботу, а не мелочную опеку. И терпимость. Думаю, благодаря этому небольшая Вологодская писательская организация — одна из сильнейших и уважаемых в России. Сохранено

светлое имя поэта Николая Рубцова, широко, по-народному празднуют дни поэзии Александра Яшина, Сергея Орлова — также знаменитых вологжан. Тщательно, с любовью и пристрастием изучается и издается литературное наследие северян, довольно разнообразное, кстати, и богатое, знаю, сколько сил, настойчивости и терпения надо было проявить вологжанам, в частности очень хорошему человеку и поэту Александру Романову, чтобы издать сборник стихов замечательного русского поэта — северянина Николая Ключева, кем-то и зачем-то вычеркнутого из русской литературы.

Все три десятилетия, что я прожил на Урале и на Вологодчине, меня тянуло в родные сибирские места. Вернувшись, обрел какое-то успокоение, как будто прибыл домой из длительной командировки, — это ощущение счастливое.

Я очень сильно эксплуатировал свою память, писал о Сибири, а жил вдалеке от нее. Записей не веду, дневников не имею, и все по памяти, вплоть до поговорок и пословиц, даже интонации, которая везде своя. Когда задумал большой роман о войне — серьезная работа, рассчитанная не на год, то посчитал, что надо находиться в той языковой стихии, от которой буду отталкиваться, среди тех людей, о ком намерен говорить. И потом, хотя я не пишу с ходу, с налету о местах, где живу, но надеюсь, что Сибирь подарит мне новые, неожиданные темы — пути литературные неисповедимы.

— Какие в Вашей жизни произошли события, дававшие повод для выбора писательской профессии?

— Нет, это не был какой-нибудь «звездный час», а жесточайшая закономерность. Все-таки склоняюсь к мысли, что литератором, как и музыкантом, рождаются.

Писать я начал поздновато, в 28 лет. Но способность к сочинительству обнаружилась чрезвычайно рано, в четыре-пять лет. За этот «талант» бабушка Катерина Петровна звала меня хлопущей, что по-сибирски означает «вруша». Признаюсь: всякий раз происходил настоящий спектакль, когда я с упоением врал, вернувшись из леса или с пашни. Аплодисментов, конечно, не было, но случалось — за вранье просто-напросто пороли. (Смеется.)

Не было бы войны, уверен, на дюжину лет раньше начал бы писать. И стал бы совершенно иным литератором. По своей сути я ведь романтик, люблю глазеть на природу, собирать цветы, камешки, читать о любви. Но

война заставила меня, как и многих моих сверстников, видеть, собирать и запоминать совсем иные штуки.

Но если бы мне было дано повторить жизнь, я выбрал бы ту же самую, очень насыщенную событиями, радостями, победами, восторгами, поражениями и горестями утрат, которые помогают обостренной видеть мир и чувствовать доброту, только исключил бы из этой жизни войну и оставил бы себе маму.

— Если бы Вы не стали писателем, то кем хотели бы быть?

— Крестьянином. Пахал бы, сеял, как дед. Крестьянская жизнь дает чувство совершенно особой радости, ни с чем не сравнимого удовольствия и удовлетворения своим трудом. А писательство — работа все же редкая, далекая от обыденных людских профессий, оваянная неким таинственным ореолом.

— На мой взгляд, большинству пишущих труднее всего даются заголовки и первые абзацы. Как Вы одолеваете эти «орешки»?

— Названия находятся по-разному. Иногда сразу — как «Царь-рыба», когда еще не было самой книги. Измучился, прежде чем придумал «Последний поклон». А вот «Пастуха и пастушку» в ряде журналов и издательств советовали заменить, мол, будет восприниматься как «сельскохозяйственное» произведение. Но у нас возле литературы «мудрецов», больше и лучше самого писателя знающих, чего он хочет и что должен писать, нисколько не меньше, чем в нашем сельском хозяйстве, где все еще за председателя колхоза и за работника полей порой пытаются решать, чего и когда им сеять и как пахать.

До сих пор мне нравится давний рассказ «На далекой северной вершине». Сам сходил на уральские альпийские луга, где его и «добыл», а вот заголовок никак меня не устраивает, и ничего лучше найти не могу.

Как начинаю? Чтобы «стартовать», мне необходим звуковой толчок. Люблю начинать с буквы «И». Помните, Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского? Как будто вокруг звучала незаписанная музыка, а композитор уловил продолжение какой-то фразы. Так и в прозе. Важен первый такт. И — звучит хорошо, если сделать это ненавязчиво. Я вытягиваю начало из внутреннего созвучия, распева. «И брела она по дикому полю, непahanому, нехоженому, косы не знавшему». А «Кражу» надо было начать резко: «Ночью умер Гошка Воробьев».

У хорошей музыки, повторяю, можно научиться мастерству построения фразы, сюжета, организации словесно-звукового материала. В этом смысле мне много дал Концерт для фортепьяно с оркестром Грига. Я все время считаю то, что Бунин определял «звуком», то есть тональность сочинения, фундаментом произведения.

Если долго держишь вещь в работе и она не находит своей тональности, написанное начинает глохнуть, затихать и может вообще умолкнуть. Снова возбудить в себе мелодию, навеянную внутренней потребностью и самой жизнью, чрезвычайно трудно. Если возбудить другую — попадешь в совершенно другую тональность. Возникает несовпадение. Приходится мучительно преодолевать перекосы.

— Какое время года Вам больше всего нравится в творческом смысле?

— Осень. Точнее, октябрь и ноябрь — когда выпадет снег и никуда не можешь выйти. Даже с ружьем. Сидишь и пишешь. Больше ничего не остается делать.

— А чем Вы пишете?

— Простой ручкой. Макаю в чернильницу. На мой взгляд, творчество «рождается», когда касаешься бумаги. Все остальное — дело техники.

Раньше пользовался деревянными ученическими ручками, сгрызал иногда за день до половины. Однажды сынишку попросили в школе рассказать, как папа работает. Он чистосердечно ответил: «Да он все ручки грызет». Увы, сейчас деревянную ручку или простой карандаш приобрести не так-то просто. Купил себе дорогую ручку — «паркер». Только вот будет ли толк от этой дорогой ручки?

— Жизнь каждого из нас, тем более писателя, богата встречами с интересными людьми. Какие из них больше всего запомнились Вам?

— Я много встречал хороших людей. Больше, чем плохих. Удивительно запоминающейся оказалась встреча и знакомство со старшей киноактрисой, заслуженной артисткой РСФСР Еленой Алексеевной Тяпкиной. Ее последние роли: тетушка Ахросимова в «Воине и мире», княгиня Мягкая в «Анне Карениной», а в тридцатые годы она снималась довольно много, играла трактористок, а начинала еще в немом кино.

Когда я написал «Перевал», ее муж, ныне покойный, заслуженный артист РСФСР, режиссер Театра имени Революции Михаил Ефимович Лившин хотел поставить эту

повесть на сцене. Естественно, они пригласили меня в гости: Шел к Чистым прудам и думал: Господи, как я буду себя там чувствовать? И галстук поправлял, и себя ошпицывал, и причесывался, наверное, раз пять только на лестнице. Так разволновался, что я хотел возвращаться. Но потом сказал себе: солдат я или не солдат?

Позвонил. Открывают дверь. И я невольно сказал: «Вот Вы какая!» — первая актриса, которую вижу в домашней обстановке. Оказывается, Елена Алексеевна всегда снималась без грима. Меня просто потрясло: артистка — и на себя похожа!

И она, в свою очередь, говорит: «Вот Вы какой!» Так естественно произнесла она эти слова, что уж, переступив порог, чувствовал я себя как дома. Когда посадили за стол, тщательно пытался пользоваться ножом и вилок. Это мне удавалось с трудом — в силу деревенского воспитания и еще потому, что перебита на войне левая рука. Еще больше меня озадачила пара стаканов, ножей и вилок. Выручила Елена Алексеевна: «Да плюньте Вы на них, не мучайтесь. Как Вам удобно, так и кушайте».

Именно тогда почувствовал, что большая внутренняя культура заключается в естественности поведения человека. Будь это окоп или больница, застолье или общение с незнакомыми людьми в трамвае.

Сейчас Елена Алексеевна Тяпкина живет в доме престарелых актеров имени Неждановой, пишет мне иногда оттуда. Вот недавно ошеломила меня описанием о том, как училась вместе с Милицей Коорьюз в Киеве. Да, да, с той самой Милицей Коорьюз из «Большого вальса», и называет ее запросто Милкой! Надо будет повидаться и подробнее расспросить старушку обо всем — собеседник она прекрасный*.

Бывая за рубежом, встречаюсь иногда с ветеранами войны. Например, у меня есть знакомые в Министерстве культуры ГДР. Один из них сорок лет назад служил оберлейтенантом. Сидим, разговариваем, смеемся и вдруг, споткнувшись, задумываемся: может, я или он стреляли друг в друга...

— Что значит быть знаменитым, известным человеком?

— На этот вопрос лучше смогли бы ответить кинозвезды или хоккейные звезды. А я веду хуторской образ

*Недавно Елена Алексеевна Тяпкина умерла.

жизни. Говорят, один драматург знаменит тем, что голову бреет, другой в Союз писателей не вступает. Среди близких мне писателей таких потешников нету, потому что они знают истинную тяжесть этого труда и значимость, они, по-моему, сделались известными или знаменитыми не «по своей воле и охоте», а потому, что народ сам отыскал их в гуще изданной литературы, и слово их людям, надеюсь, жить помогает.

Я лично отношусь к своей работе как мой дед к пилению дров, заготовке сена, строительству дома. И это избавляет от излишнего кокетства. Еще у меня есть испытанный метод собственного укрощения: гляну на полки личной библиотеки — там стоят книги Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Лескова, Тургенева — этого вполне достаточно, чтобы вести себя скромнее, спокойнее.

— Назовите, пожалуйста, по возможности лаконично, одним словом, те человеческие качества, которые Вы цените в людях больше всего.

— Доброта. Любовь. Мужество.

— Как Вы воспринимаете литературу в качестве читателя?

— Круг чтения у меня, человека пишущего, очень ограничен: просмотр периодики, читательских писем, рукописей моих коллег. Первое, что я услышал в жизни, — это «Кавказский пленник» Льва Толстого. Затем «Дед Архип и Ленька» Горького. Их нам читал вслух сельский учитель, с тех пор я их не перечитывал и не буду перечитывать, потому что есть ощущения, с которыми нельзя расставаться, которые человек должен сохранить как драгоценный подарок. Завидую тем, кто прочитает повесть Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы», повести Константина Воробьева и Вячеслава Кондратьева, а также роман Ч. Айтматова «И дольше века длится день». С ощущением открытия я читал «Сто лет одиночества» Маркеса и совсем недавно — роман неизвестного у нас Дальтона Трамбо «Джонни получил винтовку» («Сибирские огни», 1983, № 9). Это настоящий роман XX века. Жанр сочинения определен автором с точностью и ответственностью. А то у нас нередко «романом» обозначают всякую толстую книгу, сочинение средней толщины — «повесть», потоньше — «рассказ».

Сейчас перечитываю «Мертвые души» и «Переписку с друзьями» Гоголя, дневники Толстого, а когда, признаюсь, хочется чего-то такого «сладкого» — беру «Порту-

гальские письма» Гийерага, изданные «Наукой». Книжка читается как песня или, скорее, как старый романс — в ней есть та самая размягченность души, та неторопливость чувств, которых нам сейчас так недостает.

— Что Вам больше всего нравится и неприятно в окружающих людях, в их поведении?

— Как и всех нормальных людей, привлекает в человеке порядочность, чувство обязательности во всех обстоятельствах, способность оставаться самим собою. Но надоела хуже горькой редьки ложь, притворство, привычка к пустому краснобайству.

— Мне припомнилась посвященная Вам эпиграмма: «Царь-рыбу» он во всей красе Воспел, воздав ей полной мерой. Писателем довольны все, За исключением... браконьеров». Виктор Петрович, не сгущаете ли Вы краски для более сильного воздействия на читателей?

— К сожалению, нет. Многим кажется, что только вокруг больших городов не щадят лесов и рек, а уж там, в сибирской тайге и тундре, царят первозданный покой и порядок. Но современная жизнь разворачивается и здесь вовсю. И напористое зло под покровом тишины нередко берет верх над добром... С болью вижу «следы» пребывания «отдыхающих». Некоторые виды кустарников, деревьев, ягодников постепенно исчезают. Ягоды выбираются зеленцом; кедровая шишка выбивается неспелой; зверушки добываются с невыкунелой шкуркой; птица выбивается на водоемах, еще не ставшей «на крыло».

Все это выделывают люди не от голода, не от нужды, выделывают все это люди сытые... «Эх, люди! — хочется иногда крикнуть. — Что ж вы делаете-то? Опомнитесь!»

Думаю, пора ввести в школах и вузах специальные уроки природоведения, ибо разбой в природе происходит не всегда от жадности, порой и от неведения. Каждый гражданин нашей страны должен минимум один день в месяц поработать на природе. Только так, только большими усилиями, силами и средствами можно ощутимо помочь окружающей нас среде и пока еще, местами, цветущей земле.

— Как и где Вы сами любите отдыхать?

— В лесу. На реке. В деревне. Никаких южных краев и курортов для этих целей не выбираю. Помогает отключиться от работы и телевизор. Люблю, как и многие телезрители отдаленных районов, смотреть «Клуб кинопу-

тешествий», «В мире животных», «Очевидное — невероятное», музыкальные, спортивные передачи.

— Представьте себе, через пару часов очутитесь на необитаемом острове. Какую одну книгу, киноленту и три предмета — на выбор — Вы взяли бы с собой?

— «Робинзон Крузо» и фильм «Унесенные ветром». Как бывалый солдат, по тревоге — захватил бы с собой мыло и портянки. Последнее обязательно, хотя большинство Ваших сверстников, простите, совершенно не понимают, что это такое. Ну и еще удочки. Как же без них-то? Надо ж и на необитаемом острове кормиться. Там же столовых нету!

— Сомерсет Моэм говорил, что воображение пишущего человека — это такая наковальня, пропустив через которую собственное сердце, писатель не узнает его. А что же происходит с языком произведения? Слышал, как некоторые Ваши читатели жалуются на слишком большое количество диалектов в Ваших книгах.

— Я это не делаю сознательно. В данном случае — естественная потребность говорить так, а не иначе, как я разговариваю сейчас. Присутствие так называемых «диалектизмов» — мое естество. Что, я их где-то наслушался, записывал, потом рассказывал в тексты? Я же вам говорил, что и записных-то книжек не веду. Ленив. Кстати, не знаю, для кого этих «диалектизмов» много, а для кого их мало. Однажды получил письмо моего земляка, которое заканчивалось так: «Пиши как писал. Мы в Сибири все понимаем!..» (Смеется.) И еще приписка: «Не сдавайся!»

— Что доставляет Вам удовольствие: сам творческий процесс или законченное произведение? А может, и то и другое?

— Всякий раз по-разному. И каждый раз испытываешь чувство первосотворения. «Пастуха и пастушку» я много лет рассказывал целиком, от начала до конца. Я знал из нее фразы, которые так и остались в этой вещи: «Такое легкое ранение, а он умер...», «Почему ты лежишь один посреди России?» Они жили во мне, определяли тональность повести. Друзья говорили: «Садись и пиши — тебе ведь только и надо-то — записать!» А у меня «на сборы» ушло 14 лет. Когда я принялся за «Царь-рыбу», у меня о ней не было четкого представления. Просто водил рукой. И все.

Очень быстро пишу только черновики. Доставляет ни с чем не сравнимую радость заменять слова и в первой, и

во второй, и в третьей редакциях... Поэтому очень боюсь версток, где не могу много править, приучен районной газеткой «жалеть» набранный текст, но в рукописи правлю много. Только «Кража» осталась непереписанной, однако до публикации перепечатывалась на машинке четырнадцать раз. «Пастух и пастушка», уже опубликованная, переделывалась четыре раза. Даже не знаю, чем и как это объяснить? Возможно, за то время, пока напечатается вещь, а проходит это у нас долго, происходит и заполнение тебя самого. Вещь еще «не остыла», а время делает свое дело.

— Считаете ли Вы себя счастливым человеком?

— Вопрос, в общем-то, сложный и простой. Счастлив бываю, когда работаю. Когда оглядываюсь на прошедший день и вижу, что он прожит с пользой. И еще придерживаюсь правила, вычитанного в одном из рассказов любимого мною Тургенева: «Счастье — оно, как здоровье, если о нем не говорят, значит, оно есть». Прекрасно сказано, не правда ли?

II



ДА ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО

•

ТАМ, В ОКОПАХ

Воспоминания солдата

О войне? А что я о ней знаю? Все и ничего.

Я был рядовым бойцом на войне и наша, солдатская правда, была названа одним очень бойким писателем «окопной»; высказывания наши — «кочкой зрения». Теперь слова «окопная правда» воспринимаются только в единственном, высоком их смысле, автор же презрительных изречений, сражавшийся на фронте в качестве корреспондента армейской газеты, и потом, после войны, не переставал «сражаться» — писал ежегодно по злободневному роману, борясь за ему лишь ведомую «правду», бросал гневные слова с трибун, обличал недозревшую нашу литературу, много употреблял всуе слов чистых и святых, все чего-то гневался, дергался, орал. Но время — судья беспристрастный и беспощадный. Двадцать лет минуло со дня кончины неутомимого «борца», а он уже как в воду канул, голоса его «патриотических» речей не слышно, как и топорно писанных «патриотических» книг не видно — забыты.

«Всю правду знает только народ», — сказал другой военный журналист, честно выполнявший свой долг на фронте и в литературе, Константин Симонов, никогда, кстати, и нигде не настаивавший на том, что главной ударной силой на фронте были военные журналисты, и мне, в личной беседе незадолго до смерти, говоривший даже о «перекосе», случившемся в нашей военной литературе из-за того, что большинство книг о войне написано бывшими журналистами.

Итак, «всю правду знает только народ», — вот, как малая частица этого многотерпеливого, многострадального и героического народа, стану и я вспоминать правду, свою единственную, мной испытанную, мне запомнившуюся, окопную, потому что другой-то я и не знаю.

Воевал я в 17-й артиллерийской, ордена Ленина, Суворова, Богдана Хмельницкого, Красного Знамени, дивизии прорыва, входившей в состав 7-го артиллерийского корпуса основной ударной силы 1-го Украинского фронта. Корпус был резервом Главного командования. Начал он создаваться вместе с другими артиллерийскими соединениями подобного характера по инициативе крупных специалистов артиллерии, каковым был и командир нашей дивизии Сергей Сергеевич Волкенштейн, потомственный артиллерист, человек, крупный не только телом — фигурой, но и натурой, человек с совершенно удивительной биографией, вполне пригодной для захватывающего дух детективного романа. Жаль, что я не умею писать детективы. Так вот, дивизии прорыва, к удивлению, и не только моему, начали создаваться, когда враг был еще у стен Москвы.

В начале 1942 года 17-я артиллерийская дивизия приняла боевое крещение на Волховском фронте. Я тогда еще учился в школе ФЗО, приобретал железнодорожную профессию и, как говорится, «ни ухом ни рылом» не ведал о существовании подобного военного подразделения, точнее — соединения, а будущий командир «моей» дивизии в это время не где-нибудь, а в Красноярске сдавал благополучно им эвакуированное Киевское артиллерийское училище, которым какое-то время он командовал.

Вот именно — соединения! В состав дивизии входили все системы орудий и минометов, имевшихся на вооружении Красной Армии — от 120-миллиметрового миномета и до 203-миллиметровой гаубицы. Только истребительных, противотанковых полков и бригад в дивизии было шесть. Несколько полков и бригад среднего калибра и большое количество орудий — полторасоток, совершенного, новейшего по тому времени образца. Одна дивизия такого характера и масштаба обладала огромной ударной и разрушительной силой, а ведь в состав 7-го артиллерийского корпуса входило две, затем три дивизии: 17-я, 16-я и 13-я. После объединения Воронежского и Степного фронтов в I-й Украинский не раз и не два артиллерийские подготовки и прорывы осуществлялись 7-м артилле-

рийским корпусом с приданным и ему реактивной артиллерией и вспомогательной артиллерией стрелковых и танковых частей.

Первый прорыв наш корпус делал на Брянском фронте, во фланг Курско-Белгородской дуги. И когда «началось!», когда закачалась земля под ногами, не стало видно неба и заволокло противоположный берег Оки дымом, я, совершенно потеряв «рассуждение», подумал: «Вот бы мою бабушку сюда!..» Зачем бабушку? К чему ее сюда? — этого я и по сию пору объяснить не сумею. Очень уж бабушка моя любила меня вышутить, попутать, разыграть, так вот и мне, видать, тоже «попутать» ее захотелось.

Сперва нам, солдатам 17-й дивизии, очень глянулось, что мы не просто солдаты, но еще и из резерва Главного командования. Однако скоро перестало нам это дело нравиться. Полки и бригады дивизии при наступлении придавались стрелковым и танковым соединениям, и командиры их зачастую обращались с нами точь-в-точь, как сейчас директора совхозов и председатели колхозов обращаются с техникой и механизаторами, присланными с юга на уборочную в Сибирь — снабжали, кормили и награждали нас в последнюю очередь, бросали вперед на прямую наводку, затыкали нами «дыры» в первую очередь. Командиры стрелковых полков и танковых частей были еще ведь и хозяева в своем «хозяйстве», хитрованы немалые, часто прижимистые, себе на уме и, конечно же, берегли «свое добро» как умели, и у кого поднимется рука или повернется язык осудить их за это?

Случалось, и не раз: зайдем огневые позиции, выкинем провода и средства наблюдения на наблюдательный пункт, окопаемся, изготовимся отдохнуть, чтоб завтра вступить в бой, как вдруг команда «сниматься» — топать, затем ехать куда-то. На фронт ехали из Калуги ночами, половину машин теряли и потом целый день их разыскивали, плюнув на всякие условности, связанные со словами «военная тайна». Но когда обстрелялись, приобрели опыт, на виду у противника, зачастую по неизвестному или известному лишь командиру дивизиона и начальнику штаба маршруту, в дождь, в снег, в слякоть мчались на новое место затыкать еще одну «дыру», — почти на себе машины и орудия тащили — и никаких ЧП, никто почти не терялся во тьме, не отставал, ибо отстанешь, потеряешься, считай, пропал: «дыра» она и есть «дыра», там наши люди погибают, там танки противника стирают в поро-

шок, втаптывают в грязь наши полки и батальоны, — корчаться некогда.

Один раз тащили-тащили на плечах и на горбу полуторку взвода управления со связью, со стереотрубой, бусолью, планшетами и прочим имуществом, и встала машина, не идет: это мы за ночь, то запрыгивая в кузов, то обратно, натаскали полный кузов грязи, перегрузили бедную полуторку. Выбрасывали грязь кто лопатами, кто котелками и касками, кто горстями и к месту сосредоточения бригады успели почти вовремя. Командир дивизиона, недавно умерший в Ленинграде, крутенок нравом до первого ранения был, мог и пинка отвесить, рассказывал: «Толкали, толкали, качали, качали как-то машину и все, перестала двигаться техника. Выскочил я из кабины с фонариком, ну, думаю, сейчас я вам, разгильдяи, дам разгон! Осветил фонариком, а вы, человек двадцать, облепили кузов машины, оперлись на него, кто по колено, кто по пояс в грязи — спите... Я аж застонал. И хоть гонористый был — двадцать шесть лет всего, и такая власть! — уж без гонору давай уговаривать: «Братцы! Ребятки! Просыпайтесь! Отстанем от своей колонны — погибнем...»

Бывали и исключения в обращении с нами, с «резервом Главного командования». 27-я армия под командованием генерала Трофименко взяла город Ахтырку и, углубляясь, начала расширять прорыв. Немцы решили отсечь армию, окружить, и нанесли встречный танковый удар со стороны Краснокутска и Богодухова (пишу по памяти и прошу прощения, если она сохранила не все точности, тем более «стратегические», — ведь я был всего лишь бойцом, и с моей «кочки зрения» в самом деле не так уж много видно было). Наша 92-я гаубичная бригада, находясь на марше, оказалась как раз в том месте, где осуществлялся танковый прорыв. Поступил приказ: занять оборону и задержать танки до подхода других полков и бригад дивизии. По фронтовой терминологии это значит: мы попали «на наковальню». А гаубицы в 92-й бригаде тульские «шнейдеровки» образца 1908 года! Ствол орудия для первого выстрела накатывался руками, снаряд в ствол досылался банником, станина нераздвижная, поворот люльки и ствола всего на половину градусов против современных пушек и гаубиц, в расчетах наших гаубиц осталась редкая и дикая должность — «хоботной» — это обязательно здоровенный мужчина, который за специальные ручки у станины таскает орудие из стороны в сторо-

ну, а наводчик у зада своего машет ладонью: «левее-правее». Сохранились сии орудия в каком-то Богом забытом углу, в бухте Петра Великого или еще какой-то на Дальнем Востоке. Форсуны-пушкири, воюющие у скорострельных, ловких орудий, насмехались над нами, прозвища обидные давали. Но была одна важная особенность у 92-й бригады — в ней со столкновений и дальневосточных конфликтов задержались и сохранились расчеты еще те — кадровые, они за две-три минуты приводили «лайбы», как именовались наши гаубицы на солдатском жаргоне, в боевое положение и со второго или третьего выстрела от фашистских танков летели «лапти» вверх, от пехоты — лохмотья, от блиндажей и дзотов — оцепье.

92-я бригада с честью выполнила свой долг и задержала танки противника под Ахтыркой, выдержав пять часов невысказанно страшного боя. Из 48 орудий осталось полтора, одно — без колеса. Противник потерял более восьмидесяти боевых единиц — машин, танков, тучу пехоты, сопровождавшей танки; небо было в черном дыму от горящих машин, хлеба, подсолнуха, просяных и кукурузных полей, зрело желтевших до боя (стоял август), сделались испепеленными, вокруг лежала дымящаяся земля, усеянная трупами.

Вечером на каком-то полустанке из нашего третьего дивизиона собралось около сотни человек, полуобезумевших, оглохших, изорванных, обожженных, с треснувшими губами, со слезящимися от гари и пыли глазами. Мы обнимались, как братья, побывавшие не в небесном, а в настоящем, земном аду, и плакали. Потом попадали кто где и спали так, что нас не могли добудиться, чтобы покормить.

За этот бой все оставшиеся в живых бойцы и офицеры 92-й артбригады были награждены медалями и орденами, а три человека — командир батареи Барданов (живет в Минске), замполит командира второго дивизиона Голованов (живет в Ленинграде), командир орудия Гайдаш (по слухам, живет в Москве) — были по представлению генерала Трофименко, командования 7-го арткорпуса и удостоены звания Героя Советского Союза.

С тех пор командующий 27-й армией генерал Трофименко — говорят, очень хороший человек — возлюбил нашу артбригаду, кормили и награждали нас в 27-й вместе со «своими», иногда, быть может, и поперед их, и командующий всегда просил девяносто вторую с ее «лайба-

ми» в придачу и на поддержку в ответственных, тяжелых боях, и наша орденоносная бригада, по званию Проскуровская, ни разу вроде бы не подводила тех, кого поддерживала огнем во время наступления и заслоняла нешироким и нетолстым железным щитом в критические моменты. Помнят нашу дивизию и бригаду и в 38-й армии, в 3-й и 4-й танковых армиях и во многих других; иначе не приглашали бы на встречи ветеранов, как своих. В прошлом году во Львове встречались ветераны 38-й армии, и многим бывшим артиллеристам нашей бригады были посланы торжественные знаки и приглашения. Получил такое и я, очень благодарен за них ветеранам 38-й армии, и только нездоровье помешало мне встретиться с ними во Львове и обнять их.

В 1944 году наши боевые орудия, славные старушки-«лайбы» были заменены стомиллиметровыми пушками новейшего образца. Я их уже не видел, в это время лежал в госпитале, после которого попал в нестроевую часть и демобилизован был в конце 1945 года.

Командир дивизиона рассказывал, что когда «лайбы», чиненные-перечиненные, со сгоревшей на них краской, с заплатами на щитах, пробитых пулями и прогнутых осколками, сдавали в «утиль», на переплавку, командиры батарей и орудий попадали на них грудью и, обняв их, безутешно плакали. Тоже вот «штришок» войны, который не придумать и писателю, даже с самым богатым воображением.

Давно уже я работаю над романом про войну и, естественно, вплотную занимаюсь этой темой и стараюсь читать больше о войне и «военное», встречаться с ветеранами, инвалидами войны, и не только нашими, но и немецкими. Война-то все-таки шла с двух сторон, но изображается пока в основном односторонне. Трагедия немецкого народа, ввергнутого в военную авантюру оголтелым фюрером — очень страшная трагедия, нами еще не осмысленная. Мы и свою-то трагедию, на мой взгляд, не до конца еще осознали и не все ее последствия еще расхлебали — пустующая русская деревня наглядно напоминает нам об этом.

Мне хотелось бы в романе более и ближе всего коснуться окопного быта, очень мало и пока приблизительно у нас изображаемого. Есть выразительные сцены боев и солдатского быта в книгах Юрия Бондарева, Василя Быкова, Григория Бакланова, Вячеслава Кондратьева, Вик-

тора Курочкина, Юрия Гончарова, Константина Воробьева, появилась вот повесть Константина Колесова «Самоходка номер 120», книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», книга Владимира Карпова «Полководец», есть потрясающие по обнаженности и драматизму главы в книге барнаульского писателя Георгия Егорова с бесхитростным названием «Книга о разведчиках», герой которой Иван Исаев, кстати, наш земляк — красноярец, живет ныне (жил) неподалеку от райцентра Идра, в родном селе. Великий это разведчик и воин. Но и в них, в этих честных и правдивых книгах, «житуха» — жизнью назвать существование в окопах рука не поднимается — изображена все же мимоходом, фрагментно, как что-то второстепенное.

Но пока человек жив, стало быть, главное для него все же — жизнь его. Или я отстал? Мыслю не так и не то? Перекос существует в моем мировосприятии, в том числе и войны?

Да и как ему не быть, «перекосу»-то? В 1944 году я пропустил, забыл свой день рождения. Эка невидаль, скажете вы. Маршалы, генералы забывали, а тут солдат в обмотках! Но учтите: день рождения у меня 1 Мая! И исполнилось мне в сорок четвертом двадцать лет! Уж если поют, что «в жизни раз бывает восемнадцать лет», то двадцать тем более никогда больше не повторяются. У меня, во всяком разе, не повторились. И знаете, отчего я забыл-то? Что этому предшествовало? Военное наступление. Тяжелейшее, сумбурное, хаотические бои и стычки с окруженным в районе Каменец-Подольска, Чорткова и Скалы противником*. Об этих боях даже в таком, тщательно отредактированном издании, как «История второй мировой войны», сказано, что она, операция по ликвидации окруженной группировки немцев в районе Чорткова, была не совсем хорошо подготовлена, что «командованием 1-го Украинского фронта не были своевременно вскрыты изменения направления отхода 1-й танковой армии противника», вследствие чего оно, командование фронта, «не приняло соответствующих мер по усилению войск на направлениях готовящихся врагом ударов...»

Представьте себе, что на самом-то деле было в тех местах, где шли бои, аттестованные как «не совсем удач-

* Нетрудно догадаться «по почерку», что командовал в эту пору 1-м Украинским фронтом маршал Жуков.

ные» или «не очень хорошо подготовленные». Напрягите воображение!

Рассекать окруженную крупную группировку противника была направлена половина и нашей бригады. Вторая половина слила горючее, отдала снаряды, патроны и оружие отправленным в наступление батареям. Поначалу все шло ладно. В солнечный весенний день двигались мы вперед, раза два постреляли куда-то и на другой день достигли деревень Белая и Черная, совершенно не тронутых войною, богатых, веселых, приветливых. Закавалерили артиллеристы-молодцы, на гармошках заиграли, самогоночки добыли. Дивчины в роскошных платках запели, заплясали, закружились в танцах вместе с нашими вояками: «Гоп, мои казаченьки!..», «Ой, на гори тай жинцы жнуть!..», «Распрягайте, хлопцы, конив...». Некоторые уж поторопились, распрягли. Слышим-послышим: немцы Черную заняли и просачиваются в Белую*! Это наши войска нажали извне на окруженную группировку противника, она, сокращая зону окружения, отсекала и заключила в кольцо войска, затесавшиеся рассекать ее, в том числе и половину нашей бригады.

Шум, суета, «Всем по коням!» — по машинам значит. Сунулись в одну сторону — немцы, сунулись в другую — немцы, попробовали прорваться обратно через деревню Черную — оттуда нас встретили крупнокалиберными пулеметами, зажгли несколько машин и тяжело ранили командира нашего дивизиона Митрофана Ивановича Воробьева. Добрый, тихий и мужественный, редкостной самовоспитанности человек это был, единственный на моем фронтовом пути офицер, который не матерился. Может, мне, отменному ругателю, дико повезло, ибо слышал я от бойцов, очень даже бывалых и опытных, что таких офицеров не бывает. Бывает! Всегда и всюду мы ощущали, видели рядом уравновешенного, беловолосого, низенького ростом, Володимирской области уроженца — Митрофана Ивановича Воробьева**. Он и на Днепровском плацдарме с нами оказался, в первые же часы и дни после переправы, тогда как некоторых офицеров из нашего ди-

* В этом селе создан был и до отделения Украины от России действовал Музей славы, в котором основные материалы были о нашей артиллерийской бригаде, возможно, и поныне музей еще жив.

** Умер несколько лет назад в городе Новохаперске Воронежской области, но Капиталина Ивановна, его верная спутница, бывшая с ним на фронте, жива по сию пору, и я состою с нею в доброй переписке.

визиона — да и только ли из нашего? — на левом берегу задержали более «важные и неотложные» дела, и вообще часть их, и немалая, завидев Днепр широкий, сразу разучилась плавать по воде, хоть в размашку, хоть по-собачьи, хоть даже в лодке, и на правый, гибельный, берег не спешили.

Колонна из ста примерно машин смешалась, начала пятиться в деревню Белую и здесь разворачиваться для броски через реку Буг. Тем временем в деревню действительно просочились немецкие автоматчики и взяли в оборот замешкавшихся артиллеристов. Поднялась стрельба, ахнули гранаты, все орудия и машины, упятившиеся в проулки и огороды для того, чтоб развернуться, тут же были подбиты и подожжены, деревня Белая горела уже из края в край. И вот плотно сомкнувшаяся колонна двинулась к мосту, а он уже занят немцами, и мы уже отрезаны и с этой стороны. Но колонна медленно и упорно идет к мосту. «Оружие к бою!» — полетела команда с машины на машину, и мы легли за борта машин с винтовками, карабинами, автоматами; в кузовах открыты ящики с гранатами; на кабины машин выставлены пулеметы, откуда-то даже два станковых взялось.

Приближаемся к мосту, по ту и по другую сторону которого — рукой достать — лежат немцы с пулеметами. Ждут. Каски блестят в сумерках, оружие блестит — и тишина. Ни одного выстрела! Все замерло. Только машины сдержанно работают и идут, идут к мосту. Вот первая машина уже на мосту. Ну, думаем, сейчас начнется! Впустят немцы колонну на мост, зажгут первые и последние машины и сделается каша... Но у моста немцев было не более роты, неполной, потрепанной в боях, у нас же в каждой машине по двадцать-тридцать человек, и все вооружены, все наизготовке — фашисты нам кашу или «кучу малу» устроят, но ведь и мы их перебьем! Нам более деваться некуда, нам выход один — прорываться.

Опытный, видать, у немцев командир роты был, умел считать и сдерживать себя — колонна прошла по мосту без единого выстрела. Предполагали, что хвост колонны уж непременно «отрубят», но и тут у немцев хватило ума «не гнаться за дешевизной», — ведь мы за рекой развернем орудия да как влупим по ним прямой наводкой — мясо ж и лохмотья полетят вверх...

Почти стемнело, когда мы остановились на горе, за Бугом, плотной, монолитной колонной. С горы было вид-

но ярко польхающую деревню, в ней что-то рвалось, брызгало ошметками огня — это горел и рвался боезапас на погибающих машинах, возле которых дрались в окружении и погибали наши расчеты и управленцы.

А в колонне царило взвинченное оживление. Какому-то хохочущему капитану лили в рот из фляжки жидкость и горстями снега терли ему лицо. По машинам пошли фляги. Я пил и удивлялся, что вода нисколько не остужает меня, но во фляге-то оказалась не вода, а самогонка. Я тогда не употреблял еще ничего крепкого, сморился и не помню уж, как металась всю ночь наша колонна по полям и деревням. К утру началась страшная метель, и нас вместе со многими получастями, штабами, госпиталями прихватило и остановило в местечке Оринин, неподалеку от Каменец-Подольска. Середина апреля, трава зеленеет, фиалки, мать-и-мачеха по склонам цветут, яблони и груши цветом набухли, а тут метель, и какая! Хаты до застрех занесло!

Утром донесли: немцы тянутся и тянутся к Оринину, сосредотачиваются для атаки. Мы оставили раненого майора — Митрофана Ивановича, командира нашего — в школе, где временно размещался госпиталь, забитый до потолка ранеными, дали ему две гранаты-лимонки, две обоймы для пистолета, и он сказал нам, виновато потупившимся у дверей: «Идите. Идите... Там, на передовой, вы нужнее...»

Бой шел долгий, кровавый, злобный, неистовый. Патронов и снарядов как у нас, так и у немцев было мало, дело дошло до рукопашных. Сказывали, что в Оринине находится штаб четвертой танковой армии и командующий четвертой — генерал Лелюшенко будто бы здесь же, что стоит у него самолет наизготовке, но он не бросает свой штаб, но вот роту охраны и танки из своей охраны бросил в бой...

Если это было так, я кланяюсь от имени всех нас, бывших в Оринине под его командой бойцов, и благодарю старейшего нашего военачальника за то, что не бросил он на растерзание ни нас, ни госпитали, ни безоружные штабы. А ведь знал он, знал примеры и иного порядка: бросали не только штабы, но и армии целиком, и не по одной, по три и по пяти даже некоторые горе-генералы наши...

Вот тогда, в те жестокие и кроволитные весенние бои под Каменец-Подольском, и затем под Тернополем и за-

был я о своем дне рождения. И Бог с ним! Зато внуки мои имеют возможность отмечать ежегодно именины свои, получать подарки, петь, плясать и радоваться жизни.

Видите вот, опять меня от «битв и быта войны» унесло вроде бы в сторону. Что же все-таки такое, этот самый быт? Солдатский? Есть у меня в Алтайском крае, в Кытмановском районе, в деревне Червоно, фронтовой друг Петр Герасимович Николаенко, как и многие переселенцы с Украины, он к своему хохлацкому, упрямому и самостоятельному характеру прихватил еще сибирской прямоты, грубости и безотчетного чувства справедливости. Мы с ним прошли все части: стрелковый полк, автополк и в 92-й бригаде попали с пополнением в один дивизион, во взвод управления. Я детдомовщина, более подвержен «микриии», приспособлен к народу, к общежитию, к обстоятельствам, к голоду, к холоду, ко всевозможным лишениям, ловок, мягок когда надо, и «артист» к тому же — могу прикинуться кем и чем угодно. Да и начитан уже был изрядно, защищен и с этой стороны и, чего там скрывать, добытчик харча с подзаборных времен был находчивый. Мне до какой-то поры удавалось смягчать, иногда заслонять собою прямую простоту спутника и дружка моего, которая порой бывала хуже воровства. Всем он лепил «правду-матку» в глаза, матерно выражал свои чувства и отношение к командирам. Ну и, естественно, они его недолюбливали, а начальник штаба дивизиона, после ранения Митрофана Ивановича сделавшийся командиром этого подразделения, по военному статусу равному полку, моего громыхалу-корешка просто терпеть не мог, и до того он догнойл, догонял, досрамил, довел Петьку, что однажды, обливаясь слезами, тот взревел по-бугайному: «До танкистов пиду! Визмуть мэнэ водителем — я ж тракторыст. Сгору у тым танку, йего мать!»

Крупный телом — торчит нелепая его фигура где надо и не надо, раздражает командирский глаз, голос рокочущий, хохотун и выпивоха, силы богатырской, нраву, знал я, добрейшего — последний кусок хлеба разделит, из последних сил поможет Петро мой. Когда я вернулся недолеченный из госпиталя, култыхаю, бывало, как худая кляча, на передовую, на наблюдательный пункт, с двумя катушками провода на горбу, с оружием, подсумками, телефонным аппаратом и падать начинаю самым натуральным образом, из темноты просунется ручища, снимет с моей взмыленной спины катушки, со звяком забросит их

на свои «Да ладно, Петька, — робко начну я перечить, — как-нибудь сам...» «Мовчы, йего мать!» — прорычит мой друг, истинный друг, и попрет две тяжкие солдатские и связистские ноши вперед, на запад. Я уж ему толковал, что чем «до танкыстив» ийти, лучше уж нам вместе «к Шумилихину податься» — знаменитость это местного масштаба, прославленная личность в нашей дивизии была, и о нем, о Шумилихине, речь впереди. Тем и удержал я своего преданного друга от опрометчивого поступка — он бы по его уму и характеру в самом деле рванул «до танкыстив», и, глядишь, судили бы его как дезертира.

Потел Петро во время работы очень сильно, а работы у артиллеристов адской и бесконечной тьма, и от пота не только белье и гимнастерка, но и телогрейка у друга моего насквозь бывала мокрая. Руки его потрескались от сырого черня лопаты, на плечах коросты от бревен, таскаемых на перекрытия, потную одежду промораживало зимой, инеем покрывало, простывал и кашлял Петро страшно, на мокро садилась пыль, и к середине лета гимнастерка на Петре изнашивалась в лоскутья, становилась черная, словно хромовая. Всегда сырая на нем была одежда, с бельем и телом слипшаяся. Закручу, бывало, в горсть гимнастерку на спине друга, а из нее выжимается желтая, липкая, как смола, жижа. Прелая гимнастерка через край грубыми нитками зашита. В кармане гимнастерки были у Петра письма и фотографии матери, любимой девушки и наша с ним — снялись в Святошино, под Киевом, когда были на переформировке — и вот, мокро и солью «съело» фотографии, письма от любимой девушки «съело и размыло в кашу», ладно, что у моей деревенской тетки сохранилась наша фотография. Как он радовался, когда я послал ему копию с нее и написал о нем какие-то добрые слова в газете «Красная звезда». На фронте он не часто слышал добрые слова, да и потом, работая много лет председателем и заместителем председателя крупного, надсаженного войной колхоза, немного их слышал. В прошлом году вышел Петро — Петр Герасимович Николаенко на действительно заслуженную в труде пенсию.

Еще немножко быта, да? Ну, уж тогда самого грубого, такого, какового в наше благопристойное, многословное кино на сто верст не допускают. Вот представьте себе траншею и в ней человек пятьсот народу. Народ, он хоть и солдатами зовется, все равно остается человеками. А человек — существо громоздкое, неловкое, много вокруг

себя всяких дел делающее, хламу оставляющее. К нам, в красноярский Академгородок, из-за снежных заносов не приходила «мусорка» несколько дней — и мы обросли сором, завоняло у нас из отбросных ведер. Д-а-а. Солдатику надобно три или хотя бы два раза поесть в день, неотложную нуждишку справить и, если прижмут «оттеда» — с другой, значит, стороны, справлять ее приходится на дно окопа, затем «добро» лопаткой на бруствер выбрасывать. И вот пятьсот-то человек, да в жару, да недельку, а то и месяц, как побросают, да ежели еще на поле боя и на «нейтралке» разбухшие, разлагающиеся трупы людей и лошадей валяются — представляете, что это такое? Вонь, мухота, крысы откуда-то возьмутся, пофронтовому осатанелые, наглые, случалось, раненым носы и уши съедали, мертвых пластали в клочья, дрались в окопах с визгливым торжеством, «окапывались», и справляли свадьбы, и окотывались здесь же.

А вши? Кто-нибудь, кроме фронтовиков, может себе представить во всей полноте это бедствие? Изнуряющее, до тупости доводящее...

Я как увижу в современном театре или военном кино артистов с гривами, девиц с косами, разодетых в хромовые сапожки, под музыку вальсы и танго танцующих или с ранением в живот исполняющих романс: «Ах, не любил он, нет, не любил он...», так мне хочется взять утюг и шарахнуть им в телевизор. И ведь эта красивая, «киношная» война сделалась куда как привычней и приятней для сердца и глаза, чем та, которая была на самом деле. Есть даже термин: «Комедия о войне!» — хоть бы вслушались в дикость этих слов! Хоть бы почувствовали кошунство и глумление их, если не сердцем, то умишком, пусть и коллективно-руководящим. Миллион людей в Ленинграде, в основном детей и стариков, поумирали от мучительной, голодной смерти. Сотни тысяч пленных погибли в жутких немецких концлагерях, муки мученические пережили наши беззаветные труженицы-сестры, матери и дочери, надорвавшиеся в тылу непосильным трудом, от многих ран в госпиталях и на поле боя погибли десятки миллионов людей, раны у старых бойцов болят до сих пор и не дают им спать ночами, а тут — комедия! О войне! «Мы парни brave, brave, brave!..» А? Каково?!

Да ладно. Эта комедия комедией и задумана, но когда пытаются вроде бы всерьез поведать о войне, да получается комедия с показом такого «героизма», что война уж

выглядит нелепым фарсом — в таких комедиях запросто, одной каской, десять фрицев уложил наш боец, да еще и песенки напевая, такой он насмешливый и неустрашимый, в таких комедиях драпают тучами ошалелые фашисты-статисты, крича по-рязански или по-вологодски: «Гитлер капут! Гитлер капут!», в таких комедиях наши бойцы запросто, будто с игрушками, расправляются с немецкими танками посредством гранат и зажигательных бутылок — зачем только и нужна тогда была нам артиллерия, авиация и танки? Лишние расходы!

Кстати, и привыкли наши военачальники к подобной войне, уж явное превосходство над немцами в танках имели, а все боролись с танками и останавливали танковые наступления в основном артиллерией, не стесняясь ставить на прямую наводку и наши «лайбы», а ставить их «на прямую» можно было только с горя и от нужды, как говорил командир 92-й бригады генерал Дидык, тоже недавно умерший и похороненный в Ленинграде.

Конечно, когда против сотни танков противника выставляется тысяча орудий, артиллеристы в конце концов завалят снарядами, выбьют технику противника, как об этом сильно и точно написано в романе Юрия Бондарева «Горячий снег». Но какие при этом потери? Ведь как-никак открытая со всех сторон пушка воюет против бронированной громады. Что-то я нигде не читал у наших военачальников и не слышал от них, чтобы они раскаивались в том, что из-за подобной стратегии на войне и массового героизма опустела русская деревня и дичает по всей России, зарастает земля без хозяина-крестьянина. У нас были и остались настроения: все огромные, часто неоправданные потери на войне списать на Победу и этим утешиться. Да что-то не очень утешается, как насмотришься да наслушаешься наших вдов и в сиротстве выросших детишек.

В наших комедиях фанерные танки палат без устали, на ходу, хотя любой вам танкист, с подлинного танка, скажет, что это нелепость, что на ходу можно стрелять только сдуру и для испугу и попасть в цель можно лишь случайно, что после четырех-пяти выстрелов танк, даже новейший по тем временам, полон дыма и поэтому выстрелами, особенно первыми, когда все еще видно и кашель не забивает экипаж, надо дорожить и стрелять как можно точнее, иначе попадет самому: танк — цель очень большая и видная. В подобных же комедиях палат из автома-

тов и косят врагов, как траву, и столь метко и много палят, что в диске автомата должно быть по крайней мере тысяча патронов. Но в крутлый диск автомата входило девяносто, чтобы пружины не зажало, чаще всего снаряжали автоматные диски половиной патронов, в «рожок» входило сорок пять, повторяю, в рожке и в диске были очень тугие пружины, и более пятидесяти патронов опытный боец в диск никогда не заряжал, иначе в самый опасный момент поставит патрон «на попа» или перекосит его, затвор в автомате был почти полностью открыт, и от попавшей в него земли и особенно песка оружие это часто «заедало». Автомат наш был малоприцельным оружием, «ближнего боя», очень ненадежным, и «старички» — опытные солдаты, постреляв из него и попользовавшись им, постепенно перешли обратно на матушку-винтовку; мы, связисты, — на карабины, эти никогда не отказывали, и все в них было для боя полностью: обойма о пяти патронах: с белой, красной, черной, зеленой и простой головой. Белая — разрывная, красная — зажигательная, черная — бронебойная, зеленая — трассирующая — чего еще надо-то? Весь боевой «арсенал» при тебе! И прицельность у карабина такая, что в воробья-беднягу попадали за сто шагов. Я из карабина в Польше немца убил. Во время боя. Нет, нет, не матерого эсэсовца, не тучного «обера», а худосочного какого-то работягу или крестьянина, в редкой белесой щетине. Котелок у него на спине под ранцем был, и этот котелок и сгубил человека — цель заметная. Под него, под котелок, я и всадил точнехонько пулю, когда немец перебежками пошел ко клеверной скирде, за которой, видать, сидел командир, а был «мой» немец, очевидно, связным. По молодой, беспечной глупости я после боя сходил посмотреть «моего» немца — и с тех пор он преследует меня. Случалось у меня, и не раз, «материал», угнетающий душу, выложишь на бумагу, и он «утихнет», «отстанет» от тебя. Про немца, убитого мною, я уж давно собираюсь написать*, чтоб избавиться от него.

Вот такая «комедия». Между прочим, ни разу я не слышал, чтоб «зарубили» кино или книгу со лжепатриотической, шапкозакидательской войной. И сколько же породили приспособленцы всех мастей ура-патриотизма, сколько состряпали лжегероев, демагогов, военных кавалеров, красавчиков-лейтенантов, миловидных игрунчиков-хохо-

* Написал в повести «Веселый солдат», но избавился ли?

туш-санинструкторш и совершенно отрешенных от мира, насквозь героических и до того непреклонных радисток диверсионных и партизанских отрядов, что уж невольно начинаешь думать: слава те, Господи, судьбою обнесло — жена у меня не радистка, обычный военный медик, сержант, — душу ж леденит и сжимает от одного неустрашимого взгляда радистки-разведчицы.

Недавно одна руководящая дама под видом непримиримой борьбы за «чистоту» идей положила «на полку» телевизионный фильм по моему рассказу. Мотивы? Фильм печальный. Как будто о русской вдове, о жизни ее чистой и горькой надо снимать вертлявую оперетту с песенками и танцульками. И снимают! Но я-то этого не могу и не хочу делать, рука не поднимается. Ту сверхбдительную даму с высокой должности согнали. Надеюсь, картину нашу, добрую и грустную, скоро увидят телезрители. Но я думаю вот о чем: ведь она, этот «борец за правду» и за «чистоту идей», срубила не один десяток фильмов. Забраккованные ею фильмы заменялись на экране всевозможными, всегда под рукой находящимися кинопустышками. Вред? Огромный. Но кроме морального урона есть еще вред прямой, государственный: ведь каждая картина стоит денег, и немалых. Наш фильм, односерийный всего лишь, стоит полтораста тысяч рублей. И как же это возможно, чтоб один человек, нечистоплотность которого видна была «невооруженным глазом» уже по его отношению к искусству, по частому употреблению в речах высоких слов, используемых в качестве «воспитательной оглобли», как же это возможно, чтоб она или он одним мановением руки наносили такие убытки государству, тогда как на предприятиях, в колхозах, на транспорте, на суше и на море идет борьба за экономию каждой копейки?!

Ну вот, заговорил я и о сегодняшних противоречиях в жизни и искусстве, а память отринула меня снова к войне. Были противоречия и на фронте. Да еще какие! Очень даже разнообразные и всегда кровавые.

Расскажу об одном из них.

Весной 1945 года 17-я Киевско-Житомирская дивизия вместе с другими соединениями блокировала Берлин с западной стороны, и, когда город капитулировал, на запад хлынули тучи немецких войск. Несколько суток шла невиданная и неслыханная по крови и жертвам бойня. Дело дошло до того, рассказывал мне командир дивизии, что на огневых позициях артиллеристы рубили топорами

и лопатами озверелых и обезумевших фашистов. В тех последних на территории Германии боях дивизия потеряла две с половиной тысячи человек, испытанных огнем, боевых и славных артиллеристов, почти доживших до желанного Дня Победы. Противник понес потери десятикратно большие.

За бои под Берлином Сергей Сергеевич Волкенштейн был удостоен звания Героя Советского Союза, не он, конечно, один, но речь пойдет пока лишь о нем. Звезду Героя ему вручил командующий 1-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев — в обход руководства артиллерии фронта.

Отчего же в обход-то?

А вот отчего. До войны, после многих приключений в своей жизни, Сергей Сергеевич Волкенштейн, как я писал в начале этой статьи, возглавлял Киевское артиллерийское училище и ни сном ни духом не ведал, что сведет нас судьба — воистину земля круглая!

Был в одном из подразделений, которым командовал еще в тридцатых годах недисциплинированный, зато нахрапистый и ловкий офицер, которого начальник его не раз и не два наказывал за разгильдяйство, пьянство и наглость.

Определивший в Сибири училище генерал Волкенштейн был отозван Ставкой и возглавлял штаб артиллерии на Волховском фронте и первую артподготовку провел под Шлиссельбургской крепостью, в которой его бабушка-каторжанка, Людмила Михайловна, в девичестве Александрова, провела тринадцать лет. Затем генерал приступил к формированию крупного артиллерийского соединения, которое сам же и возглавил, которое зачал с артполков, бывших в «деле» на Волховском фронте — так и началась 17-я дивизия, сформировав которую, Волкенштейн ее и возглавил. И он это крупное артсоединение не просто сформировал и возглавил, но в процессе формирования провел модернизацию артиллерии. Многие орудия были «переставлены» со старого, тяжеловесного хода на новый, облегченный; наши «лайбы», например, с тракторной тяги были переведены на тягу автомашинную, на «студебеккеры», и вместо 13—15 километров бригада могла за ночь сделать бросок на 60—70 километров. Части дивизии сделались более маневренными, что и требовалось для будущих наступательных боев.

И вот могучая дивизия движется с боями вперед на

запад, и никто, даже сам командир дивизии, не знает, что она одновременно приближается к большим, непредвиденным, неожиданным испытаниям и даже бедам. Тот самый офицер, что был когда-то в подчинении Волкенштейна и терпел от него утеснения, очень ловкий карьерист, стремительно продвинулся в званиях и чинах — путных-то военачальников поистребляли, — оказался ни много ни мало, как начальником артиллерии 1-го Украинского фронта.

Далее я перескажу то, что с большой горестью и болью рассказал мне Сергей Сергеевич:

Начальник артиллерии фронта, знал я, артиллерист был слабый, зато карьерист оказался сильный — такой вот каламбур! Вместе с чинами и званиями росло чванство и самодурство злопамятного человека, но ума не прибавилось.

Решил он во что бы то ни стало отомстить мне за прошлые обиды и начал «подставлять» мою дивизию так и в такие места, чтоб она погибла, а я чтоб головы не сносил. Но ведь «подставлял»-то он не абстрактную цифру семнадцать, не номер дивизии, и не меня, наконец, а вас, дорогих моих бойцов, беззаветных, иначе и не скажешь, тружеников. Трижды, четырежды, до гробовой доски я буду виноват невольной виной перед вами, мои дорогие парнишечки, особенно гнетет вина перед погибшими, ранеными и изувеченными. Бывает, соседняя наша дивизия, большинство частей которой оставалось на тракторном и даже конном ходу, трюхает к фронту не торопясь, моя же дивизия, модернизированная, подвижная, уж навоюется досыта, и вы там, на передовой, ребятки мои, уже не раз умоетесь кровью. Соседу за «аккуратность» в потерях, за экономию горючего и снарядов — благодарность, мне за перерасходы — выволочка; соседям — ордена и отдых, моим бойцам — марш, марш и не только награды, но и харчи в последнюю очередь. Однако главное было: воевать, победить врага, исполнить свой долг. После гибели Ватутина был Жуков командующим 1-м Украинским фронтом, затем Конев, опять Жуков, опять Конев. Смена командующих как-то мне и помогала «спрятаться», приспособливаться к обстановке, иметь дела непосредственно с действующими армиями, от них и с помощью их снабжаться, пополняться. Но корпус-то прорыва! Он, корпус, и, значит, дивизии — в непосредственном подчинении командования артиллерией фронта, хоть и

числятся за эргэка. Но до Москвы далеко, до этого самого эргэка высоко, командование же артиллерии — вот оно, тянет к телефону, к рации и, не подбирая выражений, угрожает, кроет седого, потом обливающегося генерала. Все крупные прорывы, артподготовки планировались, подготавливались и утверждались в штабе фронта. Не больно-то спрячешься. То ли дело ваш брат, битый боец, — хитрюга, занырнет в щель, в окоп, в воронку, заляжет в кустах со своим имуществом — вещмешком и винтовкой, и посапывает там себе, спит — и ищи его — свищи!..

Ах, как он, мой отец-генерал, обрадовался, возликовал, когда под Житомиром я «потерял» дивизию. Думал, видать: тут-то мне и конец, явственно видел меня на скамье перед военным трибуналом. Но в той обстановке массового отступления и неразберихи, сопутствующей любому драпу, я принял единственно правильное, считаю, решение: дал по рации приказ всем командирам полков и бригад действовать по своему усмотрению. Я знал свой народ, доверял своим командирам, и они, в большинстве своем, приняли тоже верные решения: свернули с Житомирского шоссе в направлении на Брусилов, потому как на Житомирском танки Роммеля в упор расстреливали сгрудившиеся колонны восемнадцатой армии, привыкшей к негоропливым боям «местного значения» на вспомогательном фронте. Сдерживая противника, не давая ему развивать наступление на фланге, в конце концов свежие части и мы тоже остановили его, хотя, конечно, и потрепаны были изрядно. Под командованием делового и строгого командира Дидыка ваша бригада проявила в боях особое упорство, пострадала, конечно, сильно побита была и угодила на переформировку в Святошино. Но именно нам, нашей дивизии, командующий фронта присвоил и верховный утвердил звание Житомирской. Киевско-Житомирская, многожды орденоносная. Горжусь! Все вынесли мои бойцы и победили! В числе других соединений, освобождавших Киев и правобережную Украину, золотом написан номер нашей дивизии и все ее звания на своде мемориала Победы в Старопетривцах; знамена дивизии хранятся в одном из почетнейших мест страны — в Ленинградском артиллерийском музее.

Ну а я? Начал воевать генерал-майором и закончил в том же звании. «Шеф» же мой, бог фронтовой артиллерии, начав войну с подполковника, стал генералом армии. Затем в Генштабе вроде бы и маршалом, и не знаю, при-

бав илялось ли у него вместе с чинами и званиями ума, но вот самодурство росло неуклонно. После войны я начал преподавать в артиллерийской академии, достал и там меня мой «шеф», выжил из академии, загнал на пенсию, в домашний угол, а я ведь мог еще приносить пользу армии, народу, Родине... Ну да ладно, Бог с ним, со мной. О Шумилихине-то что-нибудь слышал? Написал бы о нем. Сорванец, конечно, но любил я его, и все в дивизии любили. Ты хоть видел его?

— Видел. Один раз.

— В бою?

— В бою.

— Где видел-то?

— Под Проскуровом. Там же и маршала Жукова видел.

— Ну и как? Как они?

Ну вот и пришла пора вспомнить действительно славного, действительно боевого командира истребительного полка Шумилихина. Всякие о нем катились слухи по дивизии, в том числе и о том, что четырежды его представляли к званию Героя и всякий раз отзывали наградное дело из-за «художеств», его личных и не менее прославленных похождениями, всевозможными «художествами» и выходками дорогих его истребителей.

Солдаты сказывали (а они все-о-о знают!), что командир истребительного полка подбирал себе кадры и восполнял потери следующим образом: как узнает, что в пехоту, им поддерживаемую, поступило пополнение, берет двух своих гренадеров-денщиков, разряженных понарядней полевых офицеров, те водружают на спины ведерный термос, рассчитанный на доставку горячего супа в окопы, и вещмешок с хлебом, салом или с селедкой, да под покровом темноты и начинают обход траншей. Командир полка будто бы большой был спец беседовать с советским солдатом «по душам» и будто бы спрашивает: «Откуда и чей будешь, браток?» И если, значит, солдат из тьмы сообщал, что сибиряк он, либо уралец и к тому же недавний штрафник, бывший детдомовец или вообще бандит отпетый — тут же из термоса зачерпывалась кружка спирта, из рюкзака вынался «бутыльброд» с салом, и пока солдат управлялся с выпивкой и харчем, ему объясняли, что лучшего войска, чем истребительный полк Шумилихина, на всем свете нету, во всяком разе на 1-м Украинском такой прославленной части днем с огнем не сыщешь.

Командир полка — не просто отец родной, но можно смело, не боясь впасть в преувеличение, сказать: из отцов отец, и вообще артиллерия — это тебе не пехота, попалил маленько по врагу и спи себе, опять же у пушки щит железный, пусть и небольшой, нетолстый, но все же преграда, и за ним, за щитом, укроешься хоть от пули, хоть от осколков. А уж снабжение! Сам видишь — сала не проедаем, спирту и водчонки не перепиваем, сыты, пьяны и нос в табаке! — и вторую, значит, кружку вояке. А тому, доходившему три месяца в запасном полку, на тыловой норме, много ли надо? Тяпнет две кружки разливухи, съест шмат сала да полбулки хлеба, и все — «работа с кадрами закончена!..»

Уж как там и что было, каким образом пополнялся, воевал и двигался полк Шумилихина вперед на запад, я в точности не знаю, но один раз, как уже говорил, видел самого командира полка и его «орлов» в деле.

Есть неподалеку от города Проскурова (ныне это Богданов-Хмельницкий) красивое местечко с выразительным названием Черный остров, и вот под этим местечком застряли мы и как-то вяло, неорганизованно, даже вроде неохотно вели бои тоже с вяло и неохотно отбивавшимся противником. Под какой-то деревушкой, стоящей меж совершенно диких и довольно обширных зарослей леса, мы и «бились» уже несколько дней. Пехота картошку варит по всем полям, артиллеристы-бойцы анекдоты по телефонам травят, офицеры подворотнички подшили, сапоги начистили, вроде как на танцы собираются ехать, ан вечером как понаехало машин и бронетранспортеров, как вышел из одной машины коренастый человек в кожаном пальто да как зыкнул: «Командиров ко мне!..» Я и близко к командирам «не лежал», но спину у меня покорило. «Загораете?» — рякнул человек в кожане (тут я на всякий случай с телефоном в окопе спрятался, в «землю ушел» — надежное укрытие солдата от всех бед и начальников)... А по окопам: «Жуков! Жуков! Жуков!..»

Утром просыпаемся... Мамочки мои! Войска-то, войска понаперло! Впереди нашего наблюдательного пункта торчат из когда-то выкопанных огневых стволы «зисовских» пушек. Худые это соседи. Не любили их за оглушительную, твякающую стрельбу, от которой гложут все вокруг. Мало что она, пушка, по ушам ударит тебя, так еще и непременно подпрыгнет, солому и землю подкинет вокруг себя, дымом окутается. Глядишь, по пушчонкам-то

ответно бить начнут, и, коль близко расположен, заодно попадет и соседу, да еще, как на пригчу, попадет раньше и крепче, чем самим орлам-артиллеристам.

Наступило утро, началась война. Из села выползло штук восемь немецких танков: четыре медленно ползут, четыре, остановившись, лупят из орудий. Истребители зашумели, закричали и открыли ответную пальбу. Танк, он, конечно, громада, однако попасть в него не так уж и просто, и, когда артиллеристы попадали в танк, а зенитчики — в самолет, обязательно в любой, даже самой крайней обстановке раздавался клич ликования, бойцы, что помоложе, даже подпрыгивали, шапками оземь били.

И вот, стало быть, утро продолжается, пальба, стрельба и шум разрастаются, танки двигаются, пехота немецкая из лесу норовит в поле выйти, как вдруг резкий, визгливый взрыв, клуб огня с серым, почти синим дымом — это истребители угодили в танк, мы уж по звуку взрыва снаряда, не заглушенного землей, не «снопом», а вот именно клубом, дымным комком, — знали, что это такое, и одновременно с расчетом пушки издали торжествующий клич, запрыгали, заликовали...

И внезапно все смолкли — словно отрубил топором наше всеобщее ликование: танк продрал завесу дыма и как ни в чем не бывало двигался вперед, водил хоботом пушки, ноздрею черной принюхивался к дерзкой пушчонке, всадившей ему снаряд в бронированный лоб.

Через минуту пушчонка, как дворовый пес Шарик, лежала кверху лапами, и я точно помню — визжала со страху.

Я не раз видел драпающих вояк, увы-увы, не только фашистских. И сам драпал, разочка два даже босиком, так как спать в обуви не мог и имел привычку разуваться в удобном месте и в удобное время. Кстати, первый удар под Ахтыркою нашей бригаде нанесли не немецкие танки, а наш, драпающий от них, стрелковый полк. Ошалевшие славяне, которых артиллеристы валили наземь, держали втроем, вчетвером каждого, двух или трех вроде бы для острастки застрелили, ворвались сперва туда, где окапывались взвода управлений, потом и на огневые позиции, поизорвали связь, своротили стереотрубы, порастоптали всякое имущество, смели напрочь все, что можно смести, и, оставляя клочья одежды в перстах тех, кто их пытался задержать, загнанно, по-лошадиному храпя черными, разъятыми ртами, умчались вдаль.

Но драпающую пехоту, или, говоря осторожным языком военных сводок, «меняющую боевую позицию» (всегда, конечно, худшую на лучшую меняющую!), хоть короткий миг видно и слышно, а вот, как исчезают расчеты орудий, я ни разу увидеть не сподобился. И у тех стасемидесятишестимиллиметровок, что стояли впереди нас под Черным островом, мгновенно не стало расчетов — ни одной живой души! Артиллеристы не убежали, не улетали, не уползали — их просто не стало, испарились! Отлетели, как свят дух!..

Разумеется, война продолжалась, бой шел и без них, бил наш дивизион из закрытых позиций и загнал немецкую пехоту обратно в лес, били другие батареи и полковые пушки, сгущались разрывы меж лесом, на поле, деревне попало крепко, там уже горело несколько хат, и какие-то машины черно и высоко дымили: в подоженных клуных рвался, разбрасывая стены и крышу, артсклад.

По траншее, проложенной из тыла, от дороги к передовым позициям, в которой, вырыв себе ячейку, сидел и я с телефоном, прошествовала живописная тройца: впереди косолапый подполковник с отвислой от тяжести пистолета расстегнутой кобурой, бившей по заду, и с папачкой, зажатой под мышкой. За командиром шествовали два здоровенных, сытых бойца, увешанных медалями и орденами. В кубанках, в комсоставском обмундировании, с новенькими автоматами на груди и гранатами за поясом. Подполковник лицом очень был похож на любимого, ныне здравствующего дирижера Светланова. Дирижер во фраке, конечно, выглядел элегантнее и стройнее фронтового командира. Два бойца были похожи друг на друга, как близнецы, и лица не имели. Вместо лица у них были сурово сдвинутые темные брови в солдатский ремень шириной.

Не прошло и пяти минут, как меж сиротливо умолкших пушек возникла папаха, по бокам ее во весь рост встали два автоматчика-гренадера, и вот эта папаха, чуть возвышающаяся над холмами свежей земли, зримо торчащая меж двумя огневыми позициями, тонкий и пронзительный, похожий на голос недавно работавших пушек, исторгла звук: «А-а, сукины дети! А-а, мерзавцы! А-а, змеи подколенные! Так вас и перетак! Глядите, глядите, как вашего полковника убивать будут!..» (звание командир тот округлил, должно быть, для большей выразительности).

И что вы думаете? Как исчезли, испарились расчеты

от пушек, так же незримо и возникать начали — из земли, из воздуха, с небес сошли, что ли?! Заговорила одна, другая пушка, продолжался бой, война продолжалась. Гляжу, по траншее от орудий топают подполковник со снова зажатой под мышкой папахой, за ним два молчаливых гренадера. Я не утерпел, высунулся из своей ячейки, глазею — интересно же, не каждый день таких героев увидишь! — как вдруг подполковник остановился против меня, уперся в меня взглядом и удивленно захолопал выгоревшими на солнце ресницами, хлопал, хлопал и спросил: «Солдат! Ты с какого кладбища?..» — Узнаю я, скоро узнаю и на себе любимое это изречение командира дивизии — Шумилихин бесхитростно ему подражал. Не дожидаясь ответа, махнул командир рукой, засмеялся и пошел дальше, а за ним два гренадера дружно гыгыкнули и двои- или шаги.

Так вот видел я первый и последний раз знаменитого командира истребительного полка Ивана Шумилихина, который был-таки удостоен звания Героя Советского Союза, погиб в бою в Германии, похоронен на холме Славы во Львове. И слышал я, обретя независимость, неистовые самостийщики тот холм скопали, над славными могилами надругались, но надеюсь, что добрый народ — вологжане прах своего славного земляка перевезли на Родину.

Ну а что же наши генералы-артиллеристы? Они оба давно уже покинули земные пределы, давно покоятся в других местах, на совсем тихих, небоевых «позициях», там, где нет не только склок, интриг и происков, но даже «болезней, стонов и мук нет, но жизнь бесконечная», как гласит древняя печальная мудрость.

Об одном генерале журналист Георгий Миронов написал книгу «Командир дивизии прорыва» и издал ее в серии «Богатыри». В Житомире создан был музей боевой славы 17-й артдивизии, но сохранился ли ныне — не знаю. Там хранились вещи ее командира, боевые его награды, личное оружие. Где-то живет и работает сын генерала. Помню его скромным, деловым, остроумным парнем, снисходительным к причудам старого отца. Ветераны нашей 17-й дивизии чаще всего встречались в Киеве и в Житомире, поминали своего командира добрым, тихим словом. Но уже давно нигде не собираются — остарели славные артиллеристы, поумирали.

О втором генерале, Алексее Кондратьевиче Дидыке, я нигде, кроме книги Георгия Миронова, не читал ни единого слова.

Что ж, пора, пожалуй, заканчивать — о войне нам, фронтовикам, говорить — не переговорить, вспоминать — не перевспоминать. Я и так, кажется, вторгся в «материал» своего романа о войне.

И все же хочется и мне повиниться за всех за нас, ветеранов 92-й бригады и, в частности, бойцов и командиров 3-го дивизиона, перед Митрофаном Ивановичем Воробьевым. Слух был, что наш бывший командир дивизиона, фронтовой товарищ живет в Воронежской области (жил), но на встречи ветеранов своей дивизии не ездил, никому не писал. Обиделся. Да и как не обидеться, если он больше года пролежал в госпитале и никто — ни из офицеров, ни из бойцов его дивизиона не написал ему ни письма, ни привета.

Дорогой Митрофан Иванович! Может быть, попадут Вам на глаза эти строки и хоть немного утешат Вас. Мыто, бойцы взвода управления третьего дивизиона, всегда Вас помнили и помним, да закрутила нас война, завертела жизнь. Простите нас, если можете...

И вот чудеса, не только в решете! В город Новохаперск поступило всего четыре экземпляра моего первого собрания сочинений, два ушли «по своим», а два решили разыграть в лотерею, и... есть же, есть Силы Всевышние: страшный книгочей Митрофан Иванович Воробьев один из двух экземпляров выиграл! Прочитавши эти заметки в «Правде», он написал мне большое замечательное письмо: «Глянул на портрет Ваш и что-то забрезжило в памяти, увиделось, как молодой паренек тащит меня, раненого, за воротник полушубка...»

Тащили мы его, нашего командира, попеременно, тащил и я. А вот встретиться нам не довелось. Прособирался я, опоздал...

И не удержусь, попрошу через газету со много обязывающим названием «Правда» не унижать нас, уже немногих в живых оставшихся воинов, ложью, пусть и красивой, той самой ложью, по которой нежданно вышло, что 18-я армия, воевавшая долгое время на вспомогательном фронте, была чуть ли не главнеющей ударной силой на войне, начальник политотдела этой армии — чуть ли не самой великой фигурой на фронте.

Однажды был опубликован снимок: он, начальник политотдела, на передовой беседует с бойцами. Подлинные бойцы — окопники, бедовавшие на Малой земле, с одного взгляда установили, что «передовая» та находилась в

семидесяти километрах от переднего края, но для него, не постыдившегося принять Звезду Героя за не известные никому подвиги, — и там была передовая.

Однако война-то и бои происходили чуть впереди, и о них, об этих боях, о подлинных окопах и войнах надо говорить всю правду, пусть иногда и горькую — великая дата — 40-летие Победы обязывают к этому нас и все человечество. Мы достойно вели себя на войне и достойны не только благодарности, но и самой высокой, самой святой правды, мы и весь наш многострадальный, героический русский народ на века, на все будущие времена прославивший себя и трудом, и ратным делом.

1985

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ВОСПОМИНАНИЯМ СОЛДАТА»

Ах, как в строку, к разу, казалось мне, к месту вставил я слова о правде на войне, забыв о том, что с войны каждый боец и офицер привез свою личную правду, а генералы и тем более маршалы приволокли свою правдищу, да такую огромную, исключительную, что она загромоздила собой правду истинную, заслонив быть небылью и все военное лихо и почти каждый из них спешил рассказать о себе, хорошем, о своих подвигах — и вот те на: какой-то солдатишка-обмоточник высунулся со своей окопной правдой, и она никак, ни с какого бока с генеральской не сходится, да еще и напечатанной в «Правде», в той самой газете, единственной, которую они почитали, знали и знают, а других и знать не хотят.

Привыкшие повелевать, командовать и направлять, генералы и маршалы не почувствовали, да и чувствовать не желали ветер перемен в стране. Уж больно удобно, сытно и вольготно им жилось до пенсий высоких и хлебных, а на пенсиях уж одна и забота осталась — писать мемуары да строчить опровержения в газеты.

Вот с опровержениями на мои заметки явились к редактору «Правды», Виктору Николаевичу Овсянникову, сразу аж шесть генералов и один маршал и, потрясая бумагами, гневно требовали немедленного опровержения, а редактор им на все это бушеванье усталый вопрос:

— Вам что, делать нечего? Совсем нечего?..

А ведь и нечего. Разве что хвалебные оды писать в

честь очередного вождя, Хрущева или Брежнева. Но, опережая друг друга, уже отписались, самый молодой из командующих армий Москаленко написал хвалу Брежневу, когда уж тот часова! Успел-таки, зарегистрировался, поподхалимничал товарищ Москаленко и, кстати, напечатал панегирик свой все в той же «Правде», а то ведь те, кто раньше это сделал, душу вытрясут.

Тучи беспризорных детей, нищета в домах престарелых, стремительно разбежалась и поумирала русская деревня; в близкой им сфере — военной промышленности — царит очковтирательство и казнокрадство, там по 15—20 лет гонят в «трубу» огромные государственные средства, выпуская дорогую продукцию устарелых образцов; идет небывалое истребление природы, расхищение сырьевых ресурсов — кругом полно дел и забот, а эти воители лампасами трясут, по редакциям бегают, в издательства взятки тащат, чтоб только увидеть свой мемуар напечатанным, а ныне вон, клацая вставными челюстями, с кровавыми знаменами бегают, желая вернуть столь им милое прошлое, и ради него, выжив из ума, готовы кровь проливать. Не свою. Народную. Иль, выполняя «патриотический долг», установить негласное дежурство у мавзолея, чтобы втихаря не вынесли и не закопали бы в землю их последнего любимого вождя — оплот мракобесия, человеконенавистничества и партийного фиглярства.

Но... но, кроме генералов и маршалов на русской земле жило и живет кое-какое население (хотя вельможным пенсионерам и направителям жизни, этим вечным дармоедам-обывателям кажется, что на земле, кроме них, никого нет и что история с них началась, ими и закончится).

На десяток гневных генеральских отповедей дерзкому солдату и опровержений в газету хлынул поток писем от тех, кто воистину спасал Родину, выполнял свой долг — целый чемодан писем, который я сдал в Красноярский краеведческий музей. Солдаты, сержанты, офицеры — окопники с удивлением, радостью и волнением писали, что поражены тем, что солдата с его воспоминаниями напечатали. И где! В «Правде»! Значит, воистину грядут перемены, потому как дальше так жить невозможно. Целые исповеди — рассказы о себе, о походах и боях, о трагедиях войны — разбитых судьбах, просьбы помочь в бедственной жизни, послать «бумагу» куда надо, помочь с пенсией...

Ах, как далека эта людская исповедь от генеральских

отповедей и вельможных забот о себе и своем благополучии. Я и по себе знал, что отцы-генералы, партия и правительство предали своих воинов-спасителей и двадцать лет о них не вспоминали в будни, в жизни, лишь по праздникам славословили и хвалили себя. Ни о живых, ни о мертвых не думали, не вспоминали, по полям и лесам белели косточки русские, в литературе, кино, театре прославлялась совсем другая война, та, на которой мы не были и быть не могли. Царил обман и демагогия, воровство, предательство — товарищ Варенцов, будучи уже маршалом, в Генштабе заправлял всей ракетно-артиллерийской мощью страны, запятнавший себя воровством еще на фронте, нанимается в осведомители матерому шпиону Пеньковскому. Они разом продают пол-России. И ничего. Генералишко, видать, и прежде умом не блиставший, этакий приштабной лизоблюд, гневно пишет мне: «Партия и правительство сочли возможным за прошлые заслуги понизить товарища Варенцова до генерал-лейтенанта, сохранить за ним половину денежного довольства...»

И невдомек генералишке, что кремлевские старцы из политбюро — сами воры и мошенники, не шибко обижая и наказывая преступный кадр, надеются, что и их, согнанных с уютных мест, тоже «пожалуют» и пенсии высокие сохранят. Так оно и вышло: целые генеральские и правительственные городки, построенные в Подмосковье и по всей России. На какие шиши, спрашивается?!

Долго шла буча вокруг моих заметок, долго, долго лампасники дерьмом исходили, но все в конце концов улеглось, хотя любимцем наших генералов я не стал и надеюсь, что и не стану.

Я не мог оставить безответно письма фронтовиков, немногим хотя бы открытку послал и написал обзор писем. Но в «Правде» уже сменился (или сменили) редактор, и мой обзор не стали печатать и вообще туда больше не приглашали. Пришлось мне его опубликовать в «Литературной газете».

И снова письма, письма, письма.

Я печатаю этот обзор под названием «Да пребудет вечно» следом за этим послесловием. И читатели сами убедятся, сколь наивен и даже патриотичен этот материал. Мы все же далеко отплыли от той прогнившей пристани, сплошь украшенной красными флагами, бодрыми лозунгами, зовущими в светлую даль. Кто как, а я в «ту даль» больше не хочу и верю, что возврат к ней вообще уже невозможен.

ДА ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО...

В жизни моей случались и случаются такие совпадения и встречи, что впору от них суеверным сделаться и начать думать о небесных материях, да вот земные грехи не пускают.

25 ноября 1985 года в газете «Правда» были напечатаны мои воспоминания «Там, в окопах», и я, признаться, не ожидал, что на них хлынет бурный поток откликов.

За несколько месяцев откликов набрался полный чемодан, а я, как и всякий современный человек, задерган текучкой, изведен суетой, кроме того, вынужден это сообщить моим корреспондентам, — тоже инвалид войны, и со зрением дела у меня обстоят неважно, а письма-то писаны всякими, порой уже «пляшущими» почерками. Да и, как сказал один русский классик, нигде так и не умеют мешать работать писателю, как в России, добавив, впрочем, что русские писатели и любят, чтоб им мешали.

Говорил это классик в ту пору, когда не было еще телефона, не летали самолеты и безграмотное общество не наплодило тучи графоманов, самоучек-социологов, дерзких и диких философов, новаторски мыслящих экономистов, уверенно предлагающих немедленно и без потерь наладить хозяйство и попутно улучшить мораль в любезном Отечестве.

Словом, шло время, письма покоились в чемодане, авторы же, участники войны, ждали «реагажа» на свои письма, а то и просто обыкновенной человеческой помощи и участия.

Узнав о моей скорбной ситуации, один давний приятель, руководитель крупного предприятия, предложил мне спрятаться в таежном пионерлагере, принадлежащем его ведомству.

Пионерлагерь зимой пустовал, лишь две собаки, дружески настроенные к гостям, и строгость на себя напускающая сторожиха встретили меня. Сосняки кругом шумят, снег белый-белый, тишина необъятная, и не верится уже, что бывает такое.

Обходя территорию пионерлагеря, очень строго и «по ранжиру» строенного, в котором, несмотря на грибки, качели и всякого рода спортивные сооружения и деревянные скульптуры, явно проглядывали признаки строгого, к шуткам не склонного военного поселения, идя по зимней тропе на пологой вершине меж давненько уже вырубленных сосняков, я обнаружил заброшенное, безоконное и немое сооружение из бетона, спросил о нем у сторожихи. Она словоохотливо объяснила, что это «бункар», но какой-то «врах сотворил изменшество», солдатиков, «бедных, зимой, в морозяку, кудысь увезли, а территорию детям подарили».

Ну, врагами, изменщиками, шпионами, христопродавцами и прочей нечистой силой меня не удивишь, сам есть Отечества моего сын и чуть что, как и все россияне, горазд бочку на них катануть. Но каково же было мое потрясение, когда, открыв чемодан, я обнаружил прямую связь этого заброшенного военного сооружения с содержанием писем!

Впору было на весь пустой пионерский дом завопить: «Свят! Свят!» Но я не завопил, сидел подавленный и в одиночестве, под шум зимней тайги вспоминал своего фронтового командира отделения, который в послевоенные годы был и рабочим, и секретарем райкома, и крупным хозяйственным деятелем. На войне это был честнейший и мужественнейший человек, таким он остался и «на гражданке». Когда я был у него в гостях, по телевизору сотворялось очередное действо: под умильные слова, елеинные улыбки и бурные рукоплескания Брежневу вручалась очередная, не заработанная им награда, и возопил мой фронтовой друг: «Да до каких же пор нас будут унижать?» И ответил я фронтовому другу: «До тех пор, пока мы будем позволять...»

Но вернемся к чемодану с письмами. Большинство авторов, в основном бывших фронтовиков, благодарили меня и газету за публикацию, делились своими мыслями, воспоминаниями, кое-что дополняли и уточняли. Были письма-исповеди в тетрадь и более величиной, столь интересные, от сердца и сердцем писанные, что хотелось бы привести их полностью, но нет пока места и времени. Однако я обещаю, что все заслуживающие внимания письма, и прежде всего письма моих однополчан, как только выдастся время, обработаю и пристрою в какой-либо журнал. И все письма непременно сдам в архив. Пусть внуки и правнуки наши читают их, гордятся одними авторами и стыдятся за других.

...Сначала отвечу на некоторые замечания.

Самое главное из них: под Ахтыркой не подбивала наша 92-я бригада восемьдесят танков, и быть такого не могло. Командир 108-й бригады нашей 17-й армдивизии, ныне полковник в отставке Реутов Владимир Дмитриевич, проживающий во Львове, в спокойном, обстоятельном письме поправляет меня: 85 танков атаковало позиции 92-й и 108-й бригад. 92-я бригада тремя дивизионами уничтожила 20 танков, бригада, которой командовал Реутов, — 10 танков. Это был первый такой страшный бой на моих глазах, и я как вспомню восемнадцатилетнего парнишку, имеющего мой облик, находившегося в огненном аду целый день, так еще и удивляюсь, как ему сто горящих танков не привиделось!

Второе резкое замечание о том, что 17-я дивизия формировалась в 1943 году и не могла быть в боях раньше, не согласуется с фактами. Артиллерийская дивизия прорыва — сложное механизированное соединение, его за короткий срок не сформируешь. Я полагал, что военные специалисты понимают это, — и понимают, конечно, но цепляются за любую возможность «уцучить» автора. Весной 1943 года было закончено формирование 17-й армдивизии, но отдельные ее полки и бригады уже в 1942 году осенью принимали участие в боях на Волховском фронте, и начальником штаба артиллерии фронта был будущий командир этой дивизии полковник Волкенштейн.

Есть и еще ряд мелких поправок, которые за недостатком места я опускаю. И среди них упрек, что я неуважительно описал приезд маршала Жукова на передовую. Но именно из уважения к покойному полководцу я опустил

из описания все, что происходило потом, после начала встречи его с командирами, которых он вызвал к себе.

Много не только горьких, но и теплых чувств пробудили во мне письма. Например, я писал о том, что Герой Советского Союза Иван Михайлович Шумилихин, уроженец Вологодской области, убит и похоронен подо Львовом. Слышал я об этом на встрече ветеранов нашей дивизии, и память не очень-то меня подвела. Иван Михайлович Шумилихин погиб под Берлином, не дожив полмесяца до Дня Победы. Благодарные его друзья отправили тело героя на родину, и прославленный командир похоронен во Львове на холме Славы. Номер его захоронения 22. Участник войны Нина Михайловна Бабинцева прислала мне на память книгу «Холм Славы» и сообщила, что после появления в печати добрых слов о Шумилихине не переводятся живые цветы на могиле героя.

Но есть письма — их двадцать, — о которых мне хочется поговорить особо. Они принадлежат людям со званиями генералов и полковников все более тыловых и штабных служб. Авторы их высказываются пространно, суконым языком рапортов и докладных, но большинство хотя бы не унижает бранью свои высокие звания. Встречаются, однако, и такие письма, что белая бумага краснеет от высокомерного тона, надменности и спеси авторов. Письма эти пестрят одной и той же буквой «Я! Я! Я!» — «Я там-то и так-то воевал!», «Я того-то и того-то знал!», «Я две академии кончил!». И в конце приписка «Извените за ошипки».

Не стану перечислять всех авторов подобных писем, пощажу старость и покой заслуженных людей. Не все уже «по уму» действуют, больше по старой привычке повелевать и опровергать все, что на глаза попадет, а уж писанное бывшим бойцом — тем более. Но скажу о том, что во многих случаях вызвало гнев моих оппонентов и что представляется мне принципиально важным.

Самый большой упрек читателей я заработал за то, что не назвал фамилии командующего артиллерией 1-го Украинского фронта: «Ратуешь за правду, а сам в кусты!..»

Тот материал писал я к Дню Победы. И — каюсь! Искренне каюсь — не хотел марать чистую бумагу во дни светлого и скорбного праздника фамилией человека, опо-

зорившего себя, должность свою высокую и честь советского воина.

Что же говорится о нем в откликах? Прочитую Степана Ефимовича Попова из Москвы. Звания своего он не написал. Не из скромности. Таким «недостатком», судя по высокомерности и непреклонности тона его письма, он не страдает.

Вот что пишет о С. С. Варенцове, командующем артиллерией 1-го Украинского фронта (фамилии которого я не назвал), тов. Попов: «Мы, артиллеристы, знали С. С. Варенцова как крупного артиллерийского деятеля, знали мы и Волкенштейна как мелкого интригана... Безусловно, Варенцов на старости лет провинился, и государство его наказало, но оставило его генералом и членом КПСС, и мы, старые артиллеристы, помним генерала Варенцова довоенного, фронтового и послевоенного как трезвого, отзывчивого и глубоко мыслящего человека, а Волкенштейна бывшие его однополчане не знают даже, где он похоронен».

«Это был умный и талантливый полководец, — вторит С. Е. Попову полковник в отставке В. А. Кашин, — он пользовался большим авторитетом и уважением... Это был неприхотливый, скромный человек в быту и очень доброжелательный к людям...»

И в таком же роде еще несколько писем, с умилением повествующих о жизни и деятельности бывшего Главного маршала артиллерии Варенцова. Просто сомневаться начинаешь в достоверности горького рассказа командира 17-й артдивизии — уж не напел ли чего старый насчет фронтовых дел и насчет того, что, дослужившись до маршала, даже при множестве дел в Генштабе Варенцов не забывал «обидчиков» и того же Волкенштейна «достал» мстительной рукой в артиллерийской академии, где он работал преподавателем после войны, и вышвырнул вон все в том же звании генерал-майора, которое было ему присвоено еще в начале 1943 года.

Давайте же послушаем тех, кто близко знал Волкенштейна и Варенцова с довоенных лет. Директор Сахалинского краеведческого музея Владислав Михайлович Латышев пишет ко мне: «Когда С. Волкенштейну был год, родители привезли его на Сахалин, к бабушке Людмиле Александровне Волкенштейн, известной революционерке-народнице, отбывавшей здесь ссылку после 13-летнего заточения в Шлиссельбургской крепости. По какому-то

исторически оправданному совпадению в 1942 году Сергею Сергеевичу Волкенштейну доведется подготавливать и вести артподготовку и бои в районе Шлиссельбурга. За Людмилой Александровной добровольно в ссылку последовал ее муж, врач по профессии, Александр Александрович Волкенштейн. Сергей Сергеевич не был потомственным артиллеристом. Его дед А. А. Волкенштейн — известный последователь учения Льва Николаевича Толстого, а отец, Сергей Александрович, учился в Петербургском университете и за революционную деятельность был отчислен из университета и отослан под надзор полиции в Полтаву. Он рано умер, и почти одновременно с ним умерла мать Сергея Сергеевича. Бабушка Людмила Александровна погибла в 1906 году во время расстрела демонстрации во Владивостоке. Сергея Сергеевича взяла на воспитание друг семьи Волкенштейнов, дочь известного врача Склифосовского О. Н. Яковлева-Склифосовская».

«Старый строй убил его мятежную бабу, — пишет журналист Георгий Миронов в книге «Командир дивизии прорыва», выпущенной в серии «Богатыри» о Героях Советского Союза, — изломал жизнь его родителям, самого лишил детства». Ранней весной восемнадцатого года С. С. Волкенштейн записался добровольцем в Красную Армию, в девятнадцатом году его приняли в ряды РКП(б)...

Далее слово В. Г. Татарову из Днепропетровска:

«В 1929 году я — курсант батареи одногодников (были такие подразделения по подготовке среднего состава). Командир батареи С. С. Волкенштейн, Человек с большой буквы, прямой, честный, справедливый, безгранично преданный делу своей жизни...

Когда полковник Волкенштейн был нач. артдивизии 6-го стрелкового корпуса, ему был подчинен начальник артиллерии 41-й стрелковой дивизии, которая входила в состав корпуса, и командовал артиллерией дивизии полковник Варенцов — этакая импозантная фигура. Самодовольный, высокомерный, хитрый, скрытный, не шибко грамотный артиллерист. Это тот самый Варенцов, что позорно кончил свою карьеру, оказавшись замешанным в громкое дело английского шпиона Пеньковского...»

«...Вместе с Вашей дивизией Вы найдете в мемориале в Петровцах написанную золотом на стене и нашу 3-ю Гвардейскую минометную дивизию, где я был в должности начальника автотехнической службы... В конце войны,

когда мы были уже в Германии, я получил указание выделить в распоряжение фронта десятков автомобилей с двумя заправками горючего. Когда машины и команда, сопровождавшая их, вернулись, я узнал, что они возили каменноугольные брикеты на дачу Варенцова во Львов. Оказывается, этот подлец (другое слово трудно подобрать) во время львовской операции прихватил себе буржуйскую виллу и оформил ее как личную собственность... И скольким же честным людям он испортил жизнь!... Инвалид Отечественной войны, полковник в отставке Владимир Васильевич Павлов. Москва».

Как раз во время работы над этими заметками я получил альбом от нашего однополчанина из Москвы Алятина Александра Константиновича, посвященный любимому командиру. Этот альбом включает некролог, напечатанный в газете «Красная звезда» 24 мая 1977 года, и фотографию с памятником на могиле Сергея Сергеевича Волкенштейна, возле которого собрались ветераны дивизии, ибо жена его и сын к той поре умерли, родственница у него осталась одна, племянница Комракова Наталия Давыдовна. Она была возле постели умирающего генерала и вот что написала мне: «В последние дни мы много говорили. Он вспоминал своих «парнишечек» и говорил, что войну одолели и Победу добыли те самые ребята, что четыре года в снегу, в грязи, в земле жили, работали, а я вот умираю, смотри, в какой чистоте. Говорил, что всю жизнь хотел, как его дед-толстовец, не убивать людей, но вот все повернулось так, что Родине надо было служить, быть военным и воевать...»

Великий русский деятель истории, Гражданин и Мыслитель с большой буквы сказал когда-то по поводу великого русского царя — все они у нас великие! — который недругов своих, подозрительных людишек, а попутно и разлюбленных жен живьем закапывал в землю, но в глазах потомков возжелал выглядеть ангелом и «редактировал» рукописи о себе способами и методами, дожившими до недавних времен и хорошо нам знакомыми: «Народ обмануть можно, историю не обманешь!» А какое есть жадное стремление у некоторых наших старших деятелей, и не только военных, не то чтобы обмануть, а поприжать кое-что, подзамолчать, жить полуправдой или удобной, любезной их сердцу «генеральской» правдой. «Сол-

дат, так и пиши о солдатах!» — покрикивает мне тов. Попов и другие постаревшие чины. Так им удобней, лучше, спокойнее доживать свои годы. Но: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу...» — перед смертью воскликнул великий поэт нашего времени Александр Твардовский.

В газетных дискуссиях перед XXVII съездом партии и на самом съезде немало говорилось о том, сколь вреда принесла нашему обществу полуправда, как исказила она наше общество, сбила его с ноги, сколько породила воря, шкурников, карьеристов, демагогов, которых хлебом не корми, дай спрятаться за ширму краснобайства, привычного пустословия. Отставные военные, праведно гневающиеся на то, что я состарил в своих личных заметках гаубицу на два года или назвал командующего артиллерией начальником, делают вид, что забыли о совсем недавнем времени, когда заслути армии под номером восемнадцать и, главное, начальника ее политотдела возносились до такой степени, что невольно вспоминалась притча о том, как один польский улан до того разошелся, поведствуя о своих военных подвигах, что малая паненка — внучка его — невольно воскликнула: «Деда! Если ты всех врагов победил, все армии разбил, что же тогда делали на войне другие солдаты?..»

Видно, «элита элиту» лелеет и хочет любимыми способами сохранить за собой самим себе устроенное житье. Да чтоб литература и искусство, как «столбовой дворянке» по велению золотой рыбки, служили им и чтоб про генералов непременно писали генералы, а профессионально работающие литераторы «корректировали» их «труды», исправляя грамматические «ошибки», и выдавали народу «бесценные» подарки в виде опусов о целине, Малой земле и прочих осчастливленных ими землях и бессмертных деяниях.

Напрасно рассерженные корреспонденты хотят убедить меня в том, что мы, рядовые бойцы, на фронте ничего не знали, не слышали и не видели. В нашей бригаде солдаты, даже не видевшие командующего 7-м артиллерийским корпусом Королькова Павла Михайловича (не видел ни разу его и я), тем не менее много были слышаны о безмерной храбрости и скромности этого замечательного человека.

И вот передо мной письмо бывшего наводчика орудия, ныне рабочего Михаила Антоновича Тупихи, прожи-

вающего в Краснодаре: «Я уже два года переписываюсь с командующим, проживающим в Одессе. Заезжал к нему. Принял он меня очень хорошо. Хотя годы его перевалили на девятый десяток, он переписывается со многими ветеранами 7-го корпуса. Но дом, в котором он живет, обветшал, требует капитального ремонта, жаловаться-то Павел Михайлович не привык...»

Иные авторы из генералов все еще вроде бы как находятся на командном пункте и нас, литераторов, считают ротными писарями, которые должны составлять под диктовку рапорты и боевые донесения, а если посмеешь свое суждение иметь, тут же отповедь тебе насчет врагов-империалистов, «на мельницу которых ты (то есть я, Астафьев) льешь воду и ослабляешь мощь наших Вооруженных Сил. Да и какой пример подается нашей молодежи?»

Генерал-майор в отставке Зайцев, бывший начальник штаба дивизии, вместе с еще двумя работниками фронтового тыла пишет почему-то от имени «бывших солдат» десятой и сто восемьдесят первой гвардейских дивизий, заключая свое письмо таким вот «неустрасимым» возгласом: «Ваша затея — мартышкин труд! Мы били их (врагов) трехлинейкой, а в случае нужды ракетой побьем за просто!»

Какая живучая все-таки песня «Если завтра война, если враг нападет!» И не стыдно, оказывается, некоторым товарищам, что под бравурные слова этой песни сибирские дивизии и плохо вооруженное ополчение неисчислимо легли в подмосковную землю. Слезы на глазах уже редких вдов наших до сих пор не обсохли, ранние могилы солдат, детей и инвалидов травой еще не совсем заросли, старые раны не отболели, на головы, обряженные в парадные генеральские картузы, какие-то чужеземные загулявшие самолеты садятся, а brave Зайцевы все те же нам песни поют про «непобедимую трехлинейку» да еще про непробиваемый ракетный щит!

Я читал эти письма и листал газеты с беседой М. С. Горбачева по советскому телевидению: «...мир в своем развитии вступил в такой этап, который требует новых подходов к вопросам международной безопасности. Нельзя сегодня, в ядерно-космическую эру, мыслить категориями прошлого... И сейчас вопрос уже стоит не только о сохранении мира, но и о выживании человечества».

А о том, какой пример подается молодежи, за меня ответит письмо Марка Соломоновича Эльберга: «Нас, ве-

теранов третьего Сталинградского Гвардейского мехкорпуса... пригласили в Волгоград к 40-летию Сталинградской битвы. Состоялась встреча с учащимися подшефной средней школы, восстановленной еще во время войны на средства, внесенные воинами нашего корпуса... Все было торжественно. Нас приветствовали школьники, а ветераны рассказывали эпизоды сталинградского сражения, о подвигах воинов. Спустя время, уже вне класса, в коридоре подходит ко мне группа учащихся во главе с председателем пионерского отряда и говорит: «Много в наш город приезжает ветеранов, рассказывают подобное тому, что рассказывали сейчас вы, но как поговорим с ними отдельно, в стороне, то слышим совсем другое. А мы хотим знать, что было на войне в самом деле». Я остолбенел! Полчаса назад ими, учащимися, было выражено столько восторгов по поводу нами рассказанного, а оказывается, под всем этим лежал груз сомнений...»

Кабы он «лежал», это «груз сомнений». Увы, он «работает», ибо всякая ложь, сокрытие истины растлевают души людей, лишают доверия молодежь, которая порой презрительно относится к тому, что говорится и пишется нами, ветеранами.

А что касается совета: «Солдат, так и пиши о солдатах», — я охотно его принимаю и хотел бы всю жизнь вдохновляться примером создателя величайшего шедевра мировой литературы — «Дон Кихота». Четыреста лет назад сочинил его солдат-инвалид Мигель де Сервантес Саведра, и начал он эту гуманнейшую из гуманных книг сидючи в тюрьме. И вообще я всегда охотно следовал и следую совету Максима Горького — больше учиться. Но не принимал и никогда не приемлю полубарские замашки и этакое небрежно-снисходительное отношение к солдату. Забыли некоторые военные чины, что армия-то у нас все же рабоче-крестьянская и как солдаты, так и командиры вышли не из баронов и графов, а все из того же трудового народа.

Не могу умолчать и еще об одном совете. Содержится он в письме полковника в отставке Н. Н. Полякова из Москвы и еще в нескольких письмах: писать с «партийных позиций, на основе документальных данных, как это делали и делают писатели К. Симонов, И. Стаднюк, В. Быков».

Видно, наши бурные, часто вздорные перепалки и маломысленные творческие дискуссии породили у обывателей мнение, что мы, советские писатели, живем совсем разобщенно, готовы порвать друг друга, и поэтому я вынужден привести цитаты из писем двух уважаемых не только мною писателей и сказать, что, хотя и живу я в Сибири (но не в пустыне же Сахаре!), меня связывают со многими писателями, прежде всего фронтовиками, товарищеские, с некоторыми и дружеские отношения. Знаком я и с Иваном Стаднюком, раскланиваемся при встречах; не очень близко, но знал я и Константина Михайловича Симонова, встречался с ним незадолго до его смерти, имею от него добрые письма. Давно знаю Василя Быкова и помню, как жестоко били и умело травили его, тогда еще малоизвестного писателя, за роман «Мертвым не больно» — две-три подписи в «сердитых» письмах ко мне знакомы и В. Быкову. «Виктор, дорогой дружище! — пишет ко мне Василь Быков. — Как, наверное, и всюду сейчас в стране, в Белоруссии тоже звучит твое имя, связанное с двумя последними публикациями — в «Новом мире» и в «Правде». Здорово, верно и наконец-то! Кому-то давно надо было так сказать, и если это выпало тебе, то вдвойне правильно...» А вот выдержки из письма бывшего командира огневого взвода гаубичной батареи, ныне известного писателя: «Жму тебе руку за твое в «Правде» напечатанное, и по сути, и по боли, которая в каждой строке и за каждой строкой, — это и есть то главное, что должно было быть сказано, и сказал ты это с достоинством и с презрением к тем, кто нашу окопную, народную правду войны, великой кровью оплаченную, смел называть «кочкой зрения»... В литературе первых не бывает, это честолюбцы стремятся в первые. Но каждый подлинный писатель — единственный и неповторимый» — Григорий Бакланов.

...В моих заметках было сказано о том, что наш любимый командир дивизиона Митрофан Иванович Воробьев был тяжело ранен и мы его с двумя обоймами к пистолету и гранатой вынуждены были оставить в Орининской школе, где временно размещался госпиталь. Когда закончился многодневный бой, мы уже не нашли оставленных там раненых.

Пропал, думаю, погиб Митрофан Иванович, вечная ему память! И вот среди откликов — письмо из Новохоперска Воронежской области от какого-то Воробьева. Начал чи-

тать — и сердце мое забилося радостно: жив! «Нас (жена Митрофана Ивановича, Капитолина Ивановна, была вместе с ним на фронте. — В. А.) глубоко тронуло, что ваша память сохранила события тех далеких огненных лет... Ранение, которое я получил в том бою, оставило меня инвалидом на всю жизнь... Память почему-то сохранила больше тех, кто погиб на моих глазах. Вот наблюдательный пункт на ахтырском пшеничном поле, ужин, который привез начальник связи Коровиков. Вдруг самолет, бомбежка, крики, стоны. Командир разведки дивизиона Ястребов, смертельно раненный, говорит Капитолине Ивановне: «Товарищ врач, оказывайте помощь другим, я — готов!» — и умер. Убит молоденький разведчик (фамилии не помню). Душераздирающе кричит командир отделения связи — перебит позвоночник.

В другом районе страшное ранение в живот получил уже другой командир отделения связи, бежит на наблюдательный пункт, а кишки висят, волокутся по земле, он их руками заправляет в распоротый живот... Выжил! Я его в 1946 году случайно встретил в Пензе — едва ходит, торгует иголками. Обнялись мы с ним, расцеловались... Стоит перед глазами командир батареи Зайцев, убит в деревне Телячье, под Болховом (убит, добавляю я от себя, почти в первом бою, самый видный и красивый, самый храбрый и боевой командир, которому на роду было написано быть любимцем и героем. — В. А.). Сидит под деревом, помню, как живой, только капля крови застыла на шее, возле сонной артерии, рана — с игольное ушко. Другой командир батареи стоял рядом, шальная пуля прошила грудь через сердце, навывлет. Я ясно слышал ее удар в тело, как галька издает звук, вертикально брошенная в воду, и последние слова: «Отжил Василий Иванович на белом...» — и осел».

Ах, война, война... Болеть нам ею — не переболеть, вспоминать ее — не перевспоминать! И все-таки не могу отложить в сторону одно письмо. Какой светлый и, не побоюсь «крайнего» слова, нежный образ встает за строками, написанными Парасковьей Петровной Бойцовой, награжденной на фронте орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», ныне работающей стенографисткой в Калининском облисполкоме.

«По возрасту я ваша ровесница, одинаковая с вами военная специальность — связистка, в 44-м Гвардейском артиллерийском полку 16-й Гвардейской стрелковой ди-

визии. Прошла с боями из Подмосковья, огненную Курскую дугу, Белоруссию, Прибалтику, Восточную Пруссию... Пути войны, нелегкие для мужчины, во много раз труднее для девушек-фронтовичек. Сейчас невозможно представить, как мы могли жить, и не один год, имея всего имущества шинель да плащ-палатку. За все время пребывания на фронте я не припомню, чтоб хоть ночь между боями мы провели в жилом помещении. Землянка узла связи — в ней невозможно встать, со стенок сочится, под ногами хлопает грязь, в которой день и ночь чадит узенькая полоска шинельного сукна, опущенная в горячее. Отсидишь смену — только зубы белые.

Мы, 17—18-летние девушки, не принимали скидки ни на молодость, ни на слабый пол. Лично я постоянно находилась во взводе связи, среди солдат разного возраста, рядом ни мамы, ни подруги, постоянно контролируешь свой каждый шаг, каждое слово. Я по пальцам на одной руке могу пересчитать, сколько раз мылась в бане (в землянке, во время недолгой передышки в боях). Даже летом, недалеко от реки находясь, разве можешь искупаться, если кругом одни мужчины...

День своего рождения забывала каждый год. В 1944 году замполит полка Расщепкин сказал, что нынче-то обязательно отмечен будет мой день рождения — как-никак двадцать лет! Но началось наступление, тяжелые бои, большие потери...

В 1945 году в полку решили торжественно отметить 8 Марта. Стояли мы тогда в городе Бергау под Кенигсбергом. В полку было шесть девушек: военфельдшер, две телефонистки, две радистки и повар. Мы никогда не видели друг друга — фронт не место для прогулок и в гости не пойдешь. Командир полка разрешил девушкам быть в гражданском платье. Я посмотрела свой гардероб: ватные брюки, застиранная добела гимнастерка, стершиеся сапоги. В таком виде на праздник? Но молодость есть молодость! Всем хочется быть красивыми и нарядными. Я принесла свои рваные сапоги старшине, попросила отвезти их в ремонт, взамен получила ботинки 45-го размера.

Началось торжество. Замполит Расщепкин, видя, что меня нет, идет в наш подвал и, отвернув плащ-палатку, громко спрашивает: «Почему?! — но увидел мои ботинки, опустился рядом со мною на нары и мог только произнести: — Да...»

Не обходили нас и взысканиями — у меня до сих пор остались неотработанные шесть нарядов вне очереди...»

Дорогая, далекая, милая женщина Парасковья Петровна! Пусть эти наряды вне очереди отработывают мужчины, желательно те, которые их вам вlepили. А я целую ваши руки и в «лице их» целую руки всех женщин, беззаветных наших тружениц, самых стойких, самых терпеливых, самых мужественных героинь войны.

Желаю всем моим братьям по окопам того же, чего желаю себе на исходе лет: хотя бы сносного здоровья, незакатного солнца на мирном небе, радости во внуках и правнуках...

А благодарная и благородная память, верую, да пребудет с нами вечно!

...Пустующий бункер в таежном пионерлагере приспособлен под овощехранилище, и у меня возникла дерзкая мечта: вот бы все бункеры во всем мире — да под картошку бы!...

ОТВЕТ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «МОСКВА» К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Для меня, бывшего окопного солдата, День Победы — самый печальный и горький день в году. Уже за несколько дней до праздника мне тревожно, я не могу найти себе места, мне хочется попросить у кого-то прощенья, покаяться перед теми, кто уже сгнил на бескрайних полях России и в чужом зарубежье, молиться Богу, если Он есть, чтоб никогда это больше не повторилось и мои дети и внуки жили бы спокойно, на успокоенной земле, история которой являет собой позор безумия и безответственности перед будущим и прежде всего перед нашими детьми.

Я не могу смотреть телевизор в День Победы. Он забит хвастливой, разряженной толпой каких-то военных парадных кавалеров и краснобаев, обвешанных медалями, и когда среди них провернется, «для разрядки», инвалид-горемыка, показывают документы и кинохронику — слезы душат меня, и я часто, как и многие окопники, хватившие нужды и горя не только на войне, но и после войны, не могу совладать с собой, плачу и знаю, что во многих семьях дети и внуки уже не пускают к телевизору нашего брата — солдата, боясь его слез, сердечных спазм и приступов.

Хвастливое, разухабистое действо в День Победы особенно кощунственно выглядит в исполнении наших генералов и маршалов. Им бы встать на колени посреди России, перед нашим народом, выбитым на войне, и просить прощенья за бездарность свою, за холопское исполнение дикой воли главнокомандующего, за браконьерство, учи-

ненное в войну с русским народом. А вот маршал Белобородов, так и не одолевший уровень начальной школы, хотя и «прошел академии», и хвастающийся своим батрацким происхождением, со слезами на глазах вещает о том, как одержал «первую победу» под Москвой, освободив город Истру и как отважные солдаты, по горло в ледяной воде, шли через реку Истру.

Как же этим можно хвастаться? Дело происходит под Москвой. Кругом деревни с деревянными строениями, телеграфные столбы, сады, леса, хоть обмотками бы связать плоты, да просто за бревно держаться, а у него солдаты идут, да не идут (врет он, врет!), гонят их по горло в воде. Его, сукиного сына, надо было судить за такую «победу», а он маячит в телевизоре, бахвалится, и ведь не от одной тупости бахвалится, он упоен опытом «руководства» войсками.

На Днепре переправы были тоже не подготовлены, тоже на «подручных средствах» отважные солдаты плыли на смерть. И сколько их доплыло?.. Я-то знаю, как и сколько, сам плавал и тонул в Днепре... Вот бы и назвали хоть раз правдивые цифры, правду бы сказали о том, как товарищ Кирпонос в 1941 году бросил пять армий на юге и как 11-я армия Манштейна перебила все, что было у нас в Крыму. Без флота, с отдаленным тылом, оставив на время осажденный Севастополь, «сбежал» Манштейн и под Керчь и опрокинул в море три армии под «героическим» руководством любимца «отца народов» тов. Мехлиса.

Но этого не будет. Будет гром, музыка, умильные обнимания, подстроенные встречи, «неожиданные» открытия героев и героических дел, прекраснотушие будет, лжепредставление на военную тему и такое, что ущипнуть себя снова захочется и спросить: «Да полно! На какой же войне я-то был?!»

Мой близкий друг Иван Гергель, которого, впопыхах драпая, бросили раненого на поле боя товарищи офицеры, ходившие на рекогносцировку, и которого я уж в последний момент выдернул из-под наступающих танков, понимая, впрочем, опытным нюхом, что они по нам стрелять не станут, не до нас им, двух обмоточных солдатиков, потому как по опушке леса стояли сплошь батареи, брошенные нашими «доблестными» артиллеристами. А вдруг да не все расчеты убегли? Вдруг да лупанут под башню подкалиберным из полуторасотки или из ста двадцатидвухмиллиметрового? Так вот, этот бывший солдатик,

полтора года провалявшийся в госпитале, однажды при мне в городе Орске, на своей Родине, насмотревшись телевизора, горько заплакал: «Вот, Витька, как люди-то во-евали, а мы че-о-о?..»

Есть и еще мой однополчанин в городе Темиртау — этот уж меня вынул с поля боя, умница, человек прямой, четыре созыва был секретарем райкома, а сейчас большой руководитель, много читающий, думающий, он спросил с обидой меня, глядя на телеэкран: «Когда, Витя, кончат нас унижать ложью? Когда вы перестанете врать?!»

И в День Победы, через журнал «Москва» я хотел бы задать расширенной его вопрос: «Когда нас перестанут унижать ложью? Когда мы перестанем врать? Когда наш многострадальный народ, утопивший фашизм в крови, проложивший и устеливший до Берлина путь телами своими, узнает правду о войне?»

Я уверен, что редколлегия журнала «Москва», в которой столько бывших воинов и честных писателей, несмотря на мое звание рядового, напечатает взволнованное и откровенное мое письмо в подборке ответов на единственный так лаконично, но емко сформулированный вопрос: «Ваш День Победы — 9 Мая 1945—1985 гг.».

Желаю здоровья живым, святости, тишины и покоя павшим.

Прошу печатать ответ без сокращений и кастраций, я от них устал за сорок-то лет. Если не можете напечатать, бросьте мою бумагу в редакционную корзину и больше никогда не лезьте в мою изболевшую душу, заключенную в тело, израненное на проклятой войне.

1984

ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ АСТАФЬЕВУ

Дорогой Виктор!

Прости великодушно, но напечатать твой ответ (да не ответ, а исповедь) на нашу анкету не можем. Я бы мог в каких-то местах с тобою поспорить, но не буду этого делать, потому что мне решительно не хочется во второй раз «лезть» в твою «изболевшую душу». Попробовал однажды сунуться в нее в связи с «Пастухом и пастушкой», а потом долго не мог избавиться от душевной отгрыжки, вызванной нашим отчуждением. Поверь, мне это больно.

Больно потому, что люблю твое редкостное дарование, твое Слово, ну и, разумеется, тебя самого. Если б мне удалось сохранить дружбу с тобой, даже не дружбу (это уж слишком много!), но хотя бы ровные товарищеские отношения, я бы и этим был счастлив.

Три странички искренней исповеди большого писателя не заслуживают того, чтобы их бросить в редакционную корзину, как ты сам советуешь. Это было бы сверхкощунственно. Полагаю, что будет лучше, если они вернуться к тебе не захватанными чужими руками.

Твой Михаил Алексеев.

21 февраля 1985 г., г. Москва

ПИСЬМО ДОЧЕРИ ПОГИБШЕГО ДРУГА

Редакция журнала «В мире книг» предложила мне выступить на тему «Моя почта», полагая, видимо, что почта моя обширна. Нет, писем читательских я получаю немного, но, как правило, письма эти от думающих, умных читателей, и это меня радует.

Среди читательских писем есть одно, которым я особенно дорожу и которое стало как бы путеводной звездой в моей работе.

Первый рассказ свой я написал, полагая, что ничего не должен выдумывать, и потому сохранил фамилию, имя героя и т. д. и т. п. Возможно, произошло это не только по авторской наивности, но и как реакция на те многочисленные историйки на военные темы, которые тогда печатались косяком и ничего общего с войной, какую я видел, не имели.

Когда учился я на Высших литературных курсах в Москве, то как-то в разговоре с друзьями-сокурсниками поведал смешную историю своего первого рассказа. Однако друзья мои не смеялись, а поругали меня за то, что я не послал свой рассказ семье погибшего товарища, о котором написал.

Я исправил свою оплошность и послал книжку в городок Тогул, что на Алтае, на имя писателя Николая Николаевича Чабаевского, так как запомнил название деревни, из которой происходил герой моего рассказа и мой фронтовой товарищ — Матвей Савинцев.

Николай Николаевич, живущий в том же районе, из

которого произошел мой герой, сделал все, чтобы отыскать Савинцевых, и они отыскались.

Книжечку «Сибиряк» читали всей деревней, собравшись в сельском клубе. И плакали все, потому как в деревне Шумихе почти в каждом доме кого-нибудь не дождались с войны и оплакивал всяк своих, слушая о гибели связиста Савинцева.

Имя моего героя присвоили пионерской организации села Шумиха. И вообще в деревне Шумихе получилось большое и горькое торжество, как мне потом сообщили.

Однажды получил я письмо от дочери Матвея Савинцева. Вот оно целиком. Ни одного слова не могу я сократить в этом письме, ибо кажется оно мне сильнее и лучше многих наших сочинений.

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Пишет письмо незнакомая Вам Валентина Савинцева.

Виктор Петрович, я не знаю, как мне отблагодарить Вас. Вы сделали для нас очень много хорошего. Вы написали книгу о нашем отце. Это нам великая память о нем. Это все, что осталось от него. Еще от него остался старый портрет — и все. Я плохо помню, но было это примерно так. Кто-то сказал, что кончилась война, или еще нет. Или наши подходили к Берлину. Мы с сестрой и мамой были в огороде, когда нам сказали. Мы так радовались, что придет отец, прыгали и радовались. А маме в это время вручили медаль «За доблестный труд». А через несколько дней маму вызвали снова в сельсовет. А она говорит: «Наверное, опять что-нибудь дают, прямо совсем некогда, а они вызывают». Это мы шли за коровой в поле. Мама шла с веревочкой. Вернулась в сельсовет.

Я как сейчас вижу этот сельсовет. Весь перекосялся, крыльцо большое, но пола на крыльце нет, почему — я не знаю. У двери лежали две доски, чтобы можно было зайти в дом.

Я и моя сестра стояли на бревне и ждали, когда выйдет мама. Мы думали, что маме опять дадут медаль, и спорили: кому из нас носить ее. И вот вышла наша мама. Как увидела нас, так голосом и заплакала. А в руках у нее была какая-то бумажка. Мы тоже заплакали, хотя не знали, почему плачет мама, а она долго не могла сказать ни слова.

К нам много собралось людей, и все плакали, а я спряталась в сенях за дверью и там плакала.

Стали мы жить помаленьку. У многих не пришли отцы. Был сильный голод. Жили только на траве. Мама работала, а бабушка — это мать отца, с нами была дома. Бабушка все отдавала нам, а сама не ела. А когда садилась кушать, что-нибудь сварят, то мы ждали, когда первую ложку хлебнет мама и бабушка, тогда мы с сестрой начинали. Это мы договорились так с Зоей. Бабушка умерла, может быть, и от голода. Когда умирала, то кричала: «Уберите траву! Это она задавила меня!»

Незаметно так мы выросли, стали взрослыми. Мне исполнилось шестнадцать лет. Я пошла и получила паспорт. Школу бросила, потому что подружки поехали в город. Я с ними. У меня было всего одно платье. Днем работаю в нем, а вечером стираю и глажу, почти сырое одею и иду вместе с девочками в клуб.

А когда собрались, поехали в Барнаул. Я думала, что буду работать, зарабатывать деньги и куплю себе еще платье, а может, и два. Город я даже не знала — в какой стороне. Уехали. А когда приехали в Барнаул, не знали куда идти. Ночевали на вокзале. На квартиру нас не пускали, боялись, наверное, что чего-нибудь возьмем. С трудом устроились. Стали работать. А в тот же год, когда мы уехали из колхоза, наши получили много хлеба и с тех пор стали жить хорошо. Это было в 1954 году. Только тогда колхозники ожили. А я и сейчас живу в Барнауле. Сейчас у меня семья. Муж, дочь и свекровь. С мужем мы живем хорошо. Работаем в одном цехе на строительстве и учимся в вечерней школе рабочей молодежи. Он в восьмом, а я в седьмом классах.

А сестра Зоя работает дояркой в колхозе, и мама тоже в колхозе, и брат Александр трактористом работает.

Простите, Виктор Петрович, что я столько много написала. Я даже не знаю, почему я Вам все это написала. Возможно, Вам это неинтересно.

Виктор Петрович, я много искала книжку «Сибиряк», но не нашла. Мне обещала принести одна женщина, но до сих пор нет. Мне так хочется прочитать и не знаю, где взять. У мамы есть, но ее читает сейчас все село. Ваш адрес выслали мне из дома, а им выслал Чабаевский.

Передайте привет Вашей жене и детям, если они есть у вас. Сейчас мы живем на квартире, а через месяц будем жить на своей. Сейчас строимся. К Первому мая приезжайте на новоселье.

Надо ли комментировать это письмо? Добавлю лишь, что после такого письма уж не захочется писать для литературных снобов или для заморской публики, которую одно время почти уверили молодые, но ранние наши писатели, будто земля наша кишмя кишит мальчиками и девочками, не знающими, куда себя девать и что делать.

Большую, очень большую роль сыграло в моей писательской жизни письмо Валентины Савинцевой. Что бы я ни замысливал, что бы ни писал — всегда мысленно обращаюсь к ней и каждое свое произведение примеряю на нее, как платье, — подойдет ли оно ей.

И не знаю я другого смысла и другого счастья, чем писать для простых, но истинных тружеников нашей оплаканной и зацелованной земли. Трудом своим и жизнью они заслужили доброе слово, трепетную любовь нашу, и благодарное их слово есть высшая награда за наш нелегкий литературный труд.

ТАМ, ГДЕ ПРОЛИТА КРОВЬ

Я воевал рядовым бойцом в составе 92-й артиллерийской бригады и последний раз был ранен в Польше, под крохотным, но старинным городом Дуклой, знаменитым лишь тем, что в нем родилась будущая жена Лжедмитрия Марина Мнишек, да еще тем, что здесь, возле этого городишки, в Карпатах, русские войска еще в империалистическую войну пытались перейти Дуклинский перевал, чтобы сразу же попасть в Словакию и поскорее кончить войну, но потеряли 85 тысяч солдат в горах и не перешли. Однако стратегические соблазны так живучи, что и в прошлую Отечественную войну русские войска снова решили перевалить горы и попасть в Словакию коротким путем. И, положив здесь 160 тысяч жизней, снова попустились наши генералы дерзким замыслом и двинули войско добиваться удачи в другом месте.

Там, в Карпатах, и я, мелкая песчинка в громадной буре, кружился и упал на твердую прикарпатскую землю, все еще скупно рожающую хлеб, овощи и фрукты, хотя и обильно полита она солдатской кровью, в особенности русской.

А человек уж так устроен, что его вечно тянет туда, где он пролил свою горячую кровь, как с годами тянет его в родные места, чтобы успокоиться возле родных могил. И все мне не было покоя, как нет покоя многим израненным и увечным воинам; всем им и мне тоже кажется: вот побываешь на месте ранения и что-то поймешь, обретешь успокоение, преодолеешь тоску по своей молодости, оставшейся в пекле военных окопов.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В Польшу я попал спустя тридцать лет после Победы и, кстати, в Польше же и встретил его, этот Великий праздник, видел военный парад в Варшаве; сжимало мое горло слезами при виде слез польских ветеранов, прочел в газете ошеломившие меня цифры: за освобождение Польши погибло шестьсот тысяч советских воинов и пятнадцать тысяч поляков.

Сколько изувечено здесь народу и, вроде меня, тяжело мучаются ночами болью старых ран — никто уже не сочтет, никто не подскажет, никто не проверит.

Мы выехали вдвоем с переводчиком из Варшавы на юг рано утром. Шофер Янек не признавал скорости ниже ста двадцати километров, и его «фиат» словно бы летел, стелился над отсыревшей от весенней влаги полупустынной в этот час автомагистралью. Янек был не только лихой, но и умелый водитель, а переводчик хотя и говорлив, но понятлив, он скоро уяснил, что то, что мне надо увидеть, я увижу и запомню и без его подсказок.

Польша была первым иностранным государством, которое я видел в своей жизни. Мы перешли границу в районе Перемышля в августе 1944 года, а в сентябре я уже выбыл из действующей армии, казалось бы, не накопив никакого «материала» для воспоминаний. Однако ж память человеческая есть сложный и таинственный, быть может, самый сложный и самый таинственный инструмент, который работает помимо нашей воли, подчиняясь каким-то необъяснимым законам сознания, а скорее всего даже подсознания.

Несмотря на то, что был я «захлопотанным» солдатиком-связистом, все время работал, бегал, падал, прячась от пуль и разрывов, все же кое-что видел, слышал и запоминал. Конечно же, лишь «кое-что» — солдату на войне, да еще связисту, созерцанию предаваться некогда.

И вот это «кое-что» подступало ко мне явственно, тревожило душу, бередило раны, тесно и больно было сердцу. Может быть, потому, что ехали мы в город Жешув, где должны были ночевать и где нас ждал ныне работающий в Москве в польском посольстве секретарем по культурным связям славный человек и писатель Збигнев Домино, вспоминал я, как неподалеку от Жешува, под городом Ярославом, бывал в роскошной усадьбе с огромным и тоже роскошным панским домом посередине и как там два «чокнутых» человека — наш солдат, по националь-

ности узбек, и престарелый поляк — собирали под деревьями, на аллеях и возле прудов отбитые взрывами от мраморных и гипсовых фигур руки и ноги и пытались прилепить их обратно.

Я написал об этом рассказ «Как лечили богиню», не лучший, к сожалению, свой рассказ. Во всяком разе сейчас я написал бы его иначе.

По телефону в Варшаву Збышек Домино сообщил молодым, звонким голосом, что он знает рассказ и что не далее как сегодня вечером я увижу и усадьбу Потоцких под Ярославом, в которой, по его мнению, и совершилось действие рассказа, и богиню ту, восстановленную и поставленную на место.

Ну как тут не волноваться?

А по обочинам дороги кипела весна и пенились яблоки, груши, сливы; ясные всходы зеленых хлебов узкими платами покрывали пологие холмы, к югу все более круто и крупно набухающие; все чаще и чаще холмы эти обрезаало впадинами и логами. А вот уж и ручей с пеной на губах скатился к дороге и нырнул под настил нехитрого, узенького мостика, возле которого в гуще серебристых тополей и набравших цвет каштанов утопал и как бы сросся со старым садом тоже старый кирпичный костел, по низу покрытый древней плесенью мхов, и к нему, мерно звонящему, стекался в одиночку и парами с ближних хуторов степенный, воскресно одетый люд. Через мосток, взявшись за руки, шли старый пан в заношенной конфедератке и высоко и аккуратно подобранных над башмаками широких портах и девочка лет восьми-девяти, в темном платице с глухим воротником, поверх которого топорщилась накрахмаленная школьная форма и сшитый по старой моде, похожий на белый весенний цветок, весь в складках и лепестках передничек.

Старый пан приподнял картуз, приветствуя нас; девочка, что-то ему с улыбкой говорившая, еще крепче сжала его крупную, крестьянскую руку, ближе прильнула к нему и, не переставая улыбаться, поглядела на нас, и я заметил, как светло и празднично сияли ее серо-голубые глаза урожденной славянки, и во взгляде ее почудилось мне возбужденное ожидание чего-то необычного — девочка с дедом шли к заутрене, и дитя еще верило, очевидно, в чудо и святое Божье творение, а может, просто радовалась этому мирному утру, мирно цветущей земле, мирному и вечному небу над головой.

Все чаще, все круче становились подъемы и спуски, древняя краковская земля краснела сухоземом и суглинками — приближались к Карпатам, и видно было, как тяжело и трудно давались и даются здесь человеку хлеб и жизнь. Уже сделались поля, щетинистей всходы, круче завинчивались кусты вдоль проселков и по оврагам, реже хутора и деревушки. Возле небольшой деревушки с уже частично заколоченными избами и заброшенным, каким-то увядшим, будто подсохшее дерево, махоньким костелом виднелась на хлебном поле склоненная фигура в выцветшей одежде и в белом, далеко заметном платке. Женщина-крестьянка полела вручную хлеб и, выпрямившись, отирая тыльной стороной ладони усталое лицо, усталым же и долгим взглядом проводила нас.

Скупая, жесткая земля, изнурительный крестьянский труд. Я никогда не видел таких маленьких, скудных полей и никогда не знал, что хлеба возможно полоть вручную. Не захватил или не запомнил, когда был парнишкой и дед еще был единоличником и обрабатывал крестьянский надел на Усть-Манской заимке, потом, при коллективном хозяйстве, у нас и привычки не было чего-то полоть. До сих пор сорнякам угрожают химией и какими-то сверхмощными агродостижениями и механизмами — вот и клубится туманом над необъятными полями пух осота да распирает от наглости, озорства и молодецкой силушки всякого рода сорняк, который угрозы не боится, а признает лишь упорный труд, и уже на тучных полях Сибири, где с плутом и серпом неграмотные крестьяне брали до тридцати центнеров с гектара, пятнадцать центнеров пшеницы на круг — в радость.

Збышек Домино встретил нас в Жешуве бурно, родственному, угостил омлетом «по-жешувски», познакомил с представителями Общества польско-советской дружбы и умчал на машине куда обещал — в усадьбу некоронованных королей Польши — Потоцких. По пути мы заехали на кладбище павших воинов и положили букет цветов к подножию памятника молодогвардейцу Ивану Туркеничу, погибшему под Дембицей, прах которого перевезен под Жешув после войны.

И вот мы в усадьбе Потоцких, обширной, роскошной и такой благолепной, что на вопрос Збышека — «Узнаешь? Узнаешь?!» — я кивал головой, а сам ничего не узнавал, все мне казалось ровно бы когда-то виденным, но

во сне, в оглохшем, одноцветном и точно бы не моем уже сне.

Строгие аллеи были усыпаны белым цветом, густая зелень переплеталась над головой, в прудах и в ручье, сомкнувшем их между собой, плавали караси и красные заморские рыбки с такими яркими плавниками, что они скорее казались похожими на громадных бабочек, случайно угодивших в воду. По берегам цвели розовые цветы меж глянцево-блестящих листьев, напоминающие лотосы или что-то такое сказочное, и все здесь было как в тихой, дремотной сказке. Густоголосое пение птиц и неподвижно стоящие скульптуры на аллеях еще более увеличивали чувство сказочной завороченности.

А вот и богиня! Как бы в кокетливом испуге и удивлении прикрыв ладошкой зрелую, девственную грудь, стояла она в уголке возле беседки, склонившись белым ликом над маленьким зеркальцем пруда, и, глядячась в него, отражалась во всей чистой и прекрасной наготе меж белых кувшинок. Збышек все свое: «Ну, узнаешь? Ее-то хоть узнаешь?!»

«Нет, Збышек, не узнаю», — тянуло меня честно признаться польскому другу, волей прихотливой судьбы выросшему в Сибири и назвавшему свою книгу рассказов «Кедровые орехи». Но мне так не хотелось его огорчать, и я согласно кивал головой, а сам глядел и удивлялся земной красоте, величию природы. Вдруг до слуха донеслась дивная музыка, тоже древняя, простая, зовущая и в то же время доступная лишь сердцу и необъяснимая разумом. Ощущения сказки еще более увеличились, и мы словно завороченные двинулись на звуки музыки. Скоро оказались у входа в огромный дом Потоцких, откуда звучала музыка. Вежливый служитель дома, превращенного в народный музей-усадьбу, вежливо же объяснил, что начались традиционные ежевесенние концерты старинной камерной музыки, на которые съезжаются музыканты и слушатели со всех концов Европы, и что осмотреть бывшие владения Потоцких мы сегодня не сможем.

Збышек загорячился, в шутку ли, всерьез ли посулил всех тут с работы поразогнать, коли не покажут освободителю этой усадьбы то, чего он в войну увидеть не мог, ибо больше ползал на брюхе, глазами уставившись в землю. Вежливый пан служитель поулыбался и разрешил нам войти в дом, но вести себя тихо. Мы на цыпочках поднялись наверх, постояли возле зала, в котором шел концерт.

Меня поразило, как много слушали музыку инвалидов — у входа в зал стояли разного рода коляски. Уронив головы, чтобы не было видно слез, в них сидели, внимая музыке, и тихо плакали люди.

Мне сразу расхотелось на что-либо глазеть и чему-либо удивляться, а захотелось сесть с этими людьми в крут и вместе с ними поплакать о себе и обо всех нас.

И когда я бродил по роскошно обставленным апартаментам ясновельможных панов Потоцких и, узнавая, сколько они увезли с собой богатств, убегая с фашистским охвостом за границу и сколько увезти не смогли, все слышал издалека музыку Генделя, Баха, Вивальди, Шопена, Венявского — эта вечная музыка как-то отделяла меня от суеты людской, необузданной алчности, глухоты к мольбам и нуждам ближнего. В одном из больших залов нам показали ободранные стены, что-то с корнем выдернутое, вывернутое, изуродованное — это ясновельможные «патриоты» Польши рвали позолоту со стен, канделябры, подвески, ценную утварь — припекло, видать, освободительные войска наступали «на хвост», некогда было церемониться. Тяни веками накопленное, по крохам собранное великим и многострадальным народом. Урвали. Выморщили. Рви когти! Беги! Торопись! Спасай шкуру!

Поляки так и хранят эту залу ободранной, побитой, развороченной — смотрите, дивитесь, люди добрые, а то ведь трудно и поверить, глядя на надменные и пышные портреты многих поколений Потоцких, развешанные по стенам, что их вырождающееся древо сплетется с гнилокорыми ветвями немецких фашистов, и там, за рубежами, выродки будут пьяно орать: «Еще Польша не сгинела!», проматывая прикарманенные национальные ценности, уворованные у родного народа.

И назавтра, когда пан Янек мчал нас с птичьей скоростью к Дукле, все звучали во мне, накатывая, словно волны моря, одинаковые и в то же время неповторимые звуки старой и никогда не стареющей музыки.

И все развертывалась и развертывалась лента дороги, бесконечная, как вечность, и неповторимая, как жизнь.

В Сандомире, в войну в прах разбитом снарядами и бомбами, шли восстановительные работы, государство выделило огромные средства, чтобы этот древнейший польский город был восстановлен в его первоначальном, исто-

рическом лице. Под Дембицей мы остановились, и, хотя вновь проложенная асфальтовая магистраль несколько изменила облик местности, я нашел место нашего артиллерийского наблюдательного пункта и тот пяточок земли, на который, вскрикнув, замертво упал, окутанный дымом взрыва, и, корчась, затих наш товарищ-связист. Где-то здесь, в сосняке, мы его и закопали. Подрос сосняк, затянуло мхом и травую окопы и могилы, забыл я имя и фамилию своего собрата по окопам.

— А знаешь ли ты, что здесь, совсем рядышком, работала немецкая камера смерти, когда вы подошли сюда?

Нет, не знал я этого. Недосуг было отвлекаться. Шли непрерывно бои — немцы не хотели сдавать Дембицу по известным им причинам.

Мы поднялись по сосняку в горку и посреди залитой цветом земляники поляны увидели сооружение, напоминающее общественный туалет с квадратным отверстием в потолке. Оказывается, под Дембицей был секретный подземный авиазавод, на нем работали узники концлагерей. Чтобы никому ничего не могли они рассказать, фашисты деловито и плотно забивали это сооружение невольниками, уже не способными к труду, затыкали дыру сверху, запирали плотно двери и пускали вовнутрь газ.

Свистела мелкая птица над земляничной поляной, шевелило ветерком бумажку на каменном полу. Кто-то здесь презрительно оправился и бросил бумажку на пол. На стенах пестрели разноязычные надписи, проклинающие фашизм. «Это не должно повториться!» — гласила одна из них.

Боже мой, как все просто, невинно и как страшна эта простота! И как мало значат в наше время слова, даже написанные кровью смертников. Уж кто-кто, а фашисты знали это. Они любили поораторствовать, потрещать, посыпать словами свои дорожки, словно кирпичной крошкой, для красоты и удобства. Целую нацию заговорили, заморочили ей голову, потом, побитые, попрятались, переоделись в цивильный мундир, примолкли. А сооружение окаменелым стоном стоит среди весенней поляны, точно угрюмый, нелепый памятник еще одному творению человека, не делающему чести его разуму, и молча кричат с его стен каракули букв, взывающие к милосердию.

Сколько же тратилось и тратится человеческого разума на то, чтобы убить в человеке человеческое?! Одно только изобретение пороха нанесло такой удар челове-

честву и нашей земле, что не счесть зла, им принесенного. А ныне? Что эта будка сортирного типа и какой-то удушливый газ, оставшиеся от прошлой войны? Детская игра! Сейчас такое оружие, такие ухищрения сотворены для истребления человека, что и самого ума, все это измыслившего, не хватает постичь деяние свое. И в то же время звучит Гендель в старой польской усадьбе, стоят на полках Толстой, Пушкин, Достоевский, Гоголь, Мицкевич, Шекспир, Бальзак, а когда изобрели порох, были уже, однако, Данте, Боккаччо, Сервантес, Петрарка, Леонардо да Винчи, Микеланджело? Но всего их человеческого гения, всех человеческих жертв оказалось мало, чтобы образумить род людской, чтоб вознести добро так высоко, что оно недоступно было бы злу.

На окраине Дуклы, за низкой каменной оградой разместилось братское кладбище, разделенное на две половины, и по одну его сторону стояли низенькие каменные кресты, в подножии уже потемнелые, тронутые зеленой плесенью, а по другую — просто холмики, помеченные табличками, обрамленные каймой травы, кое-где пробитой синенькими цветами пролесок и маргариток, отчего-то казавшихся здесь грустными.

Пожилой поляк, стрекочущий машинкой, ровнял траву меж могил и по обочинам кладбища. За ним траву сгребал мальчик годов восьми. Они поздоровались с нами, и, узнав, кто я и зачем здесь, поляк вздохнул и сказал горестно, чисто по-русски:

— Полюбуйтесь. Посмотрите, как из века в век повторяется одно и то же, одно и то же, — он надолго замолк и, снова берясь за ручки косилки, кивнул на мальчика: — Вот, беру внука с собой. Пусть смотрит, пусть думает и не повторяет наших бед и ошибок.

Я стоял за Дуклой, на холме, и не узнавал того места, где меня ранило. Я ж не на прогулке был. Воевал. Когда ранят — по всему телу идет гулкий удар, откроется кровь, сильно-сильно зазвенит в голове и затошнит, и вялость найдет, будто в лампе догорает керосин, и желтенький, едва теплящийся свет заколеблется и замрет над тобой, так, что дышать делается боязно и всего пронзит страхом. И если от удара заорал, то, увидев кровь, — оглох от собственного голоса и звона, ужасся в себе, приник к зем-

ле, боясь погасить этот исходный свет, этот колеблющийся проблеск жизни.

Что я был? Песчинка в огромной буре, а вот, поди ж ты, ощущал что-то, больно было от раны, и память зачем-то звала, неудержительно влекла меня сюда, где даже не капля, а всего лишь капелька в сравнении с морем крови, красная капелька, моя капелька окропила эту землю, на которой росла картошка, в трубочку шло жито и радостно желтело целое поле сурепки, из которой местные крестьяне добывают очень вкусное растительное масло, называя его с любовью «желтым».

Нет, мне не стало легче от того, что я постоял на том неприметном холме, глядя на Дуклинский перевал, объятый темной тайгой, перевал, который мы так и не перешли. Но мне стало спокойней от вида сельских полей, от этих меркло синеющих гор и лесов, от мирно дымящихся труб над крестьянскими избами, от равномерного, полусонного, одинокого колокольного звона, доносившегося из городка, от пеня жаворонка, взмывшего в небо из хлебов, от этого столь привычного, до боли в сердце любимого мира.

Я много увидел и передумал в ту поездку по Польше, но отчетливей всего сохранились в памяти девочка, идущая с бабушкой; усталая узкая спина крестьянки, половшей вручную хлеб; пожилой поляк с внуком, обихаживающий братское кладбище; и музыка Генделя, звучавшая в усадьбе, где не видно уже никаких следов войны и все затянута цветущей зеленью.

Ради этого стоило воевать и пролить кровь. Ради этого стоит жить и работать. Ибо жива наша память и пока еще не покинула нас вера в человеческий разум.

ЕЩЕ ОДНО ПИСЬМО ИЗ ПОЛЬШИ

Вместе с войсками I-го Украинского фронта наша артиллерийская бригада перешла Государственную границу в районе Перемышля, далее Бжозув, Ярослав — первые зарубежные города, по нашему — районного масштаба. Много похожего на нашу Украину и украинцев в приграничье.

Но вот роскошное поместье со всякого рода природными, скульптурными и архитектурными чудесами. Но рассматривать эти чудеса, узнавать, чье поместье — некогда, идут бои, надо работать. Запомнилось лишь множество мраморных скульптур по аллеям, одна из которых была повреждена прямым попаданием мины или снаряда, и два человека — поляк и красноармеец — пытались починить ту скульптуру над прудом, в котором кверху брюхом плавали оглушенные декоративные рыбки.

Затем был город Жешув — это уже город солидный, центр воеводства, но идут бои, город во многих местах горит, идет работа, глазеть некогда.

Вскоре, я помню и никогда не забуду эту дату — 17 сентября 1944 года, меня тяжело ранило в предгорьях Карпат, и выводил меня, раненого, из полуокружения мой фронтной друг Вячеслав Шадринов, умерший год назад в городе Темиртау. Из моих фронтных друзей Слава был самым титулованным — он прошел путь от сцепщика вагонов до заместителя директора Карагандинского металлургического комбината по транспорту, отключившись лишь на два созыва в Железнодорожный райком города

Караганды на должность первого секретаря. Ему «светил» и третий раз, и в перспективе высокий кабинет в обкоме, но, считая партийную работу бесполезной и даже вредной, мы, его фронтовые друзья, отговорили его от этой затеи, и он, по настоянию министра путей сообщения, поехал налаживать транспорт в Нижне-Тагильский металлургический комбинат. Но на преодоление бардака и налаживание работы на двух промышленных гигантах даже его неистовых сил не хватило. Надсадился. Умер.

Но еще до того, как не стало моего замечательного друга, побывал я в Польше, в тех местах, где довелось воевать, и в том предгорье, где волок меня с горы вниз мой друг, я успел ему об этом не только рассказать, но и написать.

Тогда-то, во время первой моей поездки в Польшу, я и познакомился со Збышекком Домино, работавшим в ту пору секретарем Союза писателей Жешувского воеводства. Говорливый, подвижный крепыш с приветливым лицом и незамутненным взором честного и доброго человека, он взял меня под свою опеку и сопровождал за город Санок, к месту, где я пролил последний раз кровь на войне и которая тянет к себе так же, как и место рождения человека, как родительские могилы и вообще — все самое родное и святое на земле.

В пути Збышек рассказал мне простую и в то же время редкостную, почти диковинную историю своей семьи. Но перед этим он свозил меня в ту роскошную усадьбу, на пути указав памятник Ивану Туркеничу — молодого гвардейцу, здесь погибшему в бою, и остатки своей родной деревеньки, ютящейся на бедных суглинках, среди бедных садочков и огородов. Затем — усадьба пана Потоцкого — именно ее мы и видели в войну — древнего, богатейшего, шляхетского рода, известного на всю Европу и Россию. Усадьба была восстановлена, и только теперь я подивился ее роскоши и красоте. В панских покоях, в дивном музыкальном зале, украшенном портретами великих композиторов, шел концерт — играли Шопена, Генделя, Моцарта, Баха, Бетховена — ежегодно сюда съезжаются со всего мира выдающиеся музыканты, чтобы блеснуть своим искусством. И беломраморная богиня над прудом, целомудренно прикрыв ладошкой низ живота, гляделась в пруд с цветущими лилиями, и рыбки красивыми тенями скользили меж ними.

В 1959 году, после «освобождения» польских окраин

от капиталистического и прочего гнета, наше мудрое правительство и Великий учитель — сделали широкий жест — разрешили бедным польским крестьянам занять тучные украинские земли «по ту сторону» границы, с которых были согнаны и куда-то увезены (а куда — Збышек скоро узнает) неблагонадежные украинские крестьяне. Отец Збышека Домино долго думал, но быстро собрался, потому как никакого обременительного багажа, кроме детей, не имел, да и многие польские семьи ехали обживать украинские земли налегке, забрав с собою лишь коров и коней, у кого они были.

Им дали отсеяться, вырастить урожай, но убирать его им не довелось — поляки-переселенцы не уверены, что урожай тот тучный, надсадной работой доставшийся, кто-либо вообще убирал. Уже имеющие богатый опыт переселений, изгнаний, изводов и истребления крестьян советские молодцы сбросали ссыльных в вагоны и повезли вперед, на восток. «Ах, какая же большая страна — Россия! Как длинны ее дороги и необъятны земли!..» — и годы, и годы спустя, качая головой, восклицал Збышек. Они ехали долго, голодая, бедствуя, привыкая к мысли, что не все доедут до места и совсем уж, совсем не все узнают счастье возвращения на свою истерзанную и обманутую Родину.

Их привезли в Забайкалье, разбросали по глухим селам, вид которых, однако, был и приветлив, и не беден, а земли вокруг — ну точь-в-точь как на Украине, хоть на хлеб ту землю мажь вместо масла.

Семью Збышека свалили во дворе, где хлопотала по хозяйству и на кого-то ругалась еще довольно молодая, крепкая, белозубая хозяйка.

«Чё сидите-то посереде двора, на самом пекле?» — закричала хозяйка и не пригласила, а прямо-таки скидала гостей в зимовье с закрытыми наглухо ставнями. В зимовье было чисто и прохладно. На большом деревянном столе в ряд на ребре стояли недавно вынутые из печи хлебные караваи; по окнам и на полках — ряды кринок и горшков с молоком, со сметаной.

«Дети! Ничего не трогать! Пусть мы умрем с голоду — ни-че-го не тро-гать! — сказал отец Домино. — Вы же видели, какие тут люди? Хозяйка — зверь!» — И дети тихо плакали. Мать, обняв их, отвернулась, чтобы не видеть ни хлеб, ни кринки.

«Хозяйка — зверь» пришла, встала в проеме двери и, подняв фартук к глазам, показывала на хлеб, на крин-

ки — и бедные, запутанные люди понимали это так: «Попробуйте, троньте, я с вас шкуру сдеру!..» Но хозяйка оказалась ангелом небесным по сравнению с хозяином. — Он налетел на самую хозяйку коршуном, оттолкнул ее и слышалось только сплошное: «дура» и «мать», «дура» и «мать». Затем он налетел на старшего Домино, затряс его за грудки: «Ты-то чё сидишь? Дети голодны!.. — и снова: — Мать! Мать! Мать!..»

«Пан не розуме по-росыйску», — засмушалась и заступилась за отца мать.

«А-а, не розуме. Да-а, он ить не русскай!..» — И тут пан-хозяин стукнул себя кулаком по голове, схватил со стола каравай, переломил его через колено, разорвал на куски и стал совать их детям — теплый, ароматный хлеб. А хозяйка теперь уж громче громкого ругала пана-хозяина и себя заодно и плача наливала молоко в кружки...

Как они потом смеялись, вспоминая эту встречу на выселении, на сибирской-то, на «каторжной земле».

Здесь и выросли дети Домино, здесь и возмужали. Збышек поначалу попал подпаском к колхозному пастуху Матвею, и конечно же, старался изо всех сил. А Матвей был большой плут и выпивоха. Быстро перевоспитал кадр, поступивший под его начало с чужих земель, научил его матерно ругать скотину и на этом посчитал воспитательное дело законченным, передоверив всю работу малому полячонку, ложился спать в тенок, осушив перед этим чекушку водки.

Там, в Забайкалье, осталась навечно мать Домино, а все остальные вернулись на Родину, в Польшу, сохранив чувство признательности и любви в сердце к Сибири и к сибирским людям.

Збышек подарил мне свои книги, одна из них называется «Кедровые орехи». Я, еще учась в Москве, передал ее для перевода, и с тех пор ни книги, ни переводчика. Такое, к сожалению, у нас тоже бывает, и чем дальше, тем чаще. Иногда наши пути со Збышеком перекрещивались. Одно время он работал советником при польском Министерстве культуры и недолго работал в Москве, в польском посольстве, тоже по культуре чего-то возглавлял. В те дни, когда в Красноярске был Горбачев, в Киеве встречались ветераны 17-й Киевско-Житомирской армидивизии. Я почти наверняка знал, что встреча ветеранов — последняя встреча — состарились мы, ветераны войны, и потому предпочел встречу с ветеранами родной дивизии

пестрой свите президента, и однажды в гостинице встретился со Збышеком, прямо нос к носу! Мы братски обнялись, ровно бы чувствуя грядущие события в судьбах наших стран, долго сидели и говорили. Збышек ездил в Забайкалье, искал могилу матери. Не нашел, но не терял надежды найти, а пока вез лишь горсть земли с забайкальского сельского кладбища.

Я изредка получаю письма от Збышека Домино из Жешува. Вот на днях мною полученное письмо. Стоит отправка письма четыре тысячи злотых, у нас пока еще 65 рублей, но зато письма до Москвы идут месяцами, а отправленное весной деловое письмо из Овсянки в Калугу пришло аж в декабре. Совсем изварльжился трудящийся наш народ, совсем рассыпается телега, оставленная нам в наследство Страной Советов, ничего никуда уж не везет, зато много партий, постановлений об улучшении жизни. Коммунисты чуть отодвинулись в сторону, довольно пожимают руки (фашисты зубами клацают). Пусть не очень весело, зато разнообразно живем — об этом я и напишу другу Збышеку в Польшу, и знаю, он погорюет о нас, о далекой Сибири так же, как горюет и о своей Родине, до боли любимой Польше.

ПЕРЕСЕКАЯ РУБЕЖ

*Ответы журналу «Вопросы литературы»
(беседу вел критик А. Михайлов)*

— Виктор Петрович! Недавно вы, как и многие уже писатели фронтового поколения, отметили свой полувековой юбилей. На ваши плечи лег груз пятидесятилетия — рубеж, важный в жизни каждого человека. Изменилось ли что-нибудь в вашем творческом самочувствии в связи с этим?

— Радостного мало. Годы, потраченное на войне здоровье, все раны, все царапины, телесные и душевные, делаются слышнее, дают о себе знать, да и жизнь очень уж стремительная, оглядеться-то некогда было, самое время наступило сосредоточиться, подумать. Один из друзей, поздравивших меня с пятидесятилетием и уже сам перешагнувший этот рубеж, сказал, что к новому положению можно привыкнуть, жить можно и после пятидесяти... Какого-то особого водораздела я и не чувствую, не ощущаю — пока, по крайней мере. Живу как жил, только чаще стало тянуть побыть одному, да еще острее и как-то тревожно жду весну.

— Но если сравнить с началом, со временем вхождения в литературу, нравственное и творческое самочувствие, по-видимому, было несколько иным?

— Мне ведь было двадцать восемь лет, когда я начал писать. Из этих лет старость и смерть кажутся такими далекими. Употребив слово «смерть», я ни себя и никого другого не хочу потрясти. Фронтовики-окопники часто падают за полувековым рубежом, и, если мне выпадет пожить подольше этого срока — нисколько не против. А

придет она, ну что ж — фронт приучил спокойно к ней относиться, ведь, «коль придется в землю лечь, так это только раз...». А так жизнь идет, не стоит. Какие-то нравственные и духовные изменения происходили, происходят и будут происходить, многие из которых мне объяснить разом трудно, вот и обдумываешь, мучаешься, чтобы прежде всего самого себя познать — в этом и есть писательская жизнь и опыт в работе.

— Нет ли ощущения перегруженности опытом? Что я имею в виду? Фолкнер, размышляя о текучести времени, заметил, что человек — сумма своего прошлого. У вас сумма весьма внушительная. Она включает горький опыт деревенского сироты, детдомовца и фээззушника, солдата и рабочего, газетчика и писателя. Одна война с ее смертями и кровью может заполнить сознание на всю жизнь да так и не дать выговориться до конца... Не появилось ли желание в связи с пятидесятилетием подвести некоторые предварительные итоги?

— Подведение итогов у меня было несколько раньше. Жизнь писателя, так же, видимо, как и жизнь человека другой профессии, состоит из нескольких этапов, и всякий раз берешь какой-то новый рубеж, преодолеваешь перевал. Устаешь, конечно, но начинаешь работать, набираешься мужества снова начать, и откуда-то берутся силы. Что же касается жизненного материала, то, наверное, никому и никогда не удавалось его «реализовать» полностью — жизнь-то идет, пополняется этот самый багаж, обновляет ощущения, чувства. В юности они одни, в молодости другие, а к старости добираешься несколько, быть может, опорожненным заплечный багаж, но зато с более глубокими, часто, может быть, и более серьезными чувствами в душе.

Что же касается писательства, то тут и просто, и сложно. Начинал-то я примитивно. Первый этап моей писательской биографии не выходил за рамки ученичества. Владимир Тендряков или Юрий Казаков сразу начинали блистательно. Но у каждого своя планида не только в жизни. Я думаю, что такое мое начало объясняется недостатком внутренней культуры...

— А может быть, все-таки прежде всего недостатком профессиональной подготовки? Ведь внутренняя культура — понятие более сложное и тонкое, включающее в себя и талант. А вот профессиональные навыки... Вы назвали имена Тендрякова и Казакова, писателей, которые

уже первыми произведениями заставили о себе заговорить серьезно. Но оба они получили профессиональную подготовку в Литературном институте имени А. М. Горького. Разве это не имеет значения?

— Еще какое! Недостаток образования и внутренней культуры ведет к чувству неполноценности, а значит, и самоуничижения. Сколько сил потерял я на преодоление самого себя, но так и не изжил до конца этого: «С суконным рылом в калашный ряд!» Я знаю людей, и себя включаю в их число, которые стесняются называть себя писателями. Впрочем, у нас так много желающих называть себя таковыми, что эти застенчивые люди, хотя они все и писатели заметные, как-то затушевываются массой.

Хотелось всю жизнь, жадно хотелось учиться, много читать и знать. Когда мне первый раз в жизни довелось переступить порог университета, а ходил я тогда уже в писателях, сердце мое сжалось от боли и неистребимой тоски по утраченным возможностям быть студентом. Я с завистью смотрел на молодых парней и девушек, которые так вот запросто ходили по коридорам, хохотали, покуривали на лестнице — словом, вели себя буднично. Для меня университет был и остался храмом, где и кашлянуть-то боязно, где все овеяно благоговением, и тайны там скрываются... Не смейтесь, не смейтесь!

Представьте себе человека, который закончил ФЗУ, да еще в военные годы, работал на железной дороге составителем поездов — опасная, тяжелая работа, — потом воевал, был тяжело ранен. Судьба распорядилась жестоко — потерял и эту профессию, попал в город Чусовой, на Урал. Работы случайные, грязные, никакой уверенности в завтрашнем дне и в устойчивом куске хлеба. Хотелось писать, с детства хотелось, а попробовал уже накануне тридцати. Взрослый человек! Все видит, все понимает, и в первую голову то, что написанное им — еще не литература. Неуверенность в себе преследует его, как парнишку. Ведь это то же самое, что учиться ходить. А если б не война, «ходить» начал бы рано — тянуло к сочинительству с детства.

— Многие писатели приходят в литературу из газеты. В вашем опыте тоже есть журналистская работа. Имела ли она значение для творческого самоопределения Виктора Астафьева?

— Конечно, журналистский опыт дает многое. Я в газете начал одновременно с литературными пробами. На-

писал свой первый рассказ «Гражданский человек». Потом я его переписал, и в книгу он вошел под названием «Сибиряк». А сначала рассказ печатался в городской двухполосной газете. Однако с рассказом этим получился казус. Печатался он в газете «Чусовской рабочий», с продолжением. Но после одного отрывка печатание вдруг прекратили. Кого-то оскорбила фраза, которую произносит один из персонажей: «Мало нашего брата осталось в колхозе, вот и стали мы все для баб хороши». Мне приписали оскорбление советской женщины, которую называли так некультурно — бабой. Советский солдат, мол, не может так грубо говорить. Однако читатели присылали много писем, звонили в редакцию, требовали продолжения рассказа, и его все-таки напечатали до конца, а меня вдруг позвали работать в газету. Так с первым рассказом я приобрел скандальную славу в своем городе — буря в стакане воды! Но это был первый и последний скандал, который сопутствовал моей литературной работе.

— Судя по всему, скандал вас не напугал?

— Нет. Но многие провинциальные влияния меня не миновали. Редакторы утюжили мои, всюду выпирающие, мослы, стесывали, подравнивали. Так, одна благожелательная и неглупая вроде бы редакторша подсобила мне оживить героя одного рассказа — она терпеть не могла каких-либо смертей и особенно когда произведение заканчивалось трагически. Многих «умельцев» того времени смущал корявый язык моих произведений, меня все натаскивали, натаскивали, толкуя, что язык героя и автора не должен смешиваться, что его надо индивидуализировать, давать «штрихи» портретные, выделять из массы каждого героя если не характером, то хотя бы конкретными, ему лишь присущими чертами...

До того мне забили голову этими прописными истинами, которые годны скорее при пилении дров, что начал я писать черт-те что, гвоздил бойко какие-то конфликтные рассказы на языке районной газеты, которым овладел довольно быстро, и, если бы между всей лапшой не написал рассказ «Солдат и мать», не знаю, что было бы. Мне казалось — это единственная у меня вещь, которая чего-то стоит, и я послал рассказ в «Новый мир» на имя Сергея Петровича Антонова, который в то время вместе с Юрием Нагибиным были главными авторитетами среди новеллистов, и не только для меня. Не помню, что я писал Сергею Петровичу, но про себя решил: если и эта вещь

неудачна, то, стало быть, надо кончать «пробовать». Сплю по три-четыре часа в сутки, костями уже гремлю, голова контуженая разламывается, значит, надо целиком переключаться на текущее дело, жить газетою и в газете — лучше быть путным, и пусть и районным, журналистом, чем жалким обивателем литературных порогов. Человек я в крайних решениях твердый и потому стремлюсь такие решения принимать как можно реже.

Сергей Петрович очень быстро откликнулся — я получил письмо на бланке журнала «Новый мир»! Оно у меня хранится до сих пор. Сергей Петрович, может, по доброте душевной, может, из сочувствия иль удивления, что в каком-то неведомом уральском городишке живет и тоже чего-то пробует нацарапать на бумаге какой-то мужик или парень, назвал меня сложившимся рассказчиком, сообщил, что подправит мой рассказ и предложит журналу. Скоро, однако, правленный рассказ вернули ко мне с деликатными сожалениями и пожеланиями предложить его другому журналу, и непременно «солидному». Я в эту пору уже взахлеб работал, ободренный поддержкой известного прозаика, дал «вылежаться» рассказу и лишь в следующем году, поработав еще, послал его в «Знамя» на имя Юрия Нагибина, рассказ которого «Деляги» я прочел в госпитале и был потрясен тем, что рассказ этот «про меня» и «про всех нас», бывших вояк, вдруг оказавшихся после войны на роस्तаях многих дорог, подрастерявших на пути к самостоятельной жизни. С тех пор я читал у Нагибина все, что он печатал, и по сию пору стараюсь это делать, и, слава Богу, ни моя привязанность к его произведениям, ни моя симпатия к писателю не исчезли, а даже еще больше укрепились с годами. Меня тоже иногда называют учеником и преемником какого-нибудь классика, чаще всего упоминают Горького. Нет, сам я никогда не осмеливался и не осмелюсь потревожить прах великих писателей, учился и учусь я потихоньку у живого писателя, которого не так боязно, у Юрия Марковича Нагибина, и давно хотел в этом признаться публично, даже статью начинал писать, но сразу же захлебнулся неуклюжими восторгам и статью не написал..

Юрий Маркович похвалил мой рассказ, предложил его в «Знамя», и там его через год, после суровой и ошеломительной редактур, напечатали. Это была моя первая публикация в «толстом» столичном журнале. Юрию Марковичу я имел лично возможность сказать спасибо, а Сер-

гея Петровича я знаю мало, отдаленно, и хотел бы ему, пусть припоздало, поклониться за поддержку и сказать, что долг свой я оплачиваю каждый день — на прочтение рукописей молодых авторов, особенно из глухих провинциальных мест, на ответы и поддержку их трату большую часть своего времени...

— Критика, в том числе и покойный Александр Николаевич Макаров, отмечала, что у вас не было прямого ученичества, чьей-то школы, как бывает у многих молодых писателей в начале творческого пути. Чем вы объясняете это? Так складывается характер? Творческая индивидуальность?

— Я же открыл «секрет», назвав Нагибина! А школа? Наша блистательная русская литература — такая школа, что счастье быть в ней достойным учеником. Учеником! Но не подражателем. Духовному величию, гражданской порядочности и стойкости учат в этой «школе», но никак не эпигонству и не лизоблюдству.

— Однако вернемся все же, Виктор Петрович, к насущному вопросу наших дней — к разговору о профессиональной подготовке писателя.

— Мой пример — лишнее подтверждение тому, что образование, систематическая учеба, профессиональная подготовка необходимы писателю как воздух. То, что дают ему школа, вуз, профессиональная среда в сравнительно короткое время, самостоятельно приобретает за многие и многие годы. Моими единственными университетами, помимо, конечно, жизни, были Высшие литературные курсы. На курсах за два года я постиг то, на что в Чусовом мне понадобились бы десятки лет. Я был как вспаханное поле: бросай зерна, и они прорастут. А где? Кто бросит? И главное, что бросит? Учиться было совершенно необходимо, это была уже внутренняя потребность, пусть несколько запоздавшая. Но это уже не моя вина, а беда. Я уже говорил, как сложилась жизнь. Война внесла поправки в миллионы человеческих судеб, а обещания, или, точнее, наши ожидания, что нам после войны помогут устроиться и доучиться, не оправдались. Мы рубились в послевоенной жизни, как бойцы на фронте, только, увы, уже в одиночку. И много фронтовиков пало в той непредвиденной и изнурительной сече.

— Как вы относитесь к своим ранним вещам?

— Как? С почтением. Это ж мой труд, пусть и неуме-

дый. Я как-то в молодости делал табуретку и вбил в нее фунта три гвоздей. После появилась у меня и магазинная мебель, однако самодельную табуретку я не выбрасывал, хотя смотрел на нее с улыбкой. Вообще-то, у прозаиков, близких мне по судьбе, у таких, как Евгений Носов, например, написано немного. Все написанное Носовым можно уместить в однотомник, но уж зато продукция «фирменная» — ни с кем не спутаешь! У меня характер побойчее, и написано побольше, и «продукция» более пестрая. Когда в областной библиотеке, вологодской, к пятидесятилетию устроили выставку моих книг и литературы обо мне, то я искренне удивился: не многовато ли? Какую-то часть написанного мною не стоило бы выставлять напоказ. Но что написано пером, как известно, не вырубишь и топором! В литературном творчестве есть детство, зрелость и старость. В детстве издержки неизбежны. Да и в зрелости никто от них не застрахован. Я лично не верю тем литераторам, которые высокомерно заявляют, что они ни запятой не изменят в написанном ими и редактировать у них нечего. Стоящий литератор всегда найдет что переделать, ибо нет предела совершенству. Другое дело, что надо ему когда-то и остановиться, чтобы не «зализать» и не замучить произведение. В нем должно быть вольное, непринужденное дыхание, которое, кстати, дается только огромным, напряженным трудом.

— Считаете ли вы, что в каждом прозаике, писателе, поэте, драматурге должен присутствовать еще и критик или, может быть, редактор?

— Мне кажется, воспитание вкуса для писателя — процесс непрекращающийся. А воспитание вкуса — это и есть воспитание в себе критика, редактора. Безупречного вкуса не бывает. Признать чей-то вкус безупречным — значит поставить предел его совершенствованию. А предела, как я сказал выше, нет, ибо каждый писатель — индивидуальность, и, если у нас много развелось «лиц общего выраженья» — это еще ничего не значит. Диалектика развития не позволяет нам абсолютизировать чей-то вкус. Главное — оставаться честным перед собой, в работе над произведением исчерпать свои возможности, достигнуть потолка, которого ты в данный момент можешь достигнуть. А потом поживешь, накопишь знаний, мыслей, материала — глядишь, потолок-то и приподнялся.

— В ваших книгах находит отражение и жизнь дерев-

ни, и жизнь человека в городе, на производстве, и, наконец, война. Какой из этих массивов жизни имел наибольшее влияние на определенных этапах творчества?

— Один мой знакомый твердит: жизнь человека делится на два периода — до получения квартиры и после получения таковой. Как видите, взгляд весьма прагматичный. Жизнь моего поколения разделяется так: до войны и после войны. И наш коллективный долг — показать оба эти массива жизни. Показать, что было до войны, необходимо для того, чтобы читатель понял и почувствовал, какое это великое бедствие — война. Это Уральский хребет нашей жизни.

— Уральский хребет в смысле трудности его преодоления?

— Да, разумеется. А вообще-то, мне хочется высказать свою точку зрения на деление литературы на «рабочую» и «деревенскую». По-моему, есть это не что иное, как примитивность мысли нашей, современной, критической. Ну куда, скажите на милость, деваться Толстому, Бунину, Чехову, Достоевскому, даже и Горькому? Они ж просто «нетипичными» писателями получают! Призывали и призывают учиться у классиков, а чему у них научишься, когда они не подходят ни под «рабочий класс», ни под «деревенщиков»? Подобное толкование литературы, низведение ее до «цехового» деления выгодно посредственностям, которые создают произведения по схемам и выверенным рецептам, не понимая, что сознанием писателя движет часто интуиция и он сам себе не может объяснить, как и отчего получилась у него та или иная ситуация в книге, тот или иной герой. Посредственности же все умеют объяснить и делают это охотно и часто. Не верите мне? Загляните в подшивки газет. Кстати, зачинателем дискуссии «О рабочем классе» в «Литературной газете» явился неудавшийся писатель, который пробовал себя в беллетристике, но не преуспел там. И вот ищет «ниву», чтобы посеять «свое семя», а семя-то пустое, бесплодное, и вся эта говорильня выеденного яйца не стоит. И вообще дискуссии наши часто напоминают мне бабушкину поговорку: «Расходилось сине море в рукомойнике».

Что касается деревенского опыта, моего личного, то он, пожалуй, наиболее эмоционально, наиболее лично воплотился в повести «Последний поклон». Это и понятно: детские впечатления, первое, самое непосредственное восприятие окружающего мира остается на всю жизнь.

Оно связано с природой, с пониманием красоты ее, с нынешними проблемами защиты естественной красоты природы, ее богатств от варварских посягательств и расточительного, неэкономного использования их. Но «Последний поклон» — вещь ни деревенская, ни городская, она всякая, как, впрочем, и «Перевал». Там у меня сплошь рабочий класс, и я потихоньку горжусь тем, что это никем нарочно не отмечается и не замечается — первый признак того, что в повести нет спекуляции на «актуальной» теме, напоминающей плохо забитый гвоздь, о который, хочешь не хочешь, если не умом, так хоть штанами зацепишься.

— Хотелось бы подробнее поговорить о тревожащем всех нас — природе, я знаю, как вы относитесь к этому...

— И тем не менее наступаете на «больную мозоль»! Говорили бы «за литературу», ведь знаете, как трудно и больно говорить о природе. Подробно и, надеюсь, убедительней я поразмышляю о ней в новой повести «Царь-рыба». А потом скажу: моя последняя, нынешнего года поездка в родные сибирские места угнетающе подействовала на меня. По обоим берегам Енисея горелые леса на сотни верст, даже напротив города Дивногорска в скалах и на скалах рыжо. «Глянешь ночью, будто раскаленная магма катится по ущельям — ужас!» — рассказывал мне местный поэт Владилен Белкин. Это следы так называемого «воскресного отдыха» и туристической стихии.

Работают патрули, пионерские, комсомольские, поднимаются на ноги пожарники, егеря, силы общественности — ничего не помогает, полыхают леса. По берегу Енисея больше стекла, банок, склянок и металлических пробок, чем камней; воду мутную, взъерошенную непрерывно колотит волной от моторов. Я для интереса пересчитал на реке, только в створе родной деревни, количество одновременно идущего транспорта и насчитал девятнадцать! Большею частью это были моторные лодки с пьяными пассажирами, остальное покрупнее: «ракеты», самоходки, катера. С пятницы до вечерней воскресной зари по берегам не только сибирских рек, по горам, по долам, по всем оробелым лесам и тайге царит разгул. Люди с так называемого отдыха возвращаются невыспавшиеся, разбитые, с дурными от похмелья и перегрева головами, часто с «фонарями» на лице. Немало в эти дни тонет народу на воде, срывается со скал, увечится в драках и походах.

Надо что-то делать! Срочно! Спасительная теория, в том числе и моя, что «перебесятся» люди, за голову схватятся да и начнут налаживать природу, значит, и самих себя, уже не успокаивает. Боюсь, что прав Юрий Бондарев, который в интервью польскому журналу «Керунки» сказал: «Потом» не бывает. В настоящем рождается будущее». Пора, на мой взгляд, вводить в школах уроки помощи и восстановления природы. Все-все граждане нашей страны должны хоть один день в месяц отдать природе. Только большими силами, большими средствами мы можем что-то сделать. Пластыри и заплатки уже не закрывают ран на теле и лице природы.

Тяжело раненная природа начинает обороняться: энцефалитным клещом, эпидемиями гриппа, болезнями желудка, печени, почек — от грязной воды, эпистархозом — у рыб и даже у боровой дичи; некоторые виды кустарников, ягодников и деревьев отказываются рожать. Так, черемуха на Урале, за которую здесь стали ходить только с топорами и пилами-ножовками, рождает ягоды в пять-шесть лет раз — старые-то черемухи выпиливаются. То же самое происходит с кедрочками, которые беспощадно уничтожаются бензопилами, топорами, ранятся колотами, смахиваются беспечным и преступным огнем.

Пора платить долг природе, и по крупному счету. Законодательства по этому поводу тоже требуют усовершенствования.

— Есть ведь законы, карающие за варварское отношение к природе.

— Значит, надо их почаще и потолковей применять на практике. На Урале был такой случай: спалил один ротозей гриву леса на косогоре. Его поймали и судили. По закону полагалось дать ему штраф. Судья поступил иначе. Он вынес определение, или как это называется на юридическом языке, чтобы подсудимый засадил выжженный косогор. Три года таскал злоумышленник в мешках саженьцы и следил за ними до тех пор, пока на косогоре не появилась молодая рощица. Он сам говорил потом, любуясь рукотворным лесом: «Вот если бы всех паразитов эдак — тогда и леса были бы у нас целы, воды и воздух чисты...»

— А как же быть с крестьянским отношением к природе? Оно ж потребительское!

— Да, крестьянское отношение к природе потребительское. В детстве наше общение с природой начиналось

не с идиллий, не с любования красотой, а с еды. Многие цветы мы ели: медуницу, первоцвет-баранчик, кандык, купыри-пучки, клевер, а самыми первыми на весенних проталинах выкапывали деревянными лопатками луковки саранок и всходы пестиков — полевых хвощей; потом появлялись листики щавеля, петушки, кисленькая хвоя лиственниц. Сосновый сок, например, сочили и с хлебом потребляли — сахару ведь не было почти во время моего детства. Случалось, самовары ставили на березовом соку. Натирали обутки синими цветками, чтобы они блестели, как от крема. Оказалось, это цветки дикого ириса. Уже в раннем детстве мы в лесу не пропали бы с голоду. Это сейчас я люблю красоту природы, а тогда думал о том, как бы пропитать себя.

Но такое отношение не мешало навечно сделаться трепетно влюбленным в свою землю человеком. И потом, крестьяне никогда не рубили сук, на котором сидели. Я и посейчас помню, как сломал вершину черемухи и как меня этой же вершинкой пороли.

— То есть опытом, эмпирическим путем?

— В основном. Крестьянским детям чужда какая бы то ни была созерцательность в отношении к природе. В активном общении с нею вырабатывается характер, умение противостоять природе, ее стихийным силам, извлекать из нее пользу и беречь ее, уважать, прежде всего как кормилицу-мать. Чем суровее природа и общение с ней, тем больше стойкости, твердости в характере человека вырабатывается. Не поэтому ли сибиряки, например, оказались столь хорошо физически подготовленными к войне. Ведь война — это не только стрельба и танковые атаки, это и огромное физическое напряжение, простуды, болезни, недоедания, цинга и прочее, и прочее. Так вот, я замечал, что те люди, которые в довоенной жизни тесно общались с природой, и на войне умудрялись извлечь из этого пользу: умели лучше приспособляться к местности, сориентироваться в лесу, найти и сварить еду, наладить жилье, ночлег, развести костер, окоп выкопать. После войны, когда мы вернулись домой, не тянуло нас к природе, наоборот, после окопной грязи, неуют, холода и голода тянуло к дому, к теплу, к печке. Многие молодые сразу же женились. А с пятидесятых годов начались вылазки на природу, всевозможные пикники. Бывало так, что всем цехом или даже заводом выезжали. Затем появился современный турист. К сожалению, туристические

наезды в леса иногда носят характер разбоя. До последнего времени я был идеалистом — верил, с этим удастся покончить. Знаю молодых людей, которые не только жгут и разоряют, но и сажают деревья. Знаю студентов, которые в летнее время, сидя на воде и хлебе, с огромным энтузиазмом занимались реставрационными работами в Кирилловском монастыре. Неразумные люди, думалось мне, еще наделают немало бед, еще погробят природу, но в конце концов поумнеют. Практически и нравственно поумнеют. Раньше многие грабили природу, добывая себе пищу, и то с умом грабили. Теперь многие праздно грабят, с жиру бесятся. Идеализму моему и уверенности приходит, кажется, конец, и моему ли только?!

— Активное общение с природой является одной из сторон борьбы за существование, но оно не исключает и эстетического отношения к ней, любования ее красотами, которое приходит позднее. Тогда уже для взрослого, умудренного жизнью человека звучит в лесу «зорькина песня», хотя услышана она была ранним утром на Енисее, когда этот человек был еще совсем маленьким и ходил с бабушкой Катериной Петровной по землянику... Я имею в виду двойной взгляд на природу, взгляд зрелого уже человека, воспроизводящий детское восприятие. В нем соединяются зрелое понимание красоты и восхищение ею с непосредственностью восприятия, которая присуща детям. Видимо, нужно объединить эти две стороны отношения к природе?

— В зрелом возрасте довольно отчетливо вспоминаются отдельные состояния природы, на которые как будто не обращал внимания прежде, но которые тем не менее отложились где-то в подсознании. Когда пишу, я предпочитаю иметь перед собой зрительный образ человека, лес, озеро, поле, мне надо их видеть, ясно представлять. Настраиваешься на то состояние природы, которое вызвал в своей памяти. Меня с детства окружала прекрасная сибирская природа. Я знаю, какого цвета таймень, какими бывают сумерки в то или иное время года — голубыми или синими. Я рос впечатлительным мальчишкой. Может быть, не случись беды, не осиротей, и не был бы таким восприимчивым ко всему. И особенно приглядывался к людям — их отношение ко мне, сироте, открывало их душу, выявляло характер.

— Какою же она открывалась?

— Деревня наша внешне грубовата, тут сверху бег-

лым взглядом ничего хорошего не увидишь. Ее надо увидеть изнутри, добраться до чистых, грунтовых вод.

— «Последний поклон» — свидетельство того?

— Мне, родившемуся и выросшему в деревне, сделать это было не то чтобы трудно, но радостно, что ли. Уж больно добрый и светлый мир, то есть материал, накопился в душе и в памяти, просился наружу. Все-таки многое, вспоминаю я сейчас, предрасполагало к выдумке, иначе говоря, к творчеству. Книг и газет не было, кино немое только начали привозить, и мы крутили «динамку» за то, чтобы нам его разрешили посмотреть. Процветало словотворчество, байки, сказки — словом, выдумка. Залезешь на печку или на полати и слушаешь, как внизу рассказывают охотничьи истории, где правды долька, а выдумки — короб. И ты тоже представляешь себя с ружьем против медведя, бесстрашным и сильным, так и заснешь, бывало, с чувством только что совершенного храброго действия. Может быть, это и есть начало творчества — зачаточное, стихийное?.. Во всяком случае, эти деревенские мужицкие байки способствовали развитию воображения, фантазии. Недаром потом в детском доме и в школе меня «заприметили», заставляли сочинять стишки к случаю, нарисовать картинку в стенгазету — словом, «творческие» поручения давали. Увы, сейчас всякую беседу и даже песни, в том числе и застольные, напрочь отменил и заменил телевизор. И в нашей деревне тоже.

— Может быть, в связи с этим вы коснулись бы проблемы факта и вымысла, их соотношения в творчестве художника? Сейчас об этом много спорят — и у нас, и на Западе высказываются разные точки зрения, иногда исключающие друг друга. Возрос и читательский интерес к документальной литературе. Не потеряло ли престиж такое непереносимое свойство таланта, как воображение художника, его фантазия?

— Самый фантастический и в то же время самый реалистический писатель XIX века — Гоголь. В нем совместились великий реалист и великий выдумщик. Реализм его основан на прекрасном знании жизни, на знании множества явлений и фактов. Взять хотя бы «Старосветских помещиков». На первый, беглый, взгляд персонажи этого произведения только едят и пьют и ничего там особенного не происходит. А ведь это повесть о любви! Там есть такая, еще потрясшая меня в школе, деталь: девушку послали за арбузом, она выбежала и голой пяткой почув-

ствовала за день нагретые плахи крыльца. Таких точных реалистических деталей у Гоголя тьма. И он же написал про невероятный нос, про панночку, которая заморочила голову славному философу Хоме, про чертей, про кума, про великого Тараса и про сумасшедшего Поприщина, и про то, что редкая птица долетит до середины Днепра, а ведь Днепр и воробей может перелететь! В Гоголе совмещена мощная фантазия, находящая выражение в крайней гиперболизации и в других приемах условности, и совершенно строгий реализм. По «Старосветским помещикам» представляешь себе картину жизни тогдашней России. Кстати, все написанное Гоголем уместилось в шесть томов, но место, занятое им в мировой литературе и культуре, громадно. «Плотно» писал Гоголь, емко, остро мыслил. Наша литература слишком многословна и затоваривается документальными произведениями, не имеющими отношения к литературе художественной. Документальным считается то произведение, где точно указаны тонны, имена, факты, даты, наконец, кто с кем поделил краюху хлеба. Я никак не хочу скомпрометировать все произведения такого характера. Наоборот, все это достойно описания, но такого описания, где документальность, точность сочетались бы с художественностью. А художественность предполагает вымысел, типизацию, отбор. Мы затоварились газетной документальностью, выдающей себя за литературу, затоварились до того, что некоторые критики и теоретики поставили под сомнение природное право писателя на вымысел, то есть на мысль, — это утверждает себя бескрылость.

— Вы считаете, что документальная литература делится на два сорта: литература, строго подчиненная факту, документу и не претендующая на художественность, и литература, соединяющая факт и вымысел, документальность, одухотворенная художественностью?

— Есть ведь еще и псевдохудожественная литература. Читаешь иную книгу, автор в ней описывает все в подробностях, вроде бы все похоже, а чувствуешь — выдумывает, умствует, — уж лучше взяться тогда за другое чтение, не оштукатуренное под дурную беллетристику. Повествование, основанное на документах, воспоминаниях, и сама жизнь незаурядного человека куда как интересней. Так, например, строго документальная, сдержанно-научная, без каких-либо «личных» эмоций, но согретая любовью автора, его честностью перед историей и

благоговением, которое, впрочем, нигде не переходит в фамильярность и плебейское приседание, книга Яна Пандовского «Петрарка», недавно опубликованная в «Иностранной литературе», воспринимается взволнованней, чем множество наших книг о личностях «сверхгероических», особенно о несчастных инвалидах, кои не сдаются недугу и пытаются, лежа в постели, работать, быть полезными обществу. Зачастую в «спектакль» по сценарию газетчиков и всевозможных бодрячков-«шефов» втягивается обиженный судьбою человек, начинает он играть кого-то «примерного» и «героически» прятать не только физическую боль, но и трагедию свою, что приводит к «показухе», особенно угнетающей, когда действия разворачиваются у постели человека, обреченного на неподвижность и преждевременную смерть. Люди эти перед собой бывают гораздо мужественней, лучше и, главное, искренними, а значит, и уважающими себя. Я знаю человека-поэта, который более сорока лет лежит в постели и стойко борется с недугом. Отметая все наносное, все, что от лукавого, он просто и мужественно признался однажды: «Если бы мне представилась возможность хоть один день походить по городу своими ногами, один только день — я бы отдал за это всю жизнь...»

В серии «Жизнь замечательных людей» особняком стоят хорошо написанные книги о Сервантесе, Джеке Лондоне, о Дюма, о Суворове и некоторые другие. Отсюда, из этой серии, можно взять два характерных примера: «Мольер», написанный Булгаковым со всей силой огромного таланта, и вымученная пресная книга Прибыткова о Рублеве. Этими примерами я хочу сказать, что и в документальной литературе писателю необходим талант. Впрочем, он везде необходим. Когда я учился в Москве, то с Бутырского хутора на Тверской бульвар часто ездил на троллейбусе и любовался одним водителем. Он был всегда в чистой, хорошо отглаженной белой рубашке, вел машину спокойно, уверенно, без рывков и с видимым удовольствием. Приятно смотреть. Видно было, что у человека талант к этому делу. Повторяю, талант нужен везде, а в творчестве он — категория просто обязательная. Есть люди, не способные к писанию, но обогащенные немалым жизненным опытом. Иные из них рассуждают так: вон генерал выпустил книгу (может быть, и необязательно генерал), а я что, хуже его? Я — генерал-полковник, моя дивизия в войну была гвардейской... И пишет. Рукопись его

попадает в руки «литобработчиков», людей, как правило, корыстных и неталантливых, которые стараются придать книге художественность, вводят в нее вымученные диалоги, описания природы и прочие «украшения». В результате получается разностильная, тяжелая для чтения книга-уродец. От строгой документальности она как будто ушла и к художественности не пришла. Какой-то новый жанр появился, «необходимой» для издания литературы, якобы нужной для патриотического воспитания, точнее бы ее назвать «благотворительной». Она-то и полноводит серый поток книжной продукции, а от серого еще нигде, и особенно в воспитании, никакой пользы не было, разве что серая солдатская шинель. Но и она большей частью нужна из соображений экономики и для маскировки.

— Словом, вы считаете, что документалистика может существовать и сама по себе, и в органическом единстве с художественностью, но только чтоб даровитой была. Я хочу задать вам попутно вопрос, который тоже находится в центре литературных дискуссий последнего времени, — о научно-технической революции, ее влиянии на психологию, нравственность, внутреннюю жизнь человека?

— А революция ли это? Может быть, надо расценивать ее просто как продолжение естественного процесса развития, правда, ускоренного гонкой вооружений? Ведь войны и напряженность международной обстановки поторопили, ускорили нормальный ход развития человечества, вынудили перенапрягать умственные и физические силы на данном отрезке времени в истории человечества...

— Но войны и напряженность были раньше в разное время, они не всегда вызывали такой бурный прогресс науки и техники.

— Войны войнам рознь. Такого перенапряжения, как за последние десятилетия, человечество еще не переживало. Пресс оказался тяжелым, болезненным. Он нарушил гармонию развития. На войне выбиты не только взрослые мужчины, но и те поколения людей, которые должны были от них произойти. А трагедия вдов? Сирот?! У меня бывает очень горькое чувство, когда я вижу брошенные деревни, их умирание, — это они, последствия войны, прежде всего сказываются. Не легче и от зрелища современной стандартизации городского быта. В этом смысле потрясающее впечатление производит большой город. Поезд, на котором я приезжал из Вологды в Москву, при-

ходит рано утром. Подъезжаешь к столице и видишь огромное скопление домов, похожих на молчаливые стада. В серых сумерках они сливаются в сплошные бесконечные массивы. В темных проемах окон изредка сверкнет огонек, напоминая о том, что огромные эти квадратные глыбы есть человеческое жилье. Почему-то сжимается сердце: «Если зажгли огонек, значит, кто-то не спит, кому-то плохо, может быть, кто-то умирает, а рядом, за другими окнами, спят люди, равнодушные к чужому несчастью, равнодушные к этому зажженному огоньку...» Я понимаю, что все может быть совсем не так, но от действительности ведь никуда не денешься.

Процесс технизации и постепенного уравнивания города с деревней в смысле быта, благ цивилизации будет продолжаться. Настораживает господство стандарта и, как производное от него, — бездушие. Не будет ли оно проникать из быта в области более чувствительные — скажем, в творчество, в литературу и искусство? Ведь кое-какие признаки этого мы уже имеем, хотя бы в бездушном, если не безмозгом, отношении к той же природе, да и в искусстве уже есть примеры.

— Например?

— Ну, хотя бы взять последнюю, так напумевшую пьесу Бокарева «Сталевары», где человеческие чувства, страдания, радость и горе подменены производственной «схваткой», которая по напряжению и злости, лукаво именуемой ныне «накалом страстей», напоминает, извините, не мирные дни и не граждан одной страны, а нечто из того, чему я был свидетелем на фронте. Вообще странная, если не страшная, вещь, когда, чуть устроив свой быт, наевшись досыта, мы позабылись и начали взвинчивать посредством слова и искусства себя и свое общество: идет не просто уборка урожая, а «битва за хлеб», лохматые мальчики с роскошными бакенбардами под ноющие гитары не просто поют, а «идут в наступление», рабочие на заводе не просто варят сталь, а «сражаются» за нее. Мелькают слова мимоходом, играючи брошенные: «В разведку с ним не пойду», иль: «пойду», «до последнего дыхания», «умереть», «страдать», «драться», «эскадроны», «погоня», «сабли», «пулеметы», «роты», «бригантины», «заветные гавани»...

Таковыми вещами баловаться нельзя! Они не предмет для суесловия и телевеселья. Нам, еще не до конца изжившим трагедию войны, потерявшим двадцать миллио-

нов, забываться грех особенный. Еще болят наши раны, еще грусть берет, как вспомнишь, что, дойдя до истинной битвы, до рот, до пулеметов, мы пели о заветном «огоньке», про «синенький платочек», даже «черные ресницы, черные глаза» поминали и бредили миром. Неужели мало наших страданий и горя нашего?! Не забывайтесь, люди! Забывчивость дорого стоит!

— Виктор Петрович, я слышал, что будто бы большинство писем на «деревенский» «Последний поклон» вам приходило от городского, часто интеллигентного читателя? Не отражается ли в них тяга к первооснове жизни, к истокам, так сказать? Или, может быть, некоторая усталость от городской цивилизации, от напряженного ритма жизни в современном городе?

— Мне написала одна умная женщина из Ленинграда: «Мы с мужем получаем приличную зарплату. На работу я хожу как на праздник, с модной укладкой, хорошо и модно одетой. Муж тоже всегда элегантен, при галстукке. Ребенок разнаряженный ходит в детский сад. Все хорошо, правильно, за то, как говорится, и боролись. Но когда я прочитала «Последний поклон», невольно присмотрелась к своему ребенку и заметила в нем явные признаки эгоизма. Мне стало не по себе. Не утрачиваем ли мы какие-то первородные чувства, которые свойственны Вашим героям? Ведь это они помогли Вам написать такую книгу, любовью воскресить родных и близких... А какова-то будет любовь к людям у наших детей? Уж есть случаи, когда образованные, «гуманные люди» не приезжают на похороны отцов и матерей, дабы не травмировать себя, отделяются сочувственными телеграммами и деньгами — «на поминки».

Читательница пишет также об этом «проклятом телевизоре», к которому подсаживаются даже гости, вместо того чтобы общаться друг с другом, петь песни, смеяться, веселиться. Она написала фразу, которая меня очень тронула и взволновала: «Я на судьбу не ропщу. Муж меня любит, я его тоже. Родители мои были хорошие люди. Но я все-таки поняла, что жизнь меня обделила — у меня не было сельского детства, бабушки, а значит, — это я поняла после прочтения Вашей книги — не было и детства». Может быть, в этих словах и есть крайность, но для меня бабушка действительно была главным духовным наставником, хотя и за уши тягала, и прутом порола, чтобы не лазил в чужой огород и не разорял птичьи гнезда.

— Не считаете ли вы, что одной из главных задач, которые стоят сегодня перед обществом и, стало быть, перед литературой, стоит задача сохранения и упрочения нравственных традиций народа? И что вы можете сказать о так называемой «пришвинской традиции» в нашей литературе, не исчезает ли она, не теряет ли свое значение в сегодняшнем, индустриальном мире?

— Вопрос настолько сложный и емкий, что не только журнальной беседы, может, остатка жизни не хватит на то, чтобы на него ответить и докопаться «до корней». Нам все-таки надо твердо и прямо установить сначала, что есть нравственность в нынешнем понимании нынешнего человека. В связи с тем, что современный человек отошел, или, точнее, отгрелся от берега, на котором стоит церковь и вера в Бога, прибился ли он к другому берегу? Если прибился, что нашел там? Какие идеалы? Какую веру? Туману бы поменьше, ясности бы побольше в самом толковании нравственности. Есть уже теоретики, пытающиеся сблизить два берега — веры и безверия. Вот уж тут могу с уверенностью утверждать — в такой подтасовке проку нет и не будет. Наша блистательная литература, наши Печорины, Рудины, Онегины уже доказали своим, так сказать, «жизненным примером» бесплодность и невозможность такого сближения; «Мы с тобой два берега у одной реки», как, ничтоже сумняшеся, продекламировал современный поэт, и добавлю от себя: берега эти разделены не одной только водой, но и опытом жестокой истории.

Ну а что касается «пришвинской традиции», то пока живы выходцы села, «дети природы», до тех пор она, эта «российская традиция», наша извечная, отечественная, будет жива и даст миру еще немало чистых и светлых строк и музыки. Евгений Носов, Юрий Куранов, Сергей Залыгин, Василий Белов, Василий Шукшин, Валентин Распутин, Федор Абрамов, Вячеслав Шугаев, Юрий Гончаров, Михаил Алексеев, Сергей Воронин, Виктор Потанин, Василий Юровских, Владимир Солоухин и ряд других писателей не только не дают затихнуть и загаснуть этой традиции, они ее обновляют — многого достигла наша лучшая проза. Хорошо, чисто, высокопрофессионально пишут названные мною писатели и оказывают своей работой благотворное влияние на молодую прозу.

— Критика заметила, что в последнее время герой молодой прозы в отличие от эгоцентрического молодого

бунтаря пятидесятых-шестидесятых годов обращается к социальному и нравственному опыту своих предшественников. Что вы на это скажете?

— Я постоянно читаю произведения молодых, как уже говорил, много времени на это убиваю. Недавно мы в «Нашем современнике» провели заседание редколлегии, специально посвященное работе с молодыми писателями. Только что вернулся из Иркутска с зонального совещания молодых писателей, и есть некоторые основания сказать, что сегодня молодые быстрее становятся мужчинами, чем некоторое время назад. Они в чем-то даже идут впереди нас. Как я уже говорил, некоторые из нас убивали время на профессиональную подготовку, на образование, а у них все это начинается чуть ли не с пеленок, они с детства знают музыку, театр, кино, имеют свои библиотеки — словом, впитывают в себя современную культуру естественным путем, без помех, наоборот, все вокруг способствует их росту. И, несмотря на это, биография у некоторых из них довольно интересная, трудовая. Поэтому проза имеет хорошее наполнение. Я могу назвать некоторые имена: это Александр Филиппович, Валерий Макшеев, Анатолий Василевский, Михаил Голубков, Вячеслав Сукачев, Евгений Суворов. Они разные, но все с характером, со своим видением жизни, с чувством собственного достоинства. Настораживает, правда, некоторая «привычность» тем, избранных молодыми, мало дерзости, выдумки, самостоятельности, не говоря уже о самобытности. Ощущается стремление к «благополучной жизни» в литературе.

— Виктор Петрович, я не счел бы нашу беседу законченной, если бы не задал вам очень трудного, очень сложного вопроса, который, может быть, еще не стал так остро на повестку дня нашей критики, но который, как мне кажется, непременно будет, должен горячо заинтересовать всех причастных к литературе людей. Я имею в виду вопрос о философской значимости литературы, о том, как развивается в наши дни эта великая традиция русской литературы?

— Вопрос поставлен довольно общо. Мне легче будет попытаться ответить на него, опираясь на практику, на свой опыт, хотя делать это и не совсем этично, однако так будет «доказательней». Мне кажется, что у нас есть категория редакторов, которые настороженно относятся ко всякой философичности. Сошлюсь на судьбу своей по-

вести «Пастух и пастушка». Она прошла редакции почти всех московских и ленинградских журналов. Во всех письмах из всех редакций мне предлагалось что-то конкретизировать, что-то уточнять, а вернее, упрощать, разжевывать. Предметное, вещественное изображение в нашей литературе принимается спокойно, и потому в изобразительности наша литература достигла огромных успехов. Почитайте, например, прозу Михаила Алексева, Юрия Нагибина, Георгия Семенова, Бориса Можая. Я понимаю, инерция настороженности к условностям и сложному письму идет от лакировочной литературы, которая принесла нам столько вреда, что...

— Но лакировочная литература не претендовала на философичность, и условность ее была скорее от прекраснотушия, от забегания вперед, нежели от жизни.

— От криводушия и приспособленчества она была, чего уж там тратить «ученые» слова на такого рода литературу, затормозившую развитие доподлинной литературы, а значит, и мысли. Гнилоротое ее дыхание, кстати, ощути-мо до сих пор, потому никаких она добрых слов не стоит!

Трудно, с издержками мы преодолеваем ее, сбрасываем с себя путы заданности, ложной и спекулятивной идейности, ура-патриотизма и того сочинительства, когда каждый имеющий время и грамоту мог писать на потребу дня хоть стихи, хоть романы, хоть драмы. Вспомните-ка хотя бы пьесы так называемого драматурга Сурова!

В современной прозе жизнь трудная, если работать по-настоящему. Все большее значение приобретают в ней символика, условные, а значит, сложные формы. Вы посмотрите, например, на работу Залыгина — «суровый реалист» вдруг пишет фантастическую повесть, следом психологический роман. Он не ищет, не хочет спокойной жизни, этот художник; сложно живет, сложно работает Владимир Тендряков, автор шибко запальчивый, весь взъерошенный современной мыслью, движением ее, он стремится нащупать не только философию жизни, но и проникнуть в смысл оной. Чтобы выразить философию нашего времени, философию подвига, человеческой жизни, любви, смерти — мало одних рассуждений на эти темы, необходимо дать знак, символ, образ, что в буквальном переводе с греческого означает идею. Да как-то умудрились подзабыть первооснову этого слова, упростили смысл его, смешали со словесной мякиной громких патетиче-

ских слов, кои так же близки ему, как «в огороде бузина, а в Киеве дядька»...

В «Пастухе и пастушке» я стремился совместить символику и самый что ни на есть грубый реализм. Меня некоторые упрекали за образ немца, где, мол, такого видел? Не знаю. Сам, возможно, я видел его во сне, возможно, наяву. Здесь мне важны детали, важна мысль. Этот немец — олицетворение дикости человеческой. Вот если бы я написал его с низким лбом, редкими зубами, тонко поджатыми губами, в каске — уверен, никто бы слова не сказал. Действует привычка к стереотипам. Но мне такой немец неинтересен, такого я уже видел у других писателей и повторять их не хочу.

— Насколько известно, «Пастух и пастушка» далась вам нелегко. Я помню, как вы читали четвертый вариант повести в переделкинском Доме творчества, это было лет шесть назад.

— Четырнадцать лет я носил в себе эту маленькую повесть, несколько лет писал и переписывал. Недавно, после четырех изданий, переписал снова.

— Значит, эта вещь дорога для вас? Чем же?

— Мне кажется, в «Пастухе и пастушке» я преодолел сам себя, традицию, самим себе созданную. Понимаете, школа нас приучила к упрощенному пониманию традиций. При нынешнем уровне культуры и образования, я думаю, не так уж трудно изобразить в повествовании деревню, бабушку, как в «Последнем поклоне», что сейчас охотно и в большом количестве делается. Мне же хотелось сказать нечто большее, чем добрым словом вспомнить малую родину. Война — событие грандиозное по своим историческим масштабам, требуются иные подходы, иная выразительность, иное философское наполнение в изображении и осмыслении такого события, и даже смелость в том, чтобы взяться за военную тему, самостоятельно, не эпигонски — эпигону никакой смелости не надо, ему усидчивость требуется. Преодолевая свою традицию в «Пастухе и пастушке», я в то же время возвращался к каким-то очень дорогим традициям отечественной литературы, в частности к толстовской традиции. В кульминационной сцене любви я, помню, написал слово «милая». И задумался. Сколько раз это слово повторяется всуе! И вот, перед тем как добавить к слову «милая» слово «моя», написал целый абзац. Я двадцать лет учился тому, чтобы разделить эти слова, чтобы меж ними написать це-

лый абзац, и наконец рискнул это сделать. Думаю, что и от этого зависит наполнение прозы, ведь не выставишь же между этими словами пустой ряд слов, надо, чтобы читатель не пропустил, не пробежал эти центральные, что ли, в повести строки по диагонали, а прочитал внимательно весь абзац, даже, может быть, задержался на нем.

— Не противоречит ли это тенденции к лаконичному стилю?

— Некоторые теоретики считают, что надо писать как Хемингуэй — короткими репликами, короткими фразами. В свое время была даже дискуссия о телеграфном стиле. Я не хочу опровергать ни теории этой, ни тем более практики. Каждый пишет сообразно своим внутренним возможностям и, стало быть, законам. Что же касается философской мысли в прозе, то умение размышлять считалось и считается неперенным признаком таланта. Толстой, кажется, говорил, что писатель должен ориентироваться только на самого умного читателя. По письмам, которые я получаю от читателей, можно судить, насколько он поумнел и помудрел. Пишут, например, о «Пастухе и пастушке» и такие тонкости подмечают и понимают, что не только диву даешься, но и бояться начинаешь за свою работу, думаешь о том, чтобы не отстать от читателя, чтобы оказаться достойным его.

— Что означает нынешняя тяга к гуманитарным наукам, которую в последние годы отмечают социологи?

— Нежелание ломить физическую работу, трудиться на производстве. Многие юноши возмечтали быть артистами, поэтами, циркачами да музыкантами, соблазняясь «сладкой жизнью» актеров, писателей, кинорежиссеров и т. д. Не верите мне? Сравните тогда конкурсы ВГИКа, театральных студий, хорошо вам известного Литинститута с любым промышленным вузом. А опросы школьников старших классов трудового города, давшие такой безрадостный результат? Пять процентов желающих трудиться на производстве, остальные устремлены к «роскошной жизни» творческой и технической интеллигенции! Думаю, такой наплыв в литературу и искусство происходит не только «от ума» и дезинформации о нашей жизни, но от того, что упростилось многое в музыке, в литературе, в живописи, общедоступной сделалась «массовая культура», можно петь уже без голоса, писать без таланта, рисовать «условно», чаще всего под детей, снимать фильмы без профессиональной одаренности и подготовки. Такое не-

винное вроде бы приобщение к искусству развращает людей, делает их жалкими побирuşками около театра, кино, литературы, а чаще напористыми, «все знающими и все умеющими» шарлатанами. Думаю, что большое количество плохих и посредственных фильмов и книг, где вроде бы «все путем», все как надо, но не волнует, вызвано как раз тем, что много балласта, мешающего двигаться вперед, нагружилось на корабль с названием «художник».

— Не поубавилось ли романтизма, мечты в нашей прозе?

— Ну как не поубавилось? Слава Богу, меньше стало «туманов и шорохов тайги», за которыми едут то на целину, а то и того дальше. Как я говорил уже, проза сделалась серьезной, толкует она о вещах серьезных: о сути человеческой жизни, о нравственном ее начале. Тут уж никакие «туманы» не помогут, тут талант и серьезная работа нужны. Я, разумеется, о ложном романтизме толкую, о том самом, где стилизация «под народность», слащаво-песенная настроенность на «дальние дороги», на «огни маяков», на «белых лебедей» и на «березки» и «дальние миры», а также на «суровую любовь» и прочая выдают себя за «романтизм и мечту». Но вспомните сейчас, что осталось от косяков «романтических» повестей, рассказов и романов о целине? Рассказ «В бессонную ночь» Сергея Никитина, «Аленка» Сергея Антонова. Перечисляйте дальше сами, если сможете, а у меня ничего больше в памяти не задержалось.

Время — суровейший судья! Для меня, может быть, самая «романтическая» из книг последнего времени — «Горячий снег» Юрия Бондарева, хотя нет там ни «маяков», ни «лебедей» и ни «дальних путей». Но бьется там, трепещет среди смертей и горя жажда мира, мечта о любви, о Родине и обо всем, что есть прекрасное в жизни. Кстати, отголоски ложного романтизма то и дело дают о себе знать. Так, сюсюкающе-«романтическую» повесть Сергея Пистунова «Белая птица-лебедь» недавно напечатал журнал «Молодая гвардия», а мы в «Нашем современнике» выдали на-гора еще более «романтическую» повесть Владимира Солоухина «Прекрасная Адыгене». Вслушайтесь только в названия! Уже в них что-то фальшивое есть, приторно-паточное.

— Что вы можете сказать о сегодняшней прозе о войне и каковы ваши планы на этот счет?

— Вы заметили, что реже стали появляться произведения о войне? Особенно объемистые? Трудней стало

писать о войне, потому что появились настоящие о ней книги. Думаю, дальше будет еще труднее и сложнее писать о войне. Время, расстояние, память человеческая, истинная память, не подмена ее сочинительством, ответственность перед будущим — вот что, на мой взгляд, заставляет относиться к этой теме с повышенной строгостью. Писатели военного поколения стали старше и мудрее — они есть пока главный и основной критерий в работе следующих за ними писателей, разумеется, опять же талантливых писателей.

По этой же причине роман о войне, написанный мною начерно, лежит в столе, ждет своего времени, то есть когда я наберусь сил, мужества и умения, чтобы одолеть его. А пока я пишу заметки, кусочки, какие-то соображения, чтобы засесть за небольшую, давно выношенную повесть о войне. Есть в замысле и рассказы. Что бы мне хотелось видеть в прозе о войне? Правду! Всю жестокую, но необходимую правду, для того чтобы человечество, узнав ее, было благоразумней.

— Немного найдется писателей, которые бы остались довольны критикой, не высказывали бы в ее адрес критических, иногда язвительных реплик. Как вы относитесь к критике и какую роль она сыграла в вашей литературной судьбе?

— Мне на критиков грех обижаться. Критика всегда была внимательна ко мне, хвалила, даже перехваливала мою работу. Но хвалы, хоть они и ласкали мою душу, я до конца всерьез не принимал, к критикам же относился как к младшим братьям и никогда их «не бил по голове». От этого, наверное, и был у меня другом покойный Александр Николаевич Макаров. С вами вот давно дружеские отношения, и другие критики со мной здороваются, жалеют меня, а я их пуще того. Жизнь у вашего брата трудная, и хлеб ваш часто горек из-за непонимания труда вашего.

После читинского семинара шли мы целой бригадой по далекому-далекому городку Красный Чикой, что находится почти на границе Монголии. Повстречался нам шишкарь — ну, это человек, который кедровые орехи добывает — остановился и спрашивает: «Это правда, что вы — писатели?» Правда, говорим, и стали представляться шишкарю. Когда дело дошло до Николая Николаевича Яновского, шишкарь, будто тигру узрев, воскликнул: «Критик?!» — и, сурово оглядев с ног до головы милейшего,

застенчиво улыбающегося Николая Николаевича, спросил у нас строго-деловито: «Так что же вы его не бьете?!»

Шутки шутками, а что-то ведь есть в отношении к критикам от того простодушного чикойского шишкаря и среди нашей писательской братии, и в общественности тоже. Пока «служит» критик, раздает в качестве официанта «сладкое» — ничего, терпимо. Но стоит ему «покритиковать», да еще писателя маститого, — тут и кончилась его нормальная жизнь, свои же братья критики навалятся на него, изволтузят, да еще неучем, полудикарем выставят. Благородства бы, благородства побольше в отношении критиков друг к другу в частности и всей нашей литературе вообще.

— И самостоятельности!

— Да! И самостоятельности. Сколько ни толкуем о том, что критика не есть «слуга литературы», она все же тащится следом за нею с подносом, а ей ведь надлежит, как это уже было в прошлом столетии, «во времена Белинского, Добролюбова, Писарева и Чернышевского», даже опережать мыслью время свое. Никак это у нас не получается, все еще оценочно-рецензентская в своей массе наша критика, не хватает ей, как мне кажется, зрелости, нет в ней большого авторитета, то есть все того же Белинского. Но есть предчувствие, что критика наша если не стоит на пороге, то приближается к серьезному осмыслению художественных процессов, а следовательно, и жизни. Свидетельство тому — ряд серьезных теоретических работ и статей, появление критических журналов, книг и даже серий, подобных тем, что издает «Современник» и «Советская Россия», количественное внимание к критике не может не перейти в качественное, во всяком случае, желательно это, и поскорее бы, — уж слишком огромно наше «литературное хозяйство», и ему «без присмотра» никак не возможно существовать и двигаться дальше.

— Приходилось слышать, что в новых главах «Последнего поклона» вы слишком жестоки и откровенны. Как вы относитесь к этим суждениям?

— Сами читатели, отклики их и довольно дружная хвалебная критика насторожили меня: что-то уж больно благодушно там у меня в «Последнем поклоне» все получается, пропущена очень сложная частица жизни. Не нарочно пропущена, конечно, так получилось. Душа просила выплеснуть, поделиться поскорее всем светлым, радостным, всем тем, что так приятно рассказывать. Ан в книге,

собранной вместе, получился прогиб. Фраза: «Началась такая жизнь, что и рассказывать о ней не хочется» — ни от чего не избавила. Душевный груз, память тревожили, беспокоили, требовали высвобождения. Поездки на родину, обновление воспоминаний, взгляд на нынешнюю действительность не способствовали ни телячьей радости, ни прекраснодушию — трудная и тревожная все же жизнь идет, и она напомнила о временах еще более трудных и тревожных. Я не считаю новые главы жестокими. Если на то пошло, я даже сознательно поубавил жестокости из той жизни, которую изведal, дабы не было «перекоса» в тональности всей книги. Думаю, что, когда новые главы встанут в ряд с другими рассказами, все будет в порядке. Мне видится книга не только более грузной по содержанию и объему, но и более убедительной, приближенной к той действительности, которая была и которую никто, а тем более художник, подслащать, подлаживать и нарумянивать не должен — нет у него на это права.

ПОМОЛИМСЯ!

Ответы на анкету ко Дню Победы

Лишь первый День Победы, будучи после госпиталя в городе Ровно, в какой-то убогой нестроевой части, я встретил с восторгом и радостью. Вся последующая жизнь не располагала к радостям. Год от года День Победы для меня становился все горше и печальней — постепенно открывалась страшная правда войны, все ясней, наглядней проявлялись ее последствия. Руководство нашего государства и армии не зря ведь не объявило наши потери во время войны. Они столь огромны и удручающи, что даже при наличии такого огромного, находчивого, бюрократического аппарата счесть их невозможно, исказить — это пожалуйста. Объявлять народу о потерях страшно — сразу сделается совестно себя хвалить и прыгать в праздничном хороводе, бряцая разноцветными медальками. Думаю, это — единственная война в истории человечества из пятнадцати тысяч войн, в которой потери в тылу намного превышают потери на фронте. Так сорить своим народом могли только преступники. Английский писатель Честертон в одной из своих статей заметил, что все победители в больших войнах в конце концов становились побежденными. Отечество наше дало наглядный пример этому умозаключению: десятки тысяч пустых сел (основных поставщиков рядового состава), надлом общества, несколько больных поколений подряд, больных не только физически, но и нравственно, расправа над народом, начавшим прозревать и грозно ворчать, прежде всего над теми, кто побывал «за бутром», увидел воочию, что живем мы и

работаем хуже «их», хотя от работы у нас хребет трещит. Я не имею в виду только тех, кого из плена в плен препроводили, уморили в сталинско-бериевских концлагерях, то есть военный люд. Бедных вдов можно было добить непосильными налогами, уморить голодом, dokonать бесправием, сделать крепостными в самом «свободном» государстве.

Двадцать лет никто не вспоминал о нас — фронтовиках, никто не помогал нам, всюду нагло заявляли: «Все воевали — и ничего!» А через двадцать лет вдруг с умилением запели: «Славься!», медальки отлили, брежневскую «паечку» вырешили, позволили без очереди в больницу ложиться и билет покупать. «Спасибо партии родной — дала по баночке одной!» — самолично слышал я песенку инвалида войны в инвалидном закутке магазина. Он пел про «баночку» вполне серьезно, ибо и она для него сделалась благом, и любое внимание вбивало инвалидов войны в умиленную слезу: как же, вот вспомнили, вознаградили по заслугам.

Нашим великим партдеятелям и в голову не приходило, что они остатки победителей (страшно подумать, сколько их поумирало сразу после войны, с улиц же через десять лет исчезли инвалиды) превратили в кусочников и крохоборов, на которых рычал, а то и замахивался остервеневший в очередях, все еще тупо дожидющийся благ и улучшения жизни народ.

Недавно мелькнула цифра: в нашем огромном крае на январь 1990 года осталось чуть больше десяти тысяч инвалидов войны. За полгода она, естественно, убыла, и я призываю своих братьев по окопам, невзирая на ранги, не кривляться в горький День Победы на площадях и в питейных шинках, не плясать, не петь «бравых» песен — все это давно уже выглядит кощунственно, а пойти и помолиться за души убиенных на поле брани братьев своих.

Кому от погостов близко, у кого еще есть ноги, шевелятся руки — прибрать заброшенные могилы участников войны да и одиноких несчастных вдов наших. Ведь до сих пор еще во многих местах не убраны косточки наших братьев (в Германии, и в Западной Германии — тоже, все могилы и своих, и наших солдат ухожены).

Во время празднования 1000-летия Крещения Руси в Новгороде я разговаривал с командиром молодежного отряда и с новгородскими парнями, занимавшимися собранием и захоронением убитых в Мясном бору воинов

(а там погибло две наших армии). Захоронили за лето пять тысяч трупов, укладывая по четыре скелета в одну домовину (сюжет с захоронением этих костей показывали по Центральному телевидению). Так вот, командир отряда сказал, что ежели убирать трупы такими темпами — только в Мясном бору хватит работы еще на двадцать лет!

Нет, не только порохом пропах этот день...

Братья мои! Бойцы самой Великой и самой страшной войны! Наденьте чистые рубахи, не пейте горькую до потери человеческого облика в этот и без того скорбный день, повспоминайте, помолитесь, кто еще не разучился молиться, не разучился уважать себя и тех, кто спит вечным сном в земле или неприютно, сиротски валяется по лесам и болотам нашей необъятной родины, с большим опозданием, с позором, со стоном вспомнившей о таких утраченных, святых словах, как милосердие и любовь к ближнему своему.

О молодежи я имею очень отдаленное представление, но вижу, что она бродит, ищет свою долю и не хочет повторять нашей рабской судьбы. Исполать ей!

Никогда не думал ни о каком читателе, как вероятно, мои земляки, возившие швырковые дрова на красноярский базар, мало думали о том, кто ими обогреется и в какой печи сожжет. Я тоже выпускаю свою «продукцию», не прицеливаясь и не прицениваясь к «покупателю». Судя по письмам, читатели у меня есть и в городе, и в деревне, читатели стоящие, что меня, конечно, радует и помогает, пышно говоря, в труде.

«Книга памяти» и вообще всякого рода юбилейные издания, статьи — у нас носят казенный характер. Издатели из кожи лезли и лезут, чтоб было в этих книгах все «идейно», а уж насчет правды и занимательности думать времени не оставалось. Такие вот жестокие стихи окопного землеройки, написанные зимою 42-го года тех «мятных», ни за что бы не печатали и не напечатают.

Мы на шарике пустом,
Мы на шарике земном.
Под мороженым листом
В землю брошены зерном.
Ах, какой холодный шарик!
Под рубахой ветер шарит,
Снег не греет, смех не греет —
Греет зуд, собачий зуд:
Вши от холода звереют —
Кости мерзлые грызут...

Ну вот и добились неизбежного результата: благостно-умильные, юбилейные издания почти никто не читает. И правильно делают люди, добавлю я от себя, очень правильно.

Зачем дорогое время понапрасну терять и запудренные мозги еще больше пудрить, лучше снять с полки книгу классика и сотворить праздник для души.

Моя книга о войне находится в стадии черновика.

Я заметил: утомленные и раздраженные наши читатели, живущие трудной жизнью, в бесконечной и жуткой борьбе с нуждой, быстро утомились и «лагерной» литературой. Навидавшиеся страшного в повседневной жизни, они еще больше начали тупеть и глохнуть от этой «лавины», и как это случалось уже не раз с усталыми, растерзанными нуждой людьми, читатели наши непременно потянутся к мелодраме, к сусальненко-сексуальному, бездумному.

Читателям непременно захочется сладенького, красивой сказочки, чтобы забыться, уйти от жуткой, давящей действительности.

И они получают то, чего жаждут. В искусстве всегда было достаточно угодливо расшаркивающихся «творцов-официантов» — «что изволите?».

И наши музыка, кино и театр в готовности своей пографить публике опередили даже такую, наторевшую в угодничестве, литературу, как современная советская.

Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» — книга сырая, незавершенная, рассудочная. Судя по блистательно написанным кускам в гетто, она действительно обещала сделаться той книгой, за которую поспешила ее выдать определенная часть нашей критики и писателей, убеждая доверчивого читателя в том, что это «выше Льва Толстого».

Но словоблудием нас не удивишь и не очаруешь, раз прочитанного Толстого можно помнить и пересказывать всю жизнь.

Из романа Гроссмана, прочитанного год назад, не помню ничего, хотя на память до сих пор не жалею, а замечательный рассказ «Тиргартен» того же автора, прочитанный в шестидесятых годах, помню и по сей день.

Закончить беседу мне бы хотелось стихотворением Николая Панченко, того самого, что я уже вспомнил в начале беседы. Это стихотворение написано в 1944 году.

Душа завязана узлом,
И не прямым, а бабьим, —
Торчат неведомо куда короткие концы.
Давно мы не работаем и вроде как не грабим,
Но день и ночь жуем и пьем —
Бездомные юнцы.
За что же кормишь ты меня и балуешь любовью,
Ободранная, нищая, голодная страна?
Я начинаю понимать, что кровью, только кровью! —
За этот пир, за этот спирт
Заплачено сполна.

III



ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ



ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Не все то поэзия, что названо стихом, и далеко еще не поэт тот, кто научился рифмовать строчки и составлять слова столбиком.

Банальное, устарелое умотолкование — знаю. Но не могу обойтись без него, приступая к заметкам о сборнике, в котором начиная с обложки и потом почти с каждой страницы бьют по глазам слова: «22 поэта!», «22 поэта!». Речь идет о новом коллективном поэтическом сборнике «Современники», выпущенном Пермским издательством, сборнике, хорошо оформленном, солидном с виду и, к сожалению, малосодержательном, претенциозном по существу.

Более пятидесяти стихотворений напечатано в «Современниках» и две поэмы. Есть ли в нем поэзия? Да, есть. Но ее так мало и так долго ее надо отыскивать, что иной нестойкий читатель выдохнется, устанет, продираясь к настоящему слову сквозь чащу безвкусицы, «ударные концовки», «поэтические находки», сквозь «волос твоих долгие ливни», сквозь «пальцы на черном столе», сквозь «узел губ», «первый политбой» и «комсомольские райкомы», в которые, оказывается, заходят «запросто, как в сны», сквозь строфы, в которых призывают «замаливать стихи».

Замаливать!.. Взмолиться пришлось бы от этого сборника, если бы не было в ней «Предрассветной баллады» Бориса Ширшова, поэмы Михаила Смородинова «Горький мед», стихотворения Владимира Соболева «Говори мне

о любви»... Но вот и заколодило: только что прочел сборник и не единожды, а уж память напрягать надобно, чтобы отыскать поэтические «золотинки» — настолько мало их в книжке.

Что еще?

«Убрали сено» Юлиана Надеждина, «Улетая» Виктора Широкова, «Сентябрь» Николая Кинева. Но это стихотворение можно принять лишь с оговоркой: автор не сумел остановиться вовремя, дописал риторическую концовку, в коей начал объяснять «вышеизложенное», не доверяя ни читателям, ни себе.

Есть и еще стихи в сборнике, которые могли бы называться стихами, не будь они затуманены заумью, претензиями на сложность. Молодые авторы особенно «завинчивают» концы стихотворений. Пожалуй, всех других авторов «переплюнул» в этом смысле Леонид Юзефович циклом стихотворений, объединенных названием «Узел губ». Весь этот цикл — о губах, точнее, об «узле губ». И резвится же молодой автор! На его висок «медленно слетает любимой обнаженная рука», и прозренье на его душу «ставит печать», и он начинает «с презреньем все шорохи мира встречать». И «губы неизбежного полудня» касаются его лица, и ему «бессмертие снится», и он раскаивается в том, что «пришел молиться на распятыи твоей руки», и «у влюбленных руки виснут, хоть губы связаны узлом», а то «заглянет в душу звезды косматая душа!»

Можно сказать — тарабарщина! Да. Но не простая тарабарщина, а «интеллект-туальная!». Ничего-де, что мысль плохо или вовсе не улавливается: зачем они, мысли-то?! Немодно. Сейчас принято, мол, ассоциациями действовать на читателя, умственностью его давить. И найдутся читатели, которые робко пролепечут: «Да, тут что-то есть. Умно очень. Я, правда, не понял, ну так это моя беда, а не поэта вина...»

Не надо бы все-таки эксплуатировать наивное представление о читателях. Он, читатель-то, как-никак Пушкина, Некрасова, Лермонтова в школе «проходил», а потом по доброй воле, без понуждения учителей — Есенина, Блока и Ахматову читал, Кедрина знает и даже до Заболоцкого, до Луговского и до Мартынова добрался. Не такой уж он наивный, наш читатель, чтоб зерно от пшеницы не отличить.

Он любит великую русскую поэзию, он воспитан ею. И грешно обманывать эту любовь! Грешно молодому поэ-

вила бы Аверина и вяловатую, безжильную ритмику стиха и что трудно читаются в лирическом произведении отнюдь не лиричные слова: «незыблемо, невозмутимо», что, стоя рядом, «зызыкают» они, разбивая строй стихотворения.

Мало поработала, сырые стихи предложила в сборник Аверина, а составители сборника нет чтобы сказать молодому автору: «Ратуешь «за эту мудрость красоты в неприятательном обличье», так потрудись, попотей», взяли да еще сырыми стихами сборник открыли.

Я сначала не понял — почему? И лишь потом догадался: фамилия автора на букву «А», и сборник составлен без лишней мудрости, по алфавиту, и коли автор «Пред-рассветной баллады» на «ши», так он и оказался в конце. Ей-богу же примитивно.

На стихах Нины Авериной я остановился не потому, что они самые плохие в сборнике. Есть хуже. Но стихи ее очень уж характерны для тех, кто уподобляется человеку, не стоявшему на коньках и сразу решившему заняться фигурным катанием.

Очень осязаемо стремление у многих молодых пермских авторов проскочить годы ученья и сразу же начать выделывать сложные поэтические фигуры. А что из этого получилось, судите сами:

Встаю,
Готовый заново с тобою
Твои рассветы
И тебя менять.
Ты лишь возьми меня —
ты сможешь это,
Мы вместе поведем тебя
вперед...
Качается тайга,
Летит планета,
Российский ветер
В окна века бьет.

(Валерий Бакуштов)

Напрасно гадать, с кем Бакуштов «готов заново рассветы и тебя менять», кого «мы вместе поведем вперед»? Одна лишь строфа в этом отрывке вразумительна, последняя, да и та из Луговского взята.

Есть и такие стихи, где авторы во что бы то ни стало хотят удивить «ученостью». Так, у Семена Ваксмана в стихах — и «Мелодия Гершвина», и «Издательство «Артия»,

и «Хромой Магеллан» со «Шхуной своей «Тринидад», и «Улисс и Итака», и «С перстами пурпурными Эос».

Как у дядюшки Якова — товару всякого, вот только поэзии кот наплакал.

А вот стихи обратного порядка, под «народ», без всяких там «Эос с перстами»:

...Ну-ка,
шибче двигай,
Чальный.

Хоть и чую,

ты зачах —

часто

Нас с тобой

качало

с вечной ношей на плечах?!

Есть боль,

Есть жуть.

Да не в них

Жизни суть.

Лучше

Пальцем пахать,

Чем, как бабочка, порхать!

И подлинно, уж «лучше пальцем пахать», чем пустую трескотню печатать. Приведенный отрывок — из поэмы Валерия Варзакова «Землепашцы!». Думается, рано браться автору за поэмы. Ему бы поучиться поработать, и тогда сам бы понял, что не читателей, а его дело разбираться, «где чьи руки-ноги, где чья голова?» (из той же поэмы).

В молодежном сборнике есть стихи и старших, профессионально работающих поэтов. Однако Домнин, Решетов представлены здесь не лучшими стихами, и ничем они не выделяются среди остальных. Мало того, два стихотворения Алексея Решетова — «Пора замаливать стихи», и «Ах, Пушкин, Пушкин...» — пожалуй, могут соперничать с произведениями тех авторов, что из кожи лезут, лишь бы выглядеть «оригинальными». Такое ощущение, будто оба эти стихотворения вынуты из пропыленного альбома прошлого столетия, со всем набором потускневших от времени поэтических атрибутов, начиная с «пунша» и кончая «гранитным плащом», «Италии и Натали», а также и «пепла златых черновиков».

Набор красотостей, вся эта поэтическая бутафория, собранная под одной крышей сборника «Современники», особенно как-то не звучит и не смотрится на фоне лучшего стихотворения сборника — уже поминавшейся мною

«Предрасветной баллады» Бориса Ширшова. Просто, ясно, на уже известном вроде бы материале сработана баллада, а сколько глубины, взволнованности и подлинной поэзии скрыто за простыми думами солдата в предрасветный час в окопе, о простом человеческом счастье размышлявшего. Читая ее, я все время вспоминал грустную и прекрасную повесть Сергея Никитина «Падучая звезда», в которой так же на рассвете, перед атакой, прошелся памятью по своей небольшой еще жизни молодой боец, по мечтал о счастье и через минуту после начала боя был убит. Думаю, что баллада Бориса Ширшова — не только отрадное явление в сборнике «Современники», но и большая удача самого поэта. Она по достоинству заняла бы место в любом из «толстых» столичных журналов, а ее засунули на задворки сборника, очень слабого по содержанию.

Итак, двадцать два поэта! А в прошлом сборнике их было сорок два! Убыль заметная, но еще не такая, чтобы вторая книжка отличалась качественно от первой. Мне могут резонно сказать, что, если молодых авторов не печатать — они и расти не смогут. Вы, мол, и сами были молодыми. Забыли? Нет, не забыл. Но мне попались сразу же такие редакторы, которые тут же и понять дали, что литература — это не баловство, и работали со мной строго, спрашивали с меня безо всяких скидок на молодость.

И я, работая с молодыми, читая их, спрашиваю так же. К сожалению, в нашем издательстве не очень утруждают себя работою над текстами, вот и получаются стихи не только путанные, подражательные, но и безграмотные. Разве это не вычурная безграмотность? «Опять базарный крик, как штора, стоит колом до потолка!» (Борис Гашев). «Все слова растрочены по озерам вброд» (Белла Зиф), которая, видите ли, решила: «Все, что было — спишется. Сухо и светло». И даже заявляет: «Могу на слово сесть и покачаться».

Что написано пером, как известно, не вырубишь и топором. Дурновкусие, небрежение словом, наплевательское к нему отношение останутся и не «спишутся», и, как ни мудри, ни на каком слове не покачаешься. А вот взыскательный читатель головой покачает, столкнувшись с такой словесной развязностью.

Вероятно, из двадцати двух авторов при строгом отборе пятеро или семеро могли претендовать на публикацию. После большой, вдумчивой работы, кроме Смородинова,

Соболева, Надеждина, из начинающих авторов и шире, и полней можно было представить Бурьлова, Наталью Крон, Стригалева, Широкова, да если б еще наши старшие товарищи поэты дали в сборник доделанные хорошие стихи, глядишь, и получилась бы книжка добротная, полезная во всех отношениях и самим авторам, и читателям, а пока все-таки стихотворное рукоделие, этакий поэтический самодеятельный хор, в котором кто во что горазд.

Время показало: легким отношением к поэзии и еще более легким печатанием молодых не воспитывают их, а развращают, отучая от труда над словом, труда, требующего напряжения всех человеческих сил, а порой и самой жизни.

Вот об этом серьезно размышлять надо и авторам, и издателям, когда они собирают стихотворную продукцию молодых в коллективные сборники, со всей ответственностью работать и тем и другим. И тогда, глядишь, не поэтический ширпотреб, а настоящие стихи получит наш читатель. И порадуетя вместе с теми, кому дорого родное слово, к которому так трепетно, с благоговеньем относились великие русские поэты, оставившие нам любовь и непреходящую тягу к прекрасному.

О ЛЮБИМОМ ЖАНРЕ

Речь пойдет о рассказе. О любимом жанре. И любимом не только мною. Надо бы подробно поговорить о стиле, языке и эволюции рассказа, о том, что способствовало его развитию и что сдерживало. Но, во-первых, я не силен в теории, а во-вторых, так много наболело, что прежде всего и говорить приходится о наболевшем.

Далеко не все рассказы, появляющиеся в периодике, я читал и читаю, но даже то, что прочитано и запомнилось, представляет собой отрадную картину по сравнению с тем, что было у нас в рассказе лет пятнадцать назад.

Одно лишь перечисление хороших и разных рассказов заняло бы, пожалуй, половину статьи. А ведь есть простая истина, что на голом месте ничего не вырастает. Разумеется, начало всех начал в литературе прошлого. Там у нас такие достижения в новеллистике, такие классные произведения малой формы, что учиться и учиться нам, черпать и черпать.

И однако же возьму на себя смелость заявить, что современные наши писатели не посрамили, а приумножили славу русского рассказа. Далось это не так уж просто.

Перекинемся мысленно к концу сороковых — началу пятидесятых годов. На убыль пошел сделавший огромную работу рассказ, прямо нацеленный, боевой, экипированный незамысловато и просто, как солдат, без лишней «лирики», без обременительных красот, без тонкого анализа «сфер жизни». Рассказ подвига и горя, рассказ борьбы и стойкости характера, он часто писался с натуры, по горя-

чим следам и шел в основном от устного, непосредственно услышанного или записанного рассказа. Склонность нашего народа к устному повествованию оказала и оказывает на русскую новеллистику наиглавнейшее влияние. И любовь читателей к этому жанру проистекает отсюда же — читатель и писатель как бы помогают рождению и совершенствованию друг друга.

Итак, рассказ военных лет сделал свою работу, начал отступать в сторону. Мудро и хитровато прищурясь, он как бы спрашивал: «Ну, ну, что вместо меня, грубошерстного, не очень складного, порой жестокого, последует?»

Увы, на смену ему хлынул поток сладкой стряпни, облещенной медом, кремом, облитой сиропом, преимущественно розовым. А так как из крема, меда и сиропа пирога все-таки не состряпаешь, то начинка оставалась все та же. Но как его, милого трудягу-окопника, устряпали! Сколько на него пишущих мух насело!

И сразу теории появились: это закономерно, так и должно быть, сухари солдатские надоели. Подай сладкого! Победители заслужили!

Но кроме закономерностей теоретических есть еще и жизненные, устойчиво неопровержимые, согласно которым сладкое надоедает даже скорее, чем горькое. Безликий конфетный рассказ очень быстро приелся, однако дело свое успел сделать — честных писателей почти совсем от малой формы отпугнул, новых не подготовил, ибо он бесплоден в своей сущности и ничего родить не мог и не может.

Однако жива была и делала свою работу наша великая дореволюционная литература, литература тридцатых годов, военных лет. Она перемолола и перемелет еще не одно литературное поветрие, поднимала и поднимет не одно поколение писателей на своих крепких плечах, непоколебимых плечах, добавил бы я!

Ей, именно ей, могучей нашей отечественной литературе, обязаны появлением такие превосходные писатели-новеллисты, как Юрий Нагибин, Сергей Антонов, Владимир Тендряков, Борис Бедный, а чуть позднее — Сергей Никитин и Юрий Казаков.

Много писалось, иной раз с иронией, что вот-де Антонов под Чехова работает, Казаков — под Бунина, а Нагибин — под Платонова.

Тяжелее всех пришлось, пожалуй, в этом смысле Сергею Петровичу Антонову (есть в литературе его однофа-

милец, потому ставлю отчество), ибо Бунин широкому кругу читателей еще не был известен, Платонов — тоже, а Чехов издавался много, почитаем был и читаем, и подогнать Антонова под Чехова, наверное, не составляло большого труда (думаю, что любого русского писателя, при желании и ловкости, «подогнать» можно, ибо каждый из нас любит русскую литературу, воспитан ею, а любовь пристрастна и взаимосвязана!).

Но вот что интересно: обвиняя этих писателей в подражании, а порой и прямо в эпигонстве, наша критика до сих пор не составила себе труда объяснить: а какое же влияние оказали они на современную новеллистику, как сумели пробудить, а потом и повести за собой (именно повести!) сначала жиденский, а затем все более крепчайший строй современных рассказчиков?

Перво-наперво произошло это потому, что они начали писать хорошие рассказы. Разве забудешь номера «Нового мира», в котором появились такие рассказы, как «Дожди» Антонова, «Трубка» Нагибина, «Новый сотрудник» Бориса Бедного? Рассказы, которые и до сих пор составляют честь нашей новеллистике! Кроме того, в своих произведениях перечисленные авторы выступали так, будто им плевать, что рядом, в особенности в тонких журналах, сюсюкал дамский розовенький рассказец, они дали всем понять, что есть прекрасная русская новеллистика, где человек, его характер, его дела и страсти, его поиск смысла жизни и, наконец, русская природа — сущность всего. А если к этому добавить, что в рассказах этих писателей действовал и жил наш современный человек с близкими нам мечтами, страданиями и радостями, то станет понятен такой огромный, разом завоеванный ими интерес к своей работе.

«Им было хорошо! — слышал я не раз от нынешних рассказчиков. — Шаром покати было в рассказе. Сейчас бы попробовали!»

Что верно, то верно. Сейчас потруднее входить в литературу с рассказами. Сейчас тут такое соревнование! Но... Но опять же оно стало возможным благодаря работе и стараниям этих писателей.

Они ведь не только писали рассказы. Они еще и отстаивали их, завоевывали им «печатную площадь» и внимание критики.

Статьи Сергея Антонова в газетах и журналах часто практического характера о том, что рассказ почти исчез

со страниц «толстых» журналов, что сборники неохотно и плохо издаются, что надо печатать ежегодник лучших рассказов — эти статьи появились раньше, чем «письма о рассказе». Человек не только писал рассказы, но еще и добивался их «реабилитации», руководил семинарами молодых новеллистов.

То же самое можно сказать и о Юрии Нагибине — сколько его выступлений в поддержку рассказа, сколько рецензий на новые, часто первые книжки писателей, а порой и отдельные рассказы появлялись за его подписью в «Литературе и жизни», в «Литературной» и других газетах. Спасибо им от идущих следом за ними. Своей самоотверженной работой они сделали большое, не только писательское, но и гражданское дело.

Должен заметить, что в ту пору ведущий отряд наших новеллистов большей частью группировался в журнале «Огонек». Тогда этот журнал задавал тон в рассказе. Будучи его читателем, я с нетерпением ждал каждый его номер, и какие радостные открытия тут бывали! «Кордон-217» и «Корзина с еловыми шишками» Константина Паустовского, «Поддубенские частушки» Сергея Антонова, «Сын», «Ночной гость» и восхитительный «Комаров» Юрия Нагибина, «Крах», «По ягоды», «Семь слонов» и другие рассказы Сергея Никитина, «Кассирша», «Непогодь» Николая Воронова, «Скорпионовы ягоды» и «Сильва» Руфи Зерновой, «Мокрый снег» Веры Устиновой, «Ожидания» Александра Рекемчука, рассказы Бориса Бедного, Юрия Казакова, Станислава Мелешина, Анатолия Ткаченко и многих других авторов.

Сейчас эти писатели редкие гости в «Огоньке». Как жаль! Журнал массовый, умеющий хорошо оформлять, подавать и поощрять рассказы, взялся печатать детективы с продолжением. Но детективы печатают почти все журналы, тонкие и толстые, а вот культуру рассказа развивают далеко не все. Более того, на мой взгляд, такие журналы, как «Работница», «Крестьянка», «Советская женщина» и военные журналы, как будто специально существуют для того, чтобы скомпрометировать жанр рассказа, и печатают такие поделки, которые зачастую ничего общего с литературой не имеют. А ведь у них многомиллионные тиражи! И получается, что в массы идет макулатура вместо литературы.

Хочется похвалить тонкий журнал «Сельская молодежь», который на протяжении последних лет упорно стре-

мится объединить у себя лучших наших новеллистов и добился заметных успехов в этом деле. Авторы «Огонька» постепенно перебрались туда, где их приветливее встречают. Нагибин, Казаков, Ткаченко, Шукшин, Проскурин, Якубовский, Куваев все чаще появляются на страницах содержательного боевого журнала «Сельская молодежь». Кстати, журнал этот издает приложение, и издает недурно. Не возьмет ли он на себя добрую работу — печатать ежегодник лучших рассказов, тот самый, что молча похерило издательство «Советский писатель»? Это уважаемое издательство само его породило и само его убило, подбирая для сборника не лучшие рассказы года, а те, что составителю были по душе. Составители же начали руководствоваться в последних выпусках сборника не литературными, а конъюнктурными соображениями. И погубили сборник. Был — и нету! Будто корова языком слизнула.

Издание такое необходимо. Надо ж ведь как-то руководить потоком, предлагать читателю действительно лучшее и таким образом приучать его к хорошему рассказу, формировать его вкус.

Есть у нас журнал «Наш современник», которого прямая задача печатать и пропагандировать современный советский рассказ. На мой взгляд, он не всегда справляется с этой работой. Наряду с отличными рассказами, такими, как «Браконьер» Юрия Нагибина, «Кони» Василия Белова, «Ноев ковчег» Александра Борщаговского, «Тиргартен» покойного Василия Гроссмана, маленькими повестями «Падучая звезда» Сергея Никитина и «Затмение луны» Евгения Носова, здесь появляются произведения вялые, тянучие, с плохим языком. И пока тут, к сожалению, больше этих вещей, чем тех, на фоне которых хилость их особенно заметна.

Думается, что более строгий и принципиальный отбор (разумеется, не перестраховочный) для публикации, более активная и настойчивая работа с авторами помогли бы этому журналу быть интересней и не выходить с такой бледной обложкой к читателю, с какой он выходит сейчас.

Одно время началось у нас доброе дело — издание книжки рассказов. Началось оно на периферии, и, если мне память не изменяет, первым стало печатать такие книжки Пермское издательство. Оно отбирало пять-шесть рассказов и в разноцветных обложках, с не всегда хорошим, но броским оформлением выпускало их. Первые

выпуски расходились очень хорошо. Но любое хорошее дело таит в себе пороки, если его захлестывает дух кампанейщины.

Пермское издательство придумало, начало, и тут пошло-поехало. Одно за другим областные, а затем и центральные издательства взялись выпускать книжки рассказов, очерков, а где и «кашу» — очерки и рассказы вместе. Прилавок книжный завалили продукцией, дешевой не только по цене, но и по содержанию. Результат?

А перестали покупатели брать тоненькие книжки. Серийное производство погубило их. Сейчас осталась в живых лишь одна библиотечка «Короткие повести и рассказы», издаваемая «Советской Россией». Но серия «Короткие повести и рассказы», видимо, здесь пущена на самотек, так как книжки этой популярной серии тоже издаются ныне серо, и создается впечатление, что порою писатели тащат в них отходы: то, что не пошло в журнале или не вместились в сборник.

Много сделала и делает для рассказа «Литературная Россия». Настойчивость ее в этой работе достойна всяческого одобрения. Но рассказы тут печатаются тоже неровные. Еженедельнику изменяет вкус, и над соображениями эстетического порядка нет-нет да и возьмут верх соображения юбилейно-конъюнктурные, о чем уже говорилось в критике.

В чем же все-таки видятся основные пороки современного рассказа? Может быть, они, эти пороки, в рассказе заметней оттого, что читаю я их с пристрастием, да и на «маленькой площадке» виднее все и заметнее.

Болезнь, по-моему, старая — упрощенчество. Раньше оно как-то не так бросалось в глаза. А может были мы к упрощенчеству приучены? Писатели как бы не затруднялись проникнуть в глубь явления, остановиться и подумать над фактом. Он, этот факт, выступал большей частью в голом виде. Затопили, допустим, корабли в черноморском порту, а потом, при обороне этого порта, моряки без водолазных костюмов ныряли и из затопленных кораблей доставали снаряды и крушили ими врага.

Героизм? Да еще какой! Достоин такой материал художественного отображения? Еще как достоин! Так и писалось. Вот моряки-герои ныряют, достают, рискуя жизнью, крушат врага.

Но современный рассказчик, взявшийся за эту тему, обязан еще подумать вот о чем: как это умудрилось ко-

мандование нашего флота задолго до прихода фашистов затопить корабли вместе с боеприпасами, заранее зная, что порт придется оборонять? Зачем оно вынудило людей совершать героические поступки и гибнуть при этом, тогда как можно было без этого обойтись, дольше удержать порт и без паники эвакуировать население?

Короче: современный писатель обязан проникнуть в глубь явления, зайти на него со всех сторон и семь раз отмерить, а потом уж отрезать. Всегда ли так у нас получается? Нет, не всегда, и далеко не всегда. Достаточно напомнить поток романов, повестей и рассказов о подъеме целины, где молодые герои только то и делают, что тушат горящие хлеба да замерзают в безлюдной степи. А их, между прочим, туда посылали не тушить и замерзнуть, а работать, поднимать целину, растить и убирать хлеб.

Ей-богу, из всего огромного потока «целинной литературы» сейчас помню один-единственный рассказ Сергея Никитина «Бессонница». Остальное забылось, улетучилось из памяти, как легкая пороша.

Не утверждаю и не берусь утверждать, что упрощенчество осталось на прежнем уровне. Нет, оно стало гибче, что ли, его иногда не сразу и обнаружишь — так оно покрыто изящной словесностью, недурно написанным пейзажем и даже грустноватым настроением, которое особенно успешно прикрывает фальшь содержания и уносит на волне своей от существа дела.

Вот пример такого тонко замаскированного «художественностью» упрощения.

Он и она встретились у неглубокой российской речушки. Он на мотоцикле, она так. Он — хороший, мешковатый мужик, с чуть замкнутым характером и усталостью прожитых лет. Она тоже в годах, тоже не очень словоохотливая, и тоже лежит на ней печать нелегко прожитых лет.

Он помог ей переправиться через речушку. И тут обнаружилось то самое: «Отчего ты мне не встретила в те года мои далекие?..»

А не встретила оттого, что он воевал и, вернувшись с войны, сразу же женился, нажил детей. Она тоже, как закончилась война, вышла замуж за фронтовика. Время приспело. Годы не ждут.

Теперь вот встретились незнакомые друг другу он и она. И полюбили. Трудно без любви-то. Она, как говорится, на роду написана, и поздно или рано...

Чем же закончилась эта история? В городе, на конференции, долго избегавшие друг друга, он и она встретились и объяснились. И она отшила его, сказав, что у него и у нее дети, семья и что прожить им надо честно. Словом: «Я другому отдана и буду век ему верна».

Все правильно, все как в учебнике алгебры, где в конце имеются ответы на любую задачу. Хорошая женщина не пошла, что называется, «на поводу» у страсти. Только, когда я дочитал этот рассказ Н. Почивалина под минорным и красивым названием «Запоздалая звезда», мне отчего-то вспомнилась грешная и вечно живая шолоховская Аксинья. Она как-то ближе мне и родней, чем эта «правильная» героиня. Кстати, такая же героиня есть в рассказе Н. Почивалина «Мимо» и в других.

Хитрит писатель, «тонко» хитрит. Его по одному-то рассказу, пожалуй, и не раскусишь. Вот когда прочтешь об одной, другой, третьей героине, выпрямленной и обструганной, как оглобля, тогда уж начинаешь себя хлопать по карманам, искать сигареты, чтоб закурить от «переживания». И сказать хочется, и не только Н. Почивалину, а целому отряду литераторов, которые не в силу беспомощности, а по каким-то другим соображениям мельчат явления жизни, маскируют суть умильными, назидательными проповедями. Милые мои, хочется сказать, ваше вторжение в «эту область» не только наивно и дешево, но и унижительно для писателя. Упрощать, а точнее, оскотлять правду жизни недостойно литератора, талантливого к тому же.

Мне по газетным делам довелось как-то в одном районном городе (лет десять спустя после войны) листать книгу записей гражданского бракосочетания, и бросилось в глаза: невесты старше женихов, и порой значительно старше. Я и без этой книги знал, что целому поколению наших людей пришлось пережить семейную драму, а порой и трагедию. Ведь большинство фронтовиков, изголодавшихся по ласке и семье, с ходу, часто на первой попавшейся девушке, женились, обзаводились семьями. Разумеется, и женщины с ходу же праздновали свадьбы. Да и какие там свадьбы! Тогда не женились и не выходили замуж, а больше сходились. Был такой термин — обидный и точный. Неустройство, нужда и многое-многое другое наваливалось на молодоженов, сошедшихся зачастую без любви, сошедшихся в пути, в бездомье. Сколько потом разваливалось этих скороспелых семей! А сколько и уцелело их,

безрадостных, спаянных только детьми и привычкой совместного житья!

И не раз, и не два случалось, что, осмотревшись, пообвыкнув, люди понимали, что они чужие друг другу, и находили того в пути, у реки ли, в соседней ли деревне, кто и назначен был судьбой. И не очень-то «благополучно» завершались и завершаются такие встречи.

Мне не по душе те рассказы и маленькие повести, где авторы с уклоном в густопсовый реализм заключают нашу женщину в злосчастное одиночество, чаще всего в заезжий дом или в окраинную деревенскую избу, и она только тем и занимается, что подпаивает случайных мужиков и волочит их к себе в постель.

И в том и в другом случае то же самое облегченное отношение к жизни, нежелание осмыслить ее, проникнуть в суть явления. Мыслящий художник всегда шел от частного к социальному. Ремесленник же, зажмурившись, бежит от социального к частному! Плюхается на мелководе ремесленник — вода там теплее и неопасно, а нырни вглубь — еще водяной утащит!

Ну, утопить, может, и не утопит, а рассказ не напечатает.

Ребятчья боязнь! Она особенно неуместна и бросается в глаза сейчас, когда рассказ наш и вся литература так возмужали и так твердо стоят на своих неходульных ногах.

Этими рассуждениями я отнюдь не склонен перечеркивать все и сказать, что наша новеллистика пашет «по верхам». Более того, на мой взгляд, такие произведения малой формы, как «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Иван» Владимира Богомолова, «Ухабы» Владимира Тендрякова, «Браконьер», «Перед праздником», «Последняя охота» Юрия Нагибина, «Кушаверо» Георгия Семёнова, «Трали-вали» Юрия Казакова, «При свете дня» и «Приезд отца в гости к сыну» Эммануила Казакевича, «К Кузьме за солью» Владимира Сапожникова, «Объездчик» и «За лесами, за долами» Евгения Носова, «Луна над ячменным полем» Климентия Борисова, «Еще о войне» и «Две осени» Виктора Конецкого, «Под парусом» Геннадия Машкина, «Песнь песней» Анатолия Знаменского, «Дожди» и «Порожный рейс» Сергея Антонова, «Бессонница» и «Крах» Сергея Никитина, стоят иных романов, из которых, если «выдавить» воду, не останется ни материала, ни смысла даже на коротенький рассказ, если к тому же иметь в виду такие «коротенькие» рассказы, как

«Солнечный удар» и «Чистый понедельник» Ивана Бунина или «Третий сын» Андрея Платонова.

В связи с этим мне опять придется «спуститься на землю» и потолковать об очень щекотливом вопросе, о котором у нас и говорят, но как-то невнятно, конфузливо. Речь пойдет об оплате рассказа.

В большинстве журналов и издательств он оплачивается по листу, как и роман или повесть. Вопиющая несправедливость! Рассказ, в особенности в нынешнее время, требует большой, изнурительной работы, чтобы быть на уровне лучшей современной новеллистики. Два рассказа Евгения Носова «Объездчик» и «За лесами, за долами» — это плод полуторагодичного очень напряженного труда. За это же время один московский писатель написал роман и повесть, которые тут же были напечатаны — сначала в журнале, потом в «Роман-газете» — и быстренько вышли отдельным изданием в центральном издательстве, а сейчас уже ставятся в кино и театре, потому что они написаны натрелой рукой. Их, эти бойко написанные, хлесткие, но поверхностные произведения, через год-другой забудут, а рассказам Евгения Носова, я уверен, уготована долгая жизнь. Но честно и мучительно работающий рассказчик сидит «на мели», а романист как сыр в масле катается.

Окиньте взором нашу периферийную — да и только ли периферийную! — литературу. Сколько ежегодно появляется толстеньких книг, «наваристых» в основном по гононару, а не по художественной ценности!

Уравниловка больно отзывается на работе писателей. Ряд наших рассказчиков, лучшие из них, все дальше и дальше отходят от «нехлебного» жанра в кино, в театр. Не от хорошей жизни, наверное, почти забросили писать рассказы Юрий Нагибин и Сергей Антонов и начали делать сценарии, киноповести и так далее.

Как много от этого теряет наша литература и сами ведущие новеллисты!

В заключение мне хочется оговориться: я не претендую на исчерпывающий разговор о любимом жанре. И не моя вина, что пришлось мне толковать о «больных» вопросах. Потребность в этом острейшая. Может быть, да и наверное, не мне бы об этом нужно было писать, но я надеюсь, что старшие, более опытные писатели и мои товарищи по перу поддержат начатый мною разговор и углубят его.

О РИТМЕ ПРОЗЫ

Ответы на анкету журнала «Вопросы литературы»

То, что в анкете нынче названо «ритмом прозы», Бунин в свое время просто и точно называл — «звучком».

Слова без звука, как известно, нет. Прежде чем появиться слову, появился звук. Так и в прозе: прежде чем возникнет сюжет, оформится замысел, вещь должна «звучать», слиться в единую мелодию, навеянную внутренней потребностью автора и самой жизнью.

И горе, если во время работы обстоятельства (ох уж эти наши обстоятельства!) уводят от письменного стола иногда надолго и мелодия вещи тогда начинает увядать в душе, рваться — тогда вы замечаете сбой в прозе, видите, как пишущий замотался, у него появилась разностильность, что-то сломалось, что-то «оглохло» в прозе — она не «звучит».

Лучше всего удаются вещи, написанные как бы единым порывом, в которых мелодия рвет сердце, вздымает тебя на такие высоты, что ты задыхаешься от счастья, как птица в свободном полете. Разумеется, от этой музыки какая-то малая лишь частица, может, всего капля упадет на бумагу и отзовется ответным звуком в сердце чуткого читателя. Однако и это уже большое счастье для пишущего, высокопарно выражаясь, — творца.

У нас сейчас, к сожалению, очень много прозы как бы «глухой», составленной из слов, будто печь или стена из кирпичей. Но настоящая русская проза и даже критика (Писарев, Белинский, Добролюбов) всегда имели и ныне

имеют свой «звук». Я думаю, что лучшей проверкой достоинства того или иного произведения была бы его проверка «на слух», то есть просто-напросто чтение перед читательской аудиторией. Но это великое мерило литературы, увы, почти утрачено. Полагаю, большая часть нашей прозы не выдержала бы такой, в общем-то, естественной проверки.

1973

ИМЯ ТОЛСТОГО СВЯТО

Одно из самых ярких воспоминаний моего детства по какому-то капризу судьбы или закономерности ее связано со Львом Николаевичем Толстым. В деревенской школе, куда я пошел учиться в первый класс осенью тысяча девятьсот тридцать второго года, приезжий учитель прочел нам, сельским детям, еще не умеющим читать, рассказ о Жилине и Костылине. Это было такое потрясение, что я долго не мог ничего более слушать и воспринимать, с криком вскакивал по ночам и все время пытался пересказать жуткую историю о двух русских солдатах, бежавших из плена, всем, кто желал ее слушать. Бабушка, слушая меня, не раз плакала и повторяла: «Господи, Господи! Вот она какая, жизнь-то человеческая, чего только в ней не натерпелась и не натерпелась... — и к случаю наказывала: — Учись хорошенько, старших слушайся — старшие худому не научат...»

С тех пор я не перечитывал рассказ Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник», и перечитывать не буду, ибо живет он во мне каким-то давним, отделенным от всего остального прочитанного и услышанного, ярким озарением, и мне все еще хочется пересказывать бесхитростную и, может быть, самую романтическую историю в нашей русской литературе. Возможно, и тяга к творчеству началась с того, в детстве искоркой занявшегося, желания — поведать услышанное, что-то, конечно же, добавляя от себя.

Самое любимое мое произведение у Льва Николаевича

ча «Хозяин и работник». Оно не только совершенно по исполнению, но еще и поучительно для нас, ныне работающих пером, в том смысле, что в угоду литературной схеме нельзя попускаться жизненной правдой. Уверен, что в исполнении большинства современных отечественных писателей «хозяин» никогда не вернулся бы спасать «работника», не замерз бы сам, наоборот, как и полагается держиморде-кулаку, сделал бы все, чтоб погубить «эксплуатируемого», ибо есть он в нашем понимании «паразит», а у паразита какой может быть характер, какое «нутро»?! Только темное, гнилое, паразитское! Великий же писатель и мыслитель видел и понимал человека во всей его объемности, со всеми его сложностями и противоречиями, порой чудовищными.

Вот в этом, на мой взгляд, и заключается традиция Толстого, воспитанного, кстати сказать, на традициях той зрелой русской литературы, которая уже существовала до него и величие которой он приумножил и поднял на такую высоту, до которой надо всем нам тянуться и тянуться, чтобы заглянуть в ее беспредельные глубины.

Отдельно любимого толстовского героя у меня нет, я люблю их всех, от мальчика Филипика, незадачливого Поликушки и до пугающе-недоступного, прекрасного князя Андрея Болконского и его сестры Марьи.

За жизнь свою я перечитывал «Войну и мир» раз пять. Самое яркое впечатление было, когда я читал эту книгу в госпитале. Те ощущения, та боль, какие я пережил, читая «Войну и мир» на госпитальной койке, больше не повторялись. Но каждое следующее прочтение романа открывало мне новые, ранее не увиденные и неизвестные «пласты», ибо сама эта книга, как Жизнь, как Земля, велика, загадочна и сложна.

Лет десять назад я — наконец-то! — решился съездить в святое место — Ясную Поляну и был потрясен равнодушием и праздностью толпы, жидким потоком плавающей по аллеям, дорогам и тропинкам усадьбы. Посетители чего-то жевали, фотографировались на память, хотали, припоминали какие-то сплетни о Толстом, а главным образом — о жене его и детях. Какая-то простодушная пожилая женщина высказалась насчет могилы Толстого: «Такой, говорят, большой человек был, а могила сиротская, без креста. Денег, что ли, жалко?» Какой-то седовласый гражданин в рубахе-распашонке, с лицом за-

каленного кухонного бойца, кричал в кафе у входа на усадьбу: «Почему это водка есть, а коньяку нету? Я хочу благородного человека помянуть благородным напитком!..» Рядом сидела его внучка или дочка отроческого возраста, потупив глаза, с лицом потерянным.

Александр Лаврик — тульский писатель, бывший тогда секретарем областного отделения Союза писателей, не выдержал, очура л «бойца»: «Гражданин, опомнитесь! Вы где находитесь-то?»

И «боец» тотчас с радостью напал на него, и мы покидали усадьбу под мерзкий, ржавый, уже сорванный голос кухонного воина, под стук движка, который нудно и ненужно звучал возле дома, на аллейке, как нам пояснили: «улавливает на учет количество газов, сажи и дыма, опадающих на усадьбу, ибо хвойные деревья на ней уже почти погибли, так чтоб не посохли бы все остальные...»

Так бы я, наверное, и уехал домой с тяжестью и растерянностью в душе, если бы не посоветовали мне навестись сюда в выходной день.

Стоял сентябрь — золотая пора России. На усадьбе редко и еще неохотно падал лист. Было чисто и светло, но главное — безлюдно. Я весь день проходил по усадьбе, и весь день у меня было ощущение, что в спину мне остро бьет взгляд, пронзая меня насквозь и высвечивая во мне все, что было и есть, и я невольно подбирался, припоминал, что сделал в жизни плохого и хорошего. Весь день был я как бы под судом, весь день подводил «баланец» своей жизни.

Это был нелегкий день в моей жизни, ибо трудно судить себя взглядом и совестью Великого художника.

Позднее я высказал пожелание, чтобы каждого вступающего на писательскую стезю, прежде чем принять в Союз и «оформить» как писателя, привозили бы в Ясную Поляну, давали бы возможность побыть «с Толстым наедине» и потом уж спрашивали бы: готов ли он заниматься тем делом, каким занимался Лев Николаевич?

В сумерках уже я пришел к могиле Толстого, постоял над нею, потом дотронулся до холодной, очерствело-осенней травы ладонью и вышел на дорогу.

В Тулу я шел пешком, еще и еще переживал ощущения того строгого покоя, коим наполнены были леса, перелески и рощи усадьбы, той задумчивой тишины, какая осенью была здесь при Льве Николаевиче, и вот продол-

жила в то время, коснулась моей души. И мне тоже сделалось спокойно. Суета как бы отхлынула от меня, и казалось, уже не закрутит, не завертит более, чувство, печальное чувство зрелого возраста вселилось в меня тогда, и думалось мне, что я способен и буду делать добро, только добро...

Больше я не бывал в Ясной Поляне и боюсь туда поехать, боюсь встретить жирующих, хохочущих и снимающихся на карточки праздных людей, коим все равно где бывать, в какой «книге отзывов» ставить автограф, чему дивоваться, что слышать, лишь бы «полезно» убить время. И еще я боюсь, очень боюсь не выдержать сурового суда мыслителя и творца, величайшего из людей, рожденных на земле за много тысяч лет ее существования, с которым дано мне было счастье родиться в одной стране — России. Живет во мне вечное сознание любви и страха: я занимаюсь той же работой, которой занимался Он! Так какая же должна быть огромная ответственность во мне и во всех нас, ныне живущих на земле, которую Он пахал, за работу, которую Он так свято, мудро и мученически выполнял?!

ОТВЕТ В «ПИОНЕРСКУЮ ПРАВДУ»

Дорогая Вера Смирнова!

Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а я убежден, что и каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного цвета, одной породы — так же неповторимы, как и все живое и живущее вокруг нас.

Значит, все живое, в особенности человек, имеет или назначено ему природой иметь свой характер, который, конечно же, развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, родителей, школы, общества и друзей, кому повезет их иметь, ибо дружба, настоящая дружба — награда человеку редкая и драгоценная, порой она бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при крайних, бедственных обстоятельствах — с поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие, преданные друзья. У меня они, такие друзья, были на войне, есть и в нынешней жизни, и в литературе, и я стараюсь за преданность платить преданностью, за любовь — любовью. Каждую свою книгу, да и строку каждую, и поступок свой просматриваю и прочитываю глазами своих друзей, в особенности фронтовых, чтоб не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность.

Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, будет всегда больше, чем плохих и злых, иначе в мире наступит

ла бы дисгармония, он перекосялся бы, как нагруженный балластом или мусором на один борт корабль, и давно бы опрокинулся и затонул.

Нет, я не согласен с тобой, что Горький вырос в основном среди «злых людей». Если бы это было так, то в нашей литературе был бы совсем другой писатель, не страдающий людям, способный на любовь и самопожертвование ради них, воспевающий любовь матери и нежность к Родине своей. Нежность и любовь его часто отдают горечью оттого, что люди жили да и еще живут некоторые не по сердцу, не по законам и заветам добра, а подчиняясь обстоятельствам, загнавшим их в угол или спустившим на самое дно мерзопакостного быта.

В детстве Горького была рано угасшая мать, самоотверженно и горячо его любившая, беззаветная бабушка Акулина и даже дедушка Каширин, поровний внука «для науки», жалел его и добра желал ему, готовя к суровым тяжким жизненным испытаниям и труду, которые сам он познал когда-то «на своей собственной шкуре». Иной «науки», иного воспитания дед Каширин попросту не знал. Он, дорогая Вера, жил в другое время и учился жизни совсем не в тех школах, в которых учитесь вы, нынешние дети.

Суровая наука пошла Алексею Максимовичу впрок — малограмотный парнишка с нижегородской ремесленной и драчливой окраины в конце концов сделался образованнейшим человеком и Великим писателем русской литературы, где не так просто было утвердиться и найти свое место — рядом с ним творили и мыслили титаны русской культуры: гений Лев Толстой, «тихий» и проникновенный Чехов, Куприн, Бунин, друг Горького Леонид Андреев и многие-многие другие писатели, мыслители, художники, музыканты, составившие гордость нашей отечественной культуры. А ведь тот же гениальный художник Репин был выходцем из самых нижайших слоев общества и, наверное, много познал зла и оттого научился высоко ценить добро.

Нет людей «без характера», есть те, кого в простолюдые звали и зовут бесхарактерными — это люди, которые всю жизнь ищут места в заветрии, кого, как щепку или бумажку, куда несет ветром, туда они и плывут, и «приплывают» они чаще всего или, точнее, прибывает их к тому берегу, где не надо ничего делать, а только тешить себя ленью, ждаты, когда заработают и принесут хлеба

кусок другие люди, и еще обидятся, что хлеб черствый. Очень часто эти безвольные люди страдали и страдают от бездумья и безделья, тревожатся только о себе, ищут забытья в вине, попрошайничестве, а то и в воровстве, постепенно забывая все, чему их учили дома, в школе, теряя и свой человеческий облик, озлобляясь и скатываясь в число преступников или отверженных, никому, даже близким своим, не нужных.

Конечно же, многое в формировании характера зависит от окружения, от общества, но влияние его бывает неодинаково на каждого человека. Очень часто случается, что в так называемых «неблагополучных семьях» вырастают «неблагополучные» дети, но я знаю множество людей, которые в детстве насмотрелись на разгул и разгильдяйство родителей и никогда и ни в чем не подражали им, наоборот, уносили неистребимую ненависть на всю жизнь к вину, сквернословию, хамству, побоям, дракам, хотя побороть дурное влияние ох как непросто и сложно, требуется большая сила воли, внутренняя дисциплинированность и даже мужество, чтоб быть полноправным гражданином своего общества, а не отщепенцем, наплевательски относящимся ко всему, что есть святого и ценного вокруг, даже к своей собственной жизни.

Один путь у человека, во все времена открытый к самоусовершенствованию, — это неустанное пополнение знаний, расширение жизненных интересов. Человечество накопило не только много смертоносного оружия, и страницы истории его залиты не одним только красным цветом крови и соленым морем слез, человечество в муках, неся неисчислимые жертвы, страдая, творя подвиги на пути познания мира и себя, накопило бездонный клад сокровищ искусства, литературы, им сделаны невероятные открытия в науках, сулящие людям избавление от голода, болезней, горя. Осуществилась вековая мечта человека — он вырвался в космос и готов к изучению мироздания, глубин океанов, продвижений вперед и выше.

Из-за нависшей угрозы войны, из-за постоянной занятости, мне кажется, мы еще не успели осознать, что наделали, каких вершин достигли на исходе двадцатого века.

Вам, нынешним детям и молодым людям, надеюсь, выпадет счастье перевалить в третье тысячелетие, открыть новые миры и, быть может, отыскать в бесконечности

мироздания обжитые планеты. Но не думайте, что все это делается само собою, без труда и напряжения.

На уроках истории в школе, наверное, вам говорили, как панически боялось тогда еще разбросанное по материкам и континентам, разъединенное, еще невеликое человечество приближения второго тысячелетия: люди ждали пришествия Христа и Страшного Суда, а затем и конца света, перестали учиться, строить, ухаживать за землей и жильем, выращивать урожай, разводить скот... Не утратили они лишь одно ремесло — виноделие, много пьянствовали, развратничали, иные племена целиком разоружились, потеряли способность защищать себя и добывать пищу охотой и рыбной ловлей, подались жить в пещеры...

Почти на пятьсот лет отбросило себя человечество назад, почти четыре века потребовалось ему для того, чтобы «восстановить память» — научиться строить дома и корабли, восстановить морские и сухопутные пути, возобновить путешествия и торговлю. На исходе пятого века Магеллан совершил кругосветное путешествие — человечество встряхнулось, как бы очнувшись от глубокого обморока, — и началась эпоха Возрождения.

Мы делаем и делаем все, чтобы вы, нынешние наши внуки, вступили в третье тысячелетие с достоинством разумных существ, помнящих, что ради вашего светлого будущего многие люди не доучились, не добрали в области культуры, не дожили положенного земного срока из-за лишений, ран и трудовой надсады.

Если вы поймете это, главное, что мы жили, боролись и, стиснув зубы, перемогали голод и холод, боль от ран ради вас, вам уже будет проще с открытым сознанием жить, бороться и работать на земле.

Конечно же, дуракам всегда жилось и живется легче, да не соблазнит вас эта «легкость», не захочется вам подражать и дуракам, и тем, кто, не читая книжек, покупает их ради украшения квартиры, кто цепляет на себя побрякушки и похваляется дорогими тряпками, умением с шиком курить и пить под лестницей — жизнь человеческая очень еще коротка, чтоб ее тратить на безделушки. Каждому человеку есть место на Земле для приложения сил его и знаний, а в деле, в непрестанном поиске и движении — высший смысл жизни, и тут уж как-то «незаметно» сформируется характер, затем личность, а она, личность, никогда не была и не будет подвержена отравляющей ржавчине вещиц, зависти, злобы и ненависти. Она,

личность, на то и существует, чтобы облегчить страдания другим людям, отдать им все свое вплоть до жизни.

Ты спросишь: а есть ли сейчас вокруг нас такие вот великие и простые, как хлеб насущный, люди?

Вот первые, кто пришел мне на память сейчас, когда я заканчиваю эту заметку, — великий хлебороб, мудрец земли русской Терентий Семенович Мальцев; хирург и ученый, делающий операции на маленьком детском сердечке и не одну уже жизнь, а тысячи жизней спасший, — Владимир Александрович Белаковский; маг и волшебник из города Кургана, исправляющий кривые позвоночники, горбы, неправильно сросшиеся кости, на третий-четвертый день ставящий больных на ноги после тяжелых переломов, умеющий удлинять или укорачивать рост человека, этаким добродушный и великий страстотерпец нашего времени — Гавриил Абрамович Илизаров. И многие-многие другие наши современники, которых назовет вам газета, назовут папа с мамой, а если вы хорошо посмотрите вокруг, то и возле себя обнаружите их, наших беззаветных тружеников и воинов.

Вот у них надо учиться умению трудиться, молча страдать, делать добро, не ожидая, что тебе за это «что-нибудь дадут». Я видел в клинике Илизарова, как смотрели на него исцеленные им больные, и, думаю, что эти взгляды, безмерная любовь и благодарность, светящиеся в них, — есть самая высшая и прекрасная награда. И все эти люди, мною названные и не названные, обладают большой внутренней культурой, они — профессионалы в высоком смысле этого слова, но еще и очень начитанные, компанейские люди, просто и с чувством собственного достоинства умеющие держаться в любом месте, в любом обществе, в том числе и за рубежом.

Может быть, кто из старших напомним древнейшую мудрость, что-де «многие знания умножают скорбь». И это так: высококультурный, образованный человек все в мире, начиная от дикого животного, нарядной певчей птицы, живого цветка, речного или морского пейзажа, воспринимает глубже и тоньше, и музыку и живопись, и литературу; горше и более переживает потерю не только близких своих, но и тех, кого пытались и не смогли спасти. Я видел не просто седую голову академика Белаковского, а как бы уже по второму и третьему разу начавшую покрываться инеем, и думаю, что, делая операцию на маленьком детском сердечке с врожденным, допустим,

пороком, он делает надрез прежде всего на собственном сердце, и ему больно так же, а может, еще больнее, как и ребенку, которого он всем своим умом, всеми накопленными знаниями, всем опытом, всеми силами и мужеством, какие у него есть, старается не просто вернуть к жизни, но вернуть обязательно здоровым, веселым, счастливым.

Внешне же этот большой человек с грустными глазами приветлив, весел, по южному складу характера гостеприимен.

Вот это характер! Это жизнь! Это Человек с большой буквы! А уж как он обрел такой характер, сделался таким человеком и специалистом, зависело и от его родителей, и от школы, и от коллектива, где он учился, работал, но более всего зависело это и зависит от самого человека. Распорядиться с толком жизнью — это главная наука, очень непростая.

Учиться можно и нужно ежедневно и ежечасно, начиная от того, что зовем мы природой, и кончая книгами, которые ныне есть почти в каждом доме, только спать надо по четыре-пять часов, как доктор Илизаров или хлебобороб Мальцев, особенно в молодости, — молодые люди, спящие помногу, как старики, не знающие, куда девать себя и свое собственное время, на мой взгляд — люди неполноценные.

«ПОЛУПРАВДА НАС ЗАМУЧИЛА»

Выступление на конференции

«История и литература»

(журнал «Вопросы истории»)

Здесь я вижу, что у нас существует история литературы. Когда я учился на Высших литературных курсах в Москве, то за два года я вообще об истории литературы не слышал. Эти слова не употреблялись в наших аудиториях. Хотелось бы выяснить, что это все же такое? Как история литературы выглядит и какой она была в определенные времена?

В нескольких выступлениях все время, как и в газетах сейчас, звучало одно и то же имя: Сталин, Сталин, Сталин... Разумеется, у меня есть свое отношение и к этому отрезку времени, и к этой личности. Мне пришлось жить одно время в Курейке, где Сталин находился в ссылке. И я думаю, что не так все просто и ordinarily, как это сейчас преподносится. Используется очередной громомовод в нашей истории, в том числе и в истории литературы, чтобы свалить на эту личность все наши беды и таким образом, может быть, проскочить какой-то отрезок пути, для нас очень сложный; а может быть, удастся действительно самим чище выглядеть? Во всяком случае, я не знаю, что страшнее и что вреднее для нашей истории, для нас с вами, брежневских времен? На их материале, на фоне личности Брежнева, я считаю, и общество наше, и мы выйдем просто неприлично! Это тоже имеет отношение к истории, ведь любой отрезок времени — это история; Хрущев — это уже история, и Брежнев, как бы ни хотели от воспоминаний о нем избавиться, — тоже история. Причем, я считаю, история весьма позорная. И осо-

бенно она позорна для нас, фронтовиков, которым удалось в большинстве своем вести себя достойно на войне и не очень достойно — в период «брежневщины». Я как-то был у своего фронтового друга. Это совпало со временем, когда награждали Брежнева орденом «Победа». Друг мой, бывший десантник, потом артиллерист, человек очень большого мужества, честнейшей жизни, прошедший после войны путь от сцепщика вагонов до крупного руководителя металлургии, был секретарем райкома, спросил меня: «Когда нас кончат унижать?» Я ему ответил: «Нас будут унижать до тех пор, пока мы будем позволять это делать». Я думаю, то, что сейчас называется «историей литературы» — это как раз унижение нашей литературы, нашей мысли и нашего не очень равномерного развития, в том числе развития литературного.

Хочу остановиться на таком вопросе, как история Великой Отечественной войны. Сейчас все время говорят о коллективизации, о перегибах при ее проведении. Это тема очень сложная, трагическая. И почти не говорят о том, что мы как-то умудрились не без помощи исторической науки сочинить «другую войну». Во всяком случае, к тому, что написано о войне, за исключением нескольких книг, я как солдат никакого отношения не имею. Я был на совершенно другой войне. А ведь создавались эшелоны литературы о войне. Например 12 томов «Истории второй мировой войны». Более фальсифицированного, состряпанного, сочиненного издания наша история, в том числе и история литературы, не знала. Это делали, том за томом, очень ловкие, высокооплачиваемые, знающие, что они делают, люди. Недавно схватились два историка, Морозов и Самсонов, в споре о частностях в этой истории. Я написал письмо редактору газеты о том, что историки в большинстве своем, в частности те, которые сочиняли историю Великой Отечественной войны, не имеют права прикасаться к такому святому слову, как правда. Они потеряли на это право своими деяниями, своим криводушием. Им надо покаяться, очиститься.

Недавно в «Литературной газете» была помещена великолепная полоса, посвященная 1000-летию Крещения Руси. Дали возможность высказаться зарубежным общественным деятелям, зарубежным философам. И они черным по белому пишут: «Мы знаем, а вы не знаете!» И это действительно так. До сих пор мы не знаем, сколько людей потеряли в Великой Отечественной войне. Я слышал

массу разных цифр. Но мне хотелось бы знать как солдату, сколько народу мы все-таки потеряли? В последнем издании «Истории Великой Отечественной войны» написано: «более 20 миллионов». Я представляю себе, сколько стоило труда, чтобы слово «более» было вставлено! И какие препоны преодолели какие-то люди, какое-то здоровое ядро, работавшее над этой совершенно ужасной книгой, которые это слово сумели вставить. А люди думают: что за этим «более» скрывается? Когда же с нами, уже доживающими свой век, перестанут разговаривать какими-то полунамёками, полуправдами? Полуправда нас измучила, довела нас до нервного истощения.

То, что русская литература на каком-то этапе сумела как-то выправиться, создать целое направление, т. н. «деревенскую прозу», ряд великолепных книг, я думаю, это произошло не благодаря науке истории, а вопреки ей. Когда касаешься целых отрезков, очень сложных и очень трагичных отрезков времени, и узнаешь затем откуда-то со стороны о том, что в 1941 г. из пяти больше трех миллионов наших воинов попали в плен, то ужасаешься. Как относиться к этим цифрам? Я до сих пор отношусь к ним с недоверием. Цифры эти меня просто ошеломили. Но когда вспомнишь о том, что в той же книге об Отечественной войне не перерисованы карты, и если вы внимательно посмотрите эти карты и текст, который сопровождает их, то увидите полное расхождение между ними. Мы просто не умели воевать, мы просто залили своей кровью, завалили своими трупами фашистов. Вы посмотрите на любую карту 1941-го и даже 1944 г.: там обязательно девять красных стрелок против двух синих, вражеских. И на протяжении всей войны было так. Одна 11-я армия Манштейна разгромила на глазах у Черноморского флота все наши армии, которые находились в Крыму, прошла через Сиваш, оставив потом часть своих войск под осажденным Севастополем, с двумя танковыми корпусами Манштейн сбегал под Керчь и опрокинул в море три наши армии! Я понимаю, что об этом писать очень тяжело. Лучше, конечно, когда под барабанный бой провозглашается, что мы победили! Но как победили?

Может быть, стоит прислушаться к словам Честертонна, что все победители в конце концов становились побежденными? Если сейчас глянуть на центр «деревенской» России, которая была в основном поставщиком солдат, то, у меня во всяком случае, создается впечатление,

что мы — побежденные. Мы с трудом сейчас начинаем подниматься, не исправлять еще, до исправлений далеко! Посмотрите на то, что делается, допустим, в провинции, на то, как встречается там слово «перестройка»... Общество перестраивается не сразу. Оно переделывается медленно, оно закостенело. Руководство, которое было на местах, осталось, оно спокойно переживает: может быть, все это кончится и все будет как было.

И все-таки история Великой Отечественной войны, история коллективизации и сама литература не должны ограничиваться каким-то кругом тем или сочинений. Вот «Литературная газета» объявит список произведений и начинает их прорабатывать. А многие великолепные книги, писатели остаются в тени, и совершенно необоснованно. Так остался в тени Константин Воробьев. Сейчас нигде не упоминаются романы Ивана Акулова «Крещение» и «Касьян Остудный» — лучшая книга о периоде коллективизации. Долго не упоминалась поэма Твардовского «По праву памяти». Теперь это произведение издано, и следом прошли, к сожалению, сокращенно, воспоминания брата поэта, Ивана Трифоновича, очень горькие и очень честные воспоминания. Так история начинает создаваться помимо Академии наук. А большинство наших писателей даже не знают, что в ней, оказывается, занимаются историей литературы.

Очень часто все наши выступления сейчас на периферии воспринимаются как духовное начало. И каждый из нас должен взять на себя смелость и ответственность нести в народ это духовное. Народ считает, что мы должны сказать ему правду, закрыть ту яму, в которую попала наша культура. На периферии нас захлестнула мутной волной массовая культура. Да и на периферии ли только? Растет молодежь, которая не знает ни настоящей литературы, ни искусства. Она смотрит в большинстве своем такие телепередачи, как «Взгляд», «До и после полуночи». Ничего не могу сказать, передачи хорошие, хотя и очень засоренные псевдокультурой, в особенности музыкальной и вокальной.

Опять очень много говорится слов, красивых, дежурных, всяческих, и очень мало дел, настоящих. Как бы снова не утонули мы в словах о перестройке и демократии, как было уже не единожды. На местах, на периферии, почти ничего не сдвинулось с места. Есть какие-то внешние признаки перестройки. Всем нам, всему народу надо

очнуться, набраться сил, мужества, спокойствия, чтобы не дергаться и выправить положение. Кто-то способствовал всему тому, что произошло: способствовал Сталин, способствовал Брежнев, но все-таки и мы с вами способствовали. Были же люди, которые и во времена Сталина, и во времена Брежнева вели себя прилично; имели мужество не блудсловить, хотя бы, а молчать. Нужно как-то искупать свой позор, свою вину, соответствовать тому назначению, которое определил нам народ, судьба, история.

1988

IV



РУССКАЯ МЕЛОДИЯ

•

ОБ ОДНОМ ГОРЬКОМ ПОКАЯНИИ

С возрастом утрачивается азарт и в чтении. Видимо, не ждуться уже те потрясающие, давние открытия, которые происходили при чтении «Робинзона Крузо», «Острова сокровищ», «Борьбы за огонь», «Всадника без головы» и «Робина Гуда», книг Гюго, Майна Рида, Фенимора Купера, не открывается дальняя земля, а может, и планета, где жили и озоровали похожие на тебя Томас Сойер и Гек Финн, где...

Ах, как много утрачивается из того, чему ты доверялся, чем восхищался в детстве, юности и былой обобранной до нитки молодости. Все чаще тянет перечитать что-нибудь из родной классики, еще и еще подивиться провидческому дару наших гениев: Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. Ныне охотней читаются письма, дневники, статьи и книги о жизни и деяниях наших Великих соотечественников. Читая их, еще и еще поразишься и погорюешь о том, что вещие их слова не везде, не всеми услышаны и так мала отдача от их титанического труда. Все кажется, что они рано родились, не в то время мятежно и дерзко мыслили, шли на эшафот и костер за нас, за наше будущее. В дремучей тайге невежества, указуя нам просвет впереди, не напрасно ль они усердствовали и надрывались?

«Поэты не бывают праведниками, потому не бывают и отступниками. Проповедники и праведники должны быть всегда на высоте — таков их, извините, имидж. Столпник не может позволить себе кратковременного сошествия в

кабак ради встречи со старым другом. А у поэта и «всемирный запой» случается. Поэт «бывает малодушно погружен в заботы суетного света и среди детей ничтожных мира бывает — всех ничтожней он...» Поэт столь же мучительно противоречив, как сама жизнь, даже не столь, а более — в нем жизнь многократно усилена, увеличена, его подъемы выше среднечеловеческих, а спады тоже «не как у людей». Поэт не исповедник, а сама исповедь. «Святой, обращаясь к нам, начинает сразу с небесной истины, а поэт — с земной правды».

Эта длинная цитата из письма поэта Кирилла Ковальджи, помещенного в журнале «Континент». Марина Кудимова, поэтесса и довольно активный деятель на ниве современной, растерянно пятящейся культуры, написала и напечатала в «Континенте» № 72 статью, в которой довольно резко раскритиковала Владимира Высоцкого, а заодно и его предтечу, Великого русского поэта Сергея Есенина. Сделала она это напористо, уверенно, не без публицистического задора, обвинив и учителя, и ученика в расхристанности, не случайно-де их прибежищем сделался блатной мир.

Оно вроде и правильно. Сам я и мое поколение, в большинстве своем, приобщилось к Есенину, а затем следующее поколение — к Высоцкому через «тонное» пение солдагеров и сокопников, через альбомчики тридцатых годов, а современники — через хрипачьи, ленту рвущие магнитофоны, зачастую не зная, чьи тут искаженные, но все равно певучие и складные стихи, чьи тут песни, выкрикиваемые хриплым голосом под гремящую гитару. Главное, думал я, и Ковальджи в своем письме так же подумал: люди, не читающие ничего, приобщались к поэзии. Пусть кому-то она покажется и грубой, и примитивной, и безыдейной, но через нее и через них, Есенина и Высоцкого, в мир поэзии отчалила и уплыла масса народу. Вполне может быть, что они, эти «темные» массы, как и я Майн Рида, не смогут ныне и не захотят больше читать кумиров своей юности — «прошли их», а читают Бодлера и Вийона, Тютчева и Ахматову, Рильке и Данта, Хименеса и Ду-фу — и помогай им Бог! А я вот говорил и говорю еще раз спасибо родному Никитину за хрестоматийный стишок «Звезды меркнут и гаснут», который стал для меня путеводной звездой в безбрежный, радугой-дугой светящийся, вечно волнующийся океан поэзии! Кто, что были бы мы без поэзии и музыки?

Снова и снова дает о себе знать недавняя неотболевшая, неотторжавевшая, никак не отлипающая от нас привычка — требовать, чтобы «служенье муз» было суетливо, чтоб поэт не пел, как душа велит, а угождал времени, потрафлял вкусам вождей, унавоживал колхозные нивы хилыми, зато патриотическими строчками, следовал бы букве наставлений, слушая и слушаясь власть имущих, удовлетворяя требования народа. Какого? И того, что потребляет литературу, когда идет в туалет с вырванной из книги страницей?! И того, что в советских казематах или в застенках Бухенвальда писал кровью на стене бессмертные строки? Слово НАРОД — не для прикрытия невежества и зверства да чьих-то партинтриг — человеком создано, оно существует для обозначения более сложных, важных и вечных надежд и истин.

Снова и снова вспоминаю, как совсем недавно, на сборище, именуемом Съездом писателей или «объединенным пленумом работников культуры», верноподданническая говорильня приветствовалась бурными аплодисментами, шли какие-то куда-то выборы, оглашались длиннющие списки членов правления, комитетов, обществ, комиссий, зачитывались обращения, протесты, постановления, которые никто не читал и не слушал, затем удалялась куда-то — «думать» — партгруппа, ненадолго, правда — впереди банкет! На заключительном заседании перед изнемогшей от речей и пьянок аудиторией провозглашались фамилии тех, кому надлежало руководить нами и направлять литературу, а то и всю культуру по верному пути. Эти нами избранные деятели уже сами устраивали междусобойчик и распределяли обязанности.

Комедия выборов от Кремля и до леспромхозовского клуба осуществлялась по одной и той же модели, по давно наработанному одному и тому же сценарию.

И все привыкли к этому, и ныне есть люди, которые тоскуют по такому вот былому «порядку». Помню, что более всего разумных людей раздражали на этих собраниях, демократически осуществляемых выборах не сами даже заправила — Л. Соболев, Михалков или Марков — чего с них взять? Таково их предназначение «свыше» — направлять и заправлять. Более всего бесили «шестерки из народа», которым вельможно доверялось оглашать списки, что-то возглавлять, кого-то проверять, подсчитывать, распределять и вместе с избранным сословием решать кому царить, а кому быть холопом.

Помню, как однажды, выйдя в коридор и вытирая пот с лица, хлопнул меня по плечу один бездарный романист, все время чего-то возглавлявший:

— Ну, старичок, и тебя вот не забыли, в секретари двинули!..

Очень он и его литературные патроны гневались потом, что никакого значения я своему секретарству не придавал и ни на одном заседании не бывал. Работал. Дома. Выполнял назначенное Богом дело, как выполняю его и по сию пору. Среди тех, кто взлетал на трибуну, чего-то провозглашая, зачитывая, указывая ли, довольно часто мелькала поэтесса Екатерина Ш....

Правление и секретариат считали, что привлечение к работе съезда писателей из глубинки, из настоящего народа не просто почетно, это очень даже свободой и демократией отдает — за активность, за старание и ораторский голос «творца» избирали в правление, когда — в ревизионную комиссию или в редакционный совет. Екатерину Ш... за активность и речистость избрали в секретари, и в редколлегии вводили, и очень много печатали, издавали — заслужила, заработала!

Не помню, на последнем или на предпоследнем съезде писателей Союза РСФСР увидел я стройную, спортивно сложенную женщину в кремовой юбке и черной блузке. К фигуре этой младожавенькой, физкультурной приставлено было однако довольно усталое, почти старое лицо. Едва я узнал Екатерину Ш... Уже не взвинченно активная, не бегающая озабоченно по залам: «Товарищи! Товарищи! Партгруппа собирается в комнате номер...» Она сидела в перерывах в стороне, угасшая, неразговорчивая, никому, казалось, и сама себе не радая.

Поэтесса когда-то написала: «Здесь солдаты умирали, защищая Советскую власть...», а Людмила Зыкина на всю страну эти слова пропела.

Тяжело, смертельно заболела поэтесса, в ней происходил тяжкий процесс прозрения. Она сама себе написала эту вот душу раздирающую эпитафию:

Над кладбищем кружится воронья,
Над холмиком моим безobelиска.
Будь проклято рождение моё,
В стране, где поощряется жульё.
Будь проклята бывшая коммунистка!
Будь прокляты партийные вожди,
Что были мной доверчиво воспеты,

Спешившие захватывать бразды
Правления над судьбами планеты.
Будь проклята слепая беготня
По пресловутым коридорам власти,
Бессовестно лишавшая меня
Простого человеческого счастья.
Будь проклято самодовольство лжи
С ее рекламой показных артеков!
Будь проклят унижительный режим,
Нас разделявший на иуд и эзков!

Жалко Катю Ш..., так поздно осознавшую земную правду. Талант и жизнь ее жалко, как жалко до стона тех, кто сейчас всеми брошенный, пребывая в одиночестве, бьется головой об стенку — горько недоумевая: за что боролся? Зачем жил? И не готов к покаянию не только перед Богом, даже перед собой.

Поэтессе Екатерине Ш... дано было исповедаться, покаяться в предсмертном крике, даже в стоне.

Поверь искренности поэта, Господь, и прости его, ибо он зачастую не ведает, что творит!

ГДЕ НАШ ПРЕДЕЛ?

Из текущей публицистики

Ну вот еще год прошел, дело с изданием Собрания сочинений с места не сдвинулось, зато жизнь на Руси сдвинулась — она снова вступает в период борьбы «за светлое будущее».

Принявшее на себя молодое государство и народ наш нашествия и бури Востока, раскол церкви, дурновластие временщиков и всевозможных самозванцев, грудью защитившее Европу от полчищ Батгья, выдержав нашествие Наполеона и немецкого фашизма, сокрушившее их и снова спасшее Европу от коричневой и всякой прочей чумы, они — народ наш и отечество наше — никак не могут избавиться от чумы красной, самопорожденной.

Я дописываю это послесловие сразу после выборов в Государственную Думу, на которых большинство голосов отдано за коммунистов, снова переоравших всех, снова заморочивших доверчивую голову русского мужика (я говорю мужика, потому что активней всего и больше всех поддерживали и поддерживают авантюристов-коммунистов русская провинция, окраина России, наш сибирский и дальневосточный народ). Грядут перемены! Для начала коммунисты погладят по головке неразумное дитя и даже кашки ему дадут, но потом начнут расправу над народом, с ним в ногу не желавшим и не желающим шагать, снова стравят брата с братом, бедного с богатым, а поскольку богатых и богатства нынче достанется не то, что после Октябрьской революции, когда большевики Россию грабили-грабили, но до конца разграбить не могли, то «но-

вые красные» нацелят россиян избивать друг друга за то, что у соседа земли больше, машина дороже, дети умнее, собака породистой, картошка растет крупнее.

Я понимаю, что далеко не все горячо вдруг возлюбили коммунистов, а в основном пенсионеры и в простое находящиеся рабочие, но чаще работу вовсе потерявшие — голосовали против нынешних порядков, разлада в экономике и в стране, против тех, кто не справляется с управлением страной, с тем разладом и раздраем, которые, между прочим, коммунистами и порождены, и развал государства они же предрешили. Они, они, сумевшие перевалить болезнь и беду страны с больной головы на здоровую. Ну как это может колоссальное государство, крепко стоящее на ногах, колосс может рухнуть в несколько дней и свалить его может один или два человека. Какими титанами, какими гениями, какими богатырями-геркулесами надо быть, чтобы осуществить этакое действие?! Но ни Горбачев, ни Ельцин таковыми не являются. И благодарить их приходится скорее за отвагу, чем за ум и силу. Ведь еще на девятнадцатой партийной конференции председатель партии, генсек, прервав доклад, снял очки, печально глянув в зал, внятно сказал: «Ну, товарищи, даже мы не ожидали такого развала...» Да и сам я, да и я ли только, бывая на выступлениях и встречах с трудящимися, получал записки из зала, и в немалом числе: «Как дальше жить?» Иногда и ответ был тут же: «Так дальше жить невозможно...»

И вот люди от дури, от риска ли и безрассудства своего, взявшиеся за работу, чтобы жить было возможно, подверглись травле, ругани, оскорблениям, провокациям, втягиваниям в конфликты, вплоть до кровопролития. Выйдя из коммунистов, они, в первую голову они, ощутили и знали, какая подлая сила действует у них за спиной, мешает, не гнушаясь никакими способами и средствами, осуществлять начатую работу по разваливанию страны. «Красные» не изменились и не изменятся, и остается лишь поклониться главам государства, переживающим, быть может, самую сложную пору за всю свою историю, за то, что они не опустились до ответной кабацкой и уличной брани, не обзывались, не лаялись, как ямщики на постоялом дворе, но даже наоборот — дали обнажиться, во всей красе себя показать их хулителям, «борцам за народ». Борцы эти рвутся к власти и могут прорваться, как Наполеон, позорно бежавший из ссылки на короткое время,

и тогда кончится их счастливое время, когда, прикрытые спинами нынешних правителей, они нагло и бесстыдно вставляли им шило в мягкое место, делали подножки, плевались, дрались в парламенте, громко материли неудобных супротивников на всю страну, травили, как собачонок, разгоряченных демократов, подставляли под пули и снаряды неразумную толпу, оставаясь при этом на обочине, в сторонке. Ведь ни один депутат при штурме Белого дома не пострадал, и в тюрьме сидевшие защитники кровопролития и провокаторы не испытывали тех страданий, не подвергались тем издевательствам, каким подвергались ни в чем неповинные люди, хватившие горя в советских тюрьмах, на мерзлой земле гулаговских лагерей.

Но главное, не поумнели, не прониклись горем народа, а еще больше остервенились, не пришли к Богу, но еще ближе соединились с сатаной. Товарищ Руцкой тому самый яркий показатель или уж точнее — экспонат. Скричагая зубами, называя себя то президентом, то советским генералом, он, слава Богу, перестал называть себя, как бывало, русским офицером, ибо трижды побывав в плену, должен был трижды застрелиться от бесчестья, как и подобало русскому офицеру. Но что такое бесчестье для человека, который о чести и понятия не имеет. Вот он собирается стрелять других, или уж в четвертый раз в плен рвется, иль смирительную рубаху вместо мундира тянет на себя.

И как бы один Руцкой был такой «храбрый»! Рабы двадцатого века, замордованные, трусливые, часто подлые, прошедшие выучку насилия и страха, получили возможность ругать власти прилюдно, не на кухне, а на площадях, и эк из них поперло! Эко их понесло! Гневаются до того, что аж нравятся сами себе. У японцев если хозяин-наниматель не глянется рабочему, он бьет палкой чучело, специально для этой цели изготовленное, а у нас глотку дерут и еще... еще стихами исходят. В последнее время в моей почте в каждом втором конверте — стихи, половина из них — безграмотно, в столбик написанные стихотворные изобличения режима и Ельцина. Ах, не хватает ни ума, ни воображения представить изобличителям и ниспровергателям режима, что было бы с ними, если б в начале перестройки и при попытках переворота, в том числе и кровавого, что было бы нынче с ними, кого бы они и что изобличали на площадях в стихах своих, если б добры молодцы — Руцкой и посланец «дружественного»

Кавказа — установили свой, коммунистический, режим? Ведь, находясь в осаде, в Белом доме, они уже поторопились провести «свою сессию» и без лишних проволочек, юридических тонкостей приговорили и действующее правительство, и всех «не наших», в первую голову ненавистную, вольнодумную интеллигенцию к смертной казни, к лесоповалу и рудникам.

В списки те попали и такие деятели театра, как Захаров и Ульянов. Ну ладно, Захаров — еврей и нечего ему жить на русской земле, ну, а Михаил-то Александрович Ульянов, коренной сибиряк, великий артист — чем он-то прогневил «патриотов»? Наверное, тем, что в трудные дни скрепя сердце, попустившись прямой своей работой, почти перестав выходить на сцену и сниматься в кино, возглавил Российское театральное общество и взял на себя тяжелейшую работу по восстановлению сгоревшего в самом центре Москвы старинного помещения этого самого театрального общества. Несмотря на смертный приговор, работу эту он сделал, снова выходит на подмостки и гениально играет в пьесе бессмертного Островского «Без вины виноватые».

Но все наше неразумное бесовство, всю нашу дурь не описать, не понять, приходится лишь соглашаться с великим Тютчевым, что «в Россию надо только верить». И придерживаться древней мудрости, что только у времени нет смерти и оно, оно, бессмертное, разрешит и рассудит наши дела, наши поступки, наши свершения и преступления, а Бог, будем надеяться, простит нас за наши многие и тяжкие грехи.

Вот одно из веяний быстро текущего времени: вышло решение в Кучинской политзоне сделать мемориал политзаключенных. Подумать только — не охранную зону природы, не заповедник с редкими животными, а мемориал замученных, ни в чем неповинных людей — наших соотечественников! И возглавить эту работу поручалось университетскому другу моего сына — оба они родом чувовские. Но иудушка Зорькин в Конституционном суде уже бросил наживку новым государственным деятелям о восстановлении низовых коммунистических организаций, и они ее заглотили — и опомниться не успели, как красная гидра, вроде бы изрубленная на куски, обезглавленная, тут же срослась в единое змеиное тело, ударила хвостом — и тут же «революционное пламя» охватило — всюду забегали, затрясли кровавыми знаменами и портрета-

ми «отцов народа» старые, с выпадающими челюстями, но все еще неистово злые, горластые патриоты.

Поскольку весь Урал, промышленный городок Чусовой в том числе, был осыпан лагерями, то и тут образовалась оголтелая кучка защитников «светлого прошлого», из этой лагерно-тюремной обслуги, терпеливо дожидавшейся своего часа и твердо надеющаяся еще послужить во имя справедливости и свободы отомстить всем, кто их лишил такой «нужной народу» работы, посмел говорить и писать о них непочтительно.

Словом, дело с Кучинским мемориалом заглохло*, и если власть снова захватят коммунисты, они еще раз и поскорее сравняют бульдозерами «исторические места», связанные с репрессиями, чем разрешат открывать мемориалы, закрепляющие в истории их достославные деяния.

Ну, а прах Великого украинского поэта и гражданина Василя Стуса, покоившегося в селе Копалино, рядом с кучинской зоной, на скорбном лагерном кладбище, земляки его, настоящие украинские патриоты, увезли «домой», выкопали, увезли и захоронили с почестями при огромном скоплении народа в Родной земле.

Течет, бежит время, не имеющее смерти, и скорбит Господь, глядя на нашу жизнь, и никак не может унять нас, успокоить, остановить наш бег к пропасти, к самоуничтожению.

Так и видится все в исходном свете, при утхающей свече: в одном конце земли — многотысячная процессия несет с плачем и раскаянием к месту погребения замученного поэта, неподалеку, на площадях, мечется, оскалив зубы, существо, которое уже и человеком назвать затруднительно, рычит, выкрикивает лозунги и призывы, зовущие на новую борьбу, существо жаждет, требует новых жертв, новой крови, новых мук и страданий.

Господи! Где наш предел? Где остановка? Укажи нам, окончательно заблудившимся, путь к иной жизни, к свету и разуму! Господи! Ты же обещал нам его, указывал, но мы оказались непослушными чадами, норовистыми, свой разум куцый с гордыней своей выше Твоего вознесли и в беге, смятении, в вечной борьбе за свободу и счастье, не понимая, что жизнь, которой Ты нас наградил — и есть

* И все-таки скопанное, хитро упряганное «хозяйство» № 36 парни с помощью не «покрасневших» властей восстановили и продолжают работать, уже и зрители, и туристы заезжают в Кучино.

высшее счастье и награда, а свободой, значит, и собой, по Твоему велению мы обязаны распоряжаться сами. Но мы не справились с этой первой и единственной святой обязанностью, впали в тяжкий грех отрицания всего разумного, нам свыше дарованного.

И прости нас, Господи! Прости и помилуй. Может, мы еще успеем покаяться и что-то полезное и разумное сделать на этой земле, и научим разумно, не по-нашему, распоряжаться жизнью своей и волей наших детей и внуков. Прости нас на все времена, наблюдай нас и веди к солнцу, пока оно не погаснет. Говорят, лишь через многие миллиарды, и, может быть, этих миллиардов лет хватит для того, чтобы просветиться и укрепнуть человеческому разуму.

ПОСТОЙТЕ — ПОПЛАЧЕМ!

В газете «Красноярский комсомолец» за 10 июня 1986 года рассказывалось, как две девочки 16 и 17 лет зверски избили свою сверстницу. Произошло все это на дискотеке во Дворце культуры КраЗа. Материал так и назывался — «Случай на дискотеке».

В ходе следствия выяснилось, что никто, в том числе и пострадавшая, не придали случившемуся особого значения. Дело, в общем-то, обычное (!). Да и во внешности всех трех девушек нет ничего, выражающего жестокость или хотя бы грубость. А главная «героиня» Ирина и вообще очень привлекательна. «Высокая, белокурая, с тонкими, выразительными чертами лица, — пишет журналист. — Работает продавцом и учится в 10-м классе вечерней школы. Увлекается волейболом, читает фантастику. Трудолюбива. А еще любит детей. В семье старшая, кроме нее двое малышей, и она с ними с удовольствием возится, опекает...»

И вот она, эта «белокурая, с тонкими чертами...» бьет сверстницу... ногами. Впрочем, внешность обманчива. Именно так! Почитайте Иринин диалог с судьей, и вам все станет понятно.

Ира: Может, ничего бы не было, если б я не была пьяна.

Судья: Где вы взяли спиртное?

Ира: Сложились, купили в магазине.

Судья: Вам никто не мог продать.

Ира: А мы прохожего парня попросили.

Судья: И пьяные пошли на дискотеку?

Ира: А так многие ходят.

Чтение статей подобной тематики приводит в уныние не только старших людей, родителей, педагогов, но и нас, работников искусства и литературы, ввергает в полную прострацию, припирает к стенке, распластывает на ней. Из груди так и рвется крик: «За что боролись?..» И не только мы.

За что же боролись и страдали, гремели цепями, гнили в казематах, положили головы на плахи, сгорели на кострах великие ученые и борцы? За духовное величие человека, за его нравственное возвышение? «Куда смотрели» Лев Толстой, Достоевский, Шекспир, Пушкин, Лермонтов, мы — нынешние служители слова, а говоря пышно — «творцы»?!

Ведь тут вольно или невольно возникает вопрос: а зачем я работал и работаю? Зачем оглох от перенапряжения сил своих и могучего таланта гениальный Бетховен? Зачем было не менее гениальному Рубенсу, когда у него отнялась правая рука, учиться писать левой? Зачем явились миру Моцарт, Вивальди, Бах, Верди, Чайковский? Неужели напрасно, впустую, не ради спасения чести и духовного возвышения народа русского шли под пушоты Лермонтов, Пушкин? Для чего, сгорая от чахотки, в холодной каменной камере страшной крепости мучительно умирал и не унижался до выпрашивания милости поэт Полежаев, который был чуть старше девиц, нажравшихся непотребного зелья и обратившихся в животных. И я прошу не смягчать выражения этими привычно-обтекаемыми газетными увертками типа: «несозревшие», «недовоспитанные», «встречаются отдельные недостатки и негативные явления», «недостаточное влияние коллектива». Я тоже работал в газете. Долго работаю на «ниве», владею способами прятать правду и закрывать глаза на последствия от этих «пряталок».

А они вот налицо, и «на лице» — последствия эти.

Юные девицы, школьницы еще пользуются благами общего образования, именно как благо, как чудо, как награду мы еще в начале тридцатых годов восприняли возможность научиться читать, писать и считать. На нас с надеждой и завистью смотрели наши деды, матери и отцы — научатся дети, грамотные будут, совершенными людьми сделаются, станут жить лучше, пойдут дальше.

И вот пришли. Наши внучатки устремлены в туалет

концертного зала бить морду друг другу, выдирать волосы, пинать женщина женщину! Каблуком модной туфельки. Перед этим фактом меркнут все наши достижения и устремления, все наше прекраснодушие, все красивые слова выглядят пустой болтовней.

Поразителен тон самой статьи — деловито-спокойный, почти бесстрастный, с выводами и моралью, с упреками и назиданиями. Тут впору караул кричать, в колокол бить, срочно общественность на пожар созывать!

И ни единого словечка об ответственности работников искусства, того самого искусства, которое пробуждает в человеке низменные чувства, жестокость, агрессивность. А ведь именно затем, чтобы взвинтиться как физически, так и сексуально, собирается эта молодая толпа, точнее, стадо в тесные залы, где потно, плотно, горячо, где тело к телу липнет, где действуют ноги и то, что повыше их, а голова приложена для того, чтобы на ней болталась прическа или чаще нечесанные лохмы.

По мне, так вместе с этими сопливыми девчонками, которые жаждут острых ощущений, в зале суда должны быть и те, кто потрафляет всему этому, поставляя суррогаты музыкального свойства, помогая пробуждать животные чувства и дикие действия у незрелых юнцов, которые берут, да что берут — хватают то, что ближе лежит. Да им и хватать не надо. Им всунут, поднесут, в рот положат продукцию с названием «пошлость», и многие из них, многие — я настаиваю и на этом определении — так никогда и не узнают и не соприкоснутся с тем, что зовется прекрасным, останутся ограбленными на всю жизнь. И в этом надо винить не только родителей, педагогов, вялое возмездие судов, свое общество, закрывающее глаза на будущее своих детей, а значит, и свое, наше будущее, так услужливо идущее на поводу у незрелых юнцов, о морали человеческой лишенных какого-либо понятия и не желающих знать, что такое нравственность, с чем ее и зачем «едят»? Пусты козлов в огород — съедят капусту, а в нашем «огороде» растлеваются на виду у всех, съедаются души юные, развращается тело и вянет ум, и при всем при этом мы много, равнодушно и нудно толкуем о будущем, твердим о вере в него.

На каком основании?!

В Древней Аравии, на заре человеческой истории, поэт Имру иль Кайс призывал братьев по Земле: «Постойте! Поплачем!»

На исходе двадцатого века в стране всеобщей грамотности юные, школу посещающие существа бросают вызов друг другу: «Пойдем в туалет, я тебе морду начищу!» А молодежная газета — да только ли она одна? — констатирует этот факт и живет себе дальше.

А в это время гремит, беснуется, моргает светом, визжит, дымится, охает, улюлюкает «искусство», подыгрывая пьяно топотающей толпе, на которую глядя, невольно вспомнишь слова английского поэта, погибшего под Арденнами на войне в возрасте этих вот самых танцоров: «И вертится Планета, и летит к своей неотвратимой катастрофе».

1986

ХОМО ТЕХНОКРАТУС

Ответы на вопросы (киевский сборник)

У меня и со здоровьем, и со временем не очень хорошо, поэтому коротенько отвечу на вопросы анкеты и попрошу простить меня за то, что не смогу принять более весомого участия в интересно задуманной книге.

1. Повидавши разгром природы на Урале, гибель деревни в средней России и наблюдая варварское, колониальное отношение к природе, земле и богатствам Великой, богатейшей страны под названием Сибирь, с горьким недоумением глядевший в погибшие воды рек Европы — Эльбы, Рейна, Сены, я никакого оптимизма насчет будущего земли высказать не могу, хотя и рад бы. По этой же причине не верю и в мировую гармонию, тем более достижение ее посредством научно-технической революции. То, что мы именуем гармонией, вообще недостижимо при таком хозяине Земли, как хомо сапиенс, существе, на мой взгляд, лишь во взлетах отдельных гениев и мыслителей, доказавших, что он мог бы образумить варваров словом, искусством, мыслью, но, увы, на одного мыслящего и трудового человека во все века наваливались тучи кровожадных насильников, дармоедов, лжецов, и они в конце концов добились своего, растоптали святое, реалистическое искусство, надругались над словом, над здравым смыслом, с приплясом, визгом, хохотом двигаются ко краю пропасти.

Мне иногда кажется, что человек занял чье-то место на земле. Сожрал на ходу того, кому была предназначена эта прекрасная планета, и даже не заметил этого. Не верю,

не хочу верить, чтобы такие дивные и незащищенные цветы, деревья, животные предназначены были для того, чтобы тупое существо растаптывало их, сжигало, обжаривало, заваливало дерьмом.

2. Взаимоотношение экономики и экологии в том виде, в каком их «изготовил» человек — несовместимы, как гений и злодейство. Примирение их? Не Вам, живущим рядом с Чернобылем, задавать такие благодушные, если не безответственные вопросы.

3. Не знаю. Уже не шаги нужны, а целый переворот в сознании человека, в его взаимоотношениях с природой-матерью.

4. В этом веке человеку уже не остановить бешеного, нахрапистого и расхристанного наступления на природу. Но преуменьшить зло возможно, начав вместе с разрушением лечение Земли и неба. Спасти и спасти будущее планеты и людей возможно простым и всем доступным способом — уже сейчас, с детского садика начавши воспитание детей по законам созидания, а не разрушения, и с самого раннего возраста повседневного, постоянного общения детей с природой, для чего необходимы уроки природоведения везде и всюду, и непременно участия детей в восстановительной работе по всей земле, приобщения к крестьянскому труду. Война и войны ничего, кроме зла и хаоса, на земле не сотворили, и солдата с ружьем, человека с топором должен заменить труженик с лопатой, молотком и саженцем в руках. Иначе — гибель всем и всему.

5. Роль культуры? А что Вы имеете в виду? Какая может быть культура с таким всеобщим низким сознанием, с таким агрессивным характером человечества? Может быть, поменьше сочинять лжи и таким образом меньше будет истребляться лесов на бумагу, меньше малевать псевдо-живописных полотен, не снимать пустопорожних кинофильмов и таким путем экономить шерсть ценных животных, употребляемую на кисти, масло, серебро, золото и прочие редкие материалы.

6. Каждому человеку пора садить, а не рубить; строить, охранять, спасать, а не болтать всуе о спасении земных ценностей, самой земли, как и о гибели ее.

7. Я уже давно не беру в руки ружье.

С КАРАБИНОМ ПРОТИВ ПРОГРЕССА

I

Прошлым летом я проплыл по Енисею от Красноярска до Диксона. Поездка на комфортабельном туристском корабле дивная, однако совершенно бездеятельная, и это не для меня. Но если нет дела ногам и рукам, глаза-то видят, ухо слышит, память работает.

И светло, и грустно было у меня на душе.

Первый раз в северную сторону я плыл на пароходе «Ян Рудзутак», который и до того, и после переименовывался еще не раз, дни свои окончил под именем «Мария Ульянова». Говорят, что какую-то часть пути по Енисею в проклятую царскую ссылку Ленин проделал на этом пароходе, в отдельной каюте, на корабельной койке с простынями. В годы великих строек на этом же судне, как свидетельствуют бывшие многочисленные советские невольники, и в частности старейший наш писатель Олег Волков, — «человеческий материал», в том числе и политзаключенных, возили уже насыпью в железных трюмах, пропахших соленой рыбой, и, случалось, трусливый конвой до самой далекой Дудинки, расположенной на высоком и воистину «диком берегу», не выпускал подконвойных на воздух — круг замкнулся, но «Ульяновы» везли нас в разные стороны.

В ту пору «Ян Рудзутак» отапливался дровами, и был он весьма прожорлив: сутки шел, полторы забивался дровами, так что времени полюбоваться природой и ознакомиться с жизнью северной стороны было вдосталь.

Увы, тогда, в середине тридцатых годов, северные енисейские земли выглядели более обжито и возбужденно, нежели нынче. А вот горевать об этом или радоваться этому — я не знаю.

В последние годы, во времена величайших парадоксов или катаклизмов — одно из любимых ныне обиходных словечек — порой уже черное выглядит белым, безнравственное нравственным и наоборот. Не раз и не два за рубежом показывали мне магазины и музеи, забитые нашими духовными ценностями. В вашингтонской картинной галерее директорша крупнейшего нашего достославнейшего музея показывала мне целые залы, заполненные бесценными русскими иконами, картинами, прикладными видами искусств и, горюя, заключила: «Плакать бы надо, а я хоть и не радуюсь, но мирюсь с этим — здесь все это бесценное добро сохранится для человечества, а у нас? Вы бы заглянули в наши запасники...»

Вот и я, глядя на пустынные енисейские берега, на взлобки в устье звонких речек, украшенные завалившимися скелетами изб, заросших бурьяном, поражался еще раз тому, как умело, можно сказать, роскошно ставились российскими переселенцами села и станки по Сибири. Мало им большой реки, непременно еще и устье речки, а то и двух, шевелящих бурным устьем надменные воды Енисея отыщут, заселятся обязательно напротив островов с буйными выпасами, набитыми по обережью ягодниками, с песчаными и галечными приверхами и осередками для нагула рыбы, а за околицей села кедрачи и боры, набитые орехом, ягодой, грибами, диким мясом и пушиной. Отчего, почему ушли с этих изобильно-сказочных мест в ад современных городов наши поселяне? Читайте газеты и книги «деревенщиков»-писателей — там есть ответ.

Однако ж не бывает худа без добра и добра без худа. Может, хоть таким вот, как всегда у нас, очень хитрым и сложным манером мы сохраним для потомков часть пашенной земли, тайги, тундры, реки, озера?

Не скрою, такие мысли приходили ко мне и в пустыне Гоби, роскошно, по-весеннему цветущей в сентябре, в обезголосевшем, погасшем Северо-Западе России, в Эвенкии, простершейся от Енисея до Лены, и вот на родном Енисее, на всем почти трехтысячекилометровом его пространстве, от Монголии до Диксона. Что делать, если мы сами под себя гадим и скорее убегаем с загаженного мес-

та. Коли, как сказал Хольман фон Дитмар на Варшавском конгрессе сторонников мира: «Если б кто-то из космоса посетил нас, нам бы с трудом пришлось убедить пришельца в том, что человечество еще не совсем спятило...»

Но это говорилось десять лет назад, и за это время человечество весьма и весьма преуспело в продвижении в сторону сумасшествия. Думаю, что в движении сем, не делающем чести существу под названием ЧЕЛОВЕК, мы, жители Великой, в убожество впавшей державы по масштабам разрушения природы и самих себя занимаем отнюдь не почетное первое место, идем в авангарде, так сказать, движения к краху и полному банкротству.

Но чуден, все еще чуден Енисей летней порою! Есть по его течению места, когда сотни километров, словно на фантастической киноленте, сменяются виды один прекраснее другого: вот версту-другую, забредя в реку по грудь, стоят могучие утесы, быками их здесь зовут, по утесам где гривы леса, где отдельная сосенка, частью корней, а то и одним корнем уцепившаяся за родной камень, и по каждой проточине, по каждому распадку ворохи кустарников акации, жимолости, таволожника; по всем утесам кипень цветов примулы, жарков, лилий, орхидей, среди которых золотыми самородками светятся красодневы. Увидев эти красодневы в Колумбии, я, помнится, заорал от счастья, будто самое себе родное узрел, и всех заверял, что эти в желтый рупор кричащие цветы неведомым путем попали сюда из Сибири, и хотя меня заверяли, что, пожалуй, все было наоборот, я упорно не соглашался с вескими доводами и со всякой ботанической наукой.

Сразу же за обвальными, реку стеснившими скалами — сосновый бор, прямо и плавно к реке подступающий, либо луг, просторно, в наклон, расцветшими волнами захлестнувший берег. Даже на Севере, в Заполярье, среди болотистой низменности, перебрасываясь с каменного высокого берега к наволошному, низкому, Енисей не утомителен, не однообразен. Он здесь, в северной-то вольности более тих, добродушен, светел и приветлив, так и зовет он, манит взор заглянуть дальше, дальше, уплыть за край земли, за мерцающую кромку, где синими отводками светятся, но не сходятся берега, уходящие в небо, в просторы уже неземные.

И сколько бы ты ни плыл, ни ехал, в какую бы даль ни заглянул, меж камней и скал по оподолью берегов и лугов, по островам и косам валяется лес, превращенный в

древесину. Валялась та древесина в тридцатые годы, валяется и поныне. Пассажиры и команды судов возмущаются, впадают в удручение: ведь нет бумаги, не из чего делать мебель, на юге десятки тысяч домов ждут «деревянную фурнитуру», отапливаться нечем. Но они, проплывающие-то, видят лишь «свежье», то есть древесину нынешнего поруба и сплава. Если же заглянуть за бровки берегов, в прибрежные заросли, в водяные отноги, в старые русла, высыхающие летами, там вы обнаружите залежи леса многолетней давности. Туда высокой весенней водой река стыдливо прячет грехи нашей родной лесопромышленности. И что интересно, там, в гнусом кипящем «зажердье», в захлестнутых пыреем и дудочником низинах, можно повстречать внакрест, многослойно лежащие, уже догнивающие и только-только запревшие — сосну, ель, кедр в два-три обхвата объемом, а навстречу теплоходу, где и в обгон (попробуй, пойми логику и причудливость нашей экономической мысли!) прут на железных палубах тупорылые самоходки пустотелый, в кулак толщиной пихтач, осину, вот уже и березник потартали — повыпластали, погноили, пожгли, шелкопряду и разной лесной твари стравили промышленные-то сибирские леса ретивые хозяева лесов и недр. Леса русские большей частью уже существуют только на старых картах и в отчетных бумагах наших доблестных руководителей страны и не менее доблестных лесопромышленников, ведущих нас все быстрее и быстрее... — вот чуть не написал привычное — «в светлое будущее, — да уже устала рука это писать, а глаз — читать.

Не раз и не два думалось: вот ежели бы всю древесину, брошенную и погубленную только по берегам Енисея, обратить в денежные купюры, мы бы, как в траве, по пояс в сотенных купюрах до самого Карского моря брели, в тех еще, не обесцененных и не хитро обмененных сотенных. Кстати, и в Карском море, в проливе ледоколы часто пробивают путь не во льдах, а в березах. И грех вроде бы так думать, но все же и хорошо, и ладно, что ушли с берегов-то, побросали дома — современные насельники, лишнее не срубят, окончательно тайгу недопалят, рыбу аммономом не доглушат, мелкой сетью не выгребут, зверя не порешат, может, чего и ребятишкам останется. Мы их и без того уж так ограбили, обобрали, что жить им дальше совсем нечем становится, жрать нечего. Мы-то хоть за границу еще лесишко, пушнину, ту же рыбешку да нефть

и газ загоним, а им-то чем спастись, чего продавать, чего менять? Свои мозги и рабочие руки? Или уж на колени становиться и милостыню Христа ради просить? Да они сплошь уже безбожники, ни во что не верят, в том числе не особо и надеются, что их от прогресса натерпевшиеся, в городах пострадавшие отцы и матери вернутся на сии берега поумневшими.

Поразбросавши добро, расторговавши ресурсы, потерявши себя по пути к мировому коммунизму, советский человек начал метаться, взыскивать сил небесных и чуда, и на хорошего царя надеяться, под шумок грабя ближних и потроша ближнее ради сиюминутных благ. Хорошо бы, чтоб они, эти блага, с неба свалились. Да закоптили мы и запаковали небо, сквозь промышленный дым и душевный мрак ни Божьего лика нам не видать, ни гласа небесного не слышать. В пустыне живем, в бездуховной, бескормной, безводной, а пустыню ту сами творим...

Осенью прошлого же года я попал в таежный уголок, который и для нашего, богатого, местами еще и роскошного края — редкость.

Есть в Сибири приток Енисея под названием Сым. Река эта начинается с Приобской низменности, в Енисей впадает между крупными селами Ярцево и Кривляк, а навстречу ей, от Енисея к Оби неторопливо течет братец Тым. На Тyme я не бывал, а на Сyme поосеневал уже дважды, и хотя удивить меня уже трудно, все же подивился причудам и фантазии природы.

Сым то бурно в перекатах, то успокоенно, почти сонно в плесах, течет среди белых чистых песков. И все прилегающие к Сыму пространства состоят из этих вот песков и болот, образовавшихся по поймам иссякших рек и высохших озер. С вертолета очень хорошо видно, как тут трудно возникала и укреплялась жизнь. Леса, в основном сосновые, реденько стоят как бы во вскипевшей пене — это белые мхи, на сотни верст здесь покрывающие лесотундровые пространства. И лишь по берегам реки Сым, его притокам, по низинам старых русел и пойм, по сырым пластушинам бывших озер смешанно стоят, украшая землю, смешанные леса, охваченные таким ярким буйством, что глаз от него не оторвешь. Все-все, что происходило и происходит со здешней землей, весь ее путь к жизни, борьба за жизнь, очень нелегкая, читается сверху будто по ученическому букварю. Лесок по берегам рек и в ближнем отдалении скособочен, полуободран, полусух,

сосенки сплошь тохонькие, покрытые по стволам серыми лишаями, еще в детстве впавшие в старушечий возраст, веток на них больше голых, чем с хвоею. Но они, эти старухи подросткового вида, стоят и веками несут нужную земле службу, закрепляют пески корешками, удерживают сыпучую почву, и, глядишь, меж ними возросли мхи, по мху ягодники, взнялась пышнотелая зеленая сосна, мятежно взнявшись надо всей мелкотой — царица здешних земель. Но и это диво еще не самое дивное. На песках сыпучих случается многоверстный бор из таких вот цариц. Просторно стоят чистые, жаровые сосны, одна другой пышнее, осанистей. Их немного по Сыму, этаких вот достославных сосновых боров, как во сказочной светлице, бело и чисто поотдолю убранных ковром расстилающегося мха, а по нему, по мху-то, в середине лета будто насыпаны кем-то меж сосен белые грибы; к осени ближе — свадебным одеялом покрывается подножие сосен, алые боры задыхаются от зоревого ягодного жара.

Вся лесная жизнь, птица, зверек малый и большой — жмутся к бору, кормятся от него, им спасаются, люди строят, точнее, строили жилье из сосняка, рубили бани, стайки для скота, пилили доски.

Но вот и промышленники добрались до сих ранимых мест, начали валить здешние боры на экспортную продукцию. Понятно, нужда заставила, острая потребность в первосортном лесе на Сым-то заготовителей загнала, в других, более доступных, местах спелые леса сведены под корень, вредителям стравлены, сожжены, утоплены, брошены.

Во-он, под брюхом вертолета оголенная белая жила — это проложенная лесозаготовителями дорога. Извилист, неверен, крючкотворен и губителен этот путь: едут машиной, куда ехать нельзя, гребут, чего трогать природой возбранено. В нем, в этом пути, как на военной кальке для стрельбы пушек на поражение, отчетливо прочерчена пагубная деятельность новоявленного, передового общества. Вперед, вперед, все вдаль и вдаль, в темь лесов, в болота, в гиблую трясиину, хватай, гребь, шуруй кто во что горазд, потом разберемся, что к чему, а пока все тут хозяйева, всем надо план выполнять прокорма ради, и всем на землю эту, как и на все родные земли, наплевать. Ничья земля. Бросили ее, и она перестала быть родной. А эту вот, сымскую-то, безгласную-то, безлюдную-то, и вовсе не жалко. Где ее хозяйева? Жили, говорят, тут какие-то

бойе, да пропали, видать, спились, заблудились на вилючей дороге социализма, идя ко всеобщему братству и просвещению.

И очень даже было удивительно, просто до слез обидно и властям, и лесозаготовителям, и налетному люду, когда на порубежье Сымского бора, на берегу какой-то левой речушки Иштгык встали с ружьями и карабинами какие-то нерусского обличья людишки и прервали дальнейшее победоносное шествие нашей настырной лесопромышленности, ведущей кривую дорогу, в потайку вознамерившуся строить мосты, опорные базы, лесопункты.

Живы, оказывается, косоглазики! И, мало того, стрелять еще не разучились и оборонять себя и свою землю готовы, раз никто их не обороняет, а все только преобразуют, светлое будущее сулят. Последнее время, правда, не сулят ни светлого будущего, ни продовольствия, ни школ, ни книг, ни табаку, ни пороху.

Удивились лесозаготовители, отступили. И тут как тут новые отряды строителей и покорителей, новые заботливые посланцы страны социализма — на этот раз разведчики недр. Они давно уж рыскают по Эвенкии и по прилегающим к ней окрестностям в поисках газа и нефти. Дело, видать, худо. Погублены огромные площади в Тюменской и Томской областях, истреблено, пролито, сожжено, продано — миллиарды тонн нефти и газа. Пропиты, прожраны, украдены миллиарды, вырученные за браконьерски, преступно, хищнически выхваченные богатства из российских недр. Сладко во гробе спят вожди мирового пролетариата, радетели и благодетели наши: Хрущев, Брежнев и примыкающие к ним, горько наше похмелье, отпелись мы жизнерадостно: «идем все шире и свободней, растем все дальше и смелей, живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Веселей уж дальше некуда. Особенно весело бывает, когда в Кремле присутствуешь на Съезде депутатов СССР, пуще того весело, когда смотришь по телевизору действо, именуемое Съездом российских парламентариев.

Не научились мы за семьдесят-то лет ни разумно заседать, все за нас мудро думали и решали «тама»; ни людски хозяйствовать, хотя признаться в этом стыдно и обидно, зато рвачествовать, браконьерить, самих себя обжуливать так мы наторели, что уж могли бы в столице нашей Родины школу передового опыта для всего честного мира открыть.

Но кто же признается, что вот на Сым, в эту ранимую, невинно чистую природу люди вламываются со злыми, корыстными намерениями? Нет, как всегда у нас, только для того, чтобы облагодетельствовать, сделать нас еще счастливей и богаче.

Но народ-то, народ-то уже во все эти словесные блага не верит, он уже наслушался сказочек. И сопротивляется как может. Уметь-то еще не умеет, организованной борьбе лишь учится, но для сопротивления внутренне созрел, вот и митингует, чаще, правда, «права качает» на кухне, с женой вдвоем и шепотом — на всякий случай, но, как видите, иногда уж и из леса выходит, даже с ружьем.

На Сыме, на всем протяжении реки, а это семьсот с лишним километров, после всех социалистических преобразований, жестокой расправы над старообрядцами и преобразованием жизни малых народов осталось одно лишь поселение — Сымская Фактория.

Живет в поселке 130 человек: это, эвенки, русские. Про население это на недавнем совещании, проходившем в Сымской Фактории, в присутствии заместителя председателя крайисполкома Абакумова и районного начальства записано в протоколе вот что: «Социально-экономическое положение коренного населения территории Сымского сельсовета находится на низком уровне. Обеспеченность жилплощадью — 6 квадратных метров на человека, жилье ветхое. Объекты социальной сферы находятся в приспособленных старых помещениях, медицинское обслуживание населения неудовлетворительное, нет в продаже товаров первой необходимости».

Ну, словом, если протокол этот продолжать — выйдет про всю Россию. Везде у нас ныне, как говорится, клин да яма.

И судорожно, как всегда, ищутся методы спасения от прорух давних и как бы вновь непонятным образом накопившихся и нежданно на наши буйны головы свалившихся. А они заложены в самой системе нашего хозяйствования: под них подведены научные основы, теоретические и практические выкладки сделаны, планы составлены, виды на всеобщее процветание нарисованы, высоких слов океан потрачено, хлопок изведен на полотно для лозунгов. Что же — так вот запросто взять и попустить всем этим багажом? Покаяться в банкротстве? Попросить у народа прощения и начать вместе с ним все сначала?

Нет уж! Дудки! Совсем это не в духе коммунистической морали. Она всегда дерзновенно наступательна!

Вот и отыскиваются привычно и ловко новые мифические виновники, прежде враги народа, ныне демократы, пресса и какие-то силы, на которые нам намекают, но не говорят про них, должно быть, испугать боятся, нервы и покой наш берегут радетели-отцы.

Енисейский район, на территории которого находится Сымский сельсовет, да и сам город Енисейск, — попали в очень крайнюю экономическую ситуацию. Возникший рядом, за рекою город Лесосибирск — прежнее название Маклаково корябало, видать, нежный слух преобразователей и покорителей Сибири народом данное историческое имя селения, они и подогнали его под привычное, стандартное. Есть уже в Красноярском крае кроме Лесосибирска Дивногорск, Сосновоборск, Снежногорск — экая удалая фантазия! Экий вкус! Экая эстетика! Так вот, Лесосибирск с железной дорогой, мощной лесопромышленностью не просто ушиб, но пришиб и без того впавший в запустение достославный город Енисейск, когда-то являвшийся центром Енисейской губернии.

Мало того, что в нем перестали существовать многие промышленные объекты, так обобрали город и в житейском смысле, взяли, например, и перевезли к соседям педагогический институт, который был тут не просто учебным заведением, но был временем учрежденной, к месту основанной научной организацией, духовным центром всего енисейского Севера, к которому, естественно, примыкали и исторический облик города с его, пусть и разрушенными, храмами, монастырями, местами и домами, связанными с жизнью декабристов, промышленников, купечеством. В Лесосибирске же институт стал просто еще одним безликим пролетарским уч. заведением.

За последние десять—пятнадцать лет, несмотря на одностороннее преобразовательное движение, благодаря которому расцвела сажень, дымами, заражена радиацией и всяческой химической отравой моя родная сторона от дуром ломящейся в глубь Сибири тяжелой промышленности, в городе Енисейске сделано много для восстановления его исторического облика, да и быта горожан. Выглядевший будто после давнего, еще в гражданскую войну происшедшего массивированного артобстрела, пусть скромно, пусть бедновато, но город прибран, обихожен, хотя сделать здесь предстоит еще очень и очень много. А где средства брать? Кто и чем платить будет? Коли «за красоту людей живущих, за красоту времени грядущих мы за-

платили красотой», — как с пафосом сказал поэт, тоже, кстати, сибирский родом.

Вот ищут руководители района возможности пополнить бюджет города и района. Купчишки-меценаты, толстосумы-золотопромышленники, что радели о городе и чадах его населяющих, благодаря революционному усердию перевелись, у других городов, в том числе и у краевого центра, свои заботы. И какие! Многие заботы края уж в пору бедами бы назвать. Я это знаю как давний пусть и молчаливый, но зато внимательно слушающий депутат.

Районным властям вроде бы предоставлена самостоятельность, но очень напоминающая ту, когда ребенку, научившемуся ходить, родители говорят: «Иди!», а за пояс его — на всякий случай — держат; или, уча плавать, бросят в реку с наказом: «Выплывешь — хорошо, а не выплывешь...»

II

Изначально не наученные мыслить и хозяйствовать самостоятельно местные власти из руководителей и правителей часто превращаются в мелких дельцов, а то и просто жуликов. Сейчас в районах края, особенно в лесных, действуют сотни каких-то пришлых контор, кооперативов, заготовительных организаций. Особенно много их в лесу. Забравшись в тайгу заготавливать некондиционный лес, горельник, бурелом, они пластают кедрачи, забираются в лесопромышленные деляны, вырубают, точнее, истребляют деловую древесину под носом у лесопромышленных предприятий края, ибо приезжают с вином, с мешками денег; следом за добытчиками леса саранчой ползут по краю черненькие шустрые «жуки» с порнофильмами, с записями блажащих блатняков — новаторов от искусства, с ковриками на клеенке, с медными брошками, излаженными под золото, с наркотиками, напитками, цветочками, тайными увеселениями, ну, словом, все, как во времена Джека Лондона на Клондайке.

Мало нам киноваханалий на государственных экранах, так ныне запросто на дом доставляются увеселения, богатства и роскошная жизнь. Вот продуктов, правда, нету, очереди за ними всюду и в месте ссылки Владимира Ильича, в селе Шушенском тоже, а село, кстати, находится в благословенной Минусинской впадине, по солнечной активности и здоровому климату равной Кисловод-

ской впадине, той самой, что слывет всесоюзной здравницей. Знал наш царь-батюшка, куда ссылать своих врагов, на ответную благодарность, видеть, надеялся, вот его и отблагодарили!

В дореволюционные времена и в двадцатые годы, когда были развязаны руки сибирским крестьянам, здесь, в минусинской стороне, выращивали фрукты, арбузы. Хлеб, мясо, масло, молоко не знали куда девать, плавил летом вниз по Енисею на плотках, зимою везли за многие сотни верст обозами на красноярский базар. Ныне в Шушенском жители первыми в крае начали получать по 400 граммов хлеба на едока. Меньше, чем в войну. Допреобразовывались! Метнули луч света из дореволюционной ссылки мятежного вождя, и озарил он нам все наши достижения и завоевания.

Я не знаю, есть ли в Енисейске и его окрестностях «лесожучки» с мешками денег, с бочками вина, но нефтегазоразведчики с обещаниями и посулами пожаловали. Мне довелось ходить по следам «передовых отрядов» — разведчиков недр в Эвенкии. Не просто удручение, оторопь берет при виде того погрома, который они оставили за собой. Видел и знаю об этом не я один. Зверопромысловики, работники енисейских контор и предприятий, жители пусть и отдаленных районов, ныне тоже радио слушают, где и телевизоры смотрят, газеты читают, общаются между собой. В охотничьей избушке, где мы собрались прошлой осенью, такие ли политические дебаты разгорались, что уж и базарному российскому съезду депутатов в зависть бы.

Одним словом, не веря «в силу народную», да еще такую малую, как на Сыме, забыв о том или сделав вид, будто не знают, что по постановлению Совмина за номером 126 и Сымский сельсовет считается национальным, значит, чтобы чего-нибудь тут, на его территории взять, изъять или сделать — надо просить разрешение, тем более разрешение требуется, когда речь идет о жизненно необходимых землях и угодьях — здесь, по Сыму и вдоль Сыма — основная база Ярцевского промхоза и Лесосибирского рыбозавода по заготовке ягод, грибов, мяса сохатых и оленей, рыбы, пушнины. В случае положительных результатов с разведкой и строительства нефтепровода из фондов края изъято будет 6700(!) квадратных километров тайги. Да ведь это пока всего лишь предварительные подсчеты, реальные будут выглядеть форменным

разбоем, как это получилось с великими гидростанциями на Енисее, сулившими сплошные выгоды и благоденствие сибирякам, на деле же обернувшимися климатическим бедствием, разорением края, гибелью природы и пашен, столь ныне нам необходимых для прокорма.

Вот и забеспокоились жители не только Енисейского, но и других прилегающих районов. Население крупных приенисейских сел — Ярцево, Кривляк, Майское, Ворогово — выступило с решительным протестом против работы нефтегеологоразведчиков, требуют обсчитать, во что обойдется и обернется разведка, дать экономически обоснованные доводы и социальные гарантии защиты местного населения. В Сымском сельсовете состоялась бурная сессия, не первая и не последняя, на которой присутствовали районные и краевые власти, а также начальник Илимпейской геофизической экспедиции Лапшин и главный инженер Дашкевич, в порядочности которых, как специалистов, я совершенно не сомневаюсь, но в гражданской их опрятности есть все основания сомневаться, и не у меня одного. Правда, выступали они на Сымской сессии очень человечно, я бы сказал даже честно: «У нас, у геологов, пожалуй, есть что-то общее с вами — охотниками; ищем то, чего никто не потерял», — говорил на сессии начальник экспедиции Лапшин, и далее, зная, что собрание ведаёт об уже многомиллионных затратах, убитых на предварительные разработки, прямо заявил, что каждая буровая обойдется этой земле в 4—5 километров убыли, а всего надо развернуть двадцать скважин, что весь процесс продлится года два, но что-де так варварски вести буровые работы, как их вели в Тюменской и Томской областях, нельзя. «Мы обещаем другой подход, обеспечим строгий инженерный контроль» и что «вы всегда можете проверить и остановить бурение», но нефть и нефтепровод краю необходимы. Однако пока все мы «делим шкуру не убитого медведя — еще неизвестно, найдем мы тут что или не найдем».

В Байкитском районе, как и в других районах Эвенкии, эта экспедиция ничего пока не нашла, землю же северную разгромила на многих обширных площадях. Есть и еще один тяжкий, неискупимый грех за бравыми разведчиками — в крае они произвели более десятка атомных взрывов в глубоких разведочных скважинах и скрыли это от народа, населяющего Сибирь. Какие последствия будут от этой губительной, жульнической, преступной деятельности еще неизвестно.

Имели ли отношение к этим, тайно совершенным преступным работам начальник Илимпейской экспедиции товарищ Лапшин и главный инженер той же экспедиции, кандидат геолого-минералогических наук тов. Дашкевич, а также руководители Красногорьевской нефтегазозаведочной экспедиции, которой и поручены работы на Сыме? Если да, то их и на пушечный выстрел за обман и бесчестье нельзя к тайге подпускать. Стыдно им должно быть глядеть людям в глаза и лезть на трибуны с благостно-успокоительными заверениями, тем более что в то время, когда они их делали, на речку Иштык продолжали лететь и лететь вертолеты с оборудованием для буровой...

В большой статье, напечатанной в газете «Енисейская правда», которую хочется похвалить за ее принципиальную, твердую и объективную позицию в этом не вдруг возникшем конфликте, товарищ Дашкевич, как и его начальник Лапшин, тоже много говорят о пагубной деятельности тюменских и томских нефтяников, никто, дескать, и не собирается повторять их варварских методов, все, дескать, тут, на Сыме, будет «под жестким контролем, но работы вести позарез необходимо, без нефти, без газа нам не жить, к лучине и бечеве возврата нет», есть, мол, и в Сибири приятные исключения, например, строительство Академгородка в Новосибирске.

Не знаю, как товарищ Дашкевич, но я ведаю, как давалось строительство городка, где были сохранены деревья, рощи, флора и фауна, академику Лаврентьеву. Надев кирзовые сапоги, забросив все свои науки и семью, он, уже пожилой человек, ходил по строительным площадкам и начальников участков, прорабов, мастеров, привыкших работать удало и размашисто, гнал в бригадиры, каменщики, землекопы за погубленное, без надобности сваленное дерево. Какого напряжения, какой силы и упорства потребовала эта вынужденная деятельность от достойного академика, замечательного человека. Может, он и не дожил свою жизнь из-за нее, не доработал в науке всего им намеченного...

Готовы ли вы, товарищи Лапшин и Дашкевич, к лаврентьевскому самопожертвованию, к неуспешной хозяйственной деятельности на новоразведочных площадках? Я сомневаюсь. Много у меня и у всех жителей моего родного края оснований для подобного сомнения.

Вот в той же статье сами вы, товарищ Дашкевич, прямо говорите, что «за 35 лет работы я много насмотрелся, в

том числе, как дремучая енисейская и ангарская тайга постепенно превращаются в пустыню», что принцип «сколько вырубил, столько посади», торжествующий в цивилизованных странах, у нас пока невыполним, что кадры нефтеразведчиков, да и в экспедициях состоят из временщиков, проживающих в западных и южных районах, для которых главное: «урвать, сорвать и слинять. Им наплевать на все остальное... Построили поселок геофизиков, вырубил все до последнего прутика, потом построили дома, жильцы поселка посадили вновь деревья и кустарники и тут же, кстати, саженцы эти съел скот».

Да-а, прав геолог Дашкевич и все руководители края и районов — правы — если и дальше Сибирь будет осваиваться вахтовым методом, несмотря на всю ее громадность и богатства, которые кой-кому все еще кажутся неисчерпаемыми и несметными, ей скорый придет конец.

Месяца за два до поездки на Сым довелось мне побывать на реке Тынэп — это по сибирским масштабам совсем близко от Сыма — там нефтегазогеологоразведчики «оконтуривали» месторождение. Чего и сколько они нашли, пока не говорят, но, мол, «тут где ни копни — чего-нибудь да найдешь». Ребята, заполнившие вертолет, да и несколько бабенок с ними показались мне знакомыми: прически а-ля петух, бороды пышны, руки и лица, хотя разъеденные гнусом, загорелы, свежи, рукава засучены, и по бицепсам видно, что они не только видели «Рембо», но и кое-чему научились у этого супермена, борющегося за справедливость. Даже транзисторы, гитары и рюкзаки я уже где-то видел, но тут же понял — этих именно ребят с Тынэпа я нигде не встречал, просто в других местах, в других вертолетах, в поездах, на пристанях и по трактам кучно движутся точно такие же вот существа с равнодушно-напускными лицами, дремотно-утомленными глазами, с как бы уставшими от распирающей грудь всесокрушающей силы, которую и применить не на кого, кругом тля, мелкотня и сплошные ничтожества. Тренированные, хваткие руки снисходительно перебирают струны, из бороды уныло вещается что-то своедельное, про тайгу, про километры, про ветры. Есть среди этих временщиков-суперменов вечные кочевники, возвращенные совиндустрией, бездомные пропойцы, бродяги, бичи — их, малосильных, вялых, заискивающе-улыбчивых, держат на подхвате, едва достаивают кивками головы современные «рыцари рубля» с золотыми массивными перстнями на пальцах, с зо-

лотыми крестами на груди, с неприятием во взоре, этого, им всем подвластного общества, которое в пору бы уж сокрушить, да шевелиться неохота и платят пока хорошо. Но в бороде-то прикус хищника едва спрятан, тигриная усмешка в волосьях блуждает. Они накоротке общаются с пилотами, со всяким им нужным начальством, со снаряжающими или встречающими вертолет технарядами, кучно держатся, гонят от себя бродяжек, говорят мало, пьют много, но не пьянеют.

Вечером я улетаю из поселка Бор с теми ребятами, что с Тынэпа. Все они были модно, в дорогое одеты, прибраны, подстрижены, умыты, наодеколонены. В самолете расселись артельно, вели себя пристойно, хотя все так же отчужденно. Перед отлетом пили они из горла спирт, разведенный каким-то местным мутным напитком, и лишь один из них слабаком оказался, запросился с того напитка до ветру, но туалета в самолете нет, связчики так гаркнули на соартельщика, что до самых Карпат или до приволжского нагорья ему более в туалет не захочется.

Новый тип рабочего народился, а мы и не заметили этого, проорали, провитийствовали, снова в дебатах на съездах, на цеховых собраниях да в кухонных баталиях утопили. А жизнь-то идет, бежит и рождает новые отношения в обществе, психологию, новые типы, сдвиги в сознании человека, меняет отношения в труде. Услышать бы нам всем ветрами истории несомое: «Узок их круг, страшно далеки от народа...» не про велеречивую ли это самое себя заморочившую тонкую прослойку народа, называемую советской интеллигенцией, а может, и про товарищей коммунистов, так ретиво правивших нашей жизнью?

Очень плавно, ублаженно-грустно думается в осенней тайге, особенно под звук однотонно работающего мотора. Река Сым разворачивает и разворачивает поворот за поворотом, плес за плесом, перекат за перекатом, словно сказочную книгу с яркими иллюстрациями листает. И не хватает слов и всего человеческого восторга выразить восхищение гениальной работой художницы-природы. Дюны, словно бы из просеянного сыпкого песка, мысы, выдавшиеся в реку, все забористей, все выше, все длинней. Кажется, вот-вот соединятся песчаные косы с противоположным подмытым берегом, с яра которого стеной рухнули, но пытаются приподняться, выжить и в воде расти прибрежные деревья, а соединившись, затянут пески в петлю живую шею реки, удушат ее, остановят. Соседняя,

обрубленная река Кас уже не течет летами, уже задущена, и многое в этой местности уже не живет, лишь доживает.

Благо этих мест — обилие ягод брусники, клюквы, смородины, голубики, черники, белых грибов, кедрового ореха — обернулось бедствием для Сыма. Летами и осенями бродяги всех морей и океанов, да и местные начальники, владеющие водной и воздушной техникой, валом валят сюда — урвать на ягодах, на грибах, на орехе шальную деньгу. Сплошь уже не берут, а гребут бруснику совками или какими-то самодельными комбайнами. Бьют орех всеми доступными средствами — с помощью связистских когтей, колотухой, шестом, где и бульдозером, лебедкой, электропилой кедр валят, дошли уж технически образованные браконьеры и до электровибраторов. Килограмм кедрового ореха нынче на базаре двенадцать рублей — за один сезон можно на машину «набить», золотом жену обвесить. Вот и бьют кто чем, кто как, прибрежные кедрачи сплошь израненные, больные, брусничные поляны повреждены, растоптаны, где и вовсе загублены. Ведь кустик брусники здесь в песке, словно в молоке купается, чуть потяни, дерни — он с корешком выдергивается. Рвач, сезонник, шарапник орудует в стране, ему главное — деньги, деньги, потом хоть трава не расти. В Иркутской области, слышал я, подчистую, с корнем выдрана пользительная, целебная ягода — толокнянка, за которую назначена хорошая цена. Есть толокнянка и на Сыме, но, слава Богу, мало, и заготовку ее здесь не ведут. Еще здесь редкостная ягода есть с нежным названием и ароматом — княженика. В Финляндии ее в компот на стакан по две ягодки кладут, ликер очень дорогой из княженички делают. Вообще в Финляндии предпочитают есть свое: хлеб, мясо, рыбу, икру, ягоды. Ах, какие они компоты сотворяют из тех ягод, что мы топчем в лесу или квасим собранное. «Мы не так богаты, как вы, чтобы все покупать», — шутят соседи наши.

Много чего есть в сибирской тайге, в том числе и на Белом Сыме. Сюда бы хозяина, радетеля, работника. Ярцевский промхоз — потребитель, но не охранитель, возможности его весьма и весьма ограничены, в особенности по части снабжения охотников-промысловиков. Но об этом отдельный разговор.

Так совпало, что заготовками в Союзе ныне правит бывший секретарь Красноярского крайкома Павел Сте-

фанович Федирко, на протяжении пятнадцати лет царивший в крае, ударно «покорявший» Сибирь. И он, и до него долго здесь командовавший товарищ Долгих, ноне находящийся на уютной цековской пенсии, да и до них, и после них «предстоящие», много бед сибирской стороне причинили, недобрую память по себе здесь оставили. И вот бы им, не только во искупление грехов, но из любви к «осчастливленному» ими краю, и помочь бы таежникам, поспособствовать тому, чтобы богатства, здесь добываемые, попадали на прилавок и к заморенным, авитаминозным советским детям на стол. Тем более что у товарища Федирко здесь не только «свои предприятия» расположены, но и родные люди проживают, да и не только по родственным соображениям ему бы помочь, но и в благодарность за те умильные слезы и рукоплескания, которыми местные парташпаратчики проводили его в столицу на высокую должность. Невольно вспомнились мне на той прощальной краевой сессии, где рукоплескали товарищи товарищу, ехидные слова Достоевского: «А вы наследственны от дядюшки ура кричать...» Увы, относятся они ко всем нам, русским людям, а не только к красноярской руководящей братии, впавшей вдруг в сентиментальные чувства.

Когда я писал эти заметки, в Сымской Фактории собралась еще одна сессия, вынесшая вопрос об организации на Сыме заповедного места или национального парка — и снова горячий разговор о хозяйски-бережном, заботливо-родственном отношении к дарам природы. Дары! Слово-то какое древнее и чудное. Только дары те уже не выдерживают нашего присутствия, а тут еще закаленные в боях со своим народом большевики грозятся «выйти из окопов», — порешат же, порушат все окончательно, опыт разорения страны у них богатый, но только остается надежда, что не выйдут и никуда не пойдут, ибо привыкли к тому, чтоб ура кричать, вперед звать, а в атаку чтобы шли, умирали и побеждали за них мы, простые советские люди. Нам надо самим выходить из окопов равнодушия, с умом и пользой хозяйствовать, беречь все, что дарит нам природа, — для людей и страны, в которой становится совсем нечего кушать, тут и коммунисты, и новоявленные революционеры стодят порядок наводить, детей наших от лиха и глада охранить — всем работы и заботы хватит.

А пока в сымской тайге нет ни хозяина, ни защитника. В последние годы здесь идет не только алчный налет

на дармовую добычу, но и творится браконьерский произвол. Оттесненные промышленным адом, нефтяным духом из тюменских и томских земель, бредут и бредут в тихую, пока еще сравнительно мирную сымскую сторону северные олени — много еще здесь съедобного, керосином не облитого, гусеницами не размичканного белого мха, грибов и всякой нужной животному пищи, не очень густо пока стреляют, нечасто на вертолетах чиновники-хищники налетают. Но вон уже полезли, гремят железом буровики, гарью хакают машины, матерщиной оглашают чистые боры трудяги-временщики, из брюхатого вертолета весело вываливаются разведчики недр. Там, где они проходят, ничего не растет, не живет, не плавает. А уж здесь, в этой сыпкой, нежной почве, среди чуткой и ранимой растительности, на белых этих берегах, они развернутся, они дадут!..

Вот почему, пока нервничают власти, сымчане, не веря словам и заверениям разведчиков недр, а также и в спасительные миллиардные прибыли от продажи нефти, чистят карабины, снаряжают патроны, намереваясь встать заслоном на речке Иштык, как они уже вставали здесь перед лесозаготовителями, чтобы преградить дорогу нагло наступающему прогрессу.

Прямо грузинско-осетинский конфликт да и только! Махонькая искорка — в необъятной глубине сибирских руд, но из искры, как свидетельствует недавняя горькая история, может разгореться пламя.

Вот почему я, старый солдат, много крови и смертей повидавший на своем уже некоротком веку, готов схватиться за пока еще холодные стволы карабинов, отвести руки от пусковых кнопок буровых, придержать замахнувшиеся на Сибирь топоры, погасить факелы и скважины огне- и химическо-радиационную заразу изрыгающие, готов упасть на колени средь родной моей Сибири и криком кричать на всю страну: «Опамятуйтесь, люди добрые! У всех у нас есть дети, им дальше надо жить! Прежде чем что-то резать, взрывать, бурить, валить, дырявить, обдирать, изрыгать — не семь, а семьдесят раз отмерьте! Неужели всех нас ничему не научила наша прискорбная, страшная история? Неужели и в самом деле мы жили, живем и работаем только на износ, только на извод, на близкую погибель?!»

КРАЙ ЖИЗНИ

(газета «Комсомольская правда»)

— Невероятно тяжело далась мне эта книга* 550 страниц смерти, крови, края жизни. Это ад кромешный. Я был там в восемнадцать-девятнадцать лет. Молодой организм, короткая память, беспечность и многое другое, что свойственно, слава Богу, молодости, помогали не сойти с ума. Поел, выспался — тебе уже хорошо. Но сейчас, в моем возрасте, пропускать снова все это через память, через сердце невероятно тяжело. И мне кажется, я так и не дотянул до такой трагедии, чтоб сердце раскалывалось. Хотя жена моя — Марья Семеновна, которая семь раз перепечатывала рукопись, некоторые страницы просто отказывалась читать. Она тоже была на войне...

— Полвека минуло с той поры. А вы снова и снова пишете о войне. Это дань молодости, погибшим друзьям, выбитому под корень поколению?

— Сейчас, когда большая война в виде так называемых локальных конфликтов тлеет по границам России, писать о ней просто необходимо. Полно появилось народа, который снова жаждет кровушки. И одна из задач моих — хоть маленько напомнить людям о войне и поугуять. Впрочем, и пугать не надо, надо только писать правду о том, что было, — и все, этого достаточно для людей, которые окончательно не потеряли рассудка.

О той войне, по существу, правды-то еще и не писали. Ей посвящены эшелоны книг, но то, что действительно

* Имеется в виду «Плацдарм» — вторая книга романа «Прокляты и убиты».

достойно считаться правдой, — уместится на половине моего письменного стола. Да и время должно было пройти, чтобы всю эту правду осмыслить и проявить.

Должен сказать, что немцы больше боятся войны, хотя меньше пострадали, чем мы. И в своей настойчивости в борьбе с неонацизмом они более принципиальны. Мы уже на все рукой махнули. Неонацист, коммунист, демократ — все едино. Нельзя так. Большевики вкупе с жириновскими запросто устроят нам последнюю в нашей истории войну. Такая свалка начнется. Поэтому о войне обязательно надо писать, чтобы показать: вот она какая, вот чего вы хотите.

— Вторая книга вашей трилогии называется «Плацдарм». Действие, по-видимому, происходит на Днепре, который вам самому пришлось форсировать?

— В отличие от первой части романа, в которой я был прочно привязан к конкретному месту действия, я называл его — были для этого причины, во второй — больше обобщенного материала. Я даже не стал называть имени реки, на которой развивается действие романа. Просто — Великая река. Не какой-то конкретный плацдарм, а просто плацдарм, как место, где люди убивают людей, клочок Земли. И те восемь дней из жизни героев второй части романа вместили в себя всю войну, весь мой фронтовой опыт, все, что происходило со мной на той войне.

Я форсировал Днепр в составе 92-й артиллерийской бригады и был на Букринском плацдарме. Была такая деревня Великий Букрин. Тот плацдарм был самым маленьким, самым трагическим. Там, по существу, все погибли. А потом, уже после войны, это место еще и затопили. Кости моих однополчан лежат сейчас на дне киевского водохранилища.

После Букринского был у меня еще один плацдарм, на Днепре. Не помню его названия. Не успел запомнить — ранили.

— Год назад, когда вышла в свет первая книга «Прокляты и убиты», нашлось немало людей, заявивших, что Астафьев вновь сгущает краски. Судя по всему, после публикации в «Новом мире» «Плацдарма» эти обвинения обрушатся на вас с новой силой.

— Ну как можно, рассказывая о войне, краски сгустить. Грязь с кровью смешанная, куда еще гуще-то...

Мы должны знать правду о солдате, все годы войны существовавшем за гранью человеческого. Вот говорят:

живет как скотина. Нет, скотина живет все-таки в лучших условиях. Она не спит в окопе на земле, она спит на подстилке. Что такое, например, простоять в обороне зимой полтора месяца? Вы посмотрите, от войны ведь почти не осталось фольклора. Как еще смог Александр Трифонович Твардовский написать хорошую книгу про бойца? Про бодрого...

А кто сегодня берется вспоминать «правду» о войне? С передовой мало кто живым вернулся. А те, что вернулись, поумирали от ран да и болезней. Вышли сейчас вперед комиссары, первые, вторые, седьмые отделы, смершевцы, трибунальщики... Вот они выжили. Да и что с ними делается. Они как ушли на фронт дубарями, так дубарями и вернулись. А ведь уходили на фронт и нежные ребята, начитавшиеся романов. А может, и ничего не начитавшиеся, но нежные.

Никто из нас — фронтовиков еще об этом не написал. Есть мера таланта, есть мера смелости — все понятно.

— В заключительной части романа вы собирались рассказать о послевоенной жизни своих героев. Будет ли она светлее двух предыдущих книг?

— Вряд ли. Ведь в нашей жизни было все совсем не так, как в «Кавалере Золотой Звезды». Это был еще более затяжной и изнурительный бой, в котором погибло еще больше людей, чем на фронте. И погибло мучительно, доверяясь тому, что после победы они, несомненно, будут жить лучше. А умирали фронтовики не только от ран. Кто-то спился, кто-то от такой жизни удавился... А сколько матерей погибло только потому, что после войны были запрещены аборт. И то, что у нас и сегодня идет сокращение русского населения, — прямое последствие той войны. Люди жили настолько бедно, что даже двое-трое детей были для большинства семей непозволительной роскошью. Население Союза росло исключительно за счет Средней Азии и Кавказа.

В 50-х годах я работал в районной газетке на Урале и повидал, как жили люди после войны. Колхозники, совершенно ограбленные и униженные, были доведены до такой нищеты, что и вообразить трудно. Сейчас хоть одежкой какой-то прикрыта вся наша нищета, а тогда — телогрейка прожженная, залатанные штаны, невероятные, из какого-то брезента сшитые юбки. И налоги, налоги, страшные налоги, подписки на облигации. Войдешь в избу — не то что тряпочки какой, занавески на окне не увидишь — один стол скобленный.

Помню, приехал как-то на собрание одной колхозной бригады писать материал для газеты. Убогая избенка. На столе — кормовая соль и печеная картошка. Собрание ведет бригадир-фронтовик, нет левой руки, нет ноги: «Надо, бабы, надо». Они в ответ: «Ну что ж, Степан Петрович, надо так надо». Они этой картошки поедят, одна за другой выскакивают блевать. Ни одного мужика в бригаде. Все повыбиты! Как одиноких, беззащитных баб не обидеть? Как их не обобрать? И всевозможные уполномоченные, насланные из райкомов и райисполкомов, тут как тут.

А что у них можно было забрать? В чем работают — в том и спят. Детей перехоронили. На новых — мужиков нет. Скотина в избе — редкость. А если у кого завелась — дают: сдай молоко, сдай масло, яйца, шерсть.

Мы с Марьей одного ребенка схоронили маленького, второго — взрослого, не без влияния того, что когда она была маленькой, нечем было кормить ее, у нее сердце было больное, и в 39 лет она свою земную схватку закончила. И мы не одни такие. Народ надсажен был. И расправу учинять с этим доверчивым народом было легко. И ее начали.

Почему Сталин так сурово отнесся к народу, который спас ему шкуру? Ему и его товарищам спас шкуру именно народ, а никакие не полководческие гении. Не было никаких гениев. Все это глупости. Залили кровью, завалили немцев трупами. Победил народ, которому вытянули последние жилы. И вот этот обманутый народишко попал в Польшу, Германию, Австрию и собственными глазами увидел: все, что ему говорили комиссары, все, что писали советские газеты о капитализме, — неправда. И народ этот стал опасен.

После каждой большой войны в истории человечества обязательно были народные волнения. Сталин прекрасно понимал, что и у нас они обязательно начались бы. Вернулись бы фронтовики в нищие колхозы, где остались одни бабы надорванные да запущенное хозяйство. Сначала бы поворчали, а потом бы за колья взялись...

Никто так не боялся своего народа и не боится до сих пор, как наше правительство. Потому что с первого дня своего существования, с 1917 года, вступила советская власть с этим народом в конфликт. Вся ее история — это сплошные расправы, голод, раскулачивание, коллективизация. Все время в конфликте со своим народом. За сло-

во, за малейший проступок, по доносу людей сажали в лагерь. После войны стараниями Иосифа Виссарионовича и его компании погибло больше 15 миллионов человек. По большей части мужиков, чудом выживших на той войне. Дело дошло до того, что в России просто некому было воспроизводить население. У нас были деревни, особенно на северо-западе, где по 15 лет не видели ребенка в глаза. А женщины постепенно старились, перегорали, умирали.

У вернувшихся с фронта была надежда. И было еще какое-то чисто физиологическое ощущение того, что ты остался жив. Мы смертей видели очень много, привыкли к ним и огромным счастьем считали то, что удалось выжить в этом кошмаре. И поэтому на первых порах какие-то трудности, голод и хроническая нищета переносились как будто легко.

У нас сейчас понуть-поплакаться все горазды, но такой трудной жизни, как в 1946—1947 годах, просто и не вообразить. Тогда все плохо жили. Кроме, конечно, партийных работников и начальников. А через повальное воровство, через приспособленчество, обман постепенно исчезал честный рабочий класс. Крестьянство же вообще было сразу обречено воровать, с того самого времени, как образовались колхозы. Ему иначе было просто не выжить. Кто воровал — тот выживал, кто не воровал, тот помирал.

— **Виктор Петрович, когда вы будете писать обо всем этом?**

— Не знаю. Видимо, не скоро возьмусь за третью книгу. Нужен очень серьезный отдых, хотя у нее уже есть набросок. У второй не было.

— **После завершения большого, серьезного труда вы давали себе отдых работой над чем-то более легким. Так, после «Царь-рыбы» появилась «Ода русскому огороду», после «Печального детектива» — «Затеси» и рассказы о природе...**

— Поближе к осени думаю взяться за веселую повесть для ребят о смешной собаке. А после нее, даст Бог, вернусь к роману о войне.

— **Вы считаете, что именно он будет самой главной вашей книгой, самым главным делом вашей жизни?** — Делом — да, наверное. Я к этому роману долго готовился, и хорошо, что не взялся за эту работу раньше. Мне было бы просто не поднять такую книгу. Впрочем, одно для меня важное дело я уже сделал — написал «Последний поклон», в котором рассказал о всех своих родствен-

никах, о сибирских нравах, жизни и трагедии. Эта книга впервые в полном объеме вышла на днях в красноярском издательстве «Офсет».

— Я открыл для себя писателя Астафьева студентом-первокурсником, когда мне в руки попал томик «Царь-рыбы». Но во многом благодаря именно «Царь-рыбе» я уехал работать в Красноярск, чтобы увидеть Енисей, познакомиться с акимами...

— Как-то рыбачу я на Енисее, пристаёт неподалеку к берегу комарами изъеденный, лохматый какой-то человек, пьющий, видно, уже не один день, и интересуется: правда ли я, тот самый писатель, что сочинил «Царь-рыбу»? В свое время книжка эта прошла по Енисею: кто читал, кто слышал, но все отгадывали в книжке себя и своих знакомых: это — Митька, это — Васька...

Была и у этого мужика моя книжка, какая-то вся побитая. Видно, что и в воде она не раз побывала, и водярой ее, чувствуется, обливали.

— Правда, ты ее написал?

— Ну, правда. И что?

— Вот ведь книга, памаш, какая... Она и у меня, браконьера, в лодке лежит, и у рыбнадзора...

«Царь-рыба» появилась в определенный период какой-то всеобщей тоски по покинутой деревне, по естеству природному, которое вылилось в массовое строительство дачек вокруг городов. Я получил множество писем от читателей, по преимуществу городских, по поводу «Царь-рыбы», «Последнего поклона» с тем ощущением, что нас, родившихся и живущих в городе, жизнь обобрала. Люди думали, что бросят они плуг, грязную землю, съедутся в города и станут счастливыми братьями. А поселившись в стандартные бетонные многоэтажки, стали разобщены еще больше.

— Виктор Петрович, а какую из своих книг вы любите больше всего?

— «Пастуха и пастушку».

— Почему?

— Наверное потому, что лучше других написана, чище. Она нетолстая. Не люблю своих толстых книг. Но для того, чтобы довести повесть до такого объема, мне пришлось переписывать ее не единожды. Последний раз я это сделал лет пять назад. Что еще? Женщина там очень симпатичная, загадочная. Это все, конечно, частности. А главного не объяснить.

— Но есть ли у вас уверенность, что слова ваши доходят до людей, предпочитающих в последнее время любой самой хорошей книге «Санта-Барбару» и «Марию»?

— Я над этим очень много думал. Мне кажется, что мои книги — это какая-то небольшая частица общечеловеческой культуры. Ведь если бы не книги, музыка, живопись — нас бы на земле уже не было. В этом я сейчас совершенно убежден. Человечество спас только его гений. Причем люди этому гению все время сопротивляются. Сколько гениев выбили еще в молодости, а сколько их сами себя стубили. Думаю, с этой точки зрения накопление культуры, существование самой культуры, влияние ее на воспитание человека неоценимо. Культура и вера в Бога — только на этом продержалось человечество последнее тысячелетие. Не будь этого, человек давно бы уже ползал на карачках, снова вернулся бы в пещеры, тем более что очень многим туда хочется.

В первый раз я это по-настоящему почувствовал в Мадриде, в «Прадо». Знал, конечно, об этом и раньше, но как-то смутно, неоформленно. «Прадо» — это великая галерея. Она отличается от нашего «Эрмитажа» и других супермузеев своей компактностью и тем, что там нет проходных вещей, только настоящее искусство. И я понял, что вот это все, что я увидел, влияло на человека больше любого политика, сильнее, чем любая проповедь.

Второй раз я это остро почувствовал, когда был у Гроба Господня в Иерусалиме. Здесь, как и в «Прадо», человек погружается в какую-то сферу благоговения. Есть такое прекрасное слово, которое мы забыли. Оно чаще употребляется в отношении церкви, но искусство, видимо, тоже дело святое. Соприкасаясь с церковью и настоящим искусством, человек становится способен сострадать и чувствовать прекрасное. Он начинает чуть-чуть лучше относиться к другим и к себе. Человек-то ведь задуман Богом хорошо. И земля ему хорошая подарена. Но бес, сатана мутят его постоянно. Я наблюдал, как входят люди в храм Гроба Господня — скучающие экскурсанты. А когда выходят — у них лица совершенно иные. На них какая-то просветленность. Оказывается, бессознательно человек — коммунист он или анархист не имеет значения — готовится к этому моменту всю жизнь. Если есть у него сердце и хоть капля теплой крови. И поскольку он живой не встречается с Богом, он встречается с прекрасным.

Мы в безбожной стране выросли, но и мы, соприкаса-

ясь со словом, молитвой, музыкой, природой, которую нам Господь подарил, тоже все время, каждый день, каждым шагом готовимся к встрече с Господом. Уж как Его кто представляет. Вероятно, где-то есть точки соприкосновения с Ним, и одна из них в Иерусалиме. И я думаю, если каждому бы человеку дали возможность побывать у Гроба Господня, да хотя бы чаще показывали его по телевизору, то это было бы благое дело. Но нам не до этого, заседания парламента надо показывать.

— Виктор Петрович, вы всю свою жизнь прожили в провинции: в Пермской области, в Вологде, в Красноярске. Отчего не перебрались жить в Москву? Неужто не приглашали?

— Приглашали, конечно. В первый раз, когда я еще жил на Урале, учился на Высших литературных курсах. Конечно, в столице больше профессионального общения, хотя сейчас мне это общение не так остро нужно, устал от толпы, влечет одиночество. В столице доступнее культура, хотя диких людей там ничуть не меньше, чем в Красноярске или Новосибирске.

У меня есть свое понимание комфорта. Мне надо обязательно работать дома или в деревне, в своем углу за столом. Я очень долго настраиваюсь, но работаю лихорадочно быстро. Как они в Москве пишут? Я не представляю. Вырывают себе какой-то кусок времени? Ведь все они где-то служат.

Очень важны для меня первозданность впечатлений, первозданность языка. Москва — это не мое. Исходное сырье для писателя все-таки язык, я должен жить среди него. Можно нахвататься чего-то, у нас таких умельцев-сочинителей предостаточно. Провинция дает художнику ощущение естественности. И сам он естественней становится, и жизнь его естественнее течет.

— Виктор Петрович, вы родились в красный день календаря — 1 Мая. Это обстоятельство как-то отразилось на том, как вы свой день рождения отмечаете?

— Мне в праздники всегда хотелось плакать. В раннем возрасте, когда у нас в избе собирались гости выпить, песни попеть, я обычно забирался на полати и плакал. Бабушка меня жалела, успокаивала: «Порченый ты у нас, Витька...» Когда я увидел первую елку в 1939 году в Игарке, тогда их вновь разрешили ставить, она мне показалась царственно прекрасной. Я разрыдался, убежал куда-то, спрятался.

Я очень тяжело переношу всякое праздничное возбуждение. Поэтому не бывал никогда ни на каких демонстрациях, митингах. Помню, когда приезжал на съезды писателей и начиналось это многолюдное братание, я чувствовал себя крайне неуютно, нервно, меня прошибало до пота.

Нынешний мой день рождения мы будем отмечать в семейном кругу. Сын приедет из Вологды с семьей, наша деревенская родня. Посидим своим кругом, попоем, если сможем, что-то выпьем. А официальное празднование моего юбилея начнется на следующий день. Я был бы рад, если бы городские власти большого праздника не затевали, но люди меня убедили, и, наверное, они правы, что это нужно не только мне. Может быть, в моем лице будет в какой-то мере вспомнена и почтена русская литература, которая в невероятно трудных условиях все-таки продолжается.

— Как вы ощущаете себя на пороге своего 70-летнего юбилея?

— В стране под названием Россия, где на одного литератора-долгожителя приходится сотня убитых на войне и на дуэлях, сгноенных в казематах, каторгах и тюрьмах, сгоревших от загула и чахотки, наложивших на себя руки, домаявших век в сумасшедшем доме или иссохших от тоски по Родине в чужеземье задолго до Христова возраста, дожить до 70 лет — не просто чудо и удача, а какое-то свыше выданное соизволение и награда. Я полагаю, что мне Господом зачтен недожитый срок земной моей мамы — Лидии Ильиничны Потылицыной. Самой невинной и трагической жертвы современного разгула жестокости и немилосердия. Она погибла в 29 лет. Но, может быть, и сам я трудом своим, начатым на усть-манской пашне в 9 лет и не оставленным до сих пор, заслужил какое-то снисхождение судьбы? Всегда старался за кусок хлеба, данный мне добрыми людьми, ответить тем же, и еще, наверное, потому, что, осознавая многие грехи свои, в том числе и кровавые, пусть и не всегда по моей вине творимые, на войне, скажем, не хотел и не пытался навязать их другим людям, но мучался ими и искупал их сам. Опять же трудом и тихой молитвой.

Постараюсь, и, надеюсь, Бог мне в этом поможет, дожить оставшиеся годы таким, каким Он меня сотворил и отправил в жизнь. То есть всегда оставаться самим собой и добром, а не злом продолжиться в моих внуках, книгах и в природе.

ВИВАЛЬДИ ЗА ПЯТАК

Я расскажу вам сказку самую-самую архисовременную.

В некотором царстве, но в нашем государстве было много-много книжных магазинов, и в них было много-много книг, и в иные из магазинов, точнее, во многие-многие никто не заходил и ничего не покупал, разве что утащат когда из завалов трудящиеся или учащиеся книгу и тем внесут оживление в монотонную жизнь книготорговой сети.

И ведь не сто, не двести лет назад было, а совсем-совсем недавно. Помню, после исторического читинского семинара ездили мы писательской бригадой по глухим районам Читинской области и книгоман Илья Фоянков затащил нас в Петровском заводе в книжный магазин, заваленный и заставленный от пола до потолка книгами, так продавцы сперва напугались, думая, что мы — комиссия какая высокая, а узнав, что не комиссия, обрадовались.

Я купил в том магазине редкую книгу — «Записки охотника Восточной Сибири» Александра Черкасова. Фоянков тоже чего-то купил, чуть потоньше и поукладистей — чтобы легче таскать, а остальные члены бригады ограничились листанием и просмотром книг.

Но в Петровском заводе магазин-то хоть походил на магазин, чаще нам встречались и вовсе всеми забытые и брошенные избы где-нибудь в глухом закутке райцентра.

Совсем в другом конце страны единожды оказались

мы дружной бригадой, мы — это покойный Николай Рубцов, вологодский поэт Виктор Каратаев и я, в недалеком от областной столицы, не самом глухом райцентре — и давай искать книжный магазин. Нашли. С трудом. Смотрим, женщина на крыльце пригорюнившись сидит. «Чего, — спрашиваем, — сидишь-то?» — «А меня книжки сюда вытеснили. Негде уж от них ступить. Которые дак плавают. Затопило мою лавку».

Кое-как пробрались мы меж книг и по книгам в «лавку». Боже ты мой, какое кладбище книг нам явилось! Которые книги уж заплесневели и сопрели, которые плавали пачками, которые как попало на грубо сколоченных полках лежали и стояли.

Пригляделись. И вот уж сказка так сказка! Пятитомник Бунина как поступил, так никем и не открывался. Синий том избранных произведений Булгакова, Платонов полным набором. А там, тускнея золотом, томится библиотека приключений, серийные, подписные, тонкие и толстые, отечественные и иностранные, нарядные и серые, дорогие и дешевые — все в куче, в свалке, в погребельной неразберихе. И перед этой свалкой подавленная, тупо равнодушная ко всему хозяйка, у которой никто ничего не покупает, разве что летом какие-нибудь заезжие туристы и отпускники чего прихватывали на бегу, да и то больше из уцененных по три и по четыре раза книг, можно сказать, почти задарма.

Помню книжные базары того сказочного времени. Книг навезено на городскую площадь или в центральный магазин — горы, и к ним, ко книгам-то, авторы приставлены — содействовать, значит, книжной торговле и успеху современной литературы.

И я стаивал. И надо мной в ту пору красовался плакат с крупно написанными словами: «Праздничный книжный базар», с обязательным умным изречением какого-нибудь классика, чаще всего Максима Горького, который когда-то заявил, что всем хорошим, что в нем есть, он обязан книге.

Стоишь, стало быть, если летом — преешь, зимой — стынешь возле своих книг, перед тобой советские покупатели ходят туда-сюда и ничего не берут, иные полистают книжку, со вздохом сожаления глянут на тебя и отойдут. Но ведь у нас есть граждане обоего пола, которые непривычны сдерживать свои эмоции, более того, они эти свои эмоции так высоко ставят, что непременно несут их

на свет, на люди и, полиставши книжку твою и при тебе, такой вот эмоциональный читатель и покупатель, глядя поверх твоей головы, вроде бы в пространство бросит: «Написал какую-то ерунду и всучить пытается! А никто и не берет. Х-хы».

А ты ж художник, инженер человеческих душ, обостренно чувствующий действительность, понимаешь, что это не в пространство, в тебя выстрелено — и так заноеет сердце, так потянет сбечь с этого базара. Но сдерживаешься, дюжишь, на часы поглядываешь, конца культурного мероприятия ждешь.

Но тут, оживляя мероприятие, пойдет по рядам меж книг массовик-затейник от книготорговли, чаще всего зав. магазином, которому терять нечего, но приобретет он все, если сбудет книги и выполнит план книготорговли. И начнет он агитационно-рекламную работу: «Товарищи! Товарищи! Не проходите мимо! Вот книжка о передовых металлургах. Обгорел, понимаете, металлург, а трудящиеся, наши передовые трудящиеся ему кровь и кожу... Спасли, понимаете! Героя спасли! А как же? Человек человеку... Вот и автор тут! Сам! Живой. Наш, можно сказать, ну пусть не Пушкин и даже не Тургенев пока — но на Глеба Успенского уже тянет. Он вам автографик, автографик...»

Стоишь вот так, бывало, за прилавком, ждешь дорогого покупателя да и затоскуешь: «Э-эх, пошто я на сплав не пошел — от людей далеко, заработка приличная, и природа опять же кругом... Занесло оглоеда в писатели. Во-он их сколько, писателей-то, и все пишут!..»

Ничего в этой реалистической картинке, в этой сказочке не ложь и не обман и никакого намека, но урок добрым молодцам-книголюбам хороший! Признаться, я иногда испытываю здоровое чувство злорадства, видя, как те же покупатели, которые куражились когда-то над книгой и над живыми писателями, что змеи горынычи мечут огонь из ноздрей, топчут друг друга в очередях, бегают по магазинам, ищут «тайные ходы», чтобы добыть книгу, руки готовы целовать автору, который подарит им книгу, да еще с автографом. Это называется фе-но-мен! А по мне так просто погода переменилась и ветер «моды» подул в «книжную сторону».

Тут бы мне сказку и кончить, да жизнь-то уж очень многообразна и нет-нет да и заявит о себе с какой-то совершенно неожиданной стороны, и так-то тебя удивит

иль огорошит, что невольно возьмешься за перо, чтобы не томиться мыслями и не кипеть в одиночестве.

В шестидесятых годах, в начале их, я хорошо приспособился покупать пластинки в московском магазине «Вокнига», который был на Арбате. Никто тут пластинками не интересовался, а были там навалом музыкальные шедевры, на любой вкус, возраст и сословие.

Но ничто не вечно под луной! Магазин этот на Арбате снесли. Учеба моя в Москве кончилась. Загоревал я, да недолго длились мои печали. Заглянул как-то в провинциальный, бодрой музыкой гремящий магазин и зрю картину: с одной стороны народ толпится, к прилавку ломится, а в другой половине никого нету, один лишь какой-то малокровный очкарик уткнулся в списки, написанные от руки, приколотые к стене, шевелит губами, пытаясь разобрать написанное. Скоро я выяснил: где народ неистовствует и одежи друг на друге рвет, там продают Пугачеву, Ротару, Кобзона, Лещенко, молодого да раннего Гнатюка, разные ВИА, ТРИО, «машины», «гитары» и т. д. и т. п. А с той стороны, где мучается малоденежный, судя по одежде и смирному поведению, очкарик, читающий с ошибками написанные трудные фамилии разных там Генделей, Гайднов, Шуберта, Шопена, Берлиоза, Чайковского, Глинку, Мусоргского, Шаляпина, Обухову, Марио Ланда, Джильи, Ренату Скотто и т. д. и т. п., — с той стороны все спокойно.

Очкарик вдруг ужаленно вскрикнул, покрыв разнообразный рев современной музыки своим тонким голосом, и метнулся к кассе, вконец перепугавши миротворно дремавшую кассиршу, на ходу выгребая из карманов мелочь, рублишко скомканный добыл и, словно в бреду, все повторял и повторял: «Нашел! Нашел! Столько лет искал!...» И ушел из магазина, прижимая к груди пластинку. Кассирша сказала, пожав плечами, скупающей продавщице: «Чокнутый какой-то!»

В том магазине далекого областного города хранились, точнее сказать — томилась, кисли музыкальные клады, глаза разбегались от изобилия скопившейся музыкальной продукции. Помнится, все деньги, какие были при себе, я ухлопал на покупки, и когда стал платить в кассу, то кассирша в чем-то засомневалась и крикнула продавщице: «Софочка! Софочка! Тут никакой ошибки нету?» — «Нету, нету!» — ответила Софочка — и вижу я в зеркальном отражении стекла — огорожи кассы — вертит пальцем у

виска, дескать, дядя с «приветом», тоже чокнутый, как и тот очкарик, который только что удалился.

Город тот и магазин вызнали москвичи и ленинградцы, летом наезжают в него и раскупают бесценные по содержанию и очень доступные по деньгам пластинки классиков мировой музыкальной культуры.

Ну, а как быть с теми городами и магазинами, куда столичные гости «не достают», где нет консерваторий, музучилищ, театров, где так называемая «культурная прослойка» столь тонка, что сквозь нее все ветры дуют, и ничего в ней не застревает, кроме дешевой маскарадной мишуры и модной блескучей пыли.

Побывавши у меня в гостях и послушав пластинки, которые я с такой радостью приобрел и которыми гордился, один секретарь райкома, совсем не отдаленного и не маленького района, сказал: «В другой раз не траться. Приезжай к нам и эти самые пластинки купишь за пятак».

И я поехал, и купил по два, по три раза уцененные пластинки, а был там не только Вивальди, но и Бах, и Глюк, и Бетховен, и хоралы Бортнянского и Березовского, и старинная клавесинная музыка, и орган, и скрипка — все великие композиторы и музыканты доведены до цены в пять копеек, и все равно пластинки никто не покупает и никто никакого интереса к ним не проявляет и стыдом не мучается.

«Хранить пластинки у нас негде, — чуть не плача, говорит заведующая раймагом, которой «навязали» — она так и сказала — «навязали» всю эту «музыку», — потому что специально открытый в городе музыкальный магазин «прогорел» и никакого от него дохода не было. А пластинки ломаются, гнутся, портятся. Среди них есть ведь такие, которые в крупных городах, поди-ка, ищут?..»

Да, ищут. И часто найти не могут. Это извечные парадоксы нашей торговли: валенки везут в Таджикистан (сам видел их в Душанбе), куртки «на рыбьем меху» — в Сибирь, книги по производству кукурузы и инжира — в Магадан, наставления по пастьбе оленей — в Молдавию.

Книги и музыка — товары деликатные, тонкие, и продавать их, наверное, надо уж если не деликатно, то хотя бы уважительно и умело, чтоб не заявлял продавец в ответ на вопрос о книге или пластинке: «А я не знаю. Я в этом деле не волоку». В большинстве стран мирового содружества в книжные и музыкальные магазины людей без

специального образования не направляют, и чаще всего такой образованный специалист управляется в магазине один. У нас же зачем-то бригады, толпы продавцов в пустых книжных магазинах, и все они, как правило, «не волокут».

Радоваться бы, конечно, надо, что книга ныне нарасхват, да что-то не очень радостно от этого «бума». Истинные читатели, как и вообще культурные люди, во все времена в толпу с кулаками не лезли и не лезут, за книгу и за себя не умели и не умеют биться, боковых и «черных» ходов не знавали и не знают, на черный рынок у них денег не хватало и не хватает — вот и стоят в стороне, вздыхают, ноют, жалуются. Барыга тем временем ломится к прилавку, мнет интеллегенцию, к заднему ходу «блатняк» крадется, и в том самом районе, где книги плавали в гнилой воде, секретарь райкома и предрика после рабочего дня сидят и маракуют, как распределить по городу и району шесть подписок на Пришвина: себе две — это само собой разумеется, редактору газеты непременно, иначе продернет за отставание в уборке урожая. Завмагу отдай, обществу книголюбов, заслуженному ветерану войны и труда... «Слушай, — говорит секретарь предрику, — и откуда у нас столько книголюбов объявилось?! Всего какой-то десяток лет назад не то что на Пришвина, на Пушкина и на Толстого подписываться не хотели. Помнишь, мы специальным постановлением обязывали нашу райинтеллигенцию обзаводиться книгой и даже читать...»

Сказку, как и положено у нас заканчивать, заключаю богрым, реалистическим возгласом-призывом: «Товарищи любители классической музыки! Напоминаю вам, что жизнь многообразна и повороты ее часто бывают непредвиденны — вдруг по нашей необъятной стране объявится необъятное количество меломанов! Что вы со слабыми кулаками и маломатерьяльными связями будете делать тогда? Куда подадитесь? Кому станете жаловаться? Нам когда-то показалось же тяжелым делом везти из Читинской области книжки, а вот молодежная наша делегация не сочла за труд тащить наши отечественные книжки с молодежного фестиваля, проходившего на Кубе, потратив на них скромные свои валютные средства. Не пришлось бы из Испании или из Португалии, а то и со Шпицбергена везти те самые пластинки, которые сейчас валяются в пыли типовых бетонных раймагов».

РУССКАЯ МЕЛОДИЯ

Я держу в руках книгу, мою повесть «Последний поклон». «Мою», — говорю я и задумываюсь: какая же она моя, когда ушла от меня и принадлежит смутно мною видимому читателю, лицо которого я пытаюсь и не могу себе представить, ибо многолик он, наш читатель, и «моей» повесть была до тех пор, пока я работал ее, писал, выдумывал.

Я и заглядываю-то в нее теперь редко, и, как правило, в первое издание книги, осуществленное Пермским издательством в 1968 году.

Что влечет меня к этой книге? Чем она, уже «ушедшая», чарует меня? А тем, что есть у нее еще один автор — художник Алеша Мотовилов, и это он сделал из моей повести книгу, а до этого она была просто рукописью, напечатанной на машинке. Сейчас же она «построена», как дом: в ней есть крыша, крыльцо, сени и даже кружевные занавески на окнах, а дом весь заселен народом, птицами, скотом. Есть тут и лес, и горы, и река...

Всему этому существуют специальные названия: обложка, форзац, фронтиспис, титул... Но как-то не подходят, не годятся эти слова для книги, построенной Алешей, — настолько она одухотворена, мелодична и красива.

Вот я написал «мелодична» и только тут понял, что в работе художника, так же как и писателя, должен быть свой «голос», своя «мелодия», и, если они соединяются вместе, голос автора и художника, — получается произведение, звуки которого тронут, непременно тронут душу человека, коему и назначается труд художника.

Алеша вместе со своей женой Верой долго работал над моей книгой.

Он не умел, а может, не хотел уходить от текста и добивался точного, образного совпадения с героями книги, пейзажем и в то же время не следовал слепо натуре...

Создавая книгу, выстраивая ее, он не изменял своему видению мира, своему глазу и ощущениям своим, но и не игнорировал того материала, над которым работал, — иначе говоря, не подавлял автора, и не «высовывался» вперед, как это нередко делают сейчас художники-графики, заботясь прежде всего о своей «оригинальности», а на автора им вроде бы уж и наплевать. Потому-то такие художники готовы оформлять кого угодно, когда и сколько угодно.

Алеша не мог оформлять кого угодно, ему надобно было «почувствовать» писателя, полюбить его книгу и как бы соединиться с автором воедино.

Кому как, а мне такие художники ближе, и оттого, наверное, когда я открываю «Поклон» в Алешином исполнении, то как бы еще и нутром вижу, как женщина пьет жадно из медной кружки, и чувствую сухость в горле, ощущаю, как воскресает мое иссохшее нутро; слышу, как топают кони, бегущие с водопоя, и каркают нахваленные вороны на кольях опустевшего огорода...

Я слышу музыку прожитого художником времени, от которого осталась вот эта тихая симфония в рисунках, и чувствую мир его живым и трепетным.

В работе, и только в работе душа человеческая.

Алеша сделал много за свою короткую и неброскую жизнь, но до обидного мало успел он поработать в графике, где с первой же книги был замечен, и для «Последнего поклона» я уже другого художника не мыслил и не выбирал.

Жизнь человека кажется очень длинной, и мы не так уж часто балуем друг друга вниманием, дружескими разговорами и встречами. Мало мы виделись с Алешей, но одна встреча навсегда осталась в моей памяти.

Алеша с женой и двумя сыновьями заехал в деревушку Быковку, и мы бродили по речке, рыбачили, говорили, варили уху. Ребята его, Аркаша и Дима, поймали по хариусу, сидели у костра, слушали — внимательные зоркие ребята, Алеша, намолчавшись в своей келье-мастерской, говорил и говорил, и Вера поглядывала на него неодобрительно: вот, дескать, понесло мужика, а то смеялась, маха-

ла на него рукой. Он был работяга-затворник, и такие часы и минуты случались у него не так уж часто, и оттого так оживилось его смуглое лицо, а серые глаза искрились, жили и все-все видели вокруг и в себе. Он был красив в те минуты, полные раскованности, и еще был красив оттого, что говорил о красоте земной, о древней резьбе по дереву, увиденной им в Чердыни, о родине своей — Урале, о лесах, реках и горах...

И вот его уже нет. Но остались сыновья — Аркаша и Дима, которые пошли по линии отца и матери; остались книги и картины, одна из них висит у меня в квартире на стене — небольшой пейзаж, исполненный гуашью, на нем наивная голубая речка, коровы, пасущиеся на косогоре, лесок за ним, желтые кошны на яру и по-над речкой сизый ольшаник, а из него течет тропинка на косогор и дальше к небу, где загадочно проступают высокие горы...

В тот приезд в Быковку написал Алеша пейзаж, но это не быковский пейзаж, то есть он «быковский» и в то же время как бы всеместный, и предосенняя грусть его, и загадочная даль, и отобранные, точно построенные детали, знакомые и родственные каждому, — это наша русская земля, просторная и прекрасная, как жизнь...

В день моего отъезда из Перми Алеша принес мне эту картину, как всегда стесняясь чего-то, тихонько, чтобы никто не видел, подарил ее...

Больше я Алешу никогда не видел, но есть у меня книга, им сделанная, и картина. Это — добрая память о нем.

Да вот беда: память никогда не заменит живого человека, и грустно мне, и горько, что не побродить уж нам вместе по тропинкам родной земли и невозможно уж сказать себе:

«Вот когда закончу эту книгу — попрошу, чтобы ее оформил Алеша: уж очень русская мелодия звучит в его рисунках...»

ВСЕМУ СВОЙ ЧАС

Мой дебют в театре случаен и даже несколько странный. Жил я тогда в Перми, много писал, и дело с прозой у меня более или менее ладилось, во всяком разе работа той поры доставляла мне удовольствие.

И вдруг из местного драмтеатра мне предложили написать пьесу, и я, естественно, отказался, ибо занят был сильно и еще сильнее запуган спецификой театра, его особым видением жизни, его, наконец, сложными историческими традициями и в особенности словами о «постоянной плодотворной работе с авторами».

Что такое «работа с авторами», я знал уже по журналам, издательствам, и у меня было достаточно оснований опасаться подобных заявлений, ибо чаще всего это означает бесцеремонное вмешательство в текст и даже в замысел тех, кому кажется, что они больше писателя понимают «специфику жанра» и даже тайну замысла и мировоззрения глубже самого автора постигли. Опасная это самоуверенность людей, «приставленных к литературе», много она наносила и наносит вреда нашей работе, подгоняя ее под какой-то всеобщий не вид, а подвид литературы, лишая ее индивидуальности и новизны.

Словом, от первой попытки театра завязать со мной отношения я вежливо уклонился. Но театр нуждался в пьесе, его, как я узнал позднее, не пускали в Москву на гастроли без спектакля, сделанного по пьесе местного автора. И правильно делали, добавлю я теперь от себя. Сколько бы ни пыжились областные театры, сколько бы ни са-

мовозвеличивались и ни упивались самоздравием, тягаться им со старыми московскими театрами в постановке одних и тех же пьес весьма трудно — силенки не те.

Я понимаю, какой гул негодования по всей неоглядной провинции вызвал сими строками, и тем не менее, вдосталь насмотревшись и наслушавшись «периферийного искусства», со всей ответственностью могу заявить, что спектакли, да и сам театр, равный столичному, видел лишь один до войны в Игарке, но... его возглавляла Вера Пашенная, и актеров она «понавезла» с собой из... столицы!

Самое для нас, живущих и работающих в провинции, опасное дело — это самообольщение. Чем его меньше, тем меньше провинциальности в работе, тем спокойней живется и больше остается досуга для восполнения культурного багажа, который в столице можно получить посредством общения с людьми, с тем же театром, выставками и пр. и пр., а в районе или в области на это надо тратить свои силы, работать напряженно, чтобы не отстать от заданного ритма современной жизни, или, выражаясь модно, «держат тонус». Я потому говорю «мы», «нас», чтобы понятно было, что и сам болею многими провинциальными болезнями.

Пермяки потихоньку, полегоньку соблазнили все же меня попробовать, и я однажды сел и написал тридцать с чем-то страниц «драматического текста». Посмотревши мое творение, режиссер и знакомые мне актеры не разругали меня, но сказали: «Мало. Надо еще». Думал я думал и еще сколько-то страниц выдумал, точнее, выудил из давнего своего рассказа, и все мало.

А я уж разошелся, или, как у нас опять же в провинции часто по радио говорят, — заразился! Любопытство меня разобрало, задор появился. И ну я катать, ну катать! А главреж из театра Иван Тимофеевич Бобылев меня подбадривает да похваливает, подбадривает да похваливает!..

Тем временем по его поручению его «подручные» рыскают по окрестностям и ищут пьесу, желательно на местном материале и местного автора. И вот ведь чудеса — находят! На мою беду, как мне в ту пору казалось, а в самом деле — на мое счастье, один пермский студент защищает в Москве в Литературном институте диплом готовой пьесой. Пьесу хватают, с ходу ставят и мчатся в Москву на гастроли. И театр, и пьесу молодого автора в столице принимают хорошо, главреж получает лестное предложение принять один полуразвалившийся столич-

ный театр, ибо к той поре он уже прослыл спецом по спасению прогоревших театров и на моих глазах «поставил на ноги» ввалившийся в нетихую спячку, наполненный не творческими поисками, а дрызгами Пермский областной театр.

Обо мне, разумеется, в театре напрочь забыли. Случалось, какой-нибудь заезжий режиссер попросит посмотреть пьесу и с извинениями вернет, либо знакомые артисты позвонят, поговорят про погоду, спросят, как работается, и виновато вздохнут в трубку.

И хорошо, что я работал над первой пьесой как бы балуясь, движимый любопытством, не покидая свою тихую и трудную матушку-прозу, где сам ты себе голова и ни от кого не зависишь, хотя бы в ту пору, когда пишешь, переписываешь, черкаешь. А занимайся я «на полном серьезе» пьесой, весь «отдайся театру» — это какую же бы мне нанесли травму милые театралы, это насколько же вышибли бы они меня из творческого настроения и ввергли в пучину душевной депрессии, в которую и без их помощи трудно и давно работающий писатель впадает часто от усталости и нервного износа!

Я потому так подробно об этом «начале»; что не везде и не во всех наших театрах понимают всю ответственность работы с писателями, особенно с писателем, далеким от театра, работающим профессионально, который дорожит не только словом и именем своим, но и временем, какового ему вечно недостает.

И бросил я пьесу в стол. И не тянуло меня больше баловаться в области драматургии. Урок воистину пошел впрок.

«Шли годы, бурь порыв мятежный...» И прошло их ни много и ни мало, почти семь. Я за это время переехал жить в Вологду. Работалось мне хорошо, стало быть, и жилось недурно, ибо вся жизнь писателя, всерьез и навсегда отдавшегося своему любимому и маетному делу, зависит только от работы.

А тем временем другой писатель, движимый «тайнами творчества» и все тем же зудом любопытства, желанием постичь секрет как будто и недоступного жанра, потихоньку пишет пьесу, и невдомек мне, что его пьесе дано будет повлиять на «явление» моей.

Сперва народный театр города Череповца, затем и областной Вологодский театр ставит пьесу Василия Белова «Над светлой водой». Успех. Овации. Местная пресса

отмечает историческое событие — появление первой пьесы вологодского писателя на вологодской сцене! Все мы, друзья и знакомые автора, после премьеры пошли по тихим улицам заснеженного города. Именинник, то есть Белов, сомлел, молчит, а мы, значит, шумим, руками машем, да все про театр, да все про искусство!..

Само собой, шибче всех раззадорен постановщик пьесы Белова Василия Валерий Петрович Баронов. Он, человек южный родом, горячий, прямо-таки печкой пышет, доказывает, что периферийный театр, любой, обязан в основе своей иметь свой репертуар, фундаментом которого должна служить местная драматургия, иначе это не театр, а прилипала — маленькая рыбка, прилипшая к большой рыбине. И что в Вологде, при такой-то сильной писательской организации, и вовсе грех жить театру без этого самого «своего фундамента».

Из дальнейшего разговора выясняется, что поэт Александр Романов давно потихонечку пишет пьесу о деревне, что начинающий прозаик Александр Грязев сочиняет драму про поэта Батюшкова...

— А вот вам, вам, — налетел на меня Баронов пегухом, — почему бы не попробовать?

А я всегда очень любил и люблю театр. Костюм новый наденешь, рубаху чистую, галстук прицепишь, ботинки почистишь — и пойдешь! И ровно в иной мир окунешься, особенно, если театр старинный, в них и пахнет-то по-особенному, и весь ты в себе притихший сделаешься, робкий, как дитя на взрослом таинственно-сказочном празднике. Особенно любил и люблю я оперное искусство. В оперном театре все эти мои ощущения всегда во мне производили какое-то утепление, умиление, и, случалось, плакивал я не раз на спектаклях, как плакал в весеннем лесу, выздоровев после смертельной раны, явившись как бы с того света в шумный и светлый мир.

Необходимое всякому человеку это место — театр!

Еще и еще я перебирал в памяти только что пережитое — сдержанные, скромные вологжане радовались и хлопали так, как будто они сами сотворили «про себя» пьесу и жили своей жизнью там, на сцене «своего театра».

Непомерно расчувствовавшись, под воздействием минуты я и ляпнул Баронову:

— А что мне пробовать? Я уж разок попробовал, да не родил...

Баронов назавтра же был у меня и, пока я ему не дал пьесу, из дому не удалился. Говорил я ему про свое драматическое творение самое худое, как меня в том убедить успели, повторяя главный, неотразимый аргумент: пьеса написана без знания законов театра...

Часа через два Баронов уже звонил мне и орал в трубку:

— Да на кой они вам, эти законы? Тут главное есть, не затуманенный ложной многозначительностью замысел, характеры, язык. А законы мы сами сотворим, да такие, что у вас зубы заноят!..

Через несколько дней я читал старую свою, но, как оказалось, неустаревшую пьесу в театре. Слушали внимательно. Приняли. Наметили сроки постановки с таким расчетом, чтобы я мог еще поработать над пьесой совместно с режиссером, но, как это нередко бывает в областных театрах, климат в нем резко изменился, режиссеры повздорили, разошлись, и один поехал на юг, другой — юго-запад. Да кабы они уезжали просто так, а то ведь непременно прихватят с собой двух-трех ведущих актеров, оголят репертуар, посадят на мель театр...

Большое это горе, большая беда для местных театров — текучесть. Ведь даже в футболе есть законы о переходе, частенько, правда, нарушаемые, а тут и вовсе анархия.

Я уже забывать начал о своей новой вылазке в театр, как вдруг звонят из Москвы, да не откуда-нибудь, а из театра имени Ермоловой, и не кто-нибудь, а сам главный режиссер Андреев! И говорит не чего-нибудь, не чепуху, не дешевые комплименты, но сразу быка за рога, — просит разрешения поставить пьесу!

Я, естественно, растерялся, лепечу что-то, мол, пьеса несовершенна, обратно — законы...

— Госп. ди! — говорит Андреев. — Дались вам эти законы! — И повторяет почти слово в слово, что говорил когда-то Валерий Баронов.

Пока Андреев говорил, я малость приободрился, как, спрашиваю, вы про пьесу узнали? Где добыли-то? Андреев — мужик тертый, смеется: «Секрет фирмы». По голосу слышу: человек не праздно — заинтересованно со мной толкует и серьезны его намерения. Не так уж часто оказывается подобное внимание нашему брату периферийному писателю, и я не без робости, но и не без радости дал «добро», с условием, что над пьесой надо еще много работать, что сам, чем могу...

Однако заявил я сие сторяча. То было время, когда я

заканчивал работу над новой повестью и до театра никак руки не доходили, да и не верил я, честно говоря, что так вот сразу и начнется работа, завертится карусель. Вот оно, пренебрежительное, наплевательское отношение к пьесе и автору Пермского театра когда сказалось, вот оно чем обернулось.

Я не проникся серьезностью намерений театра, не представлял всей трудности постановки пьесы на сцене, всей сложности и объемности предстоящей работы, потому и не поспешил сразу же на помощь театру, не схватился доделывать не просто сырую, но и рыхлую пьесу, а ведь в прозе я давно уже никому не показываю недоделанных вещей, все делаю и доделываю сам, отстаиваю каждое слово, каждую строку, при редакции никому ничего не передоверяю.

Игрушкой, чуть ли не забавой казались мне на первых порах театральные начинания. И знакомство с труппой театра имени Ермоловой, которого я так опасался, произошло как-то непринужденно, свободно. Все ермоловцы, и мужчины и женщины, сплошь мне показались симпатичными, обаятельными, добрыми, а тут еще главный режиссер поддал жару, тихонько мне сообщив, что в пьесу они влюблены.

Владимир Алексеевич Андреев, которого я теперь знаю несколько поближе, — человек одержимый, истово влюбленный в русскую литературу, в театр, один из тех, кто не на словах, а на деле дорожит русским словом и отечественной культурой, ее традициями, и не просто дорожит, но отстаивает в работе свои принципы и убеждения, что не могло не импонировать мне. С самого начала работы в литературе терплю я поношения за «областной, лаптями и щами пахнувший язык», за «натурализм», за «бытовизм» и т. д. и т. п.

В полном наборе присутствовали в пьесе «Черемуха» и «натурализм», и «бытовизм», и «онучами пахнувший язык». А театр в самом центре Москвы, старейший театр. Мне бы испугаться, а я этаким новоиспеченным драматическим кавалером щеголяю.

Но вот однажды я взял и без разрешения Андреева, который ставил «Черемуху», пришел в театр, на репетицию. Не на первую — на одну из последних, когда спектакль почти уже сложился и его «доводили».

И вот тут-то я наяву увидел, что актеры и режиссер делают то, что должен был сделать я, — они «дотягивают»

за меня мое произведение. Им и работается трудно потому, что было слишком легко мне. И хорошо, и ладно получилось, что в Перми не поставили пьесу. На ходу, в предгастрольной спешке что бы состряпали пермяки из такого клёклого драматического теста? Да и время, время, внезапно понял я, тогда для этой пьесы не наступило...

«Всему свой час и время, всякому делу под небесами...» — хорошее изречение, я очень люблю его и часто им пользуюсь. Но вот наступил «мой час» в театре, а сделать-то я уже ничего не могу.

Постановщик, осунувшийся лицом, ощущает недостаток действия, динамичности материала в моей драме и переизбыток длиннот, он на ходу латает, домысливает, ищет, делает вставки из моих рассказов и в конечном счете выпускает спектакль.

Премьера! Цветы! Радость! Обнимания! Целования! Скромный банкет. Жизнь спектакля началась, и он идет третий сезон, идет, слышал я, все еще при полном зале. На каком-то смотре или на Московской театральной весне, я в этом не разбираюсь, исполнители главных ролей Татьяна Говорова и Сергей Приселков были удостоены Золотой и Серебряной масок, были и другие поощрения, спектакль хорошо принимают на гастролях, он получил доброжелательную прессу. Через год «Черемуха» была поставлена в Вологде главным режиссером областного театра Леонидом Топчиевым — как оказалось, тем самым человеком, который занимая в творческой студии Андреева и показал ему мою пьесу, — вот и весь «секрет фирмы».

В Вологде получился иной, нежели у ермоловцев, спектакль. Не мне судить, какой лучше, какой хуже. И здесь публика ходит на «Черемуху», и об этом спектакле хорошо писали и пишут, но меня все еще не покидает чувство внутреннего неудовлетворения, чувство неловкости оттого, что все же сырую, очень сырую я отдал пьесу в театр.

У писателя всегда есть возможность исправить свою ошибку, улучшить свое произведение. И я переписал «Черемуху». Театры ермоловский и вологодский, кстати, упорно осуществляющий свою мечту и уже поставивший четыре спектакля по пьесам местных авторов, — своими спектаклями ободрили и подвигли меня на эту работу, открыв те возможности в пьесе, которые я, хотя и чувствовал, да не видел до сцены.

Конечно, и в нынешней редакции «Черемуха» далека

от совершенства, и мой скромный труд и дебют в театре не дают повода к тому, чтобы раздражаться такой длинной статьей. Но я думаю: а вдруг кому-то пригодится, кому-то поможет пусть и маленький, но, как мне кажется, весьма поучительный «мой опыт»?

Что же касается лично меня, то я считаю, что мне дико повезло: я попал именно в те театры, именно к тем режиссерам, к которым и должен был попасть со своей первой пьесой.

Это не значит, что я во всем согласен с режиссером и со всеми поисками данных театров. Важно, что наши взгляды на жизнь, наше мировоззрение совпадают в главном, и еще очень важно, что теперь есть на свете театр, и не где-нибудь, а в самой столице, в который я могу прийти как в родной дом, с уверенностью, что мне здесь рады, что от меня здесь ждут новую пьесу и вообще по-свойски ко мне относятся.

И я уже пишу новую пьесу, но на этот раз не торопясь. Постараюсь сделать ее так, чтобы ни режиссер, ни актеры ЗА МЕНЯ не работали, не тащили пьесу, словно воз со щебенкой в гору.

Однажды я посмотрел у ермоловцев спектакль «Играем Стринберга» Дюрренматта. Интересный, крепко сколоченный спектакль, исполнители все на высоте, но вышел я из театра совершенно раздавленный, словно катком меня по асфальту раскатали, ни с кем не хотелось говорить, никого не хотелось видеть, да и жить не очень манило...

«Зачем вы ставите такие спектакли? Разве человеку легко? Разве мало в его жизни мрака, язв, сволочизма, тягот и несчастий?.. Зачем же еще и театр присаливает человеческие раны?..»

Так или примерно так вот напирал я на Андреева потом. Должно быть напирал не я первый и не я последний.

Веселый человек, умный актер и режиссер, он на какое-то время грустно стих и, помолчав, спросил, в свою очередь, тоном строгим, непреклонным: «Зачем же вы и ваши товарищи по перу в своей прозе так сурово реалистичны, непримиримы ко злу, а театру что ж, оставляете право только на мишуру и увеселительность? Театр ведь не просто продолжение жизни, он составная часть ее... И какова жизнь человеческая, таков должен быть и театр. Разумеется, необходимость развлекать людей была и ос-

тается за театром, но лично я оперетт не ставил и ставить их не люблю и не буду».

Прошлой весной в Варшаве я смотрел в Малом театре «Месяц в деревне» Тургенева и, кажется, ничего еще чище, светлей и возвышенней не видел! И страсти-то, по сравнению с нынешними, игрушечные вроде бы, рафинадные, и далекие все эти «усадебные» драмы от сегодняшних драм, а вот, поди ж ты, не единожды сжало горло, слезы навертывались на глаза во время спектакля, потому что видел я прекрасное! А оно вне времени, оно всевечно, оно всегда высоко, но, чтобы понять, осмыслить и принять в сердце, в самую его глубину это прекрасное, необходимо знать, видеть и чувствовать всю пропасть человеческого падения, обнажать язвы на теле человеческого общества. Прикрытые платьем, пусть даже и модным, язвы не перестают быть язвами, вот почему в конце концов понял режиссера, поставившего тяжелую, страшную пьесу о людях, гибнущих во зле и алчности, и принял спектакль «Играем Стринберга».

Но в той же Варшаве, в махоньком театре, и не театре вроде бы, а в балагане с названием «Башня под пороховницей»* я смотрел какой-то уж совершенно озорной спектакль — «капустник» по мотивам Шекспира, где играли одни только женщины, и мужские, и женские роли, даже осовремененного гомосексуалиста исполняли женщины, да так лихо, с таким задором, что нахохотался я до колик. И режиссер театра, даря нашей делегации на память театральные программки, с неподдельным изумлением сообщил, что пробовал вводить в этот спектакль мужчин и ничего, ну, ничего решительно не получалось, спектакль делался вялым, несмешным, и пришлось от такого варианта отказаться.

Словом, оба спектакля, такие разные, такие неожиданные, очень мне понравились, а вот известный московский театральный критик, ездивший вместе с нашей делегацией в Варшаву, сказал, что все это старо, скучно и что есть всего два-три режиссера в Москве, которые по-настоящему знают, чувствуют и дают еще что-то уму и сердцу, и в качестве «новаторского» примера привел спектакль «Отелло» в одном из театров, где актер, исполняющий Яго, выходит на сцену на руках — это-де перевернутый мир, мир, видимый глазами злодея...

* Стара проховня (польск.)

Когда тебя вот так авторитетно поучают, чувствуешь себя первоклашкой, который явился в московскую образцовую школу в деревенских залатанных штанах, с сумкой, сшитой из старого бабушкиного фартука, с ручкой, выстроганной из палочки, с привязанным к ней ниткою пером.

По-настоящему культурный человек никогда не допустит, чтобы вы при нем чувствовали себя неловко и угнетались своей «некомпетентностью», — это я уже знал, испытал на себе и возразил московскому критику в том смысле, что, мол, без опары пирог не ставится, а тут «опара-то» не простая, а золотая — Шекспир! У него, насколько я понимаю, никто, в том числе даже злодей Яго, вверх ногами не ходит. Уважать бы надо классику-то!..

«Уважать или раболепствовать?» — «Да, классика потому она и классика, что сама исключает всякое раболепство». — «А поиск? А новаторство? А дерзость режиссера?» — «Так дерзость иной раз состоит в том, чтобы без билета в автобусе проехать, окно разбить, в кастрюлю соседу плюнуть...» — «Это совсем разные вещи. Законы театра требуют непрерывного обновления, движения вперед и поиска, поиска, поиска...» — «Да кто же против поиска-то? Все человечество ищет чего-нибудь и находит: одни — копеечку, другие — атомную бомбу. Но все ищут на земле и в земле. Отчего же театр часто ищет в небе? Он что, вне сфер жизни, вне ее законов, что ли?..» — «Как вы не понимаете? Театр обновляется, театр ищет себя нового, неожиданного!..» — «Это неожиданное, когда скоморошество, синеблужия, фольклорное действо, уличное празднество, кабацкая удаль и стилижъя дурь объединены вместе, да?..» — «Но ведь вы приняли спектакль в «Башне под пороховницей»?!» — «Это — потеха, забава, не претендующая на обобщения и глобальность. Одно дело, когда делается «по поводу», и совсем другое, когда «всерьез» осовременивают, кастрируют, «переосмысливают» того же Шекспира, Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова. Даже дописывают за них! Это уже, простите, наглость самозванцев, именующих себя новаторами. Они ставят себя выше классиков, и дело доходит до того, что восстановленный Борисом Бабочкиным текст «Грозы» становится открытием для публики. Оказывается, шедевр великого русского драматурга кого-то не удовлетворял, и много лет «Гроза» шла «кастрированной», и к ней такой привыкли, ее такую «узаконили» на сцене! Стыд-то какой!..»

В споре рождается истина. Бесплодна лишь смерть. Однако спорить в искусстве, я полагаю, надобно самим искусством; в литературе — самой литературой, отвергая, уважать, не бить посуду, не глумиться над противником, как тому я был свидетелем однажды.

Знакомый актер пригласил меня на «приемку» спектакля «Село Степанчиково» во МХАТ. Достоевского я люблю давно и преданно, но на сцене, да еще на такой почтенной, видеть его мне почти не довелось. Спектакль не просто покорила меня, он меня потряс. Алексей Грибов в роли Опискина творил чудеса, но в театре творилось что-то совсем мне непонятное, дикое: какие-то люди громко изъяснялись, шелестели обертками конфет, хихикали, и не в перерыве, а дождавшись, когда погаснет свет и начнется действие, вставали с мест, хлопали сиденьями и, громко топая, уходили... А ведь в зале-то был зритель не простой — театральный, все по приглашениям. Справа от нас сидела Алла Тарасова, которую я никогда вживе так вот близко и не видел. Она горестно качала головой, на лице ее было страдание.

«Что это они?» — спросил я у своего знакомого. — «Демонстрируют презрение к МХАТу». — «Да кто же они такие? Ведь вон Тарасова, вон великие старики актеры всюду. У меня сердце обмирает от того, что я с ними в одном зале...» — «А у этих нечему обмирать! Это около-театральные мальчишки и девочки, делающие вид, что они объелись всем, в том числе и искусством».

Спектакль «Село Степанчиково» шел во МХАТе много лет с огромным успехом, его не раз показывали по телевидению. Никакие мальчишки и девочки не могли остановить жизнь старейшего театра: МХАТ есть МХАТ, Малый есть Малый, Большой есть Большой! Сколь ни грохочи сапогами, они стояли, стоят и, надеемся, стоять будут «на своем», но я никогда не забуду, как страдала любимая актриса за оскорбление театра, за работу исполнителя главной роли, который, преодолевая шум, галдеж и неуважение оголтелой кучки модничающих молодых зрителей, перенапрягался в своей и без того испепеляющей, страстной работе. И кто знает, может, Алексей Грибов не дожил какие-то дни, недели, месяцы, не доиграл что-то из того, что еще мог сыграть, чем мог порадовать всех нас, его искренних и истинных почитателей, из-за того дня, из-за того давнего спектакля. А ведь, наверное, и на дру-

гих «приемках» и «просмотрах» бывали такого рода «демонстрации»?

Вот и все, что хотелось мне сказать о том, как я «приобщился» к театру. Но как бы я ни «приобщался», как бы ни сроднился с ним в роли автора, оставался и остаюсь его верным уважительным зрителем потому, что зрительская эта привязанность началась еще в детстве, в далеком, утопшем в снежных забоях городке, где был уютный деревянный театр, всегда забитый до отказа отзывчивым народом. Театр носил имя Веры Пашенной, потому что она его основала. Своим творческим подвигом и трудом замечательная актриса озарила жизнь северян, живших и трудившихся в суровых условиях Заполярья, подарила людям счастье приобщения к слову, к театральному искусству.

Недаром Вера Пашенная была совершенно «своим в доску» человеком в деревянном городе Игарке, но почиталась как богиня!

КАКИ САМИ — ТАКИ САНИ

Красноярский театр имени Пушкина после глухого и длительного застоя переживает период определенного подъема.

Труппа красноярского театра, точнее ядро ее, довольно профессионально и дисциплинированно.

Свидетельством зрелости театра и главного режиссера Леонида Белявского, художника Баженова, таких актеров как Трущенко, Боровков, Жуковский, Мокиенко, Дибенко, Семичева, Лукашенкова, Королев, Селеменев, Бухонов, Милошенко, Кузьмин, Сорокина, Михненко, да и всего состава, занятого в лучших спектаклях — «Театр времен Нерона и Сенеки», «Вдовый пароход», «Мельница счастья», — является постановка этих спектаклей, ярких по выдумкам и актерским работам, дающим возможность проявить свое дарование, но еще более угадать, предположить эти возможности, которые очень часто из-за поспешности, всеядности, желания угодить «вперед смотрящим», все наперед и лучше «капитана», стоящего на мостике, знающим и направляющим театральный корабль «куда надо», не реализуются.

Погоня за планом и зрителем, нажим сверху — привели было и наш красноярский театр к тому, что он стал плохо посещаться. И тогда руководство театра, его художественный совет вместе с главным режиссером, обладающим достаточным вкусом и опытом работы, ударились в ту крайность, которая подстерегала и подстерегает многие наши театры, и не только провинциальные. Красно-

ярцы принимают к постановке и являют миру «кассовые спектакли»: «Я — женщина» и «Саркофаг» — пьесы конъюнктурные, слабо, на потребу дня написанные, — они производят удручающее впечатление, унижают актеров, низводя их способности и творческие возможности до ремесла, притом сиюминутного, размагничивающего, позволяющего творить вполсилы, бессмысленно и равнодушно, точнее сказать, «театрально» ходить, лучше бегать по сцене, орать во всю глотку и закатывать глаза, изображая «страсти».

К зрителю можно и нужно идти не через дешевое потакание низменным вкусам и «запросам», а воспитывая оные, работать с учетом возможностей данного театра, данных актеров, то есть актеров именно красноярского театра, но не хвататься за то, что сейчас на виду, в моде и по силам другим театрам. Это лишь нивелирует театр, делает его безликим, похожим «на всех», и самое страшное — стирает в синтетический порошок талант артиста, лишает его индивидуальности.

Главный режиссер может покинуть театр, уйти в другой и начать там «новаторствовать» или тянуть взмыленную лямку ремесленника. Но что делать артисту? Ему от себя и от своей бедной зарплаты некуда уйти. Как он будет преодолевать в себе развращенность полуработой, виртуозное приспособленчество ремесленника? До творчества ли ему, если его гонят, как колхозную лошадь со сбитой спиной и шеей, растертой плохо сшитым хомутом в кровь, люди, не умеющие держать вожжи в руках и все-таки желающие обогнать всех рысаков, в том числе и столичных. Как возможно за двенадцать(!) дней ставить очень сложный в техническом да и исполнительском отношении спектакль? А ведь ставили! И говорили: «Потом, в работе, от спектакля к спектаклю творение это будет набирать силу. Вот посмотрите десятый или шестнадцатый спектакль — и убедитесь!»

Эти утешительные сентенции я слышал много раз и на периферии, и в столице.

Но зритель не ходит пока в наш театр по шестнадцать раз подряд и не может видеть, как «в процессе дозревал и дозрел-таки» тот или иной спектакль. Порой и чаще всего он, как овощ, убранный веселыми студентами с тучных колхозных полей, так и не успев дозреть, сгнивает в овощехранилищах, которые народ точно называет «овощегноилищами».

Я с тревогой смотрю на наш театр. Здание старое, полуистлевшее, на сцене и за сценой холодно зимой и жарко, пыльно, душно летом, подсобные службы никуда не годятся, рабочие сцены часто меняются, а то и вовсе исчезают, и не могу нарадоваться порой, не восхититься, что в этих, почти невозможных условиях, люди упорно работают, творят и порой «выдают на-гора» хорошие, крепко сделанные и сыгранные спектакли.

А что если выдохнутся, устанут? Что если наш театр тоже охватит вечный недуг российских театров, работающих «на пределе», и довольно слаженную, старательную труппу начнет разъедать ржавчина распрей, сплетен и раздоров?

Тогда все мы вместе с направляющим наши дела и мысли руководством культуры края бросимся спасать наш театр. Но я по опыту знаю — давно в провинции живу и провинцию «зрю»: спасти театр, вступивший «на тропу войны» и впавший в творческий маразм, почти всегда бывает поздно, его приходится создавать заново.

И чтобы этого не случилось, нужно театру постоянное внимание (не мелочная опека, не «наставничество», не запретительные окрики), вот именно внимание и помощь, не на словах, а на деле.

Летом 1987 года красноярский театр, носящий имя Великого поэта России, что, кстати говоря, тоже ко многому обязывает, едет на гастроли в очень «театральные» города — Челябинск и Свердловск. Гастроли почетные, рассчитывать на снисхождение и добродушие зрителей Камчатки и Дальнего Востока здесь не приходится. Придется предстать перед хорошо подготовленным зрителем — лицом к лицу. Я желаю, чтоб не пришлось стыдливо краснеть театру и нам, его почитателям, за наш родной театр. Хочется верить в успех на Урале и в то, что ему предстоит еще многое преодолеть и сделать, завоевывая «своего» зрителя. Он, наш зритель, пока что с прохладцей, или со своеобразным «пониманием», относится к искусству театра, валом валит на спектакль с дешевеньким зазывным названием «Я — женщина» и не очень спешит смотреть Достоевского. И сетовать на него нельзя, не полагается, лучше почаще вспоминать, что в Сибири, на родине театра имени Пушкина, говорят: «Каки сами — таки сани». Может, от этого больше пользы будет.

ПАКОСТЬ

Пакостлив как кошка,
труслив как заяц.

Русская поговорка

В тамбуре подъезда нашего дома вывернули лампочку. Вечером она еще удивленно и радостно сияла, а утром на стене чернел пустой патрон.

Лампочка стояла тридцать копеек, ее ввернул мой сосед, побывавший в электромагазине как раз в тот момент, когда там «выбросили» лампочки. Со дня сотворения дома в тамбуре нашего подъезда лампочек не было. И вот диво! Сияние! Кто-то еще вечером скрипнул пророческим голосом: «Сопрут!» Но мы не поверили брюзге, дом почти крайний на горе, в подъезде нашем, тоже крайнем, никогда не толкутся пьяницы, парни, сбжавшие с уроков, влюбленные парочки. Кошек у нас всего три на подъезд, собак всего две, почтовые ящики не искорежены, стены не расписаны — все живут «свои» люди, вежливые, смиренные, всегда здороваются друг с другом.

И все-таки лампочку увели! У себя! В своем подъезде! Непостижимо, правда?

«А чего тут непостижимого, — возразят мне, — да сплошь и рядом пакости творятся».

Вот послушайте.

В доме, совсем неподалеку от нашего, шесть лет подряд кто-то ночью выносил мусор под лестницу, и к весне его набиралась куча. Веснами эту, начавшую разлагаться кучу убирала жители подъезда, выражали свои чувства, сами понимаете, какими словами. Его, пакостника, караулили, пытались по мусору угадать, кто это, но ни конвер-

та, ни квитанции, ни газеты с номером квартиры за шесть лет так и не смогли найти.

Только смерть, опять же смерть — судья беспристрастный и строгий — разрешила роковой вопрос: умер преклонных лет серьезный мужчина — и мусор под лестницей прекратился...

Я знаю шофера, который, завидев собаку на дороге, обязательно старается ее задавить. У самого у него есть собака — лайка, ухоженная, умная. «У меня собака путная, а этих... Всех передавить надо!» Я ему толкую, что лишь фашистам свойственно определять, кто «путный», кто «непутный», кому жить, кому не жить. А он мне: «Слюнтяи вы все!.. Вот и позасорили жизнь-то».

Мы, значит, позасорили жизнь-то, а он, этакий ново-явленный добровольный санитар-моралист, ее очищает.

Согласно морали такого вот блюстителя чистоты и порядка, стало быть, нужно вытирать ноги о коврик соседа — у него жена дома сидит, не работает. Если приспичит — разбить бутылку на чужой лестничной площадке, набросать окурков да еще и написать на стене что-нибудь выразительными словами на добрую память собратьям и жильцам; коли старушка слаба и еле движется по автобусу или трамваю, дагнуть ее молодецким плечом — пусть сидит, не путается под ногами; коли нет дичи в лесу, не нашлось, не попалась, но зарядов полон патронташ и стрелять хочется — перебить стаканы на телеграфных столбах; коли рыба в речке не клюет — подбросить ей «по-рошку» и на время обморок устроить; коли подманить дудкой или выследить марала не удастся — петлю на его пути; коли захотелось в доме иметь шкуру медведя, но его, медведя, боязно: задрать может, — борону ему, бродяге, — это когда борону оставляют вверх зубьями и зубья затачивают вроде жегры, наступив на такую борону, медведю ничего не остается, как орать благим матом, взывая со звериной мольбой прекратить его муки.

Продолжить еще? Рассказать о тех, кто снимает шапки с чужих голов? Кто отбирает у детей серебрушки? Кто портит телефоны-автоматы? Кто разрушает автобусные остановки просто так, с тоски и от буйства сил? Кто тащит книги из библиотек? Кто таит пять копеек в потной ладони, стараясь сэкономить на автобусном билете? Кто стонет и визжит во время сеанса в кинотеатре, выражая свое эстетическое чувство? Кто врубает на всю ночь про-

игрыватели, чтобы повеселить соседей? Кто выбрасывает мусор в окно вагона, на головы путевых рабочих? Кто...

Продолжайте, продолжайте! Но пакостников по сравнению с порядочными людьми все же не так много. Откуда же такое чувство, что мы порой опутаны ими? Не оттого ли что примирились с ними, опустили руки? Владимир Даль, опять же он, батюшка, давно и во все времена дающий нам точные ответы, называет пакость скверной, мерзостью, гадостью, злоумышлением, да еще дьявольским, и советует: «Всякую пакость к себе примени... На пакость всякого станет...»

Пакость чаще всего творится скрытно. Если бы ее «засветили», если бы видно сделалось, она, быть может, и прекратилась, ибо пакость, хотя и не всегда любит и часто не приемлет зрителя, все же иногда и при зрителе происходит и для него делается. Если бы пакостить негде было, не рыхлилась бы для нее почва, нечем бы стало ей прикрываться, пришлось бы нам кончать с очень многими дурными наклонностями. Ну, допустим, все из той же пресловутой торговли: себе и друзьям — получше, другим — что достанется; еще лучше: себя снабдить, остальные — как знают. В пятидесятые годы слово «ОРС» расшифровывали так: «основное растащили сами, остальное раздали своим». Мораль сия воспрянула снова. Ну а после того, как растащили, себя и своих снабдили, можно вовсе ничего не делать, только эту шушеру под названием «покупатель» презирать: месяцами не завозить в овощной магазин картошку — грязно; не заказывать хлеб — на хлебе план не потянешь.

А служебная пакость? Кому не доводилось на рабочем месте увидеть подвыпивших и играющих трудящихся — такие жизнерадостные работяги поталкивают молодецкими плечами друг друга или бороться возьмутся, а то карты вынут или домино и ну стучать. Случается услышать откровение: «Сто пятьдесят получаю — и ничего не делаю! Красота!»

Прошлой осенью довелось мне наблюдать, как сплавщики вытаскивали из реки катера на зимний отстой. Тринадцать человек их было, не считая двух мощных тракторов и трактористов. За день они вытащили на берег один катер из шести, поломав у него при этом гребной винт. Напившись и наигравшись вдосталь, бригадир с насмешкою спросил у меня, наблюдавшего за этим действием, — работой сие назвать рука не поднимается: «Ну как?» И я

с негодованием ему сказал, что сам видел, как в Финляндии подобную работу без матюгов и спешки делали всего двое рабочих-трактористов и что буржуй-хозяин за такую работу сегодня же вечером выгнал бы всех их вон. «Вот чтоб он нас не выгнал, мы его и турнули в семнадцатом году», — снисходительно хлопнул меня по плечу бригадир.

Ну что на это скажешь? Только руками разведешь и вспомнишь бабушку, которая без особого осуждения, почти с восторгом говаривала о таких вот трудягах: «Грамотные, язви их!..»

Игарка в тридцатых годах почти сплошь состояла из переселенческих бараков. Среди первых опытных двухэтажных бараков, строенных на мерзлоте, был и барак номер два, хорошо мне известный, — в нем жил мой дедушка с семьей. Этот барак, как и все другие, мылся, белился, подметался поочередно. У входа в барак были вбиты две длиннющие железяки — скоблilки, лежали голики и веники (не на привязи, как нынче). В самом бараке ни росписей, ни художеств, а ведь в «силу климата» ребятишкам зимами приходилось играть в бабки, в чику, в прятки, в чехарду под лестницами. Дрались, конечно, парнички, выражались, покуривали в темных углах, но чтоб сорить — Боже упаси! Любой житель барака мог натыкать тебя носом в грязь. Вдруг раздавался вопль: «Дзюба идет!» — и ребятишки кто куда, пряча на ходу серебрушки, бабки, окурки, палки. Дзюба Николай Охремович был старостой барака. Гроза! Власть! Я не помню, чтобы он кого-нибудь стукнул — достаточно было его появления. Иногда Дзюба останавливался, нюхал табачное облако, выуживал какого-нибудь огольца из-под лестницы и держал его на весу за ухо минуту-другую, выразительно при этом глядя жертве в глаза. Орать не полагалось, потому что на крик нагрянут родители и добавят — если уж сам Дзюба Николай Охремович тебя наказал, значит, и разбираться нечего, значит, заработал, значит, получай сполна за необходимое дело.

Я заходил в те старые бараки много лет спустя. В них «жили» вербованные. Слово «жили» я беру в кавычки и придаю ему условное значение — без кавычек оно не подходит для той картины, какую мне довелось видеть, да и сейчас при желании любой любопытный в любом нашем промышленном городе может ее увидеть.

Есть такое мудреное научное выражение — «среда

обитания». Вот это изречение я бы употребил ныне по отношению ко многим современным жилищам, да и не только к ним.

...Предложили мне выступить в одном шибко интеллектуальном учебном заведении. В нем только студентов пятнадцать тысяч. Перед выступлением, от волнения, видно, погнало меня в заведение с нарисованной на двери фигуркой в шляпе. Боже ты мой! Даже вокзальные картины, какие наблюдал я не раз в крупных городах, не говоря уж о Богом и людьми забытых городишках, ни в какое сравнение не идут с тем, что я увидел.

Между тем в зале сидели и ждали моих речей и откровений философского порядка модно одетые парни и девушки, мыслящие современно, остро, озабоченные «глобальными вопросами», в особенности «вопросами жизни» — экологическими. А я им и брякни, что надо прежде за собой научиться убирать, потом умствовать, что экология как раз с этого и начинается, что, начав с нечистоплотности в вузе, они могут и впредь, когда станут сдавать или принимать в эксплуатацию, допустим, новое водохранилище, этакое рукотворное море, не смущаться тем, что вместо воды в нем плавает воняющей шубой водоросль под названием «водяная чума», а берега устелит и загромоздит похожий на чудище плавник, вместо леса будет маячить кладбище черных обломанных стволов. И еще я сказал, что те, выгнанные нуждой из деревни в город дяди Вани и тети Мани, которые веками «незаметно» обихаживали интеллигентных горожан, стряпали, шили, пилили, возили, кончились, их дети и внуки сидят здесь, в зале, и хотят они того или не хотят, но обихаживать себя и свою землю придется им самим.

Кто-то хихикнул, кто-то нахмурился, а кто-то на меня обиделся: как же? — пришли покраснобайствовать вместе с писателем, интеллектом блеснуть, а он им такую грубость житейскую...

Пакость многообразна, границы ее бывают размыты житейским морем или сомкнуты с некими нагромождениями, разломами, выносами. Пакость может быть незаметной, но безвредной никогда не была и не будет.

Недавно я услышал рассказ о том, как «украли» ЛЭП! На четыреста верст! То есть одни проходимцы-мошенники, не построив, сдали ЛЭП, а другие мошенники приняли ее, и все получили за это поощрения и премии. Лови-

имай их теперь, мошенников-то! Они сделали пакость и разбежались — угонись-ка за ними!

В глухой тайге, на перевале, видел я странные окаменения, серые и морщинистые, на магму вулканическую похожие, и не сразу догадался, что это бетон. «А чего удивляться-то? — сказал мне шофер. — По всем новым дорогам такое: бетон привезут — принять некому, людей нет. Не губить же машину, вот и вываливают сырой бетон в кусты». Машину, значит, губить нельзя, природу — можно!

Нет, я шибко покривил бы душой против истины, если бы окончательный сделал вывод, что пакость всегда интимна, локальна, единолична. Ее можно творить и масштабно. Вот проектировали институты, утверждали инстанции, в том числе и местные, одну большую ГЭС (Красноярскую) с условием, что река ниже гидростанции зимою не будет замерзать лишь на протяжении 25—30 километров, то есть до большого города, которому предстояло еще бурно развиваться, гиблая в зимнюю пору, парящая, ознобная вода не дойдет. Построили мощную гидростанцию, оттремели оркестры, отшумели банкеты. Строители, да и не только они, получили награды — и оказалось, что река ниже ГЭС не замерзает на протяжении 250—300 километров! Какие бедствия и убытки от этого, какой нанесен урон роскошной природе — ведутся подсчеты. Теперь, с некоторым, мягко говоря, запозданием, власти города, ученые ломают голову над тем, как избежать бедствия, нанесенного проектировщиками, и заставить реку жить нормальной жизнью, избавить людей и природу от нечаянной напасти. Людей, большинства из тех, творивших, утверждавших и принимавших проект, пожалуй, за давностью лет уже не найти; но есть и сегодня мудрецы-молодцы, которые небось продолжают так же мыслить и творить дальше — выдумывать еще более «эффективные и экономичные» проекты.

Все мы хотим нормальных, грамотных проектов, а не «липы» с сиюминутной «липовой» экономией; нормальных, честных решений и их нормального, честного исполнения, нормального труда, нормального отдыха. Не один я, уже многие наши люди страшатся хитрых технических операций, экономных проектов, велеречивых статей, книг, кинокартин, где есть все, кроме искусства. Мне, да кабы только мне, всегда за вычурностью, за мнимой многоумной ученостью, прекраснодушными разглагольствования-

ми, высокими идеями, излагаемыми с открытым, невинным взором, в густоте словесного тумана чудятся плутни, желание скрыть истинное лицо иль отсутствие собственных идей и мыслей.

Кому нужно искусственно усложнять нашу и без того непростую жизнь, нагромождать препятствия там, где их не было и быть не должно? К примеру, все мы, граждане, пользующиеся услугами междугородной телефонной сети, могли заранее приобрести разовый талон на разговор. Это во многих случаях было удобно. Но наши намерения жить удобно угаданы и вовремя пресечены: дано указание принимать заказы на междугородный разговор по разовым талонам только из гостиниц и больниц.

Сократилось количество разговоров, значит, и жалобы сократились, сократились заботы, хлопоты, «легче» стало обслуживать население. После этого уж не удивляешься, что, издав приказ или вынеся постановление повсеместно в стране сдавать корреспонденцию и всякую почту только в стандартных упаковках, Министерство связи не ударило палец о палец, чтобы данная упаковка появилась в продаже. Во всяком случае, у нас в Красноярске по-прежнему в почтовых отделениях связи одни почтовые конверты для писем да открытки с изображением сирени, пожелтевшей от тоски и долгого хранения. И нет по-прежнему конвертов большого и среднего формата, их не продают и без них соответствующую корреспонденцию не принимают. Те же конверты, которые изредка появляются, делаются из рыхлой бумаги, и бандероли, как правило, поступают в поврежденном состоянии, то есть в прах разбитые и растрепанные.

Наступит срок — он уже наступил — и вообще перестанут принимать корреспонденцию, запакованную нестандартно. Опять кое у кого будет работы, забот и хлопот.

Что говорить, многие ведомства и министерства причили себя к тому, что не они людям служат, а люди им, и гnevаются даже, когда им указывают на «мусор под лестницей».

Вы скажете: «Какая же это пакость?!»

Правильно! Преступление! Но оно начиналось с пакости, уверяю вас. Может, еще родители, может, дед с бабушкой пакостные были и коростой пакости заразили этих, с позволения сказать, людей...

Умерла от ран и болезней достойная женщина, быв-

шая фронтовичка. Женщина та умирала долго, мучительно, на окраине, в доме гостиничного типа, в узенькой комнате. Возле нее никого не было, лишь верная подруга, тоже фронтовичка, навещала ее, прибирала в комнате, ухаживала за ней. Смерть уже стояла у изголовья больной, но она продолжала держаться, и подруга ее догадывалась почему: она не позволяла себе умереть раньше пятого или седьмого числа наступавшего месяца — хотела получить пенсию и отправить младшему сыну, у которого трое детей, а она не сумела его «обеспечить». Она умерла восьмого числа и просила не судить строго «мальчика», если он не прилетит на похороны, — очень далеко, а у него семья, важная работа.

У женщины-фронтовички была когда-то хорошая, еще от матери доставшаяся довоенная трехкомнатная квартира, она разменяла ее и отдала квартиру первому сыну, второму же сыну, жена которого все корила свекровку: «Завоевали, понимаете! Заработали... Сберкнижки нету! Нищета!» — винясь, посылала пенсию, оставляя себе копейки на питание. Последнюю пенсию смогла послать целиком — деньги ей сделались более не нужны.

Сын на похороны матери не прилетел...

Многообразна, разнолика жизнь, часто и грустна, и непохожи характеры людские друг на дружку, а вот дела, творимые ими, обиход все же частенько совпадают и с обликом их, и с характером. Соответственно и пакость бывает похожа на самого пакостника.

Мне не раз доводилось бывать в покинутых русских деревнях. Ох, какое это зрелище! К нему не притерпеться, не привыкнуть. Я, во всяком разе, не смог. Ведь некоторым селам, которые так поспешно, охотно, вроде бы с облегчением списывали со счета, — тыща лет! А может, и более. И самое печальное зрелище — это оставленная, заброшенная русская изба, человеческое прибежище.

В деревне Гридкино на Вологодчине, которую, слышал я, спалили туристы мимоходом, стоял небольшой дом, обшитый самоструганым тесом, с дворовыми пристройками, резными наличниками, с начатой, но так и не законченной резьбой по карнизу. Двор заперт изнутри, на входной двери дома, под уже ветшающим козырьком, висячий, ржавчиной тронутый замок, и рядом в стену крепко всажен топор с гладеньким, ловко излаженным топорщиком. На крыльце веник и голик, лопата и лом прислонены к стене, под козырьком пересохший пучок зверобоя

и душицы, на ободверине еле уже заметный крестик, сделанный мелом.

Я заглянул в окно покинутой избы. В ней еще не побывали городские браконьеры, и три старенькие иконы тускло отсвечивали святыми ликами в переднем углу. Крашенные полы в горнице, в средней и в кути были чисто вымыты, русская печь закрыта заслонкой, верх печи был задернут выцветшей ситцевой занавеской. На припечке опрокинуты чугушки, сковорода, в подпечье — ухваты, кочерга, сковородник, и прямо к припечью сложено беремя сухих дров, уже тронутых по белой бересте пылью. В этой местности дрова заготавливают весной, большей частью ольховые и березовые. За лето они высыхают до звона, и звонкие, чистые поленья радостно нести в дом, радостно горят они в печи.

Часы-ходики уперлись гирей в пол и стояли, в горнице остался половичок, кровать закинута ряднинкой, на окне керосиновая лампа, хотя и электричество было проведено в избу. В горнице же на стене в ряд висели черное пальто, шитое из перекрашенной шинели, и гордость прежних деревенских модниц — плюшевая жакетка, детские самодельные курточки, пальтишки; над «добром» этим виднелась полочка, и на ней стопкой лежали тетради, учебники, к стене приклеены плакаты послевоенной и военной поры, с красноармейцами, матерью, призывающей спасти Родину, трактористами, доярками и красномордым пьяницей, валяющимся в обнимку со свиньей в грязной канаве.

Здесь жили хозяева! Настоящие. Покидая родной дом из-за жизненных ли обстоятельств, по зову ли детей или в силу все сметающей на пути урбанизации, они не теряли веры, что в их дом кто-то придет не браконьером и бродягой — жителем придет, и с крестьянской обстоятельностью приготовили для него все необходимое: ломик — оторвать замок, без топора же и лопаты хозяин ни шагу; темной порой придешь — засвети лампу, без истопли же дров куда? Затопи печь, путник или новопоселенец, согрей избу — и в ней живой дух поселится, и ночуй, живи в этом обихоженном доме.

А через дорогу, уже затянутую ромашкой, травой муравой, одуванчиком и подорожником, изба распахнута настежь. Ворота сорваны с петель, створки уронены, проросли в щелях травой, жерди упали, поленицы свалены, козлица опрокинута вниз «рогами», валяются обломок

пилы, колун, мясорубка, и всякого железа, тряпья, хомутов, колес — ступить некуда.

В самой избе кавардак невообразимый. На столе после еды все брошено, чашки, ложки, кружки заплесневели. Меж ними птичий и мышиный помет, на полу иссохшая и погнившая картошка, воняет кадка с прокисшей капустой, по окнам горшки с умершими цветами. Везде и всюду грязное перо, начатые и брошенные клубки ниток, поломанное ружье, пустые гильзы, подполье черным зевом испускает гнилой дух овощей, печка закопчена и скопобочена, порванные тетради и книжки валяются по полу, и всюду бутылки, бутылки, из-под бормотухи и водки, большие и маленькие, битые и целые, — отсюда не высеялись, помолясь у порога и поклонившись покидаемому отеческому углу, здесь не было ни Бога, ни памяти, отсюда отступали, драпали с пьяной ухарской удалью, и жительница этого дома небось плюнула с порога в захламленную избу с презрением: «Хватит! Поворочала! Теперь в городе жить стану, как барыня!..»

Мне не составляет труда представить, где и как живут первые хозяева, с семьей уехавшие из деревни, и где вторые. Первые живут в пятиэтажном доме на знакомой мне улице Большевикской, в Перми. Дом как дом, постройки еще пятидесятых годов, малогабаритный, с совмещенными ванной и санузелом, на лестнице в доме не просто чистота, она еще и покрашена «своей» краской, на каждом этаже на окнах цветы, у каждой двери нехитрый коврик, в доме ни клопов, ни тараканов, в подъезде все почтовые ящики целы, лестничные барьеры не изрезаны, не скручены молодецкой рукой, на полу и под лестницей ни сора, ни окурков, ни пустых бутылок, ни стекла — сюда бродяги и блудные дети не ходят, они не любят такие дома.

Вторые хозяева живут, ясное дело, в том доме, на Асмолинской, где умирала бедная женщина-фронтовичка, а напротив нее дни и ночи пел, да какое там пел — «выдавал» расплюснутым нутром, сгоревший от денатурата, клея, одеколона, разных аптечных пузырьков и прочих «напитков» голосом «отдыхающий ныне на пенсии» вечный арестант, всю сознательную жизнь проведший в колониях: «А мы тянули вместе срок чтырыи хода, а ты, с-сэка, к другому фраиру ушла...»

Отчего терпим мы?! Вот он, пакостник, расшеперился, как конь, среди центра города и мочится, по ту и по другую сторону которого идут нарядно одетые девушки,

дети, люди сплошь спешат на работу и с работы. Он сквернословит, задирает прохожих, презирая всякую мораль и нас вместе с нею. Да подойдите же, подойдите, парни, и дайте ему пинкаря, потом за шкурку его и в кутузку! Он же в глаза нам плюет! Я бы и сам его скрутил, но уже стар, сед сделался и в Союзе писателей состою — мне должно действовать только словом. Значит, он изгаляется, а я ему: «В человеке должно быть все прекрасно», «Вы позорите честь советского человека!..»

Ох, сколько мы слов извели, сколько негодования высказали, сердце изорвали, нервы извели, вывесок больше всех грамотных народов написали, и все с приставкой «не»: «не курить!», «не бросать», «не переходить», «не шуметь», «не распивать». И что же, пакостник унялся? Притормозил? Засовестился? Да он как пакостил, так и пакостит, причем, по наблюдениям моим, особенно охотно пакостит под запретительными вывесками, потому что написаны они для проформы и покуражиться под ними пакостнику одно удовольствие, ему пакостная жизнь — цель жизни, пакостные дела — благо, пакостный спектакль — наслаждение, и тут никакие уговоры, никакая мораль, даже самая, что ни на есть передовая, не годится, тут лишь одно средство возможно, оно, это верное средство, мудрым батюшкой Крыловым подсказано более ста лет назад: «Власть употребить!»

И силу, добавлю я, всеобщую, народную!

1984

ИДИТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА СЕБЯ

Этот спектакль по пьесе Степана Лобозерова с названием «под Радзинского» — «Семейный портрет с посторонним» — до того незатейлив по сюжету и постановке, что так вот и подмывает сказать банальность — прощепареной репы.

В крестьянскую деревенскую избу, где на кровати давно уже валяется с поломанной ногой сам хозяин — Тимофей (артист Бухонов) и обретаются бабка (артистка Мокиенко), а также не поступившая в институт дочка и внучка Тоня (артистка Дацкая), кладовщик местного совхоза или колхоза Михаил (артист Авраменко) приводит на постой приехавшего в деревню — оформлять клуб и подзашибить денег — художника Виктора (артист Селеменов).

Поскольку Михаил имеет виды на Тоню и сразу видно, что он ее ухажер, дабы «нейтрализовать» приезжего и отбить у него всякую охоту заглядываться на симпатичную деваху, он с ходу же заявляет, что здесь, в заезжем доме, Тоня состоит уборщицей, и, поместив постояльца в комнату, делает второй ход по «нейтрализации», заявляя, что постоялец недавно лечился в психиатричке, а в недалеком прошлом и в тюрьме сидел.

Посеяв смятение в дому и подозрительность, Михаил добавляет, что будет заходить каждый час с проверкой — «мало ли чего». Тоня, вмиг разгадавшая хитрость и коварство ухажера, говорит, что он все это придумал, чтоб запугать их. Но уже никто ей не верит и в первую голову бабка.

И начинается на почве подозрительности и испуга такая канитель и свара в доме, что постоялец решается попустить заработком и вернуться домой, в город. Ухажер обескуражен и удручен. Спасая положение, плетет уже гостю, что вся эта семейка, в которой за главного командира и кормильца жена Тимофея, Катерина (артистка Семичева), не в себе, что и сам гость, наверное, заметил: сумасшедшие тут сплошь и лечить бы их надо, а где и как?

По лучшим образцам и традициям русской комедии завязывается драматическое действие и такое, что народ в зале стонет от смеха.

Признаться, я давно не видел на нашей сцене и в кино (хотя в кино-то были — «Любовь и голуби», шукшинские чудики), но на сцене сплошная иностранщина или символы, символы и терзания нагих тел, не всегда и молодых, чаще безобразных (под Додина), не видел такого простого, доброго и веселого спектакля. Без штучек-дрычек, без ужимок и глубокомысленных качаний бедрами и прочими частями тела, без громов и молний, без душераздирающих сцен насилия под современные выкрутасы и звуковую какофонию, идет спектакль, поставленный режиссером Андреем Максимовым из петербургского Большого драматического театра, где многие годы творил и мучался один из самых великих режиссеров современности Георгий Товстоногов. У него было много учеников и он всем им говорил, что научиться режиссуре нельзя, но понять кое-что можно, садил рядом с собой стажера или желающего что-то «понять» человека и через год-два отпускал с Богом.

В России очень много подражателей Товстоногову, есть и последователи, но нового Товстоногова нет и никогда уже не будет.

Мне думается, Андрей Максимов, работающий в БДТ, понял все же самое главное — человек буйной творческой фантазии может оживить даже «мертвую» пьесу, дать ей воскреснуть или просто «ожить», допустим, ту же «Хануму», наверное, еще до сих пор идущую в БДТ. Но прежде чем «оживить», «воскресить» или просто сделать спектакль неповторимым, надо суметь точно угадать актеров на роли и увлечь их материалом, над которым предстоит работать. Сам-то режиссер, увы, за сценой.

В Красноярском драматическом театре имени Пушкина произошло совершенно точное «попадание» — все

артисты настолько «в материале», так они органичны, интересны, ну просто «как живые». Других актеров трудно и представить в этом спектакле.

Красивое, театральное слово «ансамбль», наверное, тут будет неуместно, а вот семья или артель — для всех шестерых персонажей, по-моему, самые подходящие и пригодные слова. Никого и выделять не хочется, все играют в полную силу, играют так увлекательно и хорошо, что где-то начинаешь забывать, что перед тобой сцена, что играют артисты. Нет, они, эти добрые, смешные и по-русски безалаберные люди живут естественной жизнью, рядом с тобою, чудят, сердятся, выполняют работу, справляют немудрящие праздники на свой простецкий лад, зато уж так ли дружно и весело.

Признаться, я еще и еще раз подивился неувыдаемому, озорному таланту давней моей знакомой, любимой не только мной, а всеми красноярцами, актрисы Екатерины Мокиенко, у которой я и отчества-то не знаю. Катя и Катя. Ах, как она естественна, как молода до сих пор, какой задор и здоровье, какое завидное в этом таланте буйство оптимизма и радости. Вот уж воистину человек, от которого можно получать заряд бодрости и надежды.

Идите и посмотрите новый спектакль, красноярцы! Такого русского, такого озорного спектакля давно в наших театрах не было. Театр набирает сценическую культуру и творческую высоту. Может быть, его со временем потянет на дерзость и по плечу ему сделается ставить и Островского, и Сухова-Кобылина, и Горького, и Чехова — все же без драматургии этих товарищей как-то совершенно русский театр не смотрится, и не движется он к своему народу и зрителю на полное сближение.

И еще, вошел я в зал нашего театра и снова ахнул — нет занавеса! Нет того, без чего, говорил покойный Грибов, «исчезает таинство театра». В красноярском театре вроде бы даже и признаки-то занавеса исчезли. Да что же, его пропили иль на портянки растащили, занавес-то?! Или не дает покоя новоявленная мода? Но в уважающих себя старых театрах — в Малом, в том же БДТ, в Вене, видел я, занавес на месте, за ним творится чудо, которого все люди ждут и не устают ждать, хотя бы в театре.

ПРЕД АЛТАРЕМ

Из незаконченной статьи

Глубокочитимый мною высокопрофессиональный певец Евгений Нестеренко, учившийся вокальному искусству, будучи студентом двух вузов и прорабом на стройке (на нашей стройке!) — на моих глазах, в Вена-опере (в Большой-то не вдруг попадешь!), оживил закованную в латы, навеки, казалось мне, окаменелую роль Дона-Карлоса, которую сотрясти и заставить «жить» на сцене не могла даже Великая музыка и полная драматизма внутренняя напряженность роли. Нестеренко не только пел роль, но и много, даже легко, двигался, будто век был королем или жил при дворе и видел, как ходят, каких манер придерживаются повелители в моменты радости и печали, во дни придворных козней, страшных бурь, войн и страданий влюбленных, смертоубийств, скрытых за мрачными, тяжкими стенами замков, откуда ни стоны, ни смеха не донесется никогда...

Не дело слушателя и зрителя доискиваться того, как и почему удалось достигнуть того или иного, добраться до тайны, дело зрителя и слушателя сопереживать, радоваться, плакать, смеяться, иногда и рыдать, а потом уж, Бог даст, из всего этого что-то и получится, может, даже путный и добрый зритель и слушатель получится...

А какой ценой? Каким путем? Какими трудами и поисками? И это постепенно придет, и этому научишься.

Вот недавно Е. Нестеренко признался, что финальную сцену в «Борисе Годунове» он начал понимать и прово-

дить в последнее время несколько по-иному, потому что на себе испытал сердечные приступы.

Велика цена большого искусства! Велики муки того счастья, какими оно дается, и велик труд, каким он достигается. Вот это надо бы знать каждому зрителю и слушателю.

Серьезна, могуча и беспредельно обаятельна, как-то по-царски величественна, по-русски подобранная на сцене Елена Образцова. Вот она поет, наверное, с консерватории разученную и любимую арию из оперы Масканыи «Сельская честь», поет блистательно, как всегда, вдохновенно, высоко, тревожно. Поет в Японии, и японское телевидение снимает ее.

Дотошный народ — японцы! Им мало снять, как пела гостья, как гремел овациями зал и забрасывал, задаривал цветами солистку, — они проводили с камерой ее за кулисы. Только что белозубо улыбающаяся, бесконечно, однако, с достоинством раскланивающаяся певица по мере удаления со сцены как-то погасала, вроде бы распускалась душой и телом — видно-то со спины! Но вот уже за кулисами она искала что-то глазами, нашла свою чашечку недопитого чая и отпила глоточек, не забыв подставить под чашечку ладонь (в гостях же! Да еще у японцев — никогда об этом не забудет хорошо воспитанный человек, что он в гостях, что за ним следят, и помнить все это он должен без напряжения, без показухи, интуитивно). И вот, отпив глоточек чая, могучая-то, всегда мне казалось, неутомимая и неустрашимая, знаменитейшая, способная, говорят, из Большого театра, после смертельно-тяжелой да и давящей, наверное, партии графини переехать недалеко и во Дворце Съездов, как ни в чем не бывало петь удалую, зажигательную «Хабанеру», певица эта, отпив из чашечки глоток, выдохнула: «О-о-о-ох!».

Певица пошла на повторный поклон, вновь блистая белью зубов, всем своим видом показывая, что петь для нее — никакая не работа и не перенапряжение, при котором сторае сердце и нервы натягиваются раскаленными проводами, — петь для нее одно удовольствие, а уж петь для сегодняшней публики — и подавно, ибо она слышит ее восторг и любовь, нигде в мире она не видывала и не слыживала таких восторгов...

Я боготворю Гоголя — как хорошо о нем написано на юбилейных почтовых конвертах, выпущенных к юбилею: «Н. В. Гоголь — русский писатель» — браво! Браво! Это

равно надписи, придуманной Великим русским поэтом Державиным на могилу Великого русского полководца: «Здесь лежит Суворов».

Только, полагаю я, над подписью к Гоголю никто ничего не думал, просто на конверте больше не вмещалось букв, да и думать нам некогда...

Так вот, было произведение у Гоголя, которое я считал недостойным его пера, досадовал, что оно «к нему попало», — очень уж самодеятельно, примитивно — это «Женитьба».

И вот я на спектакле «Женитьба», в театре на Малой Бронной, хохочу, подпрыгиваю, слезы восторга застыт мне глаза...

«Э-э, батенька! — ловлю я себя на «унутреннюю» удочку. — Что ж ты это в телячий восторг впал? Произведеньице-то...»

Нет, Гоголь не мог написать «произведеньице», да еще и «самодеятельное». Это мой читательский вкус и уровень были не выше самодеятельных, и спектакли по «Женитьбе», которые мне доводилось видеть прежде, видеть, были поставлены и сыграны людьми, мыслящими на моем тогдашнем уровне и Гоголя воспринимавшие на уровне самодеятельности.

Гоголевская «простота и вседоступность» ей-богу коварней воровства, она очень опасна для поверхностного и беглого чтения, что с блеском и доказала наша школа, преподнося этого гения из гениев, ухаря из ухарей наряду с «другими классиками». Но он не встает ни в какой ряд, ни с какими, в том числе и с нашими, величайшими классиками — он сам по себе и все тут!

Если великая русская литература состоит из множества разных и замечательных книг, то гоголевские «Мертвые души» — это целая литература! В одной книге — литература! И, между прочим, по современным меркам современных наших размножившихся, как лягушки в зарастающем рясной пруду, романистов — не очень и толстая.

ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

В Ирландии я видел фотографию, огромную, во всю стену какого-то дома. На ней: долговязые, хорошие ребята с медальками на шее, вероятно, колледж закончили и снялись — на память. Внизу что-то написано. Я попросил перевести мне, что написано. А написано вот что: «Мы, дети Ирландии, сделаем свою Родину самой красивой, самой свободной, самой счастливой, самой богатой!»

«Мы сделаем!» — вот что самое главное в этой подписи, в этих ребятах. У нас же не только старые, но и молодые люди орут: «Вы сделайте! Вы нас накормите, а если можно, то и напоите, развлекайте нас, придумывайте».

И придумали — им на потеху — конкурс красоты. Дурость началась в Москве, потом на провинцию перекинулась — как же российская провинция без дурости, без подражания столицам...

* * *

Приезжал в глухую деревеньку Сиблу, что на Вологодчине, в которой был у меня дома немец по фамилии Копельгайнен, Фриц, между прочим. Постройка не новая, я нанял работяг, чтоб кое-что подладили. И живем мы в ней с женой, она — между городом и деревней, там же наши великовозрастные дети, а внук с нами. Мне хорошо в общем-то живется: рыбачу, хожу время от времени с ружьем и много и податливо работаю.

Однажды сообщили мне, что приезжает немец из Кельна, журналист. А избу эту я купил, чтоб не так часто «доставали» из города, чтоб работать и дышать природой. Пошел я к председателю колхоза и говорю, что избу уже купил, спасибо, но мне нужна какая-то земля и вы покажите мне — земля-то все-таки колхозная, — сколько можно загородить, чтоб потом меня не судили, если лишка «прихвачу». И он мне сказал: «Виктор Петрович, вон туда — до горизонта, вон туда — тоже до горизонта, а вон туда не могу — там река. А эта земля всеми брошенная, загораживай, сколько надо».

Я загородил хороший четырехугольник. Посадил сосны, березы, тополя, кедры — журналист Саша Щербаков привез из Сибири бандероль с саженцами кедров. Посадил, да не очень удачно выбрал для них место, однако несколько кедров растут и по сию пору.

Однажды по телефону из Москвы мне Иван — знакомый журналист-переводчик — сообщил, что они едут вместе с Фрицем. Расторопная милиция, услышав в телефоне «вражескую» речь, опередила немца с журналистом, ходила вокруг моего дома, порасспрашивала, зачем немец едет и надолго ли — и, поверив мне, а может, и не поверив, удалилась. Операторская группа нашего телевидения наизготовке — помогает Фрицу снимать. Я говорю, чтоб хоть оторвавшуюся-то доску не снимали. А Фриц по-русски понимает, уловил о чем речь и сказал, глядя на эту несчастную, оторванную ветром доску, что немцы будут думать, что вы ее оторвали для оригинальности! И еще сказал, что, глядя на вашу территорию, все немцы будут думать, что вы — миллионер! Земля в Германии стоит дорого.

В подарок мне столичные телевизионщики привезли книгу Солженицына «Архипелаг Гулаг», и я ее читал все лето.

Фриц, типичный такой немец, сказал, что Фрицев в Германии остается уже мало, как Иванов в России. Сейчас модными именами называют, Кристинами, Герхардами, Иоганнами, Альмавилами.

Я был в лодке на речке, когда услышал громкие, веселые голоса: «Виктор Петрович, не бойся! Немцы идут!» Правда, немцы. Типичный такой немец, как я уже сказал.

Я рыбу какую-то поймал. У меня была коптилка. Накоптил. Сели мы за стол. Фриц рассказывает, что едет из Москвы — Брежнева снимал. Теперь едет в Хельсинки. А

явился он с кортежем! Как же, как же — на Западе трубят, что писатель в России совсем вывелся, а тут в одном Харовском районе на Вологодчине аж два известных за пределами района обретаются. Вот Фриц Копельгайнен, корреспондент кельнского телевидения, и забрался в нашу Вологодскую область. Накормили мы, напоили немца. Оказалось, он очень любит песню «Вечерний звон». Мы попели, и я подарил ему сборник песен, где есть этот самый «Звон».

Тут секретарь райкома звонит: «Виктор Петрович, правда ли, что у тебя немцы?». — «Правда», — говорю. «Вот проклятые куда забрались, да еще из Кельна! Да еще капиталисты!.. Ой, чего делать-то будем? Ужас! Говорят, он и к Белову собирается?»

Белов еще дальше меня километров на семьдесят живет. Там ни дороги, ни жителей — ничего нет. Один Вася живет. Я говорю, да пусть едет, раз охота. Он хороший немец, и про оторванную доску ему рассказал, что ребята все засняли, чем вовсе вверх в тоску-печаль бедного секретаря...

И все обошлось нормально. Выдали, показали нас с Василием аж в семиминутном отрезке или клипе, как телевизионщики это действие называют, вместе с Мохамедом Али — чемпионом мира по боксу, и успокоилась Европа, не все еще писатели вымерли в России, живут вот и здравствуют два аборигена.

Я потом ездил за рубеж на сборище писателей-аборигенов. Сытые, в золоте все, богатые аборигены капитализма, не то что мы с Василием — хвати, так и носки дырявые. На ум, возможно, некстати, пришел мне тогда студенческий анекдот: два маленько податых студента, покачиваясь в стареньком, дребезжащем трамвае, о чем-то тихо-мирно беседовали, и вдруг один из них спрашивает у другого: «А ты знаешь, что такое человек?» Тот недолго подумал и сказал: «Что такое человек — я не знаю, но знаю, что это звучит гордо!..»

* * *

Вернусь к начатому разговору о неформалах. Когда меня спросили, знаю ли я таких, знаком ли? Сказал, что знаком только с красноярским Николаем Клепачевым. Знаком еще до того, как он сделался неформалом, просто как с человеком. Он ко мне в Овсянку приезжал, рассказывал все. Больше никого не знаю.

Что касается самого направления, явления как такового в нашем обществе, я считаю явлением закономерным и своевременным, потому что не можем же мы жить, не выражая ни своего мнения, ни своего слова, или дойдем до того, как в Челябинске: выходит учительница к исполкому с флагом, а другая за ней ковыляет и фанерку на палочке несет, а на фанерке сажей написано: «Дайте мелу!». Дойдет до такой формы протеста дело, будет женщина стоять с флагом у крайисполкома и молчать, и тогда попробуйте с ней что-нибудь сделать. Мы обязательно должны иметь возможность спускать пары.

Я не принадлежу к тем людям, которые говорят под одеялом, читают под одеялом, жалуются и возмущаются под одеялом. У нас очень много таких, к сожалению, хотя не думаю, что у нас кишмя кишат враги советской власти... Хватит нам уже этим заниматься. Но люди, по-своему думающие, люди, в силу своего культурного и нравственного уровня выражающие свое недовольство, а мы, между прочим, дожили до того, что у нас есть основания выражать свое недовольство и прошлым, и нынешним.

Я когда-то в свое время не подписал письмо против Солженицына, и вообще никаких таких писем не подписывал (слава Богу!), но я и не читал его книг втихую, не унижался до такой формы чтения. Мне в Москве предлагали: «Вот, прочитай, но за ночь, затем ее возьмут».

Во-первых, читать мне такую рукопись понадобится полтора месяца, с одним-то моим гляделом. Так уж лучше не буду я надсаживать, унижать себя и свое читательское звание. Лучшего читателя в мире обижать. Я прочел «Архипелаг Гулаг» позднее, когда мне подарили этот двухтомник.

...Я думаю, некоторым товарищам хочется стать оппозицией к существующей или существовавшей власти. Ну и будьте оппозицией! К власти, к партии, к КГБ. И вообще, к чему еще можно быть оппозицией? К мильгону, которые иногда руки и ребра нашим трудящимся ломают. Будьте!

* * *

Я дважды побывал в Эвенкии, и меня очень тронул этот край. А до этого я побывал в пустыне Гоби, в Монголии, в период цветения пустыни. Это совершенно невероятная красота, и той жуткой пустыни, которая мне представлялась по карте, конечно, нет. Там есть выходы и ка-

мешника, и почвы. Очень много воды внизу. Вода начинается не как у нас — с родничка, она «потеет» в старом русле, ниже — уже чуть сырее, а еще ниже — уже течет ручеек: вода проступает прямо из земли.

И вот когда я посмотрел в первый раз пустыню Гоби и Эвенкию, то подумал, что у человечества еще есть резерв земли и пространства земного. Когда-то все равно нам придется жить сообща — и нужда, и все остальное заставят. Мы не заметили того, что сейчас уже всеобщая информация нас объединила, границы становятся все более условными. Авиация, информация, техника, технология — уже стирают да и стерли многие границы, во всяком случае, «железного занавеса» уже нет давным-давно. Да ничего хорошего он нам и не принес.

И мне подумалось: пространство между Обью и Леной и пустыня Гоби еще могут спасти тесно живущее в Европе человечество, если, разумеется, возобладает здравый рассудок, если прекратится зло, разделение между людьми, в общем-то, детьми Божиими, — если не вмешаются фашиствующие и коммунистические силы.

И вдруг я узнаю о том, что Эвенкию, оказывается, можно во имя каких-то сиюминутных благ затопить, погубить... И что-то во мне этому воспротивилось. Я человек импульсивный. Вы посмотрите: у нас два водохранилища, а всего в Сибири их 219, и как заметно в худшую сторону изменился климат. Как много мы потеряли. Я не знаю, чего мы приобрели в связи с этими могучими гидростанциями, но потеряли многое, а ведь намечается строительство еще нескольких гидростанций на Енисее и его притоках. Не хватает денег и технических возможностей, а то давно бы уже расправились с краем и Енисеем — во имя «светлого будущего», которое, правда, все больше и больше мрачнеет. Эвенкам и людям иных национальностей, проживающим в этом уникальном по самобытности и красоте крае, нужно продолжать любить, беречь свою малую Родину, не давать в обиду. Родина — одна.

* * *

Я много раз бывал в Болгарии и люблю эту трудолюбивую страну. Там есть такое глухое (по-нашему) место — город Хисар. В этом Хисаре, в крепости, есть Дом творчества писателей. Там я сделал сценарий для двух-

серийного фильма по повести «Кража», называется «Трещина». Где будет сниматься (если будет вообще), не знаю — у них там в литературе еще больше беспорядков, чем у нас. Написал несколько рассказов и большой очерк. Но не об экологии — я уже давал себе слово: никогда об этом больше не писать (хотя, кто знает — жизнь идет) — после очерка «Думы о лесе». На него сразу хлынула почта, в редакции создавалась целая картотека, меня стали «привлекать» еще и еще выступать в защиту леса (а лес рубят, жгут, переводят до сих пор, и защищать его надо уже не на словах), и я понял — дело это бессмысленное, бесполезное и несколько лет этой больной темы вообще не касался.

Об Эвенкии я уже сказал. А в пустыне Гоби есть совхоз по выращиванию дынь, арбузов и огурцов, и там работают (работали) наши ребята и девочки из Волгоградского сельхозинститута. Они утверждают, что если когда-нибудь человечество займется этой землей — оно спасет себя и свое будущее. В пустыне Гоби в году 260 солнечных дней. Этим похвастаться могут немногие. Если учесть, что на Фаррерских островах десять солнечных дней, то 260 — уже рай.

Но... и там, и там живут люди, и не хуже, чем в Минусинской впадине, по солнечной активности равной Кисловодской впадине.

* * *

Собаку любить легче, ибо любят ее даже не половиной сердца, а его оболочкой. Эта любовь отстраненная, полуабстрактная, она не требует ни ответственности, ни обязанностей, хотя есть дикие исключения: мещане всего мира готовы лить слезы по «поводу собачки» — «Комсомолка», «Брошенная во Внуково овчарка». И создавать Бима. Ни одно, подчеркиваю, ни одно! произведение, напечатанное в «Нашем современнике», а публиковались там и «Комиссия», и «Прощание с Матерой», и «Усвятские шлемоносцы», и многие другие произведения, которые составляют честь современной нашей литературы, ни одно из них не вызвало такую бурю откликов и писем, как повесть средней руки, будто специально для утешения современного мещанина писана, как «Белый Бим Черное ухо». И кино по повести такое же сентиментально-слюнявое, в

нем, как и в повести, даже еще больше «чересчур»: «В Одессе все так могут, но стесняются».

В то время, когда оплакивали овчарку и Бима, в Вологде — мирном городе — мужчина изнасиловал и камнем разможил головы двум девочкам. И никто, кроме бабушки и матери распутной, которая скоро и умерла, не оплакивал девочек. Соседи слышали, как убивали девочек, да не вышли, потом за три рубля купили венки. В Москве по три с половиной тонны мяса в сутки скармливаются собакам, а в Вологде сделалось уже не с чем сварить детям похлебку.

Зато гуманисты!

V



НАГРАДА И МУКИ

•

НАГРАДА И МУКА

К юбилею Пушкина

Пушкин все же человек «легкий». Он, как воздух, которым дышишь, проникает во все сферы русской жизни и является живее всех живых в отличие от уродливого, кровавого сатаны-вождя, о котором эти слова говорились.

Будучи однажды в Михайловском ранней весной, во время вешнего разлива, когда цапли, только что прилетевшие в здешний лес, ремонтировали гнезда, я все время ощущал присутствие Александра Пушкина, казалось, вот сейчас, из-за ближнего поворота тропы вывернется он, улыбчивый, ясноглазый, подбросит тросточку и спросит: «Откуда вы, милые гости?» и, узнав, что из Сибири, звонко рассмеется: «Стоило в такую даль ехать, чтобы подивоваться мною и усадьбою? Было бы чем!»

Мне порой кажется, что я даже слышу голос Пушкина — юношески-звонкий, чистый, с убыстряющейся фразой так, что в конце он от нетерпения и напора внутренней энергии сглатывает слова, вечно спеша к чему-то и к кому-то, вечно гонимый мыслью, стихией кипящего внутри его слова и звука, подобного никогда не остывающей, все в нем сжигающей лаве.

Я думаю, если бы Пушкина не убили, он все равно прожил бы недолго. Невозможно долго прожить при таком внутреннем напряжении, при такой постоянно высокой температуре, на которой происходило самосжигание поэта. Говорят историки и очевидцы, что он мало спал, мало ел и все торопился. Дар Божий, Великий дар даром не дается, он требует отдачи, как говорят о современных,

прославленных шахтерах, он, переполняя «запасники» поэта, выплескивается «через край», движет и движет им, не давая покоя, заставляя принимать муки человека с удесятеренными муками, восторгаться красотой, так уж захлебываясь восторгом, и с каждым годом, с каждым днем подниматься творческим порывом или стихией таланта все выше и выше в небеса, все ближе и ближе к пределу, положенному разуму человека.

За пределы же, определенные Создателем, никому из человеков не дано было подняться, но избранные допускались к Божьему престолу.

Пушкин был допущен. За это и муки принял, и радости, и страдания изведал такие, каковых нам, простым смертным, не дано изведать, не суждено пережить. Смерд, чернь не любит того, кто выше него взнимается, сдергивает его с высоты наземь, светоносного посланника небес, пытается сделать себе подобным, уложить его в землю рядом с собою, хотя бы мертвого, и таким образом сравняться с ним, памятуя, слепо веря, что мертвые у Бога все равны. Но за мертвым гением остается яркий след, и время, и пространство пронизаны тем светом и теплом вспыхнувшей жизни, которая воистину бесконечна оттого, что открытия и откровения, им сделанные, оставшись с нами и в нас, делают человека лучше, чище и лик его высвечивают, и разум его просветляют, и любовью к ближнему награждают.

Не вина Пушкина, Лермонтова, Шуберта иль Бетховена, что мы не захотели, во благо себе, воспользоваться их Великим и бескорыстным служением человеку, их муками и титаническими трудами, проложенной ими дорогой к добру, все-то тянет нас на обочину, в темный лес, в лешачьи болота.

Но если б не Пушкин, не Лермонтов и деяния десятков других творцов слова с их врачующей и вразумляющей музой, если б не музыка Бетховена, Шуберта, Моцарта, Чайковского, Баха, Верди иль Вагнера, не бессмертные полотна Тициана, Рафаэля, Гойи, Нестерова иль Рембрандта, человечество давно бы одичало, опустилось на четвереньки и уползло обратно в пещеры, тем более, что его все время неодолимо тянет туда.

Разум человека укрепляется только разумными деяниями и подвигом Христовым. Мы, человеки рождающиеся, на землю приходящие самыми беспомощными, самыми незащитными, оберегаемы и хранимы теплом матери,

вскормленные молоком ее, не всегда и сознаем, что от рождения уже взяты в лоно добра и красоты, созданной для нас Богом и Его возлюбленными творцами.

Со сказки о рыбаке и золотой рыбке, со стихотворения «Буря мглою небо кроет», с колыбельной песни матери, с вешнего цветка, улыбнувшегося нам на зеленой поляне, с вербочки, распустившейся к Пасхе, с тихого слова молитвы, с музыки, звучащей поутру, от полета мотылька, от пенья пташки, от всего того, что бытует, дышит и радуется вокруг нас, исходит защита от зла, и слушать бы нам повнимательней и видеть зорче земную доброту, внимать Пушкину, в нас поселившемуся с детства и зовущему к добру и миру, но не вождям и правителям, много веков размахивающим мечом и толкающим людей к битвам и кровопролитию ради укрепления трона тиранского и сомнительной антибожеской славы воина и поработителя.

За Пушкиным путь наш, за ярким факелом сгоревшей жизни, за мученическим и путеводным словом — за титанами, подобными ему, украсившими и обогатившими человеческую жизнь, а не за выродками, стремящимися эту жизнь погасить и сделать землю пустынной и немой.

ВО ЧТО ВЕРИЛ ГОГОЛЬ...

В каждой великой литературе есть писатель, составляющий отдельную Великую литературу: Шекспир — в Англии, Гёте — в Германии, Сервантес — в Испании, Петрарка и Данте — в Италии. В русской литературе высится вершина, никого не затмевающая, но сама по себе являющаяся отдельную Великую литературу,— Николай Васильевич Гоголь. Однако и в его творчестве есть книга книг, ни от кого и ни от чего не зависящая,— «Мертвые души». Книга эта не просто учебник и энциклопедия русского национального характера, но явление высочайшего художественного достижения, с которым, на мой взгляд, трудно сравниться даже и последующей блистательной русской литературе.

Говорено, что все мы выросли из гоголевской «Шинели». А «Старосветские помещики»? А «Тарас Бульба»? А «Вечера на хуторе близ Диканьки»? А «Петербургские повести»? А пьесы Гоголя? Из них разве никого и ничего не выросло? Да нет такого истинно русского человека, да и русского ли только... Таких талантов, кои не испытали бы на себе благотворного влияния гоголевской мысли, не омылись бы волшебной, животворящей музыкой его слова, не поражались бы непостижимой фантазии. О, эта вкрадчивая, непринужденная простота Гоголя, всякому глазу и сердцу вроде бы доступная, живая жизнь, как бы и не рукой и сердцем кудесника изваянная, но мимоходом зачерпнутая из бездонного кладезя мудрости и мимоходом же, непринужденно отданная читателю!

«Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владельцев так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и беспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вообще не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении».

Не знаю, кто как, а я нынче читаю эти строки со щемящим чувством в сердце, с сожалением о чем-то навсегда утраченном, чем люди дорожить не умели, и только придя «ко краю», заболели ностальгией по такому вот тихому, несуетному гоголевскому миру, не орущему о счастье своем, не доказывающему на кулаках преимущества тех или иных демократий, по миру, жившему надеждою и молитвою о братстве и достижении мировой гармонии с помощью труда, но не всесметающего оружия и злобы, помутивших человеческий разум.

Большого труда стоит вспомнить после отрывка из «Старосветских помещиков» и согласиться с тем, что Гоголь — разящий и беспощадный сатирик. Это умозаключение как бы уравнивает его с современниками, густо возле литературы обретающимися сатириками и юмористами, мелкотравчатыми остроловами, выжимающими смех всеми дозволенными и недозволенными средствами из доверчивых читателей, слушателей и телезрителей. Большой, конечно, озорник Николай Васильевич, редкостный балагур, непостижимый выдумщик. Но ирония его и смех его повсюду горьки, однако не надменны. Смеясь, Гоголь страдает. Обличая порок, он прежде всего в себе его обличает, в чем и признавался не раз, страдал и плакал, мечтая приблизиться к «идеалу». И дано ему было не только приблизиться к великим художественным открытиям, но и мучительно постигать истину бытия, величие и расхристанность человеческой морали.

Великий человек знал никчемность суетной мысли, греховность разрушающего слова, тщету раздора и цену уязвленного самолюбия. Он потому и велик, что выше лести и хулы; ему и милосердие великое свойственно. Пожалев шумного, настырного, но смертельно больного автора столь же пылкого, сколь и оскорбительного посла-

ния, проявив милость к болящему, он порвал бумагу, после обнаружения которой мало чего осталось бы от «изумительной», по словам Гоголя, «уверенности в непреложности своих убеждений» «властителя умов». Гоголь верил в Бога, Белинский — в демократию. Гоголь видел глубину пропасти, разделившей их, и мог соизмерить силы свои. Поборник «передовой мысли» норовил перепрыгнуть пропасть по воздуху, безответственно игнорируя опасность и терзающие мыслителя муки от сознания гигантских противоречий, раздирающих мир и душу человеческую. Гоголь был всегда с читателем и остался с ним, поборник подлинной демократии тоже «пророс» во времени, и его призывы получили наглядное воплощение, да такое, что мир содрогнулся!

Мудро напомнив Белинскому о том, что «...нет двух человек, согласных во мнениях об одном и том же предмете, что опровергает один, то утверждает другой», он в конце письма, как старший брат, увещевает младшего: «...мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и Вы и я виноваты равномерно перед ним. И Вы и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сомневаетесь ли Вы... А покамест помните прежде всего о Вашем здоровье... Желаю Вам от всего сердца спокойствия душевного...» Это писано в начале августа 1847 года, а в середине того же месяца неуспокоенный, хорошо знающий крутость русского характера, Гоголь пишет П. В. Анненкову: «...Я получил письмо от Белинского, которое меня огорчило не столько оскорбительными словами, устремленными лично на меня, сколько чувством ожесточенья вообще. Последнее сокрушительно для его здоровья. Вы теперь при нем: отводите от него все, возмущающее дух его».

Письма Гоголя Белинскому, в особенности не отправленные, печатаются редко, говорится о них скользко и глухо, более для ученых, но не для широкого читателя, тогда как письмо воителя-демократа в наших вузах и школах провозглашается чуть ли не вечной программой морали. Типичное для нашей современности, проработочно-комиссарское письмо, конечно же, писано от имени народа и по поручению передового общества, которое, правда, не уполномочивало бойкого критика писать сей пасквиль.

Письмом этим Великий писатель низводится до уровня заблудшего отрока и даже врага народа, термином сим

модным впервые был сечен и пригвожден к позорному столбу друг и единомышленник Пушкина Чаадаев, и теперь вот в ересь впавший русский гений. «Неистовый Виссарион» обвиняет Гоголя во всех грехах смертных, в том числе и незнании деревни. Ах, как пригодится потом этот завет передовым вождям и мыслителям! Последующие поколения преобразователей России ринутся исправлять русский народ, строить по-новому деревню и новое общество безо всяких там «молитв» и так истово начнут учить пахать и сеять, строить, поднимать на невиданные высоты отсталую деревню, что земля перестанет рожать, деревня русская опустеет, народ из нее рассеется по городам и весям, где только и способно рождаться «передовым мыслям» да демагогии. Более ничего в камнях и кирпичах рождаться не может, разве что химией вздобренный длинный огурец.

Но Гоголя не затмить, не скомпрометировать, не убить. Он уникален. И не только творениями своими, но и образом жизни, мучительной кончиной, смысл которой современными словоблудами, обретающимися на ниве убогой атеистической пропаганды, давно и бесплодно пытающимися сбить с толку читателя, низведен до кончины деревенского дурачка или оперного юродивого, попавшего под воздействие церковных маньяков.

Духовное состояние гения, образ его мыслей и образ его жизни — это жизнь титана и муки его — титанические. Только мыслитель, подобный Гоголю, сумеет постигнуть всю глубину его страданий и боли и достигнет величайшего счастья, коли сумеет так же постигнуть литературную продукцию «разового» исполнения, но вечного пользования. Сближение чеховских чиновников с гоголевскими — всего лишь сближение, и не более. Единожды сделанное Гоголем художественное открытие в литературе не поддается никаким жанровым классификациям, никакой литературной дисциплине, нормам, исправлению — оно вне времени.

Может быть, Гоголь весь в будущем? И если это будущее возможно, если человечество окончательно не сбесится, не знаю когда, но оно прочтет Гоголя. Мы же прочтем его при нашей всеобщей суетности, поверхностной грамотности не смогли, мы пользовались подсказками учителей, а они действовали по подсказкам того же Белинского и еще — его последователей, путающих просветительство с уголовным кодексом.

Добро уже и то, что, пусть и в преклонном возрасте, пришли мы к широкому, хотя и не очень еще глубокому постижению гоголевского слова. Однако того закона и того завета, по которым это слово сотворялось,— не постигли. Законы ушли в раннюю могилу вместе с творцом, и ключ от них остался в сердце гения и в кармане его поношенного сюртука.

Для того чтобы постичь Гоголя, повторяю, надо или родиться Гоголем, или, совершенствуясь духовно, преодолев в себе читательские стереотипы и мыслительную инерцию, научиться читать и мыслить заново. Мы слишком самоуверенные и от самоуверенности поверхностные читатели. Гоголь же требует читателя Зрелого, который бы творил и творился вместе с ним. Он из прошлого века корнями «пророс» в нашу действительность, ибо гоголевской «материи» свойственно проникать сквозь пространственные наслоения, и, будучи написанными более полутора веков назад, пьесы, повести, рассказы, в первую голову бессмертная поэма его, — являются типичными для нашего времени. Одиннадцатая глава «Мертвых душ» — карьера Чичикова, чем не карьера современного пройдохичиновника?

Весь секрет, видимо, в том, что в основе своей человек, значит, и его характер, прежде всего, видимо, национальный русский характер, в худших и лучших своих проявлениях, особенно в худших,— мало переменчив. Вот почему в далеких гоголевских персонажах мы узнаем себя, обнаруживаем свои пороки и то самое, о чем, качая головой, говаривал творец: «Ох уж этот русский характер!», «Ох уж эта наша русская дурь!». Правда, мы не раз уже, и очень громко, объявляли себя и общество свое самым лучшим, самым передовым, разом переделавшимся, устремленным к какой-то качественно новой жизни, но Николай Васильевич — «к барьеру» нас! Оттуда, из первозданности человеческой исходя, а не из новомодных, быстро одряхлевших теорий устремляйся, брат, к усовершенствованию. Отрыв от отеческих корней, искусственное осеменение с помощью химических впрыскиваний, быстрый рост и скачкообразное восхождение «к идеям» может только приостановить нормальное движение и рост, исказить общество и человека, затормозить логическое развитие жизни. Анархия, разброд в природе и в душе человеческой, и без того мятущейся,— вот что получается от желаемого, принимаемого за действительность.

Редко кому удавалось возвыситься до Гоголя в театре, в кино, на телевидении. Даже вслух прочтенный Гоголь часто искажается, мельчится исполнительским фиглярством, паясничаньем, зубоскальством. Многосерийный художественный фильм «Мертвые души» получился карикатурным, пустым и унылым оттого, что его постановщики прочли гениальную поэму и поставили фильм применительно к своему, весьма среднему исполнительскому уровню. В дерзости современникам не откажешь, хотя дерзость эта ничем не подкреплена, кроме разве что настырности. А нужно духовное и интеллектуальное сближение с миром и личностью художника, может, и равный Гоголю творческий подвиг и самоотречение.

Удивительно, что сам Гоголь и постановщики блистательных спектаклей «Мертвые души» во МХАТе и «Женитьба» — на Бронной — нисколько не пытались смешить публику, но выходило смешно. А вот постановщики и исполнители возобновленного спектакля во МХАТе и длинного телефильма из кожи лезут, чтобы посмешней сделать, но ничего кроме грусти и неловкости их потути не вызывают.

Любой человек, тем более интерпретатор, тем более исполнитель, берущий в руки книгу Гоголя, должен решить для себя: готов ли он к их постижению. Трижды, может, четырежды спросить он себя обязан: а какие у него есть основания, чтоб «поработать с Гоголем», прикасаться к святым страницам классики?

В одном из интервью Юрий Бондарев признался, что он «приблизился к Гоголю» лишь в пятьдесят лет. И многие-многие современники мои подтвердили, что по-настоящему открывать для себя этого чудесника слова начали в весьма и весьма почтенном возрасте. И не одни тут все упрощающие и опрощающие пропаганда и школа виноваты. Общее состояние эстетического уровня, может, и здоровья современного человека, живущего с полувключенным умом, перекормленного трухой массовой культуры, мешают тому.

Но зато уж когда «приблужишься» к Гоголю, когда начнешь постигать, хотя бы и частично безмерную глубину его творений,— истинное это счастье, которое и переживать одному невозможно. Перечитывая недавно «Мертвые души», я бегал на кухню к жене, ловил за рукав гостей моего дома и читал им, читал куски из книги, где не

только главы, но и отдельные абзацы воспринимаются как совершенно законченное произведение.

Воистину великий талант, щедрая природа его не терпит тесноты, но и уединенного наслаждения тоже. Он поднимает нас на какие-то неведомые нам высоты, заставляет еще и еще раз поразиться природе, изредка одаривающей счастьем приобщения к прекрасному. И тогда мы, как дети, начинаем ликовать, пересказывать друг другу прочитанное, ибо переполненное через край сердце жаждет выплеска, сообщения друг с другом и непременно отклика, взаимопонимания и любви.

Я верю, что, развиваясь вместе с гением и с помощью гения, люди — читатели будущего — станут двигаться дальше и выше к духовному усовершенствованию, ибо гений человечества вечно в строю, вечно находится в изнурительном походе к свету и разуму.

В подтверждение полной принадлежности художника к современности — две цитаты из его писем:

«Время беспутное и сумасшедшее. То и дело что щу-паешь собственную голову, не рехнулся ли сам. Делаются такие вещи, что кружится голова, особенно, когда видишь, как законные власти сами стараются себя подорвать и подкапываются под собственный фундамент. Разномыслие и несогласие во всей силе. Соединяются только проповедники разрушения. Где только дело касается созидания и устройства, там раздор, нерешительность, опрометчивость».

«Если только поможет Бог произвести все так, как желает душа моя, то, может быть, и я сослужу службу земле своей не меньшую той, какую ей служат все благородные и честные люди на других поприщах. Многие нами позабытое, пренебреженное, брошенное следует выставить ярко, в живых, говорящих примерах, способных подействовать сильно: о многом существенном и главном следует напомнить человеку вообще, и русскому в особенности».

РАДЕТЕЛЬ СЛОВА НАРОДНОГО

Сергей Васильевич Максимов родился 25 сентября 1831 года в посаде Парфентьеве, Костромской губернии. Отец его, мелкопоместный дворянин, был почтмейстером Кологривского уезда. Семья Максимовых была довольно большая, но все братья и сестры Сергея Васильевича получили сносное по тому времени образование и «вышли в люди». Василий Васильевич, брат будущего писателя, был хорошим врачом, состоял профессором хирургии в Варшавском университете. Николай Васильевич командовал батальоном в сербско-турецкую войну, был ранен, был известным в свое время писателем, служил военным корреспондентом во время Крымской кампании.

Сергей Васильевич на втором году остался без матери. Отец, занятый службой и общественной деятельностью, мало уделял времени сыну, и он рос вольно, в обществе посадских ребятишек, часто ходил в лес, на реку, в деревни, и довольно рано и близко ознакомился с бытом простых людей, усвоил нравы и обычаи посадских обитателей, хранивших верность древлеотеческим устоям.

Начальное образование будущий писатель получил в народном училище Парфентьевского посада. Отец его, несмотря на малое образование, был тем не менее довольно просвещенным и развитым, много читал, был приятным мыслящим собеседником и состоял в близком приятельстве с другом Пушкина, академиком Павлом Александровичем Катениным, коротавшим ссыльные дни в своем костромском поместье.

Дальнейшее образование Сергей Васильевич получил в костромской гимназии — одной из лучших в России того времени. С благодарностью вспоминал потом Максимов гимназию и прежде всего преподавателей русской словесности, истории и географии — Пермякова. Источный поклонник истории российской, пропагандист идей и трудов Белинского, Герцена, он имел огромное влияние на своих воспитанников, с которыми, по признанию Максимова, «изрядно нянчился». На развитие любознательного юноши оказал большое влияние и ученик старших классов гимназии, будущий писатель-народник Алексей Антипович Потехин, который снабжал книгами, руководил чтением и начальным творчеством младшего товарища. Так он помог Максиму в подготовке речи для выпускного акта в гимназии, и речь эта о великом сыне русского народа Михайле Ломоносове, написанная искренне и тепло, произвела большое впечатление на общественность.

После успешного окончания гимназии Максимов устремился в Москву, мечтая поступить в университет на филологический факультет. Отец, как мог, содействовал этому стремлению сына, из скромных средств уделил ему все, что было возможно, но демократические и революционные движения в России привели к тому, что все факультеты для приема, кроме медицинского, были закрыты, и Максиму волей-неволей пришлось обучаться медицине.

Друзья-студенты знакомят Максимова с одним из интереснейших литературных кружков того времени при журнале «Москвитянин», который он хорошо знал еще со времен гимназии и во главе которого стоял знаменитый уже драматург Александр Николаевич Островский. В кружке Островского молодой студент нашел все, что было так близко и любезно его сердцу, — искреннее тяготение к простому народу и ко всему народному — в песне, в сказке, в былине.

«Для нас, — вспоминал потом Сергей Васильевич, — незабвенным и знаменательным представлялось то явление, что в кружке московских друзей привольно было коренным русским людям, побывавший здесь уходил с более приподнятым челом...»

Молодежь, сплоченная Островским, написавшим к той поре «Свои люди — сочтемся» и ободренным «самим Гоголем», собиралась в кружке для обмена мнений и для

развлечений. Там бывали поэт и критик Аполлон Григорьев, знатный исполнитель народных песен и молодой сотрудник «Москвитянина» Филиппов, виртуозный гитарист Стахович, веселый рассказчик артист Садовский, автор уморительных рассказов, притчей, широко уже известный беллетрист Горбунов. В тесном общении с молодой редакцией «Москвитянина» были прекрасный музыкант и композитор Рубинштейн, профессор школы живописи, прославленный иллюстратор творений Гоголя Боклевский, автор знаменитых «Записок мелкотравчатого» Дриянский, уральский казак, написавший ряд очерков о народной, в частности, казачьей жизни, Железнов, поэт Мей и многие-многие другие.

«Мы еще не были заражены современной модной болезнью — ничему не удивляться, воспалялись энтузиазмом в равной степени, как к красотам природы, так и к людям. Мы видели в них героев. Нам и в голову не приходило смеяться над товарищами и стыдиться самих себя за то, что ходили на Никитский бульвар любоваться, как гулял Гоголь», — писал об этих годах Максимов.

Кружок при журнале «Москвитянин» во многом способствовал воспитанию эстетического вкуса и демократических взглядов молодого студента.

Надежда поступить на филологический факультет все не оставляет Максимова, и в 1852 году он переезжает в Петербург.

Но и здесь удача ему не сопутствовала, а нужда снова загнала слушателем в медико-хирургическую академию. В Петербурге, по протекции московских друзей-литераторов он начинает сотрудничать в «Справочном энциклопедическом словаре», издание которого предпринял Альберт Викентьевич Старчевский и поместил в нем обстоятельный очерк о Владимире Дале. Этот очерк был первым литературным опытом Максимова, увидевшим свет в печати. Первые же беллетристические произведения он напечатал в журнале «Библиотека для чтения» Сенковского, который по существу вел все тот же Старчевский. Литературная карьера и началась у Максимова с очерка «Крестьянские посиделки в Костромской губернии», напечатанном в «Библиотеке для чтения».

Следом пишутся и печатаются очерки об отхожих промыслах, которыми извечно занимались земляки-парфентьевцы, об извозчиках, вожаках медведей. Вот очерк-то о вожаке медведя под названием «Сергач» и был замечен

«самим!» И. С. Тургеневым, всегда с добрым чувством следившим за молодыми российскими дарованиями. Он пригласил к себе молодого писателя «из народа», обласкал его, ввел в литературные круги. «Ступайте в народ, внимательно наблюдайте, изучайте его на месте, запасайтесь свежим материалом. У вас хорошие задатки. Дорога перед вами открыта», — напутствовал молодого автора маститый писатель.

Максимов внял словам любимого писателя. Бросив учение в медико-хирургической академии, он летом того же года пешком отправился по Владимирской губернии, прошел по всем местам, где обитали «богомазы» — иконописцы, офени — мелкие торговцы, и двинулся дальше, побывал на Волге, в Нижнем Новгороде, на знаменитой ярмарке, и пробрался даже в неведомую глушь Вятской губернии.

Материала, самого разнообразного, — о ярмарке, о деревенских знахарях, скупщиках льна, торговцах грибами, о кудесниках, пастухах, плотниках, пимокатах, ложечниках, отставных солдатах, и прочая, прочая — добыто было много.

Один за другим появляются рассказы Максимова, печатаются в журналах «Сын отечества», «Искра» и других. Читающая публика и критика отмечают новые мотивы народной жизни в творчестве молодого литератора, метко подмеченные черты простонародья. Не искусственно созданные «литературные типы», а живые мужики и бабы, мещане и горожане во плоти и крови ожили под пером Максимова.

«Эти рассказы из народного быта, — писал Пыпин, критик и общественный деятель, — были приветствованы как новая полоса литературных интересов, становящихся тогда (в исходе пятидесятых годов) все более и живыми общественными интересами...» «В его описаниях и рассказах всегда бросается в глаза какая-то родственность с тем народом, среди которого он вращался; этот народ он всегда чувствовал, обладал при этом особенным даром сходитья с ним поближе, внушать к себе в большинстве случаев полное доверие и расположение...» «Этому способствовали и ровный, спокойный характер Максимова, его степенность, деловитость и в особенности удивительная мягкость, доброта, задушевность, простота и ласковое обращение...»

«Никогда я к ним (простолюдинам), — говорил Макси-

мов, — не подлаживался, не подлизывался, не подпускал слащавости — терпеть этого мужик не может...»

Я оттого так подробно цитирую слова современников Максимова и самого писателя, что мы, нынешние русские писатели, как мне кажется, утратили естественные способы обращения с народом, с землею своею, бываем в народе гостями, выступающими, но еще чаще — «генералами на свадьбе».

Вспомнить творческие традиции, опыт писателей прошлого нам совсем нелишне и как раз ко времени.

Впрочем, свойства демократизации, как и самой жизни, имеют весьма причудливые формы и мотивы. Писатель Максимов начинает литературную деятельность и становится известным в весьма тревожное для России время — в разгар Крымской войны, в феврале 1855 года умирает самодержец всея Руси Николай I и передает престол Александру II с весьма несвойственными современным писателям самокритичными словами: «Сдаю тебе свою команду не в порядке».

Государство Российское потрясено войной. После смерти императора даже в придворных кругах требуют крутых перемен. Великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал, председатель Русского географического общества, управляющий флотом и морским ведомством на правах министра, возглавляет либеральное направление в правительстве. Война обнажила слабость флота, его отсталую оснащенность по сравнению с англо-французским флотом. Надо было искать виноватых, срочно менять военную систему. По французскому образцу предлагалось зачислять на морскую службу жителей побережья. Секретарь Великого князя, редактор «Морского сборника» сын известного мореплавателя А. В. Головнин предложил начать исследование Поморья России и для изучения жизни тамошнего населения привлечь лучших писателей России.

Не было бы счастья, да несчастье помогло! Совсем еще недавно попечитель учебного округа Мусин-Пушкин, ведавший высшей цензурой и считавший лучшим аргументом кулаки, горячо ходатайствовавший о высылке непослушных авторов и редакторов в места как можно поотдаленней, имел в просьбах сих самое горячее одобрение. По делу Петрашевского только что подверглись преследованию более сотни передовых людей России и 21 человек, в том числе Федор Михайлович Достоевский, пригово-

ренные к расстрелу, всемилостивейше были «прощены» и отправлены на каторгу. Даже всеми почитаемый и на всю Европу известный Иван Сергеевич Тургенев успел посидеть в арестантской за строптивость свою...

И вот, как всегда в России, коли припекло, круто меняется отношение к интеллигенции. Еще вчера гонимые и презираемые высшим обществом писатели призываются к спасению Отечества, всячески поощряются в деяниях своих, и «Морской сборник» превращается в одну из главных трибун реформаторов, приобретая характер политического издания. На страницах его появляются статьи и очерки, не имеющие никакого отношения ни к морю, ни к морскому ведомству. Головнин настаивает на том, чтобы известные литераторы России отправлялись «в народ», на побережье, с выгодным содержанием и полными условиями для успешного творческого поиска.

В августе 1855 года великий князь Константин Николаевич обращается к директору департамента морского министерства князю Оболенскому с обстоятельным письмом, в котором содержится просьба о подыскании и привлечении творческих сил на исполнение важного государственного дела. В письме называются известные в то время писатели: Писемский, Потехин. Князь Оболенский обратился с просьбой и к издателям влиятельных журналов: Некрасову, Панаеву, Погодину, Шевыреву. Условия поездки были привлекательными — целый год выплачивалось литератору солидное содержание, полный доступ к губернским морским и этнографическим архивам, свободное передвижение по всем дорогам России.

«То, что еще так недавно считалось преступным и навлекало суровые кары,— писал в ту пору Пыпин,— как мысль об искоренении массы бюрократических злоупотреблений, опутавших русскую жизнь, об освобождении крепостного народа, о необходимости школы и так далее,— то стало обычной темой публицистики и общественного мнения. Если прежде искренняя речь о высоком значении народного начала для всей жизни государства, общества была невозможна (в смысле официальной народности она была только канцелярской формулой), или, по крайней мере, должна была закутываться в туманные фразы, то теперь она от частого повторения становилась, наконец, общим местом. Но народное дело все-таки делалось... О народе теперь представилась возможность гово-

рять гораздо яснее, определеннее, правдивее и с достаточной полнотой».

А вот что об этом писал Максимов: «Правительство понуждалось в содействии тех общественных деятелей, которым уже давно присвоено было обществом не признанное и не утвержденное правительством звание литераторов, находившихся до той поры в сильном подозрении».

Не правда ли — в России все и всегда идет по единому кругу, и вот мысли и дела конца пятидесятых годов прошлого века явственно перекликаются с мыслями и делами конца нынешнего века, годов восьмидесятых.

Итак, экспедиция, не имевшая, да, кажется, и не имеющая ни в России, ни в мире примера, впоследствии поименованная «литературной», началась.

Островский поехал на Верхнюю Волгу, до Нижнего Новгорода, Потехин — на Среднюю Волгу — от устья Оки и до Саратова; Писемский дальше — до Астрахани; Афанасьев-Чужбинский отправляется по Днестру и Днепру; Михаил Михайлов — поэт и беллетрист, которому суждено будет умереть в страшных рудниках Сибири, в ссылке, — исследует родной Урал; Филиппов — Дон, а самый молодой из литераторов, включенных в экспедицию, двадцатичетырехлетний Максимов, не имевший еще ни одной книги, — едет на Север, к Белому морю.

Хотелось бы приостановить внимание на этом «факте». Ведь в наше время, когда общественность, и не только творческая, не знает, кого именовать «молодым» писателем, в Союз писателей близко не подпускают без двух-трех книг (случаи, когда двух рассказов, напечатанных в литинститутском, почти любительском сборнике, хватило, чтоб принять в Союз писателей Юрия Казакова, — не повторяются давно) факт этот сам по себе поучителен. Кстати, Юрий Казаков не раз бывал в тех же, что и Максимов, краях Беломорья, полюбил их и великолепно о них писал в рассказах и очерках, объединив «поморские» произведения в книге «Северный дневник». Оттуда же вышел ряд известных, ныне здравствующих писателей и критиков: Личутин, Маслов, Бондаренко, Поляков и другие. Но все же стоит обратить внимание и на возраст, и на положение литератора Максимова, которому была доверена столь почетная работа, которую так и подмывает поименовать высокопарно — «миссия».

И Сергей Васильевич оправдал доверие, выполнил

«миссию» с блеском, несмотря на массу трудностей, на незнакомой ему земле встретившихся, на сопротивление «материала» и свою молодость. Опыт хождения по центру России и характер человека, как уже говорилось в начале этого очерка, простого, незлобивого, обходительно-го, помогли ему в сложном творческом предприятии, да и сопроводительные бумаги способствовали тому.

Вот одна из них, подписанная управляющим морским министерством Ф. П. Врангелем,— «Вследствие изъявленного желания отправиться по поручению морского министерства обозреть жителей губернии и побережья моря, занимающихся рыболовством и судоходством, для составления по этому предмету статей в «Морской сборник», прошу вас обратить при сем особое внимание на: А.— их жилища, их промыслы, с показанием обстоятельств, благоприятствующих и мешающих развитию оных; В.— суда и разные судоходные орудия и средства, ими употребляемые, если возможно, их изображение на рисунке; С.— физический их вид и состояние; Д.— преимущественно их нравы и обычаи, привычки и все особенности, резко отличающие их от прочих обитателей той же страны, как в нравственности, так и в промышленном отношении; а равно и в речи, поговорках и поверьях...»

«Морское начальство, не желая стеснять таланта, вполне предоставляет вам излагать ваше путешествие и результаты исследований в той форме и в тех размерах, которые вам покажутся наиболее удобными, ожидая от вашего пера произведения его достойного, как по содержанию и изложению, так и по объему».

Мое внимание невольно привлекли эти заключительные слова наставления морского российского начальства, которым, признаюсь, я с большой охотой последовал бы в своей творческой молодости. В ту пору охотно и со всех сторон пичкали речами о светлом будущем, подвергали сомнению слова «правда», «искренность» в литературе, говорили, что не всякая правда нужна народу, учили отличать идейное от неидейного, положительное от отрицательного, отечески советовали отражать борьбу хорошего с лучшим и отдавать предпочтение второму, потому как все остальное идет к нам от буржуазной идеологии, от пережитков прошлого и мешает наступательной поступи передового в мире общества к идеалам и неслыханным достижениям как в области хозяйской, так и сфере нравственности.

Молодой писатель Максимов получает, кроме наставительной бумаги, рекомендательные письма к архангельским губернским властям, денежное содержание, и за пять дней по малонаселенным, полубездорожным местам покрывает тысячекилометровый путь из Петербурга до Архангельска — скорее, скорее работать! Молодость, крепкое в ту пору здоровье, талант жаждут деятельности во имя и на пользу Отечества, взыскующего после длительного духовного застоя и тяжкого поражения в Крымской войне здоровой мысли, полезных деяний и обновления жизни.

Половину зимы молодой писатель занимается в архангельских архивах (в то время в состав нынешних Архангельской и Мурманской областей входила часть Коми АССР и Карельской АССР), много материалов скопилось в газетах и рукописях, в сведениях, присылаемых чиновниками, учителями, священниками, но книг, посвященных этому краю, написано было еще мало, так что в предстоящей работе над книгой о Севере Максиму надо было выработать свои правила, свою систему «отбора информации», как ныне принято говорить, но более всего полагаться на свои наблюдения и память, очень цепкую и глубокую.

Лед на реках сошел, потеплело, подсохло, и молодой писатель отправился в путь по Беломорью, где как, где на чем, от селения к селению.

Указ губернского правления, разосланный по уездам, о всяческом содействии уполномоченному морского министерства имел совсем не те последствия, на которые рассчитывали авторы его и сам путешественник. Его принимали с почтением, но и с большой осторожностью, как ревизора или фискала, боясь откровенностей, столь необходимых в общении в народе. Особенно скрытны были старообрядцы — значительная часть населения Беломорья.

Но по свидетельствам современников, Максимов никогда не позволял себе исполнять работу спустя рукава, и, имея уже опыт общения с народом, совсем не похожий по внешности на писателя, к тому же с бородой, где хитростью, где своим неиссякаемым обаянием, чуждый заносчивости, фарисейства, хвастовства, необычайно живой и остроумный собеседник, Максимов находит пути в дома и сердца уединенного и к его удивлению довольно грамотного, но суеверного народа. Цивилизованность и грамотность поморов, чувство красоты и воли, своеобраз-

ный и богатый язык. — все-все это обогащало наблюдения молодого литератора, наполняло новизной мысли.

Набрав разгон, уже по своей воле и охоте, Максимов проехал по Белому морю до Ледовитого океана, побывал в тогдашней Лапландии, на Соловецких островах и добрался аж до реки Печоры, потратив на это путешествие четыре месяца, а на все предприятие — целый год.

Книга, им написанная, так и называется просто, доходчиво и объемно: «Год на Севере».

Появившаяся в 1859 году, она имела большой успех. Ее читали нарасхват, Максимов становится популярным писателем. Русское географическое общество удостоило книгу «Год на Севере» Малой золотой медали, все прогрессивные журналы высоко оценили ее. Великий князь Константин Николаевич, пригласив Максимова к себе на завтрак, подробно расспрашивал его о путешествии, и результатом этого завтрака и разговора явилось новое поручение писателю — поездка на Дальний Восток для исследования только что присоединенного к великой державе Амура, способы колонизации которого вызвали резкую полемику в печати.

Результатом же поездки на Амур явилась книга Максимова «На Востоке. Поездка на Амур». Кроме того, в конце пятидесятых начале шестидесятых годов им написаны очерки «В дороге», «Чайная торговля», «О народной грамотности» «Сказание о сидении донских казаков в Азове», «Авраамов монастырь в городке Чухлома» и многие другие.

Некоторые очерки Максимова напечатаны в журнале «Искра», редактором которого был его друг Василий Курочкин — поэт, переводчик стихов Беранже, прошедший тяжкую дорогу российского литератора и много сделавший для отечественной словесности — и своим пером, и деятельностью на посту редактора популярного в ту пору журнала.

К началу шестидесятых годов относятся статьи и рассказы Максимова из истории русского раскола: «История о взятии Соловецкого монастыря», «Два послания протопопа Аввакума», «Житие старца Корнилия», «Патриарх Никон».

Работоспособность молодого писателя, жадность деятельности, любознательность, творческая страсть и неудержимая тяга к путешествиям и изучению отечества своего — поистине редкостны, и послужить бы им примером

для нынешних, малоподвижных, нелюбопытных литераторов российских. Ему пора возвращаться с Востока домой с кучей материалов, наблюдений и впечатлений, но он принимает предложение обследовать тюрьмы, каторги и быт ссыльнопоселенцев в Сибири. Поручение сложное, объемное, одному человеку почти непосильное, однако Максимов блестяще справляется с задачей, собирает огромный материал и пишет книгу «Тюрьма и ссыльные», которая хотя и была строго документальная, без обобщений и умышленных добавлений «от себя», оказалась, тем не менее, опасной для опубликования, и морское министерство опубликовало ее «секретно» и очень малым тиражом. И в журналах щепетильный материал тоже не проходил. И только спустя годы появляются обстоятельные описания «мест отдаленных», рассказы о «Мертвом доме».

Писатель, широко уже известный читающей публике, поедет еще на Урал и на Каспийское море. Затем он объедет Белоруссию, часть Литвы, Псковскую, Смоленскую, Виленскую, Гродненскую губернии, и, обогатившись новыми наблюдениями, создаст новые произведения.

Тем временем изменилось направление «Морского сборника». Новый его редактор исключил вообще литературный отдел из этого издания. И Максимов принужден стучаться в двери «Отечественных записок», в «Дело», в «Семью и школу».

Какое-то время Максимов редактировал книжки для народного чтения, занимался делом, совершенно новым в России и трудным. Он и сам написал для этого издания, предпринятого министерством просвещения, до двух десятков книжек: «Край крещеного света», «Святые места русской земли», «Степи», «Дремучие леса» и другие, очень дорожил ими и некоторые из них неоднократно переиздавал.

Постепенно Максимов утрачивает рвение к скитальчеству, да и здоровье его к сорока годам уже заметно было подорвано дорожными лишениями и неудобствами, а громадный собранный материал требовал оседлой, усидчивой работы.

С 1866 года в «Вестнике Европы» печатаются его статьи и очерки о «Стране изгнания» — Сибири, о каторге, о деле петрашевцев, творчески освоены; изучены им записки декабристов. Бдительная цензура корнала и «кастри-

рвала» произведения Максимова, но и в урезанном виде они вызывали огромное любопытство в обществе, читались с захватывающим интересом.

В 1871 году появляется труд Максимова в трех томах под названием «Сибирь и каторга», имеющий бесценное историческое значение. Написанная талантливо, являя собой не только социальное значение, «Сибирь и каторга» поведала о муках и страданиях пламенных борцов государства российского, жаждущих коренного обновления жизни своей родины и в большинстве своем павших в борьбе за лучшую долю.

«Слова и иллюзии гибнут, факты остаются», — сказал молодой и талантливый критик Писарев. Вот почему труд Максимова, которым он и сам гордился, не забыт до сих пор и служит верно и неизменно историкам, исследователям, да и читателям, пусть и неширокого круга.

И все-таки, несмотря на широкую известность, непрерывное печатание статей, очерков в газетах и журналах, застенчивый до удивления и скромный писатель не может свести концы с концами и содержать свою довольно уже большую семью на свои гонорары. Он ищет службу, чтобы иметь постоянный твердый заработок, и по протекции своих литературных друзей становится редактором «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства», где и прослужил тридцать лет, не зная ни дня, ни ночи, и постепенно, помимо «модной» болезни интеллигенции той поры — чахотки, заболевает и чисто русским, злым недугом — пьет горькую.

Ну и как все пьющие, добродушные характером люди, Максимов, по его выражению, любил во хмелю «пошебаршить» — выражаться, причем ругательства у него сыпались безо всякой причины и злобы, от вечного нашего национального ухарства.

Василий Курочкин вспоминал, что изумительный рассказчик, друг его Максимов, без труда овладевал в разговорах любой компанией: никогда не повторялся, великолепно владел юмором и сам простодушно смеялся со своими слушателями, но, замолкнув на полуслове, мог он совершенно неожиданно для всех уснуть «каменным сном», а, поспавши немного, был снова весел, насмешлив и светел умом.

Однажды он уснул за банкетным столом — а уж тогда

явилась в Россию мода устраивать пир по случаю юбилея знаменитого писателя или обыкновенного, ничем и нигде себя не проявившего человека. Словоблудие, как и в наши времена, не знало удержу. На этот раз чествовали какого-то малоизвестного редактора третьестепенной либеральной газеты, и не столько уж его прославляли, сколько либерализм. Однако, редактор под воздействием речей и спичей уже начал верить в свою исключительность, хотя на «золотник» правды приходились «пуды» пустых комплиментов. И вот когда празднество набрало силу и мощь, шампанское лилось рекой, проснулся Максимов и говорит во всеуслышание юбиляру: «И ты веришь, что тебе говорят правду?! Неужели ты так глуп?»

В редакции «Ведомостей» помощников у Максимова почти не было, и он иногда там задерживался до глубокой ночи, когда и до утра, приходил домой под хмельком, с какими-то случайными собутыльниками, и утром сам не мог вспомнить, как оказался сей гость в его кабинете. Конечно же, семья тяготилась дурными склонностями и привычками главы дома, который не покидала гнетущая нужда. И хотя к той поре Максимов уже был довольно известным литератором, за год до смерти был избран почетным академиком по отделению русского языка и словесности Российской Академии наук, не раз и не два сиживал он на петербургской гауптвахте, где довелось побывать и подумать «о своем поведении» не одному российскому литератору. По сию пору не забыто, как молодой Лермонтов, сидючи на гауптвахте, может быть, на той же, что и Максимов, дерзко сочинительствовал, а убитая горем бабушка кормила баловня-внука не с тюремного, но непременно со своего стола, и домашние повара привозили обожаемому внуку уху из свежей стерляди, сваренную на шампанском, ростбифы, сладости. Стихи великого поэта от этого, однако, не делались сладкими, не то что в наше время — порою на одной картошке сидит поэт, а таким ли соловьем заливаается, так ли восторженно славит жизнь, жену свою, дочку да березку под окном, что и удивляться только остается этакой сладкозвучности «лиры».

В очередной раз на «губу» Максимов угодил за то, что объявил в своем издании панихиду по императору Александру III, который благополучно здравствовал, а надо было поминать в Бозе почившего Александра II, большими неприятностями могло это кончиться для небдительного ре-

дактора и его семьи, если бы влиятельные друзья не заступились за него.

Продолжая служить и «шебаршить», Максимов не прекращал литературной деятельности. Он пишет воспоминания о поэте Мее, Островском, о декабристах Дмитрие Иринарховиче Завалишине и о Николае Александровиче Бестужеве.

В то же время начинается увлекательный труд над «Крылатыми словами», которые первоначально печатались в журнале под названием «Неспушта слово молвится». Будучи глубоким знатоком родного языка, его ревностным охранителем, Максимов с упоением работает на будущее российской словесности.

По утверждению нашего современника, литературоведа и прозаика Сергея Плеханова, труды его, в том числе «Крылатые слова», это «настоящее противоядие от языкового бескультурья».

Тонко и глубоко понимающий родной язык, почерпнувший знания его не в одних только книгах, а в странствиях, на ярмарках, в заезжих домах, в юртах и станах кочевников, поморов, бывши участником многих исторических событий, Максимов не без оснований утверждает: «Ломало народ наш всякое горе, ломает оно и теперь, подчас крепко больно, а все же в нем еще много сил, и хватает их настолько, чтобы быть воистине великим народом».

Откровения подобного рода у нас и доньше не прощаются, немедленно зачисляются за них в шовинисты. Попадало писателю-этнографу и тогда за сермяжность, «засорение» литературного языка и прочие, так хорошо известные всякому русскому литератору грехи, Максимов хотя и тих был нравом, скромен до застенчивости, однако в работе настойчив, упрям, и продолжал упорно бороться за чистоту русского языка.

Думается, переиздание книги «Крылатые слова» в годы возрождения гражданской и национальной активности русского народа, во время, когда обюрокрачивание общества «ржавчиной» казенных словесных трюков и вывертов изрядно поразило и подточило чистый исток родного языка, опростило его новомодными словесами иностранного толка, блатным жаргоном, газетной и докладной трескотней, издание это не только полезно, но и весьма своевременно, как своевременно и возвращение к читателю самого писателя-этнографа Сергея Васильевича Мак-

симова, почти забытого нашим «самым лучшим в мире» читателем. Впрочем, чего тут удивляться! Коли читатель наш мало знает или вовсе не знает писателей, которые бы сделали честь любой просвещенной европейской стране: Салтыкова-Щедрина, Лескова, Короленко, Писемского, Андреева, Гаршина, Мамина-Сибиряка, обоих Успенских, Курочкина, Златовратского, Помяловского и многих-многих других.

Перед тем как уйти в мир иной, никогда не заботившийся о своем здоровье и благосостоянии, Сергей Васильевич по настоянию и с помощью друзей, известных писателей и поэтов Григоровича, Плещеева, Потехина, Вейнберга, которые не оставляли его и во дни тяжелой службы в полицейских «Ведомостях», понимая, что не место красит человека, но наоборот, зная о том, что с помощью этого самого «органа» честный и добрый человек Максимов много сделал для попечения больных и бедных, искалеченных на войне и потерявших здоровье на службе людей, отправляется в Крым для лечения горловой чахотки, принимающей угрожающие формы.

Объездивший страну от северного Поморья до Каспийского моря и Тихого океана, неутомимый человек сделал крюк и заехал к своему брату, Василию Васильевичу, хирургу и профессору Варшавского университета.

В Варшаве Сергею Васильевичу стало совсем плохо. Брат делает ему блестящую операцию трахитомии и тем продляет на недолгое время жизнь писателя.

Вернувшись в Петербург, Сергей Васильевич Максимов слег окончательно — ослабело и сердце.

3-го июня 1901 года он скончался.

В летнюю душную пору в Петербурге почти не оставалось почтенной публики и за гробом известного писателя Максимова до Волкова кладбища следовала довольно реденькая процессия. Но литературная общественность широко откликнулась на невосполнимую утрату. Появились некрологи в разных изданиях, подписанные Толстым, Чеховым и многими другими знаменитыми русскими писателями.

«Драгоценное свойство господина Максимова,— писал Салтыков-Щедрин,— заключается в его близком знакомстве с народом и его материальной и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольной книгой для всех исследователей русской народности».

Вскоре после кончины писателя Максимова товарищество «Просвещение» предприняло издание собрания его сочинений во «Всемирной библиотеке» и выпустило двадцать томов подлинной «энциклопедии народной жизни», хотя и в двадцать томов уместилось далеко не все написанное великим тружеником и глубочайшим знатоком жизни своей страны и народа.

Но затем происходит то огорчительно-обидное, даже горькое для нашей отечественной культуры и народа явление, которое называется печальным русским словом — забвение. На много лет, на целые десятилетия драгоценное наследство писателя Максимова утрачивается народом, являясь лишь вспомоществованием в трудах ученых-словесников и «подкормкой» для богатых компиляций ловких людей, всегда густо обретающихся возле русской словесности.

«У Максимова нет последователей, и теперь в таком роде уже никто не пишет, — еще в 1907 году горько сетовал один из современников писателя. — С ним, Максимовым, последним представителем бытописательной литературы, кажется, вымирает, и самый бытописательный жанр», — и далее: — «Есть что-то грустное в обезличивании народов, в том умирании индивидуальности, которая зовется цивилизацией. Но покамест нам еще дорого наше родное, Россия будет дорожить памятью писателя, который так много посвятил труда и таланта на ее изучение, особенно сумев запечатлеть в своих произведениях поэзию народных верований и русской родной жизни».

В России, как я уже писал в начале этого очерка, все идет по кругу. И вот наступило время, когда всем нам «приспичило» подумать: кто мы и откуда взялись? Наступила пора вспомнить о наших сугубо национальных делах, заново взяться за книги и труды тех, кто радел за отечество свое и, положив живот за него, успел походить и в реакционерах, и в пропагандистах проклятого прошлого. Даже такие гении, как Федор Михайлович Достоевский побывал в оных, Пушкин печатался избирательно, так что уж говорить о «глашатаях» крестьянской старины — Есенине, Клюеве, Мельникове-Печерском или о том же Максимове.

Отечеству и народу нашему дана одна очень устойчивая особенность — прозреть через беды и воскрешать

самосознание с помощью родной великой культуры, когда «подходит край», когда мы зримо скатываемся к одичанию.

Так было в двадцатых, сороковых и пятидесятых годах нашего столетия, и ныне мы расхлебываем кашу духовного застоя и глубокого кризиса во всех сферах жизни. Приступила, и вплотную, пора вспомнить о духовном и культурном наследстве России — одна за другой издаются и выпускаются библиотеки, не только всегда «действующих» классиков, но и полузабытых или вовсе забытых радетелей русской культуры.

В Новосибирске вышел уже седьмой том «Литературного наследства Сибири». Стараниями и подвижничеством неутомимого человека Николая Николаевича Яновского и его сотоварищей-сибиряков Отечеству нашему возвращены и пущены в культурный обиход многие славные имена русских мыслителей, культурных деятелей, писателей и ученых: Г. Н. Потанина, В. Я. Зазубрина, М. К. Азодовского, А. Н. Сорокина, Г. Г. Гребенщикова, П. П. Петрова и многих-многих других.

В Иркутске одновременно осуществляется издание библиотек «Литературные памятники Сибири», «Сибирь и декабристы», «Полярная звезда». Здесь же, в Сибири, была в свое время предпринята и осуществлена попытка издания «Библиотеки сибирского романа», куда вошли книги и старых, полузабытых русских писателей. Правда, пухлая эта библиотека слишком загромождена толстыми современными романами «обязательного порядка», т.е., теми, которые издавались по указанию сверху. Перегруженная «правильными», но серыми произведениями, библиотека не имела того значения, на которое вправе были рассчитывать издатели. Ныне в Иркутске выпущен уже третий том «Сибирской библиотеки для детей и юношества», рассчитанный на десятилетие, в течение которого выйдет 25 томов книг, состоящих преимущественно из произведений писателей-сибиряков.

Приходит пора и Максимова, вот что сообщает из Подмосковья много занимающийся наследием Сергея Васильевича Максимова, написавший о нем роман «Охота за словом» Сергей Плеханов: «К 150-летию я подготовил «Избранное» Максимова, в 1982 году — «Куль хлеба», в 1984 году — «Год на Севере»; готов к изданию сборник «По русской земле». Пытался пробить в Иркутске, в «Лит. памятниках», «Сибирь и каторгу» — но безуспешно. В Ярос-

лавле отвергли идею издания «Лесной глуши». Белорусы («Мастацкая литература») схватились было за предложение выпустить «Обитель и житель», но потом написали, что Максимов — реакционный (!) и потому изданию не подлежит...»

Уже в момент написания этого очерка я наткнулся на любопытное известие: в № 8 за 1986 год журнала «Наш современник» сообщается, что состоялась встреча с работниками и авторским активом «Морского сборника». Да, да, того самого!

Вот что написано в информации по этому поводу: «На журнальной полке, наверное, трудно найти второго такого «долгожителя» (даже «Вокруг света» почти на полтора десятилетия моложе). Многие и многие его собратья — «юноши», если сравнить их по возрасту. С 1848 года издается журнал. И ни разу за всю историю он не огорчил читателя: не было случая, чтобы не вышла очередная, из месяца в месяц, книжка журнала. Его публикации высоко ценили Н. Г. Чернышевский и Н. В. Добролюбов. На страницах журнала выступали: Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров с циклом путевых очерков «Фрегат «Паллада», К. М. Станюкович с повестью «Вокруг света на «Коршуне», видные флотоводцы и ученые, среди них вице-адмирал С. О. Макаров и академик Н. А. Крылов. Да, мы говорим о «Морском сборнике» — ежемесячном журнале Военно-Морского флота Советского Союза. В наши дни здесь печатаются военно-теоретические и прикладные статьи, материалы по истории флота, публицистические выступления, рассказы о матросской аудитории: моряках, ученых, судостроителях, людях многих профессий. Интерес к журналу велик не только в нашей стране, но и в доброй полсотне стран мира. Его читают, изучают, переводят...»

Очень хорошо, что сохранился журнал, сыгравший в свое время такую большую роль в прогрессивном возрождении России, объединивший талантливых русских писателей, давший направление передовой общественной мысли второй половины прошлого века, сблизил с российским простолюдьем наиболее талантливых литераторов, на долгие годы приохотил их к этнографическим поискам в родном отечестве, среди родного народа и тем самым содействовал сближению литературы с жизнью, с языком истинно народным. Наша отечественная история была бы неполной, если бы мы забыли о роли «Морского сборника» в возрождении России, какая неполная была она, ког-

да искажались и выкорчевывались целые отрезки времени в истории нашей, замалчивались важные события и явления, надолго исключались из обихода целые литературные направления и объединения.

Когда не издается Бунин и забываются Гумилев, Павел Васильев, Борис Корнилов, Клюев, Замятин, Зазубрин, Северянин, Шмелев, Слепцов, Решетников, когда шельмуется волшебница стиха Ахматова, когда великий Есенин переходит почти в «подпольные», с помощью школьных альбомчиков и блатных глоток распространяемых поэтов, их места занимают десятки угодливых, в литературе случайных людей, пытающихся «стянуть» мысль и слово до своего уровня, и сделать литературу себе подобной.

Потоки серой литературы, кризисные застои в творчестве сделались возможными только потому, что истинно талантливое заменялось далекой от нужд и требований народа писчебумажной продукцией типа «Наша родина прекрасна и цветет, как маков цвет, а кроме явлений счастья никаких явлений нет...»

Встряхнулись, огляделись, пора и делом заняться, очень трудным, восстановительным во всех сферах жизни и прежде всего духовной, ибо безмыслие приводит к забвению, равнодушию, ожирению ума, к нравственному оскудению общества. Надо воскрешать в памяти народной все то лучшее и истинное, что было свойственно истории нашей и литературе.

Сергей Васильевич Максимов — радетель слова русского, так много сделавший для своего народа, должен с полным правом и достоинством занять принадлежащее ему и никому другому место в отечественной культуре. Он его заслужил и заработал многолетним, тяжким и, не побоюсь громкого слова, — неистовым трудом.

И ВСЕ ЦВЕТЫ ЖИВЫЕ

О Константине Воробьеве

Судьбы человеческие, они — каждая сама по себе, хотя живем мы вроде бы сообща, и все у нас должно быть общим. Судьбы писательские и вовсе прихотливы. На моем веку произошло немало блистательных, шумных восхождений на вершины, где уж одно только сияние, благоухание, восхищение, поклонение, и вершина эта оказывается столь заманчивая и удобная, что сиднем сидит на ней обласканное новоявленное творческое диво и совсем уж не видит, что делается вокруг, в особенности у подножия вершины — кто там копошится, зачем копошится и куда это все спешат, на работу, что ли?

Однако есть писатели, напоминающие мне старательного и умного пахаря, который встает до зари и без шума, гама, показательной активности и молодецкой стати делает свою трудную работу, зарабатывает свой хлеб.

Но случалось, как это ни горько признать, и поныне случается, что судьба такого вот скромного труженика не только в повседневной сложной жизни, но и в литературе проходит незамеченной не только при жизни, но даже и после смерти — и это вроде бы при всеобщем-то заинтересованном внимании к современным нашим творцам?!

Такой вот укорный пример нашему творческому коллективу и многохваленному читателю — судьба писателя Константина Воробьева, которого граждане наши, даже много и внимательно читающие современную литературу, по сию пору путают со всеми Воробьевыми, кои были и есть в литературе (а их и сейчас там до десятка), но

чаще всего и совсем не знают. Упомянешь его на встрече, назовешь в числе выдающихся русских советских писателей — недоумевают читатели, пожимают плечами или изумленно спросят: «Да уж не тот ли это Воробьев, что написал «Убиты под Москвой», «Крик» и еще что-то?» — «Тот, тот!» — скажешь, и непременно последует: «Это ж замечательные вещи!»

Вот так: знают книги, знают повести, но не знают автора! Тоже феномен читательский, тоже загадка, и загадка тем удивительней, что не только читатели, но и многие, так сказать, «собратья по перу», «работники одного цеха» мало или совсем не знают творчества Константина Воробьева. Однако не было еще случая, чтоб, отрекомендовав кому-то книги моего, ныне уже покойного, товарища и собрата по войне и работе, я услышал бы: «не понравилось», «не показалось». Наоборот: всегда письменно или устно благодарили меня читатели за то, что открыл «замечательного художника, к стыду моему, как-то пропущенного...»

Печататься Константин Воробьев начал в середине пятидесятых годов, сперва в провинции, затем в Москве, и не где-нибудь, а в «Новом мире», где появиться в ту пору мог писатель не просто сложившийся, но и владеющий «крепким пером».

Он долго и трудно шел в литературу, его рукописи громили московские рецензенты в журналах и издательствах, громили беспощадно, изничтожающе, — я потом узнал их, этих «закрытых» рецензентов, — громили они и меня, и в конце концов убедился, что это в большинстве своем несостоявшиеся писатели-теоретики, все и вся знающие про литературу, но не имеющие писательского дара.

Чтобы существовать самим в литературе, кормиться — им надо было оборонять себя и свое утепленное место и в первую очередь обороняться от периферийной «орды», от этих неуклюжих, порой угловатых и малограмотных, но самостоятельных и упорных, жизнь повидавших мужиков. Имеющие за плечами институтское или университетское образование, они какое-то время успешно справлялись с нашим братом, сдерживали на «запасных позициях», но когда их «скрытая оборона» была прорвана, они взялись трепать нас печатно, и доставалось нам все больше за «натуралистическое видение жизни», за «искажение положительного образа», за «пацифизм», за «дегероизацию», за «окопную правду», которую один и ныне

процветающий писатель назвал «кочкой зрения», хотя сам «воевал», между прочим, в армейской газете и что такое окопы представлял больше по кино, да и самую войну наблюдал издалека.

В особенности досталось за «окопную правду», за «натуралистическое» изображение войны и за искажение «образа советского воина» писателю Константину Воробьеву.

Но у периферийных писателей той поры, в первую голову у бывших воинов, — доподлинных фронтовиков-окопников в конце концов образовалось своего рода товарищество, которое, как правило, начиналось с переписки, с заочного знакомства.

И мы прекрасно понимали и были единодушны в том, что когда читателя долго кормят словесной мякиной, пусть она, мякина, и о войне, у него, у читателя, появляется голодная тупость и малокровный шум и звон в голове.

Читая послевоенные книги, смотря некоторые кинофильмы, я не раз и не два ловил себя на том, что был на какой-то другой войне. (К. Воробьев уверял меня в том же.) Да и в самом деле: как иначе-то думать, если вот под песню «Клен зеленый» воюют летчики, даже не воюют, а выступают на войне: «Парни brave, brave, brave!..» И так вот красиво выражаются: «Война — дело временное, музыка — вечна!» И-и... взмах руки: «Кле-он кудрявый!..» — летят вверх эшелоны, цистерны, — «р-рас-кудрявый!» — и лупит в хвост удирающему фрицу краснозвездочный сокол, аж из того сажа и клочья летят! Еще раз: — «Раскудр-рявый!..» — и в землю врезается бомбовоз, разбегаются ошеломленные враги, все горит, все бежит — и как-то в кинотеатре я тоже заподпрыгивал на сиденье, и в ладоши захопал вместе с ребятами школьного возраста — до того мне поглянулась такая разудалая война.

Или вот еще: смертельно раненная девица поет романс: «Ах, не любил он, нет, не любил он...» — и палит из автомата по врагам, палит так много, что уж в рожке немецкого автомата не сорок, а вся тыща патронов должна быть — это она, под романс-то, «красивая и молодая» заманивает фашистов в темь леса, на неминуемую гибель.

А там, на некиношной-то войне, на настоящей, дяди баскетбольного роста, как штангист Алексеев телосложением, раненные в живот (редко кто с этим ранением выживал), криком кричали «маму», и уж — срамотица сплош-

ная — доходило до того, что просили, умоляли: «Добейте, братцы!..»

Конечно, при подобном, до конца так и не избытом «творческом климате» и чудесах искусства и литературы писателям вроде Константина Воробьева было тяжело жить и работать.

Повторяю: у даровитого человека судьба была, есть и будет отдельная. У да-ро-ви-то-го! Возьму на себя смелость заявить, что у Константина Воробьева не только жизнь, но и творческая судьба была не просто отдельной, но исключительной!

Примерно к середине шестидесятых годов творческое братство писателей-фронтовиков, быть может, и неширокое, но стойкое, приобрело уже заметные очертания. Бывшие истинные вояки, пришедшие в литературу почти все одинаково трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакировочной литературе «противника». Об этом непростом и нелегком становлении тогдашней молодой литературы даже нынешняя, вроде бы все знающая критика помалкивает, а стоило бы ей вместо того, чтобы перемалывать молотое, хвалить хвалимое, поинтересоваться архивами хотя бы того же Константина Воробьева и почитать ответы из столичных изданий — удивительные бы документы они для себя открыли!

Но чем периферийщиков больше игнорировали, оттирали и унижали, тем они жадней и привязчивой следили друг за другом и, прежде чем пожать руку собрата по войне, зачастую уже досконально знали его творчество, вступали в переписку, поддерживали, как могли, иногда и печатно. Но и требовали друг от друга будь здоров, ибо хорошо знали: чтоб нам утвердиться и устоять в литературе, нужно работать в десять, в сто раз больше тех, кто учился, самоусовершенствовался, наполнял свой культурный уровень в ту пору, когда мы дрогли в военных окопах, потом боролись с разрухой и нуждой.

Для меня был и остался до сих пор главным судьей в литературе мой лучший друг Евгений Носов, с которым мы познакомились и сошлись в Москве на Высших литературных курсах. Если мой рассказ или повесть «показались» Носову, он признал и принял новую вещь — можешь тогда смело тащить ее в любой журнал, в любое издательство. Нежный, внимательный, добрый человек, он становится совершенно беспощадным, когда дело доходит до творчества, и требует с тебя так же, как и с себя,

ибо по себе знает: чтобы выбиться в люди нам, много недобравшим в образовании, надо работать. Нам надо писать и отделять свои произведения так, чтобы никаких там «прений» не было насчет «качества продукции», чтобы редакторы и другие деятели литературы морщились, называли нас «густопсовыми реалистами», но отправляли бы рукопись в набор, потому что деваться-то некуда. Не надо забывать и такой фактор: в пору нашего становления как литераторов умами повсюду властвовала так называемая «исповедальная» литература, против которой я лично ничего не имею — она хотя бы уже тем полезна, что вызвала ответную реакцию и ускорила приход литературы иной, так называемой «деревенской прозы». От нас в ту пору никто не взял бы в печать произведения, написанного на уровне: «он сказал, она сказала». И сейчас никто таковых от нас не возьмет. Но уже по другим причинам, по причинам высокой требовательности, утверждению которой в немалой степени способствовало военное поколение писателей.

Нам приходилось и приходится работать так же, как на войне,— все лучше и лучше. Иначе не победить. Иначе пострадает наше достоинство, будет принижено значение современной отечественной литературы.

Это я сделал такое, пусть слегка и патетическое отступление прежде всего для нынешних молодых литераторов, которые, как мне сдается и видится, думают, что мы, военное поколение писателей, вошли в послевоенную литературу под духовой оркестр, молодецким дружным строем.

Творческая судьба Константина Воробьева — наглядное подтверждение тому, как ему, да и всем нам, далась эта самая литература и то положение, которое мы по справедливости в ней занимаем.

После того как критик Гр. Бровман навалился на Константина Воробьева и начал прорабатывать его при появлении любого его рассказа, любой повести — будто за углом с топором стоял и караулил! — за те самые грехи, что я перечислил выше, мне пришлось вступить за фронтовика-писателя, и я чуть ли не впервые попробовал себя в критике, написал статью в газету «Литература и жизнь» (ныне «Литературная Россия») под названием: «Яростно и ярко».

Позволю себе для подтверждения моих высказываний эту маленькую статью привести здесь целиком, думаю, она убедительней, чем нынешние мои слова, развеет у довер-

чивого нашего читателя мнение, будто перед нами, писателями военного поколения, расстилались ковровые дорожки.

«Бывает так: читаешь рассказ или повесть, и все время чудится тебе человек, который по лености или недомыслию не запасся на ночь дровами. И сидит он, бедный, один в ненастную ночь, скучно коротает ее при чуть теплящемся огоньке — как уж совсем замирать огонек начнет, он палочку подбросит, потом еще, потом еще...

А есть писатели другого склада. Они, не жалея, валят в костер весь свой запас, всю свою энергию, и сердце тоже, не подживляя огонь скупыми порциями хвороста. Чтоб горело. Чтоб ярко было!

Вот за это яркое, порой стихийное горение мне нравится писатель Константин Воробьев, человек самобытного таланта.

Критикой К. Воробьев совсем не избалован. Более того, две его повести: «Крик» и «Убиты под Москвой», напечатанные — одна в «Неве», а другая — в «Новом мире», — как только появились, были раскритикованы. А наиболее значительная повесть: «Сказание о моем ровеснике» (в журнале «Молодая гвардия» у него было лучшее, на мой взгляд, название — «Алексей, сын Алексея») — осталась вообще незамеченной.

Самой «отторженной» оказалась повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой».

Итак «Убиты под Москвой». Кто? Рота.

И не просто рота, а рота кремлевских курсантов. И оттого, что она не просто рота, трагедия ее по-особому страшная, и хочется кричать от боли. В иных местах, читая повесть, хочется загородить собою этих молодых ребят, вооруженных «новейшими» винтовками СВТ, которые годны были лишь для парадов, и остановить самих курсантов, идущих на позиции с парадным, шапкозакидательским настроением.

Курсанты окапываются, ждут боя, фашистов, а дожидаются... отступающих наших солдат, растерзанных страхом. Курсанты стали презирать, ненавидеть за трусость этих солдат, особенно их генерала.

А к вечеру капитан Рюмин, командир курсантской роты, выясняет, что они уже окружены, их уже обошли, и окапывались они зря, и ждали зря, и никакого планомерно рассчитанного боя не будет. Им просто-напросто надо выходить из окружения и пробиваться к своим.

Чтобы не убить веру в свою силу у этих парней, необстрелянных, но действительно преданных Родине до последней кровинки, капитан Рюмин решает дать им возможность «не просто так» отступить, а с победой.

Курсанты ночью атакуют впереди лежащее село, занятое гитлеровцами, которые до того «охамели», — как говорит лейтенант Гуляев, — что спят в кальсонах.

И вот ночной бой, жестокий, сокрушительный.

Потом, после боя, лейтенант Алексей сходит посмотреть на застреленного и додушенного им врага.

«Немец лежал в прежней позе — без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубашу и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе, «по-живому» прилегли к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора».

Так о бое может писать человек, только сам хлебнувший окопной жизни, горя, крови и слез. И напрасно критик Р. Бровман обвинял К. Воробьева в натурализме, пацифистском духе и других грехах.

Воробьев начал войну рядовым необстрелянным бойцом, каких и описал в повести «Убиты под Москвой», закончил ее командиром отдельной партизанской группы в Литве, изведав унижение и боль окруженца, а после — и долгожданную, выстраданную радость победы.

А что касается натурализма, то я могу, как бывший окопник, сказать, что не знаю ничего страшнее и натуралистичней войны, где люди убивают людей. И коли К. Воробьев, все испытавший на войне, не умеет рядить ее в кому-то нравящиеся романтические одежды, значит, иначе не может. Он пишет, страдая за людей, без расчета кому-то понравиться и угодить. В том его сила!

Вернусь к повести, хотя, откровенно говоря, мне бы хотелось кончить читать повесть и говорить о ней на том месте, когда наши «долбанули» фашистов, и затопать бы ногами, как до войны в темном зале кино, и закричать от восторга, видя, как краснозвездные танки гонятся за толпой врагов и те, рассеянные, с вытаращенными глазами, в панике валяются и поднимают руки вверх.

Но это там, в довоенном кино. А здесь немецкие самолеты наутро загнали дерзкую роту курсантов в сосновую

рошу и завалили бомбами. Курсантов просто уничтожили, их закопали, сожгли заживо вместе с лесом.

Повесть «Убиты под Москвой» не прочтешь просто так, на сон грядущий, потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки, хочется единственного: чтоб никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими курсантами, погибшими после бесславного судорожного боя, в нелепом одиночестве под Москвой.

Повторяю, это не самая лучшая повесть К. Воробьева, и остановился я на ней подробно только потому, что уважаемый критик категорически «зачеркнул» ее. Лучшими представляются мне повести «Сказание о моем ровеснике» и «Крик», тоже очень эмоциональная, написанная на одном, «верхнем» дыхании. Что же касается самой большой в книге повести — «Почем в Ракитном радости», то она местами сбивается на авторское кокетство, совершенно чуждое суровому и достоверному перу К. Воробьева, и оттого впечатление от нее какое-то лоскутное. Местами она превосходна, искренна до предела, и тут же рядом в ней присутствуют назидательность, резонерство и литературщина.

Мне думается, что этой повести, как и некоторым рассказам К. Воробьева, вредят известная заданность и та самая, никому не нужная расчетливость, когда сидящий у костра человек соображает: подложить ли ему еще палочку в костер.

Константин Воробьев силен там, где он пишет, точнее, живописует свободно, давая себе и своему воображению полный простор, а языку, кстати говоря, отлично, богатейшему оттенками и красками русскому языку, — полное дыхание, как на ветру, напоенному запахами родной ему курской земли, русских полей и садов.

И тогда огонь, зажженный им, горит во всю мочь, яростно и ярко».

Статья эта написана и напечатана в 1965 году, и она избавляет меня от ненужных повторений, да и петушистость ее мне как-то все еще по нраву, ныне бы я так не сумел написать, призвал бы себя к сдержанности и теоретизировать бы взялся. Кроме того, в этой статье изложено содержание одной из лучших повестей о войне, и не только у Константина Воробьева, но и во всей нашей ли-

тературе, что теперь общепризнано, и слова мои: «Это не самая лучшая повесть К. Воробьева» я после повторного прочтения повести беру назад, и, надеюсь, читатели простят мне этот грех и некоторую менторскую назидательность в конце статьи — это мне хотелось выглядеть «солидно», не «отставать от тенденций времени». Словом, все это — издержки молодости. Литературной.

А теперь самая пора рассказать подробнее о самом Константине Воробьеве — когда еще доведется писать о покойном товарище, не знаю.

У меня хранится книга повестей и рассказов Константина Воробьева с его дарственной надписью, изданная в 1964 году «Советской Россией», и в книге этой оказалась вырезанная мной из журнала «Смена» редакционная заметка с портретом молодого, не просто красивого, а какого-то яркого юноши с темной прической (она окажется рыжеватой), тоненького, изящного, даже в чем-то интеллигентного (он, кстати, окажется высоким, статным, резким в словах и жестах, но в чем-то и вправду неуловимо интеллигентным), и я, глядя на этот журнальный снимок, всегда с грустью вспоминаю грустную же русскую поговорку: «Красивыми, быть может, не были, а молодыми были».

В заметке написано вот что:

«В журнале «Смена» был опубликован рассказ-быль К. Воробьева «Верное сердце». Редакция получила много откликов на него. Читатели просят познакомить их с Константином Воробьевым, с его новыми произведениями.

Константин Дмитриевич Воробьев родился в 1919 году в Курской области. Юношей приехал в Москву, работал уборщиком в магазине, был шофером, а вечерами учился. Затем стал профессиональным журналистом. Войну К. Воробьев закончил командиром отдельной партизанской группы в Литве.

В 1956 году в Вильнюсском издательстве вышел первый сборник его рассказов «Подснежник».

А теперь я «передаю слово» земляку Константина Воробьева, нашему общему другу, задушевному человеку и писателю Евгению Носову:

«...Я развернул карту моей курской стороны и долго вглядывался в ту ее полуденную часть, где к тонкой синей прожилке безымянного ручья прилепился похожий на рыбью икринку топографический кружок села Нижний Реутец. Из этой-то икринки и вышел в большой свет свое-

образный и яркий художник Константин Дмитриевич Воробьев. Родился он всего в одном дне ходьбы от моей деревни, и получилось, что некогда, еще мальчишками, мы видели одни и те же закаты и восходы, слышали одни и те же майские громы и поди что мокли под общими ливнями. Да и хлеб ели почти с соседних полей, и жили, и росли по единым обычаям, дошедшим к нам от общих наших предков — пахарей и воинов земли Северской.

Но так случилось в круговерти жизни, что не знали мы друг друга почти полвека и встретились (теперь горько сознавать это) лишь незадолго перед кончиной Константина Дмитриевича. И чувствую, догадываюсь, как же нужны мы были друг другу, почти одновременно вступившие в литературу, трудно, вслепую искавшие туда дорогу, как важны были нам в ту пору взаимная поддержка и одобрение».

Слышите, как большой мастер, тонкий стилист, честный человек Евгений Носов в пожилом уже возрасте, волею и неволею винится перед земляком-писателем. И общественность наша, в первую голову литературная, пыталась и пытается это сделать — после смерти Константина Воробьева (1975 год) в Вильнюсе был издан двухтомник; одна за другой вышли книжки в центральных издательствах столицы. Наконец-то! — снизошло до творчества большого мастера слова и самое массовое издание — «Роман-газета»; появились статьи и исследования творческого наследия в газетах и журналах. Слышал я, что известный режиссер Алексей Салтыков собирается ставить художественный фильм по повести «Убиты под Москвой». Медленно, как-то разрозненно и лениво начинает проявлять интерес к творчеству К. Воробьева и наш дорогой читатель, которого, судя по отношению хотя бы к этому незаурядному писателю, мы как-то заискивающе перехваливаем и торопимся ему наговорить комплиментов при любом удобном случае, особенно по торжественным дням.

И, следя уже за посмертной судьбой писателя и товарища, не раз и не два я горько вздохнул: «Вот бы все это при жизни!»

Как нуждался Константин Воробьев в участии и поддержке. Как трудно пробивался в печать. Всю жизнь трудно, с нервотрепкой, доходя порой до отчаяния и душевной депрессии.

Однажды я написал письмо в Вильнюс незнакомому

еще тогда писателю по поводу повести «Алексей, сын Алексея». Потом она будет названа «Сказание о моем ровеснике». И с руганью по поводу повести «Капля крови», которую тоже написал Воробьев, но совсем другой — вот вам и «лучший в мире», внимательный читатель. Еще один!

«Не знаешь ли ты, мученическая душа твоя русская, отчего нас невозможно пронять, отчего мы, несмотря ни на что, сохранили живой, честный ум и веселый смех. И никому, никогда не отдадим свой летучий — для нас неминуемый гений, всеохватную душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить».

Потом, при личном знакомстве, придется убедиться, и не только мне, что оптимизм его, Кости, и резкий, ядовитый, но веселый нрав — все это от натуры, а не от литературы. Зная, как трудно складывалась его военная судьба, мы много и не раз говорили об этом, но более всего спрашивали его о том, что это такое — кремлевский курсант? Каково служить при Кремле? И он охотно, порой с юмором рассказывал нам, его друзьям и товарищам, о действительно очень трудной, единственной в своем роде службе. До войны стоял возле Мавзолея и на других постах по два часа. Ныне — один час. Неподвижно. Окаменело. Со стороны это торжественно, красиво, благоговейно. Тем, кто смотрит. Но тем, кто стоит?.. Когда нет посетителей, можно переступить с ноги на ногу, переморгнуться с напарником по посту, размять пальцы на руках и ногах. Но когда на глазах у людей...

«Села как-то муха стоящему напротив курсанту на лицо и пошла обследовать его черты — такая ли шустрая, любопытная: и в нос залезет, и по губам шарит, и в глаза заглядывает. Я едва сдерживаюсь, чтоб не засмеяться. Нельзя — у Мавзолея стоим, идет народ. А она, муха-то, обследовала лицо напарника, ничего в нем выдающегося, видать, не нашла, покружилась — и раз! На мое лицо! И тут уж я до конца осознал старую истину — смеется тот, кто смеется последним...»

Бог его знает, может, это байка кремлевских курсантов насчет мухи, однако в память рассказ Кости запал.

Приняв первый бой под Москвой, жесткий, беспощадный, Константин Воробьев попал в плен, бежал из шяуляйского лагеря в партизанский отряд и там встретился с Верой Викторовной, которая стала его женой. Она и поныне хранит верную ему память. И архив писателя. Сейчас и Вера Викторовна, и дети Константина Воробьева живут в России, в Москве.

Как мечтал, стремился покойный писатель домой, в Россию. Но так и не смог осуществить своей мечты, так пусть хоть его близкие поживут здесь.

«...Желаю радостей и хоть немного денег. Ты не задумывался, отчего их у нас нету?»

«В день по абзацу пишу, а иногда и по целой странице. Видал?»

«Вот и дождался я своих «Аистов» (сборник повестей и рассказов: «У кого поселяются аисты». «Советская Россия». 1964 г. — В. А.) Посылаю тебе их. Жалко, что «Убиты под Москвой» ты читал в журнале. Там до черта было купюр. В сборнике же это полнее. Я ведь писал их, как продолжение «Алексея». Тебе не кажется, что мы с тобой одним миром мазаны?»

«Мне что-то сейчас не работается. Наверное, втуне ожидаю хулу и брань разных бровманов на своих аистов. Сволочи, вышибают недозволенными приемами перо из рук, никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уже и места негу живого!»

«Мне известно, что жить и писать с этим (живым, щедрым, русским сердцем) чрезвычайно трудно, но иначе нельзя, не стоит писать, а стало быть, жить. Мы нищи хлебом, но зато «в моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне», как сказал Блок. Это чувство радости за свою нерастраченность очень четко проявляется в лесу, на пустынном озере. Правда?»

«Хочу в Русь. Криком кричу — хочу домой!»

«Что ты делал в Курсках? А Носов — кто? Я не читал его. Ох, хочу на Родину! Я ведь чуть-чуть не смылся в Рязань, да не вышло с жильем. Остается одна надежда — купить хатку где-то, крестьянскую, рублей за 200—300».

«Спасибо за ласку: я, видишь ли, уже отвык от человеческого слова, потому как рык и брань сплошь. И не то чтобы я не понимал сути этой брани, не ведал истины этой брехни, но сердце-то незащищенное!..»

«Да, конечно, выдюжим, но дело в том, что иссыхает душа, выпадает из рук карандаш, вянут замыслы.. А надо бы выдюжить! Ох, как надо! Но вот я иногда иду по улице и думаю: не дай Бог упасть и очокуриться, ибо сраму не оберешься».

«Принимался несколько раз писать тебе, но выходило так непотребно мрачно, тоскливо и горько, что... надо было рвать письма: я не люблю нытиков и неудачников... Ну-с. Есть у меня и просветы на горизонте: ребята из Пскова

обещают осенью квартиру там. Перееду. Был я у секретаря обкома. Кажется, перееду. Может, там, на родной земле, будет лучше».

«...В Пскове не дали квартиру. Живу хреново. Меня совсем перестали печатать. Я ожесточен, а это не помогает писать».

«Пребываю преимущественно в лежачем положении».

«...Мне передали, что ты на пленуме сказал доброе слово обо мне. Я тогда был в больнице, с воспалением мозга и частичным параличом конечностей. После операции (трепанация черепа) рука и нога восстановились, а левый глаз видит плохо — троит и двоит, так что, к примеру, ежели встать возле метро и протянуть руку, то поданный пятак будет сходить за три... Будь добр, черкни мне пару строк вот о чем: ты не мог бы посодействовать в издании сборника моих повестей и рассказов в издательстве «Современник»?»

Из этих коротеньких выдержек из писем, адресованных ко мне, которые я расположил, чуть нарушив хронологию ради «оптимизма», видно, как жил и пробивался к читателю большой русский писатель, не доживший из своего срока какую-то долю, немалую, и уж совсем точно недоделавший очень многого, может быть, не написавший «главную» свою книгу — о чем свидетельствует посмертно напечатанная в журнале «Наш современник» лишь взявшая «разгон» повесть «И всему роду твоему...» По значительности замысла, точности стиля, удивительно тонкого проникновения в святая святых, душу человека, даже и в незавершенном виде эта повесть может и должна стоять на одной полке с русской классикой.

Из писем видно, что Константину Воробьеву не я один пытался помочь, но что из этого получалось, можно судить по письмам покойного или по такому вот примеру: к двадцатипятилетию со Дня Победы Пермское книжное издательство поручило мне составить сборник военной прозы, и наряду с другими известными произведениями я включил в этот сборник и рассказ Константина Воробьева «Дорога в отчий дом». И рассказ понравился в издательстве, решено было всей книге дать по нему название, соответствующее содержанию и духу сборника. Пока книга выходила, я переехал жить в другой город, и каково же было мое не изумление, а потрясение, когда я получил хорошо изданный сборник «Дорога в отчий дом», но самого рассказа там не было — кто-то где-то на пути к дорогому читателю «смахнул» рассказ.

Издатели, писатели, критики после смерти писателя начали его печатать, «привлекать внимание» к рано ушедшему незаурядному таланту. А что он был таков — никаких доказательств не требуется, откройте книги Воробьева на любой странице и читайте, вот хотя бы начало одной его самой почти первой повести «Алексей, сын Алексея»:

«...Под вечер степь наполнилась задумчивостью и покоем. Ветер утихал, травы выпрямлялись, а подгоризонтные дали заволакивались багряной дымкой всегда тревожного степного заката. В полночь на ковыль оседала тяжелая роса. Тогда степь белела, как под инеем, и легкие ноги Катерины оставляли на ней темно-зеленые следы — борозды. Она уходила от стоянки своего отряда километра за три, выискивала впадину, где ковыль был густой и рослый, и в нем купалась...»

Какой легкий, изящный ритм! Какая влюбленная в слово поступь молодого автора, какой он еще романтичный!

А теперь послушаем его последнее произведение, неоконченную повесть «И всему роду твоему...» И тоже начало. Делаю это сознательно — для сравнения:

«...шел нудный, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга, густая и туманно-седая, как и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвратительно-едко: бензин так и не выветрился за ночь, и свиная кожа стала неряшливо-пегой, а не первозданно-желтой, как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может, только из-за этого перчатки сильно воняли...»

Между «тем» и «этим» началом лежит жизнь художника. Ах, как не ценим мы ее, чужую-то жизнь! Все еще не научились. Или разучились? На бумаге больше, в застойной болтовне «проявляем заботу о ближнем».

«Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина промчалась мимо с каким-то издевательски роскошным рокотом, обдав его грязью — шофер, наверное, поддал газу, а Сыромуков подумал: как много развелось на свете разного оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом, глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то,

что случалось с его сердцем часто и уже давно, — оно там толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так, под горлом, стесненно затихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды было нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним, через долгую, как целый век, паузу — второй, потом третий, а после начиналась скакучая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Этот страх каждый раз был новым, свежестрепетным ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, как граната, а страшилось все тело, и больше всего глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение: они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, вскидывались и опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе — зачем они это проделывали?.. Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле каменного забора с широким черепичным навесом — наверное, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут, на всякий случай, окажется сухое место...»

Вот такая вот картина, на мой взгляд, не требующая никаких комментариев.

Но почему-то мне хочется вернуться еще раз к той, ранней повести.

В деревне Шелковке орудует продотряд, возглавляемый матросом. И сам он, и продотрядовцы очень революционно-беспощадно настроены, что и дает повод сбегать к белым посыльному и сообщить, что «Шелковку грабят».

«И вот на рассвете этого утра в Шелковку с двух сторон незаметно ворвался конный полк белых. Сонные продотрядовцы, как разбрызганные, кинулись в огороды и сады, но никто из них не ушел из села, и матрос со своей семьей — тоже».

И он, и Катерина, та самая, что ходила купаться в ковыли, пробовали сопротивляться, Катерина вместе с сыном хозяина того дома, в котором они остановились, погибли; самого хозяина, Матвея Егоровича, русского крестьянина, ярко, земно написанного К. Воробьевым, и матроса повели за село.

«На спуск к реке они двигались через податливо раступившихся баб и детей, и под свой плавный, широкий шаг матрос не переставал просить: «Может, кто взял бы

ребенка, а? Восьмой месяц ему... Алексеем зовут, а?» Но бабы молча сморкались в фартуки, а ребятишки застенчиво хихикали и загораживали рты грязными ладошками.

Через речку арестованных перегнали вброд и узкой полевой дорожкой, заросшей чернобылем и пыреем, повели к Бешеной лощине. В лесу гремели соловьи, томно ныли горлинки, безмятежно и кротко сияли в росной траве безмянные шелковские «тветы». Матвей Егорович, с детства знавший тут любой куст, каждую ложбинку и тропку, вывел матроса и конвоиров, минуя заросли, на чистую полянку. Захваченный живой и мирной благодатью леса, он впервые за всю дорогу от села ободряюще взглянул на матроса. Тот с грустным и каким-то предсмертным вниманием всматривался в лицо сына, слезно дрожа подбородком, и, пронизанный внезапным, горячим ужасом, Матвей Егорович почти закричал: «Чего ты?! Они же шуткуют! Погоняют нас тут, острастку напустят и...» Он так и не понял, что было первым: обвальный грохот леса или рывок матроса в сторону. Но пробежал матрос всего лишь несколько шагов и, роняя сына, сам упал, косо, с плеча. Подвернув под себя голову, он судорожно начал подгрести одной рукой, будто искал что-то в траве или плыл к неведомому берегу.

Почти разом с матросом упал и Матвей Егорович. На мгновение он замер, крепко зажмурив глаза, и всем своим телом почувствовал приближение к нему чего-то страшного. Не открывая глаза, он торкнулся головой на ребенка, на его голос, схватил и приподнял его навстречу конвоирам, как икону: «Люди! Люди!..» — ему хотелось сказать конвоирам о какой-то великой и единственной правде на земле, которую сам он только что постиг в эти секунды и смысл которой словами выразить было нельзя.

«Люди,— шептал одно это слово Матвей Егорович, крест-накрест поводя перед собою ребенком».

Эта вот сцена со своей душой обдирающей трагичностью, глубочайшим философским смыслом, написанная столь красочно, напряженно и жизненно, право же, стоит некоторых современных, анемично-водянистых рассказов и даже романов. Но боюсь быть пристрастным и передать слово опять Евгению Носову:

«...Сквозь его взволнованные страницы еще заочно угадывается человек, наделенный личной отвагой, пламенным гражданским мужеством, взрывным зарядом темпе-

раamenta и самопожертвования, чутким и ранимым сердцем, в чем я и убедился уже потом, при близком знакомстве с писателем. Константин Воробьев любил работать в горячем цехе, со словом, которое только что из пламени пылающего воображения. Оно еще дышит жаром, стреляет колкими искрами, обжигает самого мастера, и тот, благоговей над ним, испепеляющим, непокорным и прекрасным, размашисто, пока еще не остыло, гранит его на звонкой наковальне...

На этом огне он и сторел преждевременно, так и не дочеканив заветных своих страниц».

«Повествуя о жизни простых людей, он всегда стоял на позиции этих людей, и никогда сверху от них или сбоку,— пишет критик Ю. Томашевский.— К. Воробьев не выносил жизни по регламентациям, порожденным темнотою и ханжеством, что остались в наследие нам от ушедшего навсегда прошлого. Борьбу за утверждение умной, созвучной с двадцатым веком жизни он считал первейшим делом литературы... Воскрешая в памяти бывшее — пережитое, затем мучился и страдал, чтобы люди, прочитав его книги, мучились и страдали меньше, чем он».

И это истинная правда!

Окидывая взглядом литературу последних лет, читая, допустим, «Ржевскую прозу» Вячеслава Кондратьева, так смело, зрело и разом вступившего в литературу повестью «Сашка», я вижу в ней прямое влияние не только писателя К. Воробьева, но и гражданина своей страны и нашей стойкой в лучших ее проявлениях литературы, гражданин и писателя, принимавшего на себя не только груз самоотверженной работы, но и удары критики, невнимание читающей публики, материальные лишения, житейские невзгоды — и, принимая все это на себя, он, как бывший командир-фронтовик, конечно же, со всей ответственностью сознавал и понимал, как понимали и его окопные друзья, перешедшие в книги,— вослед идущим бойцам будет легче прокладывать пути вперед, плодотворней трудиться творить.

«И все же... Все же...» Вертятся вот и вертятся в голове не знаю чьи стихи, с детства запавшие в память, ибо не раз возникала надобность их повторять и повторять: «И все цветы живые, не из жести, — придите и отдайте мне теперь! Теперь, теперь, пока еще мы вместе...»

ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ

Об Александре Твардовском

С Александром Трифоновичем Твардовским я встречался с глазу на глаз только один раз и проговорил всего пятнадцать минут.

Было это в конце пятидесятых или начале шестидесятых годов. Я оказался в Москве. В редакции «Нового мира» лежали мои три или четыре рассказа, на публикацию которых я особой надежды не питал, но уже и тем был приободрен, что вот «взяли», и не куда-нибудь, а в «Новый мир», к самому Твардовскому, который, слух шел по России, сам! лично! читал все! рукописи, поступающие в редакцию журнала.

Явился на Пушкинскую площадь, к заветной тяжелой двери рано поутру. Какая-то сердобольная тетенька, вахтерша или уборщица, спросила, к кому я, зачем, и, видимо, не первый я тут такой был и не последний, пригласила посидеть... Журнал «Новый мир», кроме всего прочего, всегда отличался еще и журнальной этикой, привитой, как я теперь понимаю, деловым человеком Симоновым и укрепленной строгим Твардовским, — это я испытал на себе лично, и в качестве безвестного автора, и в качестве уже широко печатающегося.

Приехал Твардовский. Все как-то подтянулись, построжили.

Я потом узнал, что у Твардовского в старом здании не было постоянного кабинета, и он мог оказаться в любой из комнат редакции. На сей раз он оказался в большой, почти пустой комнате, похожей на зал, и, улыбаясь, шел

мне навстречу, но я к месту прирос — смотрю на живого Твардовского и сам себе не верю.

Коротко и сильно пожав мне руку, Александр Трифонович отступил на шаг и внимательно на меня посмотрел. Какой выразительный и пристальный был у него взгляд, и глаза-то вроде белесые, круглые, в ободке круглого же, тенистого зрачка, но так много в них вмещалось! В тот день сверх всего светилось радушие во взгляде поэта, приветливости и желание делать добро, пусть и первому встречному, коим, к моему счастью, оказался я.

— Воевали?

— Да.

— Где и кем?

— Солдатом. На Первом Украинском.

— Солда-атом!

Я сидел напротив Александра Трифоновича на стуле, а он — в старом кресле с деревянной массивной спинкой, крашенном черным или из черного дерева. Пиджак его висел на спинке, был он в чистой-чистой глаженной рубашке в светлую полоску, рукава рубашки были засучены до локтей, обнажив крупные, крестьянские руки с утончившимися уже пальцами и чуть полноватыми предплечьями. Волосы, видимо, утром только мытые, топорщились, были они тонкие, даже на взгляд мягкие, и, привычный на портретах, моложавый, с гладкой строгой прической вбок, был сегодняшней пожилой Твардовский с этим вольным, седым волосом как-то ближе, доступней, родственней.

И хотя вид у него был деловой, чувствовалось его расположение к беседе, к общению, он не смотрел на ворох бумаг и на мои гранки, положенные сверху, не рукосуйничал, не хватался за телефон, он тихо расспрашивал меня про житье-бытье и как-то незаметно повернул разговор на войну.

— Да, это хорошо, что бывшие рядовые начинают писать. У них совсем нетронутый материал. Пишет о войне наш брат, военный журналист, офицеры, генералы, тыловые работники. Вы Быкова читали? Знаете?

— Читал. Но лично не знаком.

— И что вам хочется написать о войне?

— Прежде всего хочется задать вопрос: что это такое было?

У нас в литературе сейчас много людей, видящих и помнящих себя в виде пасхального кулича — сразу он явился свету круглым, пышным, сладким и праздничным.

Но есть восхождение хлебного колоса на кем-то вспаханной, чаще всего отцом и матерью, земле. Именно с хлебным колосом на ниве русской словесности мне кажется уместным сравнить жизнь и деяния Твардовского — от уровня стихов далекой смоленской «районки» к Моргунку, к этому откровению молодого поэта, да и поэзии тех лет, ко всенародному, всем необходимому, как хлеб, Василию Теркину, к лирике военных лет и, последовательно, к мудрой, весомо-спокойной поэме-роману «За далью — даль», а от нее к вершинам своим — поэзии последних лет.

Мы еще сколько-то поговорили о войне, но я не давал себе разойтись, лишь немного поведал о послевоенной жизни, стараясь выбирать самое «смешное», и от этого «смешного» Александр Трифонович поскорбел, опустил глаза в стол.

— Так всегда было после войны,— сказал я то, что прошло-промелькнуло в эти минуты во мне.

— Да мы-то не всегда были,— будто упреждая мои слова, тихо и горько произнес Твардовский.— Мы, создатели нового общества, новой армии. И войны такой не было. Здесь,— ткнул он пальцем в гранки,— есть то, о чем вы мне говорили?

— Немного. Остальное здесь, — постучал я себя кулаком по голове.

— Вот и берегите ее,— мягко улыбнулся он, пододвинул к себе гранки и начал их листать.— Зачем же вы так делаете? — Я напрягся, подался вперед.— Зачем так неряшливо, а то и нарочито сплетаете авторскую речь с повествовательной?

Я чуть было не ляпнул, что в этом «моя особенность», но тут он прочел такой пример из текста, что я обрадовался — слава Богу, не успел ничего сказать.

Потом он наткнулся на описание дерева без вершины, дерева, сломленного давно бурей.

— А у дерева, да еще сломленного бурей, да еще такого сильного, как лиственница, которую вы описываете, много вершин должно быть! — И рассказал, что в Пахре, где он живет, есть поломанная ель и что у нее, у ели, признающей вроде бы всего одну лишь острую верхушку, пошло несколько отростков, и который-то из них станет и вершиной..

Это он говорил со мной о рассказе «Бурелом» и коротко, но в то же время очень убедительно доказал, что

не буря и бурелом в рассказе главное, а столкновение людей под бурей, столкновение светлого с темным. Человека пропащего вроде бы и сволочного потрясет не столько буря, сколько незапутанная, простая и честная жизнь такого же, как он, существа.

Я внял советам Александра Трифоновича и несколько лет спустя, с большим трудом доделал этот рассказ. Называется он теперь «Восьмой побег».

Конечно же, в короткой беседе с Твардовским были моменты, когда меня, человека норовистого, охватывало желание поспорить с Александром Трифоновичем, не согласиться, возражать ему, да я сдерживал себя: поспорить-то я и потом, в уме, еще успею. А вот послушать... К той поре я уже немного понимал, что характер писателю нужен не менее, чем талант, а вот норов ему ни к чему. Учись, внимай, бери, пока дают, не упусти счастливых минут драгоценного и редкого общения, подаренного тебе судьбой... Но и на это нужно умение, нужна внутренняя культура, которая начинается со сдержанности, с умения слушать и выслушивать вещи, иногда и неприятные, и разбираться в них, в себе и про себя, а не разводить словесный базар, да еще в присутствии людей старших, оторвавших время от себя, которого у них уже в обрез и которое читателю дороже, чем твой горячий спор, часто являющийся не чем иным, как молодецким торканьем в открытую дверь.

— Вы поработайте еще над рассказами и приходите к нам да напечатайтесь так, чтобы сразу было заметно и достойно.— Твардовский вопросительно глянул за мою спину — там стояла седая женщина с ворохом сколотых бумаг.— Потом, потом,— приподнял он руки и как бы загородился ими.

Я поскорее стал подниматься со стула, чтобы откланяться. Александр Трифонович улыбнулся мне ободряюще и чуть виновато, «видите, мол, сами». А я твердил: «Спасибо! Спасибо!».

Александр Трифонович вышел из-за стола, подал мне руку и, не выпуская ее, как бы загородив меня плечом и левой рукой от кого-то, повел до двери.

Нет Александра Трифоновича на свете, к сожалению, нет. Но пятнадцать минут, потраченных на меня великим поэтом и гражданином нашего времени, я буду обрабатывать всю жизнь.

ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ И ГРАЖДАНИНА

О Василе Быкове

Настала пора держать отчет, становиться на боевую поверку двадцать четвертому году — великому и горькому; году бойцов, которые докажут потом в труде и на войне, что они помнят не только о своем человеческом значении, но и о той ответственности, какую наложило на них время, их год!..

19 июня 1924 года в тихой лесистой трудовой Белоруссии родился будущий воин и писатель — Василь Быков.

Творчество В. Быкова нет надобности представлять советскому читателю — настолько широко известны его произведения и имя, имя человека, так и не выходявшего с переднего края нашей жизни и прошедшего «сквозь весь огонь», как писали о нем однажды в газете, не только войны, но и писательской надсадной, испепеляющей сердце работы.

Я встречался с Василем Быковым только мимолетно, в толчее писательских съездов и собраний, потом мы изредка писали друг другу. Но странное дело, мне всегда казалось и кажется, что я давно знал и знаю этого человека с простоватым на первый взгляд лицом застенчивого сельского интеллигента, с умно и опять же застенчиво-скромно мерцающими под роговыми очками глазами, внешняя прозелень которых выдает истинного сына Белой Руси,— с рождения увиден и навечно отражен в них цвет спокойно зеленеющей родимой земли, которую белорусы умеют не только любить и оплакивать, но и умирать за

нее, — не к месту, может, а все ж напомним, что в Отечественную войну погиб каждый четвертый белорус.

Ощущение же близости, братства, если не бояться громких слов, с человеком и особенно с писателем есть свойство души доброй и отзывчивой. А раз писательский труд, как давно замечено, не что иное как отражение души, свет ее, то труд истинного писателя, произведения, им созданные, всегда похожи на него самого — оттого-то и происходит узнавание писателя, привычка к нему, если он истинный, талантливый писатель, повторяю, по книгам и мыслям его.

Не раз и не два случалось в Сибири, на Урале, в Вологде ли, когда заходил разговор о писателе В. Быкове, люди как бы понимают его здесь, где-то по соседству живущим, и словно забывают напрочь, что под произведениями Василя Быкова стоит мелко набранное: «Перевод с белорусского»; и это не обезличка национального, не отрицание принадлежности к своему народу — это та самая творческая индивидуальность, та сила таланта, которая стирает всякую условность общения между людьми и делает единым читателя и писателя в любви и доверительности друг к другу, хотя самому писателю, работающему на родном языке, общение с широким многонациональным советским читателем создает дополнительные очень большие сложности и трудности: ведь как бы хорошо ни переводили произведение, утраты, особенно языковые, при этом неизбежны.

Советскую и тем более белорусскую литературу без Василя Быкова представить уже невозможно. Творчество этого писателя явилось как бы болевым отражением потрясающего и героического времени — Отечественной войны. Сам участник войны, пехотинец, проливший кровь, пот и слезы в окопах и госпиталях, Василь Быков честным и ярким талантом своим был приговорен нести тяжкую и славную долю бойца и в литературе.

Не принято вспоминать о горьком и досадном, о том, что помимо работы выматывает силы, доводит до усталости и боли писательское сердце, и о тех, кто портит кровь творцу при жизни и плачет скорою слезою у его раннего гроба. Бог с ними! Они были и будут, к сожалению, да и не искали писатели нашего поколения легкой доли ни в жизни, ни на войне, ни в работе и всегда верили в справедливость, в правду. И она восторжествовала, эта справедливость, и не могла не восторжествовать, ибо, когда

критическая мельница вдруг заработала в обратную по отношению к писателю Быкову сторону, по временно внахлест подувшему ветру, читательская привязанность, любовь и наше фронтовое дружество были с Василем, помогли ему устоять. Ну а если порой охватывало писателя отчаяние и одиночество (а я это знаю из писем ко мне и рассказов друзей Быкова), наверное, перед глазами его предстал образ лейтенанта Ивановского из повести «Дожить до рассвета», создаваемой им именно в эту нелегкую пору жизни: смертельно раненный, почти замерзший лейтенант Ивановский не дает себе умереть, держится уже какой-то запредельной силой за жизнь ради того, чтобы выполнить свой воинский и человеческий долг — убить врага всех честных людей — фашиста. И он выполняет его, этот долг, бросив гранату, он тут же умирает, но и враг повержен. Правда, повержен обозник — тыловой вояка, однако вот о чем думаешь, закрывая последнюю страницу этой потрясающей, на мой взгляд, лучшей повести Василя Быкова: вот если бы все наши граждане и воины в сорок первом году, да и дальше выполняли долг перед Отечеством своим так же, как лейтенант Василя Быкова...

Но это уже другой разговор. Оставим его для встреч и для книг. А сейчас я позволю себе мысленно окинуть взглядом строй тружеников литературы, которым выпала честь родиться в 1924 году и рапортовать в полувековой юбилей, в 1974 году, о пройденном пути: Юрий Бондарев, Николай Старшинов, Юлия Друнина, Григорий Бакланов, Юрий Гончаров, Михаил Горбунов — немалый набирается строй, строй, которым можно гордиться нашему народу и всему вчерашнему воинству.

На правом фланге этого крепкого строя прямой и строгий в жизни и работе полвека стоит и не колеблется боец и художник Василь Быков! Поклон тебе, брат, с седого Урала, где в маленькой, белой черемухой залитой деревушке Быковке — совпадение какое нечаянное и замечательное! — сижу я и работаю и откуда кланяюсь тебе низко за твой ратный и творческий подвиг — знай и помни всегда: живешь и творишь ты — легче жить и работать твоим читателям и друзьям...

НЕОБХОДИМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Есть какая-то естественная и постоянная необходимость присутствия в жизни общества нужного этому обществу человека. Он всегда ко времени и к месту, даже если время зовется безвременьем, он, независимо от него и обстоятельств, ему сопутствующих, творит себя и влияет на окружающих, как бы и не прилагая к этому усилия. Созидательное творчество, как бы ему ни противостояли злые силы разрушения, всегда благотворно, всегда наступательно, иначе давно бы люди на четвереньках вернулись в пещеры, тем более что стремление вернуться туда принимает все более настойчивый и массовый характер.

Вот так ко времени и месту пришелся нашей литературе, обществу и отечественной культуре Сергей Павлович Залыгин, крупный писатель, неутомимый общественный деятель, требовательный товарищ и умный собеседник.

Я не помню, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Залыгиным. Ощущение такое, что знал я Сергея Павловича всегда и присутствие его в моей жизни, влияние на нее, а стало быть и на работу было постоянно, хотя случалось, не виделись мы годами. Он после ухода из «Нового мира» и кончины Твардовского как-то неуютно чувствовал себя в литературе и, по-моему, одиноко среди своих сверстников.

Но талант одиночества не терпит, дарование (слово-то какое чарующе секретное!) даром не дается, оно тревожит, ищет духовного сообщества, выхода творческой энер-

гии и ответной подзарядки. Сергей Павлович «подборнулся» к младшим братьям по перу, а они к нему. Нет среди шестидесяти- и пятидесятилетних литераторов такого заметного таланта, о котором Сергей Павлович не сказал бы доброго слова, не поразмышлял бы вместе с автором талантливой книги о его дальнейшей судьбе и работе, не помог бы советом. Деликатный по природе человек, он не кокетничает с собеседником, не унижает его и себя изысканностью выражений и парфюмерными деликатностями. Хорошо знает он, что работа сочинителя изнурительна и сурова, поэтому, как положено старшему брату в сибирской семье, укажет младшему без обиняков, чтоб не разменивался на пятаки, не тратился на суету, на мелочи, вел бы себя опрятно в литературе, не якшался со всяким околотературным «мусором», не давал себя хлопать по плечу — кособоким сделаешься, но главное не подвергся бы пагубе русских талантов — пьянству. Сергей Павлович может служить хорошим примером бережного отношения к собственной жизни — он никогда не курил, не пил, жил и работал вроде бы незаметно, но независимо.

Вот ныне наши молодые творческие силы — сорока и дальше... летние ропщут на судьбу, мало им внимания и помощи уделяется. А нам больше уделялось? Да ничуть! Если учесть, что вступали мы в умиленную, облысевшую от лакировочной радиации литературу, оглохшую от самоупоевания и восторженных од, славящих идейные лозунги и гениальных вождей, то и понятно делается, какие времена и нравы царили в творческой среде, как растлевали, губили ложным пафосом молодых литераторов, устремленных к поиску и самостоятельности. А приспособленцев и подпевал травили сладкой едой, писательское начальство хлопало им в ладоши, критические хороводы вокруг них водили, медальками обвешивали.

Сколько сил ушло на преодоление косности в себе, давящей плесневелым камнем лживой действительности. Сколько времени ухряпано на хотя бы частичную ликвидацию в себе цензора.

Конечно же, были и тогда великие книги и таланты, но напустив слишком много шелудивого скота на литературный двор, они как-то отодвинулись в сторону, самоустранились от пастушьих обязанностей, предоставив нам полную свободу самостоятельно выплывать из мутного потока тогдашней словесности и выскребаться на скольз-

кий берег лукавой литературы, бодро шагающей вперед. Вот почему каждая публикация сперва в области, затем в столице была автору праздником, а встреча, тем более беседа, с умным, даровитым писателем — событием, наградой на всю жизнь. Являлась потребность непременно оправдать, отработать, отблагодарить добрых людей за доброе к тебе внимание.

Мы жаждали Твардовского, Залыгина, Макарова, и они являлись в нашу творческую жизнь. А вот почитал «круглые» и всякие прочие столы, за которыми беседовали современные молодые, но уже сплошь бородатые таланты и никакой почтительности к старшим там не обнаружил. Нынешние молодые, за малым исключением, сами себе и Твардовские, и Залыгины. Все-то они знают, умеют, все «прошли», утомлены новациями, мятежностью духа и разрешением внутренних противоречий. Кажется, дай им вместо творческого общения побольше изданий, повыше гонорар, дачу от литфонда и машину от Союза писателей, как тут же и прекратится их «творческий поиск», иссякнут мольбы о помощи, в последнее время перешедшие в хоровое нытье.

И у Залыгина, и у нас, ныне шестидесятилетних, ориентиры были иные, вот в чем дело. Мы все, и старшие, и младшие помнили, какие гиганты, какая могучая русская культура стоят за нами. Робели ее и ощущали голодную потребность приобщения к ней, хотя и понимали, что время, пусть и не по нашей вине, во многом уже упущено из-за войны, борьбы с послевоенной нуждой, жизненными передрыгами, психозом мнимых побед на всех фронтах и массовым одичанием на почве «здоровой» патриотической подозрительности друг к другу. Начинать надо было с ликвидации элементарной неграмотности, невежества, закостенелости привычек слушаться, слушать и верить всему, что слышишь, идти, куда прикажут, делать, что повелят. Мы нуждались в здоровом, твердом и честном авторитете, искали его среди действующих вокруг нас старших товарищей и если находили жемчужинку в назюме, то молились на нее, старались на доверие ответить доверием, на привязанность привязанностью, на добро добром, и не подсчитывали, в чем он, старший товарищ, превосходит, допустим, меня, в чем я его.

Был и у Сергея Павловича ориентир — крепкая, полнокровная и бурная молодая литература сибиряков двадцатых-тридцатых годов, сплошь почти погубленная в чер-

ные годы сталинщины. В той сибирской литартели величина первая — Владимир Зазубрин, легендарная личность, автор первого советского романа «Два мира», редактор журнала «Сибирские огни», затем московского журнала «Колхозник». Могучий телом и духом, красавец, богатырь, главами читал он русскую классику по памяти, в особенности Льва Толстого. Зазубрин воистину, как маяк в безбрежном море, притягивал к себе и собою талантливых, дерзких людей, и быстро объединил творческие силы Сибири вокруг журнала «Сибирские огни».

Я иногда думаю, какого облика существо предавало и губило таких богатырей, как Зазубрин? И почти с уверенностью могу обрисовать его: малорослая, редкозубая, недоношенная, умственно отсталая тварь, стремящаяся уподобить себе всех людей, сделать мир на себя похожим, вырубающая леса для того, чтоб сотворить на его месте чашу, дабы иметь подходящее для червя, тли, губителя-короеда сорную среду обитания и в изобилии гниль для жратвы.

Ни ростом, ни видом Сергей Павлович Залыгин против Зазубрина «не взял». Но это только с первого пригляда. Он по-сибирски крепок, хотя и тихоголос. Внутренние его «накопления», чем ближе с ним соприкасаешься и глубже узнаешь, поразительны, редкостная по нынешним временам, истинная, без жеманства, скромность постоянна и память, блистательная память! Никогда я не слышал, чтоб Залыгин говорил о себе и о своих книгах, тем паче возносил бы себя. Наоборот. Потихонечку, полегонечку «подъедет» к тебе, надо так и похвалит, слегка, все, чем ты живешь и дышишь, выведает и, не любопытства для, а по делу — будучи в «Новом мире» главным редактором, обязательно и новую твою рукопись за журналом «застолбит». Спросишь: «Над чем сам-то работаешь?» «Да так, — махнет рукою, — делаю одну штуку...»

Однажды на выездном секретариате в Архангельске, Залыгин делал доклад о литературе и два с лишним часа говорил без бумаг, цитируя целыми страницами Толстого, Достоевского и боготворимого им Чехова. «Ну ты даешь! — восхитился я в перерыве, — ты же вынуждаешь и нас, выступающих, говорить своими словами, а мы отвыкли от этого, не можем и не хотим публично показывать «глупость свою».

«Ты знаешь, привычка, — перевел все в шутовую плоскость Сергей Павлович. — Я когда в Омском сельхозин-

ституте преподавал, часов много, и аудиторий много — не запомнишь всего, чего и где ты говорил, так вот я и хитрил: все равно, думаю, из сорока-пятидесяти человек хоть двое-трое да слушали, и ну с попреками к студентам, не слушали, мол, мою лекцию-то, не запомнили даже, на чем я тогда остановился. А мне в ответ: «Ну как же это не запомнили?!» — ниточку мне дадут, я ухвачусь за нее и пошел дальше шпарить...»

Иногда в литкругах, да и не только в них, говорят: «Нет, Твардовского не заменишь...». Конечно, не заменишь, ни в поэзии, ни в обществе, ни на месте главного редактора «Нового мира». Но достойно продолжить его дело, быть гражданином и патриотом своей страны и отечественной культуры возможно. Сергей Павлович, писатель вполне самостоятельный, не остановившийся на своих вершинах — «Соленой пади» и «На Иртыше», постоянно обновляется, ищет новые формы и свое направление в литературе. В ущерб своему здоровью и творчеству борется «за землю, за волю, за лучшую долю» в ту пору, когда одни уже посчитали это все давно и прочно завоеванным, другие — давно и прочно погибшим, так что и бороться «за идеалы» не стоит времени и сил. Тем более что «за нас» все время крепко думают и здорово решают там, наверху. Залыгин вот предпочитает сам думать и решать, и делал это во все и всякие времена, не дожидаясь указаний и соизволений откуда-либо. И журнал «Новый мир» он ведет на том уровне самостоятельности и журнальной культуры, на котором и надлежит вести это издание, иначе не стоило бы за него браться, читатели не приняли бы нового редактора и не простили бы ему, если б он не был достоин покойного борца-редактора, не продолжил бы его благородной «линии» в работе и поведении, не проявлял бы личного мужества и упрямства, не поддержал бы высокого авторитета «Нового мира».

Когда есть в литературе такой человек, как Сергей Павлович Залыгин, работать и жить легче, а когда тебя связывает с этим человеком многолетнее товарищество и взаимная симпатия, может, и любовь, которую мы — сибирияки — косолапые медведи, часто не умеем и не успеваем высказать, это и совсем хорошо.

Пользуясь случаем, хочу во благо всех нас, ныне в литературе работающих и читающих, пожелать Сергею Павловичу как можно дольше жить вместе с нами, рабо-

тать вместе с нами, помогать быть лучше нам в нашей, снова охваченной брожением умов и ободренной великими прожеками многотерпеливой стране. Да сбудутся на этот раз наши мечты, пожелания и ожидания.

А я далеко от Москвы, «во глубине сибирских руд» буду терпеливо ждать письма или звонка от необходимого мне человека и земляка: «Ну, как живешь-то? Чо поделываешь? Ты давай, парень, давай работай...»

КАК ТОТ ЗАРЕЧНЫЙ ОГОНЕК

Не большая и не маленькая река Сейм, то округляясь на травянистых плесах, то хлопая лопухами и доля гибкие иглы хвощей; катилась в горловинки и даже пошумливала. Вода в ней желтовато-серая с фиолетовыми разводами у берегов и возле ошипанной гусьями осоки. И эта вот осока, шириной в два пальца, кинжально торчащая у берегов и по-ужиному щипящая, только и поражала мое воображение, да еще гуси, которых тут бродили тысячи, если не миллионы. Дерзкие, драчливые птицы, привыкшие трудом, а то и разбоем промышлять себе пищу, точно ведающие, что за каждую из них полагается большой штраф, если шофер раздавит, и потому надменно, как московские пешеходы, ведут они себя на дорогах. Не знаю, что такое курский соловей,— не слышал, но курский гусь — это фигура!

Гуси были уже тяжелы — истекал срок их жизни, или, как выражается один мой знакомый, «наступал конец пределу». Сожженный жарою и задушенный пылью, падал с кустов осенний лист; объятый клубом земного праха, как подбитый танк дымом, двигался по полю трактор с картофелекопалкой, мчались машины на спиртзавод, соря по дороге бурьяками и картошками; вдали виднелся перелесок, над которым висело не утомленное, а прямо-таки уморенное солнце; общипанные, объединенные и загаженные гусьями и утками берега Сейма пустынные и тихие, лишь вяло гонялись над водою за мошками ласточки-берего-

вушки да где-то за поворотом реки председательским голосом орал на всю округу петух.

Избалованного броской, поражающей глаз и воображение красотой Сибири, меня угнетала эта изработанная, заезженная, искорчеванная земля, на которой и присесть-то негде, попить водицы невозможно, потому что по реке гнало тучи белого пера, а в воздухе неотступно висел запах гусяного помета. Все больше и больше дивился я тому, что идущий со мной рядом друг мой говорит об этой земле растроганно, и не говорит, а прямо-таки поет немножко носовым, неторопливым голосом, и так поет, ровно уж и нет краше земель на свете, чем курская. Большое и доброе лицо его как посетила блаженная улыбка, когда мы вышли из поезда, да так и не сходит.

Мы часто повторяем по делу и без дела: «Любить землю», «Любить Родину», — а может быть, чувствовать, ощущать, как самого себя, а? Если любовь можно привить, укоренить и даже навязать, то чувства и ощущения передаются лишь по родству, с молоком матери, редкой лаской отца, когда опустит он тяжелую ладонь на детскую голову, и притихнешь под ней, как птенец под крылом, и займется сердчишко в частом, растроганном бое, и прежде всего в матери, в отце ощутишь Родину свою. А уж какая она, эта Родина, — все зависит от того, какие чувства перенял ты от родителей. В голой пустыне живут люди, и в тундре живут люди и любят ее так же, как люблю я свою диковатую и прекрасную Сибирь, как любит работающую, пожалуй что уж, усталую от трудов и набегов пристепную Русь мой друг, негромко, но так проникновенно поющих о ней вот уж почти двадцать лет.

Поднимаясь по Сейму, дошли мы до крутых холмов. Берега здесь сделались чище, приветливей, в заводях поблескивали уже чернотой берущиеся листья кувшинок и лилий — одолень-травой назвал я их, и лицо моего друга помягчело еще больше — звучные русские слова для него самая сладкая музыка. Мы нашли тенистое местечко у реки, сели под кустами возле деревянных мостиков, оплесневелых от воды.

Солнце уже скатилось за холмы, перестал пылить трактор в полях, последними рейсами прошли машины, медленным белым войском наступали на прибрежные села цепи гусей, над головами нашими бумажно хрустели и падали в воду листья.

Мой друг сидел возле реки, голый до пояса, черпал

воду большой, как лопата, ладонью и пришивал ее, откусывая от горбушки ржаного хлеба. С язвой желудка не надо бы, пожалуй, грубый-то хлеб да с сырой водою, но раз в охотку, значит, и впрок. То сближаясь остро, то расходясь, двигалась раздвоенная осколком лопатка. Ниже, наискось по спине, идет еще один шрам, рука тоже побита — ровно кто-то выхватил из этого могучего тела жадными зубами куски мяса, и у живого тела едва хватило сил и материи затянуть эти жуткие, провально темнеющие шрамы с желтой безволосой кожицей.

Мой друг — человек не то чтобы неразговорчивый, а скорее застенчивый, сдержанный по природе, — может иной раз много, хорошо, даже потешно говорить. Редко, правда, по настроению. И от выпивки ли, от благости ли наступающего вечера он говорил и говорил чуть носовым голосом, и кажется, совершенно не замечал, что буханка хлеба, которую он потреблял с родной тепловато-мутной водицей, идет к концу и вообще о ночлеге пора бы подумать — осень все же, прохладой вон из кустов на спину понесло. Но я не останавливал его — уж очень редко ныне доводится нашему брату так вот побыть вдвоем, вдали от суеты и шума, да и поговорить ни о чем и обо всем сразу, без раздражения, тихо-мирно, не следя напряженно за строем речи и не умничая.

Мой друг говорил о том, как однажды подстрелили они с сыном здесь, на Сейме, одиноко плавающую гагарку. Взяли и подстрелили, потому что ружье было с собой. Гагарка жила с перебитым крылом дома, ее подлечили и выпустили, да все равно, наверное, погибла северная птица, каким-то ветром занесенная на курскую реку Сейм; говорил, как бы извиняясь передо мною, мол, рыбалка на Сейме сделалась никудышной — вполне может быть, что мы ничего не поймаем; вспомнил о Вологодчине, где жил он однажды летом в гостях у друга в деревне Тимонихе. Вот где рыбалка — знай таскай! Не сказал он мне, да и не любит о том говорить, что привез с Вологодчины добрые ясные воспоминания, из которых родился затем один из лучших его рассказов «За долами, за лесами...».

Вечеру, когда уже забусила сероватая осенняя темь из-за холмов, доевши булку хлеба и ублаженно дымя цигаркой, он начал вспоминать о войне. Доподлинный окопник, рядовой боец, он не любил говорить о ней, как не любят говорить о своем деле настоящие охотники или мастера какого-либо ремесла. Раны бойца больше и силь-

нее скажут о войне. Нельзя все трепать святые слова. А может, не говорит еще и потому, что многовато развелось у нас тех, кто болтовней о войне зарабатывает себе положение и лепит карьеру. Как бы они, эти, много о войне говорящие, ни избегали неправды, все равно врут, чего-то присочиняют. А врать о войне, как, впрочем, и плохо писать о страданиях народа, — стыдно. Вот потому-то, наверное, опасается впасть в сочинительство мой друг. Мастер и труженик прозы, он знает, что память погибших друзей можно оскорбить неловким словом, корявыми мыслями. И готовится, как мне кажется, напряженно внутренне готовится писать достойно и с достоинством о самом великом, что было в нашей жизни, — об Отечественной войне. Мне понятны его осторожность, трепет и уважение к памяти погибших — он воевал в расчете пятидесятидвухмиллиметровой противотанковой пушки, самой опасной на прошлой войне (пушки на войне, как и должности, тоже бывают разные!). Артдивизион отбивался однажды от наседавших фашистских танков, выкатив орудия на полотно железной дороги.

И если бы не это полотно!..

Автоматчики в потемках подобрались к пушкам, начали косить расчеты, танки сделали бросок, в упор, одно за другим сбивая орудия с полотна. Сколько-то человек скатились по насыпи, и полотно закрыло их от танковых гусениц и пулеметов. Кто-то отстреливался, кто-то полз, волоча за собой кишки, кто-то кричал: «Не бросайте, братцы!» — и хватался за ноги; кого-то тащил мой друг, потом кто-то волоком пер по земле его, и, когда останавливался передохнуть, друг мой явственно слышал, как журкотит где-то близко ключик, и ему нестерпимо хотелось пить, и не понимал он, что этот невинный, поэтически звучащий ключик течет из него по затвердевшей тележной колее, лунками кружась в конской ископыти...

Будет госпиталь, и не один, будет много дней и ночей одинаковых, как комариная нудь, будут страдания, будет День Победы, который он встретит на казенной койке, и дадут ранбольным по стакану вина в честь этого долгожданного праздника, и останется он незабываемым, этот праздник, и однажды друг мой расскажет о нем, и будут плакать люди, пережившие войну, читая рассказ «Красное вино победы».

Наше поколение не избаловано радостями жизни. В тяжкие послевоенные годы почти нетрудоспособный мо-

лоденький бывший солдат вдруг получит посылку из своей артиллерийской части — костюм, ботинки да кое-какие вещички, так необходимые и драгоценные в ту пору. Видно, хороший был солдат, коли помнил о нем командир полка и не просто письмо одобряющее прислал, а нарядил парня, будто ведал, что ему и поухаживать за девчонками не в чем.

Был еще праздник — взяли в газету работать, сначала цинкографом, затем художником-оформителем, а после уж и на должность литработника перевели.

Рожденье детей, первая книжка, встречи с немногочисленными друзьями, вылазки на природу.

А ведь не так уж и мало!..

Мерцает в темноте Сейм и колышет отражение редких огоньков села, рассыпавшегося по холму, закручивая их пружинками, размазывая по плесу, а то бросая остренько и лучисто в нашу сторону. Не слышно птиц, не плещет рыба, лишь мягко шелестят отволгшие в вечерней сырости листья над головой.

Замолк мой друг, выговорился, облегчил душу, слушает свою по-осеннему притихшую землю. Какие воспоминания тревожат его? Какие звуки рождаются в его душе? Какая песнь там начинается? Разве узнаешь! Есть тайна таланта, никем еще не угаданная, не поддающаяся объяснению, а тем более понуканию.

Когда молчит художник — не мешайте ему. Может быть, он думает в эту минуту о себе, может, обо всех нас, может быть, сострадает живым и горюет о мертвых. Всякое таинство, тем более таинство Творца достойно уважения хотя бы потому, что пока оно нам неподвластно и недоступно, а значит, глубже и сложнее нашего незрелого, но чрезмерно самоуверенного времени...

Я говорю это прежде всего для тех, кому все ясно на этом беспокойном свете и кто с легкостью необыкновенной, а порой и с напором, достойным лучшего применения, подает нам советы, бросает боевые призывы, как писать и о чем писать...

Утром шумел ветер и гнал над рекою листья, кружил перо и мусор по дороге, потом пошел дождь — и курская земля сделалась разом схожа со всеми землями, какие доводилось мне видеть в непогоду. Помните у мудреца Толстого? «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья — несчастлива по-своему». А

с землями — наоборот: в мирные солнечные дни все они разные, в ненастье и в войну — одинаковые.

Мы торопливо шлепали по лесу, такому густому, что под ним не росла трава. Вышли к какому-то пруду и, дурчась, мокрые, поплавали под дождем на затопленной лодке. Бросали спиннинг — ничего не попало. Потом заблудились на территории какого-то пионерского лагеря, уже пустого и безголосого. Сторож, бдительно следивший за нами, охотно рассказал, как короче пройти к станции, и даже ржавый замок на калитке услужливо открыл, чтобы мы поскорее убрались.

За сосновым бором на низкотравной полянке полосами стелилось белое перо — начался ежегодный, никем пока не объясненный падеж молодых гусей. Видно, не сулил Бог дожить им до праздника. На этой поляне друг мой наклонился и сорвал какую-то былку с махонькими спекшимися цветками и поднес к моему тутому носу:

— Чуешь, как пахнет?!

Я понюхал. Полузасохшая былка, на конце окропленная цветочками величиной с самую малую букашку, источала все дивные запахи этой засыпающей на зиму соловьиной земли, и главный из них, не растроченный в засушливое лето, запах молодой, еще влажной, силу набравшей весны.

— Чебрец! — сказал мой друг. — Как в Сибири зовут?

— Богородская травка.

— Богородская травка... богородская травка... — повторял мой друг, шагая вдоль какой-то полусгнившей жердяной ограды, отделяющей дорогу от старого яблоняного сада.

Так вот и вижу я моего друга — с маленьким цветком на большой ладони, с цветком, что до самых снегов и даже в сене пахнет молодо и свежо, — ни сушь, ни пыль, ни скот, ни птицы, ни люди, топчущие его, не могут остановить в нем силу вечной весны.

И песнь друга, как цветок чабреца, некорыстна с виду, но чист и высок ее тон, тот самый древний златоголосый тон, что звучал когда-то в сказаниях баянов, воспевающих славу молодой Руси, как звучит он в книгах певцов, рожденных порубежной и центральной Россией: Бунина и Тургенева, Лескова и Андреева, Есенина и Полонского, Кольцова и Никитина — да разве перечтешь их, российские таланты!

Евгений Иванович Носов достойно продолжает дело

своих знаменитых земляков, так же бережно, как они, пестует родное слово, высвечивает его и отдает нам отграненным, в строгой оправе. Тем, кто любит литературные буги-вуги или захватывающие рассказы о всезнающих и всемогущих разведчиках, о в поту бьющихся с консерваторами новаторах, советую не читать книги моего друга, они не для трамвайного чтения.

А познакомился я с Евгением Носовым в Москве, на Высших литературных курсах. Мы были соседями — жили через стенку. Комната моя не отличалась покоем иль безлюдностью. Всегда в ней стоял дым коромыслом, грохотал мужицкий хохот, а то и пение раздавалось. Сосед мне угодил терпеливый, он и сам любил наведаться на «огонь», вставит, бывало, ногу в притвор, слушает, улыбается себе под нос иль одними глазами и никак не проходит в комнату. «Я хоть дым лишней в коридор выпущу, кроме того, у меня компот на кухне варится, боюсь, всплывет...» И слушал дальше. Но вдруг поднимал левую руку и, сжав ее в кулачище, бросался в разговор, как в драку. Чаще всего это случалось тогда, когда треп наш литературный переметывался на самоё жизнь, и «выступающий» в чем-то был неточен, особенно если дело касалось природы...

Поразительную память, зрительную, слуховую и просто человеческую, с которой начинается уважение к родителям и прошлому Родины своей, обнаруживал тогда Носов. А были перед ним не мальчики, не околелитературная накипь, а чаще всего люди зрелого возраста, и не обделены памятью и талантом, если не писать, то хотя бы помнить и рассказывать о виденном и пережитом.

Он знал, когда цветет рожь и доцветает донник, где гнездится соловей и с какого возраста начинает петь, на какую приманку берет курская плотва и какая букашка поражает буряк в полях.

Многое из того, что знал он, знали, конечно, и мы, но как-то разбросанно, лоскутно. Мы тоже, например, могли назвать срок цветения ржи, но не все, далеко не все могли сказать и найти точное цветовое определение ржи в утренний час, в полуденный зной или в пору заката.

Сосредоточенно, пристально, собранно познает природу Носов и к познанию жизни идет от нее, от природы. Путь, конечно, не новый, но всегда удивительный и неповторимый, ибо ничто в природе — ни поле ржи, что попало мне на язык, ни отдельная былинка в лугах —

неповторимо, она лишь продолжает саму себя, и ничто, и никого больше.

Когда человек, да еще пишущий, усваивает это, жизнь его обретает более глубокий смысл, а работа в литературе становится до невероятности трудной. Так вот Евгений Иванович и сковал «свое счастье» на этом пути. Нет среди знакомых мне писателей никого другого, кто бы работал так медленно и надсадно. Мне доводилось видеть рукопись его рассказа в авторский лист размером. Этот рассказ, как яичный желток, был вылуплен из рукописи страниц в полтораста, и каждая из этих страниц отделана так, что хоть сейчас в типографию сдавай.

Всяк работает по-своему, тут и темперамент, и характер не последнюю роль играют, но перед такой маетной работой я склоняю голову, тем более что, когда читаешь рассказы Носова, особенно последние, наиболее значительные по содержанию и объему, такие как «И уплывают пароходы...», «Шопен, соната номер два», «Красное вино победы», повесть «Не имей десять рублей...», никакой маеты не заметно, и кажутся они написанными по вдохновению, единым махом и напором.

...Хорошее время! Счастливые дни! На курсах мы как бы спешили прожить, договорить, допраздновать то, что отпущено нам было сделать в молодости и чему помешала война.

Курсы мы закончили уж более десяти лет назад, и судьба распорядилась, кому кого помнить, с кем дружить, а кого тут же стерла из памяти без следа. Мы остались с Женей Носовым друзьями, и нам радостно и хорошо помнить, что где-то сейчас вот живет, дышит, а может, и пишет что-нибудь друг любезный.

Летом семьдесят четвертого года мы ездили с Евгением Ивановичем на Байкал. Мы там работали, вели семинар молодых писателей, и побыть нам на природе выпало всего несколько дней. А на берегах Байкала была дивная пора, пора цветения и таяния вершинных снегов. И Женя, увидев буйство природы, как-то весь размяк сразу, говорил мало, ходил медленно, глаза его то засияют радостно, то подернутся дымкой грусти — видно, в детстве, в воображении ли его, а может, и в мечте была такая же безоглядная, цветущая, голубая от незабудок и пламенная от жарков земля...

Потом я повез его на свою родину — Енисей, где Женя тоже не уставал смотреть и радоваться: «Осталось еще!

Осталось много красоты! Ах, как беречь всё это надо! Беречь!..»

Не скрою, я радовался его радости — ведь нет большей награды, коли показываешь дорогое тебе сокровище человеку и чувствуешь душу отзывчивую, понимающую, а уж отзываться добром на добро, сердечностью на сердечность, уметь слушать и утешать — этого не занимать Носову — человеку и писателю.

Я пишу все это в далекой северной вологодской деревушке, в сырой зимний вечер. За окном подвывает ветер, порывами налетает, лепится сырой снег, за которым бело мерцают поля и дымится темными полыннями, как бы мучаясь от наготы, река Кубена. На холме, за рекой, меж перелесками, угольком теплится огонек — там, в заброшенном селе, живет человек, что-то делает, о чем-то думает. И мне уж не так одиноко в этот непогожий вечер, в сиротскую эту зиму, потому что теплинка эта напоминает мне о друге, который живет за тыщи верст от меня, но душа его, как тот заречный огонек, мерцает мне живым светом, а доброе, глубокое слово его вот уже почти двадцать лет согревает душу читателю.

В моей памяти Женя, отныне уже Евгений Иванович, не меняется, все такой же он, грузный фигурой, сдержанный в общении. Облик его и сердце доброе вроде бы неподвластны времени, только чуть сунулись к переносью крутые надбровные дуги, грустней, пронизательней и усталей сделался взгляд, да реже и реже бросается он в разговор, как в драку. В душе его происходит серьезная, сосредоточенная работа, трудно вызревают и еще труднее будут поддаваться перу новые книги. Он еще, чувствую я, напишет немало, ибо много умеет видеть вокруг себя, запомнить и мучительно пережить в себе, да и кость его, рука еще крепки, — словно бы о нем или о таких, как Евгений Иванович Носов, сказал один поэт: «Мужичья кость, простые люди, чьим потом залиты поля, на ком держалась да и будет держаться русская земля».

ЧИСТАЯ ДУША

О Викторе Лихоносове

Два человека, два Виктора, которых свела и сдружила литература, не побоявшись дать крюка, заехали в Вологду. И вот я хожу с ними, показываю город. Ребята глазастые, умные, сами многое понимают и видят — таким показывать родную историю легко и дивно, будто и сам все видишь вновь, открываешь неожиданное.

Два человека, два Виктора, умеют найти во всем свой смысл и значение, не призывают походя «любить родину и народ», потому что любят и то и другое по-русски сдержанно и верно. Не сплетничают два хороших писателя, два Виктора, не поносят «ихних» и не славят «наших». Хорошо. Радостно. Ребята крепкие. На таких можно положиться, на таких надо надеяться и многое от них ждать.

Один Виктор родом из Сибири, второй приуралец. Он рыжей масти, а характером совсем не огневой, даже напротив — застенчив, как девица, и по этой причине закаленный молчун. Но молчит он как-то по-особенному — «активно молчит». Лицо его и глаза прямо-таки само внимание, сама доброта и нежность. Где-то под всем этим брезжит сильный характер, немалая физическая сила, духовная чистота и крепость.

Первый Виктор, который сибиряк, — себе на уме. Но это «себе на уме» мне очень понятно, близко и немножко смешно, потому что и сам я сибиряк, и всю «чалдонскую умственность», литературно именующуюся утонченностью, вижу и знаю «наскрозь», как принято выражаться на моей родине.

Викторы, Лихоносов и Потанин, ходят со мной по Вологде, и один все напевает какую-то старинную песенку со странными словами: «Я люблю все живо...», а то возьмется подтрунивать над дружкой, и так и этак его тормозит, но ни одной пушинки выбить из него не может. Потанин посмеивается тихо, как-то даже снисходительно и нет-нет да подсадит поднаторевшего по части острот в «высшем свете» дружка, да так уместно, так славно, что тот даже крякнет от удовольствия.

Погода была — хуже не придумать: хлюпал дождь вперемежку со снегом, гололедно было, и Лихоносов шутил все реже, бодрился через силу. Здоровьишко его к такой погоде слишком чутко. Шапка с распущенными ушами совсем взмокла на нем и вроде бы сгорбила его тяжестью своей.

Чтобы сократить дорогу домой, я повел двух Викторов через базар, двери которого здесь простодушно и гостеприимно открыты день и ночь, а с одной стороны их вовсе нету. Шлепали мы по базарным лужам, и вдруг Лихоносов встал как вкопанный, и глаза его, хорошие глаза, как-то сумевшие соединить в себе детскую удивленность и взрослую печаль, возбужденно засияли.

— Ой, что это? — спросил он, показывая на голубые тележки, с которых торгуют в Вологде горячими шаньгами, именуя их по-здешнему — лепешками.

Я выгреб из кармана мелочь, и через минуту мои гости и я вместе с ними уплетали за обе щеки наливные шаньги.

— А с картошкой есть? — спросил Лихоносов. Я купил шанег с картошкой и с творогом, и оба Вити так их здорово ели, что тетка, торговавшая такой продукцией, по-хозяйски умильно воскликнула:

«Эко-ко, мужики-то ровно три дня не едали!..»

— Да я уж не помню, когда и ел русские-то шаньги, — отозвался Лихоносов и покачал головой. — От Геленджика до Новосибирска, да и дальше, одни и те же пончики, одни и те же вафли, озеленелая колбаса, недоваренные куры. Нигде ничего не продают местное национальное. Ширпотребные сувениры продают, а съедобного нет!..

Он говорил еще что-то глуховатым, негромким голосом, а я смотрел, как он аппетитно и чисто ест, и чувствовал — был сейчас Витя Лихоносов далеко от Вологды, дома был, у мамы, в сибирской избе на улице Озерной..

И на меня вдруг накатило: середина зимы сорок вто-

рого года. Мы, солдатики Новосибирского пехотного полка, уже обмундированные, подготовленные в маршевые роты, ждем отправки на фронт. Но где-то и что-то «не сработало» еще в военной машине, и нас бросили пока в Искитимский район «на хлеб».

Уроженец Саянской тайги и гор, я впервые видел совершенно новую Сибирь, ровную, степную, с реденькой щеточкой березняков вдаль. Над снегами, над шипящей летучей поземкой шумели бесконечно, желто и трагично неубранные хлеба. «Где же наш пахарь? Чего еще ждет?..» Пахари на войне, хлеб осыпался, и только серая ость да желтая мякина тучей кружились и пылили над белыми полями.

Осенью часть хлебов была скошена, но копны остались под снегом. Мы разгребали их, на своедельных волокушах тащили к комбайну. Там наши же солдатики, вчерашние крестьяне, молотили полуобсыпавшиеся колосья.

Горел костер из хвороста, тонких березок и соломы. Огромный солдат Коля Рындин, родом из Каратузского района Красноярского края, загнув противень из железа, жарил на нем пшеницу и, горячую, хрустящую, горстями засыпал в широкоуший рот, где зубы росли как у щуки — рядами и вразбивку. Хруст разносился такой, будто рабочая лошадь в стойле крушила жесткий корм. Дома Коля за один присест съедал ковригу хлеба, две кринки молока и чугунок картошки. Он раньше всех отощал на харчах запасников и последние два месяца из вечера в вечер рассказывал, как он, будучи в гостях у тетки, не доел, дурак такой, сковороду картошки, жаренной с мясом. Его уж бить пробовали, чтоб не дразнился, но Коля не унимался, и день ото дня рассказ его становился все пробористей, аж в животах у солдат ныло от этого повествования.

Отъевшись в зерносовхозе харчами и пшеницей, Коля тут же начал выполнять работу за половину взвода и посмеивался над бойкими на язык, но неуклюжими, суетливыми в крестьянском деле, мелкосортными горожанами, которые впятером ковыряли копешку, как сытый Коля когда-то ковырял у тетки жареную картошку на сковороде. Коля как подденет на вилы копну, как шуранет ее на плечо и без всяких волокуш к комбайну прет, да еще и кричит что-то раздольное, дурашливое...

Колю Рындина свалило под Сталинградом в первом же бою. Какого истового, какого могучего крестьянина потеряла наша земля!

Глядя, с каким наслаждением гости мои ели домодельные шаньги, я невольно вдруг вспомнил о Коле Рындине и рассказал двум Витям о том, как тяжело было богатырю русскому жить впроголодь и как оглушительно хрумстел он подгорелой пшеницей. И как все мы хотели, чтобы никто больше не знал голода, унижающего человека, выматывающего силы его.

Не развеселились Викторы от моего рассказа, а ссутулились еще больше — один от усталости, другой — по вековой привычке русских скромников выглядеть как можно «незаметнее».

За плечами их, невольно сутулящимися, уже не одна, не две книги, которые дали критике оправданную возможность толковать, что боль за человека, готовность и способность стать на его защиту, внутреннее соучастие и сострадание, а также «вкрадчивое очарование, женственная мягкость», доброта и безмерная любовь к малой родине, без которой нет и не может быть любви к большой, характерные, объединяющие их работу черты.

Но только ли для них они характерны?

Не та ли это пуповина, через которую питалось и питается вдохновение всякого истинно русского, истинно искреннего таланта?

Тогда, в Вологде, не было у меня таких мыслей. Просто «стронулось» мое ретивое, воспоминания заворочались, и все я пытался сделать непостижимое — вообразить этих парней в ту грозную и тяжелую военную пору.

И выходили у меня маленькие, беззащитные ребятишки, чего-то постоянно ожидающие. Хлеба, конечно. Чего же еще ждали тогда дети! Хлеба, человеческой теплоты и победы, а там уж папка вернется, много хлеба привезет, а может быть, и сахару...

Вижу рыженького деревенского парнишку. Сверкая запяточниками пимов, тащит он беремья дров, ухаает поленья с громом у печки, подметает пол, заправляет лампу керосином, чтобы, когда мама-учительница придет из школы, усталая и промерзшая до изнеможения, сказала бы ему: «Помощник ты мой...»

Второй Витя видится кучерявеньким, круглоглазым, в чистой рубашке, в штанишках с ляпочками и карманчиком. Он прижался лицом к окошку, расплющив нос о стекло, смотрит на кривощеконскую улицу Озерную, ожидая с работы маму с папкой, и напевает: «Я люблю все живо...»

Конечно же, не знал он тогда этой песни, и вообще

ему не до песен было, есть ему хотелось, как и всем малышам военной поры, но почему-то так вот и видится: Кривошеково в густом морозном пару, за рекой — мерцающие настороженно и слепо огни Новосибирска, звездно ступенные там, где огромный завод «Сибсельмаш», на котором доведется Лихоносову начать свой трудовой путь.

По кривошековской малолюдной улице, скрипя мерзлыми ботинками, бежит домой женщина, прижав к груди сверточек с хлебом. Это о ней впоследствии напишет ее единственный сын, родная кровинка: «Мать у меня не строгая, но я слушался ее во всем, невольно старался, чтобы молодое горе ее заплыло хотя бы маленькой гордостью за единственного сына. Я благодарен ей за внушенное мне широкое отношение к жизни и людям, и писательское восприятие у меня от нее».

Как мне хотелось бы, чтобы все читающие Лихоносова и особенно пишущие о нем повнимательней прочли эту фразу: «И писательское восприятие у меня от нее». Это избавило бы многих критиков от ненужных домыслов, натужных догадок и тривиальных рассуждений. Сказано — как вырублено. И кабы эти слова были относимы лишь к Лихоносову! А не у всех ли нас восприятие «от нее», от матери?

«Каки сами, таки сани», — любят говорить в Сибири, а по другому случаю еще шутят: «Свинья не родит бобра, а все того же поросенка».

Грубовато, конечно, по-сибирски топорно, коробит слух. Ну, чтобы смягчить нашу чадонскую корявость, напомним изящных французов: «Ищите женщину!»

И найдете, уверяю вас. И это объяснит многое, почти все объяснит.

Отец, Иван Лихоносов, погиб на войне. Одна из многих русских женщин подняла одного из многих осиротевших парней, и не просто подняла, а, будучи жительницей рабочей окраины, так точно и с такой печальной любовью, описанной в повести «На долгую память», сумела каким-то образом выучить свое чадо и наделить совершенно естественной интеллигентностью, сохранив при этом в парне сибирское упрямство, настойчивость и творческий напор в труде нашем, названном одним моим другом шахтерским, — качества, совершенно необходимые и бесценные.

Из ранних вещей Лихоносова я больше всего люблю «Тоску-кручину», угадывая в главном герое некоторые

черты характера самого автора, я вижу, как нелегко, порой до крика больно давалась ему, «маменькиному сынку», самостоятельность, эта самая настойчивость и стремление на все смотреть чистыми глазами, а коли глаза — зеркало души, значит, и душу сохранить чистой, незапятнанной. Мне кажется, эта повесть — большая личная победа автора над собой и обстоятельствами, которые, конечно же, были и будут в жизни нисколько не похожи на те красочные картинки, каковые изображаются в школьных учебниках.

«Живая мысль — не повторение жизни, не слепок из истины, но новая жизнь, новое содержание, несущее в себе «учительную» силу. Она пускает корни в нашем сознании, продолжая жить и развиваться. Умудренные ею, мы и сами становимся зорче, по-иному смотрим на то, что казалось привычным и примелькавшимся». Эту точную и емкую мысль, высказанную критиком О. Михайловым, рассуждавшим о творчестве Лихоносова, можно отнести к работе всех молодых писателей, которые, прежде чем осмелиться говорить всеохватно, что чаще всего выливается во всеядность, хотели бы сначала познать самих себя, отделить в себе, а затем и в жизни истинное от мнимого, а это ведь было «вечным двигателем» поэтической души, следовательно, и поэзии.

Но как часто попытка «себяпознания» признается и выдается у нас за «самокопание», якобы вредное нашей литературе и чуть ли не постыдное для советского литератора. Зато набеглое копание в кибернетике, в комбайне либо в мартеновской печи, которая почти как взаправдашняя полыхает на сцене одного старинного театра, вызывает чуть ли не восторг и умиление. Писателям, осваивающим «производственную тему», даже тем шамкающим беззубым произведениям, по которым легко определить, что авторы их видели лишь трубы производства из окна собственной квартиры, а комбайн в телевизоре, — писателям таковым за «новаторство» — одни пышки, а «самокопателям» — шишки.

Не раз уже и не два следовали критические окрики в адрес Лихоносова, и было опасение, как бы он не полез в спасительную подворотню, не погрузился бы в уютную и теплую книжность, которая утишила не один талант, опеленав его дымкой этакой сладкой творческой полудремы. По правде говоря, это опасение есть и во мне, и Лихоносов как бы подживил его своей последней повестью «Чис-

тые глаза». Уж очень разительно отличается она от «тихих», но глубочайших и внутренне напряженных «Люблю тебя светло» и «Осени в Тамани», отличается как раз бойкостью рассуждений, поверхностностью мыслей. Как ни странно, эта, тоже в какой-то мере биографическая вещь очень книжна. Пожалуй, у Лихоносова она самая книжная, и не от настроения, не от жизни, а от вроде бы уж забытой «исповедалки» ее исток.

В мою задачу не входит производить анализ повестей и рассказов Лихоносова. Признаться, я и не умею этого делать. Более того, считаю, что книги надо просто читать. А то у нас сплошь и рядом, особенно в школах и на читательских конференциях, горазды бывают «анализировать и разбирать» книги и героев, а вот научить читать не умеют, даже, наоборот, случается нередко отучивают прочно и надолго от чтения.

Путь Лихоносова-читателя — от «Тихого Дона» к Пришвину, Есенину, Бунину, Толстому Льву, а затем и к древним летописям — мне кажется вполне соответствующим его мировосприятию и характеру, его душе, сумевшей не только почувствовать, но и в работе «задеть» — выражение все того же критика О. Михайлова — «болевые точки современности».

Непрост и нелегок творческий путь Лихоносова от простых, как беседа во время зимних сумерек в тепло натопленной избе, пахнувшей тестом, березовыми дровами и сухой известью, «Брянских» к молитве о русской земле, о ее слове и грустноликих светлых певцах, которым как бы на роду написано задохнуться от восторженной любви к родине своей и неизбывной печали за нее, — к «Люблю тебя светло», где Лихоносов каким-то чудом сумел воедино слить слово и музыку, грусть и восторг, гордость и скорбь, жгучую современность и не менее жгучий исторический материал! Мне эта вещь, которой я так и не рискну подыскать жанровое определение, напоминает самую, быть может, пронзительную, самую национальную симфонию, написанную композитором, уже смертельно больным и потому озаренно чувствовавшим каждую уходящую минуту жизни, — Первую симфонию Калининкова. Думаю, что любовь к музыке и песне, прилипающая к душе сибиряка с малолетства и как бы всечасно звучащая в нем, помогла создать Лихоносову эту «звучную» вещь, и не только эту.

Следом за «Люблю тебя светло» появилась «Осень в

Тамани». Это вроде «то же», что «Люблю тебя светло», да не «так же». И мелодия и строй новой вещи иные, но мысль, скрепляющая как бы «парящий над землею», свободный от литературных условностей сюжет, все та же мысль о непрерывности жизни, о скоротечном и в то же время беспредельном ее движении и глубине, доступная, может быть, лишь высшим и тончайшим созданиям природы — ее певцам. Среди них самому пространственному, самому «космическому» поэту Михаилу Лермонтову дано было заглянуть в такие неизмеримые бездны мироздания и человеческой души, что он содрогнулся дару, ему открывшемуся, измучен был им и погублен, как гибнет иной раз соловей от собственной песни, как вянет цветок, преодолевший силу корня, надсаженный собственной тяжестью и красотой.

Я толкую эти, на мой взгляд, пока лучшие достижения Лихоносова (и только ли его? Может быть, придет еще пора, когда их признают все же высоким достижением всей нашей литературы?) произвольно, на свой читательский субъективный взгляд. Бесспорно, однако, для меня одно — вещи эти дают такой простор мыслям и чувствам, в них так сильно спрессованы «звуки» и материал и столько много видится «за словом», что с первого раза, с налета их — открывающие или предвещающие какой-то новый жанр в нашей богатейшей русской литературе — не прочтешь и не «раскусишь». Их надо перечитывать, и, уверяю вас, с каждым прочтением вам станут открываться новые и новые «геологические» пласты в этих вещах, исторгнутых звуком и сердцем. Не скрою, я всегда с нетерпением жду новое произведение Виктора Лихоносова и знаю, что будет оно не только по теме новое, но и неожиданное по решению ее. Лихоносов работает медленно, строго и взыскательно, стараясь не повторять даже свое, ранее написанное. Эпигонство, вторичность, заданность, процветающие в нашей литературе, подобно репью на пустыре, не влекут, к счастью, и не расхолаживают Лихоносова, даже, наоборот, прибавляют ему требовательности к себе, подвигают его на еще более глубокий поиск и работу.

«Пока мы обращаемся между собой,— пишет Лихоносов,— мечтаем и выслушиваем комплименты в узком кругу,— уютно, приятно, хорошо. Но оглянешься на полки с великими книгами — и страшно, и ничтожно думать о себе, якобы продолжателе чудных традиций. Страшно еще

и потому, что люди, ум и глубину которых мы не всегда оцениваем, очень ждут от писателя и порою совсем не склонны принимать за правду те «великие», на наш взгляд, истины, которыми мы гордимся в уединенном восторге».

Ну что еще к этому можно добавить?!

Я очень рад, что живу в одно время с таким «идушим вослед» писателем, как Виктор Лихоносков, редким встречам с ним рад и тому, что имею возможность сказать о нем эти от сердца идущие слова. Знаю, доброе слово зерном упадет в не бесплодную почву, а в добрую же и чистую душу и прорастет там новыми всходами. Горжусь тем, что родила нас с Лихоносковым одна земля и мы не из бахвальства и обесцененной привычки можем называть себя сибиряками. Землячество, как и родство, ко многому обязывает. Работает земляк напряженно, трудно, не делая заячьих скидок в пути, значит, и тебя тем самым обязывает к работе взыскательной, жизни бескомпромиссной, дороге нелегкой.

Светлое его слово, добрый и грустный взгляд издали постоянно слышны и ведомы мне. Надеюсь, и читателям тоже.

ПРОРОК
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
О повести В. Зазубрина «Щепка»

Книги писателя почти неразделимы с его судьбой, и почти всегда сам автор вершит эту судьбу предчувствием смерти своей, а то и точным ее предсказанием.

За несколько дней до роковой дуэли смятенный, страдающий на внутреннем самоогне Лермонтов пишет гениально-пророческое стихотворение: «В полуденный зной, в долине Дагестана»; почти столетие спустя бесприютный, мучимый предчувствием смерти и даже как будто ищущий ее, молодой, и наполовину себя не реализовавший поэт Николай Рубцов выдохнет незадолго до кончины: «Я умру в крещенские морозы» и почти не ошибется в сроках. Примеры эти можно множить и множить. На Руси Святой трагическая доля литераторов сделала из них еще и прорицателей-мистиков.

Повесть «Щепка» Владимира Зазубрина — это пророческое предсказание не только своей роковой судьбы, но и предвидение будущей доли своего несчастного народа, приговоренного новой властью умирать в каменных и духовных застенках во имя идей всеобщего мирового братства и светлого будущего, строительство которого должно было начаться с разрушения старого мира «до основанья» и вылилось в неслыханное насилие, в невиданную ломку праведного человеческого пути. «Великий гуманизм», заложенный в основу навязанного России и доверчивому русскому народу чужеземного разру-

шительного учения, первыми испытали на себе те, кто были его проповедниками и садоводами. Самых преданных и яростных борцов за мировую революцию, за всеобщее равенство и братство сами же борцы и уничтожили.

К числу таковых относится и Владимир Зазубрин, автор первого советского романа «Два мира», горячо принятого «буревестником революции» Максимом Горьким, написавшим предисловие к одному из первых изданий этой незаурядной книги, снисходительно одобренной даже самим Лениным.

Родился Владимир Яковлевич в Пензе, в большой семье железнодорожного служащего Якова Николаевича Зубцова. Из большой семьи Зубцовых уцелело лишь двое детей — Владимир и его сестра Наталья, потому как прихваченный мятежными ветрами революции девятьсот пятого года глава семейства угодил в тюрьму, затем и в ссылку в город Сызрань с лишением всех прав вообще и в первую голову права на трудоустройство. Сызранцы ссылопоселенцев Зубцовых, живущих в подвальной комнате, звали «каторжниками», что в ту пору слышать было не просто обидно, но и оскорбительно. Глава семейства был из людей твердых, обстоятельствам неподвластных, с горестной судьбой ссыльного несогласных, упорно учился он и сдал-таки экзамен на звание частного поверенного в делах, сохранив таким образом хоть часть своего многострадального семейства, но от революционных устремлений его навсегда отшибло. Зато преуспел во всякого рода бунтах и революциях его единственный, в живых оставшийся сын. Еще в Сызранском реальном училище он был организатором и редактором нелегального журнала, за что и был исключен из училища, позимогорил в холодных одиночках и из тюрьмы вернулся больным, но не сломленным.

Все, кто видел и знал Владимира Яковлевича Зазубрина-Зубцова при жизни, отмечают его диковатую красоту и могучность, а также широту искреннего характера, прямоту взглядов, глубокую самообразованность, исключительно богатую память и обостренную впечатлительность.

Пройдя вместе со своим народом все сложные, кровавые пути революционного переворота, Зазубрин оказался в Сибири, сначала в армии Колчака, а затем и в Красной Армии. В Канске он смертельно заболел тифом, и его спасла семья сибиряков Теряевых, в доме которых был он на постое. В этом доме была младшая дочь Варвара Про-

копьевна Теряева, студентка Омского сельхозинститута. Меж постояльцем и студенткой, его выхаживавшей, получилась любовь, и они навсегда соединили свои жизни.

Работая в Канской газете «Красная звезда», Зазубрин начал собирать материалы и писать роман «Два мира», после выхода которого его перевели в политотдел пятой Дальневосточной армии. В газете этой армии «Красный стрелок», в походной типографии печаталось первое издание романа. Здесь продолжилась активная творческая жизнь Зазубрина, которая затем привела его в журнал «Сибирские огни», где шло активное становление и объединение вокруг боевого журнала молодых литературных сил Сибири. Владимир Яковлевич с его организаторскими способностями, ярким талантом и редким человеческим обаянием пришелся тут в самую пору и скоро встал во главе журнала.

Он уже был довольно известным писателем, редактировал журнал «Колхозник», состоял в переписке с Горьким, несмотря на страшную занятость писал очерки, статьи, рассказы, работал над новым романом «Горы», напечатанным в журнале «Новый мир», мечтал написать книгу о Горьком, было много и других замыслов, но разом и навсегда все оборвалось — его арестовали и тут же, без следствия и суда, расстреляли — произошло это в декабре 1938 года.

И на долгие годы Зазубрин из нашей литературы исчезает, как исчезли имена многих и многих талантливых русских писателей. Книги незаурядного работника, честного коммуниста, набравшего творческую высоту, изымаются из библиотек, исчезают в топках социалистической индустрии, повесть «Щепка», одобренная в журнале «Красная новь», считается утерянной, и только стараниями сибирских литературоведов совсем недавно ее обнаружили в рукописном отделе Ленинской библиотеки.

«Щепка», которую и сам автор мечтал доделать, обратить в роман, и в нынешнем ее, может, и несовершенном виде потрясает, хотя потрясти нашего человека — читателя, ошеломленного хлынувшей на него страшной правдой прошлых лет, кажется уж и невозможно. Повесть печатается сразу в нескольких журналах, в Красноярске — в альманахе «Енисей», включается в разные прозаические сборники, переводится на иностранные языки. Недавно я

видел ее в антологии русской новеллистики, солидно изданной в Лондоне, повесть Зазубрина с кратким и емким комментарием открывает эту книгу.

Читателю предстоит не просто прочесть эту воистину страшную повесть, помучиться предстоит, сжаться от ужаса, а верующим — перекреститься по окончании тяжкого чтения и молвить: «Господи, спаси и помилуй нас...» Неверующему же атеисту — еще и еще раз удивиться тому, как мы в этом современном аду выжили, сохранили живую душу, пусть всего и частицу ее. Даже главный герой повести, предка Срубов, являющийся бойцом, товарищем, «самым обыкновенным человеком с большими черными человеческими глазами», много размышляющий и рассуждающий о ценности человеческой жизни, пораженный несоответствиями между идеалом и реальностью, сходит с ума от своей кровавой работы.

Да, автор «Щепки» особых иллюзий в отношении революции и новой жизни не питал, по тяжкому опыту революционера и участника братоубийственной войны зная, что революции в белых перчатках не делаются, но революция, по его убеждению, не может быть безразлична к судьбе отдельного человека, она и делалась во имя человека, во имя сохранения лучшего в каждом человеке, однако и он, умный человек, запутывается в непролазных дебрях революционных деяний, в дремучей тайге оголтелой демагогии и, противореча сам себе, заявляет в одной из своих статей:

«...Место писателя в лагере тех, кто борется за счастье авангарда человечества — пролетариата, т. е. в конечном счете — за счастье всего человечества. Нам могут возразить — вы насилуете волю писателя, вы лишаете его творчество необходимой свободы...», — и далее, конечно же, слова Ленина: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя...», — разящую силу которых Зазубрин испытал на себе, а мы, его последователи и продолжатели литературного дела, пагубу сих пламенных идей не можем изжить до сих пор. И не хватит, видно, нашей жизни на то, чтобы выветрилась из наших голов большевистская замороченность, «передовая» эта идейность, а из сердца нашего исчезла злобная тяга ко мстительной насильственности, к устремлениям навязывать свои идеи, свой опыт строительства нового мира. Мы так и не научились понимать и воспринимать непривычное нам, заболтанное слово **СВОБОДА**, жить и работать свободно тем более.

Сознание нации деформировано страхом, позвоночник ее искривлен тяжким бременем революционных преобразований, за которые платой была только жизнь, только кровь человеческая. Кровь эта в конце концов переполнила подвалы губчека и, хлынув на волю, красными волнами смыла из смуты охваченной страны, с улиц ее городов, из городских домов и деревенских изб, остатки того, что звалось Великим словом РОССИЯ. Страну и ее народ ввергли в долголетнее, беспросветное угнетение, небывалое рабство, к которому большая часть нашего народа так привыкла, что и не может себя и свою жизнь мыслить иначе, как в постоянном подчинении под чьей-то командой, да и распорядиться собой и теми благими возможностями, которые народу ныне предоставлены, он не умеет, не научен.

Повесть «Щепка» написана в 1923 году. Как много надо было знать, изведать, перестрадать, чтобы оказаться «пророком в своем отечестве», чтобы заглянуть в бездну будущего, предсказать последствия разгула того насилия над народом, жертвой которого стал и сам автор, ибо «лес рубят — щепки летят!» — изрек не менее мудрый и дальновидный, чем Ленин, его старательный ученик, верный последователь и выкормыш.

Будучи долгое время и сам преданным сыном своему времени, последователем соцреализма, кое-что постигнув в окружающей меня действительности, я уразумел в конце концов, что те безграмотные, тупые, горластые пьяницы и развратники, беспардонные разбойники, десятилетиями заправлявшие нашей жизнью, не могли терпеть возле себя людей умных, грамотных, самостоятельных, и сводили их в первую очередь. Никто так злобно и настойчиво не боролся с коммунистами, как сами коммунисты. Им, выскочкам, подхалимам, костоломам, такие люди, как Зазубрин, не могли быть «товарищем по партии», они усердно очищали от таких свои ряды и в конце концов низвели свою родную и любимую партию до скопища ничтожеств, корыстолюбцев, сладкоежек и недоумков. Но чтобы свалить такого известного человека, которого сам Максим Горький привечал, сам Ленин читал, нужны были причины весомые, зацепки основательные, и я обнаружил их, перелистывая второй том «Литературного наследства Сибири», целиком посвященного Зазубрину.

Сибирский подвижник Николай Николаевич Яновский, отбывший в лагерях смерти не один срок и сохранивший не только облик интеллигента, но и всю красоту души своей, отработал, наверное, все «десять жизней людских», оставив нам, сибирякам, не только добрую память по себе, но и восемь томов «Литературного наследства Сибири». Не было в Сибири такого молодого, даровитого автора, которого не заметил бы и не приветил в «Сибирских огнях» Николай Николаевич, где он долгое время работал заместителем главного редактора — на главного не тянул оттого, по убеждению местных партдеятелей и заправил Союза писателей, что был недостаточно идейно подкован, склонен к вольности суждений, излишней самостоятельности в оценке писателей, книг современников и писателей прошлого, многих из которых он воскресил, вырвал из нетей. Творческий подвиг этого славного сибиряка не оценен по достоинству, как и труды многих и многих порядочных людей, работавших с нами бок о бок. До того ли сейчас нам, коли настала пора все свои силы и помыслы направлять на то, чтобы разобраться в сложнейшей философской и творческой ситуации — кто за кого?

Так вот, в «Литературном наследстве Сибири» я и наткнулся на главную причину убийства Зазубрина. Участвуя во встрече с писателями на квартире Горького, компанию коим составили большие знатоки отечественной словесности, руководители родной и любимой партии, Зазубрин говорил о художественной правде и по сибирской прямоте рубанул правду-матку о том, что вот «образ» Сталина изображается некоторыми писателями иконно, а не как живого человека. После этого, вспоминает сам Зазубрин, он «почувствовал себя неловко, поняв, что, увлекшись, сказал лишнее». Сталин-то рядом сидел, а таких вещей он не прощал не только каким-то там далеким сибирякам-пензякам, но даже ближним соратникам своим и родственникам...

Я для того так подробно пишу об авторе «Щепки», чтобы представление у читателей было о том, что за человек ее писал, человек, о котором с классовой тревогой однажды спросил у известной уже в двадцатые годы сибирской писательницы Сейфуллиной один из попечителей молодых талантов и направителей морали того времени: «Зазубрин, вероятно, является поклонником Достоевского?», и Сейфуллина ответила: «К сожалению, да...»

В такие вот времена жил и творил талантливейший

русский писатель, нестигаемый коммунист, яркий человек — Владимир Яковлевич Зазубрин, которому давно следовало бы поставить памятник в Сибири, может, и на родине его, в Пензе, а мы, его современники-читатели, только-только «открываем» для себя беспощадное зазубринское слово правды, соприкасаемся с книгами, поведавшими о нашей действительности такое, что, осознав ее губительные последствия, содрогнется крещеный мир и не захочет следовать нашему историческому примеру, минет все тяжкие, мученические революционные пути, отвергнет учения, зовущие к смертельным потрясениям, к кровавой смуте.

ДОБРОЕ СЛОВО

Об Аскольде Якубовском

Сразу же и оговорюсь, слово «доброе» я употребил в его широком значении, то есть слово крепкое, своеобразное, прочное. А то у нас в литературе одно время начали было использовать его в благотворительных целях: я, мол, писатель, буду к тебе, читатель, добреньким, а ты, в свою очередь, — всепрощающим, и будем мы вполне довольны друг другом, а что слово при этом дрябнет, хилым становится, так ведь много их, слов-то, в языке нашем...

Как отрадно, что все чаще и чаще среди идущих в литературу людей появляются те, кто не хочет для себя никаких снисхождений, похлопываний по плечу ни от читателя, ни от критики.

Очень это важно — самостоятельность с самых первых шагов. В любом деле, конечно, важно, а уж в литературе в особенности.

Еще на Кемеровском семинаре молодых писателей Аскольд Якубовский привлек к себе внимание всех руководителей семинара именно своей писательской самостоятельностью.

Нельзя сказать, чтобы тема его повести «Не убий» (в журнальном варианте называлась она иначе — «Мшав») была очень уж неожиданна: два геолога отправляются в глухие болотные места, чтобы нанести на карту дом, попавший на аэрофотосъемку, а вместо дома неожиданно обнаруживают потаенный поселок, где, как оказалось, обитают фанатичные поборники древлеотеческой веры. Спрятавшиеся в болотах люди больны, дики и до того темны,

что «чужане» не знают, с какого бока и как приступить к ним, чтобы рассказать о «своем» мире и вести их с собою в этот мир.

Несильные в «агитации» двое парней тем не менее взбудораживают поселок, и кажется, вот-вот победа будет за ними. Но парни-геологи все же плохо знают «Мшаву», ее мертвую, гибельную трясину, где все покрыто, как ряской, ханжеской проповедью «спасения», а под нею — корысть, разврат, тяжкое бремя веры и беспощадное отставание ее «устоев».

Страницы повести, где уставник потайного села Гришка голый становится на берегу гнилой болотной речки и отдает себя на съедение комарам, дабы «принять муку» за свою паству, написаны Якубовским так зримо и взволнованно, что порою уж и не верится, что писал эти страницы молодой писатель и что это его первая повесть.

«На берегу сидел старец. Голый. Он светился на солнце отвратительной наготой иссохшего полумертвого тела. И дымился, как головешка, — это налетел гнус... Поднималась древняя лесная жуть. Выглядывали из-за стволов губастые рожи, в осоке торчали рога, где-то невдалеке хохотали лесные, невидимые днем, жители. Во мхах горели синие свечечки... Пришло утро. Старец был серый, терял очертания в сером столбе гнуса — комаров и мошкеры. Но теперь он поднялся, стоял. Шевелись губы, руки вычерчивали мелкие кресты — должно быть, старец молился. Старухи сбились вокруг него густым, напуганным стадом... Стонали, всхлипывали, некоторые падали в мокрую осоку и бились, как рыбы».

Этот самый старец многолик. Принимая муку, он смирен и молчалив, а когда понадобится, он возьмет в руки карабин и вместе со своим подручным Яшкой, у которого «голова шаром, лоб стянут морщинками в узкую полоску. Нос глядит двумя широкими темными ноздрями прямо на собеседника. Губы пухло-красные, глаза черные, вертучие», вместе с этим Яшкой, выполняющим на тысячу процентов охотничью норму, нападет на парней-геологов, и один из них будет убит из-за угла в грудь наповал...

Обороняя себя, друга Николая и тот светлый мир, куда хочет вывести герой повести «болотных людей», он убивает из ружья уставника и Яшку, подленького и нахрапистого человека, который был связующим звеном между болотным поселком и миром, который бабничал, пил,

забирал у темных людей задарма пушнину, жил на широкую ногу, был «передовым охотником»...

Если бы Якубовский ограничился только описанием пути по болотам к потаенному поселку, открытием поселка и тем, что в нем произошло, повесть все равно была бы захватывающей. Но он — мыслящий человек, и герой его повести не может, не должен забывать того, что случилось, что произошло... Как это он, человек мирной профессии, доброго и даже застенчивого склада души, своими руками...

Пять лет прошло, а ему «все видится прозрачная северная тайга, прокисшая, болотистая... В ушах — гром — отзвуки выстрелов... Николай Лаптев... Никола, который почему-то всегда пах кедровыми орешками. Должно быть оттого, что, плутая как-то с теодолитом, без продуктов и патронов, в нарымских кедрачах, мы недели три кормились орехами...».

Убийство, насильственная смерть противоестественны человеку, как противоестественна и та жизнь, которая открылась геологам в потаенном поселке, жизнь, отброшенная на несколько веков назад, на уровне пещерного человека — с пещерной моралью...

Не должно ее быть! Люди, простые парни, не могли и не прошли мимо, хотя и могли бы... Один из них пал, как солдат в бою, за лучшую людскую долю...

Хорошая, умная повесть. Пересказом я ее, разумеется, очень обеднил, ибо что такое любой, даже подробный, пересказ по сравнению с живой, густо написанной прозой? Но эта повесть, как пристань, от которой Аскольд Якубовский отчалил в свою дальнейшую работу, и потому я так подробно остановился на ней.

Вторая повесть А. Якубовского — «Дом» продолжает мысль, поднятую в «Не убий». Стяжательство, корысть, отрешенность от мира возможны не только в непроходимых болотах, в потаенном поселке. Дом стоит на окраине большого города, но он тоже «Мшавка», он тоже засасывает людей, выхолащивает души, делает их волками среди людей, и в мирном доме происходит чудовищное убийство, расправа над молодым человеком, виноватым лишь в том, что он не «такой», что по закону ему может отойти часть дома...

Защищая «свой дом», а точнее, сущность свою, собственника и стяжателя, хозяйка дома поднимает руку на сродственника — брата своего мужа...

Но «не убий» — старая и вечно живая мораль — в изображении Якубовского обретает новый какой-то и сильный смысл. Человек не создан для того, чтобы убивать и проливать кровь, даже в тайге он «не должен палить во что попало...» «Не слишком ли кровопролитно наше вооруженное общение с нею?» (с природой), — спрашивает в первой повести себя и других ее автор и герой.

Убившая живого человека хозяйка «Дома» и сама погибает в страхе, пьянстве, полной опустошенности, а «добро», «дом», которому она отдала свою жизнь, совесть, всю себя, оказываются никому не нужными...

Повесть «Дом» написана крепче, чем «Не убий», и это радует. В первой повести Якубовского еще нет-нет да и заплнешься о такие строки: «Пять шагов, поворот, и опять пять шагов. И как возможно это цеплянье за старые глупости!.. Несчастья крепко взнуздывают человека, поднимают его... Придумываешь новый план, помня минувшие ошибки, и опять кладешь кирпич к кирпичу». Конечно, загнувшись за такие строчки, морщишься так, будто босой ногой о неуклюжие пеня зашибся, тем более что автор, как я уже говорил, умеет писать густо, точно и обходиться без литературщины, возвращать слову его истинное значенье.

Вот хороший тому пример: «Чем больше я хожу по тайге, тем сильнее люблю наше чернолесье, пышную древесную роскошь средней полосы. А хвойный лес, всегда зеленый — летом и зимой, — как мумия, не то вечно юн, не то вечно мертв».

Как точно употребил Якубовский слово «чернолесье»! Ведь даже у даровитых наших писателей в силу плохого знания природы и истоков русского языка понятие «чернолесье» и «краснолесье» стало употребляться наоборот — по приблизительному, внешнему признаку писатели начали хвойный лес называть «чернолесьем».

Достоин похвалы молодой писатель за такую добрую работу над словом. С этого и начинать надо. Но увы, такие «храбрецы» не так уж часто встречаются среди молодых литераторов. Большею частью они предпочитают пользоваться языком уже употребленным, процеженным другими писателями и часто попадают впросак, хотя бы с тем же словом «чернолесье».

Кроме двух повестей, в книжке Якубовского «Не убий» напечатаны четыре рассказа. Они мне понравились меньше повестей. Наверное, это старые рассказы Якубовско-

го. И такой рассказ, как «Коротыш», не звучит после повести «Не убий». Он из той же «оперы», но сделан слабее, и как-то в нем все очень привычно и похоже на множество других «геологических» произведений. Лучшим среди четырех рассказов мне кажется «Красный таймень», глубокий, с совершенно уморительно написанным характером попа-рыбака.

1971

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

О Константине Симонове

Когда рукопись моей книги об Александре Николаевиче Макарове «Зрячий посох» была доведена до того, что ее можно было читать не только жене, но и другим «заинтересованным» лицам, я решил попросить ее прочесть Константина Михайловича Симонова: и потому, что в книге он присутствует неоднократно, и потому, что учился вместе с Александром Николаевичем Макаровым, и потому, что опыт его работы в литературе, в том числе и документальной, неизмеримо больше моего. Следовательно, надеяться можно было и на добрые советы, и на поправки каких-либо неточностей, и просто мне давно хотелось встретиться и поговорить с Константином Михайловичем, к которому я со всей душевной симпатией относился еще с фронтовых юношеских лет, и пребывание мое в одном с ним литературном цехе не только не убавило этой симпатии и уважения, но и преумножило их.

Я запомнил отчетливо тот год, когда Константин Михайлович ушел из «Нового мира» и по какому-то поводу, вроде бы опять о войне, выступал по телевидению. До этого мне почти не доводилось его видеть «вживе», — кажется, видел у гроба Фадеева, но в отдалении и не задержался на нем взглядом. Потом — в редакции журнала «Знамя». В 1959 году у меня печатали там рассказ — первый в толстом журнале! А у Симонова — роман. И вот я сидел на старом, впивавшемся в зад пружинами кожаном диване, жмясь поближе к обласкавшему меня работнику отдела прозы, милому человеку Виталию Сергеевичу Ува-

рову, дожидаясь очередных поправок от очень капризной, начисто подавившей меня своим всезнанием и интеллектом редакторши. И в это время возник в редакции маленький переполох, — редакция размещалась тогда в тесном, захламленном помещении, и большому переполоху там негде было подняться. Прочастила каблучками какая-то дама, юркнула под лестницу уборщица, распахнул перед кем-то двери лучащийся светозарной улыбкой секретарь журнала Катинов; задвигались, закружились какие-то люди с сигаретами и без сигарет. И в этом людском водовороте и дыму вдруг тоже закружилась комочком пены седая-седая голова. У головы оказалось довольно смущенное лицо Симонова! И хотя говорила про меня бабушка: «Приметлив! Ох приметлив!» — я все же с трудом его узнал, ибо Симонов мне все еще представлялся чернявым, густоволосым, с усами почти гусарскими и с трубкой в зубах — истинный поэт!

В руках у него были цветы — большой букет роз, который он нес, уверенно выставив перед собой, раскланиваясь на ходу, кому-то улыбаясь, и, гортанно выкрикнув что-то Катинову, исчез за дверьми незнакомого мне кабинета.

Впоследствии Александр Николаевич, выслушав всю эту картину в словах и в лицах и разрешая мое недоумение: «Неужто Кожевникову цветы?!» — уничижительно усмехнулся.

— Деревня! Кожевникову?! Да если Кожевникову начнут дарить цветы благодарные авторы — он не выберется из вороха цветов! Он задохнется от ароматов! У него будет болеть голова. Это Людмиле Ивановне волок Костя цветы. Много, говоришь? Дорогие? Тогда ей! Ну, Костя... фрукт! Ах ты, Костя, Костя! «Каким ты быв, таким остався!» — передразнил он Симонова. И ко мне: «Ну, а вы-то, вы-то что?» — и глазки его засветились искоркой перевозбужденного любопытства.

— Ну, чё я? — говорю я Уварову, Виталию Сергеевичу, со всей непосредственностью озлившегося провинциала, которому терять нечего и в Москве негде жить. — Дак мне чё, тоже букет нести?

— Тебе не надо, — сказал Уваров. — Ты еще молодой, и у тебя денег негу. Вот уж когда роман выдашь — раскопелишься!..

Роман я так до сих пор и не выдал, букеты по редакциям носить не научился. И зря! Есть в редакциях и изда-

тельствах люди, которым я последнюю рубашку с тела отдаю, кусок хлеба разделю пополам, кровь, сердце, а вот с цветами...

Впрочем, всяк должен делать то, что у него хорошо получается. Мне кажется, и я убедился в этом впоследствии, у Константина Михайловича была врожденная способность делать людям приятное, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, ни с обстоятельствами, которые часто мешают нам делать людям добро.

И вот несколько лет спустя увидел я Симонова на экране телевизора, погасшего, усталого, совсем белоголового, без усов — или телевизор у меня был такой, что не все предметы различались? — говорил он тихо, как-то особенно проникновенно, печально, и под конец прочел несколько стихов из фронтовых тетрадей. У меня слезы навернулись на глаза; жена, слышу, носом зашмыгала. Мы с ней весь вечер проговорили о поэзии Симонова, о том влиянии, которое она на нас оказала в свое время, и выяснилось, что и она, хотя и была далеко от передовой, помнит по фронту стихи Симонова, Суркова, прозу Шолохова, и позднее — «Василия Теркина». И до них, работников военного тыла, мало что доходило, что уж говорить о нас — окопных землеройках?

Лишь в длительной обороне лета 1944 года, когда на передовой и стрельбы никакой не было, стали приносить газеты, один раз показали кино. Мы очень зачитывались главами из «Теркина» и, чтобы всем досталось, наклеивали газетные вырезки на картонки и передавали их из взвода во взвод.

Когда я — единственный раз — беседовал с Твардовским и сказал ему об этих картонках, он как-то по-особенному заинтересовался моим сообщением, спросил, не сохранилась ли у меня хоть одна картонка? И когда я развел руками — сам-де едва сохранился, — мне показалось, он даже погрустнел или огорчился, да и я вместе с ним, что нет у меня с собой такой редкостной, да и вообще никакой окопной реликвии.

Конечно же, фронт, да и передовая не совсем оторваны от мира, идет сообщение людей туда-сюда: раненные — с передовой, пополнение — на передовую; хоть и худо, но работали рации, тянулись к фронту и по фронту провода; хоть и реденько, добивались до передовой письма — и в них часто песни, стихи, цветочки, карточки. Попав на передовую, песня или стих, простыми или сложными пу-

тями, распространялись по окопам. Так, песню «Бьется в тесной печурке огонь» я сам переписал и в ночное время по телефону орал ее неделю своим телефонистам.

Командир дивизиона молодой был, щеголеватый (умер совсем недавно — 2 января 1981 года в Ленинграде), услышал как-то мое пение, а я, напугавшись, прервался — нельзя ведь пустяками полевой телефон занимать! — сказал мне:

— Ну, что ты, что ты? Пой! Хорошая песня, и у тебя получается!

И потом, когда у него случались небольшие офицерские сборища с выпивкой, приказывал: «А ну, давай «Землянку»! И я затягивал, а офицеры подпевали.

Так, с моего голоса, и пошла по нашей части замечательная песня, и я об этом тоже имел удовольствие совсем недавно, во время последнего писательского съезда, рассказать нашему старейшему поэту Алексею Александровичу Суркову. Мне показалось, он выслушал мой рассказ не без душевной приятности.

А тогда вечером, растроганные воспоминаниями, мы с женой надумали было написать письмо Симонову, но, будучи по природе деликатным человеком, жена подсказала мне:

— Пошли-ка ты ему свою книжку и напиши сам.

— Нужна ему книжка какого-то очусовелого автора?

— Нужна не нужна, а ты пошли! Книжка с хорошими картинками, да и письма ты под настрой писать умеешь.

Иногда жен надо слушаться. Я это давно понял. И написал письмо Константину Михайловичу, в котором рассказал о том, как однажды пришел к нам, в почти полностью выбитый взвод, молоденький лейтенант и читал нам его стихи, вроде бы не к поре и ни к селу ни к городу, — о любви стихи. И все-таки стронулось что-то в наших онемелых душах. Но вскоре этот командир тоже погиб, а вот память сохранила и его, и как он читал стихи...

И книжку послал я Симонову, первую «толстую» книгу, изданную в Москве, да еще и с иллюстрациями. Ответ не заставил себя ждать. Пришло письмо, обстоятельное, без высокомерно-покровительственного тона, письмо старшего товарища по работе, в котором были и ободряющие слова, и замечания о прочитанной книге.

А вот встретиться и поговорить нам удалось лишь однажды. Так уж вбитая в меня наука — не быть навязчивым — действовала и действует до сих пор.

Когда я работал над «Зрячим посохом», один писатель, бывший на юге в Доме творчества, передал мне привет от Симонова и сообщил о том, что ему очень понравились заключительные главы «Последнего поклона», и он желал мне всяческих успехов. Признаюсь, я не думал, что эта книга «ляжет на сердце» Симонову, — очень уж, казалось мне, далека она от его творческого направления, да и жизнь, в ней рассказанная, ему, городскому человеку, должна быть совершенно чужая и неинтересная. Но шло время и почта приносила письма — отклики на «Поклон», и, как ни странно, — больше от людей городских, и не только бывших селян, что вполне объяснимо, а людей, в деревне никогда не живших.

Меж тем работа над «Зрячим посохом» подходила к концу, я давал ее читать друзьям по труду и тем, кто так или иначе в ней заинтересован и «отражен».

Когда рукопись «Зрячего посоха» прочла Аннета Александровна — дочь Макарова — и приободрила меня своим к ней добрым отношением, я попросил у нее совета дать ли рукопись для прочтения Симонову, поскольку о нем в книге кое-что сказано и сказанное нуждается в некотором уточнении, да и знал он Александра Николаевича давно и близко.

— Непременно! — сказала Аннета Александровна. — Непременно! Он, думаю, обрадуется этой книге. Вот только, слышала, он тяжело болен...

В тот же приезд в Москву, буквально через несколько дней после разговора с Аннетой Александровной, по приглашению любимого моего артиста Михаила Александровича Ульянова был я в театре имени Вахтангова, на премьере «Степана Разина», и увидел там Симонова. Он сидел чуть впереди меня, справа, в теплой рубашке и надетой на нее меховой безрукавке. Тяжкий кашель давил его весь спектакль.

«Пневмония! Знакомая мне болезнь, которая хуже тихой и злой тещи». Не знаю, мой ли пристальный взгляд или что другое заставило Константина Михайловича обернуться, и я увидел впалое землистое лицо, худую шею с туго натянутыми от трудного дыхания жилами, усталые глаза в темном, почти угольном обводе с как бы прилипшей к ним пленкой загустелых слез.

Мои глаза тоже затянуло слезами, и я какое-то время ничего не мог различить на сцене — слишком много дорогого и светлого связано у нашего поколения с этим пи-

сателем, слишком он был нам необходим и привычен, и привычен всегда молодым, деятельным, романтичным, удачливым, у всех и всегда на виду...

Он не создавал себе такого «портрета» — это время и мы, читатели, создали его, — и у меня разбитый болезнью, худушый, усталый человек вызвал не столько чувство горести, сколько растерянности, сознания и собственной уже изработанности, немощей, прошедшей молодости. Ведь часто в других жалеешь утраченного себя лучшего, и это единственный эгоизм, который можно оправдать в нас, людях.

«До рукописи ли ему?» — махнул я рукой, а вот повидаться мне с Константином Михайловичем захотелось — наитие, что ли, сработало? — можно и не увидеть, не успеть — не хочу об этом судить задним числом.

При еще одной встрече Аннета Александровна спросила, послал ли я рукопись Симонову, и сообщила, что разговаривала с ним по телефону, что он очень тепло отозвался обо мне и рад был, что именно я решился написать книгу о Макарове.

Я написал коротенькое письмо Симонову и скоро получил ответ с разрешением прислать рукопись.

Прочел он ее очень быстро, как потом сказал, — «за одну ночь», и попросил меня побывать у него. «Поговорить есть о чем», — добавил он в письме.

Позвонил ему от друга, слышу — кашляет беспрерывно, хрипит даже, и я сказал, что, может, не надо? Может, потом?

— Нет-нет! Немедленно приходите, а то я скоро уеду, и многое забудется. Надо поговорить сейчас, по горячим следам...

Он был совсем болен, выглядел еще хуже, чем тогда в театре, но при моем появлении поднялся, вышел в коридор, — видимо, чтобы приободрить меня и как-то оградить от укорных взглядов близких своих: ночью, как выяснилось, была «неотложка».

Я чувствовал себя скованно и неловко.

— Да не переживайте вы, — махнул он худой и слабой в кисти рукой. — Вы что думаете, лежать вот тут, на диване, и смотреть в потолок — легче, что ли? Правда, я пробовал читать. Вы «Сашку» Кондратьева читали, с моим предисловием?

Я сказал, что читал и что повесть мне понравилась, и

Симонов, откашлявшись и отдышавшись, сказал, что как раз Кондратьева новую вещь и читал.

Заговорив о литературе, Константин Михайлович ожил, и мы с ним повспоминали военное время, он мне упомянул про бои под Могилевом, а я ему сказал, что мир очень круг и узок и что, прочитавши в его дневниках о самолете-кукурузнике, сидящем на крыше, вспомнил и место, и городок — это было на окраине городка Зборова, на Львовщине, ныне по новому административному делению отошедшему в Тернопольскую область.

— Да что вы говорите?! Н-ну, знаете! — рассмеялся Константин Михайлович. — Вот и еще одна страничка войны разгадана!

— Я был молод, — говорю, — по бабушкиному заключению — «приметлив», да и стояли мы в Зборове несколько дней. А вы небось промелькнули на корреспондентской машине?!

— Да уж помелькал, поездил, полетал! — протяжно вздохнул Константин Михайлович. — Чаю, водки, Виктор Петрович?

— Какая уж нам, пневмоникам, водка? — отмахнулся я. — Спина вон и без нее мокра...

— Тоже, значит? Не запускайте эту проклятую болезнь. Вымотает! Вон, говорят, и Шукшина она доконала.

— Да, будто бы с нее началось...

Принесли чаю, крепкого, горячего, и под чаек мы с Константином Михайловичем о многом переговорили. Я знал об его истовой работоспособности, посетовал на себя, разбросанного, работающего лихорадочно, наскоками.

— А как вырываете вы время для такого объема работы, чтения, служб? — поинтересовался я и тут же с восхищением отозвался о его телевизионной работе «Шел солдат» и сказал растроганно. — Если б не были вы так худы, обнял бы вас от имени всех нас — солдат, живых и погибших, да боюсь — задавлю!

Он очень засмутился, покашлял и сказал, что в пятницу, субботу и воскресенье всегда уезжает на дачу и уже эти дни его, уж тут он работает с упоением, работает и старается никого к себе не пускать.

«Старается», — сказал он, однако тут же, узнавши, что я собираюсь писать роман о войне, о быте войны, о солдатах, об окопной жизни — если это можно назвать жизнью, — пригласил меня обязательно побывать у него

в Пахре, на даче, пожить там и посмотреть, вернее — просмотреть, богатейшую его фототеку.

— Вы знаете, — сообщил он, — я всю войну собирал фото: на дорогах, в окопах, в заброшенных избах, маленькие, большие, с документов, парадные, семейные, и ох как вам необходимо это все посмотреть. Уверен, очень и очень вам поможет моя фототека в работе. Приезжайте в любое время. Я вам дам ключ, садитесь и действуйте. Вот я съезжу в Крым, подлечусь, поработаю...

Я робко возразил — не надо бы в Крым-то. Два раза я там был, и оба раза дело оборачивалось обострениями.

— Да вот знаете, в Гурзуфе такое удобное место для работы, в санатории. И подсушусь, глядишь...

Я сказал, что сушиться нашему брату пневмонику, наверное, следует все же в сухом месте, где-нибудь в Туркмении или в Таджикистане.

— Или вот, — вспомнил я, — в Узбекистане. Вы ж его обжили, перевели на русский!..

— Да, обжил, — согласился он, — наверное туда и поеду когда-нибудь. Но сейчас... вот собрались уж... И нравится мне в Гурзуфе. Да, секретарша моя принесет вам все, что я успел сказать о вашей рукописи. Извините, что на диктофон, но так скорее, да и руки у меня что-то дрожат последнее время. Мы с вами потом обязательно еще встретимся и поговорим, непременно поговорим. Нам есть о чем поговорить, и не только по рукописи, — нам говорить и не переговорить о войне. Берегитесь. Пишите. Мы, газетчики, уже «свою» войну написали. Вы правы — по количеству написанного выходит, что мы — главная ударная сила были на войне... — Он опять слабо махнул рукой, закашлялся.

Я поднялся.

— Все-таки мне надо уходить, Константин Михайлович. Я и так злоупотребил вашим вниманием и гостеприимством.

— Да что вы там такое... говорите... Господь с вами! — с перерывом произнес Константин Михайлович.

Но он все же очень утомился и сам, верно, почувствовав это, надписал мне на память несколько книжек, в том числе особенно мне дорогую как бывшему окопнику «Шел солдат», и мы стали прощаться. В коридоре, подав мне руку, Константин Михайлович слабо коснулся щекой моей щеки, и меня чуть уколола редкая щетина.

«Симонов — и не бритый! Да что же это такое!» На

глаза снова навернулись слезы. Я поклонился всем домашним и вышел, осторожно притворив дверь.

Более Константина Михайловича Симонова я не видел. Звонил ему еще раз и по голосу понял: в Крыму ему стало хуже и разговаривает он со мною лежа.

А потом раздался, уже в Вологде, телефонный междугородный звонок, и Константин Михайлович сообщил, что звонит из больницы, что тут его хорошо подлечили, что он работает, непременно хочет со мной встретиться, показать фототеку. И я решил, как он выпишется из больницы, отдохнет маленько, одолеет писательскую текучку, сразу же и поеду к нему, хоть на недельку.

А вскорости прилетел я или приехал откуда-то, и прямо у дверей жена моя, Мария Семеновна, дрожа голосом и утирая слезы, сообщила:

— Ты знаешь, беда-то какая!.. Константин Михайлович скончался.

Вот и все, что я смог вспомнить и написать о человеке и писателе, к которому всю жизнь привязан как читатель, уважал его как гражданина, воина и труженика, такого, каких, к сожалению, очень мало в нашей литературе.

А то, что успел надиктовать Константин Михайлович о рукописи «Зрячий посох» всего за несколько часов до отхода поезда в Крым, будучи совершенно больным, — пусть станет послесловием к моей книге «Зрячий посох» и уроком нам, в сущности физически здоровым людям, частенько проживающим часы и дни в пустопорожней суете, болтовне и прекраснодушии.

ПОД ТИХУЮ СТРУНУ
Из неоконченной статьи
о творчестве Ю. Нагибина

Тот рассказ давно уже не печатается. Видно устарел, считает автор. Странное, порой совершенно никому не понятное бывает отношение писателей к своим произведениям. Впрочем, только ли у писателей и только ли к своим произведениям? Глянь, вокруг и сплошь и рядом обнаружишь странное отношение к своим детям, к миру, к искусству — все состоит из видимых и невидимых противоречий, все и вся живет вечным усилием одолеть эти противоречия, а литература в первую голову.

Порой глыбы противоречий как бы дробятся на мелкий камешник, и лежит он, омытый водою по берегам реки жизни, приманивая разноцветьем, пугая холодностью, тяжестью и множественностью своей. Только мысль человеческая пытается объять необъятное, постигнуть глубину прошедшего и бездонность будущего, только мысль способна защитить человека от беспомощности перед окружающим его миром, перед страшным смыслом бытия, только память дает ему радость и горечь воспоминаний. Как затруднена и как сложна жизнь мыслящего человека.

В одном из рассказов Юрий Нагибин удивится казалось бы близко лежащему открытию: человек знает о своем конце, животное — нет. И в этом знании самое страшное человеческое противоречие, и в этом же знании его спасение от тьмы, безвестности, от покорности и забвения. Человек сопротивляется, ищет спасения от смерти, стремится к бессмертию, животное — лишь предчувствует смерть, но неспособно осмыслить его, а следовательно,

и бороться за него. И когда человека низводят до положения животного, он покорным стадом идет на смерть, смиренно приемлет свой конец, — так на территории нынешней Туркмении монголы вырезали целое, цветущее, но, увы, безоружное и беспомощное государство. Чтобы уничтожить целый народ, каждому монголу полагалось убить по шестьсот человек, и мне, современному человеку, непонятно, как это шестьсот человек поддались одному, вооруженному саблей и луком вояке?! Да они если б плюнули на него по разу и то он захлебнулся бы и утонул в мокре...

Застой! Кроме всего прочего, война приостанавливает движение мысли, либо направляет ее в определенное русло, — разносторонне мыслящего существа, оно как бы консервирует чувства и мысли, кроме одной — выжить! А выжить — значит, победить. И невиданную изворотливость, сноровку, хитрость проявляет человек на войне, истребляя врага и оставаясь при этом живым. Однако всепоглощение чувств, мыслей, стремление к единой и единственной цели целого народа и общества рождает инерцию безмыслия, слепое, по чьей-то указке, по чьему-то приказу, движение жизни ведет человека, как слепого, — он становится иждивенцем, перестав распоряжаться собой, отвечать за себя, он и ответственность за себя с себя снимает, плывет, куда его несет, идет, куда его подталкивают.

Так рождается ограниченность и стирается индивидуальность. Во всем! Везде! В одежде, в отношениях полов, в подчинении друг другу.

И чем дольше и больше война или состояние войны в обществе, тем дольше и больше бездуховность, которые порождают примитивные требования к себе, к окружающему миру и, как следствие, — тупое, похожее на общество, его породившее, искусство — без мысли, без истинной красоты: живые цветы вполне и с успехом заменяются ярко раскрашенными бумажными.

И наша лакировочная литература, искусство и нынешнее китайское — возникли не случайно. У них есть почва, унавоженная безмыслием.

Как показали войны и особенно последняя, самая тяжелая, самая смертоубийственная, самая бесчеловечная остановка в поступательном движении человека, человеческой морали, чревата такими последствиями, что и сами эти последствия мы начали ощущать болезненно лишь мно-

гие и многие годы спустя, часто отыскивая причины в дне сегодняшнем, в действительности повседневной, а они, причины наших бедствий, там, во мраке веков, в первых схватках людей, заложивших камень раздора в человеческую историю.

Тяжко пробуждение человека от страшного, бредового сна войны, трудно его возвращение из смертной тьмы к свету жизни, настолько тяжело и трудно, что рождается в человеке робость, если не боязнь и перед этой самой жизнью, за которую он бился, не щадя живота, перед действительностью, к которой надо принадлежать отныне, строить ее, двигать и отвечать за самого себя.

Далеко не всегда и не так было с людьми, возвращающимися с войны, как это показано в кинохронике — эшелоны, цветы, музыка, счастливые лица, плачущие от счастья женщины. И эшелонов не всем хватало, и цветы были не всем, и встречающие не у всякого. Большое количество людей оказалось на перепутье — меж войной и миром. Желанным, долгожданным, но, увы, уже непривычным. Как жить? Где? Чем? У многих потеряны профессии, здоровье, нет семей, прервано учение. Одни надежды впереди. Но солдаты-то, рядовые-то хорошо за войну усвоили мудрый смысл нехитрой пословицы: «На Бога надейся, да сам не плошай».

Еще в госпитале робкий, смиренный солдат Степан притирался к шумному, боевому сержанту Егору, и с ним вместе подался в гражданскую жизнь, ибо один-то побаивался встречи с нею, с этой самой жизнью за воротами госпиталя. Самоуверенный Егор не зря приголубил Степана — мастеровой он мужик, а сейчас такому цены нет, разорены войной дома и села, самое время сейчас идти по деревням и «калымить», современно говоря.

Рассказ назывался несколько «в лоб», но не без лукавой иронии «Деляги». В первой же попавшейся деревне «делягам» находится дело, много дел — все устарело иль порушено, везде нужны трудовые, в особенности мастеровые мужицкие руки. На постой бывшие вояки определяются, как и следовало ожидать, ко вдовушке и, разумеется, еще не старой, работают жадно, споро. Егор, само собой, подбивает клинья под хозяйку, но она как-то прохладно относится к нему, а вот к смиренному, безгласному Степану вроде бы и благоволит. И это больно задевает Егора — на войне он не знал соперников, да еще таких вот тихонь, как Степан. И, перекрыв крышу на избе хо-

зьяки, приделав еще кой-какую работу по селу, Егор дает приказ двигать дальше. А Степан чего-то не спешит, чего-то мешкает, но послушаться друга не смеет. И вот, в неурочный час, во время проливного дождя, не взявши с селян за работу ни копейки (нечего и не с кого брать — уяснили «деляги»), Егор и покидает друга Степана, и деревушку, обескураженно кому-то грозя, что подается он не куда-нибудь, а аж на Камчатку! Отчего, почему на Камчатку?! Но герои Нагибина всегда совершали и совершают этакие вот крайние, безрассудные поступки, вроде детей: «Не даете? Окно разобью!» И в этом какая-то неотразимая симпатия — всегда как-то смешно и жалко подобных «героев». Национальная, наверно, черта эта наша — бунтовать — вот оттого и грохает.

Степан благоговееет перед другом — этот даст жизни! Ему что? Ему и Камчатка ничем! А сам он остается в тихом доме, у обворожительно ласковой вдовы, заниматься сельским трудом — где уж ему до Егора?!

В дальнейшем автор переименовал рассказ. Видно, коробило кого-то из редакторов прежнее название. Советские воины, освободители, симпатичные мужики, «положительные» во всех отношениях герои — и вдруг — «деляги». Стал он называться, может, и более точно, но как-то вяло — «Пути-перепутья», и ох, какие пути-перепутья видятся у этих «героев», которых бесчисленное множество встречалось на послевоенных дорогах, и как ясен, прост «жизненный предел» мастерового человека — Степана.

У нас литературу часто уподобляют райсобесу или церкви, которым надлежит оказывать всем и всяческую помощь, ну если не литературную, то хотя бы духовную, хотя бы замолить чьи-то грехи, утешить что ли заблудшую душу.

Именно в такой вот помощи нуждался и я тогда, ибо прочел рассказ в госпитале или перед демобилизацией из нестроевой части, теперь уж не помню, тоже пребывая в пугливой растерянности — куда идти? К кому? Как жить? Чем? Где?

Но Егор со Степаном уже попробовали жить той жизнью, что ожидала вскорости меня и миллионы таких как я «деляг», — уже шли вперед и трудно, с сомнениями, порой, как саперы, — на ощупь прокладывали путь к будущей жизни.

Это было и навсегда осталось в Нагибине: точно угадывать нужду человеческую, вовремя подставлять свое

плечо — для опоры — ближнему своему или, как велеречиво и заносенно это называется в нашей критике, «откликаться на злобу дня». Откликались-то у нас многие и в литературе, и на сцене, и в кино, и в живописи, да ответное эхо часто не доносилось, ибо сама по себе «злоба дня», животрепещущая тема, может быть, лишь скомпрометирована, коли к ней идут с холодным сердцем и ремесленными устремлениями.

Художник, если он истинный художник, достигает ответного чувства посредством сострадания, переболевая болезнями каждого человека, раньше других пропуская через себя, через свое сердце токи времени, порой болезненные, рвущие сердце, и, приняв уж на себя удар, ослабляя своей болью боль ближнего, выходит к людям со своими мыслями, со своим видением и толкованием действительности. Откликнуться «на злобу дня» у нас всегда было достаточно писателей, но принять груз сегодняшней, быстрой и бурной жизни — хватало сил и желания далеко не у многих.

В конце сороковых, в начале пятидесятых годов таких писателей были единицы, остальные все еще шли сомкнутым строем под команду, пели привычные, бодрые песни, пробовали печатать шаг, но на разбитых войной дорогах «строевым» не получалось, маршировали вразноплес, однако строй покидать не хотелось — в строю, в толпе, было легче, надежней, привычней.

Поэзия первая почувствовала сбой в сомкнутом строю, первой вспомнила, что времена другие, стало быть и песни надобны другие, и первой начала осваивать «мирный материал», однако постоянно чувствуя спиной жар и пламень войны, шевелящий ее упругие крылья.

Проза тащилась где-то в неблизком обозе, как будто и не было Великой русской литературы, ни традиций ее, — унылый примитивизм, казарменная скука, упрощенная, как в военном уставе, мораль, умильные слова, банальные мысли, бодренькие, слащавые «герои». Людей нет или почти нет, только «герои», которые хвалят себя, свое время и слова: «счастье», «Родина», «народ», как разменная монета, сыплются из говорящего автомата.

Появляются не просто драмы, романы, полотна, кинокартины, целые их косяки, вырабатываются «направления», и, конечно же, творцы «направлений» становятся направляющими, оттирают, поносят, а то и критическим обухом по голове бьют тех, кто творит иначе, — из лите-

ратуры выключены Платонов, Булгаков, за пессимизм разносят «Землянку» Суркова. Как это: «а до смерти четыре шага»? когда «Мы победили!». Народ, правда, пел «Землянку», невзирая на критические окрики, но «творцы», подобные Ермилову, Сузову или Бабаевскому, как-то изловчились обходиться без мнения народа.

Мне кажется, литература наша «прозевала» самую болезненную тему века — одиночество цивилизованного человека, неожиданное для всех и прежде всего для самого человека, но... «Сто лет одиночества» появляется именно в момент самого острого разложения или, точнее, раздвоения вчерашнего человека природы, когда его естество подверглось жесточайшему испытанию, испытанию прогрессом, — западная литература ныла об одиночестве, Маркес прокричал о нем, ударил в набат. Услышали ль его люди? Да! Услышали во всем мире, ужаснулись, погоревали, воздали художнику и... живут дальше, как и жили, невозмутимо и обреченно.

Ну, а мы? Самые «чуткие», самые «острооткликающиеся», увы, мы умеем остро откликаться на то, на что позволено откликаться, все время выявляли и выявляем патриотические дешевки с претензией на литературу. Но... проходит время и дешевка обретает облик собаки, которую обижают и которую надо защищать, показатель: «Белый Бим Черное ухо» — бестселлер не только советский, но и немецкий. Вот оказывается, где мы «смыкаемся» — добрые русские и жестокие немцы — любят и жалеют собачек, но еще любят сами себя... и не замечают неприятностей...

Так пропускается без запинки, равнодушно, гениальные «Пик удачи» Нагибина и потрясающая «Комиссия» Залыгина, так вырабатывается форма отношений между художником и обществом, между писателем и читателем.

СОЛОВЬЕМ ЗАЛЕТНЫМ

О Кольцове

С радостью и трепетом написал я несколько слов о Кольцове. И тысячной доли не выразил того, что хотелось бы сказать о поэте, который с детства вошел в мою жизнь, но я думаю, все истинные россияне скажут о нем с любовью свои слова и дополнят друг друга. Прошу прощения, что не перепечатал письмо. Пишу из деревушки, а машинки тут у меня нету...

Еще в детстве, когда я не умел читать и не знал никаких поэтов, слышал уже песни Кольцова. Бабушка моя и вся наша родня на праздниках или сумерничая, т. е. когда пряли куделю, починялись, вязали сети, среди других песен с особенной печалью и долгим проголосьем (в Сибири почти каждую песню растягивают на версту!) пели «Сяду я за стол — да подумаю» и часто плакали в конце песни.

И потом, в детстве, в ФЗО, на фронте, в разных концах России, слышал я песни складные, затрагивающие те истинно русские струны в душе, которые звучат и откликаются печально лишь на родное, близкое тебе слово, до того близкое и понятное, что кажется оно не сочиненным, не «составленным», а как бы уже тобою самим рожденным, потому что и в тебе самом оно постоянно звучало, но не умело вылиться, не находило выхода. И вот нашелся человек, поэт, и сказал твои слова, твоим языком и вздохнул вместе с тобой широко и грустно.

Не знаю, что главное в поэте Кольцове, что вообще главное в поэте. Но как мне дорого имя это, знаю — оно

для меня как воздух, как свет, как пища, «потребляя» которую порой и не замечаешь этого, но, не будь их, и дня не проживешь без них. И как поэт Кольцов воистину народен и велик тем, что творения его живут в народе сами по себе, многие русские люди не знают, как не знала и моя бабушка и другие жители моего родного приенисейского села, что песни, так любимые ими, написаны поэтом Кольцовым.

Вот это и есть истинная народность! И сколько проскакало по России рысаками поэтических имен! Сколько прошумело их и кануло в Лету, а я вот сижу в заснеженной деревушке на Урале, и из сугробов светится за речкой огонек в тети Дашиной избушке, и вспоминается мне родное село на Енисее, сумерки зимние, жужжание веретен и тихие, протяжные голоса: «Соловьем залетным юность пролетела...»

И, глядячи на тети Дашин снулый огонек из сугробов, думаю я: «Юность-то пролетела, а Россия вечна, и вечен ее грустный певец, и пока есть Россия, будет и он жить вместе с нею и петь ее голосом из зимних заснеженных русских деревень».

VI



ДОРОГА ДОМОЙ

•

НЕИСТОВАЯ КНИГА

О книге Дальтона Трамбо «Джонни получил винтовку»

Самые великие антивоенные книги написаны теми, кто познал войну в окопах, грубо, по-солдатски говоря, испытал ее «на собственной шкуре». И всегда, во все времена неодолимо тянет война на то место, где пролита его кровь и кровь его товарищей, словно бы хочет человек отмучиться навсегда последней мукой, испытать последнее страдание там, где он страдал в войну, и успокоиться. Но никогда еще, ни одному человеку достичь этого желанного покоя не удалось. Наоборот, память начинает терзать бывшего окопника с нарастающей болью и силой.

Больная память. Вот как она мучается и мучает человека: «Рахе, сторбившись, сидит в окопе. Вот остатки ремня, два-три котелка, ложка, поржавевшие ручные гранаты, подсумки, а рядом — мокрое, серо-зеленое сукно, вконец истлевшее, и останки какого-то солдата, наполовину уже превратившегося в глину. Он ничком ложится на землю, и безмолвие вдруг начинает говорить. Там, под землей, что-то глухо клокочет, дышит прерывисто, гудит и снова клокочет... ему слышатся голоса и оклики. Рахе встает и бредет дальше, бредет долго, пока перед ним не вырастают черные кресты, ряд за рядом, построенные в длинные колонны, как рота, батальон, полк, армия... перед этими крестами рушится здание громких фраз и возвышенных понятий... страшным обвинением дышит эта ночь, самый воздух, в котором еще бурлит сила и воля целого поколения молодежи, поколения, умершего раньше, чем оно начало жить».

Герой романа Ремарка «Возвращение» Рахе может видеть, слышать, проклинать войну и тех, кто ее сотворил, он может в отчаянии даже покончить с собой, уйти к братьям по окопам, которых он «слышит» в земле, ибо на земле он братства не нашел.

А вот герой романа Дальтона Трамбо «Джонни получил винтовку», Джон Бонхэм, не может ничего. На войне взрывом снаряда у него оторвало руки и ноги, «сняло» лицо. Он не может говорить, видеть, есть и даже плакать. В каком-то ему неведомом госпитале Джонни держат как экспонат: давая дышать и питаться через зонд, испражняться — через катетер.

Все убито в человеке, кроме разума, памяти, кожных ощущений да способности шевелить головой. Человек этот, или остатки его, весь теперь принадлежит себе и может сколько угодно думать, вспоминать. «Парни всегда сражаются за свободу...» — таково внушенное ему убеждение, но на смену уже приходит сомнение: отчего же тогда не сражаются за свободу те, кто посылал и посылает парней в пекло войны? Им что, свобода не нужна? «Америка с боями прокладывала себе путь к свободе. Сколько тогда полегло ребят?! А что в итоге?! Намного ли у Америки больше свободы, чем у Канады или Австралии, которые за нее не сражались?» И дальше, дальше трудно пробивается мысль бывшего солдата Джона Бонхэма к такой сложной для него, но всем давно известной истине, которая, правда, не меняется в своей сути со дня творения: «Всегда хватает людей, готовых пожертвовать чужой жизнью. Они удивительно горласты и способны без конца разглагольствовать...»

Прочитавши это, начинаешь понимать, отчего роман Трамбо, написанный в тридцатые годы, экранизированный в 1943-м, подзамалчивался в Америке и трудно достиг берегов тех земель, где живут «мирные люди», но их «бронепоезд» постоянно «стоит на запасном пути», и они вроде бы против войны, но не всякой — есть ведь войны локальные, «освободительные», и просто походы в соседнюю страну затем, чтобы навести там порядок и научить соседей пониманию истинной демократии, а вот герой Трамбо считает всякую войну дерьмом, и ищет способы восстать против нее, и даже в его чудовищном состоянии находит возможность бороться за мир.

Когда-то Джонни был научен работать на радиопередатчике и знает азбуку Морзе, и вот он начинает стучом

головы «сигнальть» о том, чтобы его посадили в клетку, возили по земле и, сняв маску с того места, где было лицо, показывали людям — пусть видят истинный лик войны, пусть содрогнутся и, может быть, остепенятся, одумаются. Но в ответ бывший солдат, не имеющий даже имени, думающий, что он воскрес из мертвых, получает отзвук все той же несокрушимой демагогии: «Ваша просьба противозаконна. Кто вы?»

И снова «они заточили его в непроницаемость, втиснули обратно в утробу, в могилу, да еще и приговаривают: прощай, не тревожь нас, не возвращайся к жизни — мертвый должен оставаться мертвым...»

Когда-то Дальтон Трамбо работал в Голливуде, и по его сценариям было снято немало фильмов, в том числе идущий до сих пор на наших экранах «Спартак», и вместе с большой группой прогрессивных кинодеятелей он отказался отвечать на вопросы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, за что отбыл срок в тюрьме, после выхода из которой опальный сценарист под псевдонимом Роберта Рича продолжал зарабатывать свой хлеб в кино, сотрудничая со знаменитыми режиссерами.

Надо заметить, что кино благотворно повлияло на «перо» Дальтона Трамбо. Прочитав «Джонни...», любой внимательный читатель убедится, как материальна его проза, сжата до предела — маленький роман «Джонни получил винтовку» читается вязко, трудно, кажется книгой огромной, порой непереносимой по силе страдания и боли. И не зря Трамбо «приметил» и выбрал в соавторы «страшный» режиссер Стенли Кубрик. Автор этих строк, вроде бы что-то читавший и даже сочинивший в жизни, медленно «осваивавший» роман Трамбо по страницам, по абзацам, несколько раз с криками от кошмаров вскакивал по ночам с постели.

Страшная книга! Неистовая книга! Но, как рядовой участник войны, повалившийся в грязи окопов и на госпитальных жестких койках, могу уверить читателей, что война тоже страшная, ничего нет ее страшнее, и писать о ней надо правду, чтоб люди видели всю трагедию и мерзость человеческой бойни.

Дальтон Трамбо не был бы истинным художником, если бы изображал одни только страдания, страх и смаковал их. Нет, его Джонни Бонхэм — обыкновенный, земной человек, и ничто земное ему не чуждо, воспоминания о прошлой жизни, о кратком миге молодости, недолгой, но

такой доброй встрече с девушкой, о работе на пекарне — полны света и добродушного юмора.

А как блистательно написаны две медсестры, которые его обслуживают в госпитале. Он их не видит, не слышит, он их «чувствует» и до одной казенной, строгой и равнодушной тети не может достучаться. Она его и охраняет более надежно, чем любой тюремщик, чем любая цепь или каменная стена. Но вот Джонни по шагам почувствовал: в палате появилась молодая, ласковая сестра, и верит, что она его «услышит».

«У нее была легкая походка, тогда как дневная сестра, что работала так быстро и споро, — ступала тяжело. Новой сестре требовалось пять шагов, чтобы дойти от двери до койки. Значит, она пониже той, другой сестры и, вероятно, помоложе ее, потому что дрожжание пружин от этих незнакомых шагов казалось ему плавным и даже каким-то радостным».

Эта сестра не содрогнулась от жуткого зрелища при виде ран Джонни, не убежала стремглав из палаты. Она даже положила ладонь на его лоб. «Ладонь эта молодая, маленькая, влажная. Сморщив кожу на лбу, он дал ей понять, что слышит ее и благодарит за ласку и привет». «Это было вроде передышки после долгого напряженного труда».

Сестра расстегивает на нем рубашку и начинает чертить пальцем по груди. После долгих мук, сделав невероятное усилие, он «прочел» начертанное на остатках его еще живого тела: «С Рождеством Христовым!»

Джонни в припадке истерического счастья! Не знающий, сколько лет он пробыл в одиночестве, счастливый Джонни наконец-то нашел союзника и друга. «Это как ослепительный луч среди мглы».

Но не помог ему и этот союз. Попытка Джонни Бонхэма с помощью сестры милосердия связаться с миром, показать людям весь ужас войны признается «противозаконной».

Но что же тогда закон? Что? Подготовка к новой войне? Новое кровопролитие, смерти, калеки, страдания?

Нет, нет и нет. Джон Бонхэм, наперекор грозным силам войны, продолжает посылать сигналы миру, разбивая голову о госпитальную койку, шлет свой протест, свои требования, добытые страданием и кровью. «Если же вы собираетесь начать новую войну... если снова надо убивать людей, то мы этими людьми не будем... Мы люди

мирного труда и не желаем войны... Мы хотим быть живыми и ходить, и разговаривать, и есть, и пить, и смеяться, и чувствовать, и любить, и растить своих детей в полном спокойствии, в безопасности, чтобы они стали достойными и мирными людьми».

Дальтон Трамбо не был на войне, но так «проникся ею», борясь с силами зла, так возненавидел насилие и страдание, что смог создать одну из самых неистовых книг в мировой литературе, яростно сражающихся за нас, за нашу землю, за нашу единственную жизнь.

1989

ВГЛЯДЫВАЯСЬ ВГЛУБЬ
О повести Валентина Распутина
«Живи и помни»

«Поперек Ангары проплыла широкая тень: двигалась ночь. В уши набирался плеск, чистый, ласковый и подталкивающий. В нем звенели десятки, потом сотни, потом тысячи колокольчиков. И сзывали те колокольчики на праздник. Казалось Настене, что ее морит сон. Опершись коленями о борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперед, вглядываясь вглубь, и увидела: у самого дна вспыхнула спичка».

Тот, кто хоть раз испытывал чувство бессилия от невозможности помочь близкому человеку, погибающему на глазах, ужметя в себе, еще и еще раз переживая человеческую трагедию, и еще раз потрясет его свет этой самой спички, вспыхнувшей «у самого дна» не реки, нет, а жизни, таинственный, никем еще не угаданный, потусторонний, что ли, неотвратимо светящийся во все времена всем самоубийцам.

Простая из простых, молодая, перед миром и людьми чистая женщина наложила на себя руки, а во чреве ее ребенок, а в избе, узнав о ее гибели, умирает мудрый старик Михеич, свекор Настены, защитник ее и наставник на все военные одинокие бабьи годы. Но и на этом цепь не обрывается — крадется в каменную пещеру Андрей Гуськов, и ясно, что долго ему там без забот и помощи жены не протянуть, а уже кончилась война, и друзья Гуськова, оставшись в живых, уже возвращаются домой.

Вот и ему бы тоже открыто, заслуженно, с медалями на груди...

В нашей литературе так много говорилось и писалось о тех, кто был на войне, испытал ее, так сказать, на своей шкуре, и о тех, кто не был, что вроде бы недостача эта в биографии сделалась упреком литератору, берущемуся за «военную» тему, но пороку не понюхавшему.

Валентин Распутин не был на войне по простой причине — годами не вышел, но это обернулось в повести «Живи и помни» не изъяном, а преимуществом его перед теми, кто был. Ведь возьми наш брат бывший фронтовик писать о человеке, который до того устал на войне и от войны, что однажды забыл обо всем и обо всех на свете да и задал тягу домой, к жене и родным, так вот непременно в нас явилось бы чувство активного протеста, если не ослепляющей злости: «Ты, гад, устал, а мы, значит, нет!» И начали б мы этого самого Гуськова крушить и ляпать черной краской.

Распутин посмотрелся на бывших вояк и вдов, заслушался их, вник в самую суть войны и зашел на эту тему со своей глобальной стороны, поднявшись над материалом, а не задавленный тяжким его грузом.

Страшна, чудовищна война, нечеловеческие силы, надежда нужна, чтоб одолеть ее, а помощь тебе одна, но очень и очень важная помощь: сознание того, что за твоей спиной Родина, народ, и среди этого народа малая его частица — твои близкие — отец и мать, сестры, братья, любимая невеста или жена, и другого пути к ним нет, как через победу над врагом. Расслабился, забыл об этом — значит, позор, горе и черная кончина. Да кабы кончина на миру, где, как известно, и смерть красна. Нет, кончина звериная, потайная, тленом своим погибельным касающаяся всего живого, и в первую голову родных людей. Вот Настена-то несла, несла свой тяжкий крест да и сломилась под его тяжестью.

Печальная и яростная повесть, несколько «вкрадчивая» тихой своей тональностью, как, впрочем, и все другие повести Распутина, и оттого еще более потрясающая глубокой трагичностью, — живи и помни, человек: в беде, в кручине, в самые тяжкие дни и испытания место твое с твоим народом, всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразумением ли, оборачивается еще большим горем для твоей Родины и народа, а стало быть, и для тебя. Так от изображения, от размышлений о людях

маленьких и самых что ни на есть простых автор «незаметно», но настойчиво переходит и ведет за собой читателя к многомерному, масштабному осмыслению не только прошедшей войны, но и современной действительности, ибо человеческое бытие вечно и, стало быть, вечно движение жизни. А она задает загадки, пробует на прочность не одних только деревенских парней Гуськовых, она в любой миг любого человека может испытать «на излом».

Прям, но не прост путь самого автора к этой самобытной и глубоко нравственной повести — от несколько назидательных, порой схематичных рассказов и очерков к драматической повести «Деньги для Марии», написанной еще молодым литератором. Но уже в следующей повести — «Последний срок», произведении глубоко лиричном и умном, Валентин Распутин предстает вполне сложившимся художником, тонким психологом и стилистом. Далее следует почти не замеченная, но очень важная на творческом пути писателя повесть «Вверх и вниз по течению», в коей Распутин, завершив очень важный печальный этап в работе, как бы отошел чуть в сторону, чтобы взглянуть на ту дорогу, какую он сам себе торил, да и поразмыслить о дальнейшей своей судьбе, стало быть, и о судьбе родной земли. Размышления оказались плодотворными, если судить по следующему его произведению — «Живи и помни», лучшей, на мой взгляд, повести в нашей литературе последнего десятилетия. Чистый тон и высота этого произведения обещают движение автора к вещам еще более сложным, а читательское мое предчувствие подсказывает — может быть, и эпическим.

БОЛЬ

О повести Василя Быкова «Пойти не вернуться»

Когда будет издано вместе все написанное за четверть века замечательным нашим писателем-современником Василем Быковым, выстроится своего рода, если не история, то его, Быкова, личная летопись войны, развивающаяся как бы по двум направлениям — чисто фронтовому, окопному, и партизанскому, народному.

Сам Быков партизаном не был, он воевал на фронте, в пехоте, в маломерной артиллерии, был там ранен, и об этой войне начал и успешно продолжает писать, добываясь все большей объемности и углубленного психологизма в небольших по размеру повестях: «Журавлиный крик», «Третья ракета», «Атака с ходу», «Дожить до рассвета», «Его батальон». Кто из читающей публики не знает и не любит этих произведений, полных драматизма, достоверных до мельчайших подробностей фронтового быта, всегда четко распределяющих краски: белое — это белое, черное — это черное! Добро у него не смешивается со злом, меж ними даже не размываются границы, всегда видно, с кем сердце писателя.

Особняком в творчестве Василя Быкова стоит повесть «Альпийская баллада». Она-то, как мне думается, и послужила мостиком к той теме, которую мы привычно называем темой народной войны. Появляются «Круглянский мост», «Сотников», «Обелиск», «Волчья стая».

И вот перед нами новая повесть — «Пойти и не вернуться». Как будто привычно «быковская» — в прежних произведениях часто действуют двое: бегут из концлаге-

ря двое, двое отправляются на поиск, а то исполняют и совсем уж будничную работу — идут добыть продуктов для партизанского отряда, обложенного в болотах врагами. Да, повесть привычная, но в то же время еще более напряженная, страстная; простая по стилю и строю — и в то же время сложная, хотя и не многоплановая по замыслу и исполнению. И еще новость в творчестве писателя: на этот раз главным героем его произведения является женщина, и не в дежурном, затасканном смысле слова «герой», а, как окажется, в самом что ни на есть прямом смысле, хотя и автор, и сама Зоська Нарейко склонны считать: «Она была маленьким человеком на земле...»

Увы, земля рождает людей вообще маленькими и беспомощными, это потом жизнь, воспитание, среда, обстоятельства формируют их характер, жизнеспособность, совесть. Вот о совести-то больше всего и задумывается автор этого небольшого, но самого, пожалуй, драматического, если не трагического его произведения.

Никто из нас не рождается для войны, а Зоська Нарейко — тем более. Она только-только начала учиться в районном педтехникуме и была бы, наверное, славной воспитательницей детского садика или учителем начальных классов в сельской школе, потому что она «добрая, как ее мать», — это не раз повторит автор то своими словами, то в мыслях-воспоминаниях Зоськи. Наверное, вышла бы замуж за Сашку, которого хотя и не любила, но он за нею ухаживал, и пришла бы пора, он бы ее посватал, и она бы пошла, жила бы своим домом, нарожала бы детей, была бы хорошей хозяйкой и матерью, — в это верится, это подтверждает весь строй повести. Но война нарушила ход мирной жизни, сломала, опрокинула ее естественность, и тихая Зоська, «маленький человек», становится партизанкой. Вначале ее обязанности просты и обыденны: она состоит при кухне. Но вот пришел час, когда выпадает Зоське Нарейко выполнить свой долг, одной идти на задание, очень сложное и опасное: из партизанского отряда ушла в поиск и не вернулась группа партизан, бесследно исчезла, — надо или найти ее и установить с нею связь, помочь ей, или же проследить «по ниточке партизанской связи» путь партизан к гибели.

Положение сложное, фронт от Белоруссии далеко, слухи оттуда самые противоречивые: не то немцы взяли Сталинград и двинулись в глубь России, не то наши их шуганули от Сталинграда...

Для Зоськи Нарейко важно знать, что и как «там, под Сталинградом», но еще важнее выполнить свое дело, выиграть «свою войну». Увы, ей не суждено будет это сделать — шкурник присосется к ней и за ее неширокой спиной попытается спрятаться от войны, ибо у шкурника выработалась своя шкурная мораль: «Ведь тут борьба. Кто кого». В смысле кто кого переловчит, перехитрит, сохраняя себя. И у Зоськи, «напичканной пропагандой», почти также сформулирован жизненный принцип, но с «небольшим» изменением в конце: «Или мы их, или они нас».

Нет надобности пересказывать новую повесть Василя Быкова. Она небольшая по размеру, читается в один дых, от нее невозможно оторваться, а когда она кончится, еще какое-то время звучит в сердце горечь недоумения, боли, хочется броситься на помощь хорошим людям, облегчить их страдания, подставить свое плечо. Все они написаны великолепно, все запоминаются, едва только явившись на страницы: больной чахоткой Петряков, его помощник, юный, почти мальчик — Бормотухин, смирный пан с мудрой паненкой, сержант со своим «японским городовым», толстый Пашка, мужик Салей и даже оборотистая молодка, приехавшая со своим мужем-примаком (то есть окруженцем, вошедшим в ее дом в качестве хозяина) за лесом, чтобы подрубить созревшие нижние венцы ее дома.

Беру на себя смелость сказать, что хорошо знаю творчество близкого мне по духу, превосходного писателя Василя Быкова и радуюсь тому, что мой побратим по войне, честно и твердо выполняющий долг бойца и гражданина, новой повестью сделал шаг вперед в своем сложном и напряженном творчестве, прибавил еще одну страницу к героической летописи нашего народа, с огромным перенапряжением сил, с большими, часто горькими потерями выигравшего величайшую битву. В Белоруссии в борьбе с ненавистным фашизмом погиб каждый четвертый житель, и где-то, в этой массе безвременно, порой безвестно павших мужчин, женщин, детей, стариков, утасует, не успев разгореться, жизнь Зоськи Нарейко, воскрешенной благодарной памятью писателя, чтобы еще и еще мы восхитились величием человеческого духа, подивились его стойкости, нестигаемости. Мы видим в повести человека страдающего, делающего ошибку за ошибкой, гибнущего от несправедливости, черной злобы и коварной трусости. Но так праведна жизнь, так светлы помыслы этой юной, неискушенной девушки, что не льнет к ней грязь и хочется,

чуть переиначив поэта, воззвать: «За каплю крови, общую с народом, ее вину, о Родина, прости!»

Поставив в центр нового произведения женщину, автор не заискивал перед нею, не приседал, хотя где-то в душе и виноватился перед женщиной на войне вообще и перед молоденькой Зоськой Нарейко в частности, ибо война не то место, где надо находиться женщине, ей там гораздо сложнее и труднее, чем мужчине, а порой и просто невыносимо.

Изображение женщины в литературе вообще дело сложнейшее, а еще на войне, да на такой ужасной, как прошлая, — тем более. Но вот взялся мастер за дело, и все «женские слабости»: «грехопадение» смятенность и запутанность чувств, наивность, растерянность, неумелость — все-все такое вроде бы не идущее «героине», не мешает полюбить ее горькой и раскаянной любовью, страдать вместе с нею и за нее.

И в этом большая победа автора, доказавшего новой повестью, что писать можно о чем угодно, в том числе и о молоденькой девушке, захваченной вихрем кровавой, страшной битвы, только делать это надо умело, страдать за хороших людей, любить их открыто и так же открыто ненавидеть подлецов, порождающих зло и неправду на земле, в крутые смертные времена, а порой и в обыденной жизни запутывающих себя и таких вот чистых и доверчивых сердцем людей, как Зоська Нарейко, ибо «правда требует простоты, ложь — сложности...». Так сказал еще великий Горький.

... И В ПОСЕЛКЕ ТАГУЛ ТОЖЕ

Сибирская река Кеть, в которой вода «коричневая, как чай... Пахнет живой рыбой, илом и моченой древесиной», течет себе, течет, «вспыхивает», искрится» и, «словно расслабившись после тяжелой работы, свободно и вольно раздается вширь».

А на берегу реки Кети в небольшом поселке Тагул идет неторопливая жизнь, на первый взгляд безмятежная и даже идилличная, но жизнь, как река, она не только сливается с другими жизнями, она не только «искрится», но еще и «вспыхивает».

Главное действующее лицо повести «На реке да на Кети», молодого писателя Николая Волокитина — тетю Олю Типсину — я никак не могу решиться назвать героем или героиней. Портрет ее, что ли, неподходящ для этого высокого слова? «Сгорбленная и чуточку косолапая, как и все рыбаки-чалдоны, большую долю жизни проводящие сидя в лодке...», она еще, кроме всего прочего, курит трубку, еще и слов крутых не чуждается и много чего грубого, мужицкого сотворить умеет, особенно в работе.

И тем не менее облик ее складывается и западает в память не по этим внешним приметам. Глазами соседского парня и рассказчика Коли, друга тети Олиного сына Мишаньки, глядим мы на тетю Олю и открываем в ней одну за другой такие черты характера, что и сами невольно начинаем видеть и любить тетю Олю за ее почти детское удивление каждодневной жизнью, ее сметливость и ненадоедную, как бы самую собою разумеющуюся добро-

ту, которой ради она вроде бы и существует и которую делает каждый час, каждую минуту безо всякой натуги.

Просто тетя Оля есть такая, как есть, и жители Тагула, очень разношерстный народ, пользуются тети Олиными услугами так же свободно и бездумно, как пользуются они водой из реки или дышат воздухом.

Уже престарелая, с большими ногами, ловит тетя Оля рыбу и кормит ею всех проходящих в ее маленькую барачную комнатунку, отдает часть улова безалаберной цыганской семье, глава которой по имени Спартак именуется себя «трудовым пролетарием», а вот жить оседло и кормить ребятишек с женой не приучился. Тетя Оля еще, кроме того, лечит почти весь поселок от всевозможных недугов травками-муравками, лечит весело, с лукавинкой.

Мимоходом же тетя Оля пытается утешить бойкую и несчастную в любви Феньку, перестроить деда Шутегова на мужицкий лад, потому что тот всю жизнь своей «дебелой бабы боится», и вовлечь в полезное дело сына и друга его Кольку пытается.

Легкий у нее нрав, у тети Оли, смешливый. Ей великое удовольствие доставляет потешаться над неповоротливостью и неловкостью сына Мишаньки. Вот Колька рассказывает, как Мишанька учился в школе и, когда его попросили раскрыть «идейный замысел рассказа Тургенева «Хорь и Калиныч», ответил, что «Иван Сергеевич... товарищ Тургенев... вывел знаменитые образа». Но особенно самоуверен был ответ Мишаньки на вопрос математика: «Что больше: одна вторая или одна четвертая?» — «Ну дак... тут-то каждому ясно. Конечно, одна четвертая в два раза больше...» — «Ой-ой-ой! — трясет головой, закатывается тетя Оля... — Ой, тошнехонько мне, люди добрые!..»

Вот так и течет жизнь на реке да на Кети, в лесном поселке Тагул. И была опасность у Николая Волокитина скатиться в занимательное бытописание, угостить нас набором поселковых чудаков, которые бойким строем шествуют сейчас по нашей литературе и развлекают доверчивого читателя байками всевозможными, а иному читателю делается от такого чтения скучно...

Да слава Богу, не соблазнился легкостью сюжета молодой автор и как бы между делом углубил и оснастил свою повесть сказами тети Оли о том, как она в гражданскую войну помогала партизанам и, будучи раненной в голову, сумела добраться до них, чтобы предупредить о

намечавшейся карательной экспедиции белых. Еще более драматичен и одухотворен поэтично написанный сказ о том, как тетя Оля боролась за свою собственную любовь в молодости, за мужа будущего своего, отца Мишаньки, которого давно уже в живых нет.

Автор все время поворачивает к нам тетю Олю то одной, то другой стороной, и характер ее обретает все большую цельность и наполненность. И потому становится ясно, отчего к ней так тянутся люди, так просто, без ужимок и поклонов пользуются ее кровом, советом и помощью.

Затеял строить дом цыган Спартак, и где же он обойдется без тети Оли? Взятась она приплавить ему лес. И поплыли они на плоту по реке да по Кети — тетя Оля, Спартак, его жена Рада и еще цыган Артур. Но река Кеть может не только «искриться и играть бликами». Это сибирская река. И вот ветер «чиркнул по реке» и река в какой-то миг из гладкой сияющей стала «свинцовой и рыхлой...». И разбила, растащила плот река, а обласок (лодка), прицепленный к плоту, четверых не удержит. Это знает и понимает тетя Оля, да не понимают цыгане. И тетя Оля, ругаясь, проклиная и ласково уговаривая Спартака, отталкивает обласок, потому что у Спартака пятеро детей, а ей, тете Оле, уже за шестьдесят...

«Тетю Олю мы нашли только на четвертые сутки. В еловом заливе. Среди щепок и бревен в затопленных тальниках».

Проста и естественна жизнь тети Оли, прост и естественен ее конец. Жить для людей, быть им необходимым можно и нужно везде, и на реке Кети, в далеком поселке Тагул — тоже.

С горьким чувством утраты закрываешь повесть Николая Волокитина, но высветлено оно, это чувство, щемящей любовью к людям, тягой к ним. И не покидает уверенность, что на Кети ли, на Чуне ли, на реке Мане ли или на самом Енисее много живет таких вот Типсиных, и мир держится ими, добротой их бескорыстной, нескончаемой.

И не хочется почему-то по традиции делать замечания молодому автору, хотя много еще недочетов и промахов в его первом произведении.

Пусть-ка автор, так душевно и талантливо рассказавший нам о тете Оле Типсиной, своим умом дойдет до всего, преодолеет рыхловатость, перегруженность слога местными речениями, научится строже отбирать материал для

своих вещей. Пока он еще увлекается, и многовато мелькает оттого в его повести людей, а точнее, имен их, и совсем ненужных подробностей. К мастерству ведь тоже идут через болезни, утраты, и не всегда литературные няньки приносят одну только пользу, порой они сбивают с панталыку и подминают под себя «литературного младенца».

Живет Николай Волокитин в одном из красивейших мест Красноярского края, в селе Казачинском. Неподалеку от этого села бурлит, пенится и гудит неукротимо знаменитый Казачинский порог. Не одному уже сибирскому писателю родная и прекрасная земля помогала твердо встать на ноги, а несмолкаемое гудение порога, его могущество и стремительный бег Енисея меж грозных камней добавляли сил, яркости красок и страсти их самобытному слову.

ПЛЕЧО ТОВАРИЩА

С Петром Борисковым мы познакомились и близко сошлись на Высших литературных курсах. Как-то разговорились, и оказалось, что в сорок втором году осенью служили в одном запасном полку, в пехотном, и, зная, какое плохое зрение у Пети, я, естественно, поинтересовался: как же он в армию угодил, да еще в пехоту. Ведь стрелять же надо из винтовки.

— А я обманул военную комиссию, чтоб попасть на фронт, — простодушно улыбаясь и помаргивая подслеповатыми глазами из-за толстых стекол очков, ответил Борисков. — Не мог же я сидеть в тылу, когда все мои сверстники там... воюют.

В этом поступке весь Петя Борисков! Душевное расположение к людям, заинтересованность в их судьбе, а значит, в судьбе народа, Родины своей, сострадание, доброта и какая-то неистребимая, порой наивная вера, что все в мире и в первую голову в человеке устроено по идеальным чертежам и только надо помочь человеку высвиться до идеала, — вот самая, пожалуй, главная черта характера этого много пережившего, немало страдавшего и глубоко мыслящего писателя, верного товарища и человека.

Всем, кто знает Петю, известно, что он любит поразмышлять вслух, и в этих размышлениях часто он бывает идеалистом, но никогда и ни в чем не бывает равнодушным человеком.

Жизнь распорядилась так, что время свое и силы Бо-

рисков был вынужден расходовать на общественные и семейные дела, и оттого написал немного, однако и по этому немногому можно видеть, что проза Борискова похожа на него самого, она бывает неуклюжа, рассудочна, но везде и всюду, в очерках, в рассказах, в драме ли, есть главное — искренность и доброта, без чего, как известно, искусство, а тем более литература, не только невозможны, но и попросту никому не нужны, ибо первостепенная задача писателя — противостоять злу, утверждая добро.

На жизненном примере Пети Борискова убеждаешься: чтобы учить добру, надо прежде всего быть добрым самому — везде и всюду, постоянно, терпеливо, даже если судьба делает все для того, чтобы ты озлился на людей и на себя. Но этот легкий, увы, не так уж редко избираемый людьми путь в жизни — удел слабых и безвольных.

Сильному и свободному человеку всегда бывает и будет труднее, но сильными и свободными держится мир, утверждается прекрасное на земле.

Вот почему я верил и верю, что Петя Борисков, мой давний и верный товарищ, напишет еще очень и очень много, — напишет задуманный роман, пьесы, рассказы, но самое главное, сделает много людям добра, ибо творить добро, и не только пером, каждодневно, ежечасно, есть воистину назначение его жизни, — такова уж душа этого человека, душа нараспашку, как говорят в народе.

Пятьдесят лет — это немало для людей нашего поколения, много пережившего и сделавшего. Но я никак не могу представить Петю старым, усталым. Мне кажется, он не изменился с тех пор, как я его узнал, да и не способен меняться — все так же бьет ключом энергия его и деловитость, все так же юношески наивен он порою в рассуждениях, в отношениях к людям и к жизни, что является признаком молодости его доброго сердца, и, верю я, как и в сорок втором, если кому-то — нам ли, его товарищам и братьям по перу, родине ли нашей многострадальной — сделается трудно, нужна будет помощь — Петр Борисков, не думая о себе, преодолевая любые испытания, придет на помощь, возьмет на себя любую тяжесть, или, как опять же говорится в народе, подставит свое плечо под комель.

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

Эта, исполненная светлой любви и печали фраза все время звучала во мне, пока я читал книжку Игоря Лободина «Пучок земляники».

Долго и трудно готовил свою первую книжку молодой писатель. «Ягодка по ягодке» в течение нескольких лет собирал он свой маленький «пучок». И получилась книжка хорошая, уверенная.

Вот отрывок из рассказа «Белым днем», где повествуется о том, как немцы среди бела дня выгоняют из села жителей, чтобы сжечь дома и обездолить людей.

«Готовый в дорогу, я бесцельно обошел гулкой опустевший дом с распахнутыми настежь дверями, опрокинутыми в суматохе стульями, голыми стенами, на которых еще вчера висели фотокарточки в ореховых рамках, тусклое зеркало, икона под рушником в святом углу, украшенном соломенными жаворонками, из бумажного крепа крыльями. Этот угол, сиявший по утрам лампадой, теплой позолотой витого оклада иконы, теперь был сумрачный пустой. В одном из окон пузырилась занавеска. Она то падала, прилипала к выбитой шибке, то поднималась, открывала лудку подоконника. На ней в пустой бутылке отчаянно жужжала муха, лежали забытые ножницы и Танькина тряпичная матрешка с яблочко-круглой и полоторванной, на живой нитке, головой. В разбитое окно тянуло сырым холодом, едва заметным паром тумана. Вместе с теплом из дома, казалось, ушли его прежние за-

пахи. В пустых комнатах уже сквозил отчуждающий зем-
листо-тяжелый запах покинутого жилья».

Я не буду увлекаться цитированием, хотя, признаюсь, делал бы это с большой охотой. Очень уж полны — одухотворенны и образны — строки в этой небольшой, скромно изданной книжке.

Уже по этому кусочку из рассказа нетрудно догадаться, кто есть любимый писатель Лободина. И жил он в тех же местах, довольно-таки неприметных на посторонний взгляд. И все же умел Бунин увидеть здесь столько природы, столько ее прелестей и так их воспеть, что вроде и нет краше земли, чем орловская. Видно, не в природе дело, а в душе, которая умеет слышать свою «тихую родину», в глазах художника, которому дано увидеть такое, мимо чего люди часто проходят скучно и равнодушно. Ведь вон та же буйная, красотами переполненная Сибирь описывается иными писателями так, что зевать хочется от скуки.

Орловца Лободина не пролистаешь! Наоборот, нет-нет да и вернешься к тому или иному абзацу, да и «обсосешь» его; перечитаешь, пораженный дотошностью его глаза. Он видит, что «на телегу, отправляющуюся в изгнание, родная береза насорила желтого листа, и на корове, меж худыми кострецами — на них хоть сумки вешай — «желтели листья». Бросит мимоходом: «В подстепье теперь и кусты в радость, потому как настоящие деревья, будто старики, повымерли». Или: «За решеткой окна, над рожью, плавилась корни молний».

И ныне живущего наставника Лободина, соседа по земле, курянина Евгения Носова почувствуешь в этой книжке. Ему и посвящен лучший рассказ в сборнике «Крыша» — незамысловатая история о том, как у Арины Каблуковой, недавно вышедшей на пенсию и живущей в деревне Обыденовка, что затерялась «в море ржи на суходольном косогоре...», ветром сорвало крышу и как соседи и пастух Николай покрыли ее новой, «прогонистой» соломой.

Много радости, много света в этом в общем-то грустном рассказе, из которого узнаешь не только о жизни Арины, но и о нелегкой любви двух людей, не соединенных жизнью, о привязанности молодой и доброй женщины к детям, которые могли бы быть ее детьми, да не «сулил Бог».

Всего в первой книжке Игоря Лободина семь рассказов. Они довольно ровно сделаны, хотя немножко выби-

вается этюд «Адажио», от которого ждешь чего-то большего и ровно бы обманываешься в ожиданиях, ибо уже настроен предыдущими рассказами на спокойный подробный разговор о тихой, неприметной жизни, наполненной простыми, но поэтическими житейскими буднями.

Пересказывать Лободина трудно, потому я не стану этого делать. Лучше прочесть его книжку и порадоваться его уже крепкому слову и тому, что в литературу нашу приходит терпеливый, несомненно талантливый труженик, умеющий не торопиться в работе и взвешивать слово, как взвешивает каменщик на ладони кирпич, прежде чем положить его в стену дома, где было бы хорошо и тепло жить людям. Лободину предстоит еще проделать трудную работу, оставаясь верным духу и звуку знаменитого земляка, преодолеть его ощутимое влияние. Но я верю, что он справится с этим, поручкой тому его серьезность в творчестве, ведь до того как опубликовать рассказ, молодой писатель много раз переписывает его, выверив каждое слово на слух, на вес и на запах.

ЗОЛОТИНКА

Все, кто когда-либо бывал в Красноярске, непременно замечали часовенку на Покровской горе, которая так установлена, к тому месту приделана, что с какой бы стороны ты ни шел, ни ехал, ни плыл, ни летел, первой непременно увидишь ее.

В прошлом году я с радостью заметил на часовенке реставрационные леса. Пора, давно пора привести в порядок эту разоренную и обезображенную достопримечательность города — не так уж богат Красноярск архитектурными памятниками.

... А была на этом месте когда-то караульная вышка, и гора называлась Караульной оттого, что стоял на ней самый настоящий казачий караул, охранявший от набегов Красноярский острог, не единожды горевший, многие напасти и беды претерпевший и все же выстоявший, доживший до нынешних времен, до грандиозного размаха строительства.

Сюда-то, на гору Караульную, к караульной вышке, поднимается умирать старый казак Афонька — герой ладной и складной книги Кирилла Богдановича «Люди Красного яра». Перед тем как подняться на гору, исполняет казак Афонька последние дела на земле, прощается с родней своей, дает такие простые и надежные наказы сынам и внукам: «Ну вот, собрались все, — заговорил дед Афонька после того, как долго и молча оглядывал их. — Вот. А мне, стало быть, в иной путь пора...»

Троекратно поцеловав старшего сына, тоже Афоньку,

отходящий «в иной путь» казак наказывает, чтобы все жили семейно — оброк один будет, чтобы к службе государевой радели и в «шатости» друг дружки держались, а главное, чтоб помнили, что «наш корень сибирский беречь надо.. И никуда с Сибири... не сходить».

Дальше идут просто, но эпически широко и звучно написанные Богдановичем картины прощания с землей, сделавшейся родной и любимой казаку Афоньке, с острогом, который он не раз защищал от набегов степняков и дуроломов-воевод.

«Он шел по острогу сам. Шел медленно, часто останавливался, глядячи по сторонам. По бокам шли оба Афоньки, а сзади Тишка вел в поводу оседланных коней».

И вот семейная свита на Караульной горе. Сыны, что «овершились» при броде через речку Качу, помогли старому казаку спуститься на землю.

«Он закинул голову как можно выше и увидел клок неба, слепящего своей голубизной. Эта голубизна ослепила его и начала падать на него сверху: стало светло-светло, до боли в глазах. Он еще раз вскинул голову и уже больше ничего не увидел... Афонька присел рядом с телом отца и задумался. О том, что и он вот умрет, но зато останутся дети его и их дети. О том, что надо исполнить наказы отца. Потом опять стал думать о смерти. Не о своей, а так, почему она есть? Жили бы и жили все не помирая. Земли эвон сколь — на всех бы хватило... А колокол на остроге все бил и бил. И на сопку поднимались все новые и новые люди, и все подходили к усопшему, сняв шапки, крестились и желали ему Царствия Небесного».

Я намеренно начал разговор о книге «Люди Красного яра» с конца: ведь любая жизнь все-таки итогом, полезностью значима. А жизнь простого казака Афоньки, о котором написаны сказы, была полностью отдана служению людям, родной земле, утверждению на ней добра и справедливости.

Много всякой всячины увидит, узнает и сотворит этот самый казак сибирский, даже и в чины выйдет — десятником, после и сотником станет, но не утратит при этом доверительной простоты в отношениях к людям, строгости и чести в исправлении «службы государевой», проявляя сноровку, терпение и храбрость, так необходимые в тех диких краях и в ту пору людям, заселяющим и обживающим новые земли. Но, как ни крути, казак Афонька ухватками, характером, всем укладом жизни больше все-

таки хлебороб и промысловик, и устремления его самые земные.

Никакой казацкой спеси в Афоньке, никакого гонора — земной, «востротолый», то есть умеющий много видеть, он тянется к земле, к знаниям и сходится с монахом-летописцем Богданом, который затеял доброе, но по тем временам шибко «крамольное» дело — описать для будущих людей, как и что тут было. Да вот беда — во все века и всем людям нравилось и нравится, чтоб помнилось и писалось о них только одно хорошее, а летописец врать не может, записывает все как есть. Кому ж такое поглянется?

Воеводы и казацкие главари устраивают пожар, в котором гибнет летопись Красноярского острога, и бедный монах Богдан уходит в края иные, «слезьми уливаясь»...

Читая книгу Богдановича, я подумал вот о чем: сколько же труда, старания и умения, большого умения, не побоюсь этого слова, потребовалось автору, чтобы собрать по крохам, редким записям, ведомостям и старым документам историю родного города и края, да и написать об этом, как уже говорилось, складно и ладно, не заполняя бумагу дешевыми «страстями-ужастями», которые так любят, просто обожают громоздить писавшие и ныне пишущие о Сибири авторы, эксплуатируя «экзотику Сибири», «сибирский характер», который вроде бы как издавна пришел, так и закаменел со страшным мурлом головореза, насильника и каторжанина.

Было, все было здесь, в великой сибирской глухомани, — и грабежи, и смертоубийства, как, впрочем, и в лесах муромских, и в достославных «градах Новгороде и Пскове», да и по всей Руси нашей много чего бывало, — только зачем же литературные-то скамейки ломать?

Богданович не ломает их, а уж о таких ли далеких и смутных временах повествует! Вот бы, казалось, напустить ему мороку, крови, смертей, бесовства и колдовства в сказе «Афонька правит посольство», но Богданович не поддается искусу ложной занимательности, ведет сказ мягко, изящно и даже с юмором. Мне особенно понравилось место в сказе, где казак, то бишь посол Афонька, вступил в переговоры с киргизами: «Заспоривши, Афонька вгорячах и не заметил, как он, не дожидаясь, что ему толмач переложит, начал говорить по-киргизски. И киргизин, и толмач тоже вгорячах такого не приметили. А толмач уже и вовсе путал, кому и как говорить, и кричал

Афоньке по-киргизски, а своему киргизину по-русски... Афонька меж тем рассердился вконец: «Да вы чо?! Вы на конях, а я пешки пойду! Да ни в жисть не бывать, чтобы посол пешим шел...» — Афонька даже плюнул с досады и сел наземь... Конные киргизы шумели, грозили, за сабли и луки хватались. Тогда Афонька вскочил, натянул шапку, покрепче и, не глядя по сторонам, пошел обратно, откуда ехал».

Хорошую книгу написал мой земляк Кирилл Богданович. Мне же в заключение хотелось бы поделиться вот какой невеселой мыслью: езжу я немало по городам и весям российским, всюду встречаюсь с людьми, которые, не жалея, как говорится, живота своего, роются в пепле истории, выискивая редкие, бесценные крупицы из далеких времен о прошлом «своего города», своей родной земли, озвучивают голоса наших далеких славных предков, делают иногда это любительски, а иногда и по-писательски профессионально, как вот Кирилл Богданович. Труд их мне хочется уподобить труду замечательного вологодского реставратора Николая Ивановича Федышина, который из-под многих слоев красок, из-под закостеневшей копоти и пыли веков добывает и «открывает», и высвечивает истинные, бессмертные лики на фресках и иконах, сотворенных гениями древности. Но нигде, ни в одном городе никогда не видел я, чтобы энтузиаст-бессребреник числился бы в почетных гражданах, чтобы портрет его красовался на Доске почета рядом с Героями Труда и патриотами родного края; и премий, областных или краевых, сколь мне известно, ни один из них так до сих пор и не удостоился.

Странно! Стоит только местному композитору-баянисту написать песню о «родном городе» на мотив новомодного шлягера или даже хотя бы какую-нибудь бравую «таежную-молодежную», как начинают все тому композитору хлопать, на всякие симпозиумы и совещания его посылать, в газетах карточки его печатать, всевозможные премии ему присуждать...

Но вот кто, не жалея сил и здоровья, дни и ночи, иной раз тратя отпуск и выходные дни, ведет поиск, чтобы ныне здравствующие люди знали свое прошлое, тот, кто иной раз даже жизнь кладет «на паперть» своего города, еще нет-нет да нагоняй получит за излишнее любопытство или какую-нибудь спутанную дату и цифирку, кличку чудака приобретет...

Видно, и впрямь судьба летописца — судьба подвижника. Может, в этом его назначение и счастье? Будем думать так. И этим утешим себя и тех симпатичных, чаще всего тихих, умных и самоотверженных людей, которые сидят в архивах, либо копаются в запасниках музеев, в земле и развалинах, извлекая ту самую «золотинку», без которой казна и история Отечества нашего есть неполная.

САМОРОДОК

Мальчику было одиннадцать лет. Со старшим братом и с друзьями он пошел по кедровые шишки в лес, упал с кедра, переломил позвоночник. Полная неподвижность, почти никаких надежд на выздоровление.

Несколько лет мужественной борьбы за жизнь, несколько лет, наполненных страданиями и страстным, захватывающим трудом — не вдруг, не сразу верится, но родные Бори Никонова уже нашли, собрали одну тысячу семьсот пятьдесят страниц рукописей покойного юноши.

Журнал «Уральский следопыт», с которым у Бори еще при жизни завязалась дружба, печатает в 1975 году его «Дивногорские этюды». Меня попросили познакомиться с этой рукописью и что-нибудь написать о ней, так как Боря — мой земляк, он родом из Новоселовского района Красноярского края.

Загадка таланта! Существует ли она?

Да, существует, еще раз с большей уверенностью подумал я, прочитав рукопись «Дивногорских этюдов».

Ну разве это не загадка: такой же, как многие миллионы мальчишек, из такого же, как тысячи других, русского села, со странным, враз запоминающимся названием — Аспагаш — он с детства видит и боли человеческие, с ранних лет умеет сострадать всему живому и творчеством своим (первый рассказ он написал еще мальчишкой) призывает к этому всех нас, живущих на земле.

В сущности, все произведения Бори Никонова — рассказы, зарисовки, прозаические и стихотворные этюды

как раз об этом — человек, помогающий человеку добром, сам становится добрее душой, и ему открывается прекрасный мир, полный добрых людей, яркого солнца, дивной поэзии, чудесной природы. Мне многое понравилось в рукописи покойного юноши, но особенно близки те рассказы, где действуют ребяташки, — умение писать для ребят и о ребятах с любовью есть первый и верный признак даровитости литератора. По-особому как-то тронул меня рассказ «В стороне от дороги» — какое было дано юному автору чувство меры и умение обобщать! Везде, во всех рассказах у него герои поименованы, а тут вдруг просто «мальчик» зовет человека, одна фамилия которого дает почти полное представление о нем — Голов! — спасти умирающую клячу. «Портрет» этой лошади, ее мучительный уход из жизни, поведение двух героев — мальчика и врача Голова, их отношение к смерти лошади написаны так точно, с такой пронзительной болью, что невольно закрадывается мысль: «Да полно! Не может быть, чтоб неопытный автор этакое написал?!»

Из всех «биографических» рассказов Бори Никонова рассказ про умирающую лошадь мне кажется самым «биографичным» — это он сам, обреченный автор, зовет людей на помощь. Все знают, что смерть неизбежна, а он, «мальчик», просит «что-нибудь» сделать и горько, безутешно плачет, когда видит, что смерть не побороть, — такие слезы не бесследны, даже человека с убийственной фамилией — Голов они проняли и если не повернули в нем все, так хоть что-то «с места стронули...».

Даже по одной книжке, по любовно собранным и отредактированным «Дивногорским этюдам» можно заключить — много отпущено было природой Боре Никонову, или, старинно говоря, Создатель щедро метнул в сибирское село Аспагаш золотых зерен, а они обернулись самородком, да судьба распорядилась так, что самородок лишь блеснул яркой гранью и погас безвозвратно.

Какое-то горькое чувство, не только сожаления, но и вины, остается в душе, когда узнаешь о короткой жизни Бори Никонова. Знаешь, ведаешь — всегда так бывает, если прежде времени гибнет талант, но ничего с собой поделать не можешь и еще горше на сердце, если талант этот, как мартовский сибирский первоцвет, — только-только сереньким мохнатым птенцом вылез на солнцепек из камней, чуть приоткрыл чистые кремовые губы, и вдруг случайным порывом ветра его сломило, унесло, не давши ему ни расцвести, ни рассеять семя по земле.

Дивногорск, где жил с девяти лет и кончил свой короткий путь Боря Никонов, всего в получасе езды от моего родного села Овсянки. Я бывал в те годы, когда Боря уже лежал прикованный к постели, в Сибири, в родном селе и на строительстве Красноярской ГЭС, но ничего не знал о том, что в соседстве живет и мужественно работает больной человек, а ведь так много приходится читать бесполезного, так часто приходится заниматься пустыми и неблагодарными людьми! Думается, удалось бы поддержать, ободрить даровитого юношу, да что теперь об этом толковать?! Просто постараться надо любовно сберечь то, что оставил нам этот многострадальный и мятежный сибиряк.

Загадка таланта. И загадка смерти... Почему эти слова, понятия эти встали вдруг в моих мыслях в один ряд — они же несовместимы, как «гений и злодейство»? Да, вот почему? Сотни раз и я, и мои деревенские корешки бывали в лесу, лазали по деревьям, хаживали по тем самым местам, где подстерегала Борю беда. Однажды я тоже сверзился там с кедра, но угодил в грязную болотину. Почему же ловкий деревенский парнишка, который мог «на ходу подметки рвать», ничего и никого не боялся, был верным другом, любимым сыном и, быть может, надеждой нашей литературы, подвергся такой напасти, таким испытаниям и такой мучительной смерти?..

Тут же выстраиваются в памяти нелепые смерти на войне и невероятные спасения от них, и все кажется — вот был бы в лесу тогда вместе с ними, с шишкарями-мальчишками, глядишь, и уберег бы Борю от беды...

Почти каждое лето я езжу на родину, в Сибирь, — тянут туда не только воспоминания детства, но и печальная память о тех, кто был и жил когда-то с тобой и кого не стало на земле. К этой неизбежной и вечной печали добавилась еще одна капля, и теперь, глядя на горы и перевалы, темнеющие в поднебесье, буду знать — там, за стыком двух рек — Маны и Енисея, за старым Знаменским скитом, за Дивными горами, одетыми в густую шубу кедрочей, витает дух юного поэта, в каждой листке, веточке, хвоинке и цветке присутствует его светлый взор, его доброе и теплое дыхание, и, согретая этим дыханием, светлой его памятью и словом, родная моя природа, край мой отзовутся в душе людей и тихой печалью, и благодарной любовью.

ТВОИ ТИХИЕ РУКИ

О стихах Михаила Воронежского

Стихи Михаила Кузькина-Воронецкого обладают одним завидным качеством — их хочется читать вслух:

...Здесь между темных плит,
Вросших в июльский зной,
Под рыжим курганом спит
Предок раскосый мой...

Страшен он был и зол.
Жизнь нелегко сберечь.
В сердце ему вошел
По рукоятку меч...

Качался с водой стакан.
Дед, как всегда, суров.
Река звалась Аба-кан,
Что значит — медвежья кровь...

Внутренняя мускульная сила стиха как бы рвется из молчаливой оболочки наружу, и хочется не просто читать эти стихи где-нибудь в зале, вселюдно, нет, их охота выкрикнуть где-то в степи, на дороге, «для самого себя», выкрикнуть просто так, от избытка чувств и сил.

Стоит он на кургане — всадник —
Среди камней, среди травы.
Он весь степняк — в посадке ладной,
В наклоне черной головы...

Нагайку ветер чуть качает...
Стоит, забыв жену, жилье,—

Влюбленный в вечное молчанье
И в одиночество свое.

Но это, так сказать, «голос крови», это тот самый потомок-степняк поет и чеканит стих под стук конских копыт, что «лицом на него похож, здесь через сотни лет, в юрте из конских кож я родился — поэт». Но ведь в крови сибиряков, даже если они и «раскосы», напутано всякого, по бабке Воронежский восходит к ссыльным полякам, и не могла же гордая кровь бунтовщика «не схлестнуться» с вольной и дикой кровью хакаса. Что же высеклось из столкновения? Чем отозвалось в душе поэта эхо давних степных кочевий и гонимых за непокорность, страдающих «гордецов» поляков?

Вам стала пухом мать — земля сырая?
Родились, жили, канули — и пусты!..
Но отчего ж, в веках не умирая,
Связала нас нерасторжимо грусть?..

...Лежат, а как страдали? Как любили?
Какою страстью нам они близки?
И были ли они? Конечно, были.
Иначе этой не было б тоски.

И вот оно, как следствие этой вечной нашей тоски о прошлом, о том, кто был до нас, до боли острое, кинжалом вонзающееся в сердце ощущение Родины.

Я жадно пил. Дрожали руки.
Котлы, шипевшие в огне,
Гортанные глухие звуки —
Казались сказочными мне.

В ночной степи кричали звери.
Меж юрт, черневших у ручья,
Шагал я, веря и не веря,
Что это Родина моя.

Не всем, далеко не всем современным поэтам удастся преодолеть эту тоску по своей малой родине, и бывает, так они и остаются навсегда на той маленькой полянке детства, которую топтали когда-то босыми детскими ногами. Уж ни цветка, ни травинки на той полянке нет, а они все ходят и ходят по кругу, все топчут и топчут ее, вымучивая строки про дым над отчими трубами, про березки и тополя под родным окошком, про бабу и деду и про девушку, что пела за околицей, звала, да куда-то по-

том делась безвозвратно, скорей всего уехала в город, на фабрику, и вышла замуж за нелюбимого...

Рост, мужание поэта заключается и в горестном ощущении утраты детства, юности, первой любви и той же малой родины. Но ощущения, чувства поэта, входящего в пору зрелости, не могут переходить в нытье, с возрастом они густеют в крови, ток их делается нетороплив, удары сердца реже, но весомей, взгляд становится пристальным, слезы умиления не должны застить его — жизнь поработала на «поэтической пашне».

И вот, когда, забыв про суету,
Гляжу на лес — он рядом ли, далек ли,
Как будто бы разглядываю облик,
В котором вечность скоро обрету.

...И потому целую рыжий склон
Земли с дубами перед увяданьем,
Что сохранят до будущих времен
Загадку моего существования.

Если бы мой земляк Михаил Кузькин-Воронецкий написал только о загадке своего существования, наверное, и тем бы уже запал в память, но ему дано было расширить рамки, а точнее, разорвать путы риторики, ставшей в современной поэзии не просто однообразной, но порой и надоедной. Но...

Как ни досадуй, как ни бейся,
А путь к себе — всегда сначала:
Всегда опять с последним рейсом
Плыть от обжитого причала.

И плыть не куда-нибудь, а в самую счастливую пору, пору поздней любви, и, достигнув берега, на котором редко высаживаются нынешние поэты, с изумлением и восторгом приподальым, самому еще непонятным, воскликнуть:

Когда ты тих, как лес осенний,
Когда виски уже седые,
Вдруг открываешь в изумленьи:
Любить — ведь это все впервые...

Впервые где-то за Окою,
В избушке возле переправы,
Вдруг, заболев глухой тоскою,
Упасть в желтеющие травы...

Пересказывать любовную лирику — дело неблагодар-

ное и бессмысленное. Ее надо читать наедине с собою, чтоб вместе с поэтом пережить и радости, и муки, какие она, эта самая любовь, несет с собою, и в себе особенно, когда «виски уже седые».

Читая Михаила Кузькина-Воронецкого, невольно сам начинаешь чувствовать подъем и просветление в душе, словно и тебя коснулась частица света, озарившего чью-то жизнь на склоне лет. И хотя у этого чувства нет юношеской восторженности, беззаботности, а больше тревоги, смятения — все равно невольная волна ответной благодарности, доброй зависти и жажды прекрасного возникает в сердце.

А какое самоутлубление произошло в самом поэте и как от этого окреп голос его! Нет вроде бы ни «степной экзотики», ни внешних примет пейзажа, а читаешь — и захватывает дыхание, ибо сам соперничаешь, сам ты уже вовлечен в стихию чувств, движение головокружительно-го, счастливого и тревожного полета:

Разбудила меня тишина.
Память с явью напрасно боролась:
Еще долго ловила она
Твой из сна исчезающий голос.

Я сентябрьскую вижу твою
Прядь волос у лица... Неужели
Не приснилось тебе, что стою
У твоей безмятежной постели?

Как, впадая опять в забытье,
Целовал твои тихие руки,
Как нашептывал имя твое,
Просветленное болью разлуки?

Ах, какой очистительный сон!
Что за странная тайна сокрыта
В том, что был я на миг вознесен
Над пределами нашего быта?

Словно вышел, минуя года,
Я во времени том недалеко,
Где не будет у нас никогда
Ни размолвок, ни ссор, ни упреков...

Люблю себя на желании читать и читать кому-нибудь стихи Михаила Кузькина-Воронецкого, делиться радостью их открытия, цитировать их, повторять. Но стихи все-таки лучше всего читать самому, то есть каждому, кто любит истинную поэзию, делать это по отдельности.

ЗВУКИ РОДИНЫ

О книге Сергея Заплавного «Мария»

Мы плыли тихой осенью, по тихой воде, на тихоходном пароходе и радовались всему, что видели, и наговорились уже вдосталь и замолкли, каждый уйдя в себя, в свои мысли, в знобящую радость, всегда занимающуюся в душе человека, когда он после долгой разлуки видит «родные русские места», прикасается к ним сердцем.

Все вокруг тогда начинает ровно бы звучать чистым, вечным звуком, светиться тем незамутненным светом, который озаряет нас в минуты редких свиданий с чем-то исконно родным.

Мы — это небольшая группа писателей, совершающих творческую поездку по Томской области в честь пятидесятилетия Советского государства. Все из разных концов страны, все люди разные и в то же время единые, уставшие от городского шума, суеты и радующиеся и Оби-реке, и осеннему лесу, и рыжеющим лугам, и птичьему граю, и духу захватывающей сибирской обширности, как чуду первосотворения.

Томичи в первый день пути все нам рассказывали да показывали, но и они выдохлись, неотрывно смотрели на родные просторы, и можно было угадать по лицам, что не могут они всего, что у них на душе, нам высказать, и не сумеем мы, сколь нам ни говори, полюбить эту землю так истоиво, как любят ее они.

И долго так вот плыли мы, и нас не тяготило, не разъединяло молчание, а, наоборот, сближало, рождало пони-

мание и уважение друг к другу, переходящее в растроганность и родство.

— Вот неподалеку отсюда, в такой же деревне на Усть-Бакгаре, я работал учителем,— тихо сказал Сережа Заплавный — томский поэт — и облокотился на борт парохода.

Все впились глазами в деревушку, рассыпавшуюся по подмытому яру, издырявленному ласточками, отыскивая в ней какую-либо особенность и значимость, поскольку в такой же работал не кто-нибудь, а наш товарищ по поездке, человек поэтический, давно уже здешний.

Деревня была как деревня — с огородами, выходящими к реке, банями на огородах, с кучами сохлого навоза возле стаяк и густой крапивой на межах, с жухлыми кустами картошки, наполовину уже выкопанной, с редкими тополями возле насупленных, суровых ликом сибирских изб.

Она ушла за поворот, та деревушка, и запомнилась лишь амбарная стальная полоска на сельском магазине, и выцветший плакат на тесовом лбу клуба, стоящего середь улицы. Но голос Сережи, слова его: «Вот в такой же деревне я работал» — что-то тронули во мне, где-то я уже слышал строй этих слов и тон, которым они произносились.

И тут я вспомнил — в «Марейке», первой прозаической вещи Заплавного. Вся эта немудрящая по замыслу повесть звучит за душу берущей музыкой народного слова, рожденного людьми, искони населяющими эту землю. «Мелодия» первой повести поэта, пробующего себя в прозе, которую только люди, не представляющие совершенно нашего труда, считают делом более легким, чем сочинение стихов, меня и покорила. И за нее, за мелодию, надеюсь, простит читатель автору и налет литературщины, и незаконченность, схематичность образов некоторых второстепенных героев. Но своей уважительностью и добротой к людям, ладно и напевно говорящим, ладно и уверенно живущим на богатой, да не вдруг открывающейся земле, автор добивается доверия к себе и к своей первой повести — а это уже немало! Впрочем, под стать земле родной и люди, описанные Заплавным. Они тоже не держат грудь «нараспашку», как говорят в Сибири. С ними надо поработать, показать себя в деле, не один пуд соли съесть, и когда они тебя рассмотрят и взвесят, может быть, и сами тебе откроются...

Сереже Заплавному они «открылись», и в этой вот обычной сибирской деревушке, в обычных людях сумел он распознать и красоту, и душевное богатство, а главное — услышать мелодию их языка, уловить «звук», как называл кудесник российской словесности Иван Бунин одну из главнейших особенностей русской прозы.

Как ни крути, как ни теоретизируй, защищая «немую» прозу и стихи, прежде все-таки был звук: свист ветра и пение птиц, шум реки и небесные громы, шорох листьев и скрип дерев, и из этих звуков человек однажды сотворил слово. Какое оно было — никто не знает, но каждый, кто берется за перо и набирается мужества словом поведать миру о том, что он любит, что тревожит его и печалит, должен сначала услышать музыку в себе, опьянеть от нее до того, что про себя уж «петь» невозможно, и тогда, только тогда, не разрывая мелодию постными рассуждениями, конъюнктурными подтасовками и соображениями материального порядка, запеть для людей без фальшивого крика, без истеричного надрыва, а так, как звучит слово, исторгнутое жизнью и озвученное человеческим сердцем.

Это трудно, очень трудно. Многие трудности в работе со словом молодой писатель успешно преодолел в своей милой «Марейке», но еще больше предстоит ему преодолеть и осилить. Ведь первая вещь часто «выпеваается» как-то сама собой, и наивность ее воспринимается, как дело, тоже само собой разумеющееся, как наивность дитяти, с которого «какой еще спрос?».

Я думаю, что читатель расценит мои слова о первой повести молодого писателя как щедрый аванс, выданный не в качестве «подъемных», а уже заработанный трудом, и трудом упорным. Но в следующий раз я не смогу назвать Заплавного Сережей. Надеюсь, и читатели, и издатели будут с него спрашивать тоже как со взрослого и зрелого работника литературы — «Марейка» обнадеживает. Так, с надеждой в доброе будущее молодого прозаика я и закончу свое ему напутствие, а остальное все, как и быть положено, в его искренней прозе — и биография, и душа.

ЧУВСТВО ЗВУКА И СЛОВА

О стихах Романа Солнцева

Мы привыкли к расхожим понятиям, они становятся для нас не только обыденными, но и удобными. Вот привыкли говорить: «Сначала было слово». Однако слово-то происходит из звуков, стало быть, сперва был звук, и звук тот растворен в природе, и никому неподвластно услышать его, перенять у природы и передать людям, кроме поэта и музыканта. А может быть, прежде звука было чувство? Может быть, всем, что есть вокруг нас и в нас, и прежде всего мыслью, движет чувство. Оно-то и есть первоуродство звука и самого слова и, стало быть, вытекающего из них вечно святого и светлого истока поэзии, который, набирая мощи, полнозвучия, а в наше время широты и шума, вот уже много веков мчит, не иссякая, будоража человеческое сердце, наполняя его восторгом и печалью, подымая бурю страстей и услаждая тихой музыкой.

Вечна загадка поэта и вечно наше желание отгадать ее, пробиться сквозь какую-то невидимую преграду или пелену и постичь то, что за строкой, то есть душу поэта, но когда это произойдет, поэзия утратит смысл и «секрет», стихи станут возможно изготавливать каждому маломальски грамотному человеку, как сейчас учащиеся средней школы на станции юных техников с помощью простых инструментов, из обыкновенных материалов могут выточить и собрать электромузыкальный прибор, радиоприемник, и даже ракету, и любые вещи, так недавно еще

поражавшие воображение и повергавшие нас в изумление своей непонятностью и недоступностью.

Верую, с поэзией этого не произойдет, во всяком разе не произойдет до тех пор, пока не отформуются человеческая душа, не сделается стандартной, подобно кирпичу, хотя поползновения, и явные, к этому имеются, и есть люди, стремящиеся к тому, чтобы все было одинаково — дома, леса, дороги, одежда и человеческая мысль.

Поэзия всегда восставала против бездушия и стандарта, она всегда стремилась возвысить человека, и в этом ее непреходящее величие и, воспользуясь бытовым словом, постоянная польза для всех нас, а привораживать человека, околдовывать его словом, точно старинным складным наговором, это ее милая игра с уставшим человеком, которая, с букваря начавшись, открыв глаза ребенку на мир, постепенно втягивает его в серьезный разговор, становится строгим и взыскательным собеседником. Как это необходимо в наш суетный век, когда все «секретное» вроде бы рассекречено, когда после «прелестей» общезжития человека все чаще и чаще тянет побыть наедине с собой, предаться созерцанию и осмыслению своей, а значит, и всей нашей жизни.

Женщина плачет в вагонном окне
или смеется — не видно в вагоне.
Поезд ушел. И осталось во мне
это смешение счастья и горя...

Чем увлекают меня, читателя, эти бесхитростные и совсем «простые» строки? Отчего так защемило мое сердце при звуке их? И сам сделался какой-то незащищенный, открытый сладкой печали. Почему повторяются и повторяются во мне эти строки, хотя, может быть, я не запомнил их наизусть?

Кабы я знал! Но кабы я знал, то, стало быть, и написал бы их сам, а не Роман Солнцев, за работой которого я давно и пристально слежу.

Но и сам Роман Солнцев не мог раньше написать такого. Раньше, вплоть до сборника «Малиновая рубаха», он мог позволить себе напечатать толстый сборник, не особо разбираясь, что надо печатать, а что оставить в столе или вовсе выбросить. Характерная особенность — от книги к книге Солнцев становится сдержанней, а сами книжки тоньше.

Поэт «повзрослел» — и вот этот секрет мне, как чита-

телю, сделался доступен, поэт приостановил свой юношеский восторженный бег, «дыхание» его сделалось глубже, взгляд пристальней, к нему приходит взрослая и мудрая печаль, из которой, словно из бесконечной нервущейся нити, выткалось полотно нашей дивной и великой русской поэзии. Радостной, восторженной поэзии Россия дала мало. Не из чего было черпать — весна, дорога, любовь? Но весна — так скоротечна, дорога — так коротка, любовь — преходяща, природа же наша бывает часто в грустной, нежели веселой поре. Недаром почти все русские литераторы и музыканты утверждали, что осенняя пора увядания рождала и рождает неповторимость чувств и погружает в грусть, вызывая думы плавные, глубокие, о вечности и мироздании...

Нас всех одолевает сон.
Или томит любви беспцелье,
Но, кто-то мыслью потрясен,
Сидит сейчас в ночной постели.
Он курит или спичку жжет
И смотрит в черное окошко.
Там по стеклу звезда ползет,
А может, снег — сырая крошка.
О чем он думает, когда
Другие спят, раскинув руки?
Какие видит он года,
Какие новые науки?
Злодейства ль тайные врагов
Мрачат его чело крутое?
Что ж он не спит? Уж пять часов.
Ведь быть не может, чтоб пустое!
Хочу я думать, что во тьме,
Раскуривая сигарету,
Он держит вечное в уме,
Иначе в этом смысла нету...

Если поэт начинает говорить о вещах вечных — это не всегда от дерзости, чаще от наступившей зрелости, житейской заряженности и душевного груза, а то и перегрузок. И если он часть своей тяжести перекладывает на читателя, это не значит, что у него есть стремление облегчить себя, нагрузить нас своими страданиями, чтоб не страдать самому.

Нет, не для того горит и мучается сердце поэта! Оно всегда бескорыстно, всегда устремлено к свету разума и добра, и в непосильной работе оно часто сгорает или

разрывается, отдавая все, что в нем есть, до последней горячей капли крови, людям и искусству.

Поэзия всегда стремилась открыть в мире прекрасное, и своими муками доказывали поэты, как долог и тяжок путь к красоте и постижению смысла жизни.

Поклонимся же низко за эту благородную работу стихотворцу и пожелаем ему того, чего желали странники Востока друг другу: «Торопись обрадовать добрым словом встречного, может быть, в жизни не придется больше повстречаться».

ПЕСНЯ ДОБРА И СВЕТА

В старину бытовало слово «сочинитель», которое со временем заменилось несколько нейтральным словом «писатель», быть может, потому, что развелось так много пишущих что угодно, когда угодно и о чем угодно, а вот сочинителей в литературе, в особенности в поэзии, стало совсем мало. Людей же, слагающих стихи, и вовсе единицы.

К этим немногим относится Ольга Фокина.

Однажды, когда дети Ольги были маленькими и не оставляли времени для работы, но стихи ее все равно появлялись в периодике, я спросил, когда же она пишет? «А вот когда укладываю детей или хожу куда — и складываю стихи. Потом записываю. Да вот записывать-то некогда... уж дождусь лета, деревни...»

Она почти не знает слова «черновик», слагая стихи и отделяя их начисто в голове. Мне довелось встречать еще одного поэта, который на обычный вопрос, как он пишет стихи, отвечал: «Очень просто. Беру лист бумаги, ставлю сверху «Н. Рубцов» и записываю их столбиком».

Если о пишущих стихи, о их напряженной работе можно составить представление по рукописям, то никогда и никто не узнает, какой процесс происходит внутри поэта, слагающего стихи «про себя». По складу и ладу строк кажется, что стихи родились сами собой, как песня у веселой птицы, и лишь по ранней седине, усталости и печальному облику поэта остается заключить: не так-то уж все легко, как кажется.

Однако по облику Ольги Фокиной ничего не угадаешь. Когда ее ни встретишь, она деловито-улыбчива, скромна, к людям приветлива, вечно занята хлопотами, детьми и на привычный вопрос: «Как живешь?» — нисколько не рисуясь, не играя в бодрячество, отвечает: «Хорошо!»

Все у нее хорошо, все ладно, и глаза светятся, как и прежде, молодо, ясно, душевным здоровьем веет от нее. Помню, когда учился на Высших литературных курсах и жил в общежитии Литинститута, видел Ольгу не раз, круглолицую, улыбку на лбу, в розовой шелковой кофточке, которая, видимо, и была ее единственным праздничным нарядом, вывезенным из деревни, где она уже поработала медиком, да сундуков не накопила, зато так и пыхала румяным детством, резвой юностью, и стихи той поры были очень похожи на компанейскую девушку, к себе строгую и в то же время общительную, которой последним куском поделиться, кого-то пригреть, кому-то помочь никакая не тягость, а душевная необходимость.

Я встречал читателей, которые, приняв естество и песенность ранних стихов Ольги Фокиной за основу ее поэзии, в этом мнении удобно и утвердились, а между тем и в ранних стихах за непринужденностью строк, за их сказовым и песенным ладом уже и тогда проглядывалась, точнее, прослушивалась трагедия недавней войны и вторым, пока еще едва слышным фоном, — вечная песнь женщины, которая со временем примет облик женщины русской, женщины-матери, каковую поэтесса до сих пор не перестает звать нежно и неотстраненно — мамой. А матери ее, Клавдии Андреевне, уже за семьдесят, но старая русская крестьянка все еще трудится, хлопочет по дому, занимается невидимыми миру делами да ждет каждой весной в родную деревню Артемьевскую доченьку с внуками.

Ольга Фокина много, удивительно много, плодотворно и цельно работает. Стихи Фокиной для меня, давнего постоянного ее читателя, звучат как единая песня о Родине, большой и малой, о маме, о деревне, о себе, о не таком уж далеком прошлом, о своем месте в нынешней жизни. Новации, модные течения и ветры проносятся над ее головой, оставляя строку Фокиной незахвачанной, погоням и за сиюминутным успехом не задержанной.

Тонкой, светлой струйкой начала вплетаться в эту песнь детская мелодия — подрастают дети, и мать не может не

думать, не тревожиться об их будущем, ибо они, дети ее, — зерна в том колоске жизни, который зреет на той же земле, где росла когда-то их мать, и гнется, шелестит тот колосок на всех, таких беспокойных, мирских ветрах.

Вечная, великая песнь матери, мелодия которой вселяется в сердце человека с первыми звуками жизни, у поэта не кончается с остатком его вздохом, продолжаясь в других людях, в других благородных сердцах. Усложняется мир поэта, восприимчивей становится душа его, и, не теряя ясности, простоты, стих Фокиной становится многосложным, мелодия его пространственной, мысль и чувства углубленней — поэтом творится симфония, начатая как бы голосом непритязательной, деревенской дудочки, все больше и больше включающая в себя оркестровых голосов, — сложнее партитура, сложнее мысль, однако главная тема симфонии — тема судьбы народной, думы о ее нелегком прошлом — так и остается главной, хотя не утрачена, наоборот, еще более прозрачной сделалась мелодия любви к Родине, доверительней ее звучание и все так же открыто добру и состраданию сердце творца.

Ольга Фокина — дитя своего времени. Она и ее поэзия возможны только в мирные дни. Сам характер поэта предопределяет назначение его слова, а оно у Фокиной без гроз, без выкрутасов, загибов и загадочных страстей, раздирающих грудь, у нынешних же поэтов — чаще всего модную рубашку на молодецкой груди.

Формализм всегда и возникал в силу разных изгибов в жизни, добавляя мутн и в без того мутное течение бытия. Не случайно думается: пышный расцвет всякого рода течений в поэзии, уводящих человека от естества и реальности, произошел, допустим, в годы нэпа. В годину тяжелых испытаний, в годы войны, например, когда людям сделалось не до шуток, надо было выжить или умереть, требовалось идти прямо, грудью, только грудью на врага, литература наша, в том числе и поэзия, лишена была какого-либо позерства, салонности, жеманства. Суровая с виду, мужественная по содержанию, открытая, прямодушная, она отвечала насущным потребностям времени, шла в ногу со своим народом, она сражалась.

В первые послевоенные годы, на которые пало детство Ольги Фокиной, народу нашему было тоже не до шуток, испытания не менее тяжкие ждали его, в особенности обезмужичевшую, надорванную войной деревню.

Большую семью поднимала мать Ольги Фокиной и

вырастила всех детей, никого не потеряла. Как вырастила, какого труда, порой непосильного, стоило это матери — можно с совершенной доподлинностью узнать из стихов поэтессы, только за судьбой Фокиной Клавдии Андреевны вы почувствуете и узнаете всех русских матерей, а за жизнью и деяниями родной северной деревни увидите судьбу всей русской послевоенной деревни и непременно — это уж неизменное достоинство русской поэзии, прекрасная традиция ее — благородство людей деревни, величие их труда.

Воспевая будни села, его вечный труд, непозлащенный быт, Ольга Фокина поэтизирует все это не натужным усилием голоса, не набором внешних атрибутов или упором на кондовость и неповторимость Севера — поэтизация проистекает из любящего сердца, удесятеренно чувствующего человеческую боль, всегда настроенного острием против зла.

Вот написал я все это и почувствовал: в какую же привычную и удобную схему вогнал я самобытную поэтессу! А поэт, в особенности поэт самобытный, всегда неповторим, и ни в какие он схемы и рамки не вмещается, как бы нам того ни хотелось. Конечно, с привычным и жить привычно, спокойно, но поэзия настоящая, существует для того, чтоб «глаголом жечь сердца людей», волновать их, тревожить, возбуждать потребность мыслить и совершенствоваться. Да и сама Ольга Фокина, не задаваясь, в общем-то, такой целью, всем ходом своей работы, движением мужающей мысли рушит привычные схемы. Вот одно из ее последних, привычных, «фокинских» стихотворений о том, как бабушка ее знавала:

...Не с какой-то ерунды
В человеке рак заводится,
От сонной от воды!

И что же противопоставляла бабушка страшной той болезни? Какую «науку» преподавала внучке?

По ночам не бегай пить,
Ну а если уж приспичит —
Воду надо разбудить!
Ковшиком о край кадушки
Брякони, не поленись...

И дальше простой, однако «надежный» наговор и приговор:

А поди ж ты! Так, спроста,
Бабушка с ее устоями
Жила годов до ста...

К слову, умение владеть юмором, да еще естественно, да еще к тому ж в поэзии,— дар редкий.

Но что это? «Поэзия проблем не поднимает. Прогулочный себе усвоив шаг, она, увы, не только не ломает, но даже и не скрещивает шпаг...»

Это тоже Ольга Фокина! Пока еще малопривычная, но многообещающая, ибо находится она в самом расцвете поэтических сил, и все так же открыт, светел, правдив и чист ее взгляд, все так же нараспашку открыто сердце добру, все та же в ней, скрытая от людей, стойкость в борьбе с житейскими невзгодами, все так же благороден и патриотичен ее стих, высок голос.

Голос женщины, матери, гражданина, поэта!

СУД СОВЕСТИ
О повести Альберта Лиханова
«Суд совести»

Повесть Альберта Лиханова «Высшая мера» читается без отрыва, но очень нелегко читается, и будучи «короткой» повестью, она вместила в себя целый жизненный роман. Драматичный. Современный.

Признаться, я начинал читать повесть настороженно и даже с некоторым недоверием.

Повествование ведется от первого лица. Это не ново. И даже как бы модно. Но вот лицо-то непривычное — пожилая женщина рассказывает о себе и о своей небольшой семье в момент ее развала, и даже не развала — кончины, краха.

Быть может, обаяние этой повести состоит в том, что она ведется «по законам» бесхитростного, дорожного рассказа о себе, о судьбе своей, о своих близких. Были, были такие времена, когда проснешься среди ночи в качающемся, мерно постукивающем вагоне или в пароходе, пошлепывающем плицами по воде, где-то чуть теплится свет, в полутьме загораются от затяжки и гаснут неторопливые сигарки, и тихий чей-то голос, со вздохами, перерывами, ведет, ведет нехитрую историю по извилистым жизненным дорогам.

Как много счастливых повторений тех дорожных историй оказалось в русской литературе.

Но меняются времена. Мы уже чаще летаем, если же ездим, то не в общих, в купейных вагонах, плаваем — не на палубе, а в каютах. Какие уж тут «беседы»? Тут продолжение одиночества, так неожиданно захватившего нас

в толпе городских людей, одиночества, кажущегося нам удобным, спасительным.

До поры, до времени.

Вот она, славная, добрая, самоотверженная женщина — Софья Сергеевна, обыкновенная работница обыкновенной студенческой библиотеки, едет в двухместном вагонном купе одна, оглушает себя снотворным, чтобы хоть на минуты забыться и забыть, да плохо у нее это получается, и побеседовать возможно только с одним человеком — с собою. Пробует милая вагонная проводница «завязать разговор», развеять явно чем-то расстроенную и большую пассажирку, но даже и этот привычный, «бабий», контакт не налаживается...

Да и как ему наладиться? Сердце надорвано. Жизнь сломлена. И если бы одна ее жизни! У всех ее близких и у самой Софьи Сергеевны отныне все пойдет по-другому, не лучшему пути.

Жили-были две сестры: Софья и Женечка. В трудное время, в войну, разом осиротели. И вот не когда-нибудь, в самый тяжкий период войны Женечка влюбилась. Ну, конечно же, по всем законам «жестокой» вагонной истории, влюбилась в героя, в настоящего Героя Советского Союза. Да кабы одна влюбилась — и сестра ее, Софья-то, тоже «тайно страдала» по герою, хотя, как мне кажется, это уже лишковато даже для истории, построенной по старым добрым законам увлекательного дорожного повествования. Не избежал автор и других излишеств, увлекся, видно, не очень строг и взыскателен был местами к себе и к своим героям. Бывает это, и не с одним Лихановым, когда материал одолевает автора и правит им.

Одним словом, «роковая» любовь привела к тому, что у Женечки родился сын Саша, потом и дочь Аля. Но Аля родилась уже после смерти отца, погибшего не в бою, а от бандитского ножа.

И вот Софа после смерти сестры Женечки забирает малышкой, уезжает в провинциальный город и там «ростит» «сына и дочь», которая от родовой травмы остается навсегда больной, искалеченной, и которая, кстати, не произнеся ни одного слова, не сделав ни единого шага, тем не менее наполняет повесть таким добрым теплом, высветляет таким ясным светом, что казалось бы к безысходной истории ее и семьи Софьи Сергеевны относишься не только с сочувствием, но и с долей любви и надежды.

Итак, маленький домашний мир, полный забот о хлебе насущном, каждодневная и любимая работа в очень небольшом и славном коллективе, веселый народ студенты, среди которых оказывается и Саша, несколько вялый по жизни парень, однако с очень мастеровыми и ловкими руками, что совсем немудрено — вырос-то среди бабья, и надо было рано делать по дому мужскую работу. Они встречаются нынче, эти малолетние «мужики», берущие на себя мужские заботы, помогающие матерям-одиночкам исполнять ту работу, которую не хотят делать иные «папы», толпящиеся возле какой-нибудь заплыванной пивнушки или пьяно гогочущие по чужим подъездам.

Будучи студентом, Саша повстречал студентку Ирину и женился на ней. Ну что ж, в общем-то типичная история. Только в квартирке сделалось еще теснее и материально еще труднее — Саша, окончив институт на тройки, остался учителем в школе, тоже средненьким, а вот его жена — отличница — осталась вовсе без работы — она «испанистка», в «испанцах» же этот провинциальный город не нуждается. Есть два-три преподавателя, и единственный вариант — выгнать одну из испанисток и взять Ирину, тем более что она «молода, красива, а ведь молодость — бесспорное преимущество перед старостью».

Свекровка Софья Сергеевна вроде бы и в шутку, передала невестке эти слова проректора по учебной части, но невестка-то отнеслась к ним всерьез, сама решила устраивать свою судьбу и устроила! Попробовала один, другой костюм — и вот достигла своего, определилась секретаршей к директору огромного завода.

Директор так и останется ее, Ирины, восторженным воздыхателем, но все, что надо и возможно от него получить, Ирина получит, даже путь в столицу ей, а следовательно, и муженьку ее с «золотыми руками» откроется.

Там захочется супругам маленько обзавестись, пожить «для себя», да где граница этого «маленько», кто ее указал? Нет такой границы, что со всею очевидностью доказывает нам окружающая жизнь, и наша повседневная действительность подает непрерывные примеры тому, как рушатся души, судьбы, семьи и под напором алчности, всевозрастающих «потребностей», страсти к накопительству, или «вещизму», как это ныне называется.

В другом месте, в другой семье это было бы «в самый раз», радостью б и счастьем, может, почиталось бы накопительство, сделалось бы смыслом жизни, но куда же

деть влияние старой щепетильной библиотекарши, всю жизнь экономившей рублевки и копейки и при первой же возможности купившей новое синее платье «благотельнице Марии», которое та, впрочем, лишь примерив, передала Ирине. «Справились» с ее моралью и влиянием невестка и сын трудно, не до конца, но справились, разошлись благополучно или, как нынче принято говорить, «разбежались» выгодно для себя: Саша пристроился возле денежной вдовы, Ирина, при ее полете, хватанула и того выше — вышла за дипломата.

«Тебе трудно, понимаю, такие новости, — говорит матери сын и говорит-то обиженным голосом. — Но я, кажется, впервые счастлив. Меня любят. Я люблю тоже...»

Вот такая мораль: «Я — счастлив», «Меня любят», «Я, я, я, мое». Ну, а где же мать? Где несчастная сестра, к которой даже суровая и сдержанная Ирина относилась с нежностью и состраданием. Где, наконец, сын Игорь, которого родители «вырвали» у строптивой, непокладистой бабушки, избавились от нее самой и от ее надоедливого досмотра...

А сын Игорек, подросток еще, учащийся школы, живет, оказывается, один в хорошо обставленной квартире, с холодильником, набитым едой «по крайней мере на семью из трех человек». Мама приезжает убираться в квартире сына, папа навещает его, интересуется учебой, отвлекает и развлекает...

Превосходно написана сцена «торжества», во время которой не покидает читателя чувство нарастающей тревоги и протеста. Но, как мыслит героиня повести, «не так-то просто стереть доброту», да и не купить ее ни за какие деньги, ни за какие вещи — самое бескорыстное и самое бесценное, что было и есть на свете, — это она, доброта, и сколько бы ни пытались исказить, обезобразить ее смысл и суть — ничего не выйдет: добро со злом несовместимо, как «гений и злодейство...».

Игорек и десять классов не закончит, и до другого дело не дойдет — он разобьется на том самом мотоцикле «Ява», который ему преподнесли родители в честь окончания девятого класса. Его незрелую душу разорвут надвое — с одной стороны, изверченная во всем, в каждом шаге и поступке ложная жизнь родителей, и с другой — такая простая, но праведная жизнь Софьи Сергеевны, которая и бабкой-то ему не была — он узнал об этом, догадался «узнать», а вот родители, те, как говорится, так и «не до-

спели». Она не бросила больную девочку и маленького мальчика. «Чего в этом особенного? — ворчит бабка в ответ на вопрос внука. — Без них мне было бы в тысячу раз хуже». Хуже ли? Могла ведь она выйти замуж, нарожать своих детей, испытать полноценное чувство материнства...

А долг? А исполнение простых человеческих обязанностей? «И мыслимо ли все рассчитать?..» Мыслимо ли добиться счастья, думая лишь о себе?

Нет, невымыслимо! — отвечает всем своим строем, тоном и словом повесть Альберта Лиханова: «Просчет невольный да простится, расчет лукавый — никогда!» — сказал великий наш современник и поэт.

И вот они, двое, провожают бабку домой — все трое чужие друг другу, разъединенные смертью любимого, ни в чем не повинного человека, бегут за вагоном, приговорившие сами себя к «высшей мере» — к вечной вине и муке, и спрашивают взглядом: «Как теперь жить?»

Нелегкий, своевременный, назревший для героев книги вопрос. Тревожная повесть. Серьезная литература.

ТОСКА ПО СЛОВУ

О стихах Марины Саввиных

«Откуда ты, тоска по слову?
Петуший крик, звериный зык...
Жизнь посвятить меня готова
В свой непридуманный язык...».

Поэт обречен Богом и судьбою на одиночество при всем его устремлении к толпе, разгулу, бродяжничеству, шуму, показной веселости и игре. Но под кожей-то такое ли таится и свершается, что всегда надо набраться храбрости, чтобы коснуться нутра его, и как страшно заглянуть в бездну души творца. А каково-то жить с такой душой, носить ее, всегда тревожно и больно звучащую?

Читая стихи Марины Саввиных, я все время думал о жутком, роковом одиночестве ее тезки — Марины Цветаевой. Где-то, в чем-то, отнюдь не во внешнем, а в глубинном, самом трагичном ощущении судьбы, жизни, себя, стихи нашей землячки звуком, болью ли соприкасаются или, точнее и книжно говоря, гармонируют с поэзией Великой русской поэтессы и, быть может, в чем-то сущем и тайном продолжают ее горькое, небесное слово, хотя до цветаевского стона и крика из человеческой «тайги» о спасении, дело еще не дошло.

Я всегда трепетно и с какой-то суеверной боязнью отношусь к женской поэзии, к настоящей женской поэзии, но не к той, которая воняет табачищем и водкой и носит мужские портки, к поэзии Ахматовой, Вероники Тушновой, Ирины Снеговой, Тамары Жирмунской, Марии Петровых и Беллы Ахмадулиной, которых современное общество то целовало в засос, то сплевывало, но так и не поняло, не почувствовало, не прочло достойно.

Да что ж тут сетовать, коли мы до сих пор не прочли как следует Лермонтова, Пушкина, Гоголя, на «бурном

пути» обрости величайшего поэта Державина и только-только сближаемся не глазом, а чувством и сердцем с Тютчевым, Фетом, загадочно утонченным Гумилевым.

«Из этой боли суть ее извлечь
И превратить в единственное слово —
Да так, чтоб после не утратить речь,
Платя с лихвой за золото улова...

Немыслимое это мастерство
Исполнено такой смертельной муки,
Что впору отказаться от него
И навсегда окаменеть в разлуке...

Так что ж тогда и временный успех,
И гонка за земной, непрочной славой,
Когда слова, что сокровенней всех
На сердце оставляют след кровавый?!»

Сейчас пишется море стихов, но поэзии истинной в них присутствует капля. Марина Саввиных творит поэзию, потому что рождена поэтом, уготовила себя и развилась в поэты. Тревожно и боязно за нее. У Марины Цветаевой были Париж, Европа, блистательные спутники и слушатели, которые, однако, не уберегли ее от горестного, трагического конца. У Марины Саввиных провинция под ногами, злое, беспутное время вокруг и, наверное, нет достойных ее дара читателей и слушателей, потому что и читать, и слушать ее надо так же уединенно, как музыку Шуберта, в большом зале, среди людей, но как бы один на один, находясь с композитором, из сердца в сердце с ним сообщаясь.

Храни и помогай Бог ей и всем нам!

ЗА СИНЕЙ РЕКОЙ

О Михаиле Голубкове

Как немилосердна, как несправедлива бывает судьба к иным людям.

Михаил Голубков прожил жизнь трудовую, вырос в трудовой семье, в трудноживущем поселке под специфику его определяющем названии — Углежжение. Поселок этот за городом Чусовым, на склоне реки Усьвы. Его построили и каменный косогор обжили спецпереселенцы, что на обыкновенном, не казенном языке обозначает раскулаченные, точнее, разоренные во время коллективизации крестьяне, высланные подальше от своих сел и подворий.

Спецпереселенцы, которых посылали работать и умирать, были еще из той крестьянской русской породы, которую мало убить, надо еще и повалить! Не всех повалили, но многих уморили, свели со свету. Углежженцы производили продукцию, совершенно необходимую металлургическому заводу — выжигали древесный уголь, жили, плодились. И еще как плодились! Стайки крепких, в банды ребячьи объединившихся парнишек, владели округой Углежжения и никаким пришлым особого ходу не давали. В первую голову бойцы Углежжения овладели прорвой. Выкинув очередное, пожалуй что предпоследнее колено перед тем, как слиться с рекой Чусовой, своенравная Усьва промыла, прорвала земную препону и устремилась в последнем броске к сестре своей — реке Вильве. Но по рекам шел сплав леса, нужного стране, прежде всего Углежжению, — и люди забили сваями, загородили прорву.

Лес не растаскивало дурной внешней водой по пойме и кустам, но в прорву так его плотно набивало, что все лето ходи по нему, живи на нем — не провалишься.

В прорве, где дно глазом не достанешь, в темной глубине, в рычащих потоках, вырвавшихся из-под сгрудившихся бревен, всегда водилась рыба. Много. Всякой. Зимами обретался и плодился во тьме водяной налим, летами гулял ловкий хариус, плавал на виду, рвал под прорвой лески вальяжный голавль, язь тоже плескался и пробовал рвать лески, охотничал, разгоняя тучи малявок, наглый и неутомимый окунь. Но главная ребячья добыча: елец, сорочка, ерш — тут стояли и кормились круглый год.

А по-за прорвой поля подсобного хозяйства металлургического завода, стада коров, коней. Картоха кругом цветет и зреет — наливаются, пеки ее в углях, вари в старом ведре, рубай от пуза. Конечно же крепенькому, рукастому малому, на выселении народившемуся, здесь, на прорве, самое место расти, мужать, тонуть, спасаться и закаляться, да характер боевой, самостоятельный обретать.

Слово «гулять» углежженческой братве было незнакомо, а вот слова — работать, помогать, побеждать — знали они с люльки. Взрослые люди ломили тяжкую, грязную, губительную по вредности работу, выжигая уголь. Парни и девки доглядывали дом, хозяйство, управлялись со скотом. Вода, дрова, сено, вывозка назьма на огороды и сам огород-кормилец были на них, на ребятах. Учились они в школе упорно, да неважнецки. Зато уж в работе и драке поискать надо было равных, хотя в самом городе тоже обретался народ неробкого десятка и не аристократического задела, пролетарский, рабочий город, чумазый, вниманием властей не избалованный народ, закаленный в очередях за продуктами и промтоварами первой необходимости тоже большей частью спасающийся огородами да своими коровами.

Людные сражения, что на поле Куликовом, случались на прорве меж городскими пролетарьями и углежженскими куркулями, противостояние переходило из поколения в поколение, но после как-то само собой и унялось.

Лес по Уралу срубили и нечего стало плавить; древесный уголь на заводе заменили коксом; в Усьве и на прорве вывелась рыба, даже неутомимого едока ерша не стало; подсобное хозяйство разрушилось, пашни заросли, скот вывелся, и на полянах развернулись «пикники», стало быть

народные гулянки, обретавшие все большие черты массовой пьянки, дурного безобразного разгула. И поляны, и берега рек Вильвы и Усьвы трудящиеся, веселясь, загадили; берег битым стеклом и бросовым железом засорили. Поселок Углежжение сделался пустынным, большей частью пенсионерским, но Миша Голубков всегда о нем тосковал и рвался туда, хотя и отец, затем и мать умерли, однако братья, сестры, «родова» еще велись за синей рекой, как он называл родную Усьву. Однажды я посоветовал ему так назвать книгу, и он обрадовался моей подсказке, но сказал, что под такой красивый заголовок и прозу надо помещать красивую, — поработаю, мол, поднапрягусь, может, чего путное и получится...

Не успел он написать о синей реке, многого не успел сделать...

Ах ты, доля человеческая! Что ты? Кем, как ты определяешься? Почему в наш век беды так часто обрушиваются на людей достойных и сильных? Почему? Нет нам ответа...

Михаил Голубков во всем был работяга. И самостоятельность, и упорство были основными чертами его характера, да ведь на выселениях этих углежженских бесхарактерные, слабые и не выживали — строговоспитательная советская система сминала их, обращала в прах или делала людей приспособленцами, плодила тучи деляг хитро-подвидных, идейных бездельников, кормящихся подле родной и поневоле «любимой» партии.

Работая после института лесоустроителем, на инженерной должности, Голубков не выдержал совместного сосуществования с теми, кто уже навыв «пень колотить, день проводить», истаскавшихся по великим стройкам коммунизма, по тюремным нарам и лагерным баракам, коим прилепилось точное название — советские придурки. А это придурки высшего качества! Нигде в мире нет таких наглых, изворотливых, опустившихся, проповедующих ими же выбранную мораль: где бы ни работать, лишь бы не работать. Инженер-лесоустроитель бросил руководящий пост, взял топор, мешок и ушел в лес один. И много лет он один-то и ходил по тайге, рубился в одиночку, воздвигая шаткое здание социализма.

Как, когда Голубков появился у меня в квартире со своими рукописями, — не помню — постоянно и много приносили и приносят мне рукописей, еще больше шлют

по почте. По-моему, сперва было письмо с просьбой познакомиться с его рукописью, с обратным адресом — из города Чусового! Ну как тут не прочтешь! Силен и хитер начинающий автор был, жизнью крепко бит, я его так и называл — «элементом», и никому так не доставалось от меня, никого я так много не пилил и носом не тыкал в бумагу, как его. Терпел. Понимал, что добра ему хочу. Скоро, очень скоро уяснил, что литература — дело серьезное и если по жизни с чем-то не соглашался, горячо спорил за рукописью, как ее не исчеркай — смирялся, лишь иногда подавал робкое возражение своим продевчоночьим голосом и снова молчок. Много читал Миша, «догоняя культуру», внутренне наполнялся, совершенствовался. Учился творческому ремеслу в зрелом возрасте, от книги к книге крепчала его рука. Его рассказы стали появляться уже и в столичных журналах, — там же книга вышла, лез упорно в гору, ломая ногти о заманчиво-ласковую, но каменистую литературную почву. Трудно и упорно взнимался уральский мужик к совершенству и мастерству, многое от него ждалось, многое уже и обещалось талантливым писателем, с крепким телом, всегда румяным лицом, с руками, знающими труд и умеющими держать любой инструмент, что для земли, что для дома.

Когда мне в Вологде сообщили, что Миша заболел самой страшной, самой беспощадной болезнью века — я не поверил — не может такого крепкого мужика свалить никакая болезнь, не может подкосить никакая беда. Но когда приехал в Пермь, понял: болезнь и смерть все могут.

Он еще боролся за жизнь, лечился какими-то лесными травами, кореньями, хвастался, что заставил «своих баб» — жену и дочь набрать ему ведро земляники, говорят, мол, помогает. И он съел ягоду и даже лучше себя почувствовал, стал пробовать за стол садиться...

«Ничё, ничё, мы еще поборемся! — говорил он. — Мы еще, Виктор Петрович, на прорве ельчиков подергаем...».

Больше не суждено ему было побывать на прорве, в родном поселке, повидать свою любимую сторонushку, поплавать по беспредельно любимой реке Усьве.

Течет и сияет меж гор любимая река Усьва, о которой он не успел написать главную книгу, витает его душа над нею, над седым Уралом, сияет неизреченное о них золотое слово, но память моя и слезы его друзей, жены и до-

чери — с ним, с этим замечательным человеком, моим послушным, трудолюбивым учеником и, надеюсь, не только моя. Я думаю, на Урале еще помнят и любят своего негромкого, но искреннего певца. Как он любил свой край, народ свой, да вот осталась недопетой его задушевная песня. Все, все осталось за дальней горой, за исхоженной и помеченной его топориком тайгой, за синей, синей рекой.

1997

с. Овсянка

КНИГА ЮНЫХ СЕВЕРЯН

Предисловие к книге «Мы из Игарки»

Летом 1928 года в устье Губенской протоки бросил якорь пароход «Тобол». За каменным мысом, позднее названным Выделенным, на Енисее штормило, гуляли там беляки, с грохотом разбиваясь о скалистые выступы, но на протоке волнение и шторм были едва ощутимы.

В Заполярье прибыла и надолго обосновалась на берегу протоки экспедиция, возглавляемая геологом Урванцевым и инженером Рюбиным. Промерялись входы в протоку, определялось место стоянки кораблей, закладывалось основание нового порта на Енисее, который вскорости получил название Игарка, по имени охотника Егорки, зимовье которого якобы стояло здесь когда-то.

Трудно строился город на вечной мерзлоте, трудно складывались судьбы людей, трудно давался каждый шаг, каждое строение, каждый кубометр экспортной древесины. В первые годы косила людей цинга, морозы доводили первопоселенцев до отчаяния, и много их легло в неглубокие холодные могилы Заполярья. Но дом за домом, улица за улицей, ощупью, с оглядкой на прошлые ошибки, накапливая опыт строительства и совместного житья разноязыких народов, зачастую приплывавших сюда не по своей воле и охоте, возводился новый заполярный город — один из первых в стране.

С самого очень трудного начала строительства царил в городе дух какой-то, ныне уже и не всеми понимаемой бодрости, коллективизма, взаимовыручки. Первопоселенцы рассказывали, что сначала складывали печи из кирпичи-

ча, выжигаемого на кирпичном заводе в Медвежьем логу. Над печью делали козырек из горбыля, чтоб не мочило стряпух, потом к столбикам прибивали тесины с одной стороны, подумав, прибивали и с другой, третьей, четвертой, еще подумав, засыпали меж стен опилки, прорезали окно одно, другое, — и вот оно, жилье, пусть и временное, уже готово. Главное было сложить печку. Работники кирпичного завода работали круглыми сутками и семьями здесь, на кирпичном заводе и жили; ребятишки, а их в крестьянских спецпереселенческих семьях было, как луковиц в связке, очень любили спать в сушильных жарких цехах, возле горячо пыхающего кирпича.

В праздники недавние крестьяне, отделившись от испуга и неразберихи, немножко обжившись на далеком, болотистом берегу, охотно справляли и старые, и новые праздники; под козырьками, в сараюхах, насыпных строениях с односкатной крышей, звучали гармошки, песни, гулялись свадьбы, справлялись поминки, складывались новые семьи и новые человеческие отношения.

Непростые, надо заметить, отношения, как в социальном, так и во всех других смыслах. Была комендатура, были комендатурские работники, возникли столовые, магазины, управления, которые назывались «комендатурскими». Даже после того, как сама комендатура исчезла и заведения общепита получили порядковые городские номера, народ продолжал их именовать первоначальными и поныне кой-кому коробящими чуткое, «нежное» ухо названиями.

В этом городе труд был воистину всему голова! Он объединял, он спасал, он помогал сплочению и дружбе. К счастью, «отцам» молодого города не пришлось в голову разделять детей с помощью спецшкол и каких-либо других сверхмудрых учебных и административных заведений и организационных мероприятий. Жили, учились и работали все вместе. Теснота города, длинная-предлинная зима, общность интересов объединяли людей.

Рабочих рук, особенно в Карскую экспедицию, в период навигации не хватало, на помощь приходили все: домохозяйки, старики, дети работали на бирже, на причалах, на заводах, и многие подростки к шестнадцати годам уже имели погрузочную или лесопильную специальность. Заработки по тем временам, во время Карской, были хорошие, и хотя взыскивались со спецпереселенцев всевозможные, порой совсем уж хитроумные налоги, народ,

пусть и тесно живущий, обзаводился имуществом, одеждой, предметами культуры и быта, во всех почти однокомнатных квартирах, в бараках звучало радио, патефоны, появились велосипеды, швейные машинки. К концу тридцатых годов были выведены здешние сорта картофеля и овощей, увеличился завоз продуктов, почти полностью была изжита цинга.

В эту же пору в Игарке появился драмтеатр, возглавляемый «аргонавтом искусства» Верой Николаевной Пашенной, и хотя население города долгое время не превышало десяти тысяч, в театре никогда не было свободных мест; впрочем, и кинотеатры ломались от зрителей. Здесь жило какое-то жадное, непоборимое стремление к общению, содружеству, творчеству.

Игарские ребята — это особая статья в жизни Игарки тридцатых годов. Много их потом пало на войне, иные уже покинули земные пределы, исчерпав сроки жизни. Но те старики, что еще живы, чаще всего вспоминают, как, придя на лесозавод, часами простаивали у пилорам, не ощущая мороза, не отрываясь, смотрели как механические пилы, струя опилки вниз, где их сгребали в специальные ящики и на конях свозили на свалку, кроили бревна на доски. Рабочие, накатывая баграми бревна на блестящие ролики, отбрасывая горбыль и обрезь — «макаронник и торец», трудились молча, споро. Никогда они не прогоняли ребятшек, замороженно слушающих звон пил и аханье тяжелых механизмов, хотя кругом висели упреждения типа «Посторонним вход воспрещен», «Не стой возле пилорамы», — потому как не было в Игарке «посторонних», все были свои в «доску», и мужики только для порядку прикрикнут, бывало: «Орлы! Не курите тут!» или нос у какого-нибудь «орла» утрут рукавицей, расхохочутся и работают дальше. Иногда и по двенадцать часов, потому как зимой из-за совсем непереносимых морозов случалось немало «активированных» дней, а план — он не ждет, и экспортная продукция к приходу морских кораблей, в ту пору чаще всего иностранных, должна быть приготовлена.

И работа на заводах, и жизнь, и учеба, и всякого рода общественная деятельность зимой порой шли в Игарке под крышами, в тепле. Но игры, ребячьи забавы, потасовки, езда на собаках, катанье на лыжах и санках, охота на песца и куропаток, сооружение снежных катакомб, сражения после просмотра фильмов — все это совершалось

на улицах, на Губенской протоке, возле бараков и на небольшом, деревянными щитами огороженном стадионе. Ребята росли задиристые, крепкие и норовистые. И большие были выдумщики в забавах, играх и всякого рода развлечениях.

Много в Игарке работало самодеятельных кружков. Ребята что-то пилили, строгали, клеили, вырезали, сооружали, и не только во дворце пионеров или в школах, но и дома, по избам и баракам.

И еще в Игарке очень много и жадно читали. И хотя был всесоюзный клич по сбору книг для Игарки, их все равно не хватало. Тогда возникли во многих школах литературные кружки, ребят охватил творческий зуд, повсюду стали издаваться рукописные журналы, для которых сами ребята придумывали названия, сами писали в них стихи, заметки, рассказы и очерки. Кто не умел сочинять, тот картинку рисовал, а которые школьники ни писать, ни рисовать не могли, те сшивали, клеили, брошюровали школьные издания.

Такая вот тяга к коллективному творческому труду и послужила толчком для создания книги «Мы из Игарки», со дня выпуска которой прошло уже 50 лет.

Намерения юных игарчан написать книгу о себе и о своем заполярном городе поддержали письмами Максим Горький, Ромэн Роллан, Мартин Андерсен Нексе и другие деятели культуры за рубежом и в нашей стране.

Но «что имеем — не храним, потерявши — плачем», — гласит старая русская пословица. Оригиналы писем М. Горького в Игарку сгорели в одном из многочисленных пожаров — постоянном бедствии деревянного города. Не нашлось в крае и в Игарке людей, кто бы позаботился о сохранении этих бесценных реликвий, также и литературного музея с безвозвратно погибшими рукописными журналами, рисунками, изделиями и предметами школьного быта тех лет вместе со школой № 12...

Тогда, в середине тридцатых годов, слово «конкурс» еще не было так распространено, как ныне, но что-то подобное конкурсу, возбудило весь город. В каждом классе, в каждой кружке шла напряженная творческая работа. Ребята «творили», писали о себе и обо всем том, что было в городе, как он строился, как им тут живет, работает. Игарский преподаватель русского языка и литературы, будущий известный сибирский поэт Игнатий Рождественский так писал об этом:

На вездеходах и на самолетах
Вернулись дети в школу-интернат,
Минуло лето в играх и заботах,
Был каждый день событиями богат.

Раскрыты аккуратные тетрадки,
И пишут, пишут в них ученики,
Как первый раз копали в тундре грядки,
Палатки разбивали у реки.

Пасли на взгорьях молодых оленей,
Ходили за белухой в океан.
И не для классных только сочинений —
Для книги хватит летних впечатлений
У маленьких саха и гнанасан...

Результатом творчества юных игарчан явилась книжка «Мы из Игарки», имевшая тоже свою довольно содержательную историю. Она была и остается одной из самых читаемых книг.

Городок из тех, что назван в песне «не великим и не малым», по-прежнему живет напряженной трудовой жизнью. В лесопильных цехах, где когда-то рабочие баграми накатывали на транспортер обледенелые бревна, и они медленно плыли вверх под ухающие и ахающие механизмы, спаренные, затем счетверенные полотна пил «расчерчивали» их поодоль, выкраивая из середины бревна экспортный, «золотой» пиломатериал и, сваливая на стороны краяхи горбылей, теперь сидят за пультами операторы, нажимают кнопки. Народу в цехах мало, тепло, светло, почти бесшумно, но пахнет по-прежнему «вкусно» смолистыми сдобными опилками. Игарский экспортный материал, выпуск и вывоз которого возросли в десятки раз по сравнению с планом тридцатых годов, по-прежнему пользуется большим спросом и успехом на мировом рынке.

«Карская» ныне продолжается не полтора-два месяца, а почти до ноября — работают ледоколы, пробивая путь лесовозам по Енисею до Карских ворот и далее, по Ледовитому океану в далекие порты назначения.

И сам город Игарка сместился в сторону, центр его теперь находится на мысе Выделенном. Здесь, на каменном мысу, поставлена стела в честь пятидесятилетия Игарки и здесь же возводится новый город из многоэтажных кирпичных домов. Есть и школа. Новая, удобная, с хорошей библиотекой. Ребята, объединенные в группу «Поиск», открыли общешкольный музей и скоро вместе со

взрослыми жителями города будут открывать игарский городской музей.

А старый деревянный город состарился и выгорел. Мало в нем осталось приметных зданий прошлых лет.

Продолжает трудиться лесокомбинат в Игарке — «кормилец и поилец» заполярников. На острове Полярном (Самоедском) зимой и летом напряженно работает игарский аэропорт, много теплоходов и самоходных грузовых судов приходит летом в Игарку, почти исчезло слово, корябающее ухо, — «вербованные».

Изменений, видимых и невидимых глазу, много. И вот одно из них — на улицах мало народу. Город, который кипел ребятней, звенел их голосами и смехом, почти пуст, в особенности вечером, а «вечер» тут всю зиму. И взрослые, и дети смотрят телевизор.

Не стало в городе драмтеатра, он переехал в Норильск, на пути потеряв имя Веры Пашенной. Стал он называться именем Маяковского. Лениво посещаются и кинотеатры, Дворец культуры лесопильщиков, поугасла творческая жизнь в городе и в школах, тяжелый вред нанесен окружающей природе, столь здесь ранимой.

Но по-прежнему Игарка остается в крае, да наверное и в стране, одним из самых читающих городов.

Шел я по улице Таймырской и почти уткнулся в утонувший в сугробах домик, к крыльцу которого протоптаны глубокие тропинки. Что-то знакомое мне в нем почудилось. Оказалось — это старая библиотека. Детская. Ныне — филиал детской городской библиотеки. Зашел в помещение. Сухое печное тепло в библиотеке, деревянные стены побелены известкой. Тишина. От окон, заваленных снегом, сочится полусумрак. Так и тянет, как в детстве, сесть за стол, прочесть страницу-другую и задремать в этом книжном уютном царстве.

Книги в библиотеке сплошь изношенные. Хорошо это. Читают игарские дети, хотя по нынешним временам, быть бы книжному фонду здесь и побогаче не мешало.

...Самолет взмыл над островом, над протокой, медленно поднимается над городом «в гору», и все уютней, прибранней и сиротливей смотрится сверху далекий порт, приютившийся в устье Игарской (Губенской) протоки. «Сиротливость» его от зимы, от бескрайности Заполярья. Верится, через месяц-два вскроется лед на Енисее, придут сюда морские суда за экспортным пиломатериалом,

по Енисею пойдут теплоходы, самоходки, наверное скоро и «метеоры» в Заполярье прорвутся.

Жизнь идет. Продолжается освоение Севера. Строятся новые города, осуществляются дерзкие замыслы человека, и верится, что новые поколения юных игарчан осуществят давно возникший замысел — напишут и составят продолжение славной книги «Мы из Игарки». Им есть о чем поведать потомкам.

ТОСКА ПО ТУНДРЕ

О стихах Владимира Романенко

Бродячий дух стихотворца вечен и неистребим. И в каждом уголке земном, у каждого костерка, привала, деревца, цветка, лесной избушки, речного бережка — остается кусочек его души. И он, этот кусочек, что неистлевающий уголек, греет сердце поэта, не дает угаснуть воспоминанию, озаряет звуком, наполняет душу тем, всем тем, что зовется блаженством и чувством красоты.

Я прошел очень много дорог,
Для меня они — вера и боги,
Я не помню, чтоб встав на порог,
Не подумал о новой дороге.

Владимира Романенко с Украины занесло аж в Заполярье, на Таймыр, где он, выполняя продовольственную программу, в очередной раз намеченную мудрой партией и не менее мудрым правительством, ловил рыбу у порога на реке Хантайке, зимогорил, перемогал одиночество, постоянно ждал гостей, и они его не объезжали и не облетали. Человек общительный, по-хохлацки бурный, горластый, он без людей не мог обходиться и, когда его постигало одиночество, выговаривался, иногда и выпевался в стихах, где ясно проступала, светло звучала тоска по ридной Украине. Из этой вот тоски, умения любить жизнь, помнить, откуда ты родом, мыслить и разрешать вечный вопрос: зачем ты здесь, на этой Хантайке и вообще на земле присутствуешь, и родился лучший в сборнике «таймырский» цикл стихов. Но Романенко не был бы хохлом,

если б не бурлил и не откликался, локтем в бок не ширял дорогую действительность, не язвил бы по поводу современной жизни, перестройки и всех предряг, происходящих с современным человеком, при этом как-то так выходит, что под перо его попадает больше сосед дорогой — его он разит сатирой, видимо, из чувства братского, памятуя о такой еще недалекой, горячей дружбе народов, которая по старому еще анекдоту, заключалась в том, что настоящая дружба — это когда все дружные народы, объединившись, идут бить русских.

Но Романенко-то, стихотворцу уж никуда от «уз» не деться — он по Руси поколесил, много водки с узкоглазыми северянами выпил, но и с широкогорлыми иванами тоже, глубоко врос в язык и почву нашенскую, прежде всего сибирскую. И петь ему две земли, и славить два народа, и тосковать по тундре двумя сердцами.

Давно там не был,
Где ветер мая,
Под синим небом,
Гусынь гоняет.
Все брошу разом,
Чтоб в кои годы
Попасть на праздник
Родной природы...

А природа, она пока еще стоит, зеленеет и торжествует веснами, поливает осенним золотом — листобоем землю, и речка Хантайка течет все там же и туда же, и порог на речке шумит, и ход рыбы совершается весной и осенью и в пенных волнах раскаленным хвостом бьет, будто из пушки, ахает таймень в подпорожье, и тундра веснами цветет все так же сочно, дружно и дух захватывает от этого невиданного, нигде более не повторяющегося цветения, и доброго человека ждет одинокая, пустая избушка на реке. И рука тянется к перу от чувства красоты и любви ко всему этому, и тоска по просторам, тоска по хоженным и нехоженным дорогам влечет того, в ком сердце не остыло, кто не перестал радоваться жизни — этому Великому нам Божьему дару.

Пой песню, поэт, краше жизнь будет и убавится горя и боли на земле, той, где бы ты ни был, где ни ходил во утешение свое и наше, и живи, дыша полной грудью.

Красноярск

БЕЛАЯ ТИШИНА

О творчестве Владимира Жемчужникова

Думаю, чем дальше мы будем жить, тем чаще, настойчивей и серьезней — люди вообще, а писатели в частности — будут задумываться о природе, о будущем земли и о человеке, стоящем между этими, полярными когда-то, но ныне настолько сблизившимися полюсами, что существование человека и самой жизни вообще оказалось вроде бы совсем неожиданно для человечества под угрозой исчезновения.

И все, кто обостренно чувствует время, кому небезразлично наше будущее, все громче и громче бьют в тревожные земные колокола.

Повесть «Белая лайка» Владимира Жемчужникова, родом уральца, но всю свою сознательную жизнь прожившего в Сибири и настолько «осибирячившегося», что уже роднее Сибири и нет ему земли, повесть эта в том же ряду, который мы приблизительно, за неимением свежего термина, именуем «экологическим рядом».

Сейчас много пишется и говорится о городской или околородской природе, о той, которую достают ближним взглядом литераторы и публицисты, в большинстве своем ныне живущие в городах. Многим кажется, что там, в глуби сибирской тайги, широкой и далекой тундры, все еще стоит белая тишина, глушь там и первозданный покой.

Владимир Жемчужников много лет занимался охотничьим промыслом в Восточных Саянах, да и сейчас большую часть года живет на Байкале, у истока Ангары и на-

яву, так сказать, видел и видит взаимоотношения человека меж собой и тем, что именуют природой, зачастую забывая почему-то, что и сами мы есть неразделимая часть этой природы, может, и «забываем» оттого, что не всегда и далеко не во всем, в особенности в отношении к земле, показали себя не «лучшей частью».

Нет надобности пересказывать повесть Владимира Жемчужникова, поначалу спокойную и даже убаюкивающе-вкрадчивую. Да и чего вроде бы тревожиться: какие-то ученые на каком-то участке необозримой тайги ведут учет поголовья белки, занимаются наблюдениями, попутно охотятся, выполняют план...

Но в природе вообще, а в тайге в особенности так все взаимосвязано, в такой плотный клубок свито, что обрыв нитки где-то, в каком-то месте может все «сбить с ноги», запутать, перевернуть вверх дном. И это прекрасно понимают герои повести, они видят «вперед и дальше», не умоглядно, а «воочию, «согласно науке», где все проверяется, перепроверяется, где каждому слову, цифре, выводу соответствует точность анализа, неотразимость доказательств.

Согласно с «наукой» не так уж все благополучно в белоснежной тайге. Как и всюду на земле, современное течение жизни здесь не только многоводно и тревожно, но и многомерно; как и всюду, здесь зло и добро противостоят друг другу, и напористое зло под покровом тишины и глушины порою берет верх над добром невидимо, коварно и ох как жестоко!

Белая лайка — символ белой тайги, преданнейшее человеку животное, труженица, хлопотунья — гибнет от руки завистливого, темного человека; а сколько горестей, сколько растлевающей спеси, распущенности приносят с собой бичи — эти «свободные люди», распутившиеся от безделья, дармоедства, пьянства.

Они давно уже бродят по тайге и, не желая работать, кормятся от тайги, от случайного заработка, от случайных встреч, и поначалу смешные, даже нелепые в изображении Жемчужникова, они в конце концов превращаются в темную силу, чуждую не только самой тайге, но и духу жизни таежной — прямодушной, гостеприимной и все еще доверчивой.

Почти в тех же местах, где когда-то охотился автор повести «Белая лайка», произошла не так давно жестокая трагедия.

В промысловые избушки еще с осени были заброшены продукты, орудия лова и все нужное для жизни и работы промысловика. По первому снегу пришел охотник в избушку, а она и в ней все разорено, поедено, выпито, разбито. Горестно опустив голову, отправился промысловик за десятки верст во вторую, запасную, избушку — и там то же самое. В избушках жили, пировали и наслаждались «свободой» бродяги-бичи.

Охотник бросился в погоню, выследил пьяных бродяг, перестрелял их и сам на себя заявил в милицию. Охотника судили, приговорили к высшей мере наказания...

Всего этого не знал Жемчужников, но таежных трагедий он видел и ведал немало, да удержался, не напичкал повесть «страстями-мордастями», однако «Белая лайка» читается и без того залпом, она интересна и в незамысловатости своей, оттого что точно по материалу, написана хорошим языком и всюду, за каждой строкой и картиной, слышно биение растревоженного сердца доброго и умного писателя, который и в первых своих очерках и рассказах, изданных в Иркутске, проявил себя как тонкий лирик и боевой публицист, не лишенный чувства справедливой иронии и юмора.

1981

РОССЫПИ ЗЕРЕН

*О творчестве Алексея Бондаренко,
енисейского охотника*

С детства помню картинку в школьном учебнике — в яму свалившегося зверя, кажется мамонта, забивает камнями, палками, чурками толпа одетых в грубые шкуры людей; какое-то племя от мала до велика «охотничает», и не один уже охотник валяется возле ямы убитый. Тяжелые, надсадные времена были на заре человечества, все-то ему, человеку, давалось тогда с муками, с боем, с кровью. И сама охота была для людей не забавой, не развлечением, а жизненной необходимостью, добычей пропитания. Учеными подсчитано, что средняя продолжительность жизни человека-неандертальца равнялась восемнадцати годам. Впрочем, «осчастливленые» наши северные народы уже недалеко от неандертальского века и возможностей жизни тех людей той поры. Ими, северными народами, выстраданные, многими племенами и поколениями освоенные способы жизни на холодных пространствах Севера, показались цивилизованному человеку примитивными, неподходящими, поэтому, привыкший всюду совать свой нос, «грамотный» человек решил помочь «несчастливым», и «помог» так, что многие северные народы или совсем исчезли, или стоят на грани исчезновения. Особенно в этом преуспели «радетели» нашей страны Советов, так любящие всех «осчастливливать», что и сами теперь не знают, как жить, с кем быть, чего есть-пить и кому молиться — Богу или черту?

Ну да ладно об этом... Человечишко не раз запутывался и подходил к краю жизни, но сам же в муках и отчая-

нии, в напряжении всех своих последних сил и распутывался. А вась и на этот раз, на исходе второго тысячелетия как-то вывернется из губельной ситуации, спасет себя и землю свою родную.

Интересно посмотреть и сопоставить жизнь и деяния людей, увлеченных и владеющих самой древней профессией — охотой. Да, изменения здесь колоссальные! Изменения под стать прогрессу. В тайгу человек уже не заходит, не заезжает, он чаще всего залетает на становье вертолетом или самолетом. Вместе с ним летят его верные помощники — собаки, а еще летит столько необходимого добра и провианта, что ежели все пересчитать, бумаги не хватит.

На уже освоенное угожье, или, как его охотники чаще называют, участок, где построена изба (а не избушка) с баней, печкой, покрытая когда толью, когда и шифером, заранее заброшено горючее в железных бочках, железные же ящики или те же бочки из толстого железа для хранения провианта, тес на пол, на нары, на потолок, бензопила, да еще и не одна, стекло для окон и ламп, свечи, на случай, если становье, или лучше, по-ранешнему, зимовье стоит на реке, и дюралевая лодка, а к ней мотор, а к мотору ключи, гайки, лопаты, топоры, проволоки, скобы, крючки; у него и книги, брошюры, журналы старые, чаще всего заимствованные из библиотеки, списавшей периодику в макулатуру. И еще всякой всячины, конечно, убрано, припрятано на становье охотника, и летит он в вертолете, забитом до потолка продуктами, ловушками, связками капканов, оружием, патронами, когда и рацией, когда и аптечкой, когда и радиоприемником на батарейках, когда — кто побогаче — и динамик в тайгу прихватит, чтобы электричество какое-никакое светилось в помещении. Но главное — чтобы переносная лампа горела... Все-все, как у коробейника, у современного охотника имеется — работай себе на здоровье, промышленяй, добывай «мягкое золото» родине, которая все норовит взять пушнину у промышленника подешевле, но продать ее по дорожке. Но это, опять же, отдельный и давний разговор, который многие лета никак не закончится в пользу охотника.

Эва, какую картину я нарисовал-то! Не работа, а райское житье у современного охотника-промысловика! Но отчего же не очень охотно рвется на эту увлекательно-развлекательную работу современная молодежь? А она у

нас грамотная, шибко развитая, где сладко живется и легко копейка добывается — чует носом пуще, чем лайка-бельчатница добычу...

А потому не рвется, что от древнего полудикого охотника очень уж многое досталось и современному промысловику. У многих охотников на участке стоит ныне по пять-десять избушек, удобно, конечно, «световой день» полнее используется, но и труда избушки те требуют немало: отопление, освещение, обиход — избушка-то иной раз по трубу снегом заметена — откапывать надобно, еду собакам и себе сварить, просушиться, на завтрашний день снарядиться, патроны зарядить, накрохи, стало быть, наживки в капканы добыть и наладить, постирать бельишко, починить штаны, обувь подладить, ежели у реки подо льдом сети поставлены, проверить их надо.

И все это дело не в насаду; все каждодневное, привычное, хоть и нелегкое. Однако от древнего охотника дошла, достала современного человека, в первую голову таежника, древняя тягота — одиночество.

Сколько бы охотники ни говорили, ни рассказывали, ни жаловались на эту неизбывную маяту, никогда человеку не представить, что это такое, если он сам на себе не испытал таежного уединения в полтора-два, иногда и в три месяца.

Как он ждет вертолет, а тот, как правило, не является в назначенные сроки и протомит иной раз два-три дня, иногда и неделю. И та неделя покажется охотнику длиннее года...

Почти во всех охотничьих избушках находил я то небрежно брошенную на стол, то тщательно спрятанную тетрадь — что-то вроде календаря, который часто переступает свои скупые страницы и превращается в дневник, собеседником охотника становится ученическая тетрадка — собеседник нужен всякому человеку, необходим он и охотнику. Много ли с собакой наговоришь? Ах, сколько наблюдений, одиноких дум, иной раз неуклюжими, но искренними стихами или в виде песни изложенных, найдется в тетрадках одинокого промысловика!

«Россыпью зерен» называю я эти нехитрые творения, занесенные в тетради, из которых проросло не одно стихотворение в мировой и прежде всего в русской литературе.

Алексей Бондаренко эти «россыпи зерен» наращивает в виде коротких этюдов, рассказов, зарисовок. Я давно

их читаю и вижу, что год от года слух и глаз охотника становятся приметливей и острее, перо — тоньше. Впрочем, я не хочу навязывать вам, дорогой читатель, своих оценок — я ведь не продаю и не покупаю товар, а всего лишь предлагаю побыть вместе с охотником в приенисейской дивной тайге, подышать лесным воздухом, порадоваться, иногда погрустить, поучиться таежному умению: опыту, который никогда не лишний, но особенно нужен, когда оказываешься один в тайге, да еще и в беду попадешь.

Вот и рассказы А. Бондаренко читать все равно, что по лесным тропинкам и просекам побродить, слушая неумолимого ходока, негромкого, но доброжелательного душевного собеседника.

ДАЛЬНИЙ СВЕТ

Предисловие к книге «Счастливая каторжанка»

На склоне лет со всей уверенностью могу утверждать, что есть у человека путеводная звезда и судьба, ему предначертанная свыше.

Из многих поразительных судьбоносных совпадений в моей жизни выделю вот это: на пути в 17-ю артиллерийскую дивизию я мог десятки раз попасть в любую из многочисленных частей разного назначения. Уходил я на войну с железной дороги, намереваясь попасть в добровольческую Сибирскую бригаду, которая была затем направлена в Сталинград, пополнила дивизию славного, почти забытого в громе побед и словословий полковника Гуртьева, и полностью в боях погибла. Затем я проходил боевую подготовку в стрелковом полку, который тоже успел в зимний Сталинград, и, думаю, тоже мало чего и кого от него осталось. Но уже обмундированных, готовых к отправке бойцов выстроили среди казармы, и перст судьбы в лице присадистого усталого майора ткнулся в семьдесят пять солдат, в том числе и в меня. «Раздевайсь!» — буркнул майор. Солдатики переодели в ношеное хламье да и повезли куда-то.

Поскольку в команду угодили ребята сплошь грамотные, смекалистые, в промысле еды ловкие, на язык бойкие, в доходяг за три подготовительных месяца не пожелавшие превратиться, то и порешили, что везут их в штрафную роту, и не особенно по этому поводу горевали. Пусть везут хоть куда, только б подальше из холодных и голодных казарм, от тупой муштры, от остервенелых отцов-

командиров, от бездушия военного лагеря, как потом выяснилось, мало чем отличавшегося от гибельных бериевско-сталинских арестантских лагерей, раскиданных по всей нашей великой и горькой стране.

Но... попали мы в Новосибирск, в автополк, и весною сорок третьего года были распределены по воинским частям, сосредоточивающимся для удара во фланг Курско-Белгородской дуги, на Брянский фронт.

Я вместе с некоторыми давними друзьями угодил в 92-ю гаубичную бригаду, входившую в состав 17-й артиллерийской дивизии прорыва, которой командовал Сергей Сергеевич Волкенштейн.

Разумеется, командира дивизии за время пребывания на фронте я видел раза три или четыре, да и то издалека, но слышал, что человек он образованный, с очень боевой и достойной биографией, знает языки, любит музыку, разбирается в литературе, характером суров, однако к подчиненным справедлив.

Так бы и осталась в целомудренной моей памяти эта лестная солдатская молва-характеристика, которая кем-то сочиняется и угодливо распространяется почти обо всех генералах, и они не спешат опровергнуть сии легенды, более того, с возрастом все прочнее в них верят, утверждают в личных мемуарах благодный лик, изготовленный по словесному древнему лекалу. Но перст-то, перст!

К сорок четвертому году фронтовая бюрократия достигла уже некоего совершенства, уже проглядывали в ней черты будущей идеально отлаженной, современной машины, перемалывающей миллионы тонн бумаги, начисто заменившей отчетно-бравой цифирью, бодрым докладательным словом здравый смысл и полезное дело. Доблестно провоевавши половину страны, большую часть техники и кадровой армии, насажая народ и страну, мудрые руководители собирали и заскребали теперь по всем необъятным закоулкам России все, что могли, и такую отчетность завели, что даже с Днепровского плацдарма по осенней воде плавали нарочные, доставляя на левый безопасный берег в штабы ежедневные донесения о наличии боевой силы, горючего и техники.

Вот так-то под городом Проскуровом благодным солнечным вечером шлепал я в штаб бригады с донесением, песенки насвистывал и заметил, что пыль по всем дорогам поднялась до неба, аж украинскую вишенную зирку застит начало. Тревога в сердце вошла и скоро подтвер-

дилась — женщина с девочкой поймали корову, от стрельбы сбежавшую в поле, «ховались» до темноты в скирде и сказали, что в селе, куда я держу свой путь, уже ужинают немцы.

Тем временем и управление нашего дивизиона с наблюдательного пункта снялось, и, возвращаясь назад, едва я не угодил вместе с донесением в лапы противника.

Четыре дня и три ночи беспризорно шлялся я по украинской осенней земле, как полагалось шибко начитанному человеку, пробовал съесть донесение, но бумага была плохая, толстая, и дело кончилось тем, что пакет я закопал в каком-то лесу, под сосенкой.

Когда наконец нашел я свое соединение, оборванный, голодный, в разбитых ботинках, про пакет никто и не спросил, зато нарвался на штаб дивизии и поимел, наконец-то, личную беседу с командиром ее. Выбрав из толпы хорошо одетых, в хромовые сапоги обутых веселых, сытых чинов офицера попроще, я спросил про свой дивизион, и в это время куда-то направившийся генерал остановился возле меня, вытаращил глаза и сказал, не то озуруя, не то недоумевая: «Солдат, ты с какого кладбища?»

Голос у него был истинно генеральский, зычный, и вид весь был генеральский — он мне показался могучим, рыжим, нарядным, всевластным, и я как-то особенно пронзительно ощутил свою жалкость, ничтожность, козявочность.

Много лет спустя, в Москве, на квартире генерала я пересказал ему всю нашу встречу в подробностях, и он весело посмеялся, а потом по-стариковски вздохнул: «Ох-ох, война, война...»

Тогда же он мимоходом рассказал мне о себе и о своей знаменитой бабушке — Людмиле Александровне Волкенштейн. Было еще несколько встреч с генералом, но все в толпе, на людях, и никак мне не удавалось ближе и подробней расспросить генерала о его жизни и о бабушке. Потом генерал умер, и я сожалел, что вместе с ним ушла почти легендарная история его рода и прежде всего история жизни бабушки. Но спустя несколько лет ко мне домой пришла рукопись племянницы Сергей Сергеевича Волкенштейна Крамовой Натальи Давыдовны и... залежалась.

Современная жизнь вообще и писательская в частности суетна, замусорена мелкими делами, заботами, забита звонками, почтой, так называемыми «общественными» дела-

ми, коими писатель вынужден заниматься потому, что лениво, неторопливо, а часто и наплевательски относится к своим делам советская власть, администрация, правоохранительные, природоохранительные и всякие другие органы, издательства, конторы.

Спустя большое время Наталья Давыдовна деликатно, письмом напомнила о рукописи, и тут только, бросивши все докучливые дела, принялся я ее читать и, редкий случай в нынешней жизни и литературе, не смог оторваться от рукописи, бесхитростно, документально изложенной, пока ее не прочел.

Я был потрясен! Не то, чтоб я не знал и не читал ничего подобного, но во-первых, я читал про бабушку «моего генерала», про самого генерала — немного, точнее, о его корнях. Больше всего я был потрясен оттого, что, как и многие современные читатели, втянут читать, смотреть и слушать про своедельных преступников — властителей, про воров, бюрократов, тупых держиморд, про проституток, наркоманов, взяточников, хулиганов.

И вдруг, как просверк молнии, как метеор среди полночного неба, как освежающий ветер...

Пересказывать книгу нет надобности, ее надо читать, читать прежде всего для очищения души, для соскребания с нее скверны, наносного и всяческого мусора. Удивительные, прекрасные люди существовали и существуют для того, чтоб, как меди, потершейся о золото, заблестеть и нам, чтоб дальний свет и тепло, идущие от них и от ярко сгоревшей их жизни, согревали ныне живущих людей, освещали путь их тернистый, кочковатый, заставляли верить в высший смысл жизни, в идеалы, за которые боролись герои прошлого времени, не щадя себя.

Такие люди, как Людмила Волкенштейн, много сделали для совершенствования человека и верили, что жертвы, ими понесенные, страдания, ранние смерти облегчат дорогу к достойной человеческой жизни. И не их вина, а наша беда, что мы часто забываем о нашем прошлом, о предначертанной нам судьбе, что темные силы застыят, злые ветры задувают тот жертвенный огонь, что зажжен для нас российскими Прометейями, людьми могучего духа и великого подвига.

История наша бывает порой не только глуха и слепа, но и лукава — «смертница» Людмила Волкенштейн двенадцать лет провела рядом с другой «смертницей» — Верой Фигнер, которая боготворила свою верную подругу и

соратницу, но получилось отчего-то так, что одна из узниц «потерялась» в Шлиссельбургской крепости, маялась в одиночестве только Вера Фигнер.

Из книги «Счастливая каторжанка» читатели наконец-то узнают, что выжили две молодые женщины в страшном каземате только потому, что всегда поддерживали друг друга, и мало того что выжили сами, они помогли выжить и выстоять узникам-мужчинам. Немногие из них, оставшиеся в живых, в своих воспоминаниях не разделяли узниц, но вот современная история умудрилась это сделать.

Свою первую артиллерийскую подготовку в годы Отечественной войны начальник штаба артиллерии Волховского фронта Сергей Сергеевич Волкенштейн провел в 1942 году под... Шлиссельбургом, где в крепости провела юность, молодость, погубила свои лучшие годы его бабушка — замечательная русская женщина, красавица, умница, нестигаемой воли человек — Людмила Александровна Волкенштейн-Александрова.

Остальное все вы прочтете в этой книге, работу над которой завершила внучатая племянница Сергея Сергеевича Волкенштейна, дочь Натальи Давыдовны, Виктория Михайловна Крамова.

ВЫБОР СДЕЛАН

О стихах Александра Потапенко

Писать об Александре Потапенко и представлять его читателю как начинающего литератора и легко, и трудно. Легко потому, что трудовая биография у него накопилась уже богатая. Да и повидал он многое на этом беспокойном свете. Жизнь начиналась в деревне Калиновке, за Байкалом. Детство пришлось на войну и осталось в памяти, как для большинства людей его поколения, порой нелегкой, но самой яркой, самой отрадной, несмотря на лишения и недоеды. Первый кусок хлеба, добытый своим трудом, первое свидание и первая любовь, долгие холодные зимы и волнующие весны, разлив цветов в лугах и нагорьях, песня жаворонка над головой и бег горячего коня по росистой траве — все-все осталось в памяти одним волнующим мгновением, и веселый малый, за черноту волос и искристый быстрый взгляд прозванный цыганенком, резво наярывающий на гармошке, затем и на модной гитаре, еще не знает, что память постучится в сердце, и не раз постучится, высекая из него тот самый добрый огонь воспоминаний, от которого согревалась не одна российская душа, исторгая ответное тепло, излучая тот немеркнущий далекий свет, в котором картины прошлого обретали и звук, и цвет, наполнялись нестерпимой ясностью и просили, требовали «быть показанными», ибо ни в ком они более так хорошо и волнующе не оживали, ничье сердце так сильно не волновали, как его, стихотворца сердце, — каждый сочинитель, в особенности начинающий, думает, да ему и полагается так думать, будто

он открывает мир впервые и до него об этом мире еще никто не рассказывал.

И корявые, неуклюжие строчки ложатся на бумагу, еще почти глухие, нисколько не созвучные тому гимну, что бушует в душе дерзкого стихотворца, гимну такой, оказывается, дивной Родине — забайкальской деревушке, притулившейся к полулысым предгорьям, к лоскуткам желтых пашен и цветущих лугов в долинах и по поймам бешено мчащихся синих от напряжения речек, в которых не живет, а буйствует, радуется жизни и реке своей нарядная рыба — таймень, ленок, хариус и доступный во всякую пору детворе усатый пескарь.

Работа в колхозе, на железной дороге, затем шофером, затем помощником машиниста — длинный путь, и все тревожит, тревожит его «еще не сложенная мною песня и одинокая звезда».

Затем военная служба в морфлоте, политехнический институт. Казалось бы, жизненная дорога направлена и пряма: получил специальность, распределен — и устремляйся, соответствуй! Но ведь в ней, в жизни-то, воистину много поворотов, и — увы! — все еще порой непредвиденных.

Приехав на место назначения, в Красноярск, и став на комсомольский учет, Потапенко получает приглашение в райком комсомола, и там ему предлагают... поработать в милиции. Он категорически отказывается, ему даже смешно и потешно — в деревне бегивал от милиционера после потасовок на вечеринках и налетов на сельские огороды, а теперь вот на тебе!

Однако райкомовцы настойчивы: надо укреплять милицию, и укреплять людьми грамотными, достойными. Словом, попал Потапенко в новое учение, получил милицмейское звание и образование юриста — и вот уже двадцать с лишним лет служит верой и правдой в уголовном розыске родной милиции, стоит, как принято официально говорить, на охране общественного порядка, на самом его переднем крае — он оперативник.

Много, очень много и перевидал, и пережил на этой службе Александр Потапенко, на службе, прямо сказать, не очень располагающей к поэзии. Но ведь есть какие-то нами еще не постигнутые законы бытия, по которым и следуют не только наши прихоти и желания, но и не всегда понятные, внутренние устремления.

Молодой милицкий лейтенант носит с собою на

службу ученическую тетрадь и в удобном месте в свободное от забот и хлопот время открывает ее, ставит неровным столбиком слова — его печатают в стенной газете, редко-редко в краевых газетах, какие-то боевые стишки про милицию даже и на музыку положили. Но далеко это, ох как далеко от стихов настоящих.

Побывав на краевом совещании молодых литдарованний, он еще раз ощутил это и еще ощутил недостаток культуры, той внутренней культуры, которая паче нынешней, бойкой, но пустоватой грамотности. Вот почему и губятся даже «путем» начатые стихи слюнвявыми концовками, да и сами стихи частенько выходят многословны, слащавы, явно смахивающие на «жесткие романсы».

Служба-то вот «суровая и нелегкая», а стихи совсем не суровы, и, что интересно, именно такие стихи нравятся товарищам по работе, с удовольствием они их слушают и даже поют, но вот в печать стихи не идут. И является в душу тот самый треклятый «червь сомнения»: «Зажимают, не пушают, гноят...»

Доля правды была в этом: намаячил в городе его милицейский нарядный картуз, подпорчены и отношения с местными «литстудиями», служба-то не только нелегка, но и сурова, а кто ж их, строгости-то, почитает по доброй воле?

Есть один-единственный путь в нашей многотерпеливой периферийной литературе заставить себя замечать и печатать — написать стихи или прозу так, чтобы редактору деваться было некуда, плачь, скрежещи зубами, но отсылай произведение в набор, иначе его в столице опубликуют. А уж «отвергнутое на местах» и напечатанное в столице произведение — это такой укор, такая пилюля самодовольной литпериферии, что огнем горят ее впалые щеки от стыда и раздраженности, ибо «уважать себя заставил и лучше выдумать не мог» такой-то и такой-то литератор, и с ним вынуждены считаться и проявлять к нему соответствующее внимание.

Предлагая стихи Александра Потапенко в столичный журнал, я все это отчетливо понимаю, как понимаю и вижу несовершенство иных его строк. Но у нас сейчас так много печатается совершенных по форме и холодных, пустых по содержанию стихов, что наивные, порой прямодушные и простые с виду стихи немолодого уже сибиряка, согретые благодарной памятью и зрелой грустью, надеюсь, придутся по душе не одному мне.

Я видел по стихам Потапенко, как преодолевал себя начинающий поэт, обрубая банальные привески к стихам, — большинство из них сокращены наполовину! — как вымарывались строки и столбцы, как искал он слова новые, более точные и весомые, как много он сделал за короткий срок, заново почти «начиная себя», — ведь полустихи пишутся пудами даже полуграмотными людьми. Многое сделал Александр Потапенко, чтобы пробиться сквозь дебри полустиха к стиху, но еще больше ему предстоит сделать и преодолеть, прежде всего в себе себя, чтобы пробиться к поэзии, чтобы ярко, неугасимо зажглась на его небосклоне та «одинокая звезда».

ЖЕМЧУЖНЫЕ ЗЕРНЫШКИ

Друзья, близкие мне люди, любящие всех поучать, говорили и говорят, попрекали и попрекают меня за то, что я много читал и читаю чужие рукописи, гробя свое время и остатки зрения, пытаюсь и на письма отвечать, ныне уже не на все, перебираю кучи бумаг, как та упорная курица, что отыскивает в куче назьма жемчужное зерно.

И ведь нахожу!

Нет почти такого номера журнала «День и ночь», где бы не публиковались эти находки. В 1-м и 2-м номерах за 1996 год опубликован пришедший ко мне из Канска, во-все безыскусно писанный рассказ, замечательный рассказ Петра Пермякова «Марфа и правнуки», а в этом номере журнала с моей «подачи» публикуются аж три совершенно разных материала, которые я советую прочесть всем, кто еще не разучился читать доподлинное русское слово.

Среди нынешних писателей, кому за сорок, но еще не пятьдесят, я без сомнения считаю самым талантливым и умным петербуржца Михаила Кураева, автора великолепных романов: «Капитан Дикштейн», «Зеркало монтажки», повестей «Читайте Ленина», «Блокада», «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» и других, а также многих публицистических статей, написанных не просто умно и страстно, но и непоколебимо в смысле временном и национальном. Я не знаю в современной литературе, прежде всего в критике, кто бы так прямо, с открытой грудью выступал в защиту русской культуры, кто бы так яростно отстаивал здравый смысл истории нашей горькой, вконец

запутанной приспособленцами-временщиками и возомнившими себя представителями «передовой советской культуры» и науки, ниспровергающей все, что было до них, и много лет доказывавших «на кулаках», что история российской с них началась и ими же кончится.

Прошлым летом Михаил Кураев приезжал в Красноярск на «провинциальные литературные чтения» и глубокое о себе впечатление оставил умным, добрым словом, а еще, зная, что я «помешан» на Гоголе», оставил и рукопись статьи или эссе, как модно это ныне называть, о гениальнейшем русском писателе, жизнь и творчество которого осмысливается с такого «причудливого угла», с какого «на Гоголя еще никто не заходил». Недавно Михаил Кураев прислал мне еще одну статью — «Чехов с нами», толчком к написанию которой послужило пребывание его в Красноярске и встреча с памятником Антона Павловича на берегу Енисея, уверяю вас, что с таким накалом о Чехове еще никто не писал, хотя в мире написаны о Чехове «вагоны» всяческих, большей частью благодарных и восторженных книг, статей и этих самых эссе.

В ближайшем номере журнала «День и ночь» статья «Чехов с нами» будет опубликована.

Не знаю, как, какими словами предварить публикацию Владимира Гребенникова, художника из Новгорода, моего давнего знакомого и «домашнего» корреспондента. Одно из его писем ко мне уже публиковалось в журнале «День и ночь», а вот новое письмо — откровение. Я не все знаю из того, что происходит в современной культурной жизни и далеко не все читаю, да и кто ныне в состоянии все-то прочесть и «освоить» широкий, большею частью мутный литературный поток. Но из того, что мне ведомо и мною «освоено» — размышления, точнее, «откровения» новгородского художника стоят особняком. Ничего умнее и глубже, чем это «слово», я давно не читал. Многое, очень многое из того, о чем мы говорим с горечью и недоумением, что озадачивает нас в современной жизни, ввергает в смутные и тревожные думы и ожидания, решился осмыслить и нам поведать Владимир Гребенников, и поскольку «материал» этот так глубок, горек и высок, что, тронув его, «обожжешься», — я не стану предварять его своими рассуждениями, они, как бы я ни тужился, будут выглядеть плоскими и пустыми в сравнении с тем, что предстоит вам прочесть и пережить вместе с автором.

Лучше я расскажу о самом авторе чуть-чуть. Читая его «Слово», вы поймете, что человек этот совершенно независимый ни от кого и ни от чего и «подарил» он эту независимость сам себе, ибо от природы упорен, талантлив в труде и настойчив не только, как художник, но еще и как мастер-ремесленник в высоком и широком смысле этого русского слова и понятия.

Когда я с ним познакомился, у него уже была не просто большая семья, но, по современным понятиям — огромная. Семеро детей, жена, кто-то из родственников и постоянных друзей ютились в трехкомнатной хрущевке, и жили, в основном, огородом. В семье от мала до велика все приучены к труду, все работают посильно своему возрасту. Сами понимаете, что человек самостоятельный, норовистый да еще и талантливый, не мог «контактировать» с представителями советской власти и тем более, с «умом и совестью эпохи». Владимир Федорович сам себе и «ум и совесть». Когда нужда совсем взяла его и семью за горло, он продал ряд своих потрясающих работ за рубеж, потому как «дома» они никому не нужны. И, получив участок рядом с заброшенным, оскверненным безбожниками-современниками, собором, который — он дал слово властям и Богу — не только охранять семьей, но и отремонтировать. Владимир Федорович вместе со старшими сыновьями срубили две избы — для себя и младших детей, и для старших сыновей — отдельно. Все по русскому обычаю и укладу: выросли, поженились, живите своим трудом и добывайте свой хлеб, помня, что отец и мать — рядом и в беде не оставят, и радость всегда разделят с детьми. Сейчас у Владимира Федоровича уже несколько внуков, и я знаю, что и внуки его не только будут владеть кистью, резцом, пером, но и топором тоже. Рядом с домом, где жили прежде Гребенниковы, была когда-то комната корпункта всесоюзного радио и художнику было разрешено иногда пользоваться помещением как мастерской, и «квартирант» отделал это помещение так, что, попавши в него, даже духовный чин, повидавший терема и храмы, развел руками: «непостижимы чудеса твои, человеце!..»

Я видел дома, срубленные Гребенниковыми лишь на фотографиях, — не дома, а терема — просторные, с резными крылечками, отделанные от подоконников до крыш деревянными кружевами. Хорошо живется в собственноручно сотворенном доме, глубоко думается и печалится

сердцем умным человек обо всех нас, беседует с нами, пытается помочь замороченному русскому человеку, заступиться, очиститься душой, прикоснуться к Богу...

Читайте, люди добрые, это «Слово». Оно не успокоит вас, быть может даже еще больше растрожит, но читайте, слушайте одного из умнейших наших современников. И обязательно прочтите сказание или притчу Алексея Вольфова «Нод Николаев», если хочется вам соприкоснуться с причудливым и чистым русским словом и причудами нашей, столь с виду простой, но напряженной жизни. «Нод Николаев» очень пригоден для чтения вслух, прежде всего в семьях железнодорожников.

Уверяю вас, вы не только нахохочетесь, но и наплачетесь, и погорюете, задумавшись и о себе, и обо всем, что есть вокруг нас, и о том, что будет с нами. Читается «Нод Николаев» легко и весело, будто песня поется под стук вагонных колес, да вот в конце песни грусть пространственная, наша, российская грусть невольно охватывает. Так что же поделаешь? Такова наша жизнь, а в притче этой российской тоже «ни убавить, ни прибавить».

ДА СВЕТИТСЯ...

*В журнал «Советская литература»
на китайском языке*

Из соседней земли, заснеженной морозной Сибири в февральский, солнечно-яркий, по-зимнему звонкий день шлю моим китайским читателям пожелание добра — здоровья! Мира и доброго урожая земле вашей, прибýtка в семье и в хозяйстве, лада и покоя в доме вашем!

Культура человеческая не знает времен и расстояний и, как вечнозеленое дерево, лишь гнется под ветрами земных бурь, иногда у дерева обламываются ветви и даже сносит вершину, но древние, за многие века проникшие в глубь земли и в толщу веков корни не дают упасть и погибнуть дереву культуры и свету разума.

Ли-Бо и Ду-Фу жили в очень далекие эпохи, но время не властно над ними, и когда из VIII века в XX Великий поэт подает голос сострадания в прекраснейшем стихотворении «Стирка» — «Уж осень подходит, и скоро зима будет злиться, а наша разлука томительна и тяжела мне. Работа меня не страшит и в разлуке постылой, но как же одежду pošлю я отсюда, с Востока? Я сделаю все, что позволят мне женские силы. Услышь, Господин мой, удары валька издадека», — я словно читаю письмо русской женщины на фронт, где я воевал солдатом против фашизма и пролил свою кровь. А когда я читаю бегучие и светлые, как горный ручей, строки Ду-Фу, — «Облака проплывают спокойно, как мысли мои, и усталому сердцу ушедших желаний не жаль...» — я до дрожи в сердце, осязаемо чувствую его своим современником и как по волшебству, а поэзия и есть волшебство! — шепчу строки

любимейшего моего русского поэта, Сергея Есенина: «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым...»

Как хотелось бы, чтоб судьбами людей и стран правили поэзия, музыка, мировая гармония, которую так упорно стремятся разрушить силы зла. Как хотелось бы вечного братства, согласия, мира и счастья в нашем доме, в едином человеческом доме — утверждает Великая литература всех времен и народов — название ему, этому дому, в котором мы родились, где живут наши дети, внуки, — Земля.

Да светит вечное мирное солнце над вечной мирной землей!

ГОЛОСА НЕОБЪЯТНОЙ РОССИИ

Предисловие к стихотворному сборнику «Час России»

Иногда по делу, а чаще без дела и надобности мы роняем, а то равнодушно бросаем на ходу, в спешке, в суете, как пятаки в автоматы, редкие и бывшие когда-то светлыми и святыми слова: Родина, необъятная Россия (есть варианты, близко лежащие: необъятная, необозримая, беспредельная, многоверстная и т. д. и т. п.), а между тем, прогресс лишил нас возможности упиваться ее необозримостью и беспредельностью. Глянешь иногда одним глазком из быстро мчащегося поезда, все лесополосы да лесополосы одной масти, реденько помеченные черными точками птичьих гнезд. Иной раз мелькнет за ними черепица крыш, в прорехе полосы обозначится лоскутом жнивье или черный клоч зяби, веселых подсолнушков и в клочья изорванной кукурузы на зябкой осенней полосе или рядок одинаковых копешек, оставшийся после комбайна, ровно бы большим каким животным вырожденных на ходу лепешек, уже серых, остывших; безмолвные и никаких машин не боящиеся сороки да вороны, согнув гибкие вершинки деревьев, недвижно сидят по лесоповалам, напоминая собою, что еще и птицы не все вымерли и кормятся они «с железной дороги» бросовым хлебом, огрызками и корками сыра, а повезет, так и колбасным недоедком. Но защелкают под вагонами стыки стрелок, поведет поезд вбок, искривит состав на минуту и тут же выпрямит возле перрона. Две-три минуты, самое многое — десять, передышки, только и успеешь название станции прочитать, иногда купить газету и тут же отдалится от тебя,

отстанет и останется за поездом город или городишко с дымящимися трубами и, как и везде, пятиэтажными домами — серыми коробками современных домов, и уже щелкают под колесами выходные стрелки, рассыпанный по обочинам уголь, торф, разный металлолом, догнивающие и свежие штабеля леса, дряхлые вагоны с дырочками бортами, видать, покинутые еще с войны в тупиках, машина или котел, сваленные под откос... И опять пошли лесополосы, козами объединенные, народом и скотом топтанные, но ряды их уже плотнели, и опять тянешь шею, чтоб увидеть, что там за ними, и дрогнет сердце, как увидишь школу на холме, маковку церкви, издали видевшейся еще дюжей, неразрушенной, табунок пестрого скота, трактор, карабкающийся на косолабок, машины, бегущие по тракту или проселку, и уже редкого, но все еще упрямо кружащегося над российскими полями, надменного, трепещущего нервными, пыльно светящимися крыльями кобчика.

Блажен, кто плывет реками на теплоходе, видит берега, лес, горы, прибрежные деревушки, пристани, новые, стандартные городки и пережившие свой век деревни, в которых если и есть что новое, так это дебаркадер, похожий на деловой, удобный катерок, стоянка возле которого тоже сведена до краткого мига — сдать и получить почту, высадить и посадить горстку пассажиров и, в деловитом молчании — на разворот, на ход и вдаль. Ветер в окнах свистит, музыка играет, красные и белые бакена пробками по бокам мелькают, чего-то ждало и мелькало за поворотом — встречный теплоход отмахку белым флагом сделал и тут же исчез, словно во сне приснился.

Но самое оторопное видение — это с самолета, с современного лайнера, что летит, летит над толстым пластом облаков, словно по бесконечному стилому океану катит, да так мягко, безмятежно. От однообразия звука и вида человека ведет на сон, и, слышь, засотрясало машину, глуша турбины, и уже храпят набегавшиеся по московским присутствиям и магазинам, сомлели и спят в креслах пассажиры, некоторые, приняв на посошок пивца или винца, разулись, и густел в салоне дух от сопрелых носков и от перегара. Ребенчишко, долго сопротивлявшийся всеобщему умиротворению, успокоился, время от времени поскрипывая соской.

Свет приглушен. Пугачеву и Гнатюка тоже выключили, жужжат крутяшки над головой, пуская струйки про-

хладного воздуха, отодвинет занавеску миловидная стюардесса, окинет «свой дом» подкрашенными очами — все спят, сердце ни у кого не прихватило, пить никто не просит, с куревом и с выпивкой тоже все в порядке — сознательные пассажиры, — и задвинет, сомкнет занавески, начнет готовиться к хлопотному и главному в пути делу — кормлению пассажиров среди ночи.

Но пока еще не раздалось: «Внимание!», пока покой, благодать и мир царят среди случайно собравшейся в воздушной машине сотне людей, какое-то тоже пространственное, даже не усталое, а грустное раздумье сойдет на душу и чувство покоя, а порой и умильность охватит душу, может, от того, что кончилась беготня и суета, грозная машина, грозно взревев, благополучно взметнулась в небеса, даст-то Бог, благополучно и приземлится, может, именно потому, что ты в них, в небесах, а значит, и к Богу ближе, хочется вроде чуть и позаискивать перед Ним, извиняясь за беспокойство, думать хорошо обо всем и обо всех, и почтительно — о небесных покоях, где «витают Дух»... А что?! И витает! И Дух! Кто запретит мне думать об этом да еще в уединении небес...

Но вот внизу, под тучным брюхом самолета, раз-другой мелькнуло что-то темное, запестрели пятна, зачастили разрывы в снежном белом океане — и вот горстка, а там уж и выводок светлых пятен и удаленный, оторванный от земли и успевший когда-то отвыкнуть от нее, вдруг встрепенешься: да это же она, земля! Приникнешь к холодному, потному от дыхания, кругляку окна, словно к льдинке, вытряхнутой со дна остылого за ночь ведра, который в детстве всегда откусывали, хрумкали, а потом кашляли. И уже неотрывно смотришь туда, в загадочные пространства, в незнакомую, то в ряд, то густо, то впроредь украшенную огнями планету, и снова, и снова спрашиваешь себя с незнакомым чувством щемящей любви и недоумения, словно блудный сын, глядящий издали на родительский дом: «Да неужели это Она?! — и сам себя уверяешь, — она, она, родная твоя Земля, единственная!..»

И чуть позже, в уже смятенную, растревоженную душу войдет: да ведь там, внизу-то, не просто земля, а Россия, моя Россия! Да-да, та самая необъятная, неоглядная Родина моя, и впрямь единственная, и впрямь до боли, до стона близкая, что мать родная, устало спящая среди полей, лесов и гор, раскинувшая усталые, натруженные руки на травянистые холмы, положившая под щеку мягкую по-

росль леса. Чуткие, много ходившие ноги опустившую в целительные воды рек, озер и прудов, и тихие, беззвучно-мерцающие огни стерегут ее покой и сон.

Да будет во веки веков покойна и величава Родина моя, да не нарушится более ее сон и покой громами войн, не вспыхнет небо над нею, не застонет земля, не заголятся в безутешном плаче тихие и добрые ее селения, не захлестнет ее пути-дороги потоками горьких соленых слез... Родина моя! Ты своим долготерпением, своими жертвами и слезами, многострадальностью и кровью заслужила мирной и уважительной доли. Спи спокойно, родная моя! Скоро рассвет. Вон уже красная ленточка нового дня человечества и твоего, моя родная Россия, повисла на недалежном горизонте и скоро самолет перережет ее острием серебристо сверкающего крыла...

Так думаешь в самолетном уединении о всякой всячине, умиляешься, иногда чего-то «сочиняешь», индо и всплакнешь неизвестно от чего, по ком и по чему, и как-то высветлишься в душе, на время отступят мелочи жизни, незначительное действительно покажется незначительным, малое — малым, ничтожное — ничтожным, и уж непременно посетит тебя мысль о том, что ты вот не спишь, а там, внизу, спят-похрапывают твои друзья-товарищи и не знают, что ты проносишься над ними и думаешь о них, тревожишься и радуешься за них.

Жизнь накапливает не только годы, дни, впечатления, воспоминания, но и людей, тебе едва знакомых, но почему-то запавших в память, заметившихся зарубками в твоём сердце, а значит, в жизни твоей.

И поскольку основная моя жизнь прошла в занятиях литературных, то и встречаешься чаще и больше — с литераторами, стало быть, и помню, и знаю их ближе, чем людей иного труда. От Мурманска и до Владивостока объехал и облетел я Россию, возьму на себя смелость сказать, что и литераторов России знаю не так уж отдаленно, в особенности поэтов.

Если бегло пролистать историю человечества, то сразу обнаружится скачкообразность его пути. Вот уж все вроде бы налаживается, набирает ход. Вот уж и путь назначен, и цель ясна, и идет к светлым далям дружными рядами сплоченное верой и идеями человечество. Вот уж на рысь переходит и хоп — преграда, порой совсем пустышная, какой-нибудь пень, какая-нибудь колода, но... чело-

вечество повалилось, давит друг дружку, копошится, ползает, озлясь, рвет друг дружку зубами и руками...

Ну что такое сучок на могучем земном дереве? Пустяк, закорючка, подставка для пташек, приросток для хвои да листьев. Ан в сучок уперлось человечество, не знает, что делать! Дерево валит запросто, сучок одолеть не может. А все оттого, что сучков тех на дереве очень много и все их надо убрать, аннулировать, чтоб из дерева сделать голое бревно, годное на брусья, шпалы, доски.

Уперлось на сей раз человечество в сучок! И никак не может двинуться дальше, чтоб подчистить, оболванить землю, срубить леса и поскорее без них сдохнуть.

Сучок, сучок проклятый спас и все еще спасает нас и землю нашу. Уж чего только ни придумали люди, чего ни изобрели, но с сучком совладать не могут.

Уже к середине пятидесятих годов нашего века существовало сотни, если не тысячи методов борьбы с сучком, методы все передовые, все экономически выгодные, все сулящие быстрое продвижение по линии прогресса, а значит, и благосостояние человека.

ДОРОГА ДОМОЙ

(«Комсомольская правда». Беседа
с Евгением Черных)

Я считаю, что в мире сейчас писатель номер один — Солженицын, а вершиной русской новеллистики является, на мой взгляд, «Матренин двор».

— Но вхождение Солженицына в литературу обычно связывают с «Одним днем Ивана Денисовича». Эту повесть выдвигали на Ленинскую премию.

— «Иван Денисович» стал для всех откровением. Это было открытием лагерной темы. Для меня открытия здесь не было. Человека, выросшего в Игарке, знающего, что такое Норильск, человека, у которого были репрессированы отец, дедушка, выслано полсела, жестокостями не удивишь. И хотя сам я не сидел, но знал и видел многое.

Виктор Петрович достает из стола две фотографии. Мужики в косоворотках, смотрящие прямо в объектив.

— Отцу 29 лет. А это дедушка. Семеро детей у него было. За «создание вооруженной контрреволюционной организации» в деревне Овсянке взяли 16 человек. Сейчас настаиваю на реабилитации.

«Матренин двор» стал откровением. Нет, до этого работали Овечкин, Дорош, Абрамов, Солоухин, Тендряков... Уже были написаны ранние рассказы Носова, «Деревня Бердяйка» Белова. Задел деревенской прозы был. Но отправная точка — «Матренин двор».

— Словом, наша деревенская проза вышла из «Матренина двора».

— Да. Дело коснулось, наконец, как и в «Привычном деле» Белова, судьбы простейшей и трагической. Я счи-

таю «Привычное дело» при всем глянце, какой навела на эту повесть критика, трагедией русской семьи и русской бабы. Трагедия деревенской русской женщины, описанная Солженицыным, — наиболее концентрированная, наиболее выразительная, вопиющая.

И на каком художественном уровне! А язык?! Пользоваться таким языком я и смог бы, к примеру, да не смел. Потому что мне, тогда молодому автору, на полях рукописей «знатоки» и эстеты писали: «Густопсовый реализм!», «Ха-ха-ха», «Где вы это слышали?». На провинциала это действует. А на Солженицына — нет.

Кроме тех вещей Солженицына, что были опубликованы, я читал в рукописи лишь «Крохотки». Теперь говорят, что они повлияли на «Затеси». «Затеси» я писал до того, как Солоухин свои «Камешки».

— *Того же ряда «Мгновения» Ю. Бондарева, «Зерна» В. Крушина.*

— Не думаю, что миниатюры Солженицына, к тому же мало тогда известные, так подействовали. Этот образ художественной прозы вызван суетой нашей жизни и отсутствием собеседника. Способ разгрузить себя. Заменяющий дневники, записные книжки, которых у меня нет. Оказалось, что этот интимный разговор с самим собой нужен и читателю. Наиболее подготовленному читателю. У нас же массовый читатель охоч до толстых романов.

Читатель воспринимал «Затеси» как душевный разговор с ним. Это для меня важно. И так же я воспринял «Крохотки». Среди них есть шедевры: «На Родине Есенина», «Ведро»...

— *Главным произведением Солженицына в ту пору был, конечно же, «Архипелаг ГУЛАГ», абсолютно большинству советских людей известный лишь по названию и до самого последнего времени считавшийся самой крамольной книгой эпохи.*

— Период-то какой был? Он и сейчас все-то никуда еще не делся, а тогда особенно. Раньше, чтобы публика посещала фильм, требовалось его разругать. И некоторые режиссеры умело этим пользовались.

Так и с Солженицыным. Когда пошла официальная травля писателя, началось тайное распространение и чтение его произведений. Вот уж чего я терпеть не могу. Играет свою роль и физический недостаток. Я просто медленно читаю. И чтобы прочитать такую книгу, как «Архипелаг ГУЛАГ», мне месяц надо. Здесь же приедешь

в Москву — тебе шепотом: «Возьми на две ночи». Не прочитать, во-первых, за пару ночей. Во-вторых, читать под одеялом? Солженицын — явление русской литературы, художник мирового масштаба. И я, бывший солдат, крестьянский сын, стал бы читать под одеялом? Оглядываясь? Александру Исаевичу от этого ни жарко, ни холодно. А мне-то каково, уцелевшему в этой жизни, сохранившему хоть частицу живой души?

«Архипелаг» я все же прочитал. История занятная. Прошел слух по Европам, что всех писателей в России истребили. Ну а поскольку мы даем достаточно поводов для разных слухов, толкований — той же высылкой Солженицына, например, непочтительным отношением к большим художникам, ученым. Все это работает против нас. И потому любому, даже самому нелепому слуху «за бугром» верят. Сказали «голоса», что осталась лишь кучка полуассимилированных людей, которые живут в Москве и работают на русском языке. Оторванные от земли, от деревни. В общем, на писателях крест.

Я тогда жил на Вологодчине. В Харовском районе. Это родина Василия Белова. Только его родная деревня Тимошиха еще на 70 километров дальше. Глушь. Асфальт — жидкий, вологодский. И вдруг в эти края заносит группу АПН. Во главе с Фрицем Капельгайненом, представителем Кельнского телевидения в Москве. Этот Фриц решил доказать миру, что российские писатели кое-где еще водятся. А тут в одном районе враз два. Эти гости и привезли с собой «Архипелаг ГУЛАГ». Вот теперь, говорю, буду читать. Но месяц или полтора. Вон какая книжища! Что-то перечитаю, к каким-то страницам вернусь. «Хорошо, — согласился один из работников АПН, — через полтора месяца отдадите в Москве».

Вот так. Думаю, достаточно прочитать «Матренин двор» и «Архипелаг ГУЛАГ», чтобы знать масштабы этого труженика-автора.

Я, может быть, и с вами не стал бы беседовать на эту тему, но уже сейчас начинают трепать имя Солженицына, делать его модным. Скоро и вовсе начнется вакханалия. «Солженицын! Солженицын!» Все будут утверждать, что они его друзья верные, защитники.

Я никакой не друг великого писателя и тем более не защитник. Я просто читатель, российский человек, родня ему по Отечеству. И только. Быть может, некоторое моральное право мне дает о нем поговорить то, что я не

подписал ни одной строки, ни одного письма против него. Хотя испытывал большой нажим. Надо сказать, что сейчас все немножко смазывается, мутится, и выходит так, будто бы все бежали, в очередь становились, чтобы подписаться против Солженицына.

— *Прекрасный способ оправдать свою трусость. Декать, все так поступали, не я один. Заявил же популярный ныне депутат своим избирателям, что в годы застоя «сидел в герме, как все». Все ли?*

— Расскажу о человеке, который хоть каким-то образом противостоял этому. Это бывший редактор областной вологодской газеты «Красный Север» Николай Михайлович Цветков, ныне пенсионер. С виду тихий вологодский мужик, немножко замкнутый в себе. Это он способствовал тому, что на каждую вологодскую книжку в областной газете всегда была рецензия и печатали в «Красном Севере» те вещи, которые, извините, в столице даже «Новый мир» не решался брать. В первую голову стихи Николая Рубцова. И вот начинается кампания против Солженицына. Пошли бесконечные звонки. Я как раз болел. У меня легкие больные, а когда добавлю простуды, злой становлюсь. В общем, дошло до того, что одну газету центральную обложил по телефону. Дочка рядом была: «Что, пап, сухари сушить?» Я и на нее накричал. Страшно и стыдно было читать гнусные письма, пусть никто из «подписывателей» не оправдывается сейчас, пусть все, у кого совесть есть, извиняются перед великим русским писателем.

В областной газете тоже появилось, конечно, письмо. В самом конце. Наскребаны подписи. Подписались люди, которым ради красного словца не жалко матери и отца. Но ни одной фамилии писателя вологодского, достойного называться писателем, не было.

Выхожу во двор. Встречаю Цветкова. В одном доме жили. Я в шубе, он в шубе, тоже приболел.

«Я, Николай Михайлович, хотел бы вас поблагодарить за то, что не предложили поставить подпись под гнусным письмом».

Он посмотрел на меня пристально и скорбно и потряс головой. «Виктор Петрович, если бы вы знали, чего мне это стоило!» А его предшественник бегал по Вологде и слушал, где петух кукарекает. Главная обязанность главного редактора — выявить скармливание зерна на дому, четко проводить хрущевскую линию.

Я считаю, что с выходом «Архипелага ГУЛАГа» и «Красного колеса», которое я, даст Бог, прочитаю, предстанет, наконец, перед советским читателем величайший писатель современности, подвижник духа. Хорошо писать про американскую действительность, живя в Америке. И другое дело — писать про Россию, ее историю, живя в отрыве от нее и сохраняя при этом любовь к Отечеству своему. Ведь «Архипелаг» чем велик? Он весь, почти на тысяче страниц, пронизан самоиронией, которая всегда была свойственна великой русской литературе, и прежде всего гению русской литературы — Гоголю. Автор прежде всего самоироничен. Александр Исаевич себя просто не щадит.

Оставаясь в любви к своей Родине, земле, людям, он в то же время поднимается до трагических, страшных моментов истории нашей. Ведь он обличает не буржуя. Он обличает строй, в котором, извините, не всегда были вожди со стороны. Были и из рабочих, были и выходцы из деревни. До каких же вершин скотства, изуверства и похабщины они порой доходили!

Я, как пишущий человек, хорошо представляю, какие сложные процессы происходят в его работе и в сердце, чтобы остаться на уровне великой, трагической правды. Ему все время приходится вступать в противоречия. Где-то и со своим народом, с его незрелой, запутанной частью, с теми мужиками, что до сих пор искренне верят, будто они строили «светлое будущее» и многого добились.

Весь творческий процесс писателя — это прежде всего процесс внутреннего борения и самоусовершенствования. Вот чего нам многим не удалось — внутренне совершенствоваться. Обвинять в этом пишущую братию, которая не приспособилась, нельзя. Потому что внутреннее усовершенствование дается, во-первых, огромным знанием жизни, соприкосновением с большой культурой, беспрестанным чтением хорошей литературы, а не словесной мякины, которой нас перекормили и все время твердили при этом — быть в гуще жизни! Нет. Писатель всегда, если он настоящий писатель, был над жизнью. Всегда немножко впереди, выше. И всегда должен иметь возможность оглянуться назад, осмыслить время. А тот, кто терся в гуще, коловерти, спешил «откликнуться», — ничего путного не сделал.

Как сложно самому художнику, я еще раз подчеркиваю, оставаясь за рубежом, творить. Надо иметь огром-

ное мужество, благородство и культуру — внутреннюю культуру, — чтобы подняться над своими обидами. В конце концов из того же он мяса и костей.

Есть у него и прорывы в «Архипелаге», когда уже не может сдержаться, орет, пальцем тычет... Особенно кусок про Крыленко. Но люди теперь сами прочитают, что ж я буду излагать.

«Архипелаг ГУЛАГ» — не только огромное произведение, но и обвинительный приговор жестокому времени и насилию. И нам тоже. Своим терпением мы потрафляли насилию.

Присутствие в мире Александра Исаевича, его работа, его честь были хоть какой-то — слово вот произносили! — путеводной звездой. Ну не звездой, так луной, освещающей нас. Чтобы мы не совсем уж в темные углы-то тыкались, на бревна не натыкались.

Его мужество — мужество командира. Существует такое мужество. Вот наш командир дивизиона был. Тихоголосый, маленький. Владимирский родом. Но, бывало, запаникуют на батарее, замечутся: куда бежать?! А он ничего. И, глядя на него, бойцы успокаивались. Так и присутствие Александра Исаевича. Уж если он в изгнании, преследуемый не только нашими «доблестными борцами», но и всякими репортерами, клеветниками международными, имел мужество много и плодотворно работать! Ведь сейчас мы почти отключены от работы. Болтовней работу заменили. А он не дал себя отключить.

Аскетизм, высочайшее самоотречение, когда человек так поглощен своим творческим трудом, что все земное отпадает. Таким был и Гоголь.

— *Солженицин еще не приехал к нам, а уже пошли разговоры, к кому он примкнет, что будет делать и возвращаться ли ему вообще. Пример — интервью писателя В. Конецкого ленинградской молодежной газете в апреле нынешнего года. «Я не знаю, насколько сейчас реальна возможность публикации у нас «Архипелага ГУЛАГа», и думаю, что совершенно не имеют почвы разговоры о возвращении Солженицына в СССР. Он монархист и прекрасно понимает, что если вернется, то встанет в ряд черносотенцев, ему придется заниматься чистой политикой в очень грязном окружении».*

— Во-первых, он старый человек, хоть и подкошенный лагерем, но еще сильный духом. И суетой его уже не заест. Не то что нас, слабых людей. Во-вторых, он чело-

век верующий, о чем забыл Конецкий. А верующие всегда сосредоточены, всегда в себе, помнят о Боге и о труде своем.

Если Александр Исаевич вернется домой, я буду очень рад. И счастлив буду поклониться ему до земли, что при моей жизни это произошло.

Если хватит у него сил.

Но я против возвращения покойников. Считаю, что они находятся уже не в нашем ведении, а в ведении Бога и всяких небесных сил. Я против возвращения праха Бунина. Могила на кладбище Сент-Женевьев-де Буа в порядке. Другое дело, что Бунинский комитет и мы вместе с издателями должны навсегда откупить на этом кладбище землю. Не надо трогать покойников, не надо! Мы пошумим на новой могиле, поснимаем на пленку толпы плачущих и страждущих, поиграем музыку Вагнера или Бетховена, а через года два-три над классиком будет расти крапива. Это же не модная могила Высоцкого с распродажей фотографий. Зарастала же могила Сурикова бурьяном, да и другие могилы великих русских людей зарастали. Солженицын нам всем доказал, что может вполне самостоятельно мыслить, жить, работать и распоряжаться собою. Так что не нам соваться со своим уставом в чужую жизнь, к чему мы привыкли очень.

— *Возвращение книг Солженицына — наглядный пример развития перестройки. Еще в прошлом году такое трудно было бы предположить.*

— Что прошлый год! Уже в этом году я разговаривал с человеком, в чьей компетенции было — печатать, не печатать. Он сказал: «В круте первом» будут печатать, будут печатать «Раковый корпус». А «ГУЛАГ» — нет. Это антисоветская книга».

Считаю, что перемены в перестройке больше всего произошли в сфере гласности. Переложили Евангелие. Издают Библию. Все это очень хорошо. Но духовное должно подкрепляться материальным. А кое-кто гласность пустил в обратный ход. Уже раздражает она людей. Потому что гласность — глас — уже до неба достала, а на земле-то дела неважные.

Боюсь не того, что с черносотенцами свяжется Солженицын, когда домой вернется. Он сам по себе уже солидная организация. И денежная, и нравственная. Боюсь, он ужаснется, когда увидит, в каком мы состоянии находимся. До какого дошли маразма в отношении к детям,

инвалидам, матерям, пенсионерам. Каких бы он ни был семи пядей во лбу, все равно не представляет, что у нас произошло.

— *В те годы в материальном плане было лучше.*

— Лучше-то лучше, но за счет чего? Во времена Сталина было лучше чуть-чуть в городе. Я жил в городе Чусовом на Урале. В нем продукты то исчезали совсем ненадолго, то появлялись. В областном городе — Перми было лучше, а вот в чусовских магазинах чаще копченая селедка да лук китайский продавался.

57 процентов крестьян кормили 43 процента горожан. И считалось хорошо. Но на каком уровне жила сама деревня-кормилица? Вот она и опустела. Вымерла. Разбжалось-то молодое поколение. А старое вымерло. От голода, от надсады.

И вот что хотел бы я заметить — у черта на куличках, в американском штате Вермонт, Солженицын все равно остается сыном нашей земли. Тогда как многие из здесь, в нашем Отечестве живущих, давно уже как бы пребывают в другой стране. Духовно отделились от народа, презирать его начали.

— *Я все ждал момента, Виктор Петрович, чтобы вернуться к «Одному дню Ивана Денисовича». Огромное значение этой маленькой повести, особенно это видно в наши дни, не только в открытии лагерной темы. Теперь на тему лагерей издано уже много. Есть поговорка «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат». Сейчас в литературе, публицистике больше внимания уделяется страданию как раз этих «панов», проигравших Сталину в борьбе за власть, страданию их детей, близких. Их-то и реабилитируют в первую очередь. Вы еще только пытаетесь добиться реабилитации отца, дедов, земляков, а на многострадальной земле Магадана поспешили открыть памятник одному из основателей «ГУЛАГа», первому директору печально знаменитого Дальстроя, где добывали колымское золото, Берзину, монтировавшему сталинскую мясорубку, а впоследствии, по логике вещей, также угодившему в нее вслед за своими многочисленными жертвами.*

— А что же холопы? Простой народ? Его уже считают чуть ли не единственным виновником страданий панов, развязавших кровавую бойню. Вот и наш шумный и модный поэт называет народ «ленивыми заморскими медведями», за то, что тот молчал в ту пору. Хотя сам-то шуст-

рый поэт в сталинское время отнюдь не молчал, а воспевал.

Солженицын в повести показал страдания простого человека, который в нравственном отношении чище, чем вожди, многие руководители и деятели культуры той поры, которых ныне представляют жертвами и героями-страдальцами.

Кто только русский народ в чем не обвинял! Сейчас начинают даже порицать за то, что и воевали, терпя все, что другие не стали бы терпеть. А что стали бы мы тогда делать, если б не терпели, не подчинялись? Бегали бы по фронту с лозунгами, искали способы заключения мира с Гитлером, отдали бы навсегда половину страны? Терпели, как могли. Во вшах, полураздетые, полуголодные. Медленно, с потерями, но шли вперед. И доставили возможность жить Европе в довольстве, голосовать и голосить всем, кто чего захочет на нашей земле.

Как Иван Африканович в «Привычном деле», так и Иван Денисович — фигуры самые страдательные в России.

Совестливые художники, как их называют, или просто хорошие писатели первым делом озабочены судьбой обыкновенного человека. Того, что и составляет сущность нации, кормит нас. А то у нас часто получается, что те, кто едят, они этого крестьянина ставят на одну доску с палачами.

— *Чтобы самим остаться чистенькими, оправдать свое лакейство.*

— Солженицын написал простого русского человека с достоинством. Можно его на колени поставить, как Ивана Денисовича, но унижить трудно. А унижая простой народ, любая система унижает прежде всего себя.

Иван Денисович и есть истинно русский человек. Как стационарный смотритель Пушкина, Максим Максимыч в «Герое нашего времени», мужики и бабы из «Записок охотника» Тургенева, толстовские крестьяне, бедные люди Достоевского, подвижники духа Лескова.

В конце концов, наши Ромео и Джульетта, «старосветские помещики» были тоже очень простые люди, жили «по вере» и нравственным началам в душе и любили до гроба друг друга, и не хуже аристократов у них это получалось.

Ни один настоящий русский художник не унижил крестьян. Конфетку делали из него иногда, куличик, елочку

нарядную — дело другое. Но с почтением к ним относились даже бояре и дворяне. Понимали, кто их кормит, содержит. Вся великая русская литература этим пронизана. И дано это лишь истинному художнику — в наши дни, прежде всего, Солженицину.

1993

Беседу вел Е. ЧЕРНЫХ

**ПУСТЬ У КАЖДОГО
ГОЛОВА БОЛИТ О СВОЕМ**
*(«Российская газета». Беседа
с Борисом Никитиным)*

В Овсянку к Астафьеву еду не впервые. Но, как всегда, волнуясь: о чем на сей раз поведаст Виктор Петрович, какие новые истины обрушит, да и просто — как живет-работается ему в наше смутное время, с его, астафьевской, привычкой не лукавить, не пресмыкаться, с его колючим характером?

Разговор начался, естественно, с Солженицына: в первое же утро своего пребывания в Красноярске Александр Исаевич поехал в Овсянку к Астафьеву.

— Не заметил, как мы проговорили часа три, один на один, — рассказывает Виктор Петрович. — Солженицын, в отличие от меня, умеет ценить себя и свое время, поэтому жестко отмечает праздную и любопытствующую публику. Интересно, что уже минут через десять я чувствовал себя свободно в общении с гостем, помня, конечно, и о его возрасте, и о более сложном жизненном опыте. Несомненно, Александр Исаевич Солженицын — личность выдающаяся, а в жизни и общении — просто компанейский человек. Я поинтересовался у Александра Исаевича «насчет рюкзахи», и он без жеманства объявил: «За обедом одну еще приемлю, а сейчас, извините: впереди рабочий день».

— А ребята, — спрашиваю, — парни-то как?

— Ну как? Они же у меня русские парни-то, и все русское им не чуждо.

Под конец встречи произошла любопытная сценка.

Александр Исаевич пообещал прислать мне литературный словарь (там что-то и из моих книг выписано), и я подал ему модную сейчас визитку, которые мне отпечатали перед прошлогодней поездкой за границу. А мне нужно было — так договорились с ним — послать в его «мемуарную библиотеку» часть рукописей-воспоминаний фронтовиков, скопившихся у меня в архиве. И Солженицын записал свой адрес на листке бумаги — никаких визиток у него нет и, думаю не бывало. Более того, я сделал вывод, что он как русский человек и писатель «там», в так называемом свободном мире, сохранился лучше в смысле прочности характера, физического и духовного здоровья, куда как крепче и прочнее стоит на земле, чувствует себя и время острее и яснее, чем мы — сыны соцреализма.

— *Что из написанного вами читал Солженицын?*

— Насчет своих книг я, естественно, его не спрашивал, но из разговора понял, что он читал мои рассказы, в частности «Людочку», и хорошо знает книгу «Затеси». Попутно сделал он мне замечание, что раз эти самые «затеси» вне жанра, то и не надо их пытаться превращать в рассказы. Александр Исаевич не знает, что порой «затесь» в процессе работы перерастет, развертывается и сама собой превращается в рассказ. Половина, если не больше моих крупных по размеру рассказов, в том числе и «Ода русскому огороду», да и та же «Людочка», выросли из наметок и замыслов «Затесей».

— *По каким вопросам касательно обустройства России вы согласны с Солженицыным, а по каким не согласны?*

— Об устройстве России говорить нам всем и не пероговорить, но лучше бы все же работать каждому на своем месте и как можно усерднее и профессиональнее. Нас губила и губит полурбота, полуслужба, полуинтеллигентность, полуобразование, полу, полу...

— *Виктор Петрович, ну а вы не жалеете о том, что когда-то не смогли или не захотели стать диссидентом?*

— Я не мог стать диссидентом ни ради свободы, ни ради популярности, ни просто так, потому как не готов был стать таковым: семья — большая, следовательно, мера храбрости — малая. Да и внутренней готовности, раскованности (которая, впрочем, у диссидентов со временем «незаметно» перешла в разнузданность, в самовосхваление, а у кого и в непристойности) — мне не хватало. Но более всего не хватало духовного начала, которое одно сильнее всякой силы. Я же из того поколения, которое

гораздо было заступаться за Анджелу Дэвис и Поля Робсона или за кем-то брошенную собаку на московском аэродроме, или за весь сразу советский народ, но не за конкретного русского человека. Например, хотя бы за своего сына: на двадцатый день после призыва в армию его бросили во взбунтовавшуюся Чехословакию, куда наши «передовые направители» жизни своих чад не посылали — там ведь и убивали.

И не то, чтобы храбрости моей не хватило, мне просто в голову не приходило протестовать, как-то оспаривать происходящее. Быть может, протест моих сверстников ушел в запас в мае 45-го...

— *Сегодня тема войны вновь захватывает нас. Ваш роман «Прокляты и убиты» не может не интересовать многих, и прежде всего фронтовиков. Как работается наг новыми главами?*

— Вторая книга романа «Прокляты и убиты» под названием «Плацдарм» будет опубликована в №№ 10—12 «Нового мира» (журнальный вариант). Читал рукопись мой старый и верный друг по литературе — Александр Михайлов, в прошлом командир саперной роты. Он сделал ряд существенных замечаний, которые я постараюсь учесть в дальнейшей работе, но в журнал я с этими поправками уже не успел. Давал читать рукопись одному из генералов-фронтовиков, человеку не просто разумному, но и редкостно среди наших генералов начитанному. Он в целом одобрительно отнесся к рукописи, хотя и принципиально не согласился с тем, как я изображаю «линию партии» на войне, что, впрочем, совсем неудивительно: был он начальником политотдела стрелковой дивизии, а я просто солдатом, и наши взгляды, естественно, не только на «линию партии», но и на многие другие «линии» войны и жизни не сходятся.

— *Кроме романа, еще пишете что-нибудь?*

— Ничего, кроме романа. Не хватает сил, хотя раньше для разрядки писал что-нибудь для детей или сочинял для отдыха, например «Оду русскому огороду». Есть у меня замысел написать для детей короткую повесть о собаке, но пока усталость после окончания «Плацдарма» еще не дает возможности вплотную сесть к столу — болит голова, дает о себе знать фронтовая контузия. Недавно болезнь-таки доконала моего старого и старшего товарища Юрия Нагибина.

— *Нагибин говорил — я сам слышал, — что хотел бы перег смертьюжать руку Виктору Астафьеву...*

— Он когда-то — как давно! — еще в 1959 году помог мне первый раз напечататься в московском толстом журнале «Знамя». Познакомились мы ближе гораздо позднее в редколлегии журнала «Наш современник», который в ту пору печатал литературу о жизни и страданиях русского народа, а не прокламации в защиту его. Всю жизнь, начиная с 50-го года, читал все, что печаталось под фамилией Нагибин, всю жизнь испытывал к нему дружеские чувства, при редких встречах и беседах имел возможность если не высказать, то дать почувствовать мое к нему расположение, безмерную любовь к его творчеству. Меня никогда не охватывала зависть к его литературно-киношной удачливости, умению «наживать деньги», что давало ему возможность хотя бы материально жить независимо. И никакой художественной зависимости или духовной я от Нагибина не испытывал, а вот работоспособности его дивился.

— *Виктор Петрович, а теперь, если позволите, не о литературе. Если бы к вам обратились, что бы вы посоветовали нашему правительству или президенту?*

— Не мое это дело — советовать правительству и президенту, пусть у каждого болит голова о своем деле. Именно по этой причине еще при Горбачеве я отказался от почетных мест в руководящих органах, равно как и «фрейлиной» ездить в правительственных делегациях, посещающих разные страны.

— *Есть ли у писателя Астафьева открытия новых писателей?*

— Я открыл для себя не просто интересных, но и серьезных современных писателей: петербуржца Михаила Кураева и тоже петербуржца, но уже покойного — Сергея Довлатова. С восторгом прочел в «Новом мире» «Казенную сказку» Олега Павлова и с чувством редкостного художественного открытия — «Плач красной суки» Инги Петкевич. Правда, дерзкое это произведение с предезким, но точным названием, наш вежливенький журнал, словно одернув плиссированную юбочку, переименовал соответственно своему духу в «Свободное падение». Ну что ж, лишнее доказательство того, что падение, да еще свободное нам всем свойственно, а вот взлет?..

Но не спешите горько вздыхать. В журнал роман этот принес член его редколлегии писатель Андрей Битов. Из

этого ничего бы — ну принес и принес, случается. Но Инга-то Петкевич — бывшая жена Битова. И это тоже бы ничего. Но, зная вкус, образованность и начитанность Битова, думаю, не мог он не заметить, что проза его бывшей жены (как бы это поделикатней сказать? Да Бог с ней, с деликатностью!) крепче прозы самого Битова. Поэтому и принес рукопись бывшей жены бывший муж? Если так, значит, в литературе нашей современной не все исподличались.

ОСТАНОВИТЬ БЕЗУМИЕ!

(«Уральский рабочий» г. Екатеринбург)

Прежде всего мне хочется поздравить давно мною уважаемую газету «Уральский рабочий» с достославным юбилеем и пожелать ее сотрудникам всего того, чего желают добрым людям в праздник.

Выступая в прошлом году на юбилее «Красноярского рабочего», я назвал вашу газету в числе лучших газет России потому, что «Уральский рабочий» и в годы всеобщего помутнения российского разума, во времена беспредельной власти многоступенчатой цензуры, умудрился быть широкочитаемым и почитаемым изданием, не боялся или — точнее — боялся в меру ставить острые вопросы бытия и сосуществования с властью, которая в Свердловске была, как и во многих российских городах, тупа, но уж зато сверхамбициозна. И еще я говорил о том, что уральской и красноярской газетам повезло с названиями — оно оказалось долговечно, не то что издания аграрного уклона — эти переименовывали все кому не лень, все плотнее приближая их к «народному вкусу» — по «желанию читателей». Стало быть, к абсурду, к убогой морали, гремящей ржавыми зубьями советской пропагандистской машины.

Да, многое, очень многое изменилось в нашей стране и в народе, и, как всегда на Руси, «с маху под рубаху» — не спросясь и не подумав, готовы ли мы к таким крутым переменам и переворотам, сможем ли мы, так долго жившие и работавшие под идеологическим конвоем, с губами, порванными железною уздой, ненаученные дышать полной грудью, молвить громкое слово без оглядки, —

воспользоваться обрушившейся на нас свободой. Свобода для народа незрелого, нравственно запущенного, с изуродованным сознанием — со смещенными понятиями добра и зла, — то же самое, что бритва в руках ребенка. Вот мы и пообрезались, и хнычем, ищем врагов, вопием, но чаще в растерянности тупо молчим, не понимая, что происходит вокруг нас. То ли дело было совсем недавно: дядя за нас думал, дядя вел нас напрямик к «светлым вершинам», предупреждая, что шаг влево, шаг вправо делать нельзя — опасно, и за послушание дядя же давал баланду, а кому и кашу с маслом.

Как я себя чувствую? «Всяко-разно», как говорят на Урале, но внутреннее освобождение врасплох меня не застало, я, может быть, готов был жить и работать при любых обстоятельствах, не очень обращая внимание на перемены погоды, я не по капле, но по бисеринке выдавливал из себя раба, хотя и ощущаю, что раб этот так глубоко и плотно заселился во мне, таким поганым, сосущим глистом прилип к моему нутру, что до конца моих земных сроков не выжить мне его из себя, как и всему старшему поколению моих соплеменников. По-настоящему свободных людей встречал, но не у нас, а за границей, хотя сейчас есть молодцы, которые громко заявляют, что они всегда были независимы, жили, как им хотелось. Неправда это или наивное заблуждение — современный человек даже лицу перейти свободно не может, а уж жить свободно...

Я всю свою творческую, а может, и не только творческую жизнь готовился к главной своей книге — роману о войне. Думаю, что ради нее Господь меня сохранил не только на войне, но и во многих непростых и нелегких, порой на грани смерти, обстоятельствах, помогал мне выжить, мучил меня памятью, грузом воспоминаний придавливал, чтобы я готовился выполнить Его завет — рассказать свою правду о войне. Ведь сколько человек побывало в огненном горниле войны, столько и правд о ней они привезли домой.

Есть, есть высшая сила, приуготовливающая человека к тому или иному свершению — не случайно ж я начал воевать в тургеневских и бунинских местах. Волной военной занесло меня и «к Гоголю» в Опишню, Миргород и Катильву. Воевал я на 1-м Уральском, а вот бросили нашу часть к шевченковскому куреню — на уничтожение Кор-

сунь-Шевченковской группировки, в помощь 2-му Украинскому фронту, только-только перешли границу, и вот под городом Ярославом я уже в усадьбе магнатов Потоцких, где и парк, и дом — сплошное искусство, а затем и к Шопену в гости заносило...

Уже в начале работы над романом начали твориться чудеса: неизвестный читатель мой прислал мне тетрадь с записями окопного немецкого сленга. Свой-то жаргон я хорошо постиг, а немецкий мне был неведом. Тут же из Москвы приходит книга под названием «Скрытая правда войны 41-го года», а следом — из Германии альбом воспоминаний о войне, где письма фронтовиков отобраны не по нраву цензоров, не исправлены главпуровцами, а война в снимках и текстах, какая она есть, страшная, неприглядная, бесчеловечная.

Немцы, начиная с романа Рихтера «Не убий», изданного в 1947 году, пишут, пишут и написали свою правду о походе на Восток, о трагическом поражении, чтобы все, у кого чешутся руки, осознали деяния фашистов, а мы все тешимся той правдой, которую навязала нам наша лживая пропаганда, и верим, что красиво, героически воевали, чем подзуживаем реакционно, агрессивно настроенных людей, среди которых немало и молодых, не знающих куда себя девать. Вот нас и «умыли» снова кровью, на этот раз на Кавказе.

«Кто врет о войне прошлой, тот приближает войну будущую». Вслушиваться бы и повнимательней вчитываться нам в эти вещие слова, многих бы мы бед избежали, от гонора властителей мира сего скорее бы избавились.

Сейчас я готовлюсь к третьей книге романа «Прокляты и убиты». Но в прошлую осень тяжело переболел и до сих пор не поправился до конца, а роман писать — это все равно что телегу с камнями в гору везти.

Жена моя, Мария Семеновна, урывками, как я говорю, «между стиркою кальсон и варением пицци», тоже маленько пишет. К нашему юбилею совместной жизни — 50-летию — написала и издала книгу «Знаки жизни». Потом очень долго корпела и составила свою родословную — «Земная память и печаль», весьма интересную и поучительную для тех, кто тоскует и никак не хочет забыть наше «светлое» прошлое. Супруга моя из девятидетной уральской рабочей семьи, большую часть которой

сокрушила война,— есть чего записать и вспомнить. Кроме того, она «секретарит» у меня, печатает на машинке и, хотя здоровье ее не просто подорвано, а «разорвано на куски», без дела сидеть не может, иногда, держась за стенки, тащится в кухню, затем в библиотеку — и стучит, стучит на машинке. Сделала вот почти титанический труд — отобрала две тысячи страниц писем читателей, друзей — ко мне, часть писем и моих, организует как-то и где-то издать эти письма, документ, можно сказать, откровение современной жизни.

Благодарю вас за вопрос о моей жене. Нечасто мне его задают и предоставляют возможность высказать добрые слова о моем вечном, единственном спутнике и неумолимом, сверхтерпеливом помощнике. Литератор Виктор Астафьев — не подарок для жены и близких своих, не был он подарком и в солдатиках в 1945 году, когда сходил с Марией Семеновной в нестроевой части, куда попал после госпиталя.

Поговорка есть очень бодрая, должно быть, большевистская — они большие мастера насчет ободрений и боевых выкриков: «Все, что ни совершается,— к лучшему». Но слишком уж много вокруг нас того, что дает основания усомниться в этом оптимистическом заверении.

Лет уже 15 тому назад, будучи на Конгрессе сторонников мира в Варшаве, я спросил насчет нашего будущего у академика, хорошо осведомленного в земных делах, и он сказал, что если мы немедленно начнем разоружение по всей земле, погасим военные печи, в которых сгорает драгоценное сырье, и одновременно начнем починку неба, лечение земли, очищение морей, океанов и рек, то мы еще сколько-то протянем, но если этого не случится, то мы подойдем к той черте, точнее — к краю, когда никто уже не возьмется угадывать — сколько нам осталось быть на земле — 40 лет, 400, четыре ли тысячи... Мое мнение: до края того совсем недалеко, ведь человек не отказался пока ни от одной услуги гремящего прогресса, и не поумнел он, но нахрапистости потребителя в нем добавилось: окиньте взором Урал, и вы увидите, на что способен человек-самоистребитель.

Россия на земле не сама по себе, она сожигательствует со всем человечеством, а человечество-то поет и пляшет, мчится, давя колесами братьев своих, и палит из все

усовершенствующегося оружия во все стороны. Безумие, утрата ценности человеческой жизни и крови, желание отобрать, хапнуть, обмануть, но не заработать хлеб свой — вот самые убедительные признаки жизни на земле на исходе двадцатого, может быть, предпоследнего века земного существования.

И дальше-то утешительного нет: генетики пророчат, что через четыреста тысяч лет из мутных вод выползет крыса, съест другую крысу — и пошло-поехало развитие жизни на земле, вперед и дальше — таков мол, генетический код планеты Земля. Ну что тут скажешь? Руками разведешь, анекдотец расскажешь и с шутками-прибаутками плясать пойдешь — лучше уж доживать весело и бездумно, чем унывать и заранее в могилу ложиться.

Вы спрашиваете меня, как я встречал 50-летие Победы. Все эти праздники, начиная с сорок пятого года, я воспринимаю и провожу как день поминовения убитых на войне, никогда не ходил и не хожу ни на какие сборища и приемы, где ветераны пьют казенную, бесплатную водку и трезвонят о своих и всеобщих подвигах, не чувствуя неловкости и стыда перед погибшими товарищами. Какова бы ни была цифра наших потерь, а она упирается в сорок семь миллионов, война, где впервые в истории человечества мирного населения погибло больше, чем солдат на войне, — не может считаться праздником и поводом для веселья, словоблудия, маршей и песен. В этот день надо всей России молиться, просить прощения у тех, кого мы погубили, и прежде всего у женщин и детей, уморенных голодом, иль хуже того, вовлеченных в вопиющую мясорубку.

Обращаю внимание, что противник наш почти не вовлекал женщин и детей в окопы, в дикость, кровь и грязь войны. Только когда наши армии влезли в тесные, каменные улицы Берлина, женщины начали защищаться, дети и старики садили из всех окон фаустпатронами в бока наших танков и машин. На улицах Берлина — произнести и то страшно! — одновременно горело 850 наших танков. Генерал Бредли, узнав, что штурм Берлина обойдется его армии в сто тысяч душ, отказался от этой операции. А нам никого не жалко! Как говорит персонаж Шукшина из «Калины красной»: «Мужиков в России много». А вот уже и не много, продолжительность жизни этого непуте-

вого создания приближается к пятидесяти годам, да и те мужики, что есть, не хотят жениться, сидят по тюрьмам и лагерям, избивают друг друга в военных казармах, норовят податься в бомжи, в сексуальные меньшинства, а больше пьют, гуляют, прожигают и без того короткую свою жизнь.

Да, хотелось бы быть оптимистом, но в мои годы, с моим жизненным багажом сделаться оптимистом, не так легко и просто. Но жизни, подаренной нам Господом, надо радоваться и дорожить ею. В тридцатых годах эшелонам везли куда-то на расстрел русских священнослужителей. Родственники одного священника-смертника как-то ухитрились повидаться с ним в Красноярске и, обливаясь слезами, спросили: «Что же нам-то, здесь остающимся, делать?» И смертник ответил: «Радуйтесь!»

Для меня этот завет сделался нравственной опорой. Может, кому-то из читателей ваших он тоже поможет укрепить дух свой, добавит оптимизма, вселит веру в будущее. «Разум радостно тяжелеет», — сказал недавно мой друг-поэт, я и желаю, чтобы разум людей тяжелел от умной книги, великой музыки, познания самого себя и мира Божьего.

Благодарю «Уральский рабочий» за предоставленную мне возможность поговорить с уральцами — ведь на Урале прошла моя молодость, прожит кусок сложной, в том числе и творческой жизни в 24 года длиною; частица сердца, и немалая, оставлена на этой прекрасной и многострадальной русской земле.

ЖИЗНЬ ПО-НОВОМУ

Результатом длительного господства тирании
является развращенное общество,
общество истерзанных душ,
лишенных понятий чести и достоинства,
справедливости и добра.

Никколо Макиавелли

Десять часов отсидки в Красноярске. Пять часов в Керчи. Опоздали в Потайю на 14 часов. Все лучшие номера заняты-розданы, нам со внучкой достался номер с видом на крышу кухни, над которой работают мощнейшие вентиляторы, в номере чад и дым и все время что-то ноет, дверь плохо отворяется новомодным ключом.

Вспоминаю, как в домах творчества, где и бывали-то раза три-четыре, нам всегда доставались худшие комнаты и непременно напротив сортира — вот обхохочется жена моя, узнав про тайландское наше жилище. Я чувствую себя неважно. Думал, после «ударного» рейса, нет, и сегодня общий дискомфорт, и Ольги Семеновны, врача «нашего» нет — некому пожаловаться. Одна радость: внучке живется вольно, меня не слушает, все разбрасывает. Дома бабушка ругается, подбирать заставляет. Здесь я замещаю бабушку и не ругаюсь уж — бесполезно. Сказал ей: «Ох, и попадетя же тебе растрепа-мужичонка и будет обосран с ног до головы или лупить будет тебя день и ночь!» «Нетушки! — как всегда открыто и убежденно выпалила она, — я сама его отлуплю!»

И еще радость: читаю и подпрыгиваю от восторга книгу Якова Харона, присланную Алешей Симоновым, «Злые баллады Гийома».

В гостинице «Амбассадор», где мы с Полей жили, нет ни радио, ни градусника, ничего нет, бассейны есть, кормилица, наподобие наших прежних рабочих столовок и торговых точек, с полусырыми шашлыками, выпивкой и

мороженым, — все, все направлено на выкачивание денег, все настроено на один лад. Телек тоже черно-белый, по нему бегают и молятся тайцы.

Прилетели в Тайланд в основном так называемые «новые русские» — нисколько они не лучше своих дедов и отцов — мудаков-коммунистов и околокоммунистического быдла. «Новая срань» — вот бы какое им пристало имя! Пьют, жрут, серут, где попало, ходят в золоте. Одного молодого я спросил, знает ли он, как называется золотая, роскошная, в то же время безвкусная вещь, навешенная на его бычью шею, по груди, разляпанной волосьем и наколками? «А на х...? — Мутно и сыто глядя на меня, спросил он. — Расскажи, если знаешь».

И я рассказал, что это диадема Македонского, пришедшая на восток вместе с его тупым и надменным воинством. «Ну и х... с ним, с македонским-мудаковским этим!»

Невежество умножает хамство, попытка роскошно жить выявляет духовное и душевное убожество — развлечения и запросы на уровне зулусов, музыкой пользуются тоже зулусской, да еще в карты играют — всюду в дурачка дуются, пьяно хохочут, сверкая золотыми зубами, видать, повывидирали свои родные зубы, чтобы навставлять золотые.

И нравы! Нравы!

В холле гостиницы, обняв большую мягкую игрушку, второй вечер безутешно плачет дитя. В шелковом, воздушном платице, со многими восточными косичками, модно украшающими ее головку, в косички вплетены красивые восточные висюльки. Безутешно плачет модно одетое дитя, родители ее где-то развлекаются, сообразительные деляги, еще теми, своими руководящими родителями, скорее всего, партноменклатурщиками, наученные никого и ничего не уважать и по возможности эксплуатировать ближнего своего.

Выведут дитя родное, заботливо украшенное, в холл, бросят, зная, что найдутся сердобольные «старые» русские и приберут ребенка. Вокруг этой плачущей девочки толпятся эти самые русские, ахают, возмущаются, мужики сулятся родителям морду набить.

Но вот она, еще молодая, тоже разодетая модно, появляется в холле, возмущенно восклицает: «Опять?!» — и девочка бросается к ней: «Тетя Таня! Тетя Таня!» — знакомая ей молодая женщина подбирает девочку, с сердитым выражением на лице, со слезами, тянет к себе и «спа-

сает» ее весь вечер, пока родители, пьяненькие, беззаботные, вернутся домой.

И Таня же еще ж ищет их по всей гостинице, ибо те «новые русские» соображать давно научены, предусмотрительно не говорят, где их комната, где девочкин номер.

Таня сдает спящую девочку с рук на руки в «рецепцию», и родители, крадучись, забирают ее к себе.

ЖИТЕЙСКАЯ ЯВЬ И ПОШЛОСТЬ

Жизнь разнообразна, жизнь затейлива.

В тот день, когда пришло письмо от женщины из Выбора, кстати называющей себя «верным ленинцем» и кроющей Сталина за содеянные злодеяния и желающей, чтоб «всех вас, писателей, перевешать», было еще несколько писем. Я выбрал наиболее интересные.

Письмо от фронтового друга с Алтая: «...знаю, что здоровье в вас плохое, но все равно надо терпеть хотя бы до двухтысячелетия, а может, и больше...»

Друг мой, с которым мы прошли Сибирский стрелковый и автополк, воевали в одной артбригаде рядовыми бойцами, из семьи украинских переселенцев, и простим ему милые странности в обороте речи. Я ему их всегда прощал, хотя порой по молодости лет и потешался над ним:

«...пару слов о себе. Живем по-прежнему. Деревня. Каждый день одно и то же, встал утром, поработал часок и до вечера делать нечего зимой. Сын задумал свой дом построить, но забота вся наша, поеду в тайгу лес добывать. Его затея, а деньги и забота отцовская. Но он хочет, чтоб под старость лет мы с женой жили с ним. Но еще ничего, сердца наши покуда дышат...»

Письмо от новоявленного пророка под названием «Первое послание к ивановцам Москвы от Георгия Биоспольского»: «Братья и сестры московские! Здравствуйте! Благодать вам и мир, и здоровье, и Воскресенье от Бога Духа отца нашего и Господа животворящего Порфирия Корне-

евича Иванова. Посылаю Вам «символ веры ивановцев» записанный мною, слугой Господа животворящего».

И далее о вере, о Иисусе Христе, Богочеловеке, распятом за нас, и наставления «от богочеловека второго пришествия Порфирия Корнеевича Иванова», в общем-то почти совпадающие с древними канонами правила ежедневно исповедаться, самопричащаться «безубойной пищей», заниматься самопокаянием, самосвящением, жить по совести и т. д. и т. п., и еще общее дело «самовоскресенья» — очень занятное: «Детка! Я прошу, я умоляю всех людей — становись и занимай свое место в природе. Оно ни кем не занято и не покупается ни за какие деньги, а только собственными делами и трудом в природе, себе на благо, чтобы тебе было легко. Детка! Ты полон желаний принести пользу всему советскому народу, строящему коммунизм. Для этого ты постарайся быть здоровым душой и телом, прими от меня несколько советов: два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь: в море, в озере, в реке, в ванне или обливайся и окунайся на пустой желудок», и много там добрых наставлений насчет купанья, закаливания организма, еды, питья и даже... «не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Не сморкайся. Здоровайся со всеми, помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся... Победы в себе жадность, лень, самодовольство, страх, лицемерие, гордость, гнев, зависть, уныние, похоть, не хвались, не возвышайся, не употребляй алкоголя, не ругайся. Освободи голову от мыслей о болезнях, смерти. Это будет твоя победа».

И еще очень маленькое, занятненькое послание-поздравление из Ворошиловградской области, из города Артемовска, из детского клуба под названием «Бригантина»: «Наша зимняя картинка к нам приходит в класс. С Новым годом! «Бригантина» поздравляет вас» — совет клуба.

Я как-то в одной школе сказал в меру подкрашенной, в модные вельветовые брючки одетой учительнице, нехорошо, мол, получается, отряд-то пионерский, а название у него «Корабль разбойников». «Да, что вы говорици» — удивилась она, — но это так красиво звучит...»

Нам абы красиво было, а там хоть трава не расти — горят неугасимо вечные огни супротив горсоветов в грязных, будто бы только что бомбежку переживших райцен-

трах, а кладбище запущенное, коровы по нему и козы бродят, в крупных селениях и райгородах, где шла война, пионерские отряды строем, чеканным шагом ходят, стоят торжественно в форме подле вечного огня, а рядом в лесах и полях скелеты валяются и белые косточки убиенных, возле них вечный огонь трепыхается.

Или вон столичная мода и до провинции докатилась, повергла ее и возбудила: по сценкам гоняют большеротых девок в купальниках, королев красоты выбирают. В советских городах и селах жрать нечего, очереди, давка в общественном транспорте, грязь в общежитиях, нищета в домах ребенка, и вот, значит, тут королева красоты, скоро и короля выберут.

Ах пошлость, пошлость, кажется, она и в самом деле вперед нас родилась!

СТРАДАНИЕ

В потрясающем, быть может, самом великом фильме о прошлой войне «Восхождение» Ларисы Шепитько, не понятом и не принятом нашим «передовым и мыслящим зрителем» по причине сложности, есть «кино в кинe» — это когда к смертникам в подвал зашвыривают девочку-еврейку. Оглушенная, растерзанная и в чем-то уже перед всем светом виноватая за свой «позор», еще не оформившаяся в женщину, даже и не приблизившаяся к ней, но уже изнахраченная, изувеченная скотами мужского рода, она лишь глазами выказывает непомерное страдание и страдание не сиюминутное, не летучее, не короткое, а то, которое веками несла и несет в себе женщина всех веков, всех земель. Ребенок страдает молча взрослым непереносимым страданием, и обреченность ее на это страдание, молчаливое принятие боли, стыда, погубленности судьбы, так рано и безвинно разбитой. И еще — покорность судьбе и боли.

Все, все это мгновенно оценила, поняла и приняла взрослая женщина-мать, святая, прошедшая уже через «женскую судьбу». Она сдергивает с себя полушалок, накрывает им девочку и прижимает ее смятую, простоволосую к своей уже надсаженной, почти отболевшей груди, к этому вечно мучающемуся за всех женскому необъятному сердцу.

Девочка приглушенно, украдкой плачет и стонет, прижимаясь к понимающему ее сердцу, по-детски беспомощ-

ная, безоружная, обреченная. Взрослая женщина, жалея ребенка, в то же время прячет ее невольный «грех» от посторонних мужицких глаз, пытается не только пожалеть, но и скрыть преступление, за которое есть одна лишь достойная кара, кара Божья, которую понесли и несут насильники всех времен.

И когда вешают партизан и девочку заодно, не зная вроде бы, куда ее девать, на ней внимание не заостряется, ее, как муху со стола, смахивают, — родилась, росла, не успела вырасти, приняла муку — и делать ей больше на земле нечего.

Такое и так могла снять и показать только женщина, а Шепитько была удивительная женщина во всех своих фильмах! Как она понимала и как ненавязчиво, но упрямо и стойко тыкала носом мерзавцев всех времен и земель в мужское вонючее дерьмо.

К ВЕРШИННОМУ ТЕЧЕНИЮ

Ответ на классные работы учеников

Прежде всего отраден сам факт, что учащиеся школ выступают в роли критиков и не просто «разбирают» прочитанное, но пытаются поразмышлять о прочитанном. И порой попытки эти вполне самостоятельны, свежи, как и полагается в общем-то мыслить детям, еще не испорченным «жизненным опытом», и с сознанием, не деформированным формализмом и казенщиной в преподавании литературы и истолковании творческого процесса.

Только неиспорченный человек, чисто и уважительно воспринимающий труд писателя, может сказать: «созданная на страницах книги жизнь требует бережного к себе отношения...» Вот бы нашей «взрослой» профессионально работающей критике прислушаться, и повнимательней, к тому, что «глаголят уста младенца».

Ибо сплошь и рядом критика наша, независимо от того, есть ли в книге жизнь, нету ли ее, рассматривает художественное произведение, как некую конструкцию по давно заданной механической схеме (и если схема эта не совпадает с той, которая введена критику, он раздражается, начинает фыркать, уязвлять автора всезнанием, примеривает книгу на себя, как платье или штаны).

Ведь это сейчас, когда уже целое направление «деревенской прозы» утвердилось и утвердило себя, сделалось модно апеллировать к ней по делу и без дела, выдавать как «эталон слова», числить ее «значительной в размере художественной мысли современного общества».

Любой «деревенщик», порывшись в столе, найдет вам

десятки отповедей тех же критиков, где в закрытых рецензиях, давая «отлуп» тому или иному, ныне широко известному произведению, глумливо, с интеллектуальным сарказмом писалось, что в «век НТР и этакая вонь онучей?», «да куда же вы идете-то и насколько же отстали от жизни и передовых идей?» Очень бы хотелось надеяться, и критические ответы учащихся обнадеживают, что самостоятельное прочтение книги, собственное ее восприятие восторжествует, наконец, над так называемым коллективным, то есть казенным мышлением, которое столь бед уже принесло и продолжает приносить преподаванию литературы, приспособлявая мысли к сегодняшним людям и требованиям, точнее сказать, к поветриям, которые, как известно, меняются в зависимости от погоды, и сами меняют погоду, угождая тем и тому, кто умеет держать нос по ветру.

Чрезвычайно интересно, что отзвуки читательского восприятия, делящего мир на белое и черное, на «можно» и «нельзя» нашли отражение и в детских работах. Категоричность девочки-девятиклассницы в восприятии и истолковании произведения, которое и сам автор до конца объяснить не может, потому как «сотворение жизни» пусть и в книге, есть все-таки тайна, категоричность эта пусть будет упреком не ей, а всем нам — писателям, критикам, учителям.

Выступал я когда-то много, от Мурманска и до Владивостока проехал, сохранил записки из зала, рассортировал их, и отсортированные записки из педвузов, школ и студенческих аудиторий вызывают не только чувство грусти, но и страха.

Страшновато и за эту девочку, что уже сейчас так небрежно «судит» книгу и не просто «судит», но и «выводы делает». А что если она пойдет в педвуз, и потом преподавать литературу в школе станет? Характера ей не занимать, самоуверенность уже есть, к этому еще прибавится опыт и высшее образование?»

Тут невольно и приходит на ум слово модное ныне — «перестройка» и надежда на то, что педагогическая наука воспримет его, не как многое прежде воспринимала, то есть не формально.

Ах, как хочется надеяться, что молодые «критики мои», умненькие, начитанные ребята не остановятся на достигнутом, не закоснеют от казенных наук в казенных помещениях, а так вот и дальше, с мучениями, сомнениями,

преодолевая себя и рутину общественного сознания, будут карабкаться вверх и дальше по отвесной стене мироздания, отыскивая свои ориентиры, нехоженые тропки в будущее.

И всегда будут помнить при этом — прочитанная ими книга была ступенькой вперед, а если вышло — назад, значит, и сам творец, карабкаясь ввысь, сорвался со стены той, но ломая ногти, кровавая холодный камень, снова и снова карабкается вместе с вами к высотам познания, к постижению того, что зовется смыслом жизни, и мечтает поведать об этом так, как до него эту работу еще никто не делал, никого не повторяя, никого не унижая, помня лишь о конечной высшей цели — стремлении к добру и свету.

Видели ль вы когда-нибудь, как проходит порог или водопад дивная по красоте и вкусу, светловодная рыба хариус? Однажды на Урале я просидел почти сутки у водопада и забыл даже рыбачить — рыбки, казавшиеся в падающей лавине воды беспомощными, маленькими, час за часом стремились вверх, висели меж «низом и верхом», работая всеми перышками, хвостом, телом и, поймав миг, воздушный разрыв в струе, мгновенно продвигались на сантиметр-другой к месту икромета. Иные рыбки, добравшись почти до слива водопада, обессиленные падали вниз, в кипящую бездну, отходили в затишье, за камни и устало шевеля жабрами, отдыхались, набирались сил для нового броска, борьбы с родной стихией, для достижения своей цели...

Творчество, всякое настоящее творчество, в том числе и писательская работа, чем-то схожа с этой великой работой обитателей водной стихии, в их непрестанном стремлении к вершинному течению, к продлению рода своего, а значит, и жизни на земле.

Пока человек жив — он должен и обязан творить добро, и чем больше он его сотворит, чем яростней будет устремлен к нему, тем меньше места на Земле останется злу.

КОММЕНТАРИИ

Публицистика сама по себе есть уже комментарий к жизни, или точнее, — авторский взгляд на нее, который, конечно же, часто не сходится со взглядом и мыслями просвещенной и всякой иной публики, любящей высказывать свое мнение о всяческих явлениях жизни общества и настаивающей на нем, на своем мнении. При этом, как показывают современная действительность и почта ко мне — чем невежественней, дремучей и безграмотней «мыслитель», тем он оголтелей настаивает на своем и порой уж готов защищать собственное мнение на кулаках.

Иной раз целый том накатает человек с философским уклоном, настаивая на том, что жизнь недавняя, при коммунистах, значит, была хорошая, сейчас вот — плохая: все распродали, разворовали в России, и виноват во всем этом нынешний президент и его окружение, и что если обратно все вернуть — «свергнуть режим», так все разом и изменится к лучшему.

Иные авторы, все это, мною кратко, но исчерпывающе изложенное, подкрепляют изречениями из марксизма-ленинизма, чтоб убедительней было, так еще и из Библии иль Евангелия цитатку ввернут. И умствуют упоенно, самозабвенно умствуют, любясь собой, своей начитанностью и «глубиной мышления», хотя «глубина» та бойкими устами изреченная иль пером нарисованная, а также и философские откровения бывают на уровне неимоверного «открытия», что черная корова тоже доится белым молоком и Волга впадает в Каспийское море.

При подготовке этого тома мне было любопытно прочесть себя и просмотреть свою публицистику, свои размышления и «откровения» не за один уже десяток лет. Много запальчивости, много лишнего, много и вздорного наговорил я за эти быстротекущие годы, особенно в интервью и разного рода беседах с кор-

респондентами разных газет, журналов и изданий. Есть пагубная техническая штукавина у современных журналистов — диктофон. На мой взгляд он не только дисквалифицировал и ленивыми сделал многих, уже опытных и небесталанных журналистов, но и губительно сказался на всей современной журналистике. Год от года приборчик этот становится компактней, совершенней, и год от года пользующиеся им, теряют право на то, чтоб называться творческим человеком, в частности, журналистом. Моя покойная тетка, умевшая потешно, однако точно по смыслу, перевирать русские слова, называла их «жюльнаристами». И «жюльнариста» из журналиста сделала клятая машинка-диктофон, якобы облегчившая работу «захлопотанному» человеку, куда-то все время спешащему, что-то все время «охватывающему», «отражающему», за чем-то с высунутым, не языком, нет, а записывающей коробочкой гоняющемуся, что-то пытающемуся схватить за хвост.

Часто впопыхах, на скаку, на бегу, в шуме и гаме записывающееся, при «расшифровке» домысливается, дописывается, договаривается за собеседника, когда и навязывается ему. Поскольку человек боялся и боится всякой записывающей аппаратуры (знаю это оттого, что полтора года работал на советском радио собкором по северу Пермской области, и пусть примитивная, громоздкая техника была и таскал ее, и эксплуатировал человек под названием техник), все же она пугала людей и клиент или собеседник перед микрофоном часто глупел, балдел и нес такую ахи-нею, что хоть святых выноси...

Вот и нынче: техника-то хоть и маленькая, милая, да страх перед нею и растерянность остались прежние. Кроме того — настроение, ну край как не хочется не только говорить с «жюльнаристом», но и видеть кого-либо тем более с машинкой, но тебя просят, умоляют, настаивают, говорят, мол, командировка пропала, жена болеет, очередь на квартиру снесут под корень, ребенка в садик не примут...

Ну вот, больной — не больной, в настроении — не в настроении, — садись, подставляй рыло к машинке, ибо сам когда-то маялся на этой работе, а тут еще окажется, что интервьюер не готов к беседе, не знает, какие вопросы задавать, и просит поговорить о чем-нибудь, чаще о современной политике, ибо «близко лежит», и голову ломать не надо. Потом городит за собеседника все, что ему в удающую и безответственную башку взбредет, а подпись-то его в конце материала, мелко набранная, и на нее, как правило, никто внимания не обращает, и потому все матюки и поношения радиослушателей, читателей газет и особенно телезрителей — наиболее массовой аудитории, обрушиваются на голову того, кого спрашивают, но не того, кто спрашивает...

Нет, я за ручку, за карандаш и блокнот — машинка-техника развратила журналиста и потому-то большинство бесед и ин-

тервью с журналистами, в том числе и со столичными, я отложил в сторону, оставив из них лишь несколько штук, на мой взгляд любопытных, что-то оригинальное по содержанию имеющих. Однако беседы или ответы на вопросы, заданные в письменной форме, я включил в книгу. Здесь журналистской отсебятины нет или почти нет, и за материал отвечаю я, с меня и спрос. Как говорит моя добрая знакомая, умно мыслящая женщина, директор Пушкинского музея, Ирина Александровна Антонова: «Ответы на вопросы — это лишь двадцать процентов разговора по тому же телевидению, остальное зависит от умного вопроса. К сожалению, все меньше и меньше остается в журналистике тех, кто умеет задавать умные вопросы, вот отчего я и исчезла и с экрана, и из эфира, и с газетных полос...»

В молодости я горазд был потолковать, погорячиться, иногда и побушевать в прессе, особенно насчет природы, литературы и морали. Поскольку природе мои буйные словеса не помогли, мораль, сами видите, где и как существует, а литература, такое серьезное дело, понял я после сорока лет работы в ней, что никакой трепотней, даже очень ловкой и красивой, ей не поможешь, то из ранних бойких статей оставил лишь несколько — «для образца». Любопытна, в некотором смысле, статья, печатавшаяся в журнале «Урал» — «Нет, алмазы на дороге не валяются». По поводу этой, ныне невинно читающейся статейки разгорелась такая горячая полемика в уральской печати, что пришлось ее унимать и заканчивать постановлением Свердловского обкома, где было сказано, что я, автор статьи «Нет, алмазы...», — изначально безответственный, безыдейный, не более и не менее, как нарушил «ленинские нормы».

Признаться, я не очень испугался этого постановления и слов о ленинских нормах, от которых иные товарищи в ту пору в ботинки писали и с сердечным приступом в больницу ложились. По легкомыслию своему, не иначе, я даже и гордился про себя, что нарушил нормы-то, ленинские-то. И теперь, во зрелом возрасте лишь сожалею, что редко их нарушал иль нарушал шумно, в гулевым застолье, либо в лесу, на охоте.

Особое место в книге занимают рецензии, предисловия, заметки о книгах периферийных писателей. Далеко не все они попали в эту книгу, иные вяло и неинтересно написаны, иные авторы «не развильсь», но сделали сами «интересными», выскочили, прокукарекали, но не светает, и унялись, бросили мучить бумагу иль прониклись тяжелой завистью к тем своим собратьям по перу, что с ними начинали и не отстали от этого тяжкого, часто и неблагоприятного дела, и порой эту зависть раскаляют в заскорузлой душе до ненависти, как бросовую железяку в забытой кузнице, и готовы той железякой голову расколоть тем, кто терпит, работает и не жалуется на «режим», который погубил его талант и заморил голодом.

Признаться, я не то что горжусь этими материалами, но радуюсь и доволен тем, что знал в литературе многих людей, дружил с ними и смог в меру сил моих помочь им, душевно откликнулся на их сердечный порыв ко мне, а то и просто помог книжку напечатать, литератором себя почувствовать, приучал к работе тяжелой, всепоглощающей, да не к прогулкам по цветками поросшему литературному лужку.

Публицистика — это сегодняшний, текущий день. От нее пишущему и мыслящему человеку никуда не деться, как бы он ни старался «отвертеться» от нее.

Вот составил книгу и обнаружил, как мало писал и беседовал я о нашем русском языке, подверженном небывалому браконьерству и пагубе от социалистической лагерной действительности; совсем мало писал о театре и музыке, а ведь жил ими, укреплялся ими, да и существовал, обогащаясь духовно, не впал в скотство и пьянство благодаря им.

Думам, хоть они порой и «окаянные», нет конца, значит, и размышлениям на бумаге нет предела, — пока живу, значит, мыслю и страдаю, да простит меня гений русский за повторение его прекрасных слов.

СОДЕРЖАНИЕ

I. РОДНОЙ ГОЛОС

Вечно живи, речка Виви	7
Лес не шумит, лес стонет. Из незаконченной статьи	44
Родной голос	49
Нет, алмазы на дороге не валяются	61
Беседы о жизни	76
Очарованные словом	83
Сторит божественная скрипка. Два письма-ответа на вопросы корреспондента журнала «Российская провинция»	94
Сквозь февраль (журнал «Российская провинция»)	101
На Вологодчине	110
Этюд на Чусовой	114
Вечно живые облака. К постановке оперы Верди «Бал-маскарад, в Красноярском оперном театре	121
Строителям БАМа	127
Выбрал бы ту же самую... Интервью на 13-й странице «Недели»	130

II. ДА ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО

Там, в окопах. Воспоминания солдата	141
Послесловие к «Воспоминаниям солдата»	166
Да пребудет вечно...	169
Ответ на анкету журнала «Москва» к 40-летию Победы	183
Письмо дочери погибшего друга	187
Там, где пролита кровь	191
Еще одно письмо из Польши	200
Пересекая рубеж. Ответы журналу «Вопросы литературы» (беседу вел критик А. Михайлов)	205
Помолимся! Ответы на анкету ко Дню Победы	232

III. ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Под одной крышей	239
О любимом жанре	246

О ритме прозы. Ответы на анкету журнала «Вопросы литературы»	256
Имя Толстого свято	258
Ответ в «Пионерскую правду»	262
«Полуправда нас замучила». Выступление на конференции «История и литература» (журнал «Вопросы истории»)	268
IV. РУССКАЯ МЕЛОДИЯ	
Об одном горьком покаянии	275
Где наш предел? Из текущей публицистики	280
Постойте — поплачем!	286
Хомо Технократус. Ответы на вопросы (киевский сборник)	290
С карабином против прогресса	292
Край жизни (газета «Комсомольская правда»)	310
Вивальди за пятак	319
Русская мелодия	325
Всему свой час	328
Каки сами — таки сани	340
Пакость	343
Идите посмотреть на себя	354
Пред алтарем. Из незаконченной статьи	357
Записи разных лет	360
V. НАГРАДА И МУКИ	
Награда и мука. К юбилею Пушкина	369
Во что верил Гоголь	372
Радетель слова народного	379
И все цветы живые. О Константине Воробьеве	398
Пятнадцать минут. Об Александре Твардовском	415
Выполняющий долг писателя и гражданина. О Василе Быкове	419
Необходимый человек	422
Как тот заречный огонек	428
Чистая душа. О Викторе Лихоносове	437
Пророк в своем отечестве. О повести В. Зазубрина «Щепка»	446
Доброе слово. Об Аскольде Якубовском	453
По горячим следам. О Константине Симонове	458
Под тихую струну. Из неоконченной статьи о творчестве Ю. Нагибина	467
Соловьем залетным. О Кольцове	473
VI. ДОРОГА ДОМОЙ	
Неистовая книга. О книге Дальтона Трамбо «Джонни получил винтовку»	477
Вглядываясь вглубь. О повести Валентина Распутина «Живи и помни»	482
Боль. О повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться»	485
...и в поселке Тагул тоже	489
Плечо товарища	493
Тихая моя родина	495
Золотинка	498
Самородок	503
Твои тихие руки. О стихах Михаила Воронежского	506
Звуки родины. О книге Сергея Заплавного «Мария»	510

Чувство звука и слова. О стихах Романа Солнцева	513
Песня добра и света	517
Суд совести. О повести Альберта Лиханова «Суд совести»	522
Тоска по слову. О стихах Марины Саввиных	527
За синей рекой. О Михаиле Голубкове	529
Книга юных северян. Предисловие к книге «Мы из Игарки»	534
Тоска по тундре. О стихах Владимира Романенко	541
Белая тишина. О творчестве Владимира Жемчужникова	543
Россыпи зерен. О творчестве Алексея Бондаренко, енисейского охотника	546
Дальний свет. Предисловие к книге «Счастливая каторжанка»	550
Выбор сделан. О стихах Александра Потапенко	555
Жемчужные зернышки	559
Да светится... В журнал «Советская литература» на китайском языке	563
Голос необъятной России. Предисловие к стихотворному сборнику «Час России»	565
Дорога домой. («Комсомольская правда». Беседа с Евгением Черных)	570
Пусть у каждого голова болит о своем. («Российская газета». Беседа с Борисом Никитиным)	580
Остановить безумие! («Уральский рабочий» г. Екатеринбург)	585
Жизнь по-новому	591
Житейская явь и пошлость	594
Страдание	597
К вершинному течению. Ответ на классные работы учеников	599
Комментарии	602

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том двенадцатый

Художественное оформление А. Озеревской, А. Яковлева

Редакторы А. Ф. Гремицкая, Г. И. Сысова

Художественный редактор Е. В. Корнеева

Технический редактор Н. Н. Шабля

Корректоры А. Ф. Пантелеева, А. С. Павленко, В. Н. Ключина

Оператор компьютерной верстки А. С. Васьковская

ЛР 010162 от 03.06.97

Подписано в печать 14.05.98. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1.

Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 31.92. Уч.-изд. л. 32.78.

Тираж 10 000. С-012. Заказ 71.

Отпечатано на производственно-издательском комбинате «ОФСЕТ».

660049, Красноярск, ул. Республики, 51.



